МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Н. Г. Савин



ЗАПИСКИ КОРНЕТА САВИНА

Подлинные мемуары знаменитого авантюриста, главного героя романа Бориса Акунина «Пиковый валет»

DirectMEDIA

Записки корнета Савина

Подлинные мемуары
знаменитого авантюриста, главного героя романа
Бориса Акунина «Пиковый валет»



Москва
Берлин
2020

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2=411.2)5-444.23
З-32

З-32 **Записки** корнета Савина : подлинные мемуары знаменитого авантюриста, главного героя романа Бориса Акунина «Пиковый валет» / сост. *Л. М.* Сурис. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 713 с.

ISBN 978-5-4499-1590-0

Николай Герасимович Савин (1855–1937), также известный как международный авантюрист корнет Савин, происходил из старинного дворянского рода Савиных — рода, который своими корнями уходил во времена Ивана Грозного. Несколько десятков лет в конце XIX — начале XX в. имя Николая Савина не сходило со столбцов русских, европейских и даже американских газет, писавших о самых невероятных его авантюрах. Знаменитые искатели приключений и мошенники прошлых веков — Казанова, Калиостро и другие просто меркли, в сравнении с похождениями корнета Савина. Его имя послужило прототипом главного героя детективного романа Бориса Акунина «Пиковый валет», об аферисте Савине упоминал «великий комбинатор» Остап Бендер в романе Ильфа и Петрова «Золотой телёнок».

Что же толкнуло представителя известного дворянского рода встать на столь скользкую дорожку, каков «послужной список» его авантюрных приключений? Обо всем этом Вы узнаете «из первых рук», прочитав книгу воспоминаний «Записки корнета Савина».

Кроме подлинных записок корнета Савина в Приложение к изданию вошли произведения подражателей конца XIX — начала XX вв.: Николая Гейнце и Романа Доброго.

«Знаменитые авантюристы прошлых веков — Казанова, Калиостро и другие, чьими мемуарами зачитывается до сих пор весь свет, перед корнетом Савиным, выражаясь словами Расплюева: — Мальчишки и щенки!» (*Владимир Гиляровский*).

УДК 821.161.1Р
ББК 84(2=411.2)5-444.23

ISBN 978-5-4499-1590-0

Вместо предисловия
Владимир Гиляровский. Корнет Савин

Более 30 лет имя корнета Савина не сходило со столбцов русских, европейских и даже американских газет, помещавших самые невероятные его авантюры.

То корнет Савин открывает новый Клондайк на несуществующем острове и ухитряется реализовать фальшивые акции, то является претендентом на болгарский престол и принимается султаном на Селямлике, то совершает ряд смелых побегов из европейских тюрем или выскакивает под Тамбовом из окна вагона скорого поезда на полном ходу... Одно невероятнее другого — и без конца, без конца... Знаменитые авантюристы прошлых веков — Казанова, Калиостро и другие, чьими мемуарами зачитывается до сих пор весь свет, перед корнетом Савиным, выражаясь словами Расплюева:

— Мальчишки и щенки!

Более 25 лет Савин состоял бессменным обитателем тюрьмы, время от времени прерывая свое сидение за решетками смелыми побегами, появляясь снова то в России, то за границей, чтобы блеснуть на газетных столбцах то в телеграммах, то в уголовной хронике своим именем.

Последний раз в Москве он был летом 1911 года, прибыв сюда ни более, ни менее, как из нарымской тундры, совершив побег через бесконечную сибирскую тайгу, несмотря на свои 56 лет.

Явился в Москву прилично одетым, с ручным багажом и прямо, по старой привычке, отправился в одну из лучших гостиниц, Лоскутную, где занял хороший номер, спросил книгу для приезжающих и преважно расчеркнулся:

— Граф де Тулуз-Лотрек из Нового Орлеана. А паспорта, расписавшись, не дал.

Входит управляющий, почтенный старик, занимающий место десятки лет.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, паспорт. Ноне строго... Того и гляди за непрописку на 500 рублей оштрафуют.

— Во-первых, паспорт — это предрассудки, когда я сам налицо!

— Так-то оно так, а все-таки без паспорта никак не возможно.

— Да ты меня, Миша, не узнаешь, что ли? Управляющий вглядывается, старается припомнить.

— Лицо знакомое-с... Никак Николай Герасимович!..

— Ну, вот и узнал. А если надо уж непременно прописать паспорт, — вот тебе и паспорта! Выбирай любой и прописывай.

Савин вынул из саквояжа десяток подложных паспортов на всякие звания и выкинул на стол. Управляющий посмотрел и обезумел.

— Все фальшивые-с?

— Не беспокойся, пропишут... Вон их сколько прописанных...

В конце концов управляющий дал денег на расходы Савину и выпроводил его после дружеской беседы и воспоминаний доброго старого времени, когда Савин проживал в этой гостинице тысячи.

* * *

Я познакомился с Савиным в самом начале 80-х годов.

На Б. Дмитровке тогда существовал д. Муравьева, где прежде помещался лицей Каткова, «Салон де-Варьетэ», родоначальник «Омонов», «Максимов» и других «шато-кабаков», разросшихся в Москве с легкой руки Егора Кузнецова, много лет содержавшего «Салошку» и нажившего большой капитал.

Здесь шли разгульные ночи с хорами и оркестрами. Особенно переполнялись залы и кабинеты накануне праздников чуть не с 8 часов вечера, так как публике деваться было некуда — драматические спектакли тогда были под праздник запрещены, а «Салошка» торговала всю ночь напролет. Под праздник здесь было то, что называется «дым коромыслом». Были излюбленные гости из кутящего купечества, которые пропивали в вечер тысячи и дебоширили вплоть до устройства ванн из шампанского, в которых купали певиц в отдельных кабинетах.

Конечно, эти кутилы, расплатившись тысячами за такую ванну, выйдя из «Салошки», выторговывали у извозчика пятиалтынный и потом долгое время наверстывали расходы, расплачиваясь досрочными купонами и сериями, обрезанными за два года вперед.

Но в «Салошке» они не жалели бросать денег в пьяном угаре и щедро одаривали прислугу и распорядителей.

Некоторые дарили часы, перстни, деньги, а один, парчовый фабрикант с Никольской, так товаром отблагодарил ловкого распорядителя, которого звали, кажется, если не ошибаюсь за давностью времени, Алексей Васильевич. Это был небольшой, полненький человечек, чрезвычайно юркий, услужливый, знающий толк и в людях и в винах.

Вот через него-то я и познакомился с корнетом Савиным.

В один прекрасный вечер мы сидели в «Салошке» дружной компанией за веселым ужином. Некоторые из моих собеседников живы, а многих уже нет, в том числе и известного любимца Москвы актера Градова-Соколова.

Перед нами стоял Алексей Васильевич, метрдотель, которому мы заказывали ужин. На нем был надет под фраком необыкновенный жилет из золотой парчи, на который из нас никто не обратил внимания до тех пор, пока не остановился перед нашим столом красавец мужчина, одетый по последней моде, и не хлопнул распорядителя по животу.

— Это что надел, чудище? Что это за жилет?

— А, Николай Герасимович! Ты один? Если один, — садись с нами!.. Позволь познакомить.

И Градов-Соколов представил нам подошедшего:

— Мой приятель, помещик, Николай Герасимович Савин.

Сел — и снова к распорядителю:

— Что это за мода? Откуда такой жилет?

— В ту субботу подарил один наш постоянный гость, фабрикант. Целый год обещал все подарок сделать и в субботу приходит с дамами в кабинет, призывает меня, подает мне сверток и говорит:

— А вот тебе, Алеша, от меня самый дорогой подарок, лучше нет, — двести рублей стоит!

Развертываю, смотрю — парча.

— Как, для чего? — вскипятился.

— На покров, коли умрешь. Бери и кланяйся!

— Взял я парчу, принес домой, отрезал на жилет и заказал портному. Не правда ли, красиво?

— А знаешь, недурно! Вот я поеду в Париж и введу в моду парчовые жилеты! — сказал Савин.

Не знаю, удалось ли ему когда-нибудь ввести эту моду, но в этот вечер он положительно очаровал нашу компанию блестким остроумием и интересными рассказами о жизни. Иногда он поднимал руки кверху, обводил глазами стены и говорил:

— Alma mater! Это моя alma mater!!

— Это вы про что?

— Вот про эти самые стены! Это моя alma mater! Здесь я нашел свою судьбу!..

На все дальнейшие вопросы он не отвечал, переводил разговор на другое, и только спустя почти тридцать лет я узнал из рукописного дневника Савина, почему он называл стены «Салошки» alma mater. Здесь помещался Катковский лицей, где учился Савин!

Первая глава дневника его начинается с того, о чем он так упорно тогда молчал, не желая объяснить, почему он называл «Салон де-Варьетэ» своей alma mater: в ней описывается лицей Каткова, аристократическое учебное заведение с правом университета.

Наш ужин закончился к утру, но около полуночи Градов-Соколов ослабел настолько после шампанского, что Савин проводил его до дому, в его излюбленную Бучумовку, на углу Столешникова переулка, а затем вернулся к нам кончать продолжение ужина.

С тех пор я больше не видался с Савиным.

Прошло несколько лет.

Я работал в «Русских ведомостях» и через редакцию получил письмо, адресованное на мое имя. Это письмо хранится у меня до сего времени.

В этом письме Н. Г. Савин сообщает мне, что он закончил большой литературный труд «Исповедь корнета», в котором описал свою жизнь и приключения. Савин просил меня в письме просмотреть его работу, проредактировать и начать печатанием или в газете или отдельным изданием.

Самой рукописи не прислал.

Письмо заканчивается следующими строками:

«Я вас могу принять ежедневно от часа до трех дня у себя. Сам же не могу явиться к вам, к моему глубочайшему сожалению, потому, что содержусь в тюремном замке, в Каменщиках. Итак, жду вас у себя. Ваш Покорный слуга Николай Савин».

Тут он приложил оглавление своей исповеди в трех частях: первая часть — Бурная молодость, вторая — Травля по Европе и третья — Инквизиция XIX века.

Это, мне помнится, было в 1888 году, во время моего отсутствия из Москвы, а когда я получил письмо, лежавшее месяца три в редакции, — Савина в Москве уже не было. Я очень жалел, что не воспользовался этим материалом, но счастливый случай через 25 лет привел этот материал опять ко мне в руки.

Почти через 30 лет после встречи в «Салоне де-Варьетэ» у меня началась переписка с Савиным.

Савин бежал из Нарымского края, преважно разгуливал в Москве, явился в свое бывшее калужское имение и, наконец, кажется, в г. Боровске был арестован и препровожден в Томск, где и судился окружным судом, а оттуда был переслан в Эстляндию этапным порядком, снова судился в Митаве по новому какому-то делу.

Он пересылался через Москву, и мне кто-то из знакомых сказал, что видел Савина на вокзале, откуда препровождали его в московскую пересыльную тюрьму, что он выглядит больным, плохо одет и, по-видимому, очень нуждается.

Я тогда послал ему немного денег и письмо, в котором напомнил о нашей встрече 30 лет назад.

Савин мне прислал милое письмо, благодарил меня за память. Я ответил, опять послал денег, и началась интересная переписка. Конечно, письма от него приходили ко мне с разрешения прокурорского надзора и тюремных властей, но письма были весьма любопытные и подробные. Савина пересылали судиться то в города Европейской России, то опять в Сибирь, и я получал от него письма из разных тюрем. А когда кончатся суды над ним за разные преступления по совокупности, это неизвестно было. Но он 25 лет сидел по всевозможным тюрьмам.

И бродяжная жизнь, и вечный арест, и тревоги отозвались на здоровье Савина. Он постарел, выдержал в тюрьме операцию, и, кажется, наступил конец его побегам и авантюрам.

Его последние письма все-таки были необыкновенно интересны, хотя отзывались повышенной нервностью, в чем нет ничего удивительного: такую жизнь не всякий организм выдержит!

Иногда он заговаривался и уже серьезно утверждал, что он граф де Тулуз, и доказывал это в огромном письме, которое я получил както осенью. Это кусочки его автобиографии.

Вот что он писал:

«Родился я в 1854 году в Канаде. Крещен в России, в Благовещенской, села Сердинского, церкви 11 января 1855 года. Родители мои — гвардии поручик из потомственных дворян Герасим Савин, а мать Фанни Савина, урожденная графиня де Тулуз-Лотрек. Я усыновлен дядей со стороны матери гр. де Тулуз-Лотрек актом, совершенным в декабре 1895 года в г. Сиятеле, в штате Вашингтон. Эмигрировал в Америку в декабре 1893 года, приехав на пароходе "Аладин" из Владивостока в порт Виктория.

Ввиду усыновления меня я законно ношу имя и титул, присоединив их к моей древней дворянской фамилии — Савина.

27 апреля 1898 года постановлением чикагского суда я натурализован гражданином Соединенных Штатов под этой двойной фамилией. Затем, 15 августа 1899 года я женился в Лондоне на англичанке, уроженке Канады, мисс Мэри Вэрвут, после чего и жил в Канаде, где 12 января 1901 года у нас родилась дочь, после чего я перешел в английское подданство в 1902 году».

В конце 1902 года Савин вновь явился в России и был арестован в Козлове, и тогда в газетах появилось известие, что «Савин умер». На самом же деле он был отправлен в Сибирь пешком по зимнему этапу, бежал на Амур, перебрался на знаменитую китайскую Желтугу и был главарем 7000 бродяг всех народов, которые и основали Желтугинскую республику, впоследствии разогнанную войсками. Далее в этом письме, автобиографии последних лет, Савин рассказывал ряд приключений и приводил родословную графа де Тулуз-Лотрека и заканчивал последними днями своей жизни, когда его судили уже по обвинению в политических преступлениях.

Перечисляя свои сочинения, он заключал свое письмо ко мне просьбой печатать его рукописи.

* * *

Передо мной ряд собственноручных тетрадей Савина, рассказывающего свою удивительную жизнь с самого детства. Первые тетради писаны им в тюрьме еще в его молодости, в конце 80-х годов, когда все им чувствовалось горячо, рассказывалось страстно. И где он не был? Кого не видал? От высшего общества, где он был своим, и до каторжных тюрем и бродяжных шаек, где он был главарем.

Свои записки он ведет с самой юности, постепенно переходя от лицейских дортуаров через жизнь блестящего гвардейца, вращавшегося в высших кругах столиц, да каторжного арестанта...

И только прочитав подробно с самого начала эти записки, можно понять всю богатую одаренность этого человека, не применившего к жизни свою энергию и свои таланты.

Интересно в них описана среда, в которой вращался Савин. Здесь и высшее общество столиц, кутилы и прожигатели жизни Петербурга и Варшавы, гвардейцы, дамы полусвета, театр Берга и его завсегдатаи... Далее заграничные приключения, суды, тюрьмы.

Не раз в жизни улыбалось Савину счастье, и счастье необыкновенное, но никогда он, в силу стечения обстоятельств, не мог им воспользоваться.

Разве это неудивительно: Савин под именем графа Тулуз-Лотрека был вероятнейшим кандидатом на болгарский престол после изгнания Батенберга.

И это могло быть, почти что совершилось, но случайная встреча в ресторане в Константинополе уже после представления Савина султану на Селямлике разрушила все замыслы его.

Кандидатуре на болгарский престол Савин в своих записках посвящает несколько глав, в которых прекрасно описана Болгария стамбуловских времен.

Из этого ряда глав я позволю себе сделать небольшое извлечение, опять-таки характеризующее Савина.

Он явился в Болгарию под именем гр. Николая де Тулуз-Лотрека и предложил нуждавшемуся в деньгах Стамбулову сделать государственный заем у крупных парижских банкиров, представителем которых он назвался, предъявив, конечно, фальшивые доверенности и другие документы.

Предложение это, которому Стамбулов обрадовался, ввело Савина в круг министров, где он занял почетное положение, кончившееся тем, что в один прекрасный день между Стамбуловым и им вышел такой разговор:

— Нам необходимо выставить своего кандидата и, во всяком случае, провалить на выборах в Тырнове невыгодного для нас князя Мингрельского. У нас кандидат уже намечен и утвержден нами.

— Кто же он? — спрашиваю я.

— Вы, граф! И я приехал просить вашего благосклонного согласия.

Удар грома из безоблачного неба не ошеломил бы меня так, как слова регента. Я думал сначала, что это шутка, но по выражению лица Стамбулова я убедился, что предложение его обдумано.

— А вы, кажется, удивлены, граф? Но я говорю серьезно, строго обдумано и приехал к вам не как знакомый, а как первый министр Болгарии после обсуждения всего с моими коллегами. Поверьте, что ничего удивительного в моем предложении нет. Почему вы, граф де Тулуз-Лотрек, чей род состоит в родстве с Бурбонами, не можете быть кандидатом на болгарский престол?.. Скажите,

чем какой-нибудь Батенберг или князь Мингрельский достойнее вас, потомка владетельных князей Франции? Мы все это обсудили и просим вас.

И Савин на другой день дал свое согласие. Все это постановлено хранить в тайне до тырновских выборов, где народное собрание сделало бы все, что предложит Стамбулов, а затем, когда выборы состоятся, ничего бы не было страшного.

Далее решено было поехать новому кандидату в Константинополь, представиться великому визирю Киамил-паше, а затем и султану.

И через неделю Савин уже ехал на пароходе из Варны в Константинополь.

В главе «На пароходе» Савин так обдумывает свое положение:

«Это неожиданное предложение ошеломило бы всякого. Каково же оно было мне, скрывающемуся под чужим именем, даже не французу, а русскому офицеру, врагу тех, которые предлагают мне быть их князем? Предложение это было серьезно обдумано болгарскими воротилами. По их понятиям, я был человеком вполне подходящим. Возвышая меня на болгарский трон, они надеются сохранить за собой власть и силу в стране. Должен ли я, по их мнению, я, их креатура, оставить их бесконтрольно заправлять всем в стране?

И пришел я к заключению, что кандидатуру принять надо. Как русский, как славянин, я, будучи болгарским князем, мог принести более пользы России, чем какой-нибудь немец, назначенный Бисмарком и Англией. Я призван спасти Болгарию от всякого порабощения неславянских стран, я призван принести пользу общеславянскому делу и, может быть, очистить путь к Царь-граду славянам. Я убежден, что рано или поздно Царь-град будет центром славянства в руках России».

С этими мыслями подплывал Савин к Царьграду.

Далее. Он принят во французском и болгарском посольствах, как высокая особа, принят великим визирем и, наконец, султаном Абдул-Гамидом. Остаются отъезд в Софию и уже подготовленные Стамбуловым выборы.

Но...

Появились сведения в газетах о новой кандидатуре. В издающейся на английском языке константинопольской газете «Стамбул» напечатаны были какие-то оскорбительные намеки. И Савин вызывает

редактора «Стамбула», англичанина, на дуэль, а когда тот отказывается, бьет его хлыстом по лицу.

Все газеты наполнились скандалом.

Но и это еще сошло бы.

Главное несчастье, решившее судьбу Болгарии и нового князя, было в том, что, будучи в Москве, Савин брился у парикмахера Леона, на углу Тверской и Леонтьевского переулка!

Брейся он в другой парикмахерской, — он был бы болгарским князем.

Вышло так: Савин в табльдоте «Hotel de Luxembourg» завтракал со своей компанией. Рядом за другим столом сидел молодой человек, который долго смотрел на Савина, потом вдруг сорвался с места, с радостной улыбкой подбежал к Савину и рассыпался перед ним в любезностях:

— Как я счастлив видеть вас здесь, г. Савин. Давно ли из Москвы?

Кругом все смотрят: речь идет по-французски.

Савин оборвал его дерзостью, заметив, что он его принимает за другое лицо. Но дерзость его погубила.

Обиженный парикмахер, г. Верну, подмастерье Леона, набросился на Савина и закричал:

— Я подошел к вам вежливо, как к старому клиенту, а вы меня оскорбляете! Вы думаете, что я не читаю газет о ваших похождениях... Я сейчас буду жаловаться в посольство...

На другой день Савин был арестован и под конвоем в партии арестантов отправлен на пароходе в Одессу.

Его давно искали.

Во время немецкой войны он опять появился в Москве, был арестован, сослан в Нарым, а затем слухи о нем прекратились.

Таков был корнет Савин.

Впервые опубликовано: «Голос Москвы», 1912, № 297

* * *

«Последнее письмо от графа Н. Г. де Тулуз-Лотрек Савина, собственные записки которого под заглавием “Записки корнета Савина” печатаются в “Голосе Москвы”, я получил 1 февраля из тюрьмы. Письмо с пометкой прокурора Окружного суда написано Н. Г. по поводу моей статьи “Савин”, напечатанной в нашей газете

от 25 декабря прошлого года. Он пишет: “Что касается моего настоящего титула, то я ношу его не произвольно, а в силу легального законного усыновления в декабре 1895 года графом Георгием Александровичем де Тулуз-Лотрек, моим дядей. Акт усыновления утвержден судебным определением Чикагского окружного суда 27-го апреля 1898 года и английским правительством — в Канаде, при переходе моем в английское подданство в 1900 году. Мой графский титул утвержден за мной декретом покойной королевы Виктории в том же 1900 году. Я граф де Тулуз-Лотрек по крови моих предков и по усыновлению моего деда, и законно ношу этот титул по русским законам”.

В настоящее время Н. Г. находится в пересылках из одного города в другой по разным судимостям. Когда кончатся его скитания по тюрьмам — неизвестно.

В печатаемых “Записках корнета Савина” вся автобиография этого всесветского авантюриста из высшего аристократического круга попавшего в арестантскую среду, из которой он время от времени вырывался, благодаря смелым побегам, чтобы снова блеснуть в обществе главных городов Европы и Америки. И эти переходы от салонов в тюрьмы, от большого света в арестантские партии, необыкновенно интересны.

Н. Г. Савину 59 лет, из коих полжизни проведено в тюрьмах и побегах. Его записки составляют 11 толстых тетрадей; с полной откровенностью он начал писать в тюрьме в конце 80-х годов»

(*Голос Москвы. 1913. 10 февраля*)

I
Воспитание

На Б. Дмитровке в Москве, в том самом доме, где ныне электрический свет озаряет вход в вертеп разгула, известный под именем «Салон де-Варьете» и служащий одним из высших образовательных для московских саврасов учреждений, в конце шестидесятых годов помещался только что открытый и отличавшийся ярым классическим направлением русского юношества Катковский лицей.

В таком сопоставлении кто-нибудь из читателей, пожалуй, усмотрит предвзятую мысль с моей стороны, но это будет несправедливо: я только констатирую факты, будучи далек от всякой мысли их комментировать. Не моя вина, если эти два воспитательных учреждения, так резко противоположных по направлению, помещались в разное время в одном и том же здании.

В стенах этого учебного заведения мне впервые пришлось иметь столкновение с властями, которое закончилось для меня финалом очень плачевным, и тогда-то я узнал, что такое проступок и наказание.

Словом, в лицее, где всё, до последней пуговицы на сюртуке швейцара, было пропитано духом классицизма, — меня весьма реально высекли.

Но прежде, чем передавать, при какой обстановке все это совершилось, я позволю себе небольшое отступление, необходимое для выяснения условий, при которых я попал в лицей.

Отец мой, Герасим Сергеевич Савин, был человек уже не молодой, бывший гвардейский офицер, страстный хозяин и псовый охотник. Владея пятью тысячами душ крестьян, он вышел в отставку, поселился в деревне и всецело предался своим двум страстям: хозяйству и охоте. Долго он жил холостяком, и родные его уже отчаялись, что он когда-нибудь женится. Но вдруг на сороковом году жизни он влюбился в семнадцатилетнюю девушку приходившуюся ему сродни, и женился на ней. После свадьбы молодые поселились в Боровском своем имении, старом родовом гнезде Савиных, селе Срединском, где мы впоследствии все родились и выросли.

Очень добрый по характеру, отец мой страшно нас баловал и ввиду занятий по имению и частых разъездов по делам, оставлял нас более на попечении матери и большого штата гувернанток всех

наций. Матушка моя, Фанни Михайловна, известная в Москве своею красотою, была женщина умная, развитая и так же, как и отец мой, замечательно добрая. Она руководила нашим воспитанием сама и ради этого, как только мы стали учиться, бросила свои выезды в свет и предалась вполне нашему образованию.

Нас было три брата. Первый, Сергей, был на девять лет старше меня и рос отдельно. Сверстником моим был младший брат Миша, моложе меня всего на три года. Жила наша семья по зимам в Москве, где у нас был дом у Никитских ворот, а летом — в Срединском, среди роскоши и обилия тогдашней жизни богатых помещиков.

По мере того, как я подрастал, шаловливый характер, проявлявший уже тогда наклонности к буйству и неукротимости, ставил весь штат моих воспитателей и гувернанток все в большие и большие затруднения. Конечно, этот мой строптивый характер немало озабочивал родителей. За невозможностью справиться с мальчиком дома, было решено отдать меня в учебное заведение. Начались разговоры о том, куда поместить меня. Отец, как военный, отдавал предпочтение военно-учебным заведениям, в которых преобладает строгость и где товарищеские отношения, наверное, хорошо повлияют на меня. Мать, как grande dame, была против отдачи меня в военную гимназию, находила, что там молодые люди усваивают себе вульгарные манеры и грубость в обращении, выходят без светского лоска.

Ее выбор остановился на Императорском лицее, куда и стали меня готовить. Но случай изменил ее решение.

Бабушка моя, Татьяна Александровна Савина, жившая постоянно в Москве, была статс-дама, председательница благотворительных заведений и имела на семью большое влияние. Как истая аристократка и поклонница «Московских ведомостей», она была в восхищении от того, что знала о вновь открывшемся лицее Каткова и потому настояла оставить мысль о помещении меня в Императорский лицей, уговорив моих родителей оставить любимого внука в Москве под его надзором и отдать к классикам.

Бедная, дорогая старушка, если бы она знала, как высекут классические педагоги ее любимца.

Катков и Леонтьев, мыслями которых в то время жила вся дворянская Россия, открывают лицей. Да кому же еще и поручить своего ребенка? Вопрос этот был решен бесповоротно, и под сенью классицизма, в нынешнем помещении «Салона» я вкусил впервые плоды

познания общественной жизни. Воспитанники лицея были детьми богатых и родовитых отцов. Научное образование было поставлено в условия, которые слишком хорошо известны, чтобы о них распространяться. Я учился довольно прилежно и вел себя, как и все остальные дети. Праздники я проводил у бабушки, которая всячески меня баловала. Денег мне всегда давали на карманные расходы вволю, и я не пропускал ни одного праздника, чтобы не побывать в театре.

Как известно, одновременно с классицизмом на Руси народилась оперетка, с легкой руки также классической «Прекрасной Елены». Бывая в театре, я увлекся «Прекрасной Еленой» настолько, что знал наизусть все мотивы. В это время у нас в лицее, для вящего укрепления учеников в познаниях по классическим языкам, затеяли домашний спектакль на латинском и греческом языке. В костюмах древних римлян и греков мы должны были декламировать на специально устроенной для этого сцене длиннейшие стихи. Долбежка ролей мучила мальчиков, как всякое скучное зубрение, и была нам очень не по нутру. Я вообще поленивался учить латынь и греческий язык, а когда профессор задал мне новый урок для сцены, состоявший из множества страниц латинской роли, я захотел пошкольничать.

— Знаете, г. профессор, мне кажется, можно бы и не учить эту роль.

— Отчего?

— Да зачем мне учить ее, когда я и без этих длинных стихов знаю кое-что из классического репертуара.

— Вот как? Это похвально. Что же вы можете, Савин, продекламировать классического? — заинтересовался профессор.

Недолго думая, я во весь голос запел:

— Мы все невинны от рожденья
И честью нашей дорожим.
Но, ведь, бывают столкновенья,
Когда невольно согрешим.

— Что? — закричал профессор при взрыве хохота всего класса, не хуже моего знавшего «Прекрасную Елену».

Глубоко возмущенный моей выходкой, профессор покинул свою кафедру и пошел жаловаться. Прибежал горбатый директор, и меня посадили в карцер. Но этим еще не окончился скандал. Выходка школьника получила значение крупного проступка. Все воспитанники, по освобождении меня из карцера, аплодировали мне. Совет же

лицея решил применить ко мне примерное наказание. Меня схватили, положили и высекли публично.

Такая воспитательная мера, хотя древними классическими детьми и переносилась, — например, в Спарте, — с образцовым героизмом, не повлияла на меня в ожидаемом направлении. Балованный, своенравный, в высшей степени, самовольный мальчик, я был страшно потрясен и возмущен таким «спартанским» поступком моих менторов и, недолго думая, убежал, бежал из лицея к бабушке.

Бабушка, извещенная дирекцией о моем проступке и понесенной каре, разохалась и хотела сейчас увезти меня на Дмитровку. Но я протестовал всеми детскими силами, как только мог, и категорически заявил, что убегу снова, но уже не к ней, а к няне в Срединское. Нечего было делать. Бабушке оставалось написать родителям, и история кончилась тем, что меня взяли домой.

Несколько времени спустя я поступил в лицей в Петербурге.

В лицее я пробыл три года. Но и здесь ненавистная мне латынь не дала докончить экзамена из третьего во второй класс. Фиаско на экзамене совпало с эпизодом из жизни в отпуску, и эти две причины вместе заставили меня покинуть лицей, не кончив курса.

В начале семидесятых годов театр «Буфф» был в большой моде. В нем пели тогда Жюдик и Жан Гранье, производившие страшный фурор. Не знаю, почему, — наше начальство нашло неудобным для нас посещение этого, излюбленного всем петербургским бомондом театра, и ездить туда нам было строго запрещено. Но сладость запрещенного для лицеиста плода, прелесть Жюдик, начинавшая бушевать молодая кровь — все влекло туда, и мы изрядно-таки посещали «Буфф» под страхом попасть за это в карцер. Одним из самых заядлых завсегдатаев «Буффа» по праздникам был я.

И вот сижу я в одно из воскресений с товарищем моим М-м в первом ряду, что было нам вообще строго воспрещено в театрах, как вдруг в антракте подходит к нам всесильный тогда в Петербурге генерал Трепов.

— Ваши фамилии, господа? — спросил он.

Мы назвались.

— Запишите, — обратился он к сопровождавшему его адъютанту.

— А позвольте, ваше превосходительство, узнать вашу фамилию? — обратился я к нему.

— Как, вы не знаете меня? Я — генерал-адъютант Трепов.

— Благодарю вас, ваше превосходительство! Миша, запиши! — обратился я к своему товарищу, смущенно стоявшему сзади.

Эпизод в театре сделался городским анекдотом. Петербург смеялся, но наше лицейское начальство было не из смешливых. Меня посадили сначала в карцер, а при обсуждении вопроса о моей переэкзаменовке предложили моему отцу взять меня из лицея.

Так я оказался неудачником в школе, и главными причинами были: ненавистная мне латынь и страстно любимый мною театр.

Для того времени традиционная участь русского юноши, неудачника по школе и дальнейшей карьере, решалась словом:

— В юнкера!

II
Юнкерство

Два класса лицея давали мне права средне-учебных заведений, и я мог поступить юнкером в гвардию. Для меня лично осуществилась самая заветная мечта: я всегда мечтал поступить в военную службу.

Все Савины искони веков кавалеристы, стало быть, о роде оружия и толковать было нечего. Только вопрос о связях в гвардии вызывал колебания. В лейб-уланах имелся двоюродный брат — эскадронный командир, на попечение которого хотел меня отправить мой отец. Лейб-гусарский полк блеском мундира и несколькими знакомыми офицерами этого полка, бывавшими у нас в доме, привлекал к себе мысли моей матери. Меня самого влекло в конную гвардию, где у меня были друзья, товарищи по лицею. После долгих колебаний жребий пал на конную гвардию. Решение это было вызвано еще тем обстоятельством, что дядя мой, генерал С., был в то время помощником начальника гвардейской кирасирской дивизии, почему, поступая в конный полк, я становился под его непосредственное начальство.

Отец мой с дядей поехали к командиру полка и, заручившись его согласием, повезли меня к нему представить.

Командир полка граф Х. был джентльмен и добрейшей души человек. Он обласкал меня и дал надлежащий ход моему прошению.

Пошли хлопоты, заказы обмундировки и покупки лошадей, наконец, вышел приказ о моем зачислении юнкером в лейб-гвардии конный полк, и я с неописуемым восторгом, облачившись во все доспехи, поехал представляться в полк.

В то время юнкера служили еще на старых правах и были приняты в обществе офицеров на товарищескую ногу. Поэтому, представившись по начальству в первый же день зачисления в полк, я на другой день отправился с визитами к офицерам. Большая часть офицеров жила на частных квартирах, так что мне пришлось колесить из одного конца Петербурга в другой. Разъезжая с этими визитами, я заехал к одному моему товарищу по лицею О., только что произведенному в корнеты, и он повез меня завтракать к Дюссо. Этот ресторан был тогда сборным полковым пунктом для офицеров конного полка. После каждого ученья здесь собирались все, от полковника до юнкера. Для наших офицеров сохранялось всегда несколько кабинетов, которые носили даже название «конногвардейских» и не отдава-

лись никому другому. Вечером сюда носили полковой приказ на прочтение офицерам. Вообще, Дюссо был своего рода клуб всего полка.

По приезде О. к Дюссо, мы застали там большое общество молодых офицеров, которым О. представил меня.

Меня приняли очень радушно, тотчас потребовано было шампанское, и товарищи, поздравляя меня с поступлением в полк, один за другим предлагали выпить брудершафт. От брудершафта вообще не принято отказываться, отказаться же пить брудершафт со своими офицерами, было, конечно, немыслимо.

Таким образом, меня заставили выпить по числу наличных офицеров и в результате очутиться дома в постели на попечении моего лакея, от которого я только и мог узнать, что домой меня привезли вчера господа офицеры.

Такому крещению вином подвергался по полковому обычаю каждый новичок. Впоследствии мне приходилось не раз участвовать в таком угощении молодого корнета или юнкера, вступавшего в полк.

Подобному же крещению шампанским подвергали, с добавлениями и вариантами, каждую новую шикарную кокотку, появлявшуюся в офицерском кружке нашего полка.

Полковая жизнь того времени в гвардейских полках не представляла вовсе военной жизни, хотя все мы и сходились ежедневно в полку на ученьях и в манеже, но зато в остальное время отдавались вполне светской жизни и кутежам. Товарищи по службе встречались гораздо чаще на балах, в театрах и у Дюссо, чем в самом полку.

При поступлении моем в полк юнкеров было всего двое — граф Б. и граф Т. Последний вскоре был произведен в офицеры и вышел в отставку, но к нам скоро поступили еще 2 юнкера В. и Х. Так как знакомство с последним и имело влияние на мою жизнь, то расскажу о нем более подробно.

Сыну богатого откупщика[1], семнадцатилетнему Яше досталось состояние в несколько миллионов рублей, скопленных его отцом на поприще всероссийского отравления сивухой. Круглолицый, краснощекий, необыкновенно тучный для своих лет, Х. производил

---

[1] Откупщик — предприниматель, разбогатевший на приобретенном у государства праве на продажу определенного вида товаров (например вина). Откупа были отменены в России в 1863.

впечатление милого, покладистого юнца. Еще до поступления в полк, в среде кутящей петербургской молодежи он бросал страшные деньги на лошадей. Поступая же к нам в юнкера, он за баснословные деньги купил трех лучших парадеров[2] у наших офицеров. Надев мундир, он сделал великолепный обед товарищам, для которого выписал из Москвы цыган, а после обеда сделал выводку своей действительно замечательной конюшни в зале, превращенной в манеж.

После майского парада[3] вся гвардия переходит в лагерь в Красное Село. Там полковая жизнь совершенно другая, чем в городе: мы живем все вместе, по-товарищески. Хотя офицеры размещаются по крестьянским избам, но сборным пунктом служат залы офицерской столовой. В них офицерство проводит все свободное от занятий время.

В лагерях офицерская жизнь — непрерывный праздник, усугубляемый грандиозными периодическими кутежами. Полковая музыка, песенники, цыгане, фейерверки, шампанское, льющееся рекой, жженка, кокотки, — все это или сменялось одно другим, или появлялось вместе. Одним из таких грандиозных кутежей был праздник, устроенный Х. на новоселье в выстроенной им вилле. Не найдя себе избы по вкусу, а главное — конюшни для своих пятидесяти лошадей, которых он держал всегда, Х., не задумываясь, купил землю в Красном Селе и с изумившей всех быстротой выстроил дачу для себя и образцовую конюшню для лошадей.

На новоселье собрался весь наш полк, а также многие офицеры и юнкера других полков. Этот праздник памятен мне как своей роскошью, так и по особому случаю, который считаю не лишним рассказать. В числе гостей на этом празднике было несколько актрис и, между прочим, очень хорошенькая и довольно известная в опере опереточная певица Ч., за которой я давно ухаживал и ждал случая, когда бы мог встретиться с нею в более подходящей обстановке. Праздник Х. обещал мне давно желанную встречу. Но актрису почти безотлучно сопровождал ее муж, тоже актер, состоявший при ней самым бдительным стражем. Ухаживая за ней, я всячески старался придумать способ, чтобы увезти или на время разлучить ее с мужем. Для этого я счел самым удобным напоить актера, о чем и сообщил

[2] Парадер — лошадь, специально выезженная для участия в парадах.

[3] Майский парад — ежегодный смотр гвардии на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Введен Николаем I.

нескольким товарищам, прося их этому содействовать. Но попытка на деле осталась безуспешной. Муж, вероятно, заметил, в чем дело, и совершенно перестал пить. Мы уже не знали, что предпринять, как неожиданный случай указал нам новый способ. Речь зашла о том, кто сколько сможет пройти пешком. Актер похвастался, что он очень хороший пешеход, и рассказал, как, живя прошлым летом в деревне, он ежедневно ходил двадцать верст на станцию железной дороги за письмами жене и делал это, шутя, в виде прогулки. Придравшись к слову и усомнившись в такой неутомимости, я предложил пари на триста рублей, предлагая ему сходить из Красного Села в Петербург и обратно с тем, чтобы вернуться завтра утром, не позже полудня. Пари было принято ревнивым, но недальновидным мужем, и я вручил триста рублей прелестной Периколе, как посреднику пари. Вся компания поехала провожать ретивого пешехода.

Версты две от Красного Села сделали привал, сварили жженку, выпили и актер пошел зарабатывать свои 300 рублей под конвоем моего рейткиста[4], которого для проверки я послал сопровождать верхом. Мне пришлось приютить жену актера и предложить ей до возвращения мужа пробыть у меня, на что милая Перикола согласилась.

Так проходили дни за днями в беспрерывных попойках, кутежах и ухаживаниях за актрисами. Естественно, что познания в военном деле от этого не получалось, и на экзамене в Николаевском кавалерийском училище я провалился, как и все мои товарищи-юнкера.

Образ жизни, который мы вели, требовал денег без меры. Получаемых мною пятисот рублей в месяц отца было очень недостаточно. Явилась золотая нужда, а с нею долги, векселя, бланковые надписи за других и т. д. За полтора года службы в гвардии, я написал векселей более чем на полтораста тысяч. Кредиторы стали напоминать о себе все чаще и чаще, что заставило меня после неудачного экзамена поехать к отцу в деревню и принести повинную. Добряк-отец очень меня баловал и, пожурив, заплатил все долги. Но в Петербург уже меня более не отпустил, а заставил подать прошение о переводе меня в Гродненский гусарский полк, где живут скромнее. Пока ходило по инстанциям мое прошение, я остался с отцом, и зимой вместе с ним приехал в Москву.

---

[4] Рейткист (рейткнехт) — конюх (*нем.*).

III
В отпуску в Москве

Москва, памятная мне лишь по детским воспоминаниям, была для меня новинкой. Родители мои жили в то время в деревне. Старший брат Сергей служил уже давно за границей в одном из наших посольств, а младший воспитывался в правоведении. Вот почему Москва была забыта нашей семьей, в особенности после смерти бабушки. В этот год отец мой приехал в Москву по делам, а матушка проводила зиму в Италии.

Во время пребывания моего в Москве, конечно, не обошлось без кутежей и курьезов. Привыкши к среде кутящей молодежи, я и здесь окунулся в эту жизнь. Товарищ по лицею М-в, который прокучивал в то время свое состояние, познакомил меня с кружком московской богатой молодежи. Компания, в которую он ввел меня, группировалась около известного богача и кутилы Володи Т. В Москве вообще кутят с какой-то особой необузданностью, но в компании Т. совсем не было преград разгулу.

Сборным пунктом этой компании был только что отделанный «Славянский базар», куда мы и собирались ежедневно завтракать в специально оставляемом для нас кабинете. Напиваясь с утра, наша компания просиживала обыкновенно в ресторане до обеда, тогда перекочевывали в «Эрмитаж» или гостиницу «Англия», славившуюся в то время своей кухней.

Заканчивались же вечера в загородных ресторанах, преимущественно в «Стрельне», у цыган. Цыгане действовали на меня неотразимо. Тут я пил без меры, перепивал всех в Т-ва компании и тем приводил ее в восторг.

В балетные дни компания наша обязательно собиралась в Большом театре, так как все ее члены были балетоманы и состояли в близких отношениях с танцовщицами.

Не стану описывать московский балет и его танцовщиц, пленявших сердца моих товарищей по кутежу. Мне, как петербуржцу, привыкшему к блестящему петербургскому балету, московский казался жалким и бесцветным, но мои товарищи увлекались тем, что было налицо. Да и увлекаться им, мне казалось, было трудно. Какие мысли и увлечения могли быть у людей, с утра до ночи завтракавших и обедавших и никогда не протрезвлявшихся? Попал я в эту компанию

случайно и пропутался в ней долго. Напиваться с утра до ночи изо дня в день было для меня невыносимо. Оттого я и не мог сделаться неразлучным спутником этой сумбурной компании, тем более что явилось радикальное отвлекающее средство в лице одной прелестной барышни, овладевшей моим сердцем.

Москва — провинция. Здесь все знают друг друга. В это время все узнали двух хорошеньких сестер Б. — Тиночку и Эммочку. Они не принадлежали к высшему кругу, но часто бывали на балах и вечерах Дворянского клуба и на модном катке Фомина.

Представленный им на балу в дворянском собрании, я стал бывать в доме их матери, толстой немки с сильно подвижными глазами, и вскоре сделался безотлучным кавалером прелестной Тиночки. Шестнадцатилетняя красавица овладела моим юнкерским сердцем. Это была первая чистая любовь. С пылкостью моего характера и необузданностью моего нрава, я увлекся до самозабвения.

Но Т-ой компании я все-таки не забывал. Там меня журили и смеялись надо мной.

— Помни мое слово, — говорил мне М., — словит тебя мамаша на каком-нибудь поцелуе и... марш под венец. И повезет наш юнкер юнкершу в Варшаву.

Как-то раз я зашел в «Славянский базар», застаю компанию в полном сборе.

— Вот, кстати пришел, у нас сегодня новинка, — говорит М., — рассказчик из жидов, говорят, презабавный.

Действительно, вскоре явился в кабинет рассказчик. Это был среднего роста, худой, бритый, с весьма почтенных размеров носом, еврей.

— Артист В-г, имею честь представиться, господа, — проговорил он.

— Милости просим, очень рады, садитесь. Какого хотите вина?

— Я не пью вина, господа, благодарю вас.

— Как, артист и не пьет? Да может ли быть? Ну, а завтракать не откажетесь с нами?

— От этого не прочь.

И он заказал себе что-то. Пока компания не упилась, все шло благополучно. Но, по мере того, как все хмелели, к артисту стали приставать и подсмеиваться над ним, заставляя пить.

— Да что же, господа, — обратился Т-в, — все мы мокрые, а он сухой. На что это похоже, да еще хочет уйти? Нет, брат, шалишь. Не хочешь подмочиться вином, так мы тебя в стерляжий бассейн окунем.

— Браво, отличная мысль, — подхватила пьяная компания, — тащи его к стерлядкам.

Тотчас его схватили и понесли в общий зал ресторана в бассейн купать. Публика в недоумении поднялась с мест, и шествие уже было у самого бассейна, когда В-г нашелся:

— Стойте, господа, я до сих пор не хотел пить, так я с удовольствием выпью рюмку водки. Прикажите подать водки и простыню. А пока я выкупаюсь, — с этими словами он бросился сам в бассейн.

— Вот так молодчина, ура! — гаркнула на весь зал компания. В-га вытаскивают из бассейна, мокрого обнимают, целуют и ведут с триумфом обратно в свой кабинет. Эта добровольно-вынужденная ванна сделала В-га героем в глазах пьяной компании и дала ему место завсегдатая в обществе Т-ва.

Со дня купанья в «Славянском базаре» компания не разлучалась с ним несколько месяцев и озолотила его.

Так проходило для меня время в Москве. Наконец, приказ о моем переводе в гродненские гусары заставил меня сменить колет на венгерку и приготовиться к отъезду.

Переход в гусары я решил отпраздновать и заказал в «Стрельне» обед, который удостоили своим посещением Тиночка с сестрою и матерью. Большой зал, выходящий в зимний сад, был откуплен мною на этот вечер, стол на двенадцать гостей был накрыт среди экзотических растений и устлан скатертью из живых цветов, белых камелий. Дамам я поднес по букету фиалок, выписанных из Ниццы. Оркестр музыки во время обеда, цыгане и жженка, очаровательный образ Тиночки, — все это так запечатлелось в моей памяти, что невольно возвращаешься к этим воспоминаниям. Это был прелестный сон, не перешедший, по воле судеб, в действительность, о чем впоследствии я неоднократно жалел.

Отъезд в Варшаву, молодость и новые впечатления излечили меня от этого первого чистого увлечения, оставившего незабвенные воспоминания на всю мою жизнь.

IV
Служба в Варшаве

На вокзале в Варшаве я нашел моего лакея Петрушу. Он приехал за несколько дней до меня с двумя парами рысаков и с великолепным караковым парадером, купленным для меня отцом в Москве. Петруша за несколько дней пребывания в Варшаве успел подыскать подходящую квартиру, но не решался снять, так как слышал, что, по обычаю полка, все холостые офицеры и юнкера живут в казармах, где им отводятся казенные квартиры.

Остановился я пока в «Европейской гостинице» на Краковском предместье, и на другое же утро, одевшись в парадную форму, в коляске, запряженной парой вороных, поехал явиться в полк.

В канцелярии полка я узнал, что я зачислен в лейб-эскадрон, а потому отправился прежде к моему эскадронному командиру, ротмистру Г. Ротмистр, хотя и был семейный человек, но жил также в полковом казенном доме. Он принял меня очень любезно и представил своей жене, после чего повел меня к командиру полка, графу Б. Явившись к нему, я передал имевшиеся у меня на его имя рекомендательные письма от моего бывшего командира графа П-ва-Б-ва и моего дяди, генерала Савина.

Граф, благодаря полученным письмам, принял меня очень радушно и сказал мне, что велит мне отвести квартиру в офицерском доме, а пока разрешает мне жить в городе.

От графа вместе с ротмистром мы отправились в полковой клуб, где я был представлен всем присутствующим офицерам.

В полку у меня уже было несколько знакомых, в том числе полковой адъютант, штаб-ротмистр О., хороший приятель моего старшего брата, который был настолько любезен, что предложил мне до отвода и отделки квартиры остановиться у него, чем я и воспользовался.

Гродненский гусарский полк расположен не в самой Варшаве, а в предместье Лазенки, и от казармы до центра города было почти три версты. Это расположение, а также и традиции полка, дали полковой жизни отпечаток особенно тесного товарищества. Офицеры всегда вместе живут одной семьей, клуб же связывает их еще более.

Познакомившись с офицерами и единственным юнкером, служившим в то время в полку, князем Ч., и сделав им визиты, я на другой же день переехал из гостиницы к О. Но у него я прожил недолго.

Подружившись с моим взводным командиром, штаб-ротмистром Ц., я воспользовался отъездом в отпуск и перебрался к Ц. Он был человек веселый, и первый познакомил меня с варшавской жизнью. Он, между прочим, повез меня в балет и представил своей возлюбленной, а также ее подругам по балету.

Начались у нас ужины, катанья и увлеченья. Но все это носило милый, безобидный характер. В новом обществе я позабыл московскую любовь.

Лихая тройка, которую я завел по приезде в Варшаву, приводила в восторг всех паненок и, катаясь на ней, они забывали всю свою ненависть к москалям, ко всему русскому. Эта ненависть, в сущности, уже значительно повыдохлась в то время как я приехал в столицу Польши. В особенности, среди женщин, которые далеко не враждебно относятся к своим русским поклонникам. Мои кутежи и ухаживанья сделали меня скоро известным во всей Варшаве.

Быстро летело время, и полтора года скоро и незаметно промелькнули. Хотя я и кутил в Варшаве, но все же была возможность немного заняться и приготовиться к офицерскому экзамену, который, наконец-то был выдержан, и меня произвели в корнеты. Вскоре за производством появились снова тучи. Долги — эта петербургская болезнь, — явились у меня и в Варшаве. Первым толчком к долгам были, конечно, кутежи и безумное бросанье денег на женщин. Возросли же долги вследствие ловкости в опутывании ростовщиков, которые с замечательной ловкостью давали взаймы, но затем с замечательным уменьем делал из всякого маленького долга — колоссальный. Вексельная бумага в их руках делала чудеса, и долги росли, как снеговой шар.

Будь одни только кутежи причиной этих долгов, то они не были бы так крупны. Но, к несчастью моему, я втянулся в карточную игру. Проигравшись в своем клубе я стал играть в городских, где велась очень крупная азартная игра в баккара и, вместо того, чтобы отыграться, продулся в пух и прах. Не проходило дня, чтобы я не проигрывал несколько тысяч, и долги достигли к моему выходу из полка до двухсот тысяч.

Такая жизнь измучила меня. Нервы были непрерывно напряжены, я стал горячиться, вследствие чего выходили неприятности и скандалы.

Как-то раз у меня собралась компания офицеров. Стали играть в баккара. Игра шла на круглом столе под большой висячей лампой. Вдруг, неожиданно, появляется без доклада наш полковой портной, еврей Данилка. Неожиданные появления поставщиков-евреев в офицерские квартиры не редкость: этим поставщикам должны все, и они караулят момент застать офицера при деньгах. Тут никакие меры не действительны: жид всегда прорвется или прокрадется мимо прислуги и предстанет пред офицером. Так было и в этот раз. Данилка пристал ко мне и еще к другому офицеру, прося уплатить долг.

— Убирайся, денег нет, — крикнул я на него.

— Как это мозно, сто у пана денег нет, когда пан играет в карты; я знаю, что у пана тысячи в кармане, а бедному Данилке всего надо триста рублей.

Никакие уговоры, ни даже приказания лакею вытолкнуть явившегося, не действовали, и он продолжал приставать.

— А, так ты не хочешь уйти. Ну, так постой же, я тебя сейчас застрелю!.. — Я взял лежавший на письменном столе револьвер, заряженный холостыми патронами для ученья.

— Не уходишь?!

Я выстрелил.

От сотрясения воздуха висевшая над столом лампа погасла и, когда зажгли ее, то, к общему изумлению, нашли Данилку лежащим на полу без чувств. Представившаяся картина не могла не поразить и не испугать меня. Мысль, что, быть может, не попал ли по ошибке боевой патрон в числе холостых, промелькнула. Бросились к Данилке, положили его на диван, раздели и осмотрели — ни царапины. Пришедший вскоре полковой доктор, за которым мы послали, констатировал обморок. Эта шутка, имевшая такие последствия, конечно, наделала мне много неприятностей. Не могло не дойти все случившееся до командира полка, не говоря уже о том, что я должен был щедро заплатить Данилке.

Данилка очень комично объяснил ситуацию:

— Я знал, что пан Савин шутит и «пишталет» не был заряжен. Когда же он выстрелил, я все-таки испугался и упал. Открыв один глаз, я хотел уже встать, как вдруг, гляжу, темно. Тогда я подумал себе: я уже совсем мертв, и от этого со мной сделалось дурно.

Другой случай был с маляром Ицкой. Этот еврей взялся произвести разные работы в моей конюшне, которую я задумал отделать

довольно затейливо. Стойла и денники отделывались под дуб, потолок под мрамор, ставились все приборы и шары медные. Ицка перебрал у меня множество денег, а отделка конюшни не подвигалась, несмотря на мои настойчивые требования. Наконец, стойла кое-как были отделаны, но краска не сохла очень долго. Между тем, лошадям моим было тесно и неудобно в их временном помещении в эскадронной конюшне. Осматривая работу, я нашел, что краска не сохнет вследствие дурного качества. Ицка уверял в противном, говоря, что все уже высохло, и после моего ухода из конюшни тайно от меня убедил кучера поставить для пробы серого Визатура в невысохшее стойло. Прихожу я на другой день к конюшне и — легко представить себе мое бешенство, — вижу любимую лошадь выпачканной в желтую масляную краску, которую и отмыть почти нельзя. Разузнав подробности, я набросился на Ицку, который, почуяв бурю, спрятался в самый темный угол конюшни.

— Так это ты устроил? Конюшню всю изгадил, а теперь лошадь портишь!

Со мной были мои товарищи корнет Б. и юнкер князь Ч. Они были также возмущены.

— Ну, Ицка, за твое нахальство я накажу тебя твоей же краской. Взять его, — крикнул я своим конюхам, — вешай его на этот крюк и выкрась его самого!

Солдаты и юнкера, довольные случаем потешиться, быстро бросились исполнять мое приказание. Подвесили Ицку на вожжах под мышки на фонарный столб, а конюх длинной кистью маляра быстро вымазал его желтой краской с ног до головы.

Ицка вопил благим матом. Крики и вопли его долетели до офицерского собрания и канцелярии полка. Оттуда пришли офицеры и уговорили меня снять его.

Вне себя от ярости, азартный Ицка бросился, как был, к командиру полка и, не довольствуясь этим, побежал в город жаловаться полицмейстеру. За эту проделку я высидел три дня на гауптвахте. И, конечно, эти скандальчики, в связи с долгами моими, мало-помалу привели меня к необходимости оставить столь любимый полк и расстаться с милой Варшавой и ехать в Петербург.

V
Петербургские кутилы

В Петербурге я поселился в «Европейской гостинице» и стал посещать свой старый полк. Большая часть моих товарищей еще была юнкерами, и во главе их царил все тот же Яша Х-в. Он сделался известностью Петербурга по своей разгульной жизни и расточительности, а еще больше по своей оригинальной фигуре: в двадцать лет он расплылся до необъятной толщины. И этот-то бочкообразный юнкер появлялся везде и выкидывал штуки, до того времени неслыханные. Своими выездами и лошадьми он так намозолил глаза начальству, что вышел приказ, запрещающий юнкерам ездить иначе, как на извозчике. Неугомонный Яша не сдался, он немедленно же взял в Думе несколько извозчичьих ярлыков, прибил их к своим экипажам и с прежним треском стал показываться на Морской и Невском в обычные часы катанья. Посмеялись этой выходке и махнули на него рукой.

Жил Х-в в Пантелеймоновской, где занимал целый дом, а на дворе помещалась его знаменитая конюшня и манеж. Квартира его была похожа на клуб. Лакеев, гайдуков, карликов в фантастических ливреях был целый полк. Сам Х-в носил дома генеральскую форму, и все его величали «ваше превосходительство». Товарищи, в особенности юнкера, были у него как дома: ели, пили, даже спали без всякой церемонии. Х-в на ученья и занятия в то время не ездил, так как готовился к офицерскому экзамену и от полковых занятий был освобожден.

Офицеры полка, за исключением двух-трех, к нему теперь не ездили, считая его образ жизни и поведение предосудительными. Собирались к нему, как я уже сказал, юнкера и кое-какие штатские из известных буянов Петербурга, да несколько правоведов и лицеистов из «лустигов»[5].

Время проводила эта компания весьма своеобразно и оригинально. То и дело придумывали какую-нибудь экскурсию или забаву, но непременно почудней. Руководителем этой компании был юнкер князь К., милейший малый, но отчаянная голова.

Взяв извозчичьи ярлыки, Х-в придумал извлечь из них забаву. И вот, накупив извозчичьих саней, члены компании запрягали их

---

[5] Весельчаков (от *нем.* lustig).

вечером лошадьми из Х-ой конюшни, сами одевались извозчиками и выезжали на промысел. Посадят какого-нибудь господина и везут его в противоположную сторону. Седок ругается, извозчик хохочет, а потом выталкивает седока своего из саней и сам удирает. Большею частью ареной этих проделок были театральные разъезды, и главной забавой развоз актрис. При этом старались разлучать мужей актеров с женами, увозя каждого из них в разные стороны на разных санях.

Проездив часа два-три по городу, юнкера-извозчики съезжались к Х-ву и рассказывали свои проделки при общем хохоте развеселой компании. Когда извозничество надоело, то мы придумали новую затею: насядем в тройки и разъезжаем по городу: бьем палками и саблями стекла в окнах, а сами удираем в карьер от свистков полиции. Потом стали тушить фонари по разным улицам приспособленными для этого палками и, наконец, пристрастились к театру Берга, куда стали ездить и, в конце концов, взяли его антрепризу.

Театр Берга был тогда единственным и первым рассадником опереток на русской почве. Он был, в сущности, модным аристократическим притоном разврата. Почти исключительно мужская публика этого театра состояла из пожилых сановников, приходивших сюда отдохнуть от государственных трудов, из гвардейской молодежи, убивавшей тут досуг зимних вечеров, и всех, кому избыток денег и склонность к наркозу вели туда. Приманкой театра служил персонал исполнительниц. Большая часть шансонеток пелась на французском языке французскими бульварными певицами, приехавшими за русскими рублями. Лихой, бравурный шик, хорошенькие и пикантные лица исполнительниц, костюмы, крайне откровенные, — все это разжигало страсти даже пресыщенных и почтенных особ и туманило головы молодежи. Француженки были все на содержании или искали содержателей, обнаруживая при этом изумительные таланты не столько на сцене, сколько за кулисами.

Примадонны пристраивались к старичкам-капиталистам, более мелкие доставались молодежи. Содержатели были известны всем завсегдатаям Берга, отношения их к содержанкам были на виду у всех. M-lle Филиппо, звезда театра, была на содержании у местного помпадура, и его высокую фигуру можно было видеть каждый вечер в первом ряду кресел. Как бы для контраста с ним так же часто появлялся и сидел всегда рядом среднего роста, почти шарообразный, толстый помощник его с лысиной во всю голову.

Главный цензор, блюститель нравственности и патриотически уравновешенного направления в литературе, держал на содержании в то время Blanche Gandon, знаменитую своей шансонеткой «La chose».

Известный всей России сановник, друг Каткова, ярый его почитатель и защитник, появлялся обыкновенно на правой стороне первого ряда.

Седина и лишенные волос головы блестели по всему театру вперемешку с золотом военной молодежи. Старики покровительственно относились к молодым и даже оказывали им своего рода содействие. Поэтому театр Берга, могущественно покровительствуемый, можно было по справедливости назвать рассадником отечественного разврата.

Здесь культивировался и акклиматизировался разврат для дальнейшего преуспевания и распространения по Руси. Старички возмущались нижегородскими арфистками, указывали на них в укоризненных замечаниях, переходивших иногда в правительственные меры против разгула арфисток в трактирах, и везли сыновей и племянников к Бергу. Французский разврат на Руси — не разврат. Один тайный советник, отец двух моих товарищей-лицеистов, говорил:

— Это освежает, mon cher, рассудок. Пусть мои сыновья идут лучше к Бергу, чем знакомятся с Базаровым, Ренаном и другими нигилистами.

Мало-помалу, когда француженки повыцвели и поизносились, персонал театра стал пополняться русскими девицами. Хорошее личико, роскошный стан и смелая наглость подменяли таланты. В театре, собственно, было очень мало театрального.

Когда сам Берг, понажившись, бросил антрепризу, театр стал переходить из рук в руки, от одной певицы к другой. Конечно, антреприза велась на средства содержателя, и первым из такого рода антрепренеров явился Яша Х-в, для своей Антуанетты.

Антуанетта была, собственно, второстепенная шансонетная певица. Устроить временную связь и подчинить всегда полупьяного обожателя для каждой француженки, прошедшей огонь, воду и медные трубы еще в родной Франции, было делом нетрудным. Чем затея их была оригинальнее и новее, тем больше она привлекала такие натуры, как Х-в, которому и море по колено, и на всякое дело есть деньги. Вот почему он, не задумываясь, сделался антрепренером.

Антуанетте управление театром, как и сам Х-в, вскоре наскучили и, нажившись, директриса уехала с берегов Невы на берега Сены менять рубли на франки и экю. Театр перешел к другому юнкеру-богачу, взявшему его для своей русской дульцинеи Кати Чижик.

Катя Чижик была своего рода петербургской известностью.

Простая работница одной из прачечных в Подьяческой, лет с шестнадцати пустившаяся в уличный разврат, с хорошеньким личиком и сметливым умом, она была известна всем и каждому, с первых же дней поступления к Бергу. Не обладая ровно никаким сценическим дарованием, но, сумев подметить и перенять непринужденно-вызывающую манеру держать себя на сцене у берговских француженок, она при своих физических качествах действовала неотразимо. Имея острое чутье для выбора любовников, эта Катя через два-три года после прачечной имела уже значительные сбережения и, наконец, поймав несметно богатого юнкера, завладела им вполне, купила себе дом и, взяв антрепризу берговского театра, сменила Антуанетту в качестве директрисы.

Характерной чертой Кати Чижик была погоня за деньгами. Эта страсть, во что бы то ни стало добыть побольше денег, проявлялась как мания. Будучи еще уличной женщиной низшего разряда, с манерами и речью прачки, резавшей глаза, она кочевала одна или с переменными подругами из трактира в трактир, оригинальничала, заходила в бильярдные, всюду на минутку, и везде и всегда требуя у каждого встречного разделить с ней минуты досуга, причем слово «чижик» она изобрела сама, называя так «зеленую кредитку», так что сначала ее только и знали под прозванием «Чижик».

Бóльшая часть уличных, продажных женщин — существа в высшей степени несчастные. Они тяготятся тем образом жизни, какой им приходится вести и фактически ведут его с отвращением и лишь настолько, насколько это неизбежно, чтобы иметь скудный кусок насущного хлеба.

Стремление к наживе проявилось в Кате и тогда, когда какой-то господин из персонала мелких служащих театра Берга пристроил ее в хористки. У нее был голосок приятного тембра, а уменье держать себя на сцене она выработала быстро.

Катя остановилась вовремя, мания наживы нашла себе другие проявления. Вот почему она и занялась всецело сама театром.

У Берга было немало курьезов. Литерная ложа обыкновенно была занята гвардейскими офицерами и юнкерами, а буфет содержался общей приятельницей — знаменитой Марьей Ивановной, нажившей три каменных дома от юнкеров, главным образом, от посредничества между актрисами и представителями Марса.

Катя Чижик скоро отделилась от нашей компании, занявшись театром всерьез, мы же всерьез ничего не любили, а потому и покинули вскоре этот балаган для других затей.

Бросив театр, мы увлеклись катаньем на тройках и цыганами. Ездили ежедневно в «Ташкент» и «Самарканд» и, конечно, написались там до белых слонов.

Во время этих поездок за город, юнкера продолжали выкидывать свои безобразные проделки ради ухарства и удальства. Новой забавой было следующее. Брали мы с собой в сани копытной мази или ваксы и щетку с длинной ручкой, заезжали на Петербургскую или Выборгскую сторону в глухие улицы, разыскивали там дом, где происходило какое-нибудь пиршество. Дома в этих частях большею частью низкие, что способствовало удачному выполнению наших проделок. Подъехав к такому дому, где справляли именины или свадьбу, два юнкера подходили и стучали в окно. Обыкновенно отворялась оконная форточка и в ней показывалась голова какого-нибудь расфранченного чиновника с вопросительной физиономией. В один миг его схватывали юнкера за волосы, а третий, приготовленной щеткой с ваксой, вымазывал злосчастному франту лицо, после чего вскакивали на тройки и мчались.

Эти проделки наделали много шуму по всему Петербургу. По городу ходили самые разнообразные рассказы о нас, конечно, с прибавлениями. После этого моего приезда и участия в скандалах, городское начальство уже серьезно обратило на нас внимание. Я имел еще с ранних лет столкновения с полицией, не только в бытность мою юнкером, но даже на скамье лицея. Всесильный Трепов помнил меня по выходке в «Буффе». Но открытое преследование меня началось лишь после громкого скандала, наделавшего немало шуму.

Дело было весной. В то время мы часто ездили на острова, вечера кончали у Понса или у Ромашки в «Самарканде». Порядком погуляв, я возвращался с лейб-гусарским юнкером П-м домой на тройке.

Проезжая по Строгановскому мосту слышу, как едущие рядом со мной на извозчике двое штатских толкуют:

— Вот, — говорит один другому, показывая тросточкой по направлению нашей коляски, — это и есть те самые пустозвоны-скандалисты, выкидывающие все эти скандалы по Петербургу. Надо бы их когда-нибудь хорошенько проучить.

Услыхав это, я останавливаю тройку, выскакиваю из коляски и подхожу к ним.

— Это вы про меня и про моих знакомых так выражаетесь? — спрашиваю я.

Незнакомцы стали кричать и звать полицию, браня военных, в том числе и нас.

— Ну, П-н, надо проучить этих негодяев. Бить их не стоит, — бросим их в воду, пусть они охладят свою пылкость и запомнят, как нас учить.

Схватили мы с П-м по штатскому и бросили их без всякой церемонии в Неву. Конечно, собрался народ; полиция стала вылавливать утопающих из реки. Спасли.

На другой день нам пришлось ехать объясняться с генералом Треповым и с нашим начальством. Дело затушили. Но нас рассадили: меня на гауптвахту, а П-а на конюшню в полку. Эта история, и все прежние истории и скандалы, сделали свое: меня уволили в отставку. Генерал же Трепов заставил меня горько искупить все мои проделки.

VI
Первая любовь и уголовное дело

Перед самым моим выходом в отставку я немного отстал от компании Х-ва и увлекся балетом. В балете в то время появилась вновь выпущенная из театрального училища балерина П.; дочь балетмейстера и знаменитой танцовщицы, она пошла по стопам своих родителей, дебютируя на семнадцатом году в «Голубой георгине». Появление ее на сцене произвело сенсацию не столько вследствие искусства молодой дебютантки, сколько вследствие ее замечательной красоты, грации и пластичности. Дочь русской красавицы и красавца француза, она соединила в себе все прелести обоих и, как бывает почти всегда при смешении рас, вышла далеко лучше родителей.

Хотя петербургский балет и насчитывал в то время в своих рядах немало красавиц, но давно не видели на сцене такой красавицы, как П.

Я, как балетоман, не помню другого такого триумфа и удачного дебюта. На меня, по правде сказать, действовало не искусство П., я увлекся ею не как балетоман, а как молодая, увлекающаяся натура, пылкая и невоздержанная. С первого знакомства с П. Я почти перестал бывать у Х-ва, проводя все время у красавицы. Я возил ей цветы и конфеты, пока она не уехала с отцом в Ораниенбаум.

В это время против меня было возбуждено уголовное преследование. Дело не имело никакой криминальной подкладки, но принесло мне много неприятностей, а главное — отозвалось впоследствии слишком тягостно на всем строе моей жизни.

Дело заключалось в следующем. Будучи в долгу, как в шелку, я продолжал, для поддержания моего образа жизни и уплаты процентов делать новые долги. По рекомендации одного товарища, я познакомился с комиссионером П., который взялся учесть мои векселя и достать мне денег. Хотя я в то время был несовершеннолетним, но векселя мои учитывались охотно петербургскими ростовщиками, знавшими из опыта, что отец платит мои долги.

Векселей П. я выдал на двенадцать тысяч рублей. Он векселя взял, но денег не дал. Долго не получая денег, я поехал к генералу Трепову с жалобой. Тот приказал разыскать комиссионера, но, по наведении справок, оказалось, что П. векселя учел, а сам скрылся.

Спустя год ко мне явился неизвестный господин и просил уплатить ему по векселям четыре тысячи рублей. Я заявил, что предъявляемые векселя у меня были украдены П-м, о чем я своевременно и заявил полиции, и что я по ним не только не буду платить, но задержу их, как свою собственность. Пришедший начинает кричать, жестикулируя и грозя полицией. Меня, как человека вспыльчивого, все это привело в бешенство, и я, не долго думая, разорвал векселя в клочки, бросил их в лицо владельца и вытолкал его из номера.

Через несколько дней меня вызывает судебный следователь и допрашивает в качестве обвиняемого. Оказывается, по закону я был не прав, разрывая вексель, так как нарушал этим право третьего лица, которое не могло знать о краже.

Я три месяца серьезно ухаживал за П., безумно в нее влюбленный. Денежные дела мои запутались окончательно. В сентябре вышел приказ об увольнении меня в отставку, и я решился, наконец, поехать в деревню к отцу для поправки обстоятельств и для того, чтобы получить благословение на мой брак с красавицей П.

Пробыл я в деревне дольше, чем предполагал, так как подготовить отца с матушкой было не так легко, и нужно было действовать, не торопясь. Но когда я в первый раз высказал цель моего приезда, поднялась целая буря.

Матушка заболела от горя, принесенного ею этой вестью. Отец же назвал меня неблагодарным и заявил, что, пока жив, этому не бывать, и запретил мне даже говорить ему о моей танцовщице, как он называл Марусю П.

Не добившись ничего от моих родителей и прожив в деревне около четырех месяцев, я в феврале вернулся в Петербург с целью жениться на Марусе. Но вместо этого мне пришлось вынести новый неожиданный удар.

Приехав в Петербург, я остановился у моего друга Х., который был, наконец, произведен в корнеты и успел уже жениться на своей любовнице — опереточной артистке К-ич. Этот неожиданный случай моего друга очень забавлял, и мне любопытно было поглядеть, как «Прекрасная Елена» (Зиночка) живет со своим Парисом (Яшей). Поэтому я и остановился у них, главным образом.

От них я узнал все интересующие меня театральные новости. Маруся П. переехала жить к отцу, который очень благоволил к ухаживавшему за ней моему бывшему товарищу, очень богатому офицеру

Т-ву, и влюбившемуся в П. Узнав, что в этот вечер идет «Трильби», и что П. занята, я решил увидеться с П. на театральном подъезде после спектакля.

Перемен было немного у женатого корнета. Та же квартира, та же обстановка, те же лакеи, та же бесшабашная юнкерская компания с люстигом Э-м во главе. Изменилась только форма самого Яши, и генеральский сюртук, который он носил в юнкерские времена, он переменил на корнетский мундир, да на месте, занимаемом прежде какой-нибудь дамой полусвета, сидела теперь экс-Прекрасная Елена, — его законная супруга.

После обеда я поехал в театр. Балет с его традиционной обстановкой и завсегдатаями был все тот же. Только явилось несколько новичков, в том числе Т., который мне поклонился с язвительной, вызывающей усмешкой.

Со страшным нетерпением ждал я выхода Маруси П. В «Трильби» она танцевала с Кшесинским в последнем действии характерный танец, так что мне пришлось ждать довольно долго. Когда же, наконец, она появилась с очаровательной улыбкой, в прелестном костюме цыганки, сердце мое забилось.

Балет кончился, и балетоманы двинулись, по давно заведенному обычаю, к театральному подъезду. Закутавшись в военную шинель, которую я носил по привычке и по выходе в отставку, я с трепещущим сердцем пошел также на театральный подъезд ожидать встречи с любимой женщиной после столь долгой разлуки.

Но не успел я выйти из театра, как вдруг ко мне подходит местный участковый пристав. Я сначала не обратил никакого внимания, но, видя, что он мне подмигивает и, видимо, что-то хочет сказать, подошел к нему ближе.

— Николай Герасимович, к величайшему моему сожалению, я должен вас арестовать. Пойдемте, без скандала, в участок!

— Меня арестовать? За что?

— Вы сосланы административным порядком в Олонецкую губернию.

Можно себе представить ужас человека, которому нежданно-негаданно говорят об аресте в тот момент, когда он всем своим существом рвется к встрече с любимой женщиной!

Пережитого в эти минуты я не могу описать. Я не сознавал окружающего и очнулся только в Петрозаводске.

Помню, что в чаду охватившего меня первоначального ужаса я уведомил родственников, а так как родственники у меня были влиятельные, то они отнеслись отзывчиво к моему положению и приняли все меры к тому, чтобы отменить распоряжение, состоявшееся по инициативе генерала Трепова.

Когда я приехал в Петрозаводск, то местная администрация была уже уведомлена по телеграфу об отмене моей административной ссылки, и я, не теряя ни минуты, полетел обратно в Петербург. Но возвращение было для меня новым ударом: Маруси уже не было!

VII
На войну. Кишинев. В походе

Убитый горем и желая избежать встреч с П., которая сошлась с Т-м, я уехал из Петербурга к отцу в деревню, где, вдали от столичного шума, мирно провел около года. Отец заплатил мои долги и даже передал мне в собственность одно из своих имений, чтобы дать мне возможность служить по выборам. Но службой я не занялся, а при первых слухах о войне и мобилизации нашей армии уехал в Кишинев, где явился к августейшему главнокомандующему, прося его зачислить меня в один из кавалерийских полков. По приказанию великого князя, меня зачислили по роду оружия и, до выхода еще высочайшего приказа, прикомандировали к Донскому казачьему полку, входившему в состав 9-го армейского корпуса. Полк мой стоял в то время в Подольской губернии, и я оставался ожидать его в Кишиневе, куда он должен был скоро прийти.

Полк пришел к концу апреля и представлялся на смотру великому князю, который осматривал лично каждую проходившую через город часть.

Меня зачислили в третью сотню и дали командование полусотней. Командир сотни был человек простой. Ел вместе с сотенным вахмистром, который был его кумом и первым другом. Ложку свою он всегда носил за голенищем, как простой казак. Звали его Поликарпом Семеновичем.

Первое время похода шло однообразно: все те же переходы, те же бивуаки, те же мелкие молдавские городишки. Больше всего меня поражала ловкость казаков доставать в трудные минуты все необходимое. Стоило только сказать.

Раз как-то, подходя к Бухаресту, мы остановились бивуаком недалеко от одной помещичьей усадьбы. Переночевав, мы двинулись на рассвете дальше. Но не успели пройти двух-трех верст, как нас нагоняет прилично одетый господин, в шикарном экипаже. Остановив свою коляску, он подходит к полковнику и что-то говорит ему. Скомандовали полку «стой». В это время подскакивает штаб-трубач и просит меня к полковнику.

Подъезжаю

— Вот, — говорит, — вы, корнет Савин, маракуете у нас на всех языках, — объяснитесь, пожалуйста, с этим барином и узнайте, что он от меня желает.

Румын объясняет мне по-французски, что он местный помещик, у которого, к удивлению всех его домашних, ночью пропали вся домашняя птица, около ста штук, и два теленка. — Ему, — говорил он, — хотя и совестно обвинять русских солдат, но он уверен, что это совершили наши казаки. — При этом он прибавил, что не имеет претензий на казаков, но желает убедиться в справедливости своих предположений и узнать, куда могли казаки девать его птицу.

Полковник приказал позвать к себе сотенных командиров и вахмистров.

— Прикажите принести сюда всю живность, — обратился к ним полковник. — Жалоб никаких не будет, обещают даже дать на водку.

Полк спешился, и вскоре со всех сторон казаки стали сносить к полковнику индеек, кур, гусей, уток, поросят и куски телятины, так что, по подсчету, оказалось больше того, что заявил румын. Все это было спрятано в седлах да лошадиных хвостах. В хвост засовывалась, например, курица или поросенок, и хвост завязывался узлом.

Помещик хохотал до упаду, и ему пришлось пожертвовать все, украденное у него, и, кроме того, прибавить на водку десять золотых.

Полк наш пошел на стоянку в Слатин, а я отправился в отпуск в Бухарест, где немного отвлекся от казачьей жизни.

Бухарест и румынки

Бухарест совершенно европейский город, во время же войны и пребывания в нем русских оживился еще больше и сделался Парижем. Русские имеют какую-то особенную черту не обрусевать, а скорее офранцуживать все их окружающее. Так было и в Бухаресте. На улицах только и была слышна французская речь. Куда ни глянь — все французские гостиницы и рестораны с настоящими уже Борелями, Контанами и пр. Театры все французские, шантаны тоже парижские, настоящие: «Альказар», «Фоли-Бержер», «Альгамбра» с мадемуазелями Колер, Филлито и Альфонсиной во главе. Французских кокоток наехало так много, что хоть пруд пруди и, наверное, на Итальянском

бульваре их столько не встретишь, как в то время на бухарестском Подмогоше. В магазинах товар тоже был большею частью французский. Я даже купил форменную русскую фуражку от «Леон а Парис». Вина продавались чисто французские, и драли за них немилосердно: по золотому за бутылку и дороже.

Гостиница, где я остановился, была самая аристократическая; в ней останавливались все наши высшие военные и гражданские власти, начиная с генерала Скобелева. Рядом со мной занимал номер один важный дипломат Г. Дипломат, хотя был довольно преклонных лет, но затеи у него были самые фолишонские[6], и предавался он этим забавам почти каждый вечер в компании двух французских кокоток, которых в Бухаресте звали Фифи и Люлю.

У меня каждый вечер был даровой спектакль. Для наблюдений стоило только потушить огонь и приложить глаз к замочной скважине. Как ни неловко было подглядывать, но материал для наблюдений и действующие лица этих спектаклей были настолько исключительны, что я позволял себе делать это. И чего-то я в эту замочную скважину не нагляделся!

У компаньона дипломата была тоже француженка-содержанка, хорошо знакомая всему Петербургу рыжая Сюзет. Иногда Сюзет со своим старым жуиром тоже проводили вечер у дипломата Г.

Глядя на старичков, мне, молодому корнету, простительно было тоже завести себе для препровождения времени француженку. В Бухаресте недолго приходилось искать, — только выбирай, тем боле, что румынки конкурировали с приезжими француженками.

Румынки прелестны, и мало где вы встретите более грациозных, пылких и красивых женщин, как там. При этом нравы румынок не строги, мужья их не ревнивы, а страсть красиво наряжаться заставляла их прибегать к более легкой наживе. Я первое время просто удивлялся этой простоте нравов.

Раз как-то, гуляя по аристократической части города, я увидел прелестную, элегантную женщину, сидящую на балконе. Заглядевшись на нее, я раза два или три прошелся по тротуару и собирался уже уйти, как вдруг ко мне подбегает девочка лет двенадцати и, обращаясь по-французски, передает, что сестра ее N. желает меня

[6] «Фолишонские» — игривые, шаловливые (*фр.* folishon).

видеть и просит зайти в дом. Хотя я и был изумлен этим предложением, но все-таки отправился за девочкой. При входе я был встречен дамой, которую видел на балконе, и она объяснила мне на французском языке, что она очень любит русских офицеров и рада познакомиться со мною. Я представился и дал ей свою визитную карточку. После этого она без церемонии усадила меня рядом с собою на оттоманке и стала разговаривать со мною, как со старым знакомым. Все это дало мне повод считать мою собеседницу дамой легкого поведения. Но в то время, когда я пытался позволить себе некоторые вольности, вошел незнакомый господин, которого она мне представила как своего мужа. Он, потом, оказалось, был депутатом Национальной палаты.

Однако ни узы Гименея, ни общественное положение мужа не помешали моей незнакомке проводить со мною время в отдельном кабинете загородного, фешенебельного ресторана.

Подобные знакомства со светскими дамами Бухареста были не редкость. Из разговоров моих товарищей я убедился, что не я один был таким счастливцем.

Познакомившись с такой женщиной, я уже не искал знакомства с разными Фифи и Люлю, хотя встречал их часто в ресторанах с нашими офицерами.

В Бухаресте я проблаженствовал около месяца, потом, вызванный телеграммой, немедленно выехал к полку, который собирался в поход.

На войне. Взятие Никополя

Мы перешли Дунай под Систовом в последних числах июня и двинулись по направлению к Никополю. Наши батареи стреляли уже в то время по этой крепости с румынской стороны.

Задачей кавалерии было держать посты и разъезды в тылу неприятеля и, отрезав его от турецкого базиса, лишить возможности получить подкрепление и провиант для Никополя. Мы должны были отрезать его от Видина, где находился Осман-паша, и от Софии и Рущука, где были другие турецкие армии.

Кавалерия наша состояла из уланского и казачьего полков 9-й кавалерийской дивизии, кавказской казачьей бригады, да нашего

Донского полка. Драгунский и гусарский полки 9-й дивизии уехали в то время на рекогносцировку за Балканы с генералом Гурко.

Во время разъездов нам пришлось несколько раз бывать в Плевне, ничего в то время не представлявшей, но впоследствии ставшей такой грозной твердыней и причинившей России столько горя и потерь. В то время турецкий гарнизон состоял всего из нескольких башибузуков[7], бежавших из крепости при первом появлении наших разъездов.

Охранять тыл Никополя нам пришлось недолго. 3-го июля к нам стали стягиваться наши войска, приехал командир корпуса барон Крюденер со своим штабом, а вечером того же дня был получен приказ всем войскам, быть наготове к штурму Никополя на следующее утро.

Я радовался, как ребенок: мысль участвовать в деле и получить крещение огнем приводила меня в восторг. Всю ночь я не спал, ожидая с лихорадочным нетерпением рассвета. Более всего меня томило то обстоятельство, что кавалерии приходилось быть только свидетельницей, а не активной участницей предстоящего сражения, так как согласно присланной диспозиции задачей нашей было охранение тыла наших войск от случайного нападения неприятеля.

На рассвете 4-го июля пехота наша стала подвигаться и строиться в боевой порядок. Артиллерия выехала на позицию; с румынского берега опять началась бомбардировка из 10-фунтовых орудий. Наконец, выехала на позицию и с нашей стороны батарея, открыли огонь, и завязался бой.

С одной стороны, на темном утесе — крепость Никополь со своими бастионами, кругом крепости по склону горы до самого Дуная живописно расположен город, весь в садах и виноградниках, с высокими минаретами.

На другой стороне Дуная, на низкой луговой румынской стороне расположен красивый город Тур-Магорель с европейской распланировкой и грациозными фасадами румынских домов. Нам, стоявшим за крепостью на высоком перевале, была видна

---

[7] Башибузуки — турецкие иррегулярные войска, вербовались из воинственных племен, преимущественно в Албании и Малой Азии, для усмирения христиан, отличались жестокостью и зверствами.

вся эта прелестная картина, освещенная солнцем, а также было видно каждое движение наших войск.

В 5-м часу утра началась перестрелка, превратившаяся вскоре в жаркий бой. Артиллерия наша стреляла без перерыва, а пехота стала двигаться все ближе и ближе к неприступному утесу. Пальба слилась в один несмолкаемый рев.

Ряды пехотинцев заволоклись белой пороховой дымкой, сквозь которую то здесь, то там вздымались густые клубы дыма. А крепость, видимая нам как в панораме, тоже опоясалась облаками порохового дыма. Но что нас скоро поразило и порадовало, — это удалой подвиг одной из наших казачьих батарей. Батарея эта вскарабкалась на отрог утеса, на высоту, казавшуюся недоступной, и оттуда стала наносить страшный вред неприятелю и вскоре пробила брешь в крепостной стене.

Увидела эту брешь наша пехота, и вот длинные ряды цепи лежавших до того наших стрелков как бы выросли и быстро двинулись к крепости. Громкое «ура» и... наши ворвались в крепость. Русское знамя взвилось в воздухе над взятой твердыней.

Никополь пал. Турецкий гарнизон сдался. Потери наши были невелики. Войска были в неописуемом восторге.

После победы, Никополь был занят одним из пехотных полков 5-й дивизии, более всех пострадавшим в этом деле. Мы же двинулись вперед, на Плевну.

Плевна преобразилась. В ней уже укрепился Осман-паша, пришедший из Видина, и попытки наши овладеть ею были первое время неудачны; 8 и 18 июля мы принуждены были отступать в беспорядке. Несколько опьяненные первыми успехами под Никополем, мы не соразмерили наших сил с силами противника: наш корпус был брошен на целую армию.

Неудача 8 июля, при которой мы потеряли несколько тысяч человек, не послужила уроком или предостережением и отчаянно смелая, почти безрассудная попытка снова одним натиском выбить значительно превосходившие нас силы из позиции, наилучше отвечавшей условиям современной защиты, при скорострельных орудиях, повела лишь к еще большим потерям. 18 июля у нас выбыло из строя до семи тысяч человек ранеными и убитыми, и мы отступили в беспорядке. Только чрезмерный пыл нападения, поставивший турецкую армию в тупик, помешал Осману-паше

преследовать наш отряд, который он мог бы истребить. В результате нам пришлось остановиться и ждать подкреплений.

После несчастного ночного отступления 18 числа паника распространилась на весь наш тыл настолько, что в Систове население города и наши раненые бросились бежать к переправе, к мосту, спасаясь от воображаемого наступления турок. Я был свидетелем этой паники в Систове, будучи в то время там с взводом моих казаков, с которыми привел из Никополя пленных, препровождаемых в Россию. Мне пришлось лично убеждать население и уговаривать наших раненых не верить распространившимся слухам, принесенным испуганными отступлением болгарами.

После первых неудач под Плевной мы около полутора месяцев стояли в ожидании подкрепления и несли аванпостную службу. В особенности трудно было в болгарских степях при 45 градусах жары. Единственным спасением для нас были взятые нами в Никополе турецкие палатки.

Измучившись за это время, я, отпросившись у полковника, поехал в штаб просить перевода в регулярный полк.

Под Плевной

Корпусный штаб помещался в то время в болгарском Карагаче. Приехав туда, я остановился у ординарца корпусного командира Козлова, моего бывшего товарища по гвардии.

Объяснив офицерам цель моего приезда, я просил их представить меня корпусному командиру. После обеда мы смотрели лошадей ротмистра Козлова, у которого был замечательный белый арабский жеребец, проданный им потом генералу Скобелеву.

Корпусный командир генерал Крюденер принял меня любезно и, выслушав мою просьбу, предложил мне поступить к нему ординарцем.

Недолго мне пришлось быть без дела. У нас строили в то время в нескольких местах батареи для привезенных осадных и дальнобойных орудий. Предполагалось со дня на день начать бомбардировку Плевны и общее наступление со всех сторон. Наш корпус занимал линию от болгарского Карагача мимо Гривицы до Порадима; на правом фланге от нас были расположены румыны, а на левом фланге — 4-й корпус со Скобелевым на Зеленых горах.

На другой день, 28 августа, началось дело. Стали съезжаться со всех сторон корреспонденты и военные агенты. Эти господа слетались, обыкновенно, перед началом дела ожидая результатов, для того, чтобы сообщить их во все страны света. Из числа представителей прессы были, между прочим, знаменитый Мак-Гахан, Стенли, Немирович-Данченко и мой хороший знакомый Утин.

Перестрелка наших батарей с турецкими редутами шла очень деятельно. Неприятельские батареи отвечали нам дружно, хотя и не состояли из орудий большого калибра, как наши; но зато их орудия были дальнобойнее, и гранаты их долетали до нас. К счастью, англичане продали своим друзьям туркам старые, залежавшиеся снаряды, которые большей частью не разрывались. Кроме того, турецкие артиллеристы не отличались искусством пристрелки, вследствие чего снаряды перелетали или не долетали.

В это время все в нашем отряде, от генерала до простого солдата, были в лихорадочном ожидании общего наступления на Плевну; по только что полученной диспозиции на следующий день, 30 августа, я получил совершенно непонятное, и крайне лаконическое предписание от моего полкового командира немедленно явиться в штаб полка по делам службы.

Хотя я и нес теперь службу ординарца при корпусном командире, но все-таки числился в полку и был в прямом подчинении у полкового командира.

По дороге в полк я все время думал о причине моего вызова.

— Неприятную новость я должен сообщить вам, Николай Герасимович, — сказал мне командир полка. — Прочтите эту бумагу.

И он подал мне предписание походного атамана генерала Фомина. Там значилось, что на поданное мною прошение на высочайшее имя о зачислении меня вновь на службу последовал со стороны военного министра отказ, ввиду моего нахождения под судом по обвинению меня в разорвании векселя. Вследствие этого, атаман предписал о немедленном отчислении меня со службы.

Горе охватило мое сердце, я заплакал, как ребенок. Покидать армию в такой момент, когда все силы наших войск так нужны, когда для всякого русского солдата открыт доблестный путь к отличию и славе! И все это закрывалось для меня из-за какого-то пустого обвинения. Такое удаление для меня как офицера было позором

и ставило меня перед моими товарищами и сослуживцами в крайне унизительное положение.

Получив билет на возвращение в Россию, и простившись с полковником, я покинул бивуак. Ночью мне пришлось ехать в обратный путь. Порывистый свинцовый ветер гнал низко нависшие свинцовые тучи, шел мелкий, непрерывный дождь. Влево от дороги, по которой я ехал, виднелись огни костров на бивуаках разных частей наших войск, оттуда доносились окрики часовых и ржание лошадей.

«Что делать мне теперь? Куда ехать?» — думалось мне.

В штаб корпуса я решил не возвращаться: мне нечего было там делать. Сначала у меня мелькнула мысль поехать к августейшему главнокомандующему, наконец, к государю, чтобы просить их об оставлении меня в армии. Но мысли эти мне потом показались несообразными.

— Кто едет? — окликнул меня часовой. Я ответил. В это время я находился в расположении 17-го Архангелогородского полка, расположенного на крайнем правом фланге, немного позади деревни Гривица. В этом полку у меня было много знакомых офицеров, а главное, — я был в очень хороших отношениях с командиром полка Ш. Это был храбрый боевой офицер, георгиевский кавалер, прослуживший более десяти лет на Кавказе, откуда за отличие был переведен в гвардию.

К нему-то я и отправился ночевать, думая попросить у него доброго совета. В командирской палатке я застал целое сборище офицеров. Причем один из них читал вслух только что полученную диспозицию на завтрашний день.

По этой диспозиции приказано было наступать по всей линии, первой же бригаде 5-й дивизии поручалось штурмовать, совместно с румынскими войсками, занимавшими правый фланг, Гривицкий редут. Начать штурм предстояло румынам, Архангелогородскому же полку с Волоцким поручено было поддерживать румынские войска. Долго беседовали офицеры о завтрашнем дне и предстоящем горячем деле, разойдясь уже на рассвете, так что мне не пришлось поговорить с Ш. по душам.

На другой день, не успели мы проснуться, как снова наехали штабные с бригадными командирами, и Ш. не оставался ни на минуту один. Одно, что я мог сделать, — это заручиться его согласием

идти с его полком на штурм Гривицкого редута. Я решил, во что бы то ни стало, или отличиться в этот день, или быть убитым.

Отличись я на самом деле, — мои заслуги и мое поведение попали бы в реляцию Ш., и я мог надеяться на благоприятный исход, то есть зачисление в армию, не в пример прочим.

В третьем часу дня мы выступили и построились в боевой порядок. Артиллерия наша для подготовки штурма выехала одновременно с румынской и, заняв позицию, открыла сильный огонь по редуту. Два раза румынская пехота принималась штурмовать, но оба раза была отбита с большим уроном. Дошла, наконец, очередь и до нас.

VIII
Под Плевной и дома

Полковник Ш., как опытный офицер, предвидел всю трудность предстоящего дня и был скучен, а может быть, и предчувствовал свою участь. Когда наступила роковая минута двинуться вперед, он встал, перекрестился и громким, спокойным голосом скомандовал:

— Вперед!

Мы двинулись. Турки стреляли без умолку, пули их жужжали вокруг нас непрерывным роем и потери мы несли громадные. Тем не менее, полк наш быстро подвигался вперед.

Левее нас наступал в таком же порядке и Вологодский полк с молодым своим командиром, полковником Рыкачевым, шедшим впереди полка с берданкой в руках.

Описать ощущения, которые мною тогда овладели, даже дать себе отчет я положительно не могу: меня охватило чувство полнейшего ошеломления, — вот и все. Помню только, как, подбегая уже к главному редуту, я увидел, как шедший почти рядом со мною полковник Ш. зашатался и упал. Я хотел, было, его поддержать, но в это самое время почувствовал оглушительный удар в голову и больше ничего не помнил.

Когда я пришел в себя, то оказался лежащим на перевязочном пункте и, как объяснили мне, три дня был без памяти. Подняться я был не в силах и почти не мог пошевельнуться от боли. Я был контужен и ранен.

Меня отправили в Россию. По переезде через границу, я был направлен в Тулу, где меня поместили в госпиталь Красного Креста. В скором времени я так поправился, что уехал к себе в деревню.

В окрестностях Тулы я купил себе имение и прелестную усадьбу, где и поселился. Перевел туда из Срединского свою охоту и стал вести жизнь на образец житья старосветских помещиков, задавая обеды, праздники, устраивая охоты, на которые съезжались мои приятели и соседи.

Я не только не получил орденов, к коим был представлен моим прямым начальством, командиром 34 Донского полка и командиром 9-го армейского корпуса, но даже, по требованию Главного управления иррегулярных войск, внес обратно полученное мною за время

нахождения на войне жалованье, около пятисот рублей. Все это потому, что не было приказа о зачислении меня на службу.

В действительности, я был на войне и был ранен и контужен, даже отличился, но в моем указе об отставке, служившем мне документом, значилось, что я в делах против неприятеля не участвовал, в походах не был, ранен не был и знаков отличия не имею. И все это за разорванный вексель.

Я провел беспечно в деревенской глуши около трех лет. Но потом мне все это надоело, и я уехал в шумные центры Европы искать любви и наслаждений.

Отъезд за границу

Распрощавшись с Рудневом и моими друзьями, взяв аккредитив в международном банке на все большие города Европы, я в декабре 1881 года покатил на всех парах в Западную Европу, которая так тянула меня к себе, тянула своей свободой жизни. Жить бесконтрольно, жить, как хочется, не подвергаясь осуждениям разных чопорных тетушек да провинциального общества, страдающего любопытством и любовью к сплетням! Там я делаюсь вольной пташкой, живу, как хочу, делаю, что позволяют мне мои средства, вращаюсь в том обществе, которое мне нравится, и пользуюсь, наконец, всеми благами той свободы, которая так осуждается у нас. Вследствие этого, я мчался без оглядки, как выпорхнувшая из клетки птичка, и опомнился только на вокзале в Вене.

В Вене я имел несколько приятелей, служивших в нашем посольстве, товарищей по службе моего брата. Это были милые и веселые молодые люди, с радостью предложившие мне свои услуги, чтобы посвятить меня в венскую жизнь. С ними стал я посещать театры, балы, маскарады и другие увеселения, так что вскоре вкусил всю прелесть заграницы. Театров в Вене масса и большая часть их — опереточные. За последние годы оперетта, руководимая венским маэстро Страусом, выпускала ежегодно из рук талантливых композиторов новые и новые произведения легкой и блестящей музыки. Все эти венские оперетки имеют свой особый шик, иначе говоря, свой венский шик, отличающийся от французского своею музыкальностью и большим юмором. Это вполне подходит под силы венских исполнителей, в особенности, исполнительниц.

Венские женщины отличаются своей красотой, миловидностью и простотой.

На сцене венских театров вы встречаете целые рассадники красавиц, веселых и милых женщин, в обществе которых вы можете прелестно провести время, чем, конечно, я и воспользовался.

Говоря о красивых венских женщинах вообще, позволю себе сказать несколько слов о некоторых венских красавицах. В числе таковых, мне особенно памятных — три сестры-красавицы, которых можно было часто видеть в оперном театре, сидящими в одной из лож бельэтажа, и которых в Вене называли «тремя грациями». Они принадлежали к венской буржуазии. Не будучи с ними знаком, я несколько дней подряд ездил в оперный театр, чтобы любоваться на них, и по целым вечерам не сводил бинокля с ложи. Наконец, один мой венский знакомый, граф Р., представил меня красавицам. Жили они все вместе в прелестной квартире, и я стал часто к ним ездить. Будучи хорошими музыкантшами, они часто устраивали у себя музыкальные вечера, на которые съезжались все знаменитости венского музыкального и артистического мира, в том числе знаменитый художник Макнарт, пользовавшийся не раз для своих картин любезностью сестер-красавиц, позировавших в мастерской венского художника. Я чуть было не увлекся одной из красавиц. Это увлечение заставило ускорить мой отъезд из Вены.

Флоренция и ее жизнь

Во Флоренцию я приехал в первый раз. Здесь по зимам живет очень много иностранцев и в том числе масса наших соотечественников. Между этими последними там проводили всегда зиму два близко знакомых мне семейства, — генерала К. и товарища моего по гвардии барона В. Ими я был посвящен во все светские флорентийские обычаи. Они взялись представить меня всему обществу, как русскому, так и итальянскому. В первый день моего прибытия, они пригласили меня в оперу.

В Италии оперные театры, не исключая своего общего назначения, служат также местом вечерних приемов. У каждого знатного итальянца есть собственная ложа, с отделанной в виде гостиной аванложей, где дамы принимают как бы у себя дома. Ложи эти не отдаются внаймы, как у нас, а покупаются и составляют

собственность отдельных лиц, переходя даже из поколения в поколение. На дверях лож красуются гербы тех семейств, которым они принадлежат. Иностранцы пользуются только свободными ложами, отдающимися иногда аристократическими семействами, которые в трауре или не живут в городе, и нанявшему такую ложу вместо билета дается ключ от нее. У баронессы В. и сестры ее генеральши К. была абонирована одна из таких лож на весь сезон.

Зала оперного театра «Pergolla» представляла очень красивое зрелище, конечно, во время представления. Вообще, все итальянские оперные театры очень хороши и отделаны с большой роскошью. Зала оперы имеет всегда какой-то особенно элегантный вид, так как все дамы ездят в театр страшно расфранченные, декольте, в бриллиантах, а мужчины не иначе, как во фраках. Во время антрактов, которые, между прочим, очень длинны, делаются визиты из одной знакомой ложи в другую, что, конечно, очень весело. Часто, благодаря этому, спектакли страшно затягиваются, кончаясь в час ночи и позже. Обычай этот заведен в итальянском обществе для того, чтобы реже принимать дома. Итальянцы очень тщеславны и, вместе с тем, очень скупы. Во избежание расхода, они стараются как можно реже принимать у себя дома.

К артистам они относятся очень строго и критика публики — закон; малейшая фальшивая нота — и артиста бесцеремонно ошикают.

В театре меня представили нескольким дамам из итальянского общества, в том числе двум замечательным красавицам, маркизе Флори и маркизе Джинори. Обе этих дамы были действительно прелестны. Но два контраста по красоте, два совершенно противоположных типа! Маркиза Флори была женщиной чисто итальянского типа, высокая, стройная брюнетка, с правильными чертами лица, черными, как смоль, волосами и глазами, но, что крайне странно, весьма флегматичной особой.

Маркиза Джинори была полный контраст первой. Небольшого роста, с прелестными золотистыми волосами, огромными черными, выразительными глазами и замечательно красивым подвижным личиком. Маркиза была родом испанка с острова Кубы и, как все испанки, большая говорунья. Я очаровался ее умом даже больше, чем ее красотой.

Общество во Флоренции, хотя и разделяется по национальностям, но слилось в одно целое и живет дружно. Наших, русских,

целая колония. Я удивился, встретив в столице Медичосов такое большое русское общество. Правда, многие в этом обществе стали полурусскими, так как многие из русских барышень повыводили замуж во Флоренции за итальянцев. Но было много и чисто русских семейств, которые не только носят русские имена, перенесли с собой на чужбину и русские обычаи и привычки: ездили на русских рысаках, с русскими бородатыми кучерами, неистово кричавшими: «Берегись!» Ели за обедом щи, борщ и кулебяки, приготовленные русскими поварами, а у детей были русские кормилицы в кокошниках и сарафанах.

Вот с одним таким чисто русским моим приятелем, князем Г. катался я часто в Cachine. Cachine — достопримечательность Флоренции, прелестное местечко для гулянья в виде парка, тянущегося более трех верст вдоль быстрой и красивой Арно и заканчивающегося весьма оригинальным памятником индийскому принцу, который сам себе его воздвигнул при жизни, завещав его близлежащую виллу городу с тем, чтобы его похоронили там же, под заранее приготовленным памятником, что и было исполнено.

От трех до 6-ти часов Cachine полны гуляющей и катающейся публикой, в эти часы здесь вся Флоренция. Высшее общество считает, как бы своим долгом кататься в своих великолепных экипажах. Для иностранца весьма любопытно побывать в Cachine, чтобы видеть флорентийскую жизнь и ее блеск.

Интересно наблюдать эту толпу, медленно движущуюся по широким, тенистым аллеям парка. Нигде, ни в одной столице, кроме Парижа, вы не увидите такой роскоши.

IX
Карнавал

В Рим я приехал за два дня до начала карнавала и остановился в лучшем отеле, где заранее заказал себе отделение. Это необходимая предосторожность, так как с приближением карнавала отели битком набиты и даже заняты бильярдные, курительные и ванные комнаты.

Читая газеты, в которых публикуются списки приезжающих, вы удивляетесь количеству английских имен. Карнавал в Риме едва ли не самый интереснейший в мире. От раннего утра первого же дня масленицы все здесь охвачены крайним возбуждением. Вашей прислуги нет дома. Она, переодевшись в какие-то яркие лоскуты, наклеив себе искусственный нос из папье-маше и длинную бороду, отправилась на улицу. Портье, этого первого лица в гостинице, тоже нет, и на его месте стоит какой-то неуклюжий гарсон.

Сегодня каждый добрый римлянин изображает собою арапов, полишинелей, чертей и т. д. Выходите вы на улицу, на площадь, — везде одно и то же, везде бесшабашный маскарад. Все сословные различия на эту неделю упразднены. Чопорные аристократки отвечают на любезности переодетого лакея, вчерашний нищий под маской и в бумажном домино вскочит в карету к княгине Боргезе и, стоя на подножке, весьма развязно станет разговаривать с ней. На балконах черноглазые римлянки сами заводят беседы с проходящими внизу французами и кокетничают с ними, что, по законам карнавала, нисколько не удивительно. На всех перекрестках музыка, пляска, пение.

Общины слепых, глухих и всяких калек, все эти отлично организованные специальности римского нищенства, во время карнавала непременно вместе. Они все разрядились в разноцветную бумагу, как самый дешевый материал, и за своими вожатыми, держась друг за друга, ходят по улицам и площадям, давая серенады на гитарах. Дикое впечатление производят эти калеки в пестрых, шутовских лохмотьях и веселых масках. С этими общинами нищих успешно конкурируют студенты и вся учащаяся молодежь, которой в это время полон весь Рим. Университетская молодежь в этом отношении делится на два разряда: богачей, одетых в традиционный костюм средневекового студенчества из бархата и атласа, и бедняков в оборванных плащах и порыжелых шляпах. Первые веселятся, вторые пользуются карнавалом, чтобы заработать деньги. Студенты первой

категории ходят по домам знакомых аристократов, вторые останавливаются под балконом их палаццо и подставляют свои широкие шляпы для мелочи, которую им бросают сверху.

Из всех подгородных деревень крестьянская молодежь тоже является сюда. Она одета в живописные костюмы римской Кампаньи. Ее музыкальные инструменты — бубны, дудки, мандолины.

Многие из этих гуляющих по городу крестьянских компаний направляются также ко двору короля. Тут начиналась хоровая серенада, исполнявшаяся до того торжественно, что королева Маргарита, слушавшая их с балкона, просила иногда повторить.

Будучи свидетелем такой серенады перед дворцом, я думал, что король бросит деньги. Оказалось, что этого от него бы не приняли, и Гумберт нашелся: он вышел из дворца и, войдя в круг, благодарил их в сердечных словах и всем участникам жал по очереди руки.

Королева же сверху бросила им букет, который они тут же разделили между собой.

Идя с площади дворца по направлению к Корсо, я встретил комическое шествие. Человек тридцать-сорок молодежи были переодеты женщинами, но женщинами в дезабилье: в женских рубашках, панталонах с кружевом и прошивками, турнюрах, корсетах и самых эксцентричных шляпах, и все это без верхнего платья. Толпу эту встречал и провожал гомерический хохот, и они заигрывали со встречными мужчинами.

Усталый, вхожу я в кафе и сажусь на первый стул. Вдруг все, сидевшие в кафе, бросились к окнам. Оказалось, что проезжает королевская чета. Королева Маргарита, ехавшая в открытой коляске, раскланивалась с толпой. Компания ряженых окружила экипаж. Один забрался в коляску и начал бесцеремонно болтать с королевой. Король Гумберт ехал рядом верхом. На спину его лошади карабкается какая-то маска. Король ни слова: таков обычай.

— Эй, Гумберт! — кричит ему из публики яркий арлекин. — Я знаю, отчего ты не весел.

— Отчего?

— Оттого, что твоя Бианка уехала!

— Что же делать. Ничто не вечно, — отвечает король и дает шпоры лошади. Сидевшая на спине его лошади маска летит вверх ногами.

Кругом хохот.

Дальше королю приходится выслушивать массу разных острот по своему адресу...

Как только зажгут фонари и разъедутся шатающиеся с Корсо, на всех площадях начинаются танцы. Шум становится оглушительным, движение бешеным. Толпа повсюду такая, что трудно через нее протолкаться. И все это длится за полночь...

Повеселившись, повидав все и побывав везде, я посетил Неаполь, Пизу, Геную, Турин, затем снова вернулся на несколько дней в Рим и получил аудиенцию у папы Льва XIII, который подарил мне, вместе с благословением, прелестные перламутровые четки. Из Рима я уехал в Милан, где думал остаться два дня, но тут со мной случилось нечто романтическое.

X
Анжелика

В Милане я думал остаться день, много два, но «человек предполагает, а Бог располагает», говорит пословица. Так случилось и со мной.

Знакомых у меня не было, и я стал бродить по городу, рассматривая его достопримечательности.

Побывав в соборе и осмотрев его, я пошел в пассаж. И там, совершенно неожиданно, встретил знакомого румынского офицера Николеско, которого знал в Бухаресте. Он женился на итальянке, оперной примадонне из театра «Scala», имеет виллу в окрестности города и живет припеваючи.

Расставаясь, мы сговорились вечером ехать в оперу, где давали «Миньон». Николеско обещал заехать за мной в отель, где я остановился, чтобы до театра вместе пообедать. Часов в шесть мы отправились обедать в лучший ресторан, а после обеда пошли в театр.

Опера шла с большим ансамблем. M-me Николеско в роли Миньон была весьма недурна.

Во время спектакля, оглядывая зал, я заметил в одной из лож второго яруса замечательно хорошенькую блондинку, которая так приковала мои взоры к себе, что я перестал смотреть на сцену и беспрестанно наводил свой бинокль на красавицу.

От моего спутника я узнал, что это графиня Марифоски со своею дочерью Анжеликой.

Оказалось, что Николеско с ними знаком, и по моей просьбе пошел к ним в ложу попросить позволения меня представить.

Введя меня к ним, он рассказал, что графиня родом англичанка, вышла замуж за итальянского графа, который ее обобрал и бросил, и что она находится в настоящую минуту в очень стесненных обстоятельствах.

Дамы меня приняли очень любезно, и я просидел у них в ложе до конца спектакля. После театра я довел моих новых знакомых до дома и, при прощании, графиня пригласила меня зайти к ним на другой день, что, конечно, я исполнил с удовольствием.

И вот, вместо того, чтобы ехать в Париж, я остался в Милане, посещая ежедневно моих новых знакомых, графиню и ее прелестную дочь.

Жили они бедно, в двух меблированных комнатах, но обстановка не играла никакой роли для меня, да я, по правде сказать, и не видел ничего, кроме очаровательной Анжелики.

Ей только что минуло семнадцать лет. Стройная, высокая, прекрасно сложенная и с прелестной головкой. Белокурые, пепельного цвета волосы, чудно гармонировали с красивым личиком и большими, выразительными, темно-голубыми глазами. При этом веселая, умная и прекрасно воспитанная.

Не прошло и нескольких дней, как мои визиты обратились в настойчивое ухаживанье. Не желая расставаться с моими дамами по вечерам, я привозил им ежедневно ложи в оперу или в цирк, где я просиживал, болтая с моей очаровательной итальяночкой. Таким образом, шли дни за днями, и я совершенно забыл думать об отъезде в Париж.

Увлекшись молодой графиней, я должен был обдумать, к чему все это может привести. Анжелика была девушкой хорошей фамилии, с прекрасной репутацией, и в моем ухаживании могла видеть, по ее понятиям, серьезные цели, то есть женитьбу.

Не желая ее вводить в заблуждение, я счел своим долгом высказать ей мой взгляд на жизнь и брак, предупреждая ее, чтобы она не принимала меня за жениха в том смысле, в котором принято подразумевать ухаживателей. При этом я признался Анжелике, что я ее люблю. В это самое время вошла в комнату графиня и, заметив смущенный вид дочери, спросила нас, о чем мы разговаривали. Анжелика по-итальянски предала ей все, сказанное мною. Графиня, выслав дочь в другую комнату, просила меня быть с нею откровенным и высказаться о моих намерениях по отношению к ее дочери.

Я объяснил ей, что дочь ее мне очень нравится, что я ее искренно полюбил, но, будучи ярым противником общепринятых форм женитьбы, я не могу предложить законного брака. «Человек я свободный, с независимым положением, имею около сорока тысяч франков дохода, что позволит мне жить безбедно вместе с той, которая меня полюбит!» — прибавил я.

Графиня расплакалась и кончила тем, что вполне согласилась со мной.

— Я, как мать, — сказала графиня, — конечно, желаю, счастья своей дочери и не прочь отдать ее вам, если она на это согласна и вас любит. Но при этом считаю своим долгом предупредить вас,

что я кругом должна, что верили мне только в надежде на выход моей дочери замуж за богатого человека, который заплатит мои долги, так что если Анжелика и согласится на ваше предложение, то я ставлю вам в условие уплатить мои долги, которых у меня до пятнадцати тысяч франков.

После этого разговора графиня пошла к дочери, а меня просила заехать вечером за ответом.

В назначенный час я приехал к графине. Ко мне вышла Анжелика, видимо сконфуженная и с опущенными глазами.

— Мамаша мне передала ваше предложение, я согласна, но с условием, чтобы мы уехали из Милана. Это я требую для чести моего имени. Вы мне понравились с первого дня нашего знакомства, и я вас полюбила.

В этот вечер я привез Анжелике первый мой подарок — браслеты из жемчугов и рубинов.

На следующее утро, отправившись к банкиру Фенчи, я взял пятнадцать тысяч франков и привез их графине.

Графиня мне сообщила, что, обдумав хорошенько, она находит неудобным ехать с нами теперь, а отпускает со мной Анжелику одну, с которой я сделаю путешествие по Италии.

— Это путешествие заставит вас свыкнуться и узнать друг друга, — добавила она с улыбкой.

На том и порешили.

Путешествие с Анжеликой. Бедовая мамаша

Приехав в Геную, мы заняли приятный апартамент, окнами выходящий на море. Пообедав в ресторане, прокатившись по городу, мы отправились в театр, но до конца представления не досидели, так как Анжелика стала жаловаться на сильную головную боль. Вернувшись домой, я послал за доктором, который не замедлил приехать. Осмотрев больную, он ничего опасного не нашел, прописал микстуру, холодные компрессы и уложил больную спать.

Всю ночь просидел я у ее изголовья, прикладывая ей компрессы и любуясь ее красотою.

На следующее утро, к величайшей моей радости, Анжелика проснулась здоровой и веселой, и я отправился в город, чтобы привезти ей букет ее любимых цветов — ландышей.

Вернувшись домой, я застал Анжелику совсем уже одетой, за письменным столом, но при входе моем она скомкала бумажку и положила ее в карман.

Сделав вид, что ничего не заметил, я снова вышел, сказав Анжелике, что иду в банк получать деньги. Сойдя вниз, я приказал швейцару все письма и телеграммы, которые барыня ему даст для отправки, не отсылать, а оставлять до моего возвращения.

Погуляв с полчаса, я вернулся в гостиницу. Портье мне передал заказное письмо и телеграмму, которые Анжелика ему только что передала, приказав немедленно отправить.

Депеша, адресованная Анжеликой к матери, была мне непонятна: «Благополучно. Болезнь удалась. Чем дальше, тем будет труднее. Торопись. Анжелика».

Но письмо посвятило меня в тайну матери с дочерью, разъяснив мне смысл телеграммы. Оказалось, что мать отпустила со мною свою дочь с целью заставить меня на ней жениться или заплатить ей крупный куш денег, во избежание скандала. Дело в том, что по итальянским законам связь с несовершеннолетней девушкой, хотя и с ее согласия, наказывается очень строго в случае жалобы родителей. Вот на эту-то удочку и хотела поймать меня графиня.

Из перехваченных писем я узнал, что и роль больной разыгрывалась Анжеликой по наущению матери, в ожидании ее приезда.

Я переписал телеграмму и конверт на письме, адресовав их на имя графини Марифоски в Милан, но без обозначения ее адреса, после чего сдал их на почту, а квитанции отдал швейцару, приказав отнести их барыне.

Придя час спустя домой, я сказал Анжелике, что нам надо ехать сегодня же в Сан-Ремо, где начинаются интересующие меня гонки парусных и гребных судов.

Мы выехали с курьерским поездом.

Анжелика, очарованная красотой местности, не отходила от окна вагона, что, в конце концов, так ее утомило, что она заснула крепким сном. В это время я мог лучше обдумать мой план отражения атаки, предпринятой графиней.

По-моему, мне оставалось одно из двух: или немедленно отправить Анжелику обратно к матери, или хитростью обойти хитрость.

После долгих колебаний, я решился на последнее.

Конечно, нелегко перехитрить двух женщин, да нечего было делать. Прежде всего, я решил, хотя на время, скрыться от графини и уехать во Францию, чтобы избавиться от итальянского закона, так покровительствующего родителям. Вот почему я и ускорял, главным образом, наш отъезд из Генуи в Сан-Ремо, вследствие его близости от французской границы.

По дороге мне пришла мысль переехать границу, не говоря об этом моей спутнице. Сон ее помог мне это сделать. И вот мы во Франции. В час ночи приходим в гостиницу.

Анжелика опять стала жаловаться на головную боль.

На другое утро я предложил Анжелике ехать в Ниццу, чтобы купить ей все необходимое, так как ее мамаша ничего с ней не отпустила, кроме огромного пустого сундука, правда, с графской короной.

От Ментона до Ниццы всего сорок минут езды, и мы живо туда докатили. Анжелика так увлеклась покупками и заказами, что я ее, еле-еле, уговорил в восемь часов вечера ехать обратно.

Возвратясь усталые, почти в полночь, в гостиницу, мы решили остаться ночевать в Ницце.

Анжелика радовалась всякой вещице; примеряя все вновь купленные туалеты, шляпы и вертясь перед зеркалом, так увлеклась этим, что забыла даже о своей мигрени и наставлениях мамаши.

XI
С Анжеликой в Париже. Друзья-приятели

На другой день я сказал Анжелике, что, по непредвиденным обстоятельствам, мне необходимо ехать в Париж. При этом, конечно, не забыл прибавить, что в Париже она, кстати, закажет туалет. Как ни заманчиво было предложение, Анжелика сначала и слышать не хотела об этом плане путешествия. Но после долгих убеждений она, наконец, согласилась.

В тот же день мы выехали с курьерским поездом в Париж.

Анжелика пришла в неописанный восторг при виде великолепных магазинов и подолгу останавливалась перед их витринами. Мы зашли к знакомому мне ювелиру Мелерио, где я купил моей красавице пару серег с крупными бриллиантами. Покупку и заказы всех туалетных принадлежностей мы отложили до следующего дня, так как я хотел просить моих друзей, графа де Рион и де Монбрен указать нам кутюрьерок, модисток и других дамских поставщиков.

Я известил их о своем приезде в Париж и пригласил к себе обедать. Они оба приехали к назначенному часу, и я их представил Анжелике.

Привезя же Анжелику в Париж с огромным, но пустым сундуком, мне приходилось делать ей целое приданое, и в этом мне принесли огромную помощь мой друг де Рион, так как он был великим мастером и специалистом по части одеванья женщин. Его уроки мне пошли впрок.

Я просто не узнал моей графини в ее новых парижских нарядах, превративших ее из хорошенькой, миленькой девушки в блестящую красавицу.

Анжелика настолько увлеклась Парижем, что забыла и думать о возвращении в Италию. Она избегала даже говорить о своей матери, и с приезда в Париж ни разу не написала ей.

Вскоре мы наняли очень миленькую квартирку, там же, на Елисейских полях. Начались новые хлопоты, новые заказы. Анжелику все это страшно занимало, радовало. Пока квартира отделывалась, мы продолжали веселиться.

Время летит быстро. Приехали мы в Париж в апреле и не заметили, как кончался уже июнь. Париж начинал понемногу пустеть, и мы стали собираться, думая ехать до сентября в Трувиль, но неожиданное несчастье разбило все наши планы.

Завтракая как-то раз в ресторане, мы встретились с двумя моими бывшими товарищами по гвардии. Конечно, я представил их Анжелике, которая, думая мне сделать приятное, пригласила их обедать. Они приехали, привезли Анжелике прелестный букет, наговорили ей кучу любезностей и, в свою очередь, пригласили нас к себе на следующий же день завтракать.

За завтраком они представили нам какого-то польского графа Княжевского и французского их приятеля Амари, страшных любителей баккара, вследствие чего и был заложен банчик по окончании завтрака.

Услав Анжелику кататься, я подсел к зеленому столу. Мне страшно не везло, и я в короткое время проиграл тысяч до пятнадцати. Проигрывая, я всегда горячусь и не в силах остановиться.

Таким образом, и в этот злосчастный день я продолжал играть и проигрывать, и кончил тем, что к вечеру проиграл все, что имел с собою в Париже — около пятидесяти тысяч франков.

Положение мое было незавидное, в чужом городе, имея на руках Анжелику, привыкшую к тратам и роскоши, с квартирой и людьми, требующими ежедневных расходов и с пустыми карманами.

Но можно себе представить мое негодование, когда я узнал через два дня от одного моего парижского приятеля, что меня обыграли известные шулера. Этот возмутительный поступок товарищей привел меня в страшное бешенство, и я поехал к ним, чтобы, по крайней мере, расправиться с ними по-русски, но в гостинице я узнал, что они уехали накануне вечером из Парижа.

Несколько дней я скрывал свой проигрыш от Анжелики, но, в конце концов, пришлось во всем признаться. Я всячески старался успокоить ее, объясняя, что несчастье мое не так велико, что проигрыш меня не разоряет, а только временно стесняет, и что я уже телеграфировал в Россию моему поверенному, прося его выслать мне денег.

Эта неприятная новость крайне поразила Анжелику. После этого пошли капризы, упреки без конца, и как я ни доказывал ей, что стеснения наши временные, но она делала мне ежедневные сцены.

* * *

Россия не близкий край, и достать помещику денег до уборки урожая довольно трудно, в особенности, когда хозяина самого нет.

Ввиду этого, чтобы получить деньги, мне оставался один исход — заложить имение, что и пришлось сделать.

Но вскоре неожиданный удар разбил и остатки моего счастья.

В одно прекрасное утро человек мой докладывает, что полицейский комиссар с какой-то дамой желают меня видеть. Каково же было мое удивление, когда с комиссаром входит в мой кабинет графиня Марифоски. Комиссар мне объявляет, что по просьбе графини и приказании префекта полиции он приехал отобрать от меня, именем закона, несовершеннолетнюю дочь графини Анжелику, которую я увез из Милана, и которая живет со мной под именем моей жены.

Как ни крепки мои нервы, как ни беспечен мой характер, но я не мог выдержать разлуки и разрыдался, прощаясь с Анжеликой, которую искренно полюбил.

Оказалось, что графиня Марифоски, приехав в Сан-Ремо для исполнения задуманного ею плана в ту самую ночь, когда мы были в Ницце, была немало озадачена, не найдя нас там.

И вот, спустя три месяца, наконец, графиня узнает из письма Анжелики, написанного ею потихоньку от меня, что мы в Париже и что я проиграл огромную сумму и нахожусь в весьма стесненных обстоятельствах.

Графиня пришла в неистовство, и она решилась, во что бы то ни стало, мне отомстить. Приехав в Париж, она обратилась, через посредство итальянского посольства, к французским властям, с помощью которых и отобрала от меня свою дочь.

На берегах Невы. Маргарита Николаевна

Вернувшись из Неаполя в Россию в конце мая 1883 года, я провел лето у себя в Рудневе.

Затем, погуляв в Москве, я приехал в Петербург и возобновил старые знакомства.

Как-то раз, вскоре после моего приезда, я поехал на вечер к давнишним моим знакомым Р-м, принимавшим запросто по субботам.

Общество у них собиралось, хотя небольшое, но всегда изысканное.

Застал я у них довольно большое общество и, между прочим, очень хорошенькую, молоденькую даму, некую С-ую.

Звали ее Маргаритой Николаевной, и приехала она в Петербург с Кавказа, хлопотать о разводе.

С первого же момента моего знакомства с ней, она мне очень понравилась, я почти весь вечер проболтал с нею и добился от нее разрешения приехать ее проведать, чем и воспользовался на следующий же день.

Жила Маргарита Николаевна на Надеждинской. Приняв меня крайне любезно, она сказала, что слышала обо мне очень много и рада видеть меня у себя. Разговаривая со мной, она видимо интересовалась моими путешествиями за границей, в особенности парижской жизнью, ввиду желания переселиться во Францию по окончании бракоразводного процесса.

Удовлетворяя ее желанию, рассказывая о заграничной жизни вообще и парижской в особенности, я, конечно, не мог не коснуться некоторых эпизодов, случившихся со мною.

Маргарита Николаевна, выслушав мои рассказы, сказала:

— Николай Герасимович, не один вы несчастны в жизни и любви, не у одних вас разбивается счастье накануне его осуществления, поверьте мне, что есть существа более несчастные. Скажу вам про себя. Замуж я вышла шестнадцати лет, против воли, по требованию моих родителей, за человека, которого я не только не любила, но просто боялась. С год томилась я, живя с ним, но не выдержала и уехала от мужа на Кавказ, к старой тетке, у которой и прожила, почти без всяких средств, в продолжение двух лет.

Вот в это-то время, живя в Тифлисе, я познакомилась с неким З-вым, человеком прекрасным во всех отношениях. Он долго за мной ухаживал и, наконец, сделал мне предложение. Будучи совершенно чуждой моему мужу, я давно бы развелась с ним, но для этого нужны большие траты, а денег у меня не было. З-ов просил разрешить вести бракоразводное дело на его счет. Я согласилась и поехала в Петербург.

Три месяца тому назад приезжает сюда З-ов, больной, расстроенный, лица на нем нет, говорит бессвязные речи. Я, конечно, страшно испугалась и пошла за доктором, который посоветовал свезти его немедленно в лечебницу для душевнобольных. Я отвезла его в лечебницу доктора Преображенского, где нашли, что он очень плох и не внушает надежды на излечение.

С тех пор я осталась здесь, в Петербурге, одна, без всяких средств и с бракоразводным процессом на руках.

— Голубушка Маргарита Николаевна, вы так молоды, так хороши, в вас такая прекрасная душа, что всякий порядочный человек, узнавши вас, сочтет себя счастливым сделать для вас все! — Говоря эти слова, я невольно схватил ее маленькую ручку и приложил к губам.

Я почувствовал себя увлеченным своей новой знакомой.

Я стал ежедневно бывать у Маргариты Николаевны и чем ближе становился к ней, тем сильнее убеждался в ее хороших душевных качествах.

И вот, выбрав как-то раз удобный момент, когда мы сидели после обеда вдвоем в ее маленькой пунцовой гостиной, я напрямик спросил ее:

— Маргарита Николаевна! Могли бы вы решиться разделить со мною жизнь?

Ее большие грустные глаза устремились на меня, точно хотели сказать:

«Вы еще спрашиваете!»

XII
В Рудневе. Снова друзья-приятели

В Руднево мы приехали в мае 1884 года.

Мусе имение очень понравилось.

Скуки мы с ней не боялись и были вполне счастливы в деревенской глуши.

Но лето кончалось, и счастье мое должно было неожиданно кончиться с ним. Надо мною собиралась гроза, которая скоро и разразилась.

В конце августа гостило у нас в Рудневе целое общество, в числе которого был мой приятель француз де Лагренэ и его неразлучный друг итальянец Тинелли.

Лагренэ жил в начале восьмидесятых годов в Москве и был там хорошо известен. Я его знал еще раньше в Париже, где мы вместе немало в былое время кутили.

Тогда он был человек со средствами, но кутежи и женщины его разорили. Благодаря своим связям, его пристроили, дав ему место в Москве, в надежде, что он остепенится и поправит свои денежные дела. Но он продолжал жить не по средствам и вскоре запутался и влез в неоплатные долги. Я за него несколько раз ручался и пришлось, конечно, платить. В июле месяце он был у меня в Рудневе и просил дать ему денег или снова поставить за него бланк, но я наотрез отказал.

Вот из-за этого-то, как выяснилось впоследствии, де Лагренэ и сделался моим врагом.

Во время его пребывания в Рудневе в конце августа мне пришлось по экстренному делу ехать в харьковское имение, где я пробыл около двух недель. Оказалось, что во время моего отсутствия де Лагренэ и его друг Тинелли старались всячески разочаровать во мне Маргариту Николаевну, действуя на ее слабую струну — ревность. Он шепнул ей, что мои частые поездки в харьковское имение не деловые, а амурные. Де Лагренэ счел своим долгом посоветовать Маргарите Николаевне обеспечить себя в материальном отношении и предложил ей свою активную помощь.

Тинелли, со своей стороны, советовал Маргарите Николаевне Руднево продать, а деньги поместить, на выгодных условиях, на свое имя.

По приезде из Харькова я заметил сильную перемену в Мусе, но на все мои вопросы она сначала отвечала «ничего», а потом рассказала мне целую историю, будто ее муж узнал, где она находится, и на днях приедет в Руднево. По ее соображениям, чтобы избавиться от назойливости мужа, самое лучшее, — продать Руднево и уехать на время за границу. Я согласился. Вскоре кн. Оболенская купила Руднево за 85 000 рублей. Маргарите Николаевне пришлось для совершения купчей ехать в город.

Покончив все дела, кн. Оболенская собралась в Москву. К ней хотела присоединиться и Муся, сказав мне, что ей надо положить полученные деньги в банк. Хотя я вполне верил Мусе, но счел опасным пустить ее одну с такой крупной суммой денег, а потому решил ее сопровождать. Из Тулы мы выехали в час ночи.

Княгиня с Мусей улеглись в дамском купе, я же, де Лагренэ и Тинелли поместились в общем вагоне первого класса.

Утром пошел проведать дам, но, к удивлению моему, нашел в купе одну только княгиню.

— Где Маргарита Николаевна?

— Не знаю; она еще ночью перешла в другое купе.

Обойдя все вагоны, я Муси не нашел.

С вокзала я полетел в «Славянский базар», где мы всегда останавливались, надеясь найти там телеграмму от Муси, но там никого не было.

Де Лагренэ предполагал, что она уехала к своей матери в Кишинев.

Предположение де Лагренэ мне показалось возможным.

Я выехал с первым отходящим поездом в Кишинев.

На станции Орел мне сказали, что с почтовым поездом проехала какая-то дама с собачкой, вполне подходившая к описываемой мною. Это подтвердили мне и в дальнейшем пути. Так я доехал до Киева.

Здесь я получил телеграмму от моего верного Петруши, в которой он сообщал, что Маргарита Николаевна в Москве.

Я немедленно вернулся в Москву и прямо отправился к де Лагренэ.

На расспросы мои де Лагренэ мне отвечал, что действительно Маргарита Николаевна в Москве, но он не может мне дать ее адреса, так как она этого не желает.

Дня через два де Лагренэ приехал ко мне и передал, что г-жа С-кая согласна со мной увидеться, но свидание должно быть на нейтральной почве, у Тинелли.

Я поехал к Тинелли. Жил он в маленьком деревянном домике близ церкви Вознесения. Тинелли встретил меня в передней. Вскоре подкатила карета де Лагренэ, и вышла Муся в сопровождении его. Я бросился к ней навстречу, но она холодно сказала:

— Нам нужно, прежде всего, серьезно объясниться, и я приехала для этого, а не для нежностей.

Потом она начала упрекать меня в измене.

Как ни опровергал я все ее обвинения, она мне сказала, что уже обсудила все и решила расстаться со мною, если я не дам слово на ней жениться. Согласиться на ее условия я не мог, так как вообще брака не признавал. Поклонившись ей и всем присутствующим, я вышел и уехал домой.

Для приведения моих денежных дел в порядок и для получения от Маргариты Николаевны денег, взятых ею от кн. Оболенской за Руднево, я просил своего поверенного Б-ва съездить к ней.

— Маргарита Николаевна удивляется, — сказал он мне, — по какому праву вы требуете деньги. По ее словам, Руднево было в последнее время не ваше, а ее. Вы его ей продали по купчей. Она просила меня предупредить вас, что если вы будете требовать деньги, то она обратится за защитой в высшую администрацию.

Неожиданный ответ, полученный мной, так поразил меня, что я немедленно уехал за границу.

В Вене я нервно заболел.

Ницца. Полумиллионный выигрыш

После четырехмесячного беспамятства, я стал поправляться, и венские доктора, лечившие меня, нашли, наконец, возможным выпустить меня из лечебницы проф. Линдмана, где я лечился. Для окончательного поправления здоровья советовали мне ехать на юг; я отправился в Ниццу.

Я приехал туда в начале апреля.

В Ницце я нигде не бывал, ничем не интересовался. Мой доктор часто журил меня за нелюдимость и уговаривал развлекаться.

Благодаря этим советам, я стал кое-куда ездить, в театры и, конечно, в Монте-Карло.

Первое время я оставался совершенно равнодушным к игре. Моя прежняя страсть не пробуждалась. Иногда я подходил, правда, к рулетке или к trente et quarte и ставил какую-нибудь монету, но делал это как-то машинально, не интересуясь даже знать, выиграл я или нет. Бродя как-то раз по игорным залам, я подошел к одному из столов и, поставя два золотых на черное, стал разговаривать с моим знакомым, парижским журналистом Деперьером, не обращая никакого внимания на свою ставку. В это время кто-то из стоящих рядом со мной сказал, что меня зовет крупье, и я обернулся. Действительно, крупье просил взять лишние деньги, сверх максимума. На месте, где я положил за четверть часа перед тем два золотых, лежала груда золота и банковских билетов. Оказалось, что во время моего разговора с Деперьером, черное вышло девять раз сряду, и мои два золотых превратились в 20 480 франков. Я взял часть выигранных денег, оставив максимум, то есть двадцать тысяч франков на черном. Черное снова вышло. Я продолжал снимать после каждого удара выигранные деньги, оставляя максимум, а черное все продолжало выходить и вышло еще одиннадцать раз подряд, так что я выиграл более полутораста тысяч франков.

Красное вышло только на двадцать первом ударе, а следующий был опять черный цвет, повторившийся четыре раза и давший мне еще сорок восемь тысяч.

Весь этот день мне очень везло. Я выигрывал почти каждый удар, так что в конце вечера я был в выигрыше с лишком триста тысяч франков.

Я стал играть и выигрывал почти ежедневно десятки тысяч. Я зажил на широкую ногу. Купил лошадей, выписал из Парижа великолепные экипажи, задавал обеды и бывал везде. Делать все это я мог, так как выиграл уже полмиллиона.

Мадлен. Новая любовь

Как-то в марте мой приятель герцог де Помар давал вечер на своей прелестной вилле. Торжество это было в честь одной из звезд парижского полусвета, актрисы театра Пале Рояль, Бланш за которой он ухаживал. Я знал их всех. Одна только из присутствовавших была мне незнакома. Это была очень хорошенькая, высокая, стройная блондинка. Ее приличные манеры и туалет резко выделяли ее

из цикла присутствовавших дам. Заинтересовавшись ею, я узнал, что ее зовут Мадлен де Барри, что она недавно приехала в Ниццу с парижским банкиром бароном Селиером и пробудет здесь весь сезон.

Меня представили Мадлен.

Вечер прошел очень весело для всех, и я проболтал почти все время с моей новой знакомой. Она приехала в Ниццу недавно и думала пробыть месяца два.

Пять дней спустя я сидел у очаровательной Мадлен в ее роскошном апартаменте.

— Хотите, я вас вылечу? — спросила она меня.

Конечно, я согласился, и действительно, что не удавалось врачам и науке, удалось вполне хорошенькой женщине.

Неделю спустя после моего первого визита к Мадлен я был здоров и влюблен.

Раз, как-то вернувшись из Монте-Карло, куда мы ездили целой компанией, с вокзала я проводил Мадлен домой. Она пригласила меня зайти к себе. Сидя вдвоем на балконе, мы долго беседовали.

Заметив мою веселость, Мадлен сказала мне с улыбкой:

— А лечение мое действует?

— Да, оно сделало чудеса, — ответил я ей.

На следующий день Мадлен написала своему миллионеру, чтобы он не рассчитывал на ее возвращение в Париж, так как она живет с другим, которого любит.

В упоении моего нового счастья я, конечно, забыл об игре и перестал ездить в Монте-Карло. В Ницце я купил виллу, куда и переехал с Мадлен.

Устроившись и отделав, весьма роскошно, наше новое жилище, мы справили новоселье. Вечер весьма удался, а прелестный ужин с икрой, рябчиками и огромными стерлядями, выписанными мною из России, произвел фурор, так что на следующий день все ниццкие газеты были полны описанием вечера и стерлядей-гигантов, выписанных с берегов Волги «известным русским боярином Савиным».

Другой сенсацией на этом вечере было поднесение мною всем дамам сувениров на предмет новоселья. Это были ценные портбонеры. Моей же милой хозяйке я преподнес бриллиантовое колье, за которое заплатил пятьдесят тысяч франков.

Мадлен была в восторге.

XIII
На волосок от смерти. Дуэль

После этого праздника мы стали ездить иногда в Монте-Карло. Мадлен любила играть в рулетку.

Раз как-то она играла, я же наблюдал за ее игрой и давал монеты. Она поставила золотой на «26», и номер этот вышел, но не успела она взять деньги, как к ним протянул руку какой-то итальянец.

Эта наглость меня взбесила, и я дал ему пощечину.

Итальянец ушел, но не прошло и часа, как он вбежал в зал и, подойдя ко мне шага на три, выхватил из кармана револьвер и выстрелил в меня. Пуля, задев рукав моего сюртука, засела в стене... Итальянца схватили и увели в контору, откуда отвезли с жандармами на границу Италии.

Но дело этим не окончилось.

В тот же вечер мне подали две визитных карточки: графа Монтальфи и князя Отроци.

Они объяснили мне, что приехали передать мне вызов господина Карлони, которого я оскорбил сегодня в казино. Я ответил, что вызов со стороны человека, посягавшего на мою жизнь, мне кажется крайне странным. Таких людей называют во всех странах убийцами и предают их в руки правосудия, а не дают им удовлетворения. На это граф Монтальфи мне ответил, что, если я отказываюсь драться с его приятелем г. Карлоци, то, наверное, не откажусь драться с ним, так как он считает себя оскорбленным моим отказом.

Поклонившись в знак согласия, я ответил ему, что буду ожидать его секундантов завтра утром у себя в Ницце.

На другой день, рано утром, с первым отходящим поездом выехал я с моими секундантами и доктором Гуароном в Ментону.

Местом поединка была выбрана глухая местность у самого берега моря.

Разыскав ровное место, мы бросили жребий, на чьих шпагах драться, так как секунданты обеих сторон привезли свои шпаги. Жребий достался Монтальфи.

Монтальфи дрался хорошо, но был слишком горяч, так что после нескольких пасов ослабел, и я ранил его. Секунданты нашли нужным прекратить поединок.

В Ницце моя дуэль наделала немало шума. Все местные и даже парижские газеты были переполнены подробностями о ней.

Я сделался героем дня.

Несчастье в игре. Парижские клубы

Счастье в игре мне изменило.

Проигравшись в Монте-Карло, я захотел отыграться в клубах и просиживал в них за баккара по целым ночам, но вместо отыгрыша проигрался в пух и прах. Мадлен, желая мне помочь отыграться, стала проигрывать пропасть денег в рулетку. Кончилось все это тем, что мы в короткое сравнительно время проиграли все выигранные деньги, да своих еще тысяч полтораста.

Для поддержки роскошной жизни, в которую я втянулся с тех пор, как стал жить с Мадлен, мне пришлось войти в долги и решиться продать даже одно из моих имений в России.

В то же время я обратился к ментонским и ниццким ростовщикам и вскоре попал в их лапы. Дают они деньги большею частью под залог золота, бриллиантов и процентных бумаг, но также не прочь дать и под векселя крупным игрокам и лицам, известным за людей богатых.

Вот этим-то господам я и попал в лапы, заняв сперва двадцать тысяч франков, а потом еще и еще за страшные проценты.

Правда, были дни, когда я снова выигрывал большие куши и получал возможность временно расплатиться с моими вампирами, но это обыкновенно продолжалось недолго, и я вскоре проигрывался снова.

Так прожили мы до начала мая. Сезон кончился, Ницца пустела. Чтобы расплатиться и уехать в Париж, где я надеялся вскоре получить от брата из России крупную сумму, мне пришлось продать только что купленную виллу.

Эта продажа все-таки дала мне возможность расплатиться с кредиторами и уехать в Париж.

В Париж мы приехали в первых числах мая, самый разгар сезона.

Вскоре по приезде мне прислали из России крупную сумму денег, вырученную от продажи одного из моих имений. Эти деньги позволили мне опять жить на широкую ногу и вести крупную игру.

Сначала счастье стало мне снова как будто улыбаться, я стал опять выигрывать и раз даже выиграл в один присест двести сорок тысяч

франков. Такие крупные выигрыши позволили мне опять завести лошадей, накупить экипажей и заплатить поставщикам.

Игорные дома. Игра на скачках. Скандал. Арест

Лето я хотел провести с Мадлен где-нибудь в окрестностях Парижа. В получасовом расстоянии от города по дороге в Версаль Мадлен наняла хорошенький старинный дом в тенистом уголке большого парка.

В этом уединенном уголке Мадлен было хорошо, уютно.

Хотя я неоднократно откровенно говорил с Мадлен, объясняя ей шаткость моих дел, но она не вникала во все это достаточно серьезно и продолжала считать меня русским крезом, у которого бесчисленное количество имений.

Правда, имений у меня оставалось еще два — около трех тысяч десятин земли, представлявших стоимость, по меньшей мере, в 300 тысяч рублей; но имения эти были заложены не только в земельных банках, но и по вторым закладным.

Кроме этого обстоятельства, было еще другое, влиявшее на мое разорение. По отъезде моем из России против меня возникло уголовное дело по обвинению меня в поджоге моего дома в имении Срединском.

Дело это было, в сущности, плодом чистейшей фантазии местного товарища прокурора О., с которым у меня были счеты.

Сгоревший дом был застрахован всего в 20 000 рублей, а стоил, по крайней мере, вдвое. Страховое общество выдало мне премию без всяких задержек, и я вскоре позабыл и думать о случившемся.

Но товарищ прокурора смотрел на дело другими глазами. По его предложению было возбуждено следствие, и хотя оно ничего не раскрыло, и следователем было представлено к прекращению, но прокурор добился привлечения меня в качестве обвиняемого.

Повестка, вызывавшая меня к следователю, была мне вручена именно в тот момент, когда я, убитый горем после разрыва с Маргаритой Николаевной уезжал за границу, и я, не обратив внимания на врученную мне повестку, вместо того, чтобы явиться к следователю, уехал в Вену. По представлению товарища прокурора состоялось распоряжение о моем розыске и заключении меня под стражу.

Вот в каком положении находились мои дела в это время.

Переезд наш из Парижа на дачу не изменил моего образа жизни. Я ежедневно после обеда уезжал в город, где проводил вечера в клубах за карточным столом до поздней ночи.

Играл я большею частью в клубе, помещающемся на Итальянском бульваре. Здесь шла в то время очень крупная игра. Банкометы были большей частью профессиональные игроки и, конечно, свои люди в клубах.

Меня всегда крайне удивляло замечательное счастье всех этих банкометов-завсегдатаев: им везло иногда до неприличия, и это «счастье» было, конечно, весьма подозрительно.

Мне рассказывали, что шулера имеют свой организованный кружок и состоят в близких отношениях с хозяевами клубов, а также и с крупье. В баккара передержка почти невозможна. Вот почему шулера устраиваются иначе. У каждого профессионального банкомета-шулера есть несколько подручных, которые размещаются у игорного стола так, чтобы им были видны карты, и затем условными знаками передают банкомету, какая карта дана: хорошая или плохая.

Во все это меня посвятил мой приятель Рошфор. Он советовал мне не понтировать, а только метать самому, но это было нелегко, так как патентованные банкометы поддерживали друг друга и редко выпускали банк из своих рук.

Вскоре я увлекся другой игрой, — игрой на скачках, куда ездил почти ежедневно.

Ездил я на скачки всегда вместе с Мадлен, которая, любя лошадей, также пристрастилась к игре и играла довольно счастливо.

Как-то раз Мадлен поставила пятьсот франков на лошадь одного нашего приятеля, — Эдмунда Блана, — Аршидюк, который был котирован букмекерами очень низко — по тридцать пять за один. Аршидюк нежданно-негаданно пришел первым, и Мадлен получила за поставленные ею 500 франков — 17 500.

После этого выигрыша Мадлен еще более увлеклась скачками и захотела даже завести скаковую конюшню, которую мы, наверное, завели бы, если бы со мной не случилось вскоре неожиданное несчастье.

В августе мы были на скачках и затем поехали на нашу городскую квартиру, так как собирались ехать вечером в театр. Ехали мы в брике, запряженном только что купленной мною парой прелестных английских лошадей, которыми я сам правил. Публики в этот день возвращалось со скачек очень много, так что до самого города пришлось

ехать шагом, наблюдая указанный полицией порядок, то есть держась правой стороны. Сильно проигравшись в этот день, я был не в духе, езда же шагом в продолжение почти часа под палящим солнцем меня еще более раздражала. Наконец, я не выдержал и, выехав из ряда экипажей, поехал рысью по левой стороне проспекта.

Это нарушение порядка не понравилось стоявшему на посту полицейскому сержанту, и он крикнул мне держаться правой стороны и ехать шагом, но я продолжал ехать крупной рысью. Сержант дал свисток, и другой полицейский бросился мне навстречу и схватил правую лошадь под уздцы.

Это меня взбесило, и я ударил полицейского бичом.

Раздались со всех сторон свистки и сбежались полицейские сержанты и народ. Нас окружили и с триумфом повели в полицейское бюро.

В бюро мы комиссара не застали, и нам пришлось ожидать его прихода около трех часов. Когда комиссар, наконец, пришел, я ему заметил, что неприлично заставлять ждать порядочных людей несколько часов. Комиссар ответил, что не мне делать ему замечания, и что я сам виноват, если сижу и жду его прихода, так как зря никого не держат в участке. Я не выдержал и просил его быть повежливее, если он не желает быть так же избит, как его подчиненный, присовокупив при этом, что я русский офицер. Комиссар велел своему секретарю занести мои слова в протокол, мне же сказал с иронией:

— Теперь я понимаю ваше поведение. Вы привыкли у себя в России бить кого хотите, но вы должны понимать, что вы здесь не в вашем варварском государстве, а во Франции, свободной, республиканской стране.

Эти слова были искрой, упавшей в порох. Взбешенный, не помня себя, я бросился на него и ударил кулаком по лицу. Комиссар свалился со своего стула на пол, меня же схватили полицейские и увели силой в другую комнату.

Кончилось все это тем, что мои слова и действия попали в протокол, а избитый комиссар, опоясав официальный трехцветный шарф, объявил мне, что во имя закона я им арестован.

Мадлен упала в обморок, и с большим трудом мне удалось привести ее в чувство.

После этого, сев в карету с двумя сержантами, я уехал с ними в полицейскую префектуру.

Там ожидала меня тюрьма.

XIV
В полицейской тюрьме. Следственный судья

По приезде в полицейскую префектуру, меня отвели сначала к начальнику сыскной полиции г. Куну. После допроса он отправил меня в антропометрическое бюро, где, после крайне неприятной процедуры измерения, с меня сняли фотографическую карточку.

По окончании этих мытарств, меня отвели в распорядительное бюро, и я очутился в полицейской тюрьме, помещающейся здесь же, в здании префектуры.

Меня снова раздели и обыскали, отобрав деньги, часы, ценные вещи и перочинный нож.

В камере, в коей меня поместили, находилось еще двое арестованных. Один из них был прилично одетый господин небольшого роста, с остриженной клином бородкой и быстрыми, плутоватыми глазами. Другой был молодой малый лет двадцати, одетый в блузу, с ярко-красным галстуком и в высокой фуражке, которую носит категория людей, именуемых в Париже весьма непочтенным именем сутенеров.

В камере было грязно и душно. Я даже не решился сесть и ходил из угла в угол.

Первым заговорил со мною прилично одетый господин.

— Вас, видимо, ужасает грязь этого хлева, в который порядочный хозяин посовестился бы поместить своих свиней и в который в свободном республиканском государстве сажают невинных людей. Таковы порядки нашего нынешнего бюрократического правительства.

— Вы не знаете, — спросил я его, — сколько времени могут продержать меня тут?

— Вы за что арестованы?

Я рассказал ему о случившемся.

— Это будет зависеть от следственного судьи, к которому вы попадете. Он может выпустить вас завтра же после допроса, или отправить вас в Мазас[8]. Во всяком случае, здесь вас не могут продержать более суток.

Это сообщение Гримо, — так звали моего товарища по заключению, — не могло меня успокоить.

---

[8] Мазас — следственная одиночная тюрьма в Париже (*примеч. Н. Г. Савина*).

Товарищи мои по заключению стали меня успокаивать, уверяя, что портить себе кровь, падать духом не следует, авось все обойдется, и я получу завтра свободу.

— Самое лучшее, — сказал мне Гримо, — постараться не думать о настоящем нашем положении. Чтобы забыться, пошлем купить литр или два вина, да закусок.

Вино и разговоры, не относящиеся до настоящего положения, действительно, развлекли меня немного.

В особенности помог этому оригинальный рассказ другого моего компаньона Бертье. Бертье был действительно сутенер, как я и угадал с первого же взгляда, и в тюрьме был своим человеком. Он уже бесчисленное число раз был приговорен за разные мелкие воровства, шантажи и тому подобные преступления, и теперь ему снова предстояло отвечать перед судом исправительной полиции из кражу. Он не скрывал своего ремесла и даже как будто бравировал и хвастался своими выходками.

Сутенеры, состоя в любовной связи с проститутками, живут на зарабатываемые ими деньги и пользуются ими, чтобы обворовывать и даже грабить людей, имеющих соприкосновение с этими женщинами. Это гнусное ремесло страшно развилось в Париже. По статистическим данным, проституток в Париже, находящихся под санитарным и полицейским надзором, более трехсот тысяч, а мужчин, занимающихся их эксплуатацией, до пятидесяти тысяч.

Прекрасно организованная парижская полиция часто бывает бессильна против этих господ, имеющих свою контрполицию. Эта благоустроенная ассоциация разделена на фракции воров, грабителей, убийц.

В преступлениях женщины играют, большею частью, пассивную роль.

В кварталах Монмартр и Лафает есть кафе, куда специально сходятся сутенеры и их женщины, и куда человеку, не принадлежащему к их кругу, положительно опасно ходить, так как там его оберут или изобьют до полусмерти. Полиция — и та не осмеливается идти туда открыто, посылая для наблюдения переодетых сыщиков.

Рассказывая о своих подвигах, Бертье страшно возмущался только что изданным законом, по которому уличенный более трех раз в сожительстве с публичной женщиной и не имеющий никаких средств к существованию мужчина приговаривается, по отбытии тюремного

заключения, к ссылке на поселение в Новую Каледонию. Дело Бертье подходило под этот закон, но он, по-видимому, не унывал.

— И там люди живут!

Утомленный и изнеможенный, я прилег уже перед самым рассветом на ужасную койку и часа два пролежал в каком-то забытье.

На другое утро, в десять часов, меня повели к следственному судье.

Это был маленького роста, толстенький, на тоненьких ножках, лет 45, господин. Умное, но хитрое лицо его было окаймлено седыми, коротко подстриженными баками, а голова была совершенно плешива.

Предложив мне сесть против него за большой письменный стол, он расспросил меня о случившемся и затем предложил дать показания письменно. Прочитав мои показания, следственный судья сказал, что объяснения мои будут, конечно, служить к уменьшению меры наказания судом, но ожидать оправдания я не должен, так как во Франции такие поступки наказываются очень строго, — и он прочел мне текст подходящей статьи из уголовно кодекса, в силу которой виновные в оскорблении действием представителя власти подвергаются тюремному заключению до шести месяцев.

Затем он стал меня расспрашивать о моем положении в России, моем состоянии, бывшей моей службе и месте жительства моих родителей и лиц, могущих дать обо мне сведения. Я спросил, к чему все это ему, так как мое положение в России не имеет никакого отношения к делу.

— Мне нужно все это знать, — возразил судья, — для того, чтобы ко дню суда иметь все сведения о вашей личности. Французский закон дает большую власть суду и растяжимость в налагаемом наказании. Так, из прочитанной вам статьи закона, вы видите, что наказание, начиная со штрафа в 60 франков, доходит до шести месяцев, и суду предоставляется взять минимум или максимум по своему усмотрению. Вот для этого-то справки, собираемые следственной властью о всяком обвиняемом, имеют огромное значение.

— Но, — возразил я, если нужно знать суду, кто я такой, то, мне кажется, достаточно предъявления паспорта и собрания обо мне сведений здесь в Париже и Ницце, где я хорошо известен.

— Нет, этого для судебных властей слишком недостаточно, — возразил мне Грилло. — Паспорт ничего не доказывает. Мало ли

бывает поддельных паспортов! Я принужден буду чрез посредство французского посольства в Петербурге связаться с русскими властями, а до получения справок должен содержать вас под стражей.

— Как содержать под стражей?! — воскликнул я с ужасом. — Вы, значит, не отпустите меня теперь даже по представлении залога?

— Нет, при всем желании я сделать этого не могу. Но беспокоиться вам нечего, срок предварительно заключения зачтется в счет предстоящего наказания, а я постараюсь сделать все, чтобы ускорить получение необходимых справок.

В страшном отчаянии вернулся я в мою камеру. В ней никого не было. Мои бывшие компаньоны по заключению были уже отправлены в Мазас.

Арест этот разбивал всю мою жизнь, мое положение в Париже и даже мог привести к более серьезным осложнениям, если наводимые справки в России дадут возгореться заглохнувшим там делам.

Малейшая случайность или запрос по месту моего рождения в городе Боровске может привести к весьма печальным результатам. Все эти мысли не давали мне ни на минуту покоя, и я всю ночь не мог заснуть.

В девять часов тюремщик пригласил меня следовать за ним, чтобы вместе с остальными арестованными быть отправленным в Мазас. Когда я вошел в прихожую, там уже были собраны все отправляемые, которых в этот день было человек тридцать. Сделав нам перекличку и отметив каждого в книге, старший надзиратель скомандовал громким голосом: «В карету» — и стал пропускать по одному в отворенную дверь тюрьмы.

Перед подъездом стояли три огромные, выкрашенные в желтую краску, тюремные кареты. Каждая была запряжена парою крупных лошадей, и в них помещалось до двадцати человек, которых запирали каждого отдельно в крошечное отделение. Кареты эти не имели окон, и в них царила совершенная темнота. Кроме того, в них была страшная духота, и в летние жаркие дни, когда солнце накаляло железную крышу и стены этих тюремных фургонов, пребывание в них бывает настоящей пыткой. К счастью моему, в этот день был сильный дождь, и я избавился от этого ужасного мучения.

XV
Предварительная тюрьма Мазас. Первое свидание

Предварительная тюрьма Мазас находится на бульваре Дидро, на краю города, как раз напротив Лионского вокзала.

От префектуры, находящейся на левом берегу Сены, близ моста Генриха IV, полчаса езды до Мазаса, но едущим в скверной казенной карете поездка эта кажется целой вечностью.

Наконец, послышался грохот отворяющихся тяжелых железных ворот, и карета остановилась у подъезда тюрьмы.

Я очутился в длинном коридоре, имеющим вид конюшни: по обеим сторонам были устроены небольшие чуланчики с железными решетками, напоминающие денники. Тюремщик велел нам раздеться догола и запер нас в костюме Адама по чуланчикам, в которых не на чем было сесть, и приходилось стоять на голом каменном полу. После этого было приступлено к тщательному осмотру всех наших вещей и платья.

Когда все мы были снова одеты, нас вели в находящуюся в конце коридора тюремную контору, где каждому выдали бляху с номером.

Ужасное чувство охватывает после всех этих унизительных мытарств и превращения человека в «номер».

Получив в конторе железный ярлык, на котором значилось «№ 69», я попал сначала в центральное бюро, где распоряжался старший тюремщик.

Центральное распорядительное бюро, в котором он восседал с большой важностью, помещалось в небольшой беседке, посередине огромной, с куполом, залы. Находясь в ее центре, можно было видеть, не сходя с места, всю тюрьму, так как все шесть галерей тюрьмы расходились радиусами он нее во все стороны.

Из круглой залы я вошел с сопровождавшим меня тюремщиком в V галерею и направился в назначенную мне камеру № 69. Все здесь было мрачно и, кроме голых каменных стен и железных дверей не было ничего. При входе в галерею мне пришлось познакомиться со старшим надзирателем этой галереи. Его звали г. Винцент.

— Какой номер у вас? — спросил он.

Я подал ему ярлык.

— Срик, шестьдесят девять! — крикнул он.

На этот возглас подошел толстый, неуклюжий, с обрюзгшим лицом, тюремщик, который и повел меня в камеру. Камера № 69 находилась в нижнем этаже, самая последняя с левой стороны. Срик объяснил мне правила, которым должен подчиняться всякий арестованный, а также показал, как я должен вешать на ночь гамак, служивший постелью, после чего вышел, заперев дверь.

Камера эта была, как и все остальные, пяти аршин длины и четырех ширины. Пол кирпичный, а потолок со сводом. Небольшое, с толстой железной решеткой, окно находилось почти под потолком, так что смотреть в него можно было, только став на табурет, но, во-первых, табурет оказался прикованным железною цепью к стене, а во-вторых, стекла в окне были матовые, и через них ничего не было видно. Стены, когда-то выкрашенные в желтую краску, были покрыты разными надписями, именами заключенных, порнографическими рисунками, стихами и ругательствами. Тут были автографы и приговоренных к смерти, и к каторжным работам, но больше всего — воров и сутенеров. В одном месте была даже выцарапана в штукатурке гильотина с надписью «Бездетная вдова».

Меблировка камеры состояла из массивного стола, также испещренного разными именами и надписями, прибитого к стене железными скобами, табуретки и лежащего на полке над дверью свернутого гамака.

В одном из углов камеры стоял жестяной, весь заржавленный кувшин с водою и такая же кружка.

Вскоре я услышал голос Срика. Дойдя до моей камеры, он открыл форточку и крикнул:

— Кантин!

— Что такое? — спросил я его.

— Кантин! — повторил он мне снова.

— Будьте любезны объяснить мне, что это значит.

— Ах, вы не понимаете, что это значит. В тюрьме есть своя лавочка, называемая «кантин», где всякий арестант может, если имеет деньги, покупать два раза в день все, что пожелает, по удешевленным ценам. Вот, возьмите расписание.

По этому расписанию я увидел, что можно выписать: хлеб, сыр, колбасу, вино, фрукты, табак, письменные принадлежности и даже горячую пищу. Но, по словам Срика, все это было не для меня, и он

советовал мне позвать имеющегося при тюрьме комиссионера, который принесет мне все, что я пожелаю, из ресторана.

— Что же я могу получить через комиссионера? — спросил я его.

— Все, что вы только пожелаете и когда вздумаете, от восьми часов утра до восьми вечера, если у вас есть деньги. У нас здесь четыре комиссионера.

— Скажите, пожалуйста, — обратился я к нему, — а письмо можно послать с этим комиссионером?

— Конечно, можно, но оно должно быть сначала прочитано в конторе.

Это крайне меня обрадовало.

Комиссионер не заставил себя долго ждать.

Заказав себе обед и две бутылки хорошего бургундского вина, я пошел вместе со Сриком в контору за деньгами, так как арестованные расплачивались за все, получаемое ими как от комиссионеров, так и в тюремной лавке наличными деньгами, которые хранились в конторе и выдавались на руки не более двадцати франков зараз. Вообще, всякий арестованный мог получать и выписывать все, что он желал. Можно было иметь свою собственную постель, мебель, посуду и даже ковер, что впоследствии мне и было прислано Мадлен.

Комиссионеры являлись ежедневно в восемь часов утра и обходили камеры, записывая заказы. В отношении еды я устроился прекрасно. Утром приносили мне горячий кофе со сдобным печеньем, в 12 часов я получал завтрак, вино и все покупки, а в 6 часов обед.

Когда же Мадлен принесла мне постель, кресло, несколько ковров и даже шелковую занавеску на ужасное тюремное окно, то моя камера стала даже уютною.

Главным развлечением заключенных было чтение. В тюремной библиотеке были и русские книги: Тургенев, Толстой, Пушкин и многие из наших периодических изданий.

Писать и получать письма заключенные могли беспрепятственно, но вся корреспонденция прочитывалась тюремной администрацией, кроме писем к адвокатам, которые отсылались немедленно и без просмотра, то есть могли быть запечатываемы самими заключенными. Также не распечатывались письма, приходящие по адресу заключенных, на которых имелся штемпель адвоката, состоял ли он защитником арестанта или не, все равно. Это введено ввиду глубокого

уважения и доверия, коими пользуется во Франции адвокатура. Свидания даются всем заключенным, с разрешения прокуратуры, четыре раза в неделю, от 12 до 3-х дня. Обыкновенно свидания происходят два раза в неделю за двойной решеткой.

Вот за этой-то решеткой увиделся я впервые, неделю спустя после моего ареста, с Мадлен. Бледная, вся в слезах, она бросилась ко мне, желая обнять, но толстые железные прутья мешали.

Мадлен рассказала мне, сколько труда стоило ей добиться разрешения меня видеть. Куда-куда она только не обращалась: и к директору тюрьмы, и в префектуру, и к прокурору республики, который, наконец, и выдал ей разрешение. Между прочим, она передала мне, что прокурор республики был очень любезен с нею и, на просьбу освободить меня, сказал, что, если русское посольство возьмет меня на поруки, то он согласен меня освободить.

— Напиши послу, — говорила она мне, — а то, хочешь, я съезжу к нему. Он должен же за тебя заступиться, как за русского подданного и офицера.

Что мог я ей на это сказать? Конечно, посольство должно заступаться за своих, но, в действительности, наши дипломаты этого никогда не делают.

Вот почему я отклонил это предложение и посоветовал лучше обратиться к хорошему адвокату. Я просил Мадлен также съездить к моим приятелям — редактору Рошфору и Карлу Деперьеру, сотруднику некоторых больших газет. Их содействие мне нужно было для опровержения статей, появившихся после моего ареста в некоторых газетах.

К перу Рошфора я и хотел обратиться за этим. Я знал, что он не выступит моим защитником перед обществом, но был уверен, что он будет громить ненавистную ему полицию. В дружбе Рошфора я был уверен, а потому посылал Мадлен без боязни, зная, что он радушно ее встретит и все сделает, что может.

Не успели мы еще наговориться, как уже время свиданий окончилось, и тюремщик резким начальническим тоном крикнул мне:

— Свидание кончилось, выходите!

XVI
Свидание с Рошфором. Мой адвокат

Мадлен не пропускала ни одного дня, чтобы не побывать у меня. Благодаря ее просьбе, директор тюрьмы оказал нам любезность, разрешив, в виде исключения, видеться в отдельной камере, и не двадцать минут, а по целому часу.

Вскоре меня навестил Рошфор и мой адвокат Камиль. Приехали они вместе, так как Камиль был приятелем Рошфора и вследствие его просьбы принял на себя мою защиту. С ним я виделся в адвокатской приемной, имеющейся в каждой галерее. В этих адвокатских приемных могли иметь свидание с заключенными адвокаты, священники всех вероисповеданий и депутаты палаты. Вот на основании этого Рошфор, как депутат палаты, мог беспрепятственно меня видеть глазна-глаз и без всякого стеснения во времени.

Рошфор привез мне только что напечатанную в его «Intransigeant» грозную передовую статью по адресу полиции. Статья, как я и предполагал, не имела прямого отношения ко мне и к моему инциденту.

Но, разнося в пух и прах «патентованное разбойничье учреждение», он указывал на возмутительные факты, имевшие место в последнее время и, между прочим, о случившемся со мной.

«Я не защищаю этого русского самодура, — говорилось в рошфоровской статье, — но ручаюсь, что дал бы в морду немецкому или русскому полицейскому комиссару, осмелившемуся выразиться с пренебрежением и такой неуместной грубостью о моем отечестве».

— Ты меня извини, милый друг, — сказал, смеясь, Рошфор, — что я тебя назвал даже самодуром, но моим радикалам другим тоном нельзя говорить. Вот г. Камиль будет тебя защищать деликатнее перед всеми этими канальями.

Камиль был еще молодой адвокат, но весьма талантливый. Он взялся за мою защиту, но предупредил меня, что на полное оправдание нечего рассчитывать.

— Будь у нас, во Франции, суд присяжных, дело было бы другое; но с нашим казенным судом, состоящим из старых, предубежденных судей, трудно добиться оправдания в таких делах. Полиция — любимое детище суда. Оправдывая вас, суд этим самым обвинит полицию, а этого у нас никогда не сделают.

За защиту он взял с меня тысячу франков и обещал сделать все, что от него зависит, чтобы ускорить дело. Относительно же моего освобождения до суда, он не рассчитывал на удачу, хотя и дал мне слово похлопотать об этом и повидать, кого следует.

Требование моей выдачи. Статья Рошфора

Прошло два месяца со дня моего ареста. Следствие давно уже было закончено, и для назначения моего дела к слушанию ожидалась только присылка справок из России. В России же скоро ничего не делается. Справки проходят целый ряд испытаний, исписываются целые кипы бумаги, а в конце концов толку все-таки никакого нет. И вот, в то время как разные боровские, тульские, шавельские и изюмские становые пристава строчили ответы по наведенным ими справкам о моей благонадежности и полном благополучии во всех отношениях моей личности, состояния и благомыслия нежданно-негаданно поднялась против меня буря. Ее раздули газеты.

Парижские газеты, распространившие весть о моем аресте и посвятившие этому событию целые столбцы, к несчастью для меня, читаются и на берегах Невы. Петербургские газеты, конечно, не упустили случая перепечатать такой крупный скандал, случившийся в Париже с русским бывшим гвардейским офицером, хорошо знакомым Петербургу.

Из столиц весть эта, благодаря газетам, попала в провинцию, в том числе и в Боровск, где новость эта произвела немалую сенсацию.

Этому обрадовался местный товарищ прокурора. Он написал письмо прокурору республики, что арестованный в Париже русский офицер Савин обвиняется в России в очень тяжком преступлении, поджоге своего дома, и что он будет требовать его выдачи. Он просил своего парижского коллегу не освобождать меня из-под стражи даже в случае моего оправдания или отбытия наказания.

Одновременно с этим посланием он вошел с представлением по начальству о требовании от французского правительства моей выдачи. Министерство юстиции стало наводить справки, не обвиняюсь ли я еще по каким-либо делам. И вот, нашли, что тот же Савин разыскивается уже десять лет петербургским Окружным судом по обвинению в разорвании векселя. О деле этом я, по правде сказать, совсем

и забыл. Мог ли я предполагать, что состою под судом и разыскиваюсь по сенатским обвинениям, когда Сенат два раза утверждал меня в должности почетного мирового судьи, не говоря уже о том, что я часто живал подолгу и вполне открыто в Петербурге.

Об этой грозе, собравшейся надо мною, я не имел ни малейшего понятия, пока меня не вызвал прокурор республики для предъявления требования нашего правительства о моей выдаче.

Новость эта была для меня ужасным ударом, тем более что за несколько дней перед тем адвокат сообщил мне, что справки из России, наконец, пришли и что они вполне благоприятны.

Благодаря требованию о моей выдаче, меня почти ежедневно возили из Мазаса в прокуратуру.

Я решительно протестовал против выдачи меня России, основываясь на том, что между Францией и Россией не существует конвенции о выдаче преступников. Кроме того, я заявил, что замешан в разных политических делах, а потому ни в каком случае выдан быть не могу. Последнее я, конечно, выдумал, но утопающий хватается за соломинку.

Сделал я это по совету моего адвоката, который уверял меня, что в этом я найду сильную поддержку в Рошфоре, который действительно и выступил моим горячим заступником в своей газете.

Рошфор в своих статьях, называя меня нигилистом, сподвижником Гартмана и Крапоткина, выражал надежду, что французское министерство «не дойдет до такой подлости», чтобы выдать человека, преследуемого за политические убеждения.

«О нелегальности такого возмутительного требования и буре, могущей подняться в обществе и прессе против такой выдачи, — писал Рошфор, — знают не только Греви и его креатур-министры, но и русские судебные власти, которые, проученные отказом по делу Гартмана, не рискуют уже более открыто требовать от Франции своих политических преступников, превращая таковых в общеуголовных. Вот, благодаря такому превращению, Савин сделался поджигателем. Но это обман, низость, не имеющая, по наведенным справкам, сходства с правдою. Оказывается, что Савин не поджег чье-либо чужое имущество, а сжег, даже взорвал динамитом свой собственный замок, с целью скрыть компрометирующие его и его партию документы».

Эту статью Рошфор принес мне в день ее напечатания. Я, по правде сказать, был крайне поражен, читая ее.

— Откуда ты взял, что я сжег или взорвал мой замок? — спросил я его.

— Да это все равно, — ответил он мне, смеясь, — с этой публикой иначе нельзя действовать. Надо наэлектризовать умы, надо выдать тебя за одного из главных вожаков нигилистов, чтобы расположить в твою пользу общественное мнение. Ты знаешь, что мою газету читают все рабочие, все радикалы и коммунары. Этой статьей я сделал тебя героем, и никто теперь не разубедит читавших ее, что ты не взорвал своего замка. Поверь, что министры не посмеют теперь тебя выдать.

Эта статья, действительно, наделала много шуму в Париже. Во всех газетах трактовалось обо мне, как о «русском нигилисте, взорвавшем замок своих предков и скрывшемся из-под его развалин подземным ходом».

XVII
Суд исправительной полиции

27 октября я предстал перед судом исправительной полиции. Накануне вечером прибежал ко мне в тюрьму мой защитник. Он не рассчитывал на оправдание, но надеялся, что настоит на небольшом наказании — месяца полтора-два тюремного заключения, — а главное, добьется, чтобы проведенное уже мною время предварительного заключения было зачтено мне в счет наказания.

— Если я этого добьюсь, то это надо считать победой, потому что вас тотчас же освободят из-под стражи, и вы отыграетесь от требования выдачи вас в Россию. Я сегодня еще справлялся в прокуратуре по делу выдачи. Оно только что отослано с заключением прокурора республики в министерство внутренних дел, от которого зависит окончательное решение. Пока министерского решения не состоялось, вас арестовать никто не вправе и вы, окончив счеты с французским судом, можете беспрепятственно ехать, куда пожелаете. В этом и состоит важность включения в счет наказания того времени, которое вы уже провели в тюрьме. По правде сказать, в суде на вас смотрят не особенно благосклонно. Судьи наши, как вам известно, большею частью клерикалы и ярые монархисты, так что смотрят на всяких революционеров, даже и на русских нигилистов, крайне недружелюбно. В моей защитительной речи я всячески постараюсь сгладить впечатление, сделанное прессой, и буду бить на необузданность вашей русской натуры, что должно смягчить сердца судей. Главное, держитесь скромнее, не горячитесь, а в последнем вашем слове выразите сожаление и раскаяние в совершенном проступке. Помните, что во французском суде ни красноречие, ни самые убедительные доводы не могут изменить заранее определенную вашу виновность. Факт оскорбления полицейского комиссара и сержанта неоспорим, а потому, по убеждению суда, должен последовать и обвинительный приговор, но соразмерность наказания в руках трех судей, перед которыми вы завтра предстанете. Значит, задачей вашей должно быть, главным образом, расположить их к себе, а этого вы можете достигнуть только скромностью и выражением раскаяния.

Ночь перед судом я провел весьма тревожно, не будучи в состоянии ни на минуту уснуть.

В 9 часов пришли за мной, чтобы ехать в суд. Хотя заседание суда начиналось в 12 часов, но из Мазаса отправляли всех арестованных, вызываемых в суд и к следователям, много раньше, так что приходилось всегда ждать по нескольку часов. В здании суда для арестованных устроены специальные камеры.

Камеры эти не имели ни окон, ни мебели, и несчастные, запертые в них, должны были по нескольку часов проводить в темноте и стоя. Грязь и смрад в этих отвратительных чуланах невообразимые. Иногда они бывали до того переполнены, что в каждом из них помещалось по десяти и более человек. Водили арестованных в суд, к следственным судьям и к прокурору республиканские гвардейцы, исполняющие в суде обязанности жандармов. Это были большею частью старые унтер-офицеры, состоящие на сверхсрочной службе, люди крайне грубые. Водили они арестованных не иначе, как с закованными руками. Для этого у каждого из них имелись ручные кандалы в виде двойных железных браслетов, которые запирались ключом. К ним приделаны были цепочки, за которые солдаты и водили арестованных, как охотники водят собак. Исключений не делалось никому.

Суд исправительной полиции в Париже имеет двенадцать отделений или камер.

Вот перед одной из них, восьмой камерой, и должен был я предстать.

Надо отдать справедливость французским судьям, — они крайне добросовестно относятся к изучению всего, относящегося к разбираемому ими делу. Это изучение позволяет им очень быстро решать дела: так что в один день каждое отделение решает двадцать, тридцать и более дел.

Исполнительная власть, хотя обязательно присутствует при всех разбираемых делах, но редко поддерживает обвинение, в особенности, если виновность ясна.

Мое дело, хотя и не представляло из себя ничего особенно интересного, как уголовный процесс, но являлось сенсационным, потому что обо мне писалось так много в газетах, и крайне интересовало парижскую публику.

Это привлекло в зал суда массу клубменов и горизонталок высшего полета[9]. В этот день в суде можно было встретить всех известных

---

[9] Горизонталки (*фр.* horizontales) — проститутки.

спортсменов Парижа и самых шикарных кокоток, которые вообще редко посещают храм Фемиды.

Когда меня ввели в зал заседания, судьи уже сидели на своих местах. Длинный, покрытый зеленым сукном, стол, за которым сидели судьи, помещался на возвышении; по правую сторону сидел за особым столом товарищ прокурора, по левую сторону находилась скамья подсудимых, на которую подсудимые садились в том порядке, как были назначены их дела.

В этот день арестованных, судящихся перед восьмой камерой, было 23 человека, и так как мое дело должно было продлиться дольше других, то оно было назначено последним.

Суд творился быстро.

Не успеет обвиняемый встать перед судом, как он уже приговорен к нескольким месяцам, иногда даже годам тюрьмы, и председатель бормочет резолюцию и приказывает судебному приставу вывести обвиняемого и вызвать следующего. Оправдания бывают весьма редкими и исключительными явлениями. При этом у всех этих обвиняемых, «завсегдатаев суда», большею частью не бывает защитников, за неимением денег, казенных же не полагается.

Нередко эти вечные клиенты выкидывают весьма комические сцены, вызывающие громкий смех не только в публике, но даже и среди судей. Так, например, в тот день один субъект обвинялся в краже кошек и продаже их потом под видом кроликов.

— Вы обвиняетесь в воровстве домашних животных и в мошенничестве, — говорит ему председатель. — Признаете ли вы себя виновным в этих преступлениях?

— Нет, г. председатель. Обвинение против меня формулировано неправильно.

— Как же это? Вы были пойманы на месте преступления, когда вы заманивали кошек и ловили их, причем в мешке, имевшемся при вас, найдено несколько обделанных уже кошачьих тушек, разве это не верно?

— Да, это верно, но здесь нет ни воровства, ни мошенничества. Я — охотник в душе, браконьер, но я не вор, а кошка не домашнее животное, а хищное животное.

— Но из следствия видно, что вы продавали этих «хищных животных» разным кухаркам за далеко не хищного кролика, обманывали их.

— Опять-таки, здесь нет никакого мошенничества, г. председатель. Мои покупатели были всегда довольны моим товаром, что доказывается тем, что они постоянно благодарили меня и заказывали мне снова принести им моих «кроликов». Где же тут обман, если обе стороны довольны? Да уж если привлекаться за такой невинный обман, то привлеките, г. председатель, раньше вашего портного.

— Это за что же?

— Да за то же самое.

— Как за то же самое? Он мне кошек не продавал.

— Но зато он продает вам мех белых кошек за горностаев, и от моего опытного взгляда не ускользнет это, глядя на меховую опушку вашей судейской мантии. Тут только одни хвостики горностаевые, а мех кошачий.

В зале общий хохот, а кошачьего охотника приговаривают к двухмесячному тюремному заключению.

Таких курьезов, вызывающих общий смех, было несколько, и вели они большей частью к тому, что балагурам этим за их юмор и остроту сбавлялось наказание.

Наконец в три часа все двадцать два моих компаньона по скамье подсудимых были осуждены и уведены из зала суда, и председатель обратился ко мне с обычным вопросом:

— Ваша фамилия, имя, звание?

Я ответил ему на это, а также, признав себя виновным в нанесенных мною оскорблениях действием полицейскому комиссару Бенаге и сержанту Флоке, стал объяснять самое происшествие, а также и причины, вызвавшие его, но председатель не дал договорить и, перебив меня, сказал:

— Мы все знаем. Садитесь.

Затем, обратясь к судебному приставу, велел ввести в зал свидетелей.

Свидетели были: полицейский комиссар Бенаге, сержант Флоке, Мадлен и мой грум, англичанин Роберт Джаксон. Первые двое были вызваны обвинительной властью, Мадлен и Роберт — защитою. При появлении Мадлен, бледной, видимо расстроенной, одетой в черное, меня охватила страшная грусть, и я, глядя на нее, еле-еле удержался от слез.

Первым был допрошен комиссар. Он не стеснялся в своих выражениях и старался всячески доказать, что нанесенное мною ему

оскорбление не было им вызвано и, по его словам, он был со мною чересчур любезен: предложил мне даже стул при входе моем в кабинет, чего он как официальное лицо не был обязан делать. В том же духе дал свои показания и сержант Флоке, допрошенный после своего патрона.

Показания Мадлен, наоборот, клонились к моему оправданию; она не только свидетельствовала о нервном и неприличном поведении полицейских чинов по отношению ко мне, но доказывала, что именно это поведение и довело меня до прискорбного инцидента. Ее показание было замечательно осмысленно и, наверное, послужило бы лучше всякой защитительной речи, сказанной адвокатом, если бы меня судили с присяжными.

Но на этих трех судей оно, по-видимому, мало подействовало.

Последним был допрошен мой грум Роберт. Его показания касались только первого инцидента с сержантом Флоке, так как по приезде в полицейское бюро он оставался на улице, при лошадях, и ничего не знал о случившемся в комиссариате.

Рассказав подробно и довольно комично на ломаном французском языке, с примесью английских слов, обо всем виденном, он страшно возмущался поведением полицейского сержанта не по отношению ко мне, а по отношению к лошадям, уверяя, что в Англии за такое грубое обращение с чистокровными животными полицейский был бы наверное привлечен к ответственности и строго наказан. Конечно, это рассуждение грума вызвало смех в публике.

— Господа судьи, — сказал прокурор, — настоящее дело ясно и виновность подсудимого доказана. Но, кроме этого, на моей обязанности лежит вывод перед судом обстоятельств, уменьшающих или увеличивающих вину подсудимого, а также и характеристика его личности. Все это имеет значение и влияет на меру и степень наказания, применяемого судом.

По собранным мною сведениям и имеющимся у меня официальным документам, присланным русскими властями, оказывается, что сидящий в настоящую минуту на этой скромной скамье подсудимых суда исправительной полиции г. Савин, — человек далеко не скромный. Это не полудикий барин-самодур, давший волю своей необузданности, как это думали многие сначала. Нет!.. Это ярый противник закона и порядка, это русский нигилист, обвиняющийся в России не только в сопротивлении власти, но также в тяжком

преступлении — поджоге своего собственно замка, за что его ждет там не несколько месяцев тюремного заключения, как здесь, во Франции, а веревка. О решительности нигилистов и всех ужасах, совершенных ими в их отечестве, достаточно известно всем. Я счел нужным упомянуть об этом, так как принадлежность обвиняемого к партии нигилистов не позволяет считать его случайным нарушителем закона. Он — человек, стоящий в открытой борьбе с законом и порядком, а таким людям снисхождения от суда быть не может, и я считаю справедливым назначить ему высшее наказание, определенное законом.

Начав с критического обзора речи своего противника, защитник старался убедить, что такой приговор неоснователен и даже противоречит закону, который ясно указывает обязанность суда не выходить из рамок разбираемого дела.

Закончил он свою речь просьбой принять во внимание то сильное раздражение, в котором я находился во время совершения проступка и, наконец, все страдания, перенесенные мною во время моего почти трехмесячного заключения. Оно, конечно, послужит мне весьма назидательным уроком.

В моем последнем слове я выразил раскаяние в совершенном мною и просил суд не наказывать меня слишком строго, а отнестись снисходительнее. После пятиминутного совещания судей между собою тут же за столом, председатель прочел резолюцию, по которой я приговаривался к трехмесячному тюремному заключению, причем не засчитывалось время, проведенное мною в предварительном заключении.

Услыхав это, Мадлен громко заплакала, а меня увели вниз, откуда вскоре отправили обратно в Мазас.

Не стану описывать подробностей дальнейшего моего пребывания в тюрьме в продолжение трех месяцев, которые я волей-неволей должен был посидеть в Мазасе по приговору суда. Дни тянулись так же бесконечно и однообразно, как и прежде, и единственным утешением были посещения Мадлен, которая, невзирая на холод и скверную погоду, аккуратно приезжала во все дни свидания, привозя мне книг, лакомств и всяких безделушек.

О выдаче моей первые два месяца ничего не было слышно, и мой адвокат уверял меня, что это прекрасное предзнаменование.

— Значит, — говорил он, — министерство, не желая отказать России ввиду заискивания перед ней в настоящее время французского правительства, затягивает рассмотрение дела до выхода вашего из тюрьмы, а тогда ищи ветра в поле.

Рошфор также успокаивал меня в моих опасениях по поводу выдачи.

— Будь спокоен, друг мой, тебя не посмеют выдать после всей полемики, бывшей в газетах.

Но вот в январе, когда мне оставалось каких-нибудь две недели до моего освобождения, меня как-то раз, утром, позвали в кабинет директора тюрьмы. Я застал там, кроме директора, еще какого-то пожилого господина с орденской ленточкой в петлице, которого директор тюрьмы представил мне как чиновника министерства внутренних дел.

— Я приехал сюда, — сказал этот господин, обращаясь ко мне, — чтобы вручить вам копию с декрета президента республики, в силу которого вы, по окончании срока тюремного заключения, будете выданы русским властям по обвинению в поджоге и уничтожении документов. — С этими словами он передал мне копию декрета, скрепленную надлежащими подписями и печатью министерства. Ошеломленный этим ужасным для меня известием, я вернулся в мою камеру, где со мной сделался нервный припадок. Я пролежал несколько дней в постели.

Мадлен узнала о случившемся из газет, которые подняли снова страшный шум из-за моей выдачи. Мнения их разделились: одни поддерживали министерство, говоря, что в присланных русских документах ничего не упоминается о принадлежности моей к нигилистической партии, почему находили выдачу мою совершенно правильной, так как возводимые на меня обвинения русскими судебными властями имели общеуголовный характер, а не политический, другие же, во главе которых стоял, конечно, Рошфор, возмущались этой выдачей, называя ее топтанием свободы политических убеждений и бюрократическим разбоем. Но эта газетная грызня не привела, конечно, ни к чему, кроме шума и бросания грязью друг в друга. Решение министерства, санкционированное президентом республики, было бесповоротно, и мне пришлось подчиниться ему и готовиться к отъезду в дальний путь.

Срок моему тюремному заключению истекал двадцать седьмого января, и в этот злосчастный день меня должны были увезти жандармы на германскую границу в Мец, чтобы передать там прусским властям для дальнейшей отправки в Россию.

Накануне рокового дня ко мне приехали проститься Мадлен, Рошфор и мой адвокат. Они выхлопотали у директора тюрьмы разрешение для Мадлен видеться со мною вместе с ними в адвокатской приемной и просидеть у меня более продолжительное время на прощание.

Бедная Мадлен была страшно убита этим новым постигшим меня несчастьем и хотела, во что бы то ни стало, ехать за мной. Но этого ей не разрешили, так как, по правилам перевозки арестованных, никто посторонний не может помещаться во время пути в отделении, отведенном для них и их конвоиров. Ехать ей в том же поезде, конечно, никто не мог запретить, но я первый был против этого и старался отговорить ее, в чем нашел поддержку со стороны Рошфора. Ее путешествие вместе со мною было совершенно излишне, так как я уезжал с твердым намерением бежать при первой возможности.

Я не мог предположить, чтобы при таком длинном пути, как от Парижа до Петербурга, не нашелся удобный момент, чтобы избавиться от моих конвоиров. В случае же, если бы мои надежды не осуществились и меня бы довезли до места назначения, Мадлен могла бы приехать в Петербург и там ожидать моего освобождения. В оправдание русским судом по обоим возводимым на меня пресловутым обвинениям я был уверен, бежать же хотел я не из-за страха перед судом, а только чтобы отвратить скандал и то горе, которое причинит моим бедным родителям мой приезд в Россию и содержание в тюрьме до суда. В особенности я боялся за моего старика-отца, на которого мой арест в Париже так сильно повлиял, что с ним сделался удар.

Рошфор, как человек опытный по части побегов, бежавший, как известно, из Новой Каледонии, куда он был сослан за участие в коммуне, советовал мне, главным образом, запастись деньгами, чтобы по совершении побега я смог скрыться от преследований. Конечно, я воспользовался этим советом и взял у Мадлен тысячефранковый билет.

На другое утро, в семь часов, за мной пришли жандармы, которым было поручено меня отвезти до франко-германской границы,

и я вместе с ними отправился на вокзал Восточной железной дороги. По приезде туда мы прошли прямо в отведенное для нас купе второго класса, где и расположились в ожидании отхода поезда.

Сопровождающие меня жандармы были старые волки. Они знали, что я русский офицер, а потому относились ко мне весьма любезно.

Национальные симпатии сменились вскоре личными, и жандармы мои искренно жалели и делали все, что от них зависело, чтобы хоть на время заставить меня забыть мое положение арестованного. На станциях они пускали меня свободно гулять, заходить в буфет и разрешали делать, что мне только хотелось.

В купе нашем появилось вино и разные закуски, купленные мною, и мы пили и болтали, как старые друзья.

Как ни дружен я был с моими новыми друзьями-жандармами, как ни казался весел, беззаботен, мысли мои были всецело направлены на план бегства. Проезжая раньше неоднократно по этой линии железной дороги, я знал, что у германской границы нам придется проехать несколько длинных туннелей. План мой состоял в том, что, как только поезд наш войдет в один из этих туннелей, я, благодаря темноте, незаметно для моих конвойных отворю дверцу вагона со стороны свободного второго пути и выпрыгну на ходу. Конечно, решение было крайне рискованно, но без риску я не мог рассчитывать на свободу, а потому надо было отважиться на этот способ бегства.

На станциях, на которых мы выходили, я подробно рассмотрел и изучил устройство запоров в вагонных дверцах, чтобы быть в состоянии скоро и без шума отворить их.

Вагоны во Франции устроены, не как большая часть у нас; там проходных вагонов вовсе нет, а они разделены на купе в восемь мест каждое, в которые входят с обоих боков, как на некоторых мелких линиях, например, на Балтийской дороге у нас. Таким образом, сидя у открытого окна вагона, мне достаточно было, при входе поезда в туннель, спустить руку с наружной стороны, чтобы достать ручку двери, отворить ее и затем спуститься на подножку вагона, а с нее уже спрыгнуть. Конечно, прыгать должен был я, в силу закона инерции, вперед и с возможно большей силой. При таком прыжке и благоприятных обстоятельствах падения я мог только ушибиться. Но было еще одно обстоятельство, кажущееся с первого

взгляда пустым, но имевшее огромное значение: надо было найти предлог держать окно открытым.

Будь на дворе тепло, дело было бы другое, но день был холодный, пасмурный, по временам шел снег, так что без особой причины не было никакой надобности отворять окна. Вот эту-то причину надо было найти во что бы то ни стало, и я ее вскоре нашел. Сначала я стал жаловаться на головную боль и кружение, а затем стал притворяться, что меня тошнит, и для этого отворял беспрестанно окно и высовывался в него.

Тошнота все как бы усиливалась, и мои спутники предложили мне оставить окно отворенным, а так как из него сильно несло холодной сыростью, то они, закутавшись в свои плащи, сели в противоположный конец купе. Время подходило к вечеру. Мы уже проехали Эперне и из богатых равнин Шампаньи въехали в гористую, поросшую лесом местность. Это были Вогезы, а за ними следовала уже граница Франции с Лотарингией.

Поезд наш мчался на всех парах, поминутно пропадая во тьме многочисленных тоннелей.

«Пора действовать, нечего мешкать», — думалось мне, и я пододвинулся к окну.

С оглушительным свистом и треском мы снова въехали в длинный тоннель. Спустить руку за окно, отпереть дверцу вагона и спуститься на ступеньку, было делом нескольких секунд. Меня охватило холодным, сырым воздухом подземелья, темь была непроглядная, так что даже не было видно стены тоннеля, что мешало мне соизмерить прыжок; но нечего было делать, надо было прыгать, всякая минута была дорога.

И я прыгнул в эту тьму.

Хотя я и стал сначала на ноги, но от страшной силы инерции я не мог на них удержаться и несколько раз перекувырнулся через голову, причем больно ударился плечом о рельс свободного пути, на который упал. Ошеломленный, разбитый, я все-таки не потерял сознания, немедленно вскочил на ноги и без оглядки побежал к выходу их тоннеля, но от страха и потрясения мне захватывало дух, и ноги подкашивались подо мной, так что невольно пришлось мне убавить шаг; при этом я почувствовал страшную боль в правом плече. Выйдя из тоннеля, я присел на сложенные близ пути шпалы и стал ощупывать разбитое плечо и, к ужасу своему, убедился, что сломал ключицу.

Боль была нестерпимая. Но сознание опасности дало мне силу побороть боль, так как я понимал, что оставаться мне тут было немыслимо, надо было во что бы то ни стало удалиться от линии железной дороги вглубь страны.

Гористая, покрытая лесом местность, в которой я находился, представляла, конечно, большое удобство, чтобы скрыться, и, не сломай я ключицы, я счел бы себя в эту минуту совершенно обеспеченным в этой глухой местности.

Но страшная боль, причиняемая мне при малейшем движении, заставляла меня идти очень тихо и часто даже останавливаться. Наступившая вскоре ночь ухудшила и без того незавидное мое положение. Не зная местности, я проплутал всю ночь в этой гористой трущобе. Держался я на север, зная, что в этом направлении должна находиться невдалеке бельгийская граница.

Сколько я прошел в эту ночь, определить не могу, но думаю, что сделал, по крайней мере, верст сорок. Больших сел и деревень я не встречал, но часто проходил мимо небольших поселков и отдельных ферм, в которых не мог ничего узнать, так как все давно уже спали, и только собаки с лаем провожали меня за околицу.

Когда совершенно рассвело, я добрался до широкого шоссе, обсаженного пирамидальными тополями. Пройдя верст десять по этому шоссе, я дошел до большого села, где и зашел, чтобы отдохнуть и подкрепиться, в кафе. Здесь молодая девушка, прислуживавшая гостям, на вопрос мой «Далеко ли отсюда до бельгийской границы?» ответила удивленно:

— Вы хотите сказать до французской границы?..

— Как до французской? Разве здесь не Франция?

— Нет, — ответила она, — наше село в Бельгии. Французская граница от нас в пяти километрах.

Легко понять радость, которую произвели на меня эти слова горничной. Я был в Бельгии! Я был спасен!

Изнемогая от боли, я прежде всего осведомился, нет ли поблизости доктора или больницы, куда я мог бы обратиться, чтобы сделать перевязку сломанной ключицы, и узнал, что доктора я могу найти в ближайшем городе, отстоящем от села в пятнадцати километрах, но также могу обратиться и в близлежащий иезуитский монастырь св. Игнатия, где есть небольшая монастырская больница и прекрасный врач-монах.

XVIII
В монастыре иезуитов. Снова в Монте-Карло

В монастыре я нашел весьма радушный прием. Доктор-монах оказался искусным хирургом. Он с большою ловкостью сделал перевязку и уложил меня в постель.

На расспросы доктора, назвавшегося отцом Вениамином, и других братьев, приходивших меня навестить, я рассказал им, что, катаясь верхом в окрестностях монастыря, упал с лошади. Но, через несколько дней, познакомившись ближе с этими милыми и умными людьми, я решился рассказать им всю правду.

С одним из знаменитых проповедников, отцом Жеромом, я близко сошелся.

Отец Жером, в свете Максимильян де Сан-Ламберт, был родом француз и происходил из старинной дворянской фамилии, был артиллерийским офицером и сражался в отряде генерала де Шанзи. Будучи ранен осколком гранаты в нижнюю часть живота, по мнению врачей, смертельно, он дал обет Богу, что, если останется в живых, то поступит в орден иезуитов. Оправившись от ужасной раны как бы чудом, он сдержал свой обет и поступил в монастырь св. Игнатия.

Его природное красноречие, звучный и притом мягкий голос, изящная фигура и манеры, а главное, убежденность — много способствовали его успеху, и вскоре он достиг известности не только в Бельгии, но и во всем католическом мире, как выдающийся проповедник. Во время моего пребывания в монастыре отцу Жерому было всего сорок лет. Меня влекло к нему и хотелось открыть ему свою душу, и я, наконец, рассказал ему обо всех несчастьях. Через него я стал получать письма от Мадлен.

Здоровье мое вполне поправилось, сломанная ключица срослась, и я стал собираться покинуть мирную обитель, решив покинуть навсегда Европу и уехать с Мадлен в Америку.

Я писал об этом Мадлен, которая вполне разделяла мое решение. Мы условились съехаться в конце апреля в Ницце, куда мне надо было ехать за получением тридцати тысяч франков, внесенных за меня нотариусу Деформу покупщиком моей виллы. О моих планах и положении в монастыре знали только отец Жером да доктор, которые снабдили меня рекомендательными письмами к иезуитам и влиятельным лицам, живущим по ту сторону Атлантического океана.

Гуляя как-то вечером, за несколько дней до моего отъезда из монастыря, с отцом Жеромом, я высказал ему чувство грусти, которое я ощущал при мысли о скорой разлуке.

— К чему же нас покидать, друг мой, если наша тихая обитель вам так нравится? — сказал он, кладя мне руку на плечо. — Я давно уже заметил вашу симпатию к нашей братии и хотел вам кое-что предложить.

— Что именно? — спросил я его.

— Да поступить к нам в орден.

— Что!? Поступить мне в монастырь! Да я совсем к этому не привержен, а кроме того, как вы хорошо знаете, я человек не свободный: живу с женщиной, которую люблю и с которой расстаться не могу.

— Да кто же вам говорит про расставание? — возразил он мне с легкой улыбкой.

— Как же это? Не могу же я, поступивши в орден, продолжать жить с моей Мадлен?

— Конечно, жить открыто невозможно, но с соблюдением внешних приличий, почему же нет? В нашем ордене на это смотрят сквозь пальцы, в особенности, по отношению к энергичному и приносящему пользу монаху. Такому монаху прощается многое.

— Так вы думаете, что из меня выйдет дельный иезуит?

— Не только думаю, но вполне уверен в этом. При том, — продолжал он, — с поступлением в наш орден, все преследования, обращенные против вас, прекращаются, так как уже Савина более не будет существовать, а будет отец Иван или Петр, который станет под защиту не только нашего ордена, но и всей католической церкви, а это сила, против которой, конечно, ни одна судебная власть Европы не может бороться. Наконец, служением церкви вы спасете вашу душу, а это — главная цель всякого христианина.

— Как это так вы говорите: спасу свою душу, когда, поступая в монахи, буду жить в грехе?

— Да кто же из нас не грешит? Но мы рассчитываем на безграничное милосердие Всевышнего, причем стараемся искупить свои грехи истинным и полезным служением святой церкви. По уставу ордена, интересы католической церкви ставятся выше всех частных интересов не только отдельных лиц, но даже целых государств. Таким образом, служа церкви и принося ей неоспоримую пользу, вы искупите ваши грехи. Наконец, святой отец наш, папа, зная хорошо

все трудности, переносимые членами нашего ордена, особо благоволит к ним и присылает ежегодно со своим благословением индульгенцию, которая очищает всю братию нашего многострадального ордена от грехов. Не бойтесь же, мой друг, и поступайте без всякого страха к нам. Как человеку энергичному для вас надеется в нашем ордене нашем ордене много дела, интересного и подходящего к вашему характеру, но об этом вы узнаете, тогда, когда поступите в него, — и отец Жером лукаво и многозначительно улыбнулся.

— Не совращайте меня, отец Жером, мне служение церкви не по душе и у меня нет никакой склонности к этому. Я слишком люблю жизнь и ее наслаждения и не способен отказаться от земных благ в ожидании небесных.

На этом кончился наш разговор.

Три дня спустя я покинул монастырь.

* * *

Расставшись с братьями монастыря св. Игнатия и заняв у отца Жерома три тысячи франков, я уехал по направлению к Ницце. Думал я остановиться в Монако. Жить в Ницце было опасно, так как меня там слишком хорошо знали. Но ехать туда было необходимо, чтобы получить деньги за проданную виллу. Конечно, будь у меня необходимые бумаги для удостоверения моей личности, я мог бы послать доверенность моему ниццкому приятелю, адвокату Масону, но, к несчастию, у меня никаких бумаг не было и мне приходилось ехать волей-неволей самому.

Приехал я в Монако в конце апреля.

Сезон уже подходил к концу.

Конечно, приехав в Монако я не мог удержаться от соблазна и немедленно отправился в казино. Желание попытать счастья было естественно. Год тому назад игра дала мне полмиллиона франков.

Все в этом зале было без перемен: груды золота и банковских билетов, те же крупье.

Целый день я бился вничью и по окончании игры оказался в проигрыше около пятисот франков. На другой день мне повезло, я выиграл семь тысяч франков.

Этот выигрыш утвердил во мне снова надежду на возвращение счастья. Я стал играть шире, бросать деньгами и забыл даже опасность и нелегальное положение, на котором находился.

На четвертый день приезда моего в Монако, приехала из Парижа Мадлен. Этот приезд отвлек меня от всех моих дум и зеленого поля.

Через три дня мы уехали в Сан-Ремо не по железной дороге, а на лошадях, чтобы избегнуть проезда через официальную франко-итальянскую границу, где всегда толкутся массы жандармов и полицейских.

В Сан-Ремо мы очень мило устроились в небольшой, но весьма хорошей гостинице, на самом берегу моря. Пробыл я там с неделю. Но благоразумие заставило меня, в конце концов, вспомнить о цели моего приезда. Надо было ехать в Ниццу за деньгами.

Для бóльшей осторожности я доехал до Ментона на лошадях и оттуда взял билет в Ниццу. У нотариуса все обошлось благополучно, и любезный г. Деforж выдал мне под расписку тридцать тысяч франков без малейшей задержки. От нотариуса я заехал к своему приятелю, адвокату Морису Масону, чтобы пожать ему руку и, кстати, рассчитаться за его хлопоты по моим прежним делам. Масон очень обрадовался, увидев меня, причем передал мне, что он уже слышал о моем приезде в Монако и советовал быть осторожным.

— Вы знаете, — сказал он мне, — как бдительна наша французская полиция, а потому будьте осторожны и уезжайте поскорей из Франции. Поверьте, что за вами уже следят.

После этого предупреждения я стал еще осторожнее, дождался ночи и в закрытой коляске уехал прямо в Монако, где думал переночевать, а на другое утро ехать в Сан-Ремо к Мадлен.

Я благополучно добрался до Монако и сейчас же послал телеграмму Мадлен с извещением о благополучном исходе моей поездки и получении денег от нотариуса.

На другой день я собрался ехать в Сан-Ремо, но затем решил остаться до вечера. Меня сильно подмывало пойти попытать счастья в казино. Денег у меня было около сорока тысяч. «Может быть, мне опять повезет», — думалось мне, и я отправился в казино.

XIX
Изменчивость фортуны. В поисках денег

После первых неудачных ударов мне повезло: я попал на серию в девять красных, и от первоначальной моей ставки в двести франков, выигрыш возрос на девятом ударе до 48 000 франков. Сорвавшись на этом девятом ударе и проиграв стоявший в этот раз максимум в 12 000 франков, я вскоре опять попал в серию и к вечеру был в выигрыше около 80 тысяч.

Конечно, после такого счастливого исхода мне следовало бросить игру и ехать без оглядки в Сан-Ремо.

Но страсть к игре удержала меня в Монако. Я послал телеграмму Мадлен, извещая ее о крупном выигрыше, и просил ее приехать в Монако.

На другой день я получил ответную депешу от Мадлен. Она сообщала, что приехать не может, вследствие нездоровья и просит меня немедленно приехать к ней. Но отуманенный моим огромным выигрышем, я забыл в этот момент и любовь, и все, и вместо того, чтобы ехать в Сан-Ремо, ушел в казино и проигрался вдребезги!

Я очнулся только тогда, когда последний тысячефранковый билет попал под неумолимые грабли крупье, который очистил стол от проигранных денег.

В лихорадочном волнении, бледный, стоял я у рокового стола, шаря в карманах, в которых ничего уже не было. Игра продолжалась, кучи золота и банковских билетов лежали на столе.

Никто не обращал на меня ни малейшего внимания, мне же нечего было ставить. Оставалось одно — найти, во что бы то ни стало, денег и постараться отыграться, хотя бы только отыграть свои 30 000. Но где достать денег? Правда, ростовщиков в Монако и Ницце много, и все они хорошо меня знали, почти у всех год назад я занимал деньги и расплатился с ними. Но в то время я слыл за богача, имел виллу в Ницце и три имения в России, теперь у меня ничего не было, я был уже не русский богач, а скиталец и беглец.

Рассуждая так сам с собою, я отправился в кафе де Пари, находящийся против казино.

Присев там, я позвал знакомого гарсона Баптиста. Увидя мое бледное лицо, опытный гарсон, конечно, догадался о случившемся и спросил меня:

— Проигрались?

— Проигрался!

— Что значит для вашего сиятельства сто двадцать тысяч франков, — ответил словоохотливый Баптист, — когда вы в прошлом году проиграли более миллиона. Отыграетесь. Не всегда будет вам не везти.

И Баптист быстро вынул из кармана тысячефранковый билет и положил его, будто бы украдкой, в мою шляпу.

Получив тысячу франков от Баптиста, я бросился обратно в казино. Но, войдя в зал, я услыхал неприятное оповещение: игра уже кончилась.

Я все-таки разменял тысячефранковый билет и поставил 500 франков на красное. Красное вышло все три последние удара и я выиграл 4000 франков. Но что мне были эти несчастные четыре тысячи франков, в особенности, когда я отдал Баптисту его тысячу, да еще сто франков на чай!

Ехать в Сан-Ремо к Мадлен я не хотел, пока не отыграю хоть часть моего проигрыша. Но чтобы иметь больше шансов, мне надо было найти еще денег, и я уехал с последним поездом в Ниццу.

Я ехал, не думая о той опасности, которая грозила мне, поглощенный только мыслями о займе. Я забыл даже послать телеграмму Мадлен для объяснения моего отсутствия.

Приехав в кафе, я прошел прямо в задние комнаты, где всегда восседал ростовщик Летестю со своей компанией, играя по маленькой в домино или в карты.

Конечно, компания его состояла из разных ростовщиков, комиссионеров по части доставания денег и тому подобных личностей. Поздоровавшись со старым ростовщиком, я попросил его на пару слов и, в нескольких словах передал ему о моем крупном проигрыше, я просил его ссудить мне до получения денег из России двадцать тысяч франков.

Летестю, по обыкновению, сказал, что подумает и даст ответ на следующий день. Нечего было делать, надо было ждать до утра.

Был уже второй час утра, кафе стало пустеть, и Летестю, окончив партию в безик, распростился со своею компанией и уехал домой.

Вскоре после его ухода ко мне подошел один из сидевших с ним и отрекомендовался комиссионером по фамилии Камбель, специально занимающимся доставанием денег высшему обществу.

При этом он сказал, что хотя лично и не имел чести знать меня, но знает по слухам и готов помочь мне достать денег. Конечно, это предложение было мне весьма кстати. Мы условились.

— Я к вам приду, — сказал он мне. — В какой гостинице вы остановились?

— Я не в гостинице остановился, а на вилле в одном семействе, — соврал я ему, — а потому вам будет неудобно ко мне приехать, лучше встретимся здесь, в кафе, или же я приеду к вам.

— Вот и отлично. Приезжайте ко мне в десять часов утра.

Получив адрес, я простился со своим новым знакомым и уехал опять в отель де-Пэ.

Проснувшись в девятом часу, я тотчас стал одеваться.

Напившись кофе и заплатив по счету, я уехал из гостиницы в закрытой карете к Комбелю.

Но не успел я войти в комнату, как на меня набросились два человека и схватили за руки, а из-за ширм показался третий, незнакомый мне господин, опоясанный трехцветным шарфом полицейского комиссара, громко проговоривший:

— Господин Савин, во имя закона я вас арестовываю…

Камбеля в комнате не было, и оказалось, что он был не комиссионер, а сыщик.

Из полицейского бюро меня отвезли в тюрьму. Весть о моем аресте разнеслась по всему городу, и в тот же вечер во всех газетах появилась эта сенсационная новость.

Сидя у окна моей камеры, я слышал долетавшие до меня крики продавцов газет:

— Арест князя Савина — два сантима!

XX
В пути. Мысли о бегстве. Холера

На другой день ко мне приехал мой приятель адвокат Масон.

Я просил его немедленно съездить в Сан-Ремо и успокоить Мадлен.

Зная, что у Мадлен мало денег, я отослал ей около трех тысяч франков.

Два дня спустя после первого визита Масон навестил меня снова и сообщил, что Мадлен больна.

Болезнь задержала ее около трех недель в постели, и она приехала в Ниццу за два дня до моей отправки в Россию.

Мадлен проводила меня до Марселя. Отсюда она поехала в Париж, а я — по направлению к германской границе.

На границе я был передан немецким жандармам. Они знали, что я русский офицер, а потому были со мною весьма вежливы.

Несколько дней я должен был пробыть в Мелюзе для соблюдения необходимых формальностей, и меня прямо с вокзала отвезли в здание суда к прокурору.

По опросу и просмотру бумаг, прокурор распорядился отправить меня в тюрьму, обещав ускорить мою отправку в Россию.

Сидя в одиночной камере мелюзской тюрьмы, я размышлял о моем положении, ожидающем меня в России.

Суда я не боялся, чувствуя свою правоту, но возвращаться в Россию при такой обстановке было для меня тяжело. Состояние мое было расстроено. Из трех имений оставалось только одно — харьковское, и это последнее должно было быть продано на днях моим кредиторам. Семейные дела меня тоже не радовали: восьмидесятилетний старик-отец был сильно болен, и на выздоровление не было никаких надежд.

Мои несчастья так сильно подействовали на старика, что с ним сделался удар.

Я боялся, чтобы привоз мой в Россию не ухудшил и без того незавидное положение моих дел, как денежных, так и семейных.

Сколько я ни ломал голову, не было другого выхода, как снова бежать. Надо было раньше хорошенько обдумать план бегства. Всякая неудачная попытка могла только ухудшить мое положение.

В бегстве удача, конечно, зависит больше всего от случайности, но и случайностями надо уметь воспользоваться. Необходимы, кроме того, решимость, хитрость и деньги.

Я запасся деньгами и, чтобы их не отняли в тюрьме, я припрятал их как следует.

Еще в Ницце, после ареста, я придумал оригинальный способ прятать деньги. Я попросил моего адвоката Масона прислать мне в тюрьму дорожную пару и пальто, но предварительно отпороть все пуговицы у пиджака, жилета и пальто, а на место их пришить обернутые в толстую шелковую материю десяти и двадцатифранковые золотые. Так и было сделано.

Еще весьма важное при бегстве обстоятельство — знать местность. Для этого я приобрел в Мелюзе путеводитель по Германии с подробной картой, по которой я мог легко ориентироваться, не прибегая к излишним вопросам, могущим навлечь подозрение.

Определенного плана бегства у меня не было, но я решился бежать во что бы то ни стало и как можно скорее, при первом удобном случае.

С таким решением я сел в Мелюзе в вагон с сопровождавшим меня полицейским агентом, которому было поручено довезти меня до прусской границы, до города Саарбрюкена. Поезд отходил из Мелюзы в девять часов утра, и мы должны были прибыть к назначению в седьмом часу вечера. Путешествие днем было, конечно, не совсем удобно для приведения в исполнение задуманного плана. Еще более мешало мне то, что вагон был переполнен публикой. Волей-неволей пришлось отложить бегство до ночи.

В Саарбрюкене мы нашли ожидающего моего прибытия прусского жандармского вахмистра, который пригласил нас ехать с ним в город для исполнения каких-то формальностей.

Ландрат[10] был со мною весьма любезен и разрешил мне переночевать в гостинице под охраною приехавшего со мною полицейского и жандармского вахмистра.

За ужином я старался подпоить моих охранителей, но это не удалось. Выпить немцы не отказались, но не напились.

---

[10] *Ландрат* (Landrat) — в Пруссии королевский чиновник, председатель одноименного присутственного места, ведавшего делами местного благоустройства и полиции.

После же ужина, когда я лег спать, они закурили свои ужасные сигары и стали болтать между собою вполголоса.

На мой вопрос, почему они не ложатся спать, они ответили:

— На службе спать не полагается.

Наутро, распростившись с агентом, привезшим меня из Мелюзы, я уехал с жандармским вахмистром Штауфом по направлению к Кёльну и Берлину.

Дорога от Саарбрюкена до Кёльна идет почти все время вдоль реки Мозель, которая разделяет владения Пруссии от Люксембурга. Бегство во время этого пути было бы самым удобным, так как, перебравшись через реку, я тотчас же был бы за границей, особенно на территории герцогства Люксембургского, не имеющего с Россией трактата о выдаче преступников. Но причины, мешавшие мне исполнить задуманное накануне, мешали мне и теперь: так же набитый публикой вагон и та же бдительность жандарма. Я даже не мог воспользоваться многочисленными туннелями, так как, благодаря предупредительности железнодорожной прислуги и чисто немецкой аккуратности, все вагоны были освещены и, мы ехали днем с огнем.

Таким образом, я благополучно прибыл в Кёльн.

Приехав в Кёльн в третьем часу дня, нам пришлось ожидать отхода поезда на Берлин до 11 часов вечера. Я воспользовался этим временем, чтобы погулять по городу. Жандарм не отказал мне в этом. Осмотрев собор и накупив разных вещей, мы зашли в ресторан, где прекрасно пообедали и выпили рейнского вина. Спаивать моего спутника я уже больше не старался, так как убедился, что споить его невозможно.

После обеда, за чашкой кофе и газетами, мне вдруг пришла блистательная мысль. Из только что прочитанной газеты я узнал о появившейся холере в Марселе. Это дало мне блестящую идею. После недолгого обсуждения, новый план был готов. Он заключался в том, чтобы принять какие-либо сильно действующие средства, могущие вызвать признаки холеры.

Выйдя из ресторана и направляясь к вокзалу, я зашел по дороге в аптеку, купил рвотных порошков и выпил две бутылки горькой воды Гунияди. Прием такого сильнодействующего средства, конечно, не замедлил расстроить мне желудок, и, по приходе на станцию, я почувствовал себя дурно.

Не довольствуясь этим, я, перед отходом поезда, принял еще три рвотных порошка. Смешение этих двух средств отразилось на моем организме: меня бросило в жар, голова страшно разболелась, появились все признаки холеры.

Публика, сидевшая с нами в вагоне, стала беспокоиться. Пошли толки, расспросы, кончившиеся требованием высадить меня на первой же станции и послать за доктором. Сначала вахмистр не решался это сделать, но, увидев, что мне становится все хуже и хуже, он струсил и согласился выйти со мною при первой остановке. Такой первой остановкой оказалась станция Дюсбург, где мы и слезли в первом часу ночи.

Доктора на станции не оказалось, вследствие чего мы принуждены были отправиться в гостиницу. Уложив меня в постель, жандарм послал за доктором.

Огромное количество принятых мною средств, привело к тому, что я не на шутку заболел. Головная боль, жар, рвота и даже бред заставили врача констатировать серьезное заболевание, и он посоветовал поскорее отправить меня в больницу.

На другое утро приехал меня навестить жандармский поручик и сообщил мне, что в Дюсбурге есть прекрасная больница, содержимая на счет католического духовенства, где мне будет очень хорошо.

В больницу перевезли меня в тот же вечер и поместили в отдельной комнате в нижнем этаже. Комната эта была предназначена для сумасшедших, поместили же меня в нее потому, что окна в ней были с железными решетками. За исключением этих решеток в комнате ничего тюремного не было.

Первые четыре дня я был сильно болен, но затем стал понемногу поправляться, чувствуя только большую слабость.

Я был измучен физически и нравственно, нервность, раздражительность снова проявлялись во мне. Мне нужно было, во что бы то ни стало, успокоиться, окрепнуть… и нигде лучше я этого не мог достигнуть, как в прекрасной дюсбургской больнице.

XXI
В больнице св. Винцента.
Католики-фанатики. Бегство

В больнице мне было очень хорошо. Сестры ухаживали за мной как нельзя лучше, стараясь во всем мне угодить. Доктор Мартенс, лечивший меня, был также очень добрый человек, не торопившийся меня выписывать, видя мое желание остаться подольше в больнице.

Моя жизнь его, видимо, интересовала, и он по целым часам просиживал у меня, слушая рассказы о моих приключениях. Он приносил мне книги, газеты и вообще оказывал всевозможные любезности. Из газет я узнал, что и здесь пресса не оставляет меня в покое.

Конечно, как всегда, газеты делали из мухи слона.

Так, например, «Кёльнская газета» говорила: «На днях через Кёльн провозили жандармы выданного Францией России одно из главных вожаков нигилистической партии, русского офицера Савина. По дороге в Берлин г. Савин сильно заболел и должен был быть отправлен в дюгсбургскую больницу св. Винцента, где он находится теперь на излечении. Состояние его здоровья, как мы слышали, безнадежно».

В другой газете, «Дюгсбугском дневнике», было напечатано следующее: «В нашей католической больнице в настоящее время находится известный русский нигилист Савин, товарищ и сподвижник Гартмана и Крапоткина, которого, ввиду своей дружбы к России, французское правительство выдало. Господин Савин заболел по дороге холерою».

Третья газета, «Католическое обозрение», сообщила: «из достоверных источников, полученных нами, нам известно, что русский нигилист г. Савин, находящийся теперь в Дюгсбурге на излечении в больнице св. Винсента, преследуется в России также за переход в католицизм, который он совершил во время своего пребывания в иезуитском монастыре в Бельгии, каковое преступление по русским законам наказуемо каторгой».

С этой-то, последней статьей пришла ко мне настоятельница больницы сестра Магдалина, с участием стала меня расспрашивать о моих делах и ожидаемых мною мучениях и пытках по прибытии в Россию.

Сначала я был удивлен этим странным разговором, но, прочитав газету, понял, в чем дело, и у меня явилась мысль воспользоваться статьей и фанатизмом католических сестер для моего спасения.

Сказав сестре-настоятельнице, что все это, действительно, правда, я просил ее зайти ко мне вечером, так как чувствую себя нехорошо и не в силах рассказать обо всем интересующем ее подробно. Оставшись один, я стал обдумывать новый план действий и вскоре убедился, что пришедшая мне мысль представиться преследуемым католиком могла меня спасти. Я вспомнил, что в чемодане моем валяются перламутровые четки, подаренные мне папою Львом XIII в бытность мою в Риме.

Вместе с четками я разыскал в бумагах приглашение на мое имя из Ватикана на аудиенцию.

Я положил папские четки и приглашение из Ватикана с папскою печатью на столик.

Сестра Магдалина пришла ко мне не одна, а с аббатом Берендом, настоятелем больничной капеллы. Это был толстенький, краснолицый, небольшого роста брюнет, лет сорока, с быстрыми, проницательными, черными глазами и орлиным взором.

Благословив меня и спросив о моем здоровье, аббат пододвинул два кресла к моей кровати, уселся с сестрой-настоятельницей и после непродолжительной паузы обратился ко мне:

— Скажите, пожалуйста, сын мой, правда ли, что пишут в газете, что вам предстоит по возвращении в Россию страдать за нашу святую католическую веру?..

На это я ему ответил, что не знаю, придется ли мне страдать в России, но совершенно справедливо, что я прожил несколько месяцев в иезуитском монастыре св. Игнатия, близ Люттиха, где монахи меня уговаривали поступить в их орден, и что во время моего пребывания там я исполнял все церковные обряды по догматам католической церкви, что равносильно присоединению к католицизму. После этого я был в Риме, где имел счастье представляться папе Льву XIII.

— Вот даже приглашение на мое имя на аудиенцию в Ватикан и четки, которые мне пожаловал святой отец при своем благословении…

Не успел я договорить этих слов, как аббат и сестра-настоятельница бросились на колени перед моим столиком и стали с благоговением целовать папские четки.

С этого дня аббат Беренд стал ходить ко мне ежедневно, просиживая со мною долгие часы.

Между прочим, он постоянно жаловался на притеснение веры.

Разговоры эти, конечно, были мне вполне на руку, и я воспользовался ими для приведения в исполнение задуманного мною плана.

— Знаете что, отец мой, — сказал я ему как-то раз. — Обдумывая свое настоящее положение, я решился по приезде в Россию, во избежание преследований, отречься от всего и сказать, что я никогда у иезуитов не жил и никаких католических обрядностей не исполнял. Это отречение спасет меня от угрожающей мне кары.

— Что вы говорите! — воскликнул с ужасом аббат. — Да это смертный грех — отречение от веры!.. Вы губите вашу душу! Лучше страдать, быть сосланным в Сибирь за нашу святую веру, чем отречься от нее!..

— Я не чувствую себя в силах это сделать, — возразил я, — и мне остается выбирать одно из двух: отречься от веры или бежать до возвращения в Россию...

— Конечно, бегите, сын мой, а не отрекайтесь от веры, — воскликнул он. — В бегстве нет греха и преступления. Вспомните, что святое семейство с младенцем Иисусом бежало от преследований Ирода. Бегите, бегите, сын мой, но не отрекайтесь от веры!..

— Легко сказать — «бегите», но как бежать? Кто поможет мне в этом? — спросил я аббата.

— Кто поможет вам?.. Конечно, Тот, Кто всемогущ и от Кого все зависит в жизни человека, — Господь Бог. С завтрашнего дня мы начнем о том Его просить. Будем молиться, служить молебны, прося надоумить нас помочь вам, сын мой, бежать. Я передам о том настоятельнице, и буду просить ее и всех сестер присоединить их молитвы к нашим, и я уверен, что Господь смилуется над нами и поможет вам в бегстве…

С этого дня аббат стал служить ежедневно молебны, за которые не забывал брать с меня по пяти марок, в пользу церкви, а сестры стали молиться о моем спасении и бегстве бесплатно.

Прошло несколько дней. Я стал поправляться и набираться сил. Пора было действовать энергично и переговорить откровенно с аббатом и сестрой-настоятельницей.

Раз как-то вечером, когда они оба сидели у меня, я выбрал подходящую минуту и сказал:

— Если вы хотите меня спасти, то это вполне зависит от вас. Согласитесь только на мой побег, и я уж сумею его исполнить. Поверьте, что я давно мог бы убежать из больницы, но меня удерживало уважение и благодарность, которые я чувствовал к сестрам и к вам, отец мой, и, конечно, я этого не сделаю без предварительного вашего на это согласия. Разрешите же мне это сделать, и я бегу немедленно.

— Нет, мы не можем этого сделать, — ответил аббат. — Выпусти мы вас, так мы не расхлебаем потом всех неприятностей и напастей, которые посыплются от наших гонителей-пруссаков. Это надо сделать умно и осторожно и так, чтобы за это не отвечать. Я придумал следующее: мы напишем начальнику полиции, что, в виду вашего поправления, мы не можем более отвечать за вас в ночное время, так как у вас нет никакого караула. Полицейский комиссар, наверное, пришлет сторожа, и тогда ответственность будет лежать на полиции, а не на больничной администрации. Бежать вам и тогда, конечно, будет не трудно, и мы вам всячески поможем.

Так и сделали. От больницы была послана официальная бумага в полицию с требованием ночного караула, который и был прислан на следующий день. Каждый вечер стал приходить полицейский для моей охраны.

Войдет, бывало, поклонится и уходит в коридор, где усаживается в большое кресло, специально для него поставленное у входа в комнату.

Я, большею частью, притворялся спящим и сильно больным, так что он, в конце концов, вообразил, что караулит полумертвого человека, а потому преспокойно спал в мягком, широком кресле.

Благодаря заботливости аббата и сестер, ему ежедневно давали сытный ужин, две-три бутылки пива и несколько сигар.

Я настолько был уверен в скором освобождении, что не особенно торопился бежать. Мне хотелось сначала хорошенько поправиться. Кроме того, я ожидал денег из России, в получении которых был совершенно уверен. Правда, у меня было до пятисот франков, зашитых в пуговицах, да, кроме того, около трехсот марок, пересланных официально, но этого было мало. Когда, наконец, деньги пришли, я решился проститься с сестрами и аббатом.

Я передал сестре-настоятельнице 300 марок за лечение и уход, а аббату дал сто марок на церковь и подарил папские четки, что привело его в неописанный восторг.

Наконец, настал давно ожидаемый день. Это было 29 июня. После обеда, по обыкновению, я просидел в обществе аббата, доктора и сестер весь вечер на балконе, но, как только стало смеркаться, я ушел в свою комнату и лег в постель, в ожидании прихода моего ночного караульщика.

По заранее обдуманному плану, я должен был покинуть больницу не ранее одиннадцати часов, так как предполагал отправиться прямо на пароходную пристань — к отходящему вниз по Рейну пароходу.

Опаснейшим моментом бегства был выход из комнаты, мимо спящего сторожа.

Все давно уже спало в больнице, когда пробило одиннадцать часов. С трепещущим сердцем я встал с постели, подложил под одеяло подушку и разные вещи, чтобы изобразить лежащего в ней человека и тихо подошел к двери. Шагах в трех от нее спал, развалившись в кресле, мой аргус. Рядом с ним на столе стояло несколько пивных бутылок. Я тихонько прошмыгнул мимо него вглубь темного коридора. Войдя затем в одну из выходящих в коридор пустых комнат, я отворил окно и выпрыгнул в него. Наконец я был свободен.

XXII
На свободе. Приключения в Голландии

Калитка в саду не запиралась, и я без затруднения вышел на улицу.

Первое время я не верил сам себе, мне казалось, что это сон, галлюцинация, и я машинально шел по улице, не зная, куда иду.

Не знаю, долго ли я пробыл бы в таком состоянии, если бы не наткнулся на какого-то прохожего, который своим вопросом пробудил меня от столбняка.

— Вы разве слепы, что лезете прямо на человека? — воскликнул толстый немец, на которого я наткнулся.

Извинившись перед ним, я спросил у него, как пройти к пристани.

Видя, что имеет дело с иностранцем, немец указал мне дорогу.

Пришел я на пристань к самому отходу парохода.

Хотя я и чувствовал себя на палубе парохода более свободно, но понимал, что свобода еще далеко не обеспечена, и что пока я нахожусь в Пруссии, ликовать рано.

Мне необходимо было принять все меры предосторожности, чтобы благополучно добраться до нидерландской границы, и хотя билет был взят мною до голландского города Арнем, но, не доезжая до пограничного прусского города Эммерих, я вышел на последней пристани и там нанял бричку до пограничного голландского городка Геннеп, отстоящего от Рейна в тридцати верстах по проселочной дороге. Этим объездом я избежал официальной границы, проезд через которую был для меня опасен.

В 10 часов утра я был в Голландии и мог, наконец, вздохнуть полной грудью.

— Я свободен!..

Геннеп маленький голландский городок. Базарная площадь, посреди которой стоял массивный, готической архитектуры собор, была обстроена высокими, красивыми домами. К одному из этих домов, над подъездом которого красовался золотой лебедь, подъехал мой возница.

Это была лучшая гостиница города. Зайдя прямо в ресторан, я заказал себе позавтракать и, кстати, расспросил хозяина, как мне

проехать в Амстердам. От него я узнал, что в Геннепе есть электрический трамвай, по которому я мог доехать до ближайшей станции железной дороги и попасть в Амстердам к обеденному времени.

Доехав, в час с небольшим, до станции железной дороги, я вскоре покатил далее в Амстердам, куда и приехал в двенадцатом часу. Сидя в вагоне, я соображал, что мне теперь делать и каким именем назваться?

В Голландии я думал пробыть недолго, желая только обзавестись всем необходимым и получить денег из России, чтобы затем ехать в Англию, а оттуда, по приезде ко мне Мадлен, переселиться в Америку.

Денег у меня было около тысячи франков, но, уйдя из дюргсбургской больницы, я не мог ничего взять с собою, кроме платья, которое было на мне.

Это был мой знаменитый костюм и пальто, с зашитыми вместо пуговиц золотыми. Кроме этих пятисот франков золотом, у меня были две сотенные русские бумажки, присланные мне братом из России, да марок сто немецкими деньгами.

В Голландии, как и во всех остальных государствах Западной Европы, паспортов и видов на жительство никто не спрашивает, довольствуясь записью для приезжающих, имеющейся в каждой гостинице.

И я расписался в книге после того, как занял небольшой, но весьма комфортабельный номер в гостинице.

Из Амстердама я написал матери, прося ее выслать деньги на имя графа де Тулуз-Лотрека. Деньги я просил ее выслать в Скевенинг, морское купанье в окрестностях Гааги, куда думал ехать покупаться, чтобы укрепить нервы.

Через две недели я получил телеграмму от матушки, извещавшую меня о высылке трех тысяч рублей почтою в Скевенинг, на указанное мною имя.

Три дня спустя, я уехал в Скевенинг.

В номере моем, помещавшемся в нижнем этаже и выходившем окнами на море, было холодно и неуютно. Дождик беспощадно барабанил в окно, а ветер, врываясь порывами в комнату, охватывал меня холодной сыростью.

Мне стало скучно. Давно я не чувствовал такого уныния, как в этот вечер.

Развернув газеты, я лег на диван и углубился в чтение. Это меня немного развлекло, а описание празднования национального праздника в Париже перенесло меня мысленно в Париж к моей милой Мадлен.

Из последнего письма ее, полученного мною в Амстердаме, я узнал, что она хлопочет о продаже обстановки нашей квартиры, чтобы поскорее покинуть Париж и приехать ко мне в Лондон.

В Англии я уже получал обеспеченность моей свободы, а в Америке мог начать новую жизнь. Бросив газету, я сел за письменный стол и написал длинное письмо Мадлен, приложив к нему полученную от моей матушки телеграмму о высылке денег.

Окончив письмо и приказав его опустить тотчас же в почтовый ящик, я лег спать.

Утром я послал на почту узнать, нет ли для меня писем. Вернувшийся комиссионер сообщил, что на имя графа де Тулуз-Лотрека есть денежный пакет.

Я отправился за пакетом. Придя туда, я передал чиновнику мою визитную карточку и просил его выдать присланное мне денежное письмо.

— Позвольте ваш паспорт, граф, — сказал мне в ответ чиновник.

Это требование меня озадачило. Нигде за границей паспорта не требуют и даже на почте удовлетворяются представлением конвертов раньше полученных заказных писем. Вместо того чтобы представить чиновнику паспорт, которого у меня, конечно, не было, я подал ему два конверта от заказных писем, полученных мною в Амстердаме от Мадлен.

Но чиновник требовал официального документа, удостоверяющего мою личность.

После долгих переговоров и убеждений с моей стороны, наконец, согласился выдать мне денежный пакет, но с тем, чтобы хозяин моего отеля удостоверил, что я действительно граф де Тулуз-Лотрек. Нечего было делать. Пошел я назад в гостиницу, чтобы просить хозяина удостоверить мою личность.

От портье я узнал, что хозяина в гостинице нет, а есть только директор, так как отель принадлежит акционерному обществу. Я обратился к директору. Это был высокий, худой, с бритым лакейским лицом господин, уже не молодой и довольно непривлекательной наружности. Выслушав меня, он ответил, что удостоверить мою

личность он не может, так как видит меня в первый раз и не имеет удовольствия меня лично знать, а советует мне или выписать бумаги, или же обратиться для этого во французское консульство в Гааге.

Понятно отчаяние, в котором я находился, выходя из кабинета директора гостиницы.

Жизнь моя в Амстердаме и сделанные покупки взяли у меня все мои деньги. Положение было критическое. Я снова отправился к директору гостиницы, чтобы переговорить с ним о кредите до получения денег и нужных документов из России.

Директор меня встретил сухо и наотрез отказал в кредите, заявив, что по правилам гостиницы счета подаются каждую субботу, и он не может сделать исключения ни для кого.

На другое утро, в то время, как я одевался, собираясь ехать в Гаагу, ко мне в дверь постучались и вошел незнакомый мне господин.

— Я полицейский комиссар из Гааги, — сказал он мне, — и приехал по поручению префекта полиции узнать, кто вы такой.

Сердце у меня замерло при этих словах, но я твердо ответил:

— Я французский гражданин граф де Тулуз-Лотрек. Что вам угодно от меня?..

— Мне надо удостовериться о вашей личности, — ответил комиссар, а потому прошу вас предъявить мне ваши бумаги.

— У меня никаких бумаг нет с собою, но могу их через несколько дней вам доставить, если это вам необходимо.

— Странно, что вы путешествуете без документов. Но об этом мы поговорим после. Теперь позвольте мне узнать, какие у вас средства к жизни?..

— Как какие средства? — спросил я, не понимая вопроса.

— Да очень просто, — я желаю знать, сколько у вас в наличности денег в настоящую минуту, и попрошу вас мне показать ваш бумажник.

Я объяснил ему, что наличных денег у меня сейчас очень мало, но на почте лежат три тысячи рублей, присланные мне из России моей матерью.

— Вот эти-то деньги и желание ваше их получить заставили меня приехать к вам и удостовериться в вашей личности. Чем вы докажете, что эти деньги присланы вам?.. При этом я считаю весьма странным то обстоятельство, что вы, выдавая себя за француза,

утверждаете, что эти деньги присланы вашей матерью из России. Кто же вы: русский или француз?..

Все эти вопросы и пытливость полицейского комиссара меня сильно встревожили, и от опытного полицианта не ускользнул мой растерянный и крайне смущенный вид.

Чувствуя и понимая всю грозящую мне опасность, я старался всячески скрыть мое волнение, а главное, доказать, что деньги, присланные из России, принадлежали мне, но мне это плохо удавалось.

— Я француз, как имел уже удовольствие вам объяснить, но матушка моя по рождению русская и живет в настоящее время в одном из своих имений в России, выслала мне эти деньги сюда, о чем и телеграфировала мне в Амстердам, вследствие чего я и приехал за получением этих присланных мне денег.

— Где же эта телеграмма от вашей матери? — спросил меня комиссар.

— Я отослал ее вчера в Париж моей метрессе.

— Ну, теперь я вижу, с кем имею дело, — сказал грубо комиссар. — Одевайтесь и поедемте в Гаагу. Я себя за нос водить не позволю таким господам, как вы…

— Так вы меня арестовываете? — спросил я.

— Нет пока… но если вы, по приезде в Гаагу, не удостоверите вашу личность через французскую миссию, то до разъяснения этого вопроса я вынужден буду вас арестовать… Едем!

— Я не поеду в Гаагу без формального требования от прокурора или префекта, — ответил я решительно.

— Так вот вы как! — крикнул взбешенный полицейский. — Законных требований желаете?.. Хорошо. Сейчас я таковые получу от префекта по телеграфу и тогда отправлю вас закованным в кандалы с жандармом, — и, хлопнув дверью, он вышел из моего номера.

Как только стихли в коридоре шаги удаляющегося комиссара, я наскоро оделся, запер изнутри дверь моего номера и… выскочил из окна.

XXIII
Пешком в Лейден. В Роттердаме. Несговорчивый портье. Опять под арестом

Быстрыми шагами направился я вдоль песчаного морского прибрежья.

Первые 10–15 минут я шел быстро, но усталость и жара заставили меня вскоре убавить шаг, а томительный страх преследования — оглянуться.

Местность, по которой я шел, была покрыта холмообразными песчаными дюнами. Чтобы ориентироваться и узнать, ищут ли меня, мне пришлось взобраться на одну из дюн. Сгорбившись, почти ползком, чтобы не быть замеченным, влез я на песчаный бугор и стал всматриваться по направлению к Скевенингу.

Глядя по этому направлению, я заметил несколько человек, стоящих на дюнах. Это, должно быть, были комиссар и люди из гостиницы, которые меня искали. Из этого я мог заключить, что след мой еще не найден. Это обстоятельство немного меня успокоило, так как между мною и ищущими меня было уже расстояние почти в две версты, позволявшее мне скрыться в находящемся впереди сосновом бору, тянувшемся на несколько верст по направлению к Гааге. Спустившись опять в ложбину, я бросился бежать по направлению к лесу.

Усталый, изнеможенный я, наконец, добрался до спасительного леса и растянулся на земле в частом молодом сосняке.

Здесь только я вполне опомнился и мог сообразить все случившееся и обдумать дальнейший план действий.

Теперь мне, во что бы то ни стало, надо покинуть Голландию.

Но куда ехать? С чем? Денег у меня всего пять гульденов и, думая о них, я машинально полез в карман, чтобы их проверить. Но каков был мой ужас, когда, роясь по всем карманам, я их не нашел. Оказалось, что впопыхах я забыл кошелек под подушкой, и у меня оказалось в наличности только двадцать зильбергрошей, завалявшихся в кармане пальто.

Теперь вся надежда была на продажу или залог моих часов и булавки, но эта операция заставляла меня идти в Гаагу, а это было дело не безопасное.

Но делать было нечего, другого исхода не было, и я зашагал по направлению к нидерландской столице.

Хотя я не знал ни города, ни языка, но мне нетрудно было разыскать ювелира. Но новое неожиданное обстоятельство привело меня в отчаяние. Золотых дел мастеров и часовщиков было много, но все магазины были заперты. Оказалось, что день был воскресный. Что было делать? Оставаться в Гааге до следующего дня было немыслимо, уехать же без денег невозможно. Недолго думая, я решился уйти пешком.

Целью моего путешествия было дойти до первого города, где я мог переночевать, а на другое утро заложить или продать мои часы, чтобы иметь возможность доехать до Бельгии оттуда телеграфировать Мадлен о моем критическом положении, прося ее выслать мне денег переводом через какой-нибудь банк на имя хозяина гостиницы, в которой я остановился.

Стало уже вечереть, погода изменилась, дул сильный ветер, нанося небольшие дождевые тучки, которые изрядно таки меня взбрызгивали, и издали были слышны раскаты грома, предвещающие еще худшую погоду.

По моему расчету, я прошел уже около тридцати верст, а города никакого не было. Правда, проходил я мимо многих деревень и местечек, но все это были неподходящие для меня места.

Наступила ночь. Погода становилась все хуже. Завывал сильный, порывистый ветер, который пронизывал меня насквозь. К этому вскоре присоединился град. Дорога стала до того скользка, что я несколько раз падал.

Наконец, вдали показались блестящие точки, которые, по мере моего приближения к ним, все более и более увеличивались. Это был город и, по-видимому, большой. Войдя в него, я убедился, что не ошибся: пятиэтажные дома, газовые фонари и полные публикой ярко освещенные кафе и рестораны. Изнемогая от усталости, я с трудом дотащился до первой гостиницы.

Швейцар, к моему великому удовольствию, говорил по-немецки; он отвел меня в небольшую комнату третьего этажа и был настолько деликатен, что не спросил даже моего имени.

Кельнер подал мне прейскурант, из которого я узнал, наконец, где я находился.

Я был в Лейдене.

Сытно поужинав и выпив две кружки прекрасного пива, я лег спать. Сначала я заснул тем тяжелым сном, которым засыпают люди, переутомленные физически, но потом сон перешел в ряд ужасных кошмаров. Мне представлялось, что я бежал от преследования каких-то чудовищных животных, на которых меня догоняли полицейские и жандармы всех стран. Когда я пришел в себя, в комнате было уже светло.

Был уже восьмой час, и надо было, не теряя времени, приняться за дело, то есть поскорее раздобыть денег и ехать дальше. Одевшись и напившись кофе, я вышел из гостиницы и направился искать ссудную кассу.

Часы у меня были очень хорошие, работы знаменитого Дента, с рельефным золотым моим гербом, но часы эти были серебряные, и потому, несмотря на все их достоинства, мне под них дали всего 22 гульдена. По моим расчетам, этих денег было достаточно, чтобы доехать в третьем классе до Антверпена, а там я надеялся устроиться, продав имевшуюся у меня весьма ценную жемчужную булавку, за которую было заплачено более полутора тысяч франков.

Вернувшись в гостиницу, я расплатился за проведенную ночь и ужин и отправился на вокзал, чтобы сесть в первый поезд, отходящий по направлению к бельгийской границе.

Поезд отходил через полчаса, но им я не решил воспользоваться, так как он шел на Гаагу. Там же на вокзале я узнал, что из Лейдена можно доехать на пароходе до Роттердама, а оттуда морем или по железной дороге далее в Антверпен.

Правда, что такое путешествие было почти втрое дольше и дороже, но для меня время не играло никакой роли, и я отправился на пароходную пристань.

Пароход уходил в три часа, вследствие этого мне пришлось проболтаться до тех пор, что, конечно, не обошлось без трат.

Садясь на пароход, из двадцати двух гульденов я не досчитался семи. Билет второго класса до Роттердама стоил девять гульденов, да поел я, при всей моей экономии, почти два гульдена. Таким образом, когда я вышел в 11 часов вечера на пристань в Роттердаме, у меня было в кармане всего четыре гульдена, из которых я был принужден уплатить гульден фиакру за проезд на станцию железной дороги.

На мое несчастье, извозчик мне попался отвратительный, и я к отходу поезда опоздал. Пришлось волей-неволей ночевать в Роттердаме.

Это опоздание ставило меня в критическое положение.

Билет третьего класса до Антверпена стоил два гульдена, у меня же было всего три с чем-то. Значит, надо было переночевать и прокормиться почти в продолжение суток на гульден. Сначала я думал остаться до утра на вокзале и прекрасно расположился на диване, но по приходе последнего поезда из Амстердама в час ночи сторож попросил меня удалиться. С час пробродил я по пустынным узким улицам старого Роттердама, разыскивая недорогую гостиницу. Но, как назло, раз десять проходил я мимо великолепных отелей, а того, чего искал, положительно найти не мог. Наконец, усталый, выбившийся из сил, я решился идти в первую попавшуюся гостиницу.

Я остановился у «Гранд-Отеля» и позвонил. Мне отворил толстый портье и, увидав, что я пришел пешком и без багажа, спросил довольно грубо:

— Где ваш багаж?

Нимало не сконфузившись, я ответил:

— Вещи мои остались на вокзале, и завтра я пошлю за ними, а пока дайте мне небольшой номер.

Портье, оглядев меня, видимо убедился, что дать мне номер можно и без вещей, и повел меня на третий этаж, где отвел маленькую комнатку. Но не прошло и пяти минут, как он снова появился с книгою и попросил расписаться.

В моем положении надо было назваться вульгарным именем, чтобы не обратить на себя внимания, вот почему я расписался: «Генри Минель».

В эту ночь, наконец, я выспался по-настоящему, расправив в мягкой прекрасной постели усталые члены. Спал я долго, и сон этот благотворно отразился на моем измученном организме. С силами же проявился и волчий аппетит, так что первым долгом, раскрыв глаза на следующее утро, я спросил себе кофе и порцию холодного ростбифа. В то время как я уписывал за обе щеки поданное мне, вошел швейцар, спрашивая, не желаю ли я поручить ему, получить оставленный на вокзале багаж. Я ответил, что скоро сам туда отправлюсь, а потому не нуждаюсь в его услугах.

Позавтракав, я спустился вниз, думая пойти к ювелирам и узнать, что дадут за мою булавку. Внизу меня окликнул швейцар:

— Извините, господин Минель, но так как вы приехали без багажа, то потрудитесь уплатить по счету: всего три гульдена и шестьдесят зильбергрошей.

И с этими словами он преподнес мне счет.

Это неожиданное обстоятельство меня, по правде сказать, сильно озадачило, и, под видом просмотра счета, я стал обдумывать, что сказать швейцару?

Наконец, я сказал, что у меня мелких денег нет и я уплачу по возвращении из нидерландского банка, куда иду за получением денег по чеку. В случае сомнения портье, я мог показать ему чековую книжку, выданную мне когда-то из «Лионского кредита» в Париже. Денег у меня давно уже там не было, но чековая книжка сохранилась.

— Позвольте, я схожу и получу для вас деньги, — улыбаясь, сказал портье.

— Нет, я должен их лично получить, — возразил я сухо и вышел из подъезда.

Но не сделал я и десяти шагов, как портье очутился идущим рядом со мною.

— Позвольте, господин Минель, проводить вас в банк. Вы, наверное, не знаете дороги…

Нечего было делать, пришлось мне вместо того, чтобы продавать жемчужную булавку, заходить в нидерландский банк и там переговаривать с разными людьми о посылке чека в Париж. Прилипчивый швейцар не отходил от меня ни на шаг.

Кончилось тем, что я был принужден подписать чек в три тысячи франков именем Минеля и передать его банку для отсылки в Париж в «Лионский кредит». Этим я надеялся отвязаться от портье, но и после выхода из банка он не отставал от меня, что, наконец, заставило меня категорически заявить, что он мне надоел и что я прошу его от меня отвязаться.

— Так вы поступаете со мною! — воскликнул портье. — Пойдемте же в полицию! Я не хочу платить за вас хозяину! Пусть нас разберет комиссар!..

Я хотел убежать, но портье схватил меня за рукав и стал кричать. Собрался народ, полиция и меня с триумфом повели в полицейскую префектуру.

По приходе туда, меня отвели к комиссару, который, выслушав жалобы портье, спросил, кто я такой и отчего отказываюсь уплатить грошовый счет.

Нечего было делать, надо было говорить правду, и я ответил, что не имею при себе денег.

— Как же это вы приехали сюда без вещей и денег? — спросил меня комиссар.

— Я потерял деньги по дороге, — ответил я смущенно.

— Мы знаем эти потери, — сказал он с презрительной улыбкой. — Обыскать его и посадить до выяснения дела!

На меня набросились два сержанта, обшарили самым бесцеремонным образом мои карманы и, не найдя в них ничего, кроме трех гульденов и квитанции от заложенных часов, повели меня в помещение для арестованных и заперли в какой-то темный чулан, имеющий только небольшое с железной решеткой окошечко в двери, выходящей в комнату, где сидело человек двадцать городовых.

XXIV
Высылка из Голландии. В Антверпене. В поисках денег. Приезд Мадлен. Новые опасности

В чулане я оказался не один. Там сидело уже двое арестованных. Разговорившись с ними, я узнал, что они немцы, и арестованы за однородное дело.

— Что же будет с нами? — спросил я.

— Да ничего не будет. Продержат до завтра, а затем отправят на границу с жандармом. Вы тоже немец? — спросил меня один из них.

— Нет, я француз, — ответил я ему.

— Ну, так вас свезут на бельгийскую границу.

— А судить нас не будут?

— Нет, будьте спокойны. В Голландии за такие пустяки иностранцев не судят, а высылают. Нам это хорошо известно. Многие из наших товарищей уже были так высланы из Голландии.

Эти слова моих компаньонов по заключению меня немного успокоили. Сутки просидеть, хотя и в темном чулане, терпимо.

На другой день, часов в двенадцать, меня позвали в кабинет комиссара.

— Как вас зовут? — спросил меня развалившийся в кресле полицейский чиновник.

Я назвался.

— Ваша национальность?

— Француз.

Записав мой ответ, он сказал мне:

— Деньги, три гульдена, отобранные у вас, будут переданы хозяину гостиницы в счет вашего долга, а вас отвезут на бельгийскую границу в Эсхен в четыре часа. Теперь отправляйтесь в вашу камеру.

Эти грубые слова комиссара показались мне до того приятными, что я готов был броситься ему на шею.

Наконец, счастливая минута освобождения наступила. В половине четвертого пришел за мною полицейский сержант, которому поручено было меня сопровождать, и я отправился с ним на вокзал.

Там уселись в вагон третьего класса и вскоре укатили по направлению к бельгийской границе, куда и прибыли в шестом часу вечера.

На пограничной станции Эсхен сопровождавший меня полицейский распростился со мной, объявив мне, что я свободен.

Но что мне давала свобода в ту минуту? Без денег, без вещей, в чужой стране!

Я решил отправиться пешком в Антверпен.

Было часов семь вечера, когда я вышел со станции Эсхен в Антверпен. Шел я, не торопясь, рассчитывая придти в Антверпен рано утром.

В шестом часу утра я достиг цели своего путешествия.

Подходя к городу, я обсудил свое крайнее положение. Оставалось одно из двух: или под видом иностранца-рабочего искать подходящей работы, или же идти в хорошую гостиницу, переговорить с хозяином и ждать денег из Парижа.

Последнее показалось мне более удобным, так как я был уверен, что Мадлен не замедлит выслать мне денег.

В Антверпене я никогда не был, поэтому мне не было опасно оставаться тем же французом, графом де Тулуз-Лотреком, под каким именем я жил в Голландии.

Решившись на это, я отправился на станцию железной дороги, дождался прихода поезда из Голландии и вместе с приехавшей публикой вышел на подъезд и сел в омнибус одной из первых гостиниц.

В гостинице я взял номер, сказав швейцару, что мои вещи придут после. Приняв ванну и сытно позавтракав, я отправил Мадлен в Париж следующую телеграмму: «Приехал в Антверпен. Вышли немедленно мне вещи и денег по телеграфу. О подробностях случившегося сообщу письмом. Георгий де Тулуз-Лотрек».

Эту депешу я приказал человеку отправить немедленно через контору гостиницы и попросить ко мне хозяина.

Минут через двадцать в комнату вошел толстенький, чисто выбритый, лет сорока пяти, хозяин гостиницы. Он принес мне квитанцию на отправленную в Париж телеграмму и спросил, что мне от него угодно.

Я объяснил ему мое положение, рассказав ему, что по дороге из Англии к себе домой, во Францию, я отправил багаж прямо из Лондона в Париж, по делу же заехал в Голландию, и там случилось со мной несчастье: я потерял деньги, что заставило меня остановиться на несколько дней в Антверпене до получения денег и нужных вещей из Парижа, о чем я и послал депешу. В обеспечение своего долга я предложил ему свою жемчужную булавку.

Хозяин просил меня не беспокоиться о таких пустяках и оставить у себя булавку.

Я был вполне уверен, что Мадлен, если не приедет сама, то, во всяком случае, вышлет денег. Но, к удивлению, прошел день, другой, и я не только не получал перевода, но и ответа на посланную телеграмму. Это обстоятельство меня тревожило. На третий день я послал вторично телеграмму с оплаченным ответом, на которую к вечеру получил ответ. Но это была служебная депеша, в которой сообщалось, что, за выездом адресата, депеша не могла быть вручена. Эта неожиданная новость, отъезд Мадлен из Парижа, меня крайне встревожила.

Ее неожиданный выезд, в связи с моим настоящим положением, ставил меня в крайнее затруднение.

Недолго думая, я решился продать свою жемчужину и уехать в Брюссель, чтобы там дожидаться денег из России.

Но за булавку, за которую я заплатил в Лондоне 1600 франков, мне давали только 300–400. Я просто не знал, что делать, как вдруг мелькнула прекрасная мысль.

Зайдя к одному из лучших ювелиров, я стал рассматривать часы, цепочки, кольца и т. п. Отобрав разных вещей на сумму около 500 франков, я сказал хозяину, что готов все это у него купить, если он согласится взять у меня в промен ненужные мне вещи. Ювелир ответил, что согласен.

Стали мы торговаться. Жемчужину ювелир принимал, но по весу, и согласился дать по 170 франков за карат.

Оказалось, что в ней 6 карат, то есть на сумму свыше тысячи франков. Таким образом, взявши разных вещей на 550 франков, я получил наличными почти столько же.

Этот удавшийся гешефт с жемчужиной выводил меня из весьма затруднительного положения, позволяя мне рассчитаться с хозяином гостиницы и уехать в Брюссель, что я и сделал в тот же вечер.

В Брюсселе, распродав променянные золотые вещи и выручив за них около 350 франков, я нанял меблированную квартиру на улице Стассар.

После этого я написал домой в Россию, а также и Мадлен, прося ускорить высылку денег.

Молчание Мадлен и ее неожиданный отъезд из Парижа, по правде сказать, меня очень тревожили. Но это беспокойство скоро рассеялось с получением от Мадлен телеграммы из Аркашона,

куда она, как оказалось, поехала покупаться в море, а вслед за тем она и сама приехала в Брюссель.

После первых порывов радости мы стали обдумывать наше настоящее положение.

Мадлен передала мне, что она все распродала в Париже, оставив только необходимые вещи, и что, по уплате долгов, у нее осталось 25 тысяч франков, которые она положила на текущий счет в «Лионский кредит». Этих денег было мало, чтобы ехать в Америку, и необходимо было дождаться денег из России.

Но где дожидаться? Решили остаться в Брюсселе.

Увы! Между полицией разных государств существует тесная связь. Там достаточно телеграммы какого-нибудь полицейского комиссара парижской, берлинской или миланской полиции в Брюссель, Женеву или Вену, чтобы все эти полиции были поставлены на ноги. Это обстоятельство и привело меня ко многим новым приключениям.

Как я узнал впоследствии, прусская полиция после моего бегства из дюсбургской больницы приняла самые энергичные меры к моему розыску. Берлинские агенты ездили по моим следам в Голландию, и если бы я тогда не убежал, я, наверное, был бы арестован. Но после удачного бегства из Сквеннинга, немецкие сыщики, потеряв мой след, вообразили, что я уехал в Париж, а потому обратились к парижской префектуре с просьбой следить за Мадлен. Узнав о ее отъезде в Брюссель, парижская полиция сообщила о том брюссельской префектуре. Вскоре в Брюссель пришло другое сообщение из Берлина, с описанием моих примет и приложением моей фотографической карточки, полученной немецкой полицией из Парижа.

Хотя никакой прописки вида в Бельгии не существует, но всякий хозяин дома, гостиницы и даже частных квартир, отдаваемых внаймы, обязан доносить полиции о приезде иностранца с обозначением сведений о его имени, звании и национальности. В силу этого, всякий иностранец, проживающий в Бельгии более трех дней, внесен в негласные полицейские списки, о чем он даже не имеет никакого понятия.

Этим вводятся в заблуждение лица, которые скрываются, так что до последнего момента они воображают себя в безопасности.

Такие негласные меры много опаснее для скрывающихся, чем все наши прописки видов и другие формальности. Вот на эту удочку попался и я.

XXV
Визит сыщика. Нашествие полиции. Мокрый комиссар. Опять арест. У судебного следователя

Дней через десять после приезда Мадлен в Брюссель, я поехал утром на почту. Когда я вернулся домой, Мадлен мне рассказала, что в мое отсутствие приходил какой-то господин, который желал непременно меня видеть и расспрашивал ее о моем имени, летах, месте моего рождения, надолго ли я приехал в Бельгию, а также о том, жена ли она моя и как ее зовут. При этом странный посетитель объяснил, что обо всех иностранцах, проживающих в Бельгии боле или менее продолжительное время, собираются сведения для статистических целей, и что он — чиновник муниципального совета.

Этот визит меня крайне встревожил. Я высказал предположение, не был ли это полицейский сыщик. Мадлен тоже казались странными некоторые вопросы, заданные ей посетителем. Нужно было немедленно принять меры предосторожности, и самым благоразумным я считал, не теряя ни минуты, покинуть Брюссель и даже Бельгию.

Мадлен, хотя и разделяла мои опасения, но не видела особой опасности. Ей казалось более благоразумным показаться равнодушными к этому визиту и этим отвлечь всякие подозрения полиции.

Но пуганая ворона куста боится, и я все-таки уговорил Мадлен ехать в Лондон. Будь я один, я уехал бы немедленно, но насмешки Мадлен меня стесняли. Я потерял целых три дня и этой медлительностью погубил себя.

На третий день после визита незнакомца, утром, часов в девять, нас разбудила хозяйка квартиры, с некоторым волнением сообщившая, что меня хотят видеть два господина.

— А кто эти господа?

— Один из них тот господин, который приходил на днях, и с которым говорила графиня, а второй — местный полицейский комиссар.

Визит этих господ был мне понятен: я был узнан, и они пришли меня арестовать…

Первой моей мыслью было бежать и, как только хозяйка вышла из спальни, я выскочил из кровати и подбежал к окну, чтобы посмотреть, нет ли кого у подъезда.

Оказалось, что комиссар принял все меры предосторожности: у ворот стояли два полицейских сержанта в форме и два каких-то штатских господина, вероятно, сыщики.

Никакой надежды на спасение не было, и мне оставалось только в нескольких словах сообщить Мадлен свой план действий и те показания, которые она должна дать, в случае, если ее будут спрашивать. Себя она должна была назвать настоящим своим именем, про меня же говорить то, что я буду утверждать сам, а именно, что я не Савин, а французский гражданин, граф де Тулуз-Лотрек.

Не успел я еще кончить разговор с Мадлен, как в дверь спальни постучались и, не дождавшись нашего разрешения, дверь отворили, и в комнату вошли два господина, один из которых был полицейский комиссар, опоясанный своим шарфом, а другой — мнимый чиновник статистического бюро — сыщик.

Такая бесцеремонность меня взорвала, и я бросился им навстречу, спрашивая, какое они имеют право врываться в спальню.

— Входим мы сюда вследствие законного права, — ответил мне сухо комиссар. — Я пришел во имя закона вас арестовать, господин Савин.

— Меня зовут графом Георгием де Тулуз-Лотреком, а не Савиным, и вы, должно быть, ошиблись. Во всяком случае, прошу вас немедленно выйти из моей спальни, так как вы видите, что моя жена еще в постели.

— Все эти басни нам давно известны и не подействуют на меня, господин Савин, — ответил комиссар. — Мы знаем, что вы русский офицер, а не французский граф, ввиду чего вы обвиняетесь в ношении чужого имени, а лежащая в постели женщина не ваша жена, а парижская кокотка Мадлен де Баррас.

— А вы сыщик и нахал! — воскликнул я, не помня себя от бешенства. — Вон отсюда! Я у себя дома, а та, которую вы осмелились сейчас оскорбить — женщина, которую я люблю и уважаю и за которую сумею постоять.

С этими словами я вытолкал комиссара и его спутника из спальни и запер дверь на ключ.

Ошеломленный неожиданным отпором, комиссар стал звать на помощь стоявших на улице полицейских сержантов и агентов, которых вскоре набрался полный дом. Они шумели, ругались и неистово стучали в запертую дверь.

Я отвечал ругательствами и угрозами, заявляя, что застрелю первого, кто осмелится войти в спальню раньше, чем оденется моя жена.

При этом я объявил комиссару, что ареста не признаю и требую формального приказа от прокурора, без которого не подчинюсь и не последую за ним.

Видя мое упорство, комиссар поехал к прокурору за постановлением о моем аресте, оставив для моей охраны своих подчиненных.

Прошло около часу.

Этим временем я воспользовался, чтобы успокоить сильно взволнованную Мадлен.

В половине одиннадцатого вернулся комиссар и потребовал отворить дверь. Я отворил.

Комиссар вошел с целой ватагой агентов и полицейских сержантов, которые гурьбой бросились на меня и вцепились мне в руки и ноги.

Мадлен, вся в слезах, умоляла комиссара прекратить насилие, уверяя, что я подчинюсь его законному требованию и последую за ним без сопротивления. Но полициант оттолкнул ее, пригрозив, что он велит связать меня и арестует ее.

— Так арестуйте же и меня вместе с графом! — воскликнула Мадлен и, схватив стоявшее близ умывальника ведро, полное грязной воды, вылила его на голову комиссару.

Как ни скверно было мне в эту минуту, но я не мог удержаться от громкого смеха, видя эту трагикомическую сцену.

Озадаченный неожиданной выходкой Мадлен, сконфуженный комиссар, опоясанный трехцветным, с золотыми нитями, шарфом, облитый с ног до головы грязной водой, стоял растерянный, а перед ним — рассвирепевшая Мадлен, требующая, чтобы ее арестовали вместе со мной.

Придя в себя, комиссар велел усадить нас в ожидавшую у подъезда карету и отвезти в полицейское бюро. Там он прочел мне приказ королевского прокурора о моем аресте по обвинению в проживательстве под чужим именем, преступлении, за которое, по законам Бельгии, виновные подвергаются наказанию до трех месяцев тюремного заключения. На основании этого приказа, я должен быть немедленно арестован и доставлен к судебному следователю.

Простившись с Мадлен, я уехал в сопровождении двух полицейских агентов в здание суда — в камеру судебного следователя.

Здание суда в Брюсселе составляет одну из достопримечательностей столицы Бельгии.

В это-то великолепное здание я приехал с двумя провожатыми и направился вдоль широких, светлых коридоров в камеру судебного следователя.

Судебный следователь Велленс, предложив мне сесть, начал допрос:

— Вас обвиняют в проживательстве под чужим именем и в оскорблении действием и словами полицейского комиссара и агентов полиции при вашем аресте, — сказал он мне, прочитав присланный протокол. — Признаете ли вы себя виновным?

Я ответил ему, что я действительно лицо, под чьим именем живу, и никакого русского офицера Савина не знаю. Относительно же оскорблений, нанесенных полицейскому комиссару и агентам полиции, я хотя и признаю факт, но заявляю, что был вынужден это сделать вследствие их неприличного поведения и вторжения в спальню женщины.

— В этом моем поступке я ничего преступного не нахожу и прошу освободить меня.

Следователь ответил, что, будь я бельгийский подданный или хотя бы и иностранец, но человек известный в Бельгии, то он согласился бы на мое освобождение до суда, но так как, по сообщенным ему сведениям, я русский офицер Савин, преследуемый за разные уголовные дела в России и, притом, бежавший от французских и немецких властей, то, до разъяснения всего этого, он не может согласиться на мое освобождение, и обязан заключить меня в тюрьму.

— От вас, конечно, зависит ускорить это освобождение предоставлением доказательств вашей самоличности, — добавил он.

При этом он сказал, что вообще дело не может затянуться долго, так как он немедленно пошлет всюду телеграммы и допросит всех лиц, знавших меня раньше.

После этого он написал постановление о содержании меня в предварительном заключении, объяснив, что, по бельгийским законам, это постановление имеет силу в продолжение недели и, по истечении этого срока, содержание меня под стражей будет зависеть от решения синдикальной камеры судебных следователей. После этого он велел отправить меня в тюрьму св. Жиля.

XXVI
Тюрьма св. Жиля. В одиночном заключении. Прогулки под маской. Директор тюрьмы

Тюрьма св. Жиля находится на окраине города, в предместье того же имени. Выстроена она в 1884 году, стоила бельгийскому правительству десять миллионов и представляет, так сказать, идеал в своем роде.

Подъехав к железным воротам тюрьмы, мы вошли через калитку в дверь и прошли к большому подъезду, ведущему в контору. Пока ничего тюремного не было: большая, весьма элегантная приемная комната, похожая скорее на банкирскую контору, чем на контору тюрьмы, в которой писали человек пятнадцать конторщиков. Передав одному из них постановление следователя и, получив квитанцию в моем приводе, полицейский агент ушел.

Меня передали тюремному служителю, с которым я отправился вглубь тюрьмы. Пройдя длинный коридор, я очутился в большом круглом зале, освещенном сверху стеклянным куполом. Посреди зала был устроен род беседки, в которой помещалось центральное распорядительное бюро. Здесь постоянно находились дежурный помощник директора тюрьмы и дежурный старший надзиратель.

От центра идут пять галерей, лучеобразно, каждая в три этажа и обозначенная под литерами.

Я был помещен в нижнем этаже в камере под № 29.

Камеры все одинаковы. В них пять метров длины и четыре ширины, высокие, светлые стены выкрашены масляной краской, полы паркетные.

Меблировка состоит из стола, который ночью раскладывается в постель, небольшого шкапа для посуды и вешалки. В каждую камеру проведены вода и электрическое освещение. На стенах висят тюремные правила, выписки из некоторых законов, необходимых для арестованных, список адвокатов, состоящих при брюссельской апелляционной палате, с их адресами, и прейскурант продуктов, продаваемых в тюремной лавочке.

Вскоре после привода моего в камеру меня навестил дежурный помощник директора, очень любезный человек, бывший офицер бельгийской армии. Между прочим, он передал мне, что, если я желаю довольствоваться на свой счет, то могу это сделать, и тогда могу

получить более комфортабельную меблированную комнату, так называемую «пистоль», что плата за таковую будет по десяти сантимов в день, то есть три франка в месяц. Я, конечно, просил меня перевести, что и было исполнено. Эта камера была, в сущности, такая же, как и все остальные, но вместо складной кровати, убирающейся днем, была железная постоянная койка с хорошим пружинным матрацем, пуховой подушкой, байковым одеялом и тонким бельем. Кроме кровати был стол, мягкое кресло, шкап для вещей и умывальник.

В конторе мне рекомендовали лучший местный ресторан, куда я и послал на следующий день за обедом и хозяином, чтобы с ним сговориться. Он пришел ко мне в тот же день. Я хотел ежедневно получать утром кофе, к обеду три блюда и к ужину два, с бутылкой красного вина или двумя бутылками пива. За все это я должен был платить три франка в день, а если пробуду в тюрьме более месяца, то только 80 франков в месяц.

Порядки в тюрьме обязательные для всех арестантов без исключения: вставали по звонку в пять часов утра; одновременно с первым звонком появлялся и электрический свет в камере. Заключенный обязан был сейчас же встать, одеться, умыться, сложить свою кровать, вымести и натереть воском пол, с таким расчетом, чтобы все это было окончено к шести часам утра, ко времени раздачи кофе.

Одновременно с кофе давался паек хлеба, с фунт весом, на целый день.

С девяти часов начинались отправки в суд и к следователям. Те из заключенных, которые не вызывались на суд, могли идти гулять в специальных помещениях, куда заключенные шли один за другим на расстоянии десяти шагов друг от друга. Это делалось для того, чтобы они не имели между собою никакого сообщения. Видеть друг друга заключенные не могли, так как каждый, до выхода из камеры, обязан был надеть маску с капюшоном. Прогулка эта была обязательна, и не ходить на нее заключенный мог только по разрешению доктора, в случае болезни.

В 12 часов раздавался обед, состоящий из большой миски супа с говядиной и овощами, пять раз в неделю, и два раза — по средам и пятницам, — давался горох. С часу до пяти был назначен прием родственников и посетителей. В шесть часов раздавался ужин, состоявший из печеного или вареного картофеля. В девять часов вечерний звонок оповещал всех, что надо ложиться спать.

Четверть часа спустя, потухало везде электрическое освещение.

По воскресеньям и праздникам было обязательно идти в церковь, к обедне, где, по окончании службы, аббат говорил проповедь. Церковь была устроена так, что все шестьсот заключенных присутствовали при богослужении, находясь каждый в отдельном запертом помещении, и не видя друг друга, что не мешало им прекрасно видеть алтарь и слышать богослужение. В тюрьме была очень большая и хорошая библиотека, и заключенным давались книги и журналы по их выбору. Также давались и работы желающим, за что полагалась плата по таксе. Деньги, как свои, так и заработанные, хранились в кассе. На руки выдавалось не больше пяти франков зараз.

Куренье табаку, вино и пиво были разрешены. Все заключенные, приговоренные до года тюремного заключения, имели право носить свое платье, остальные обязаны были носить казенное. Каторжники отличались тем, что им брили усы и бороду, а на брюках у них были нашиты широкие черные лампасы.

Доктор ежедневно обходил всех больных, заявлявших надзирателю о желании видеть врача.

За всякое нарушение тюремных правил, виновные подвергались наказанию в виде: 1) лишения чтения, 2) прогулки, 3) курения, 4) свидания со знакомыми и родственниками, 5) ограничения в пище и, наконец, 6) заключения в карцер от суток до трех. Все эти наказания налагались тюремным судом. По рапорту надзирателя, заметившего в чем-либо заключенного, вызывались на следующее утро, как обвинитель-надзиратель, так и обвиняемый-заключенный. Рассматривались эти дела правильно, без всякого пристрастия, но, при виновности обвиняемого, он был непременно наказываем.

Директор тюрьмы г. Стевенг был прекрасный и справедливый человек. Он почти еженедельно обходил всех заключенных. Придет, бывало, в камеру со своим складным стулом, сядет на него, посадит против себя заключенного и начнет беседовать с ним. Все расспросит, даст совет, успокоит, порекомендует сделать то и другое, написать туда-то, обратиться к тому-то, и все он скажет ласково, с видимым участием и искренним расположением. Ко мне он был очень хорош, и я вынес самое приятное о нем впечатление и никогда не забуду его добрых советов и моих частых с ним бесед.

Но этот добрый и тихий директор держал в большой строгости всю тюрьму. Его любили, уважали, но и боялись.

Кроме директора, заключенных часто посещал также тюремный священник, патер Гофинэ. Ему хотелось все знать, обо всем расспросить. Нужно ли было ему все это знать из любопытства или из других целей, я не знаю, но предполагаю, что делал это он не бесцельно. В то время бразды правления в Бельгии находились в руках клерикальной партии, и духовенство играло немаловажную роль. Вот, для поддержки этого положения и первенства в стране необходимо было знать обо всех происках и действиях либералов, а в тюрьме можно было узнать многое, в особенности от заключенных, принадлежащих к рабочему сословию.

XXVII
Арест Мадлен. Адвокаты. План защиты. В суде. Мои объяснения

Вскоре после моего отъезда из полицейского бюро, полицейский комиссар позвал к себе в кабинет Мадлен. Рядом с комиссаром у стола сидел какой-то господин, которого комиссар представил Мадлен, как королевского прокурора.

Предложив ей сесть, прокурор и комиссар стали задавать ей вопросы, касающиеся меня и ее отношений ко мне.

Прокурор советовал ей быть откровенной и правдивой, обещая улучшить ее положение и даже выпустить до суда на свободу.

Но эти уловки не удались. Мадлен твердо повторяла то, в чем мы сговорились, и утверждала, что я действительно граф Георгий де Тулуз-Лотрек, а не Савин.

Видя, что от нее ничего не добьешься, прокурор приказал отвести Мадлен к судебному следователю для допроса по обвинению ее в оскорблении действием комиссара и в сопротивлении властям. Судебный следователь написал постановление о содержании ее под стражей в женской тюрьме, куда Мадлен сейчас же и отвезли.

В тюрьме Мадлен дали газету, в которой она прочитала подробное описание всех наших приключений.

— Что же будет нам за это? — спросила Мадлен своего адвоката Стоккарта.

— Да ничего особенного, — ответил Стоккарт, — в особенности вам. Господину Савину, или графу де Тулуз-Лотреку эта проделка обойдется подороже. Его продержат, наверное, несколько месяцев в тюрьме, но вас я надеюсь оправдать.

Переговорив затем подробно обо всем и сделав нужные заметки, Стоккарт перешел к вопросу о вознаграждении. За свою защиту он назначил тысячу франков и требовал уплаты денег, хотя бы половины, вперед. Мадлен согласилась и выдала ему записку к хозяйке нашей квартиры г-же Плес, прося передать г. Стоккарту некоторые вещи, деньги и чековую книжку «Лионского кредита», находящиеся в ее сундуке. Мадлен просила также Стоккарта взяться и за мою защиту, а главное, устроить так, чтобы меня не выдали России. Стоккарт обещал сделать все, что было в его силах, и дал ей слово

на другой же день побывать у меня. Не зная, что Мадлен обратилась за советом к Стоккарту, я написал адвокату Фрику. Обратился я к нему оттого, что он был депутатом палаты, принадлежащим к крайней левой, и сотрудничал в оппозиционной газете «Реформа». А мне было важно иметь защитника, имеющего голос и влияние в либеральной прессе.

В десять часов утра на следующий день он ко мне приехал.

Фрик советовал мне достать какие-нибудь документы для подтверждения своей личности.

Что касается Мадлен, то он был уверен в возможности ее освободить под залог и обещал побывать у нее, а также у французского консула, с которым он лично был знаком.

В тот же вечер меня посетил и Стоккарт. Он привез мне записку от Мадлен, наговорил с три короба, обещал непременно оправдать Мадлен и вообще все уладить.

Ровно через неделю после нашего ареста, меня повезли в здание суда. Я должен был предстать перед синдикальной камерой судебных следователей, которая должна была решить вопрос о мерах пресечения.

В суде я виделся с Мадлен, которую впускали в комнату, где я находился, и мы прекрасно проводили вместе весь день.

Синдикальная камера утвердила постановление следователя и отказала освободить нас под залог, основываясь на том, что мы оба иностранцы и обвиняемся в преступлениях, по которым нам грозит тюремное заключение свыше трех месяцев. Стоккарт уверял, что он все-таки добьется освобождения Мадлен, подав жалобу на апелляционную палату, но впоследствии и палата не уважила жалобы Стоккарта, и Мадлен должна была просидеть в тюрьме до суда.

Вскоре после вручения мне обвинительного акта я получил повестку о вызове в суд исправительной полиции, и меня посетил мой защитник Фрик. Он привез целую кипу разных документов, относящихся к делу, чтобы установить план защиты. Оказалось, что дело стоит весьма неблагоприятно для меня. Следствие обнаружило, что я действительно то лицо, которое проживало во Франции и Германии под именем русского офицера Николая Савина, который был арестован по требованию русских властей и впоследствии бежал. Таким образом, отрицать мое тождество с Савиным было невозможно, и Фрик

советовал мне признаться на суде. Я не соглашался с этим мнением Фрика. Больше всего я боялся выдачи России, и потому выработал такой план защиты.

Я решил утверждать, что в Бельгии я ношу свое имя графа де Тулуз-Лотрек, а во Франции и Германии жил под чужим именем Николая Савина. Причины, заставившие меня так поступить, — политические идеи моего отца и нежелание его, чтобы я служил в войсках республики. Неявкой моей к призыву я поставил себя в нелегальное положение в моем отечестве, Франции, вследствие чего не мог жить там под своим именем, что и заставило меня взять паспорт и имя одного моего приятеля, русского офицера Савина.

Фрик согласился защищать меня на этой почве, но счел нужным предупредить, что если защита провалится, суд назначит мне высшую меру наказания.

Наконец, настал день суда. Перед этим в нескольких брюссельских газетах появились коротенькие статейки, извещавшие, что в такой-то день назначено к слушанию в суде исправительной полиции дело графа де Тулуз-Лотрека — Николая Савина — и Мадлен де Баррас, причем, конечно, не было забыто прибавление разных пикантных комментариев. Сообщалось также, что, по распоряжению судебных властей, дело будет разбираться в большом зале суда, и публика будет допускаться только по билетам. Конечно, такого рода реклама привлекла к суду массу публики.

За полчаса до выхода нашего на судебную сцену явились в комнату, где я был с Мадлен, наши защитники, одетые в длинные тоги и кругленькие шапочки. Пришли они, чтобы сделать, так сказать, «генеральную репетицию». Все их внимание было обращено на Мадлен. Они разъясняли ей все, что она должна была отвечать на вопросы суда. Когда, наконец, судебный пристав пришел за нами, то мы были уже вполне готовы на отражение всякой атаки со стороны нашего врага-прокурора и спокойно пошли в залу заседания.

Скамьи подсудимых в Бельгии нет. Там суд помещается на особой эстраде, немного возвышенной над остальной частью залы. Эта эстрада отделена от публики решеткою, за которую входят участвующие в деле лица. Свидетели дают показания, сидя в кресле против председательского места. Стоя говорят только обвиняемые, их защитники и прокурор.

При входе нашем в зал все взоры обратились на Мадлен.

После недолгого молчания председатель суда предложил нам обычный вопрос:

— Признаете ли вы себя виновными в возводимых на вас преступлениях?

— Нет.

И суд приступил к судебному следствию и допросу свидетелей.

Свидетелями были комиссар Жакобс и полицейские агенты, присутствовавшие при нашем аресте, и показания их относились только к инциденту оскорбления их, то есть к обвинению нас в неповиновении властям и оскорблении должностных лиц. Что касается обвинения меня в ношении чужого имени, то свидетелей не было, а были прочитаны разные показания, данные официальными лицами во Франции и Германии. Из этих показаний выяснилось мое тожество с Савиным.

На вопрос председателя, что я могу объяснить по этому вопросу, я рассказал ему придуманную мною историю:

— Я — граф Георгий де Тулуз-Лотрек, а не Савин, но должен признаться суду, что действительно проживал долгое время во Франции под именем русского офицера Николая Савина, был выдан французским правительством России и бежал от французских и прусских властей. Так что я и сам не думал оспаривать мое тожество с Савиным и признаю совершенно правильными все данные во Франции и Германии показания, которые были только что прочитаны. Но при этом считаю долгом разъяснить суду те причины, которые заставили меня проживать под чужим именем. Дед мой граф де Тулуз-Лотрек эмигрировал в Россию, где родился мой отец, где родился и я. Отец мой, как ярый роялист, не признает теперешнего французского правительства, а потому не позволил мне служить во французской армии. Вот эта-то причина и заставила меня жить во Франции под чужим именем. Взял я это имя и документы на жительство от моего школьного товарища и друга, русского гвардейского офицера Савина. Моя веселая, даже расточительная жизнь в Париже и Ницце дала мне скоро некоторую известность, которая и довела меня до всех неприятностей. Дело в том, что в то время как я жил во Франции, с г. Савиным, чье имя я носил, случилось несчастье. В России против него возбуждены разные уголовные и политические преследования, ему пришлось покинуть родину и бежать в Америку. В июне прошлого года я имел столкновение в Париже с полицией и был

арестован. Газеты разнесли эту весть по Европе. Дошла она и до русских властей. Последние, узнав об аресте в Париже того Савина, которого они давно уже искали, потребовали выдачи. Что было мне делать? Заявить французским властям, что я не Савин, а французский граф де Тулуз-Лотрек? Этим я избегал выдачи России, но отдавался в руки французских властей за нарушение военного закона и проживание под чужим именем. На основании этих соображений я решил не противиться выдаче. Я видел всю опасность своего фальшивого положения, и мне нужно было, во что бы то ни стало, покинуть французскую территорию. В России мне бояться было нечего, там не меня преследовали, а Савина, но приезд мой в таком положении был также крайне нежелателен, ввиду скандала, который он произведет. Вот это-то и побудило меня бежать от немцев, после чего приехать в Бельгию. Здесь, в Бельгии, не имея надобности скрываться, я с радостью. Сбросил чужое имя, которое наделало мне столько неприятностей. И вот теперь это имя приводит меня к новым неприятностям.

Переходя к обвинению меня в неповиновении властям и оскорблении их, я считаю, что я был вынужден так поступить неправильными действиями и грубостью комиссара. А потому я прошу суд принять это во внимание и отнестись ко мне с должной справедливостью.

XXVIII
Речи сторон. Обвинительный приговор. Высылка Мадлен. Выдача России. К русской границе

После меня была допрошена Мадлен, которая вполне подтвердила мои слова и объяснила, что она неоднократно читала письма к родителям моим графу и графине де Тулуз-Лотрек, а также и их письма ко мне, полученные из России. По обвинению же ее в оскорблении комиссара она не оспаривала факта и сожалела о своем поступке, но настаивала, что не она виновата, а тот, кто довел ее до такого раздражения своим ужасным поведением.

Прокурор начал свою речь с того, что он находит, что способ защиты, выдуманный мной, весьма оригинален и даже удачен. Он не ожидал такой постановки защиты, но берется доказать неправдоподобность моего рассказа. По его мнению, будь я действительно граф де Тулуз-Лотрек, я, конечно, не стеснялся бы указать тех лиц, которые знали меня до проживательства под именем Савина.

Прокурор доказывал, что мои слова не заслуживают доверия, и что свидетельские показания, данные во Франции и Германии разными лицами, знавшими меня под именем Савина, достаточно удостоверяют, что я русский офицер Савин, а не граф де Тулуз-Лотрек.

— Показаниями г-жи Баррас, — доказывал обвинитель, — не может быть дано веры, так как суду хорошо известны ее отношения с Савиным.

Что касается обвинения в оскорблении комиссара и агентов полиции, а также в неповиновении властям, то прокурор находил, что оно до того ясно, что ему не остается ничего говорить по этому поводу, а только требовать применения закона. Наказание он предлагает назначить для меня в высшей мере, указанной в законе, так как я не впервые уже оскорблял власти в России и Франции. Что касается Мадлен де Баррас, то он находил нужным дать ей снисхождение.

После речи прокурора слово предоставлено было моему защитнику Фрику.

— Всякое обвинение, — сказал Фрик, — должно быть основано не на предположениях, а на фактах. Без них обвинение падает.

Мой клиент обвиняется в ношении чужого имени, но чем это доказано? Кто подтвердил это? Из собранных доказательств и свидетельских показаний видно, что клиент мой проживал во Франции под именем Савина, но это не доказывает, что он действительно Савин.

Почему не верить рассказу, по моему мнению, вполне правдивому, обвиняемого? В этом рассказе ничего неправдоподобного и невозможного нет, тем более что он вполне подтверждается показаниями г-жи де Баррас. Кроме показаний г-жи де Баррас, у нас есть еще один веский аргумент: это сообщение русских властей, не узнавших в портрете разыскиваемого ими Савина.

Раз осязательных данных против обвиняемого нет, то суд не может произнести обвинительного приговора, а потому я и прошу оправдать моего клиента по этому пункту обвинения.

Что же касается обвинения графа де Тулуз-Лотрека в оскорблении полицейского комиссара и неповиновении властям, то я нахожу, что в данном случае полиция сама вынудила обвиняемого к этому своими неправильными и грубыми поступками. Вот это обстоятельство позволяет мне если не требовать от суда полнейшего оправдания моего клиента, то ходатайствовать о снисхождении.

Последним вышел Стоккарт.

— Господа судьи, не впервые приходится вам разбирать такого рода дела, в которых фигурирует оскорбленная полицейская власть. Наверное, не ускользнуло от вашего судейского взгляда то обстоятельство, что бóльшая часть таких инцидентов была вызвана грубостью и каким-то особым, только одной полицией усвоенным, деспотизмом.

Когда же, наконец, полиция поймет, что такое поведение с ее стороны не только предосудительно, но и противозаконно?

Во всех странах мира женщина пользуется особым уважением. Оскорбление женщины мужчиной считается позорным, и в некоторых странах наказуемо очень строго. Если общественное мнение порицает и суд наказывает так строго за такого рода проступки частных лиц, то как же должно порицать лиц официальных, настолько забывающихся, что они позволяют себе во время исполнения служебных обязанностей оскорблять женщину?

Я убежден, что суд, приняв все мои доводы в соображение, вынесет оправдательный приговор г-же де Баррас.

После этой речи суд удалился в совещательную комнату, откуда вернулся после полутора часов, со следующей резолюцией:

— «Рассмотрев дело русского подданного Николая Савина, именующегося графом Георгием де Тулуз-Лотрек, и французской гражданки Мадлен де Баррас, обвиняемых: первый в проживательстве под чужим именем и оба — в оскорблении на словах и действиями полицейских властей и в неповиновении властям, определил Николая Савина подвергнуть заключению в тюрьму сроком на семь месяцев и штрафу в пятьсот франков, а Мадлен де Баррас подвергнуть тюремному заключению на два месяца и штрафу в двести франков. Обоих же, по отбытии наказания, отвезти на границу с воспрещением возвращения и проживательства в пределах Бельгийского королевства в продолжение одного года.

Ввиду того, что Мадлен де Баррас отбыла уже наказание временем, проведенным ею до суда в предварительном заключении, ее из-под стражи немедленно освободить, но обязать подпиской выехать из пределов Бельгии в продолжение суток по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если таковая не будет подана».

Конечно, мы подали апелляционную жалобу: Мадлен, чтобы остаться в Брюсселе, а я в надежде добиться оправдательного приговора или, во всяком случае, сбавки наказания.

Дела мои стояли весьма незавидно. Все попытки мои избегнуть скандального возвращения в Россию были, как видно, безуспешны. Мадлен советовала мне подчиниться судьбе и, в случае выдачи, не стараться бежать, а сделать так, чтобы скорее выпутаться и доказать мою невиновность.

Но я смотрел на вещи иначе, чем Мадлен, и считал самым рациональным снова стараться бежать.

Дело в палате было назначено к слушанию в последних числах октября. Газеты опять заговорили о нас, и мы стали готовиться к новому бенефису: я к более убедительной защите перед палатой, Мадлен — к удивлению брюссельской публики, — своим туалетом.

Но ни парижская шляпа Мадлен, ни моя защита, ни красноречивая речь Стоккарта не помогли нам. Палата утвердила приговор суда первой инстанции, и нам пришлось подчиниться решению: мне досиживать свой срок, а Мадлен на другой же день покинуть Бельгию.

При прощании Мадлен передала мне 500-франковый билет, который должен был служить мне в случае нового бегства, но умоляла меня быть осторожнее.

Скоро по отъезде Мадлен меня вызвали в апелляционную палату для рассмотрения требования русских властей о выдаче меня России. Я и мой адвокат Фрик приняли все меры, чтобы отказать русской миссии в моей выдаче.

Главными мотивами, выставленными нами, было отсутствие доказательств со стороны русских властей в тождестве требуемого лица. Требовался Савин, а не граф де Тулуз-Лотрек.

После довольно продолжительного совещания, палата вынесла определение, что, в силу имеющегося между Бельгией и Россией соглашения, выдача должна состояться. По отношению же тождества лиц, по мнению палаты, не может быть сомнений, так как решением бельгийского суда, вошедшим в законную силу, я был признан Николаем Савиным, а не графом де Тулуз-Лотреком, и таковое решение обязательно для всех бельгийских судов.

Ко дню отбытия моего наказания все формальности относительно выдачи моей были исполнены, и я должен был отправиться на германскую границу для передачи прусским властям, которые должны были отправить меня в Россию.

Отъезд мой назначен был рано утром. В конторе я застал несколько человек, которые также отправлялись на германскую границу. Нас всех посадили в тюремную карету и отвезли на станцию железной дороги. Вагоны для арестованных представляют собою передвижную тюрьму. Вдоль их коридоров устроены по обеим сторонам отдельные помещения, в которых по одному размещаются арестанты.

От Брюсселя до прусской границы около 4-х часов езды, и мы приехали на границу в 10 часов утра. При выходе из вагона нас передали прусским жандармам, которые повели нас в полицейское управление для соблюдения каких-то формальностей.

После проверки документов, меня оставили в полицейском управлении до отхода вечернего поезда, с которым я должен был отправиться через Берлин в Россию.

На станции, входя в вагон, я заметил принятую по распоряжению начальства предохранительную меру. Вместо того чтобы садиться в общее купе, мы поместились отдельно, и обе двери были заперты

на ключ обер-кондуктором. В душе я смеялся и был уверен, что все эти меры не помешают мне бежать.

Я не имел намерения бежать во время моего следования по Германии. Мне казалось удобнее бежать в России.

По дороге я познакомился ближе с моими спутниками, жандармскими ротмистрами Зюс и Фингер. Они кое-что уже знали обо мне из газет и интересовались, правда ли, что я один из главных вожаков нигилистической партии в России. Я постарался разубедить их в этом.

На другой день, в 4 часа дня, мы приехали в Берлин. Здесь нам опять дали отдельное купе, в котором мы благополучно доехали до русской границы. Чем ближе мы подъезжали к Александрову, тем более меня охватывало волнующее, томительное чувство. Уже на пограничной станции меня знали многие. Даже у меня был там старый товарищ по Гродненскому полку, служивший теперь в таможенном ведомстве.

Ужас охватывал меня при мысли обо всем, что я буду переносить в русских тюрьмах, а тем более при пересылке чисто русским способом — этапом.

XXIX
Приезд в Россию. Гостеприимный пристав. Путешествие в Варшаву. Несговорчивый стражник. План бегства

Поезд тихо подошел к длинной, крытой платформе пограничной станции Александрово. Как только поезд остановился, у дверцы вагона показалась фигура русского жандармского унтер-офицера, пригласившего нас в контору начальника. Выходя из вагона, я очутился среди живой изгороди, образованной жандармами, стоявшими от самого вагона вплоть до конторы. За жандармами стояла толпа любопытных. Я быстрыми шагами прошел в контору. Это была большая комната; посредине стоял длинный стол, у которого сидело человек 15 жандармов, занятых визировкой заграничных паспортов.

За письменным столом сидел жандармский ротмистр.

— Вы корнет Савин? — обратился он ко мне, отвечая на мой поклон. — Садитесь, пожалуйста.

Затем, просмотрев прибывшие со мной бумаги, он выдал квитанцию в моем доставлении и отпустил сопровождавших меня.

— Вы гродненский гусар? — спросил он меня по уходе немцев.

— Да.

— Я вас помню, когда вы еще были в Гродненском полку. Я тогда служил в литовских уланах. Мы даже знакомы, так как встречались у штаб-ротмистра Палицына. Моя фамилия Вилькен.

— Как вы меня отправите дальше, ротмистр? — спросил я.

— Это от меня не зависит. Я обязан вас передать гражданским властям, то есть местному становому приставу. Наверное, сделаны уже все распоряжения, и вас не задержат.

Затем, позвав старшего вахмистра, ротмистр Вилькен приказал ему проводить меня к становому приставу, жившему в нескольких шагах от вокзала.

В канцелярии станового меня встретил маленький старичок в полицейском мундире и на мой поклон и рекомендацию ответил, протягивая руку:

— Очень приятно познакомиться. Мы вас давно поджидали. Я местный становой пристав, титулярный советник Бжизовский. Вы, наверное, устали с дороги? Не хотите ли чайку?

Такой любезный прием меня очень успокоил.

Напившись чаю и закусив, я разговорился с добродушным старичком-становым. Он был поляк, звали его Фелицианом Казимировичем, и он служил становым приставом в Александрове уже двенадцать лет. От него я узнал, что дальнейшая моя отправка зависит от уездного начальника, к которому придется ехать в город Нешаву, отстоящий от Александрова в десяти верстах. Отправить меня туда он не имел никаких распоряжений и думал, что мне пока придется прожить денька два-три в Александрове.

— Да куда вам торопиться? Поживите у нас, отдохните немножко, — прибавил он добродушно.

Способ отправки, по его словам, зависел от меня. Если я желаю ехать на свой счет, и согласен заплатить за проезд туда и обратно конвойным, то меня отправят без замедления, в случае же нежелания тратить на это деньги, я буду отправлен на казенный счет при первой отправке партии в Варшаву.

Вечером мне приготовили постель в кабинете хозяина, рядом с канцелярией. Прощаясь со мной, добродушный старичок просил меня не обижаться, что по долгу службы он посадит у моей двери «ангела-хранителя» в лице городового. Не успел я лечь, как за дверью послышался протяжный храп: «ангел-хранитель» уже спал.

Так прошло три дня. Жил я у Бжизовского, как гость. Познакомился с его семейством и его знакомыми, ходил с ним на вокзал завтракать и обедать.

На четвертый день, в то время как мы завтракали на вокзале, приехал начальник уезда капитан Орлицкий.

Узнав от Бжизовского, что я нахожусь тут, он подошел ко мне, отрекомендовался и был со мною в высшей степени любезен, вспомнил даже, что он меня встречал во время восточной войны в штабе 9-го гвардейского корпуса, где я был ординарцем у корпусного командира. Относительно дальнейшей отправки он предложил послать меня на следующий же день и приказал Бжизовскому приехать со мной утром в Нешаву, в полицейское управление.

На следующее утро, распростившись с семейством гостеприимного пристава, я уехал с ним в Нешаву.

Бумаги были уже готовы, и в конвой мне назначен был старший полицейский стражник Духновский. Отправляли меня пока до Варшавы, где мы должны были явиться в губернское правление.

Перед моим отъездом Орлицкий приказал стражнику быть вежливым со мною, а по приезде в Варшаву остановиться ночевать в гостинице и уже наутро явиться в губернское правление.

Окончив свои распоряжения, Орлицкий пригласил меня к себе и угостил завтраком.

— Надо мне с вами выпить на дорогу, — сказал Орлицкий. — Мы с вами товарищи, служили в одном корпусе и проливали вместе кровь под Плевной. Я уверен, что вы скоро освободитесь, так как дела ваши, в сущности, пустые. Я уже об этом слышал.

Кроме меня и Бжизовского, завтракал у Орлицкого также и секретарь полицейского управления Лабинцов. От него я узнал сведения о перевозке арестантов из Варшавы в Петербург.

Сведения эти были мне очень полезны. Я понял, что мне надо было во что бы то ни стало бежать из Варшавы и заключения в пересыльную тюрьму.

Позавтракав и изрядно выпив, я поблагодарил любезно Орлицкого и уехал на станцию с Бжизовским и стражником. Бжизовский провожал меня только до вокзала, где мы с ним распростились. Нам же пришлось ожидать около двух часов поезда, идущего в Варшаву.

Воспользовавшись этим временем, я разговорился с Духновским и уговорил его ехать в третьем классе, оставив меня в первом. Однако я дал ему деньги на билет туда и обратно по тарифу первого класса, и он на этом зарабатывал около двадцати рублей на разнице в цене билетов.

В Варшаву поезд приходил в одиннадцатом часу вечера. Я предполагал выйти на предпоследней станции, не доезжая Варшавы, или же соскочить из вагона, подъезжая к самой Варшаве. Обдумав этот вопрос, я нашел, что последнее более удобно. Чтобы не внушать подозрения моему стражнику, я почти на каждой станции выходил и перекидывался с ним несколькими словами. Таким образом, мы благополучно проехали полдороги, но вдруг на станции Скерневцы, перед третьим звонком в вагон, в котором я ехал, входит Духновский и садится против меня.

Я был поражен этим неожиданным появлением и ничего ему не сказал, но сидевший рядом со мною драгунский офицер обратился к нему и спросил его:

— Что тебе нужно? Ты, наверно, ошибся вагоном. Здесь первый класс.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, — отвечал Духновский. — Я сел сюда потому, что здесь едет арестованный, которого я везу в Варшаву, — и он указал на меня.

Эта выходка стражника меня страшно сконфузила. Я вышел из вагона и пошел в третий класс.

— Зачем вы меня осрамили? — спросил я Духновского. — Ведь мы с вами сговорились сидеть врозь для избежания скандала.

— Потому что я отвечаю за вас и обязан ехать вместе с вами, — отвечал он мне. — Стало темно, да и ехавшие со мною пассажиры напугали меня рассказом о ваших бегствах за границей.

После этого, конечно, нечего было и думать о побеге из вагона, и надо было изобрести какой-нибудь другой способ спасения. Я решил, что самым удобным будет заехать в Варшаве в «Европейскую гостиницу», уговорить Духновского подождать меня у главного подъезда с Краковского предместья, пройти по коридорам гостиницы в ресторан, а оттуда выйти чрез другой подъезд на Саксонскую площадь.

В Варшаве мы взяли извозчика и велели ему ехать в «Европейскую гостиницу». По дороге я объяснил Духновскому, что мы заедем в «Европейскую гостиницу» на минутку, чтобы взять высланные туда из-за границы вещи, а затем поедем в какую-нибудь маленькую гостиницу ночевать. Подъехав к гостинице, я попросил Духновского подождать меня на извозчике, но получил категорический отказ. Я ответил, что с ним вместе в гостиницу, где все меня знают, идти не желаю, а обо всех притеснениях с его стороны буду жаловаться начальству, после чего велел извозчику везти нас на Белянскую улицу во второстепенную гостиницу Липского.

Приехав туда, я занял два номера в нижнем этаже и заказал ужин. Я думал споить моего конвойного, но и в этом потерпел фиаско. Пил он охотно, но только водку, а водка на него не действовала.

Заметив, что он все-таки стал веселей и разговорчивее, я предложил ему послать человека за двумя хорошенькими панёнками, но Духновский ответил мне, что для себя я могу послать хоть за тремя, но ему панёнок не нужно.

Я все-таки позвал номерного и спросил его, не может ли он пригласить хорошенькую барышню, чтобы с ней поужинать. Он ответил, что у них в гостинице живут две певицы из театра, но надо немного подождать, так как барышни не возвращались еще из театра.

В ожидании певиц я продолжал накачивать Духновского водкой, уговаривал его переодеться в мое штатское платье и поехать покутить в город, в какой-нибудь танцкласс, куда по ночам съезжаются варшавские модистки. Но Духновский продолжал упираться, говоря, что ему «это» не нужно, что он человек женатый.

Видя, что слова плохо помогают, я стал предлагать ему деньги и дал ему двадцать пять рублей, чтобы он согласился ехать со мной. Кредитка оказалась действеннее слов. Духновский согласился, но с условием ехать в форме. Делать было нечего.

Выходя из гостиницы, на подъезде мы встретили номерного, который с удивлением спросил, куда мы уходим, когда «барышни» скоро придут.

Я ответил, что мы уходим на короткое время, и сказал, чтобы он одну из певиц попросил подождать у меня в номере.

Это распоряжение я сделал на случай моего возвращения в гостиницу. Если, по несчастью, мне ничего не удастся, то ожидающая меня в номере певица будет предлогом, чтобы хоть на время избавиться от Духновского. Тогда осталось еще последнее средство: выпрыгнуть из окна номера на улицу.

С этими мыслями я вышел из ворот.

XXX
Первая неудача. Бегство. Пани Юзя. Старый товарищ. Отъезд из Варшавы

Мы шли по Белянской улице по направлению к Театральной площади, где хотели взять «дрожку». Вдруг на углу Сенаторской Духновский подходит к городовому, стоящему на посту, и говорит, указывая на меня:

— Помоги мне отвести вот этого господина в участок. Он арестованный. Я его привез сегодня вечером из Александрова и должен завтра сдать в губернское правление, а он вот кутит.

Я не потерялся и сказал городовому:

— Да он пьян! Еле языком ворочает. Мы, действительно, приехали вместе в Варшаву, ну, выпили, правда, а он вон какую ерунду порет. Если ему лучше ночевать в участке, то веди его туда, а я пойду домой.

Повернувшись, я быстрыми шагами пошел к гостинице и слышал, как городовой говорил Духновскому:

— Иди, брат, лучше спать домой, а то в участке тебе напреет.

Духновский бросился за мною, и вскоре мы вместе вошли обратно в гостиницу.

В коридоре нас встретил лакей и доложил, что певицы вернулись и одна из них ждет меня в моем номере. Войдя к себе, я застал там очень хорошенькую женщину, но не успел снять пальто, как услышал звук запирающегося замка в моей двери, которую Духновский запирал снаружи на ключ.

Я тоже запер дверь задвижкой и, сев на диван рядом с моей новой знакомой, стал ее угощать вином. Это была очень хорошенькая, молоденькая брюнетка, полька; звали ее Вандой, пела она шансонетки в одном из второстепенных варшавских театров. Все это меня мало интересовало, и взоры мои были обращены на форточку окна.

В Польше форточки устроены не в верхней части окон, как у нас, а в нижней. Это устройство представляло для меня огромное удобство. Теперь оставалось только напоить пани Ванду и бежать без оглядки.

После трех рюмок водки и двух бутылок красного вина певица была совсем «готова» и вскоре заснула крепчайшим сном.

Было уже около двенадцати часов ночи. В гостинице все спали. На улице прохожих было мало.

С трепещущим сердцем я подошел к окну и выпрыгнул на улицу.

Первые минуты я шел бесцельно и оглядывался назад, боясь преследования, но вскоре овладел собою. Я находился, бесспорно, в весьма благоприятной обстановке: в хорошо знакомом городе, прилично одетый, с деньгами, почти уверенный, что побег мой не обнаружится ранее утра. Теперь главным вопросом было, где переночевать. Самым безопасным казалось мне ехать к какой-нибудь гостеприимной Дульцинее, которая не спросит паспорта и удовольствуется рекомендацией в виде кредитного билета.

Я взял первую «дрожку» и велел ехать к ресторану Стемпковского, где всегда, даже ночью, стоят так называемые «дрожки» первого класса. Это — варшавские лихачи, близко знакомые с кокотками высшего полета.

Подъехав к Стемпковскому и заплатив моему дрожкарю, я подошел к лихачам и сел в пролетку одного из них, которого даже знавал в прошлое время, когда еще служил в Гродненском полку.

Сначала я велел ехать в «Европейскую гостиницу», но по дороге остановил его и спросил, не знает ли он хорошенькой панёнки, к которой можно было бы поехать сейчас.

— Кому же знать, как не Абрамчику? — ответил он с иронией. — Так не в «Европейский отель» везти пана, а к панёнке?

— Да, вези прямо к панёнке.

— Знаю, что ясновельможный пан хочет. Абрамчик всем гвардейским офицерам угождает, сумеет и пану, — сказал он, пощелкивая бичом. — Жалко, что поздно, а то я пана к пани Белковской свез бы. Знает пан пани Белковскую?

— Нет, не знаю.

— Первая красавица в Варшаве, «утишимачка» одного графа. А теперь я свезу пана до пани Юзи. Знает пан пани Юзю Ружейнскую?

— Нет, не знаю.

— Бардзо ладна пани, тоже «утишимачка» банкира Эпштейна.

— Хорошо, вези к Юзе. Но примет ли она теперь меня ночью?

— Кого Абрамчик привезет, того примут все пани. А пани Юзя теперь одна: ее барон уехал до Вены.

Вскоре мы подъехали на улице Видок к дому, где жила Юзя. Абрамчик позвонил.

На лестнице нас встретила горничная. Дав три рубля Абрамчику, я отправился за служанкой.

Горничная ввела меня в гостиную.

Минут через десять за опущенной шелковой портьерой послышались женский голос и шорох платья. В комнату вошла Юзя.

После обоюдных извинений и представления, при котором я назвался первым попавшимся именем, начался банальный разговор. Заметив, что я плохо говорю по-польски, она заговорила по-французски. Я воспользовался этим милым для меня языком, чтобы наговорить ей кучу комплиментов. Увлекшись этой болтовней и пикантностью моей новой знакомки, я вскоре забыл мое положение, только что совершенный побег, прыжок из форточки, спящую в номере Ванду и храпящего у двери Духновского…

Проснувшись на другой день и отдохнув после шести месяцев тюрьмы и перенесенных мною передряг, я стал обдумывать, что мне делать. В России я оставаться не хотел и намеревался пробраться снова за границу. Денег на дорогу у меня было достаточно, но трудно было переехать через границу, так как у меня не было паспорта. Надеялся я совершить этот переход с помощью моего двоюродного брата, занимающего высокое положение в одном из наших пограничных губернских городов. У нас по знакомству можно сделать все — не только переехать границу.

Но нужно было выждать время, чтобы узнать из газет, что говорят о моем бегстве и какие меры приняты полицией для розыска.

Мне казалось, что лучшего убежища, как у Юзи, нечего было искать, и я решил остаться у нее еще сутки-двое.

Когда Юзя проснулась, я стал жаловаться на головную боль. Юзя немедленно принесла мне разные флаконы со спиртами и предложила принять теплую ванну. Я с радостью согласился, тем более что после ванны был вполне законный предлог не выходить из дома.

Выйдя из ванны, я попросил Юзю послать в «Европейскую гостиницу» за обедом, так как мне не хочется выходить из дома, но Юзя сказала, что у нее есть прекрасная кухарка, а за вином и фруктами я могу послать.

— Мне самой что-то не здоровится, — добавила она, — и я очень рада, что вы хотите провести сегодняшний день со мною.

Пока Юзя одевалась, я написал телеграмму Мадлен в Париж, сообщая ей о моем освобождении.

Целый день я провел в болтовне с Юзей. Нашел в ее альбомах много фотографий моих приятелей и товарищей по полку. Юзя сообщила мне разные новости относительно наших новых знакомых.

— Я сегодня познакомлю вас с моей сестрой, очень хорошенькой женщиной, — сказала она, между прочим. — Я сейчас получила от нее записку, в которой она сообщает мне, что приедет ко мне обедать со своим коханым. Вы ничего против этого не имеете?

Конечно, этот приезд был для меня крайне неприятен, но пришлось согласиться, и я ответил, что очень рад буду этому знакомству.

В шесть часов раздался звонок, затем шуршание платья в передней, звук поцелуя и в гостиную вошли Юзя с сестрой и за ними гвардейский улан.

— Вот, позвольте вас познакомить с моей сестрой Евой и с паном Маймескулом, — сказала Юзя.

— Да нам нечего знакомиться, — возразил офицер, протягивая мне руку. — Мы с Савиным старые товарищи по бригаде. Каким образом ты попал сюда? — обратился он ко мне.

Неожиданность встречи меня так озадачила и сконфузила, что, пожимая руку старого товарища, я дрожащим от волнения голосом ответил:

— Я из-за границы приехал.

— Ты давно в Варшаве? — спросил он.

— Нет, дня три.

— А в полку был?

— Нет, еще не был…

— Хорош! Товарищей не проведал, а к Юзе уже попал, — продолжал трунить надо мною Маймескул.

— Я пана Савина тоже знаю немного, — сказала, в свою очередь, Ева. — Я помню, как он разъезжал на своей тройке, но теперь ни за что бы не узнала, если бы встретила на улице. Он ужасно переменился. Помнишь, Юзя, как он бегал за нами в Саксонском саду и предлагал ехать кататься на его лошадях и ужинать в Марцелин?

Таким образом, я был узнан. Скрываться было бесполезно.

После кофе, когда сестры вышли за чем-то, я откровенно рассказал Маймескулу, в каком положении я нахожусь.

— Вот почему, друг мой, я не был в полку, а отправился прежде к Юзе, — сказал я, заканчивая мой рассказ.

— Да, дело твое скверное, — ответил он, — но, во всяком случае, если я могу быть тебе полезен, то можешь на меня рассчитывать. За Еву и Юзю я ручаюсь. Самое лучшее посвятить их во все, чтобы они не проболтались как-нибудь. Юзя может тебя приютить до отъезда из Варшавы. Здесь тебе бояться нечего, а в случае чего, приезжай ко мне. Никто не догадается, что ты у меня.

Я горячо поблагодарил Маймескула за его товарищеское отношение ко мне и решил переговорить с Юзей.

На другой день, встав довольно поздно, я послал за газетами. В рубрике происшествий во всех польских газетах было уже напечатано о моем бегстве.

Газеты сообщали также, что вся полиция на ногах, всюду посланы депеши.

Когда Юзя встала, я рассказал ей о своем положении.

— Маймескул был прав, — ответила Юзя, — посоветовав быть со мною откровенным. Я буду счастлива, если смогу быть вам полезной. У меня вы в безопасности, — и она протянула мне руку.

Я прожил у Юзи еще три дня. Маймескул с Евой приезжали ежедневно и просиживали с нами по целым вечерам. От них я узнавал ходившие по городу слухи. Из них самым курьезным был рассказ о том, как стражник Духновский спьяну потерял препроводительную бумагу, при которой я был отправлен, и когда явился к местному приставу с донесением о моем бегстве, то пристав ему не поверил и велел посадить его в кутузку, где он и просидел до вечера, когда пришла телеграмма из Александрова, подтверждающая справедливость слов Духновского. Таким образом, розыск мой начался спустя с лишком сутки после моего побега. Полиция была уверена, что я уже далеко, и перестала искать меня по городу. Это сообщил Маймескулу знакомый ему полицейский офицер. Таким образом, я мог спокойно ехать на любой вокзал. Распростившись с товарищем и милыми сестрами, я собрался в Люблин к моему двоюродному брату, чтобы с его помощью перебраться через границу и ехать в Англию.

Прощаясь с Юзей, я передал ей конверт со ста рублями, извиняясь, что не могу в данную минуту дать больше.

— Возьмите ваши деньги назад, — сказала она мне обиженным тоном. — Все, что я сделала для вас, я сделала не из-за денег. Эти деньги вам нужнее, и я даже готова дать вам взаймы, если вы хотите.

Мы расстались друзьями.

XXXI
В Люблине. Опасное знакомство. Отъезд. Гостеприимный судья. Переход через границу

По приезде в Люблин, приведя мой туалет в порядок на вокзале, я отправился к моему двоюродному брату Михаилу Федоровичу Ковалькову, который занимал должность председателя съезда мировых судей и жил в каменном доме, где помещался съезд.

Приехав к нему в пятом часу вечера, я узнал от курьера, что Михаил Федорович еще не возвращался со службы, но скоро будет, барыня же дома и принимает. Войдя в гостиную, я к величайшему моему неудовольствию застал мою кузину Елизавету Сергеевну не одну, а в обществе двух дам и одного господина, которым она меня и представила. Это присутствие посторонних, конечно, не позволило мне объясниться с моей кузиной так, как я хотел; а вошедшие вскоре еще гости, в том числе бывший мой товарищ по Гродненскому полку полковник Е-н, командующий расположенным в Люблине драгунским полком, поставили меня в полнейшую невозможность стушеваться и отказаться от приглашения кузины остаться у них обедать.

Оказалось, что у Ковальковых был в этот день званый обед, на который я и попал так некстати. Вскоре вернулся и Ковальков, с ним приехали его товарищи по службе, мировой судья барон Ш-х и прокурор Ф-в.

Легко понять мой ужас при представлении таким лицам как прокурору и вскоре вошедшему в гостиную полицеймейстеру. Я сидел как на угольях, не зная, что делать. Я не мог предположить, чтобы все эти официальные лица не знали о случившемся со мною в Варшаве, и с ужасом ожидал скандала. Больше всех я боялся полицеймейстера. Кому, как не ему, должно быть все известно?

Но, по-видимому, полицеймейстер не обращал ни малейшего внимания на мое имя. Он продолжал беседовать с моей кузиной и женой прокурора, рассказывая им о подробностях какого-то театрального представления. После обеда все общество собралось ехать в театр. Я сначала отказывался, под предлогом усталости, но пришлось, в конце концов, уступить. Особенно меня уговаривали Е-н и полицеймейстер.

Последний говорил мне даже, шутя:

— Вы хотя и живете постоянно за границей, как мне передавала ваша кузина, Елизавета Сергеевна, значит, человек избалованный, но увидите, что и у нас, в Люблине, есть красавицы. Если хотите, я вас познакомлю с одной из наших актрис, пани Шарли, и держу пари, что вы в нее влюбитесь и не скоро покинете наш Люблин. Кстати, сегодня она и играет.

Делать нечего, я отправился в театр.

Вечер провел я очень весело. Пани Шарли была, действительно, очень хорошенькая женщина. Полицеймейстер сдержал свое слово, — познакомил меня с ней, но все-таки я в нее не влюбился и в Люблине не застрял.

Из театра я вернулся к Ковальковым. Мне необходимо было, не теряя времени, переговорить с Михаилом Федоровичем.

Когда мы остались вдвоем, я рассказал ему все подробно, начиная с моего отъезда в 1884 г. за границу, и кончил рассказом о моем бегстве из Варшавы.

— Когда же случилось это последнее твое бегство? — спросил тревожно Ковальков.

— Шесть дней тому назад, — ответил я. — Разве ты об этом не читал в газетах? Я даже, по правде сказать, струсил, застав у тебя такое большое общество, а главное, прокурора и полицеймейстера. Они у тебя ничего не спрашивали?

— Нет, ни слова, — ответил он, — но, во всяком случае, с твоей стороны рискованно так поступать. Малейшая догадка, и ты пропал. Мой совет — как можно скорей убраться отсюда подобру-поздорову. Может быть, эти господа так же, как и я, не читают польских газет. В русских же газетах пока ничего нет, но пройдет день-два, и петербургские газеты принесут им новость о твоем бегстве, и тогда тебе будет плохо.

Я сообщил о цели моего приезда и просил помочь перебраться через границу.

Подумав немного, Михаил Федорович обещал это устроить, взяв с меня честное слово, уехать на другое же утро из Люблина.

Хотя мы легли спать в третьем часу ночи, но в семь часов были уже на ногах. Ковальков написал мне на своей визитной карточке несколько рекомендательных слов к одному из своих

подчиненных, гминному судье[11] Бобянскому, живущему в местечке Замостье, на австрийской границе.

Кроме этой записки, Ковальков дал мне еще сто рублей и проводил меня на вокзал, чтобы, в случае чего, своим влиянием и знакомством отстоять меня от каких-либо неприятностей. Но эта предосторожность оказалась совершенно излишней: никого на станции из «начальства» не было и никто не заметил моего отъезда.

Сидя уже в вагоне, я прочитал написанное на визитной карточке Ковальковым к Бобянскому. На ней значилось только: «Сигизмунд Осипович, вам передаст эту карточку мой двоюродный брат, который едет на несколько дней в Краков. Будьте добры сделать, что он вас попросит, чем крайне обяжете».

Из этой записки я понял, что Ковальков нарочно не написал на карточке моей фамилии, чтобы дать возможность назваться Бобянскому, как я пожелаю.

Чтобы добраться до Замостья, нужно было после часу езды по железной дороге слезть на маленькой станции и ехать на лошадях по грунтовой дороге, в сторону, пятьдесят верст.

Приехав на станцию, я пошел в корчму, чтобы закусить и нанять там лошадей.

Выехав во втором часу, я надеялся приехать в Замостье часов в девять, не позже. Но надежды мои не оправдались. Лошади оказались сущими клячами, так что в Замостье мы приехали в одиннадцатом часу.

Подъехав к казенному дому, где помещались правление и квартира гминного судьи, нам долго пришлось стучаться, так как все уже спали. Наконец, форточка отворилась, и женский голос спросил:

— Кого вам нужно?

Я отвечал, что приехал к судье, но получил ответ, что пан судья спит и никого в такой поздний час не принимает.

После долгих переговоров и увещеваний впустить меня в дом, служанка решилась, наконец, взять карточку Ковалькова и передать ее судье.

[11] Гмина (gmina) — польская административно-территориальная единица, соответствующая русской волости. Гминный судья — волостной судья.

Не прошло и пяти минут, как в квартире судьи показался свет, подъезд отворился, и та же непоколебимая горничная появилась со свечой в руках, прося пожаловать.

Не успел я еще переступить порога, как сверху послышался чей-то голос:

— Сюда пожалуйте, ваше превосходительство. Извините, пожалуйста, что так долго вас продержали.

Войдя на площадку второго этажа, я встретил у двери с лампой в руке самого гминного судью, повторившего те же извинения и продолжавшего меня величать «ваше превосходительство».

Представившись ему Николаем Николаевичем Ковальковым и передав ему, на словах, поклон от брата, я вошел вслед за ним в гостиную и объяснил, в чем заключается моя просьба.

— Приехав погостить к брату, я хочу воспользоваться близостью границы, чтобы съездить на несколько дней в Краков, но так как не запасся заграничным паспортом, а получение его связано с большими формальностями, то я просил Михаила Федоровича дать мне возможность проехать через границу с помощью кого-нибудь из его знакомых, и он адресовал меня к вам.

— Очень счастлив, что его превосходительство направил вас ко мне, я вам это устрою завтра же утром. Граница всего в двух верстах отсюда, в моем же участке, и я вас проведу без всякого паспорта.

В это время вошла в комнату высокая, полная, довольно красивая женщина, жена Бобянского, пригласившая меня закусить.

Я проболтал далеко за полночь с гостеприимными хозяевами. Мы уговорились с Бобянским, что на другое утро, часов в десять, я поеду с ним на ближайшую станцию австрийской железной дороги, отстоящей от Замостья всего в двух верстах. По словам Бобянского, мне не нужно было никаких бумаг для перехода границы и достаточно было его присутствия, чтобы нас свободно пропустили.

Выспавшись на прекрасной, мягкой постели, приготовленной в гостиной, я на другое утро распростился с гостеприимной хозяйкой и уехал с Бобянским на его лошадях в Австрию, на станцию железной дороги.

Русско-австрийская граница пролегает почти при выезде из Замостья, а естественную границу между двумя государствами составляет небольшая речка, через которую построен деревянный мост. При выезде на мост с нашей стороны построен шлагбаум и казенный

таможенный дом. Подъехав к нему, Бобянский зашел в таможню, сказав несколько слов дежурному чиновнику, после чего последний велел часовому нас пропустить, не спросив даже о моем имени, а только ответил вежливо на мой поклон.

Как ни прост был этот переезд границы, но сердце мое сильно билось во время последних минут моего пребывания на родной земле. Переезжая этот бревенчатый деревянный мост, я был рад, чувствуя свое освобождение, но вместе с тем томительно было покидать, может быть, навсегда дорогую родину.

На прощанье мы с Бобянским расцеловались, по польскому обычаю, причем я дал слово опять заехать к нему при возвращении из Кракова.

XXXII
На свободе. Полезные встречи и знакомства. Новые планы. Получение документов. Отъезд из Кракова

Я снова свободен, снова за границей, но снова тем же скитальцем, бездомником, скрывающимся в чужой стране под чужим именем.

При этом свобода моя была очень эфемерна, так как все европейские державы связаны трактатами о выдаче, и при первой неосторожности я мог быть узнан и снова арестован. Мне надо было, во что бы то ни стало, скорей покинуть континент и перебраться в Англию. Там я мог с меньшим риском дождаться приезда Мадлен, чтобы ехать навсегда в Америку.

В Кракове я думал пробыть только несколько дней, чтобы отдохнуть и обзавестись всем необходимым, так как у меня ничего не было. Путешествовать же без вещей не только неудобно, но и опасно. При приезде в гостиницу необходимо иметь хоть что-нибудь, если не желаешь возбудить подозрение хозяина, а с ним вместе и полиции. За границей все торговцы, а в особенности содержатели гостиниц, солидарны с полицией. При малейшем подозрении эти господа сейчас же советуются с полицейским комиссаром, а полиция, в свою очередь, пользуется опытностью и прозорливостью швейцаров и хозяев гостиниц для своих розысков. Зная это, я должен был принять все меры предосторожности.

Вот почему по приезде в Краков я прямо с вокзала отправился в магазин, купил два чемодана, дорожную подушку, плед, ремни и белье. Уложив все это, я вернулся на вокзал, где дождался в буфете прибытия поезда. Во время этого двухчасового ожидания, я обдумал план моих дальнейших действий и решил опять назваться графом де Тулуз-Лотреком. Узнав от лакея, что в Кракове была гостиница, именно «Гранд Отель», содержимая французом, я отправился туда и, заняв приличный номер, записался французским гражданином графом де Тулуз-Лотреком.

Сойдя в ресторан в тот же вечер к обеду, я познакомился с хозяином, который, узнав о приезде соотечественника, счел долгом мне представиться.

Старик-француз был очень словоохотлив и, видимо, был рад встретить земляка. Я воспользовался этим, чтобы обеспечить себя его

знакомством в городе, в случае, если возникло бы подозрение в моей личности. Для этого я ему рассказал следующую историю:

— Возвращаюсь я теперь во Францию из русской Польши, куда ездил за получением наследства после смерти моего дяди, жившего в России. Остановился же я в Кракове совершенно случайно на несколько дней, так как у меня по дороге украли сумку, в которой находилась квитанция от моего багажа, разные документы, в том числе паспорт, и несколько сот франков денег. К счастью, ценные бумаги, чеки на крупные суммы, находились не в этой сумке, а в боковом кармане моего платья, вследствие чего и уцелели, но все-таки потеря эта мне ужасно неприятна, так как без багажной квитанции мне не выдают моих сундуков.

Француз разахался и советовал мне немедленно заявить полиции. Я ответил, что завтра же это сделаю и надеюсь, что он не откажет поехать со мною к префекту, на что он изъявил готовность, объясняя, что префект очень милый господин и его хороший знакомый.

Но неожиданный случай устроил для меня дело еще лучше.

В то время как я болтал с хозяином, в ресторан вошли какие-то господа. По-видимому, это были очень уважаемые посетители, потому что француз бросился их встречать.

Я заметил, что один из новых посетителей пристально на меня смотрит.

Наконец, он встал и подошел ко мне.

— Мы, кажется, с вами знакомы, — сказал он мне по-французски. — Я граф Андрей Потоцкий. Помните, мы с вами часто встречались в Париже года три тому назад?

Эта неожиданная встреча меня, по правде сказать, сильно встревожила.

— Каким образом вы попали в Краков? Это большая редкость видеть парижанина в нашей польской глуши, — продолжал граф.

— Я возвращаюсь из Царства Польского, ездил туда получать наследство после умершего дяди, — отвечал я ему.

— Разве у вас есть родственники поляки? — спросил граф.

— Нет, дядя мой был тоже француз, но служил на русской службе и имел имения в Польше.

— Я вижу, вы здесь совершенно один, — продолжал граф. — Позволите ли вас представить моим друзьям?

Я не мог отказаться от этого и направился с графом к столу, где сидели его приятели. По дороге туда граф, извиняясь, сказал мне:

— Хотя мы часто с вами встречались, но это клубное знакомство, вы понимаете… Я забыл вашу фамилию.

От этих слов камень свалился у меня с сердца, и я назвал себя:

— Граф де Тулуз-Лотрек.

— Да, да! — сказал граф, пожимая мне руку. — Как я мог забыть такую фамилию!

Обратясь к сидевшим приятелям, он сказал:

— Позвольте, господа, представить вам моего хорошего знакомого графа де Тулуз-Лотрека, а вам, граф, позвольте представить моих приятелей, графа Дамбского, графа Пусловского и пана Скаржинского.

Начался оживленный разговор. Конечно, говорили больше всего о Париже. Не обошлось и без расспросов, как и зачем я приехал в Краков. Я повторил рассказ о наследстве и потерянной сумке с квитанцией и паспортом. Все советовали мне обратиться в полицию как можно скорее, а граф Потоцкий любезно предложил вместе со мной съездить к префекту.

Более благоприятного я не мог и ожидать. Граф Андрей Потоцкий был сын графа Альфреда Потоцкого, местного генерал-губернатора Галиции, и, конечно, такая рекомендация могла сразу меня поставить вне всякого подозрения.

На следующее утро я отправился к графу. Он жил в генерал-губернаторском доме.

После завтрака мы поехали в карете графа, запряженной прелестной парой золотых лошадей, к префекту.

Ему граф сообщил уже по телефону о нашем посещении, и он нас ожидал.

Префект г. Коссецкий принял меня как нельзя любезнее, и когда граф Потоцкий рассказал тому о случившемся со мною, он сказал мне, что примет все меры к разысканию похищенного, обещав немедленно послать повсюду телеграммы и напечатать розыскные афиши, так как, может быть, сумка моя не украдена, а взята нечаянно кем-нибудь из пассажиров.

На другой же день появились объявления от полиции, в которых значилось о потере графом де Тулуз-Лотреком такой-то дорожной

сумки с такими-то документами, квитанциями и деньгами, за доставление которой будет уплачено вознаграждение в триста гульденов.

Обещая такое вознаграждение, я ничем не рисковал, так как трудно было предположить, что «потерянная сумка» будет найдена.

Познакомившись через Потоцкого и его друзей с большею частью краковской аристократической молодежи, я прожил в Кракове дольше, чем желал, проводя время очень весело.

Но этому была еще другая, более серьезная причина — перемена моего дальнейшего маршрута и даже всех моих планов на будущее.

До того времени я предполагал, как уже говорил выше, ехать в Англию. Но в Кракове я передумал и решился отправиться в совершенно другую страну — в Болгарию.

В Болгарии в то время шла большая кутерьма. Князь Александр Баттенбергский вторично покинул страну. Временное правительство, во главе которого стоял Стамбулов, стало в открытую оппозицию России, и наше правительство отозвало своих дипломатов и всех русских офицеров, служивших в болгарских войсках.

Мне казалось, что России необходимо было в это смутное время не оставлять Болгарию без надзора. Я думал, что энергичный и ловкий агент может принести немаловажную пользу, сообщая русскому правительству обо всех намерениях самозваных регентов и австрийских представителей. Я надеялся, что в случае удачи моих планов я буду вознагражден тем, что все дела, возбужденные против меня прокуратурой, будут прекращены, и я опять стану на легальную почву.

Правда, не так легко было осуществить этот план. Для поездки в Болгарию мне недостаточно было одного моего желания. Нужны были деньги и бумаги, доказывающие мою самоличность. Конечно, я должен был приехать туда, как иностранец, познакомиться и втереться в общество правителей и достигнуть настолько их расположения и доверия, чтобы иметь возможность извлекать пользу из этих отношений.

Имя, носимое мною в то время, было вполне подходящее, но надо было иметь документы, подтверждающие право его носить. Кроме того, надо было приехать в Болгарию со средствами, чтобы, хотя в первое время, не нуждаться ни в чем.

Денег я мог бы достать хотя бы у Мадлен, но получение документов представляло большую трудность, и мне казалось, что в Кракове я могу кое-что сделать ввиду благоприятной обстановки, в которой я находился.

Я снова отправился к префекту и сказал ему, что, желая на днях продолжать мое путешествие, мне нужно иметь формальное удостоверение о подаче мною заявления об утере сумки с документами и квитанциями. Такое удостоверение мне необходимо по возвращении во Францию для истребования нового паспорта. Префект ответил, что с удовольствием исполнит мою просьбу, и отдал приказание изготовить мне формальное удостоверение, которое и обещал прислать на другое утро.

Но любезность его дошла до того, что в тот же вечер я получил его визитную карточку с приложением большого официального конверта, в котором нашел следующего содержания удостоверение на бланке и с печатью префекта: «Предъявитель сего — граф Георгий де Тулуз-Лотрек, утерявший свой национальный паспорт, о чем им своевременно заявлено в краковскую префектуру. Выдано же ему это свидетельство для удостоверения его личности и свободного проезда по Австро-Венгерской империи».

Читая и перечитывая эту бумагу, присланную от любезного префекта, я просто глазам не верил. Это удостоверение было для меня просто кладом. С ним я мог беспрепятственно путешествовать не только по Австрии, но и по всей Европе, и будь у меня такая бумажка в Брюсселе, я не имел бы тех неприятностей, из-за которых я просидел пять месяцев в тюрьме.

Кроме того, с этой бумагой я мог в любом французском консульстве получить настоящий французский паспорт, а это было моей мечтой.

Однако жизнь моя в Кракове в обществе Потоцкого и его друзей принесла ущерб моему карману. Вращаясь в обществе этих богатых панов, мне пришлось тратить немалые деньги, так что мои фонды сильно растаяли, и ехать с ними в Болгарию, нечего было и думать. Достать же денег в Кракове было не так легко. Правда, я мог занять некоторую сумму у Потоцкого, но я считал это довольно опасным, так как, рассказывая ему о пропаже у меня сумки, я старался подчеркнуть, что имеющиеся при мне крупные суммы денег не были украдены.

Обсуждая этот вопрос, я, наконец, додумался и написал телеграмму с оплаченным ответом в «Лионский кредит» в Париже: «Прошу телеграфировать мне: Краков, гостиница “Виктория”, — кто ваш корреспондент в Кракове, у кого я могу получить, по имеющемуся у меня на ваш банк чеку в двадцать тысяч франков, деньги. Граф де Тулуз-Лотрек».

Банк ответил в тот же день телеграммой: «В Кракове у нас корреспондентов нет, можете получить двадцать тысяч франков по имеющемуся у вас чеку нашего банка в Вене у Ефрусси и К?. “Лионский кредит”».

Чека у меня, конечно, никакого не было, но ответная телеграмма парижского банка в моих руках была своего рода чеком. Ответ «Лионского кредита» подтверждал, что я в Кракове получить деньги не могу, а должен представить чек к уплате в Вене; чтобы ехать в Вену, нужны деньги, а наличных денег у меня нет, есть только крупные «чеки» разных банков.

Вот какой разговор повел я с хозяином во время завтрака в ресторане, показывая ему только что полученную телеграмму.

— Как мне теперь поступить? — спросил я его. — Не можете ли вы учесть мне этот чек?

— Нет, такой большой суммой я сейчас не располагаю, — ответил француз, — но если вашему сиятельству нужны деньги на поездку в Вену, то я буду очень счастлив ссудить вас таковыми.

Я поблагодарил любезного хозяина и занял у него две тысячи гульденов.

После этого мне нечего было делать в Кракове и, распростившись с моими знакомыми, я уехал в тот же вечер с курьерским поездом в Вену.

Уехал я уже не как беглец, не имеющий ни вещей, ни денег, ни бумаг, а как настоящий граф де Тулуз-Лотрек, с паспортом и деньгами в кармане.

XXXIII
В Вене. Визит сыщиков.
Опасное положение. Бегство из Вены

Вену я хорошо знал, но и меня там знали многие. Это обстоятельство, конечно, не было благоприятно для меня в настоящую минуту. Ехал я в Вену только потому, что надеялся получить там в кредит необходимый для меня гардероб у портного Франка, у которого я заказывал прежде на большие суммы и которому, к счастью, ничего не был должен. Кроме Франка у меня были еще знакомые, у которых я рассчитывал призанять деньжонок.

Конечно, для всех этих лиц я должен был оставаться тем же русским барином Савиным, которого они раньше знали, но жить под настоящим именем в Вене я не мог, опасаясь полиции. Таким образом, я должен был изображать из себя двух разных лиц: для одних быть прежним Савиным, а для других — французским графом де Тулуз-Лотреком.

По приезде в Вену я остановился в незнакомой гостинице на Шоттинг-Ринге, где занял небольшой номер. Франка в день видеть мне не удалось, так как день был воскресный, и все магазины были заперты. Погуляв по городу, я вернулся домой и целый вечер просидел за газетами и за письмами к матери и Мадлен. Матери я ничего не писал о моих предположениях насчет Болгарии, но Мадлен сообщил все мои планы и надежды.

На другое утро ко мне постучали и в номер вошли два незнакомых господина.

— Позвольте нам узнать вашу фамилию, — сказал мне один из вошедших.

Я спросил вошедших, что им от меня нужно и кто они такие, чтобы задавать такие вопросы.

— Мы агенты сыскной полиции, — ответил мне тот же господин, пристально глядя на меня.

Легко понять, какое впечатление произвели на меня эти слова. К счастью, я сумел сдержаться настолько, что внутреннее мое волнение не было замечено сыщиками, и я спросил у них весьма вежливо, но сухо, что им от меня угодно.

— Мы желаем знать, кто вы такой, и видеть ваши бумаги.

Я назвал себя и предъявил выданное краковским префектом свидетельство. Прочитав бумагу, сыщики извинились и вышли из номера.

Я спустился вниз в контору гостиницы и вошел в кабинет хозяина.

— Что это значит, — спросил я его обиженным тоном, — что ко мне в комнату врываются какие-то сыщики и спрашивают, кто я такой и проверяют мои бумаги? Я удивляюсь, как это позволяют им так поступать в приличном отеле.

— Извините, пожалуйста, граф, — ответил хозяин, — но мы не вправе запретить полиции входить к кому бы то ни было. Эти господа, когда ищут кого-нибудь, не спрашивают нашего позволения. С вами недоразумение, конечно, весьма неприятное, но полиция уже с неделю разыскивает какого-то русского офицера, и, к несчастью, приметы ваши подходят к приметам разыскиваемого, вот что и побудило полицейских агентов вас обеспокоить.

Это объяснило мне все.

Меня, значит, ищут в Вене и о моем бегстве сообщено из России венской полиции. После этого мне необходимо было сейчас же, не теряя ни минуты, покинуть австрийскую столицу.

Но как это сделать? Потребуй я счет и выезжай сейчас же из гостиницы, я навлек бы на себя подозрение и, если бы не был арестован при выезде из гостиницы, то, во всяком случае, был бы арестован на вокзале или в поезде. Венская полиция не наша русская. С ней надо считаться и играть осторожно.

Я вышел из гостиницы, оставив все свои вещи, но с твердым намерением больше в нее не возвращаться.

Таким образом, о моем отъезде полиция могла узнать только на следующий день, когда я буду далеко от Вены, может быть, даже за пределами Австрии.

В Вене, как я уже говорил, у меня было немало знакомых. Вот к одному из них, некоему Брофту, я и отправился. Познакомился я с ним с ним впервые во время восточной войны в Бухаресте, где он содержал гостиницу и был маркитантом при штабе главнокомандующего. За последние годы я встречался с ним на водах в Мариенбаде и в Вене. Брофт был хорошо знаком с венской полицией и ее приемами, вследствие чего мог быть мне очень полезен в настоящую минуту. Кроме того, я надеялся занять у него денег. Он был человек

денежный, притом знающий меня за богатого русского помещика и наживший с меня немало денег в прежние времена. Я решился рассказать ему всю правду. Я пошел в находящееся невдалеке от гостиницы кафе и оттуда послал посыльного с моей карточкой к Брофту, прося его сейчас прийти в кафе, где ожидает его один господин, желающий его видеть по важному делу.

Через десять минут в кафе вошел Брофт с посыльным, который указал ему на меня.

Поздоровавшись со мной и удивившись, что я, приехав в Вену, не остановился у него, Брофт спросил меня, где же граф де Тулуз-Лотрек, который прислал ему карточку и просил его прийти по делу?

— Он сейчас придет, — сказал я ему, — а пока пойдемте в отдельный кабинет, мне надо с вами кое о чем переговорить.

Заняв кабинет и заказав завтрак, я рассказал подробно Брофту обо всем, случившемся со мною за последнее время и о том положении, в котором я теперь находился.

— Я читал кое-что в газетах о случившемся с вами в Париже и Ницце, но думал, что все это благополучно уже кончилось и вы уехали обратно в ваши имения в Россию.

— Да, я рад бы уехать в Россию, но именно русские-то дела и заставляют меня скитаться, ставя меня в такое ужасное положение, в каком я теперь нахожусь.

Рассказал я ему также о визите сыщиков и о моем намерении больше не возвращаться в свою гостиницу.

— Конечно, — сказал мне Брофт, — вы поступили вполне рассудительно. Я уверен, что сыщики уже снова ожидают вас там, и я даже удивляюсь, что они вас не пригласили для объяснения в центральное полицейское бюро. У нас, в Австрии, на документы не очень-то глядят. Хорошо вы сделали, что сбрили бороду, может быть, это обстоятельство больше повлияло на сыщиков, чем краковское удостоверение.

— Что же мне теперь делать? — спросил я Брофта. — Что вы посоветуете?

— По-моему, — ответил Брофт, — остается одно из двух: или уезжать сейчас же, не теряя ни минуты, пока полиция не догадалась, что вы совсем покинули гостиницу и не распорядилась принять меры к задержанию вас на вокзалах, или же оставайтесь некоторое

время в Вене, но спрятанным у меня, на моей частной квартире, где, конечно, никто вас не разыщет. Но лучше уехать из Вены и сесть в поезд не на венских вокзалах, а ехать в какой-нибудь форштадт Вены, в Мейерлинг, в Шенбург или в Брюль, и там уже сесть на железную дорогу.

Я вполне разделял мнение Брофта и решился, не медля ни минуты, уехать из Вены.

Из кафе мы отправились на его квартиру. Там я получил от Брофта тысячу гульденов, маленький чемоданчик с бельем и плед, после чего вместе с ним поехал в Брюль в извозчичьей карете. В Брюле его хорошо знали, так как у него была там дача, следовательно, я в его обществе не мог быть заподозрен.

Он мне советовал ехать в Венгрию, так как там другие законы и порядки, чем в Австрии, и уверял, что Венгрия не имеет никаких трактатов о выдаче с Россиею.

Распростившись и дружески обняв друга, я уехал со станции Брюль в Пресбург, ближайший венгерский город, куда и приехал благополучно три часа спустя.

XXXIV
В Будапеште. Получение паспорта. Отъезд в Триест. Русский консул. Денежные заботы. Поездка к Дон Карлосу

Описывать венгерские города, в которых я жил по нескольку дней, я не буду, так как ничего особенного со мною там не случилось.

После двухнедельного странствования по мелким городкам Венгрии я, наконец, прибыл на пароходе в Будапешт.

Сойдя с парохода, я отправился в гостиницу «Nord», находящуюся в нескольких шагах от пристани.

Выбрал я «Nord» потому, что директор его Фронер был хороший приятель моего друга Брофта, к которому последний дал мне перед отъездом из Вены рекомендательное письмо.

Ел я редко дома, ввиду того, что кухня в ресторане была чисто венгерская, а к этой стряпне надо привыкнуть.

Не будучи поклонником венгерской кухни, я ходил, большею частью, во французский ресторан.

Здесь я познакомился, чрез посредство любезного хозяина, с секретарем французского генерального консульства Филиппом Дрионом.

Я скоро с ним сошелся, и во все время моего пребывания в Будапеште мы были неразлучны.

Благодаря ему я скоро познакомился с массой хорошеньких женщин. Тут были и актрисы, и благородные девицы, живущие при родителях, и даже много замужних дам. В Венгрии женщины не строптивы, а мужья, к счастью ухаживателей, не ревнивы. Венгерцы не только не обижаются, что жены их имеют любовников, но даже считают это доказательством, что жены их действительно хороши и привлекательны.

Пожуировав с красавицами-венгерками около месяца, я отправился дальше. Перед отъездом я воспользовался моей дружбой с Дрионом, чтобы достать себе, наконец, надлежащий документ, то есть паспорт.

Рассказав ему историю о потере мною сумки с паспортом и показав ему выданное краковским префектом удостоверение, я попросил его выхлопотать мне у консула документ. Дрион ответил мне, что это

можно, но необходимо лично побывать в консульстве и переговорить с генеральным консулом.

Познакомившись с консулом, я узнал, что для получения паспорта мне необходимо, кроме предоставления свидетельства, удостоверение двух известных консульству французских граждан, что я именно то лицо, коим называюсь. Эту формальность было нетрудно исполнить, так как ресторатор и другой француз, кондитер, по просьбе Дриона, с удовольствием согласились удостоверить мою личность перед консульством, и я в тот же день получил французский паспорт на имя графа де Тулуз-Лотрека, в котором, по правилам о выдаче французскими властями паспортов, были вписаны мои приметы.

Заручившись таким неоспоримым документом, я уехал далее, в Триест.

Отправляясь в Болгарию, на Триест я делал небольшой крюк, но невдалеке от Триеста, в Горнце, жил мой хороший знакомый барон Риттер, очень богатый человек, на помощь которого я сильно надеялся. Я был уверен, что смогу занять у него несколько тысяч франков, без которых нечего было и думать ехать в Софию.

В Триесте я остановился в одной из лучших гостиниц, к хозяину которой я имел рекомендательное письмо.

Написав письмо барону о скором моем посещении его, я на другой же день по приезде в Триест собрался ехать в Горнц.

Перед отъездом, желая расспросить хозяина гостиницы, как лучше проехать к барону, которого он должен был, наверное, знать, я был поражен неожиданностью.

— Разве вы его не знаете? — спросил я.

— Как не знать! Он в продолжение десяти лет постоянно останавливался в моей гостинице, но, к сожалению, он прошлой осенью умер, а баронесса с детьми живет в Вене.

Я был страшно поражен этим неожиданным сообщением. Я так сильно надеялся на помощь со стороны Риттера, что даже не писал ни в Россию, ни Мадлен о высылке мне денег. Не зная никого в Триесте и не ожидая ниоткуда помощи, мне не было никакого смысла тут оставаться, но уехать было также невозможно, так как у меня в наличности оставалось всего гульденов пятьдесят.

Прошло дня три. Как-то утром, в ресторане, к столу, за которым я сидел, подошел бритый, высокий старик, по-видимому, иностранец,

и попросил у меня позволения сесть за мой стол, так как все столы были заняты. Конечно, я согласился, но ответил на его немецкое обращение по-французски. Он меня поблагодарил также по-французски. Сев и заказав себе что-то, он вынул из кармана газету и стал ее читать. К величайшему моему удивлению, развернутая газета оказалась «Новым временем».

При виде этой газеты сердце мое сильно забилось, мне ужасно хотелось прочитать, хотя несколько строк, принесенных сюда из дорогой родины, и я невольно впился глазами в газету.

Старик это заметил и вскоре спросил меня по-французски:

— Вы смотрите на мою газету. Наверное, вас удивляет ее шрифт. Это русская газета «Новое время».

— Я это вижу, — ответил я ему по-русски.

— Так вы русский? Какая редкость здесь, в Триесте.

— Да, я русский, — вырвалось у меня невольно. — Позвольте представиться: граф де Тулуз-Лотрек.

— Очень приятно, — ответил мой собеседник, протягивая руку. — Моя фамилия Маллейн. Я здешний русский консул.

Такое неожиданное знакомство в моем настоящем критическом положении было весьма кстати.

Оказалось, что Василий Михайлович Маллейн хорошо знал в былое время в Петербурге моего дядю, графа де Тулуз-Лотрека, когда он еще был молодым офицером Гродненского гусарского полка.

Я говорил уже ранее, что взял имя де Тулуз-Лотрек, руководясь тем, что, прикрываясь этим французским именем, я мог быть принятым за француза, но, в случае надобности, мог назваться и русским, так как в России было семейство, носящее это имя, и притом состоящее со мною в близком родстве по матери.

Граф де Тулуз-Лотрек, про которого меня расспрашивал с таким интересом Василий Михайлович, был действительно моим дядей.

На вопросы Маллейна, каким образом я попал в Триест и куда я еду, я ему рассказал, что возвращаюсь в Россию из Ниццы, куда ездил на короткое время проведать родственников, проводивших там зиму.

Познакомившись ближе с Маллейном и, будучи представлен его семейству, я стал ежедневно бывать у него.

Вскоре я убедился, что насчет займа денег будет трудно, так как Василий Михайлович был человек скупой, даже мелочной

в денежном отношении, но паспорт он выдал мне без всяких затруднений, удовольствовавшись представлением ему удостоверения краковского префекта.

Таким образом, у меня было два паспорта на одно и то же имя. Один из них был мне выдан как французскому гражданину, а второй как русскому подданному. Этот последний был мне нужен в случае возвращения в Россию и для представления русскому посланнику в Бухаресте, с которым я надеялся войти в сношения, если дела в Болгарии мне улыбнутся.

Как ни скромно я жил в Триесте, но деньги уходили, и я был накануне того дня, когда пришлось бы разменять последний гульден. В гостинице Делорм ко мне относились доверчиво и с самого приезда моего счета не подавали. Это обстоятельство только и позволило мне так долго прожить без кризиса.

В это время я вспомнил, что в Венеции живет претендент на испанский престол дон-Карлос, с которым я был хорошо знаком и который неоднократно приглашал меня приехать к нему в Венецию.

Дон-Карлосу я был представлен еще в Петербурге в бытность мою на службе в конной гвардии.

После того я встречался с ним неоднократно в Вене, Неаполе и Ницце. Он знал меня за человека, принадлежащего к высшему кругу и богатого, а потому я не думал, чтобы он отказал мне в нескольких тысячах франков.

На всякий случай, перед отъездом из Триеста я подготовил еще одну махинацию, чтобы поставить себя в положение человека, неожиданно потерявшего деньги. Я послал из Триеста заказное письмо на свое собственное имя, адресуя его до востребования в Венецию. На конверте я написал по-французски: «С вложением пяти тысяч франков». На почте никто не обратил внимания на эту приписку. На другой день я уехал в Венецию без вещей, сказав хозяину гостиницы, что еду на короткое время, чтобы сделать визит его высочеству дон-Карлосу, и оставляю за собой номер.

XXXV
Визит к дон-Карлосу. Удачный заем. Грандиозный план. В Болгарию

К пароходам, прибывающим в венецианский порт, выезжает масса гондол, как у нас извозчики и кареты гостиниц. Я сел в одну из таких гондол-омнибусов, и вскоре мы подплыли к мраморной лестнице отеля.

Только что я успел занять номер и расписаться в книге, как портье, узнав мое имя, принес повестку с почты на заказное письмо, посланное мною, как я уже сказал выше, перед отъездом из Триеста.

Взяв с собою комиссионера гостиницы, я отправился на почту.

Там, предъявив повестку и паспорт, я получил письмо. Распечатав его и положив в бумажник бывшие в письме бумаги, я сунул его в боковой карман, а конверт положил отдельно в пальто.

Из почтамта мы отправились по магазинам, где я купил несколько безделушек, причем всякий раз вынимал из кармана объемистый, но пустой бумажник.

Идя обратно в гостиницу по узким улицам Венеции, я незаметно для моего спутника вынул бумажник с письмом, в котором я сам себя извещал о посылке пяти тысяч франков, и бросил его.

По приходе домой я, как будто желая расплатиться с комиссионером, стал шарить по карманам, отыскивая бумажник, и, не находя его, с волнением заявил, что у меня его украли. Комиссионер утверждал, что видел бумажник еще в последнем магазине, в который мы заходили, и побежал туда. Вскоре он вернулся обратно, объявив, что ничего там не нашел, прибавляя, что хозяин магазина видел, как я его (бумажник) положил в карман. Конечно, первым делом я пошел к хозяину гостиницы, чтобы заявить ему о потере. В доказательство справедливости моих слов, я ему показал оставшийся у меня конверт, на котором было написано: «С вложением пяти тысяч франков».

Я рассказал, что кроме этих пяти тысяч франков, только что полученных с почты, у меня еще было до трех тысяч гульденов австрийскими деньгами, и просил немедленно заявить об этой потере полиции. В конторе я написал телеграмму в один из парижских банков с требованием выслать немедленно в Венецию пять тысяч франков по телеграфу. Я знал, что банк не только не вышлет денег, но и не ответит на телеграмму, так как у меня там никаких денег не было,

и никакого графа де Тулуз-Лотрека банк не знал, но мне нужно было внушить хозяину гостиницы доверие. Ожидания мои оправдались. Хозяин сам предложил мне взаймы до присылки денег из Парижа небольшую сумму на расходы. Я, конечно, согласился и взял у него пятьсот франков.

Обделав это дело и позавтракав, я заказал себе парадную гондолу и поехал к дон-Карлосу.. Он жил в своем дворце на Большом канале и сейчас же меня принял.

— Извините, ваше высочество, что я позволил себе приехать к вам, не испросив заранее вашего согласия и не предупредив вас об изменении моей фамилии, которую я унаследовал после смерти моего дяди, — сказал я ему, кланяясь.

— Очень рад вас видеть у себя, граф, — сказал дон-Карлос, протягивая мне руку. — Искренно поздравляю с унаследованием столь знаменитого имени ваших предков. Садитесь, пожалуйста.

На расспросы, откуда я еду и куда, я ответил, что провел зиму в Ницце и еду теперь домой в Россию, после чего, между прочим, рассказал ему о крупном проигрыше в Монте-Карло и о случившемся со мною инциденте — потере бумажника с деньгами, только что полученными с почты.

На следующий день дон-Карлос отдал мне визит и пригласил меня к себе обедать. После обеда, оставшись с ним вдвоем в кабинете, я решился приступить к деловому разговору. Рассказав ему снова о моем проигрыше и о той неудаче, которая постигла меня здесь, в Венеции, я просил его вывести меня из затруднительного положения, рекомендовав меня своему банкиру, чтобы занять у него деньги, которые я вышлю ему из России. Дон-Карлос любезно согласился и дал мне письмо к своему банкиру Фенчи, которого просил ссудить меня деньгами, за которые он ручается.

На другой день утром я отправился к банкиру Фенчи, передал ему мою карточку и письмо дон-Карлоса, объяснив, что по непредвиденным обстоятельствам я нуждаюсь в настоящую минуту в двадцати пяти тысячах франков, которые прошу дать на три месяца с ручательством его высочества.

Фенчи сейчас же выдал мне деньги.

Теперь мне оставалось обдумать план дальнейших действий, чтобы замаскировать мой приезд в Болгарию. Я должен был приехать туда не туристом, а дипломатом, не французским графом,

а деловым человеком. Только тогда я мог поселиться в Болгарии, не возбуждая подозрений.

Наконец, после недельного обсуждения массы планов, мне пришла на ум мысль. Из газет мне было известно, что регенты находились в весьма критическом финансовом положении. Они ездили по Европе искать денег, но безуспешно. Я думал, что, приехав в Болгарию под видом уполномоченного крупных французских капиталистов, я мог надеяться на хороший прием со стороны регентов.

Крупные финансовые операции ведутся всегда чрез посредство уполномоченных лиц и, конечно, не делаются на скорую руку. Кроме того, для дающих деньги необходимы серьезные гарантии, которые должны быть изучены уполномоченным лицом.

В силу этих соображений мой приезд в Софию не мог казаться странным. Да и какое подозрение могло пасть на человека, приехавшего с такими благими намерениями — дать несколько миллионов взаймы!

Правда роль, которую я намеревался играть в Болгарии, была не легкая. Я должен был обсуждать сложные вопросы, рассматривать предложения, проекты, гарантии и т. п. Не будучи знаком с такого рода финансовыми операциями, я приобрел себе разные книги и руководства по этому специальному вопросу, а также подыскал опытного секретаря, служившего в одном из венецианских банков и близко знакомого с такого рода операциями.

Для Генрико Висконти, так звали моего секретаря, я был именно тем богачом, французским графом, представителем банкиров Камандо и Рейнах, за которого я себя выдавал, но он ничего не знал о цели моей поездки. Приглашая Висконти, я предупреждал его, что он должен быть молчалив, как рыба.

Висконти был очень опытный человек по части финансовых операций. Владея хорошо французским языком, он мог составлять для меня разные проекты, условия и гарантии, а также рассматривать предложения болгарского правительства.

Жалованья Висконти получал от меня пятьсот франков в месяц, и все путевые расходы на мой счет.

Я нанял себе также камердинера, француза Жозефа, служившего до того времени у французского генерального консула в Египте, графа д'Обиньи.

После этого я занялся подготовкой бумаг, нужных мне для доказательства возложенного на меня поручения. Я заказал штемпеля тех парижских домов, которые якобы представлял, а, кроме того, — штемпеля синдиката, которого я якобы был членом и главным представителем в Болгарии. Синдикат этот существовал только в моем воображении.

Получив от гравера заказанные мною штемпеля, я приготовил на свое имя от всех этих фирм и синдиката доверительные письма, из которых было видно, что я состою главным и неограниченным доверенным лицом этих домов и синдиката и уполномочен ими вести переговоры и заключать договоры с болгарским правительством о займе у означенных фирм до пятидесяти миллионов франков под обеспечение права эксплуатации железных дорог и рудников в Болгарском княжестве.

Эти письма я отослал в пакете в Париж на имя Мадлен, прося ее отправить их немедленно по назначению. Таким образом, по приезде в Софию я был уверен найти все эти письма уже во французском консульстве. Посылал я их через консульство для того, чтобы это официальное получение им дало больший вес и значение.

Устроив все так удачно, я больше не имел дела в Венеции.

XXXVI
От Фиуме до Софии. У французского консула. Знакомство со Стамбуловым. Блестящее начало

Из Фиуме мы через сутки уехали в Белград, где я думал пробыть денька два.

Пароход, на котором мы ехали по Дунаю, прибыл, наконец, в сербскую столицу вечером. Белград, несмотря на свои сто тысяч жителей, благоустройством не блещет.

Пока мы ехали от пристани к центру города, где помещаются гостиницы, сербская столица производила на меня впечатление наших губернских городов, ни дать ни взять, Калуга. Те же булыжные мостовые, плохое освещение улиц и присущая русским городам вонь.

Еще один чисто русский обычай, от которого отвыкаешь, живя в Западной Европе, и который введен в Сербии — это обязательное предъявление паспортов стоящему для этой цели на пристани полицейскому чиновнику, записывающему в книгу имена прибывающих и их паспорта. По приезде же в гостиницу у вас отбирают паспорт для прописки, так же, как и у нас. Правда, что сербские власти не особенно придирчивы и даже настолько плохо разбирают текст представляемых им иностранных документов, что прописывают, не глядя, первую представленную им бумагу.

Проскучав три дня в Белграде, мы уехали вниз по Дунаю в Лом-Паланку. Пятнадцатичасовой путь этот для меня представлял большой интерес красотою берегов, а также воспоминаниями тех мест, которые были мне знакомы со времени войны — Видин, Краево, Турн-Магурелли и Никополь, за освобождение которых русский народ проливал свою кровь и тратил миллионы.

Эти размышления убедили меня еще глубже в законности намеченных мною планов. Как истый русский, лично проливавший свою кровь за освобождение Болгарии, я имел право посвятить себя для организации противовеса антирусской шайки, самозвано ставшей у кормила правления; эти патриотические чувства давали мне энергию, необходимую для успеха задуманного предприятия. Я не верил в распространенные немецкими газетами слухи об антипатии болгар к России, и был уверен, что болгарский народ не может питать таких чувств к своим братьям-освободителям.

От Лом-Паланки до Софии около пятидесяти верст.

В Софию мы приехали довольно поздно и остановились в единственной порядочной гостинице, устроенной на европейский лад. Занял я целое отделение в первом этаже, состоящее из четырех комнат: гостиной, кабинета, спальни и комнаты для моего секретаря Висконти. Для помещения же сундуков и камердинера я взял еще комнату напротив нанимаемого мною апартамента. Такое помещение мне было необходимо для престижа, который я должен был внушить, а потому всякую расчетливость надо было откинуть.

На другое утро я отправился во французское консульство. Передав визитную карточку, я был немедленно принят консулом де Бланвиллем.

Это был человек лет сорока, небольшого роста, брюнет, со смуглым, красивым лицом и аристократическими манерами. Он принадлежал к хорошей дворянской фамилии и, хотя служил республике, но по убеждениям был роялист. Во Франции политические убеждения играют огромную роль, и французы, принадлежащие к одной политической партии, готовы всегда подать руку помощи своему единомышленнику. Знакомясь со мной как с графом де Тулуз-Лотреком, то есть представителем одной из самых древних фамилий французского дворянства, он не мог предположить, что я принадлежу к другой партии, а не к королевской.

— Я знал о вашем скором приезде, граф, — сказал мне любезно консул. — Вот уже с неделю, как на ваше имя пришло несколько заказных пакетов, и все от банкирских фирм, как я мог заключить по штемпелям на конвертах; я сейчас велю их принести…

Получив и прочитав писанные мною же письма, я передал консулу о цели моего приезда в Болгарию и высказал ему, что надеюсь на его содействие и помощь, прося его представить меня регентам и министру финансов.

— Я вполне к вашим услугам, граф, — ответил он мне, протягивая руку, — но крайне удивлен вашим предприятием и решительностью. Я, как представитель Франции, считаю своим долгом вас предупредить, что положение теперешнего правительства весьма шатко и даже нелегально, так как не признано еще державами, подписавшими Берлинский трактат. Вам, конечно, небезынтересно, что регенты ездили по всей Европе, искали денег и не нашли. Вот, ввиду этих

соображений, будьте весьма осторожны с этими господами. Болгария страна богатая и в ней можно сделать многое, но тогда только, когда политика страны будет устойчива, и во главе княжества станет признанное державами правительство. Я вас познакомлю завтра же с регентами и главным воротилой — Стамбуловым, но опять-таки, повторяю — будьте осторожны.

Я отвечал консулу, что все это мне хорошо известно, и что моими парижскими компаньонами и мною все было обсуждено до отъезда из Парижа, причем присовокупил, что цель моего приезда — изучение на месте всех вопросов, гарантирующих наше предприятие, и что я не сделаю ни одного шага без его совета.

Мы условились, что на другой день консул представит меня министру иностранных дел Странскому, а затем и Стамбулову. На этом кончился наш первый разговор, и я уехал домой весьма довольный моим новым знакомым.

На другой день, часов около двенадцати, ко мне приехал французский консул, чтобы отдать визит и, кстати, сообщить, что он видел министра иностранных дел д-ра Странского, заведующего также и министерством финансов, который очень рад со мной познакомиться и ждет нас у себя к трем часам. — А пока пойдемте ко мне завтракать, граф, — сказал он, — а то здесь, в гостинице, вас отравят полуитальянской, полу-болгарской стряпней. Прекрасно позавтракав у милейшего консула, я отправился к назначенному часу с ним вместе к д-ру Странскому и был им сейчас же принят.

Странский оказался мужчиной лет тридцати с небольшим, среднего роста, с жиденькой, темной бородой. Говорил он довольно свободно по-французски, но с довольно сильным акцентом. После обычных представлений, когда мы уселись в его кабинете, он заговорил первый о деле:

— Господин консул сообщил мне сегодня утром о вашем прибытии, граф, к нам, в Софию, а также и о цели вашего приезда. Очень рад с вами познакомиться, и надеюсь, что предполагаемое вами предприятие вполне удастся для общей пользы. Но меня вы можете рассчитывать вполне, я совершенно к вашим услугам. О вашем приезде уже известно также моему коллеге Стамбулову, который поручил вам передать, что будет очень рад с вами познакомиться и ожидает вас завтра утром у себя. По отношению же к самому делу, я попросил бы вас, как только вы достаточно отдохнете с дороги,

сообщить мне, чтобы дать мне возможность предоставить в полное ваше распоряжение себя и весь необходимый материал.

На это я ответил, что дорога меня нисколько не утомила, и с завтрашнего дня, после визита к Стамбулову, я готов начать переговоры о предполагаемом займе и, рассмотрев все проекты и документы, могущие быть представленными болгарским правительством, как гарантия займа, присовокупляя, что в доказательство моей самостоятельности во всех предполагаемых действиях я считаю нужным представить верительные письма и постановление синдиката моих парижских компаньонов — банкирских домов Командо и Рейенаха, которые я ему и вручил. Хотя Странский и говорил, что ему это совершенно не нужно, отказываясь их брать, но я настоял на том, чтобы он прочел полученные мною из Парижа документы, будучи уверен, что ознакомление с ними произведет на него прекрасное впечатление.

На следующий день я поехал к Стамбулову один, без консула, так как там меня ожидал Странский, который и должен был меня представить. Стамбулов принял меня крайне любезно, и из его приема и слов я мог заключить, что приезд мой в Софию был ему крайне приятен.

Стамбулов, хоть и занимал в то время первое место в княжестве, но был человеком еще очень молодым, всего 28-ми лет. Это был среднего роста брюнет с коротко остриженной бородкой и очень умным, но хитрым выражением лица, по типу — чистейший болгарин. Говорил он по-французски плохо, но зато владел хорошо немецким языком, на котором я впоследствии всегда с ним и объяснялся. Он говорил также хорошо по-русски, так как воспитывался в Одессе, но я, конечно, не мог с ним объясняться на родном языке, играя роль француза и скрывая больше всего мое русское происхождение.

Говорили мы с ним в первый мой визит, конечно, по специальному вопросу о займе. Его крайне интересовали мои требования в отношении гарантий. Я объяснил ему, что пока мне трудно высказаться и что раньше, чем я решусь на что-либо и выработаю окончательный тип обеспечения, мне необходимо изучить серьезно дело, выслушать предложения министра финансов и составить по этим данным мой проект. Вот почему я просил его и министра финансов предоставить мне весь необходимый материал.

— Мне небезызвестно, — сказал я Стамбулову, — что вы обращались в Вене к Лендер-банку и к барону Кенигигсвартеру, а также и к банкирам Мендельсону и Ландау в Берлине: наверное, у вас был выработан проект займа. Не соблаговолите ли вы мне достать этот проект, чтобы этим ускорить нашу общую работу. Пока до отъезда моего из Парижа у нас была в виду как гарантия — эксплуатация железных дорог и разработка рудников, но если вы предложите нам другие серьезные гарантии, то для нас это будет совершенно безразлично.

На этом кончился мой разговор со Стамбуловым.

XXXVII
Настроение в Болгарии. Стамбуловщина

Со следующего же дня помещение мое в гостинице превратилось в департамент. То и дело ко мне приезжали разные чиновники и курьеры, привозили целые кипы бумаг, планов, проектов и смет. Стамбулов командировал даже в мое распоряжение чиновника министерства финансов Грекова и переводчика, владеющего французским языком. Все присылаемые бумаги просматривались моим секретарем Висконти с помощью этих двух болгарских помощников, и мне составлялись для сведения меморандумы. Таким образом, я стоял всегда в курсе представляемых документов и проектов и мог поддерживать соответствующий разговор.

Стамбулов и Странский, отдав мне на другой же день визиты, стали часто бывать у меня, приглашая к себе обедать и проводить запросто вечера. Во время этих свиданий они подолгу беседовали со мной по интересовавшему их вопросу — о займе. Конечно, я играл роль недоверчивого капиталиста, находил, что гарантии, предлагаемые ими мне, пока недостаточно обеспечивают меня, и выразил желание совершить через некоторое время путешествие по Болгарии, чтобы на месте видеть то, что меня интересовало и могло служить к обеспечению займа.

Стамбулов дал мне открытый лист и предложил даже дать двух своих подчиненных для сопровождения меня в путешествии в Тырнов, Филиппополь, Разград, Варну и Рущук, куда я собирался ехать.

Целью моей поездки по Болгарии было желание убедиться в духе народа и расположении его к России. Мне надо было узнать воззрения провинциального населения Болгарии, хотелось познакомиться с вожаками оппозиции, с людьми, симпатизирующими России. По-моему, этот материал был необходим в данный момент нашему правительству, чтобы знать, на что можно рассчитывать и через кого действовать для низвержения шайки самозваных правителей.

Вращаясь в обществе Стамбулова и министров Странского, Муткурова, Николаева и других, я слышал только ругань, направленную против России и фантастические их опасения за порабощение и захват ею Болгарии.

В Софии я ничего не мог узнать по интересующему меня вопросу, так как Стамбулов и К? своим палочным и шпионским режимом

держали в таком терроре софийское население, что ни от кого нельзя было добиться откровенного слова. Даже редакторы газет, с которыми я познакомился, не смели высказываться, боясь Стамбулова. Да и действительно, трудно было идти против него. Окруженный полицией, шпионами и палочниками, он делал, что хотел.

По одному только подозрению или вымыслу какого-нибудь шпиона, безвинных людей арестовывали, сажали без суда и следствия в клоповник и били беспощадно палками или угревыми шкурами, набитыми песком. Это последнее, излюбленное и даже изобретенное самим обер-палочником Стамбуловым орудие пытки имеет большое преимущество: боль от ударов страшная, на теле же не остается никаких следов истязания. Все представители оппозиции, как Каравелов, Папков, Стоянов и другие испытали на своей спине угревую шкуру и бежали из Софии за границу, а кто в провинциальные города. Роль моя не позволяла ужасаться всем этим, напротив, я искал как можно ближе сойтись со Стамбуловым и его сподвижниками, стараясь внушить им доверие, чтобы из этих близких отношений извлекать пользу.

Сближение со стамбуловской шайкой было дело немудреное. Она во мне видела человека, от которого зависело дать им миллионы или не дать. Видаясь почти ежедневно со Стамбуловым, Странским и другими их сподвижниками, я скоро с ними подружился, в особенности со Стамбуловым. Сойдясь с ними ближе, я постарался убедить их, что, хотя я и участвую в предполагаемом деле, но что большая часть капиталов принадлежит моим компаньонам Командо и Рейнаху, известным парижским миллионерам-банкирам, и что от меня вполне зависит устроить дело, так или иначе.

Таким образом, ограждая интересы моих компаньонов и доверителей, я, конечно, не забывал и своих. Не приехал же я в Болгарию даром. Этим я намекал моим новым друзьям, что от меня зависит все, и что со мною можно спеться, то есть, устроить дело, выгодное для них, но для этого надо дать и мне хорошо нажить.

В свою очередь, они тоже откровенничали и этим показывали мне свою ахиллесову пяту. Как ни выгодно было им править страной, но они понимали, что долго это длиться не может; стране нужен был князь, которого намеревались дать державы, подписавшие Берлинский трактат. Вот этого-то они и боялись, зная, что, приняв бразды правления, князь потребует от них отчета в деньгах и действиях.

Они с ужасом видели приближение роковой минуты. В особенности они боялись кандидатов, выставленных Россиею, князей Имеретинского и Мингрельского. Оба этих кандидата, как русские генералы, были люди, подчиненные русскому правительству и его влиянию, не могущие иначе взглянуть на них, регентов, как на врагов и возмутителей страны.

Регентам необходимо было найти своего собственного кандидата на болгарский престол и заключить с ним своего рода сделку: «Мы тебе дадим престол, а ты во внутреннюю политику страны не вмешивайся».

При таком компромиссе они превратятся в неограниченных министров, и будут управлять Болгарией, как и теперь. По их мнению, этот кандидат должен быть непременно противником России и стать под покровительство Австрии. Стамбулов даже неоднократно спрашивал, не могу ли я указать ему на какого-нибудь принца, который согласился бы на их предложение и пошел бы с ними на желанный компромисс. Агенты Стамбулова по всей Европе подыскивали подходящего человека, который бы согласился из тщеславия или других видов отдать себя напрокат болгарским палочникам.

Прожив около месяца в Софии и рассмотрев все предложения и проекты, представленные мне болгарскими правителями, я предпринял задуманное мною путешествие по Болгарии. Секретаря своего Висконти я оставил в Софии для разработки проекта предполагаемого займа. Взял же я с собою только камердинера Жозефа, да одного каваса[12] французского посольства, черногорца Ризова, которого мне дал любезный Бланвилль.

От предложения Стамбулова взять с собою кого-нибудь из его чиновников для сопровождения, я отказался, находя это стеснительным, и взял только от него рекомендательные письма к префектам главных городов, куда я отправлялся, да открытый лист, подписанный самим Стамбуловым.

* * *

Побывав в Тырнове, Филиппополе, Разграде, Варне и Рущуке, я, наконец, отправился в обратный путь в Софию. Поездкой моей я был

---

[12] Кавас — полицейский жандарм, сторож при посольстве в Константинополе.

вполне доволен. Я убедился, что болгарский народ ничего общего с шайкой Стамбулова не имеет, что народ любит Россию, чтит с благоговением память Царя-Освободителя и видит в русском народе братьев-благодетелей.

Сколько раз мне приходилось видеть, входя в болгарские дома, портрет Царя-Освободителя, висящий рядом с образом, а это у православного болгарского народа лучшее доказательство его любви и того глубокого уважения и благодарности, которые он питает к Освободителю.

Привыкший к порабощению, переносивший в продолжение нескольких веков тяжелое для него иго, народ не особенно тяготился стамбуловским режимом. Мне приходилось неоднократно беседовать с простолюдинами и расспрашивать их, как им живется и как они довольны стамбуловскими порядками.

— Теперь куда лучше прежнего, — отвечали они добродушно. — Прежде турки нас резали, на кол сажали, жен наших и дочерей увозили и бесчестили, церкви жгли, а теперь только палками отдубасят, да кого в клоповник посадят, вот и все. Теперь жить, слава Богу, можно.

Более интеллигентные люди, наоборот, страшно возмущались, но открыто противиться боялись, зная, что у Стамбулова в руках сила.

— Кому охота испытать на собственной спине угревую шкуру или быть отданным на съедение клопам? — говорили мне болгарские интеллигенты.

Многие ожидали с нетерпением вмешательства России, считая это вмешательство единственным спасением.

Во всей Болгарии была масса недовольных, но у них не было достаточной солидарности. Они терпели, надеясь на помощь со стороны России.

Собрав эти сведения и познакомившись со многими весьма подходящими, могущими впоследствии принести надлежащую пользу, людьми, я возвратился в Софию. Теперь у меня было достаточно данных, сведений и знакомств, чтобы стать в сношение с нашим правительством, вследствие чего я решил, что под видом получения крупного перевода денег ехать в Бухарест и там переговорить обо всем с нашим дипломатическим представителем.

По приезде моем в Софию меня ожидало совершенно непредвиденное обстоятельство, сбившее меня с того пути, которого я предполагал держаться.

XXXVIII
Моя кандидатура на болгарский престол

На другой день моего возвращения в Софию ко мне приехал Стамбулов. Расспросив меня о путешествии и о впечатлениях, полученных во время странствия по Болгарии, он перешел к политике и сообщил мне, что дела все более и более обостряются, что Россия настаивает на кандидатуре князя Мингрельского и что необходимо действовать энергично, чтобы избегнуть такого насилия со стороны русского правительства. По его мнению, им необходимо было немедленно выставить кандидата на выборах в Тырнове, провалить русского претендента и выбрать своего.

— Решение наше уже состоялось, и мы имеем в виду одно кандидата, от согласия которого теперь зависит все.

— Кто же ваш кандидат? — спросил я с любопытством Стамбулова.

— Вы, граф! — ответил он мне, — и я приехал просить вашего благосклонного согласия.

Удар грома из безоблачного неба не ошеломил бы меня так, как слова регента.

Я глядел на него, не будучи в состоянии что-либо ответить. Сначала я думал, что это шутка, но по выражению лица Стамбулова убедился, что он говорит серьезно и что предложение его обдуманно.

— Вы, кажется, удивлены моим предложением и как будто не верите моим словам? Я приехал к вам не как знакомый, а как первый министр Болгарии, после обсуждения этого вопроса со своими коллегами. Поверьте, что ничего удивительного нет в нашем предложении. Почему вы, граф де Тулуз-Лотрек, не можете выступить кандидатом на болгарский престол? Вы принадлежите к одной из древнейших дворянских фамилий Франции, происходите от владетельных графов Тулузских и состоите даже в родстве с Бурбонами, французским королевским домом. Скажите, пожалуйста, чем какой-нибудь Баттенберг, а тем более, полудикий кавказский князь Мингрельский лучше вас и может иметь больше прав на болгарский престол, чем вы? Мы все это обсудили, взвесили и решили просить вас удостоить нас и Болгарию вашим согласием.

— Я до того удивлен и поражен вашим лестным, но столь неожиданным предложением, что положительно не могу сейчас ответить. Позвольте мне обдумать, обсудить и затем уже дать вам

ответ, — сказал я ему. — Я понимаю слишком хорошо, что от решения моего зависит слишком многое, и надеюсь, что вы признаете правильным, что я не даю сейчас решительного ответа.

Оставшись один после отъезда Стамбулова, я долго ходил из угла в угол, размышляя о случившемся. Такое неожиданное предложение ошеломило бы всякого. Каково же было оно мне, скрывающемуся под чужим именем, и притом даже не французу, а русскому офицеру, врагу тех, которые ему предлагают быть их князем?

Случившееся было до того сказочно, что мне приходило на мысль: не бред ли это? Но это был не сон, а действительность. Предложение было мне сделано серьезно, обдуманно болгарским премьером с согласия министров. По их понятиям я был человеком вполне подходящим. Возвышая меня и ставя меня на ступени болгарского трона, они надеялись этим сохранить за собою власть в стране. По их мнению, принимая их предложение, я, в сущности, делался их креатурой и не мог отплатить им иначе, как благодарностью, вследствие чего должен был согласиться на их условия, оставив их бесконтрольно управлять страною.

Рассуждая сам с собою, я пришел к убеждению, что отказываться от кандидатуры не следовало, а надо было принять столь неожиданное предложение. Откажись я от предлагаемого, мне будет невозможно оставаться в Болгарии, придется бросить все начатое, потерять все мои труды и превратиться опять в скитальца, каким я был до приезда моего в Болгарию. Принимая же предложение болгарских регентов, я не только получал шансы достигнуть того, о чем я мечтал, но мог добиться несравненно большего.

Как русский, как славянин, преданный всей душой общеславянскому делу, я при избрании в болгарские князья мог, конечно, принести неоспоримую пользу, во всяком случае, большую, чем какой-нибудь немец, назначенный по проискам Бисмарка или Австрии. По совести скажу, ни на одну минуту я не увлекался тщеславными мыслями о княжеских почестях и выгодах. Нет, мною руководило одно только патриотическое чувство русского, одна идея принести пользу общеславянскому делу и дать тот необходимый толчок к осуществлению законных замыслов России — освободить Болгарию от влияния не славянских народов, укрепить ее независимость на Балканах и очистить славянам путь к Царьграду.

Я сознавал, что далеко еще от предложения, сделанного мне Стамбуловым, до осуществления этой близкой моему сердцу мечты. Я понимал хорошо всю трудность и опасность выполнения предстоящей роли, но мечта эта была так заманчива, что я не мог устоять и предался ей слепо, безотчетно, с пылом и увлечением, присущим моему характеру.

* * *

В 10 часов утра на следующий день, я уже был у Стамбулова и передал ему, что я согласен на лестное предложение болгарского правительства выставить мою кандидатуру на болгарский престол. Но раньше я просил его мне сообщить, какими условиями я буду связан за это избрание с теперешними представителями болгарского правительства, которые выставляют меня своим кандидатом, уверены ли они в успехе моего избрания народным собранием и думают ли, что в случае избрания я буду признан великими державами, подписавшими Берлинский трактат, в особенности, наиболее заинтересованной из них — Россиею?

— Я высказывал вам уже неоднократно, граф, ответил мне Стамбулов, — каково положение болгарских дел в настоящую минуту, а также и мой личный взгляд на вещи. Болгария должна быть самостоятельна и независима, главное, от России. Я, безусловно, не верю в бескорыстие России и убежден, что она желает уничтожить автономию Болгарии и присоединить ее. Вот почему нам необходимо отклонить всех ее претендентов. Вы, граф, как француз, не имеющий ничего общего с Россией и при том симпатизирующий славянам, а не немцам, вы вполне будете понимать нашу внешнюю политику, и будете руководить.

По отношению же внутренней политики, вы оставите ее нам, связав себя с нами честным словом не вмешиваться в нее и не переменять теперешнего состава министерства. Вот единственное условие между нами. По отношению вашего избрания народным собранием, будьте покойны. Я за это берусь и смею вас уверить, что никто иной, кроме вас, не будет избран на болгарский престол.

Что касается последнего вопроса, сделанного вами, то он, по-моему, не имеет значения. Какая разница, будете вы признаны великими державами или нет? Выбрав вас в князья, Болгария подчиняется вам и вашему правительству, а до признания вас другими державами

вам никакого нет дела. Я вперед знаю, что Россия избрания этого не признает, но она активно действовать не станет, так как этим вовлечет себя в войну со всей Европой. Она будет протестовать, не признавать вас князем, а вы будете преспокойно княжить в Болгарии.

— Я согласен на эти условия и принимаю вашу программу действий, — ответил я ему, — но желаю, чтобы наше соглашение оставалось в тайне и чтобы о моей кандидатуре ничего не говорилось до поры до времени. Кроме того, я нахожу, что мне неудобно, как претенденту на престол, оставаться в Софии и заниматься финансовыми делами. Поэтому, я уеду в Константинополь, где могу продолжать переговоры по вопросу о займе. Кроме высказанной мною только что причины, я нахожу, что пребывание в Константинополе может принести пользу, так как я войду в сношения с представителями держав и влиятельными лицами при султане и этим подготовлю почву к моему будущему признанию, как державами, так и Портою.

Стамбулов вполне согласился с моим взглядом на вещи и обещал мне дать несколько рекомендательных писем к разным влиятельным лицам при султане, а также к болгарскому дипломатическому агенту в Константинополе, Кисову.

По правде сказать, я боялся оставаться в Болгарии, и это весьма понятно. Откройся каким-либо образом мое самозванство до предложения Стамбулова, меня сочли бы, наверное, за русского шпиона и выслали бы из ее пределов. Самое большее, если избили бы знаменитой угревой шкурой, вот и все. Но теперь дело становилось сложнее. Узнай Стамбулов, что намеченный им претендент на престол не французский граф де Тулуз-Лотрек, а русский корнет Савин, то он без церемоний повесил бы меня или покончил со мною иначе. Такие расправы «по-стамбуловски», без суда и следствия, практиковались в то время в Болгарии.

Вот этот-то страх за собственную жизнь и заставлял меня ускорить отъезд из Софии в Константинополь. В Константинополе я не мог бояться, чтобы кто-нибудь меня узнал. Во всяком случае, что бы там ни случилось, я был вполне обеспечен за свою жизнь и мог безнаказанно смеяться над простотой софийских палочников.

Перед отъездом Стамбулов дал в честь меня прощальный обед, на который, кроме всех министров и ближайших к нему лиц, был приглашен и французский консул. На обеде этом провозглашалось много тостов за процветание Болгарии, величие Франции и мое скорейшее возвращение в Болгарию. На следующий день я уехал в Рущук.

XXXIX
В Константинополе. Удачное начало

На пароходной пристани в Рущуке меня встретил рущукский префект Мантов, один из самых ярых сподвижников Стамбулова, которому его патрон телеграфировал о моем приезде с приказанием встретить и чествовать меня. Я был уже знаком с Мантовым, встретившись с ним во время недавнего пребывания в Рущуке.

Проводив меня в приготовленное помещение в гостинице «Аслан-Хан», он пригласил меня приехать к нему обедать, на что я, конечно, согласился. В моем теперешнем положении «претендента» мне нельзя было манкировать такими людьми. Мантов, один из самых свирепых палочников, был человек энергичный и умный, и удайся мне сказочное избрание на болгарский престол, я мог бы нуждаться в нем. К обеду были приглашены высшие рущукские власти, как гражданские, так и военные, которые были мне представлены. Между прочими находился главный военный прокурор Марков, близкий родственник Стамбулова, с которым я был уже раньше хорошо знаком в Софии.

Он находился в Рущуке временно, с сессией военного суда, который только что накануне моего приезда приговорил пятерых болгарских офицеров к расстрелянию по обвинению их в попытке низвергнуть существующий порядок, то есть Стамбулова и его шайку. Эта ужасная новость тяжело подействовала на меня, и я решился написать письмо Стамбулову, прося его помиловать их. Это письмо я написал тут же, в квартире Мантова, прося его передать Стамбулову на словах, что исполнением просьбы он меня крайне порадует.

На другое утро я уехал из Рущука в Варну с проходящим в тот день экспрессом. В Варне пассажиры пересаживались на пароход австрийского Ллойда, который отходил в Константинополь.

Долго стоял я на палубе и глядел на удаляющийся болгарский берег, думая: суждено ли мне вернуться снова к этому берегу или нет? Суждено ли мне играть историческую роль в этой славянской земле и удастся ли это невероятное избрание?

Одного боялся я, чтобы пресса не испортила мне дела. Пронюхай она о сделанном мне предложении, разнеси она по всей Европе эту весть, конечно, найдутся люди и даже правительства, которые заинтересуются этим. Станут разузнавать, кто этот претендент,

каким образом попал он в Болгарию и вошел в дружбу с регентами. Раз возьмутся за это лица заинтересованные, произойдет катастрофа.

Здравый смысл подсказывал мне, что я стою на весьма опасной почве, что в моем положении не следовало бросаться в такие рискованные предприятия, и что самое благоразумное было бы оставить все это, как ни заманчиво оно было, и уехать, подобру-поздорову в Америку.

Но второй голос говорил мне совершенно другое: — перед тобою в настоящее время открыта дорога к государственной деятельности. Удайся тебе быть избранным в болгарские князья, ты этим не только возвысишь себя, но и подвинешь вперед общеславянское дело больше, чем сделала это война, стоившая стольких жертв твоему отечеству. Будь же решителен и не отступай от того счастливого, неожиданного пути, на который тебя направила судьба и Провидение.

Этот внутренний голос до того наэлектризовал меня, что предо мною предстала, как наяву, картина будущего. Я видел себя сидящим на болгарском троне, одетым в генеральский мундир, в мантии и короне. Передо мною стояли войска, держа ружья на караул, музыка играла гимн, болгарский народ был у моих ног, и все это я передавал моему дорогому отечеству, как Ермак преподнес русскому царю Сибирь!

После обеда я ушел к себе в каюту и лег спать. Мне нужно было отдохнуть от пережитого за последние дни. При этом приходилось на следующее утро вставать рано, в шестом часу утра, если я хотел видеть въезд в Босфор.

* * *

Когда в половине пятого раздался орудийный выстрел, оповещающий о входе парохода в пролив, все уже были на ногах и с жадностью глядели на столь долго ожидаемую и столь известную по своей красоте картину.

Не успел наш пароход бросить якорь у Золотого Рога, как со всех сторон он был окружен бесчисленным множеством каиков, а на палубе появилось целое полчище комиссионеров гостиниц, предлагающих свои услуги на всевозможных языках и наречиях и почти силою вырывающих у пассажиров их вещи.

Кроме них на пароход приехали разные господа для встречи своих родственников и знакомых. В числе последних находился

и болгарский дипломатический агент Кисов, которому Стамбулов телеграфировал о моем приезде и поручил меня встретить.

Разыскав меня на палубе первого класса и представившись мне, Кисов предложил свой каик, чтобы довезти меня и моих людей до пристани, а оттуда карету до гостиницы, на что, конечно, я с благодарностью согласился. Но не успели мы выйти на берег, как были окружены целой толпой турецких таможенных чиновников, в синих мундирах и красных фесках, требующих от нас на ломаном французском языке предъявления паспортов и просмотра вещей. Я уже было полез в карман за паспортом, но Кисов удержал меня от этого, говоря:

— Не стоит баловать их, граф, дайте им бакшиш и они оставят вас и ваши вещи в покое.

Действительно, два меджидие[13], сунутые им, избавили нас от предъявления паспортов и ревизии вещей, и мы беспрепятственно поехали в Перу, европейский квартал, в «Гранд Отель Люксембург», где для меня уже было приготовлено помещение.

* * *

Приехав в Константинополь, я положительно никого там не знал, кроме Кисова, ставшего моим чичероне. Он имел хорошие связи в Блистательной Порте. Это было для меня весьма важно, так как я собирался заручиться поддержкой великого визиря и близких лиц к султану. Хотя в Турции такого рода поддержки со стороны влиятельных лиц приобретаются деньгами, но кроме денег необходимы и знакомства.

В телеграмме и письме Стамбулова к Кисову, в которых всесильный регент поручал ему стать в мое полное распоряжение, он ни слова не говорил о моей кандидатуре, так как вследствие условия между нами это предложение должно было оставаться в тайне. Кроме Стамбулова, министров и меня никто об этой кандидатуре не знал, и сообщил я о ней Кисову, когда близко с ним познакомился и убедился в его расположении ко мне. Узнав об этом, Кисов советовал мне немедленно представиться великому визирю Киамиль-паше и сделать это не через него, а через посредство французского посла.

---

[13] Меджидие — турецкая золотая монета в 100 пиастров.

Я вполне согласился с его мнением и на другой же день поехал во французское посольство, чтобы представиться послу. Зайдя ранее в канцелярию посольства, я познакомился там с первым секретарем, графом де Пурталесом, которому предъявил свой французский паспорт, спрашивая его, не должен ли я его визировать? На что получил ответ, что это ни к чему не нужно до моего отъезда. Я сам это хорошо знал, но сделал это для того, чтобы предъявить в посольстве, хотя косвенным образом, свой паспорт, чтобы впоследствии, в случае каких-либо разговоров, не могло быть никакого сомнения в моей личности. В разговоре с графом де Пурталесом я узнал, что посол принимает два раза в неделю, и что мне придется дожидаться одного из этих дней, чтобы ему представиться. Поблагодарив графа за сообщенные сведения, я счел нелишним разболтаться с ним и рассказать ему о предполагаемых моих финансовых операциях с болгарским правительством, о жизни моей в продолжение с лишком месяца в Болгарии, о Стамбулове и других софийских деятелях, а также и о моей дружбе с французским консулом де Бланвиллем. Все это, по-видимому, крайне заинтересовало молодого секретаря, так как за последнее время о Стамбулове много говорилось в дипломатических кругах и писалось в газетах, и он становился весьма интересною личностью, в особенности, для дипломатов. Прощаясь со мною, граф де Пурталес обещал мне передать послу о моем приезде и желании ему представиться, причем посоветовал зайти к нему и оставить визитную карточку, что я, конечно, и сделал.

На следующий день, вернувшись вечером домой с Принцевых островов, куда я ездил в обществе Кисова и другого болгарина, его приятеля Стоилова, я нашел у себя карточку французского посла, а швейцар гостиницы сообщил мне, что привозивший эту карточку кавас французского посольства передал, что посол ожидает меня к себе в первый же приемный день. В назначенный день, в двенадцать часов дня, я отправился в посольство.

Поднявшись по устланной ковром широкой мраморной лестнице и пройдя анфиладу богато меблированных гостиных, я вошел в приемный зал, где встретил графа де Пурталеса и другого секретаря, барона де Мельваля, с которым граф меня познакомил. Вскоре туда вышел и посол, которому я представился. После обычных приветствий разговор наш перешел к Болгарии и моему пребыванию в ней.

Граф тоже интересовался всем мною виденным, и в особенности этим малоизвестным сфинксом — Стамбуловым.

Рассказывая ему обо всех моих впечатлениях, я, конечно, воздержался от каких-либо скандальных комментариев по отношению Стамбулова, его сподвижников и их палочной системы; мне, как кандидату, выставляемому этими палочниками, невозможно было дискредитировать их в глазах французского представителя. Оканчивая рассказ о житье-бытье в Болгарии, я передал послу о предложении, сделанном мне перед моим отъездом из Софии болгарскими регентами, и просил его высказать мне свой взгляд, как представителя Франции.

Немало удивленный неожиданным окончанием моего рассказа, посол ответил мне, что до этой кандидатуры и избрания моего французской республике, в сущности, нет никакого дела, и что, во всяком случае, французскому правительству неприятным такое избрание французского гражданина на болгарский престол быть не может. На просьбу мою представить меня великому визирю, а впоследствии добиться аудиенции у султана, он изъявил согласие, но с тем, что представление мое будет иметь совершенно частный характер и представлять он меня будет, конечно, не как претендента на болгарский престол, а как знатного французского путешественника.

XL
Аудиенция у великого визиря и султана Абдул-Гамида

Мой визит к послу и знакомство с персоналом французского посольства втянули меня вскоре в тот светский круговорот, в котором вращаются дипломаты всех европейских столиц. В короткое время я познакомился почти со всеми дипломатическими представителями и их семействами. С одними только русскими дипломатами я не был знаком и, по правде сказать, избегал их. Я боялся быть кем-либо из них узнанным, а, кроме того, не мог же я сходиться с представителями той державы, которая стояла теперь на открытом разрыве с Болгарией.

Пока, до моего избрания, я должен был быть весьма осторожен: мое избрание находилось в руках болгарских регентов, людей хитрых, зорко следивших за мной. Узнай они, что я бываю в русском посольстве и видаюсь с русскими дипломатами, они могли бы заподозрить меня в каких-либо интригах против них, и тогда мое избрание, бесспорно, могло пострадать. Вот главная причина, почему я избегал наших дипломатов и отклонял всякие предложения быть им представленным.

Но, отклоняя открытое знакомство с ними, я намеревался видеться с ними втайне. Сначала я думал познакомиться с советником нашего посольства г. Ону, в высшей степени умным и ловким дипломатом. Ему одному я намеревался довериться и рассказать о первоначальной цели поездки в Болгарию, собранном мною там материале, а также о предложении регентами моей кандидатуры и о планах на будущее. Одно только я собирался от него скрыть — это мое действительное имя. Для него я должен быть преданным, готовым на все для блага России, русским подданным, но все-таки графом де Тулуз-Лотреком, а не Савиным. Мне казалось, что, войдя таким образом в сношение, через посредство г. Ону, с русскими властями, я мог развить мой план действий. Этот план заключался в том, что русское правительство, зная, что я русский подданный и человек, преданный России, должно было по избрании меня в князья содействовать моему утверждению остальными державами, подписавшими Берлинский трактат.

Из всего персонала русского посольства г. Ону один мог заинтересоваться моим оригинальным и рискованным предприятием, и через него я мог надеяться добиться успеха в Петербурге.

На грех, г. Ону в то время был в отпуску в России, и мне пришлось отложить предполагаемые переговоры до его возвращения.

Неделю спустя после моего визита к французскому послу, я получил от него официальное сообщение, в котором он меня извещал о назначении мне аудиенции у великого визиря.

* * *

В назначенный день я поехал в Стамбул на аудиенцию к великому визирю. Вскоре после моего приезда во дворец министерства иностранных дел, так называемую «Блистательную Порту», приехал и французский посол. Он сообщил мне, что выхлопотал мне аудиенцию у султана на следующем «селямлике», параде, который происходит каждую пятницу, по возвращении повелителя правоверных из священной мечети в Ильдиз-Киоск.

— Абдул-Гамид, — сказал мне посол, — ведет уединенную жизнь и мало кого принимает во дворце. Он делает исключение только для иностранных послов, все же остальные лица представляются ему на «селямлике».

В это время дверь отворилась, и в зал вошел, окруженный свитой, великий визирь.

Киамиль-паша был человек лет сорока, не больше, высокий, стройный, с небольшой черной бородкой и красивыми чертами лица. Одет он был в темно-синий двубортный сюртук с золотыми пуговицами и красным воротником; на голове его была надета неизменная феска. Подойдя к послу и поздоровавшись, он стал с ним разговаривать с чисто парижским акцентом, и когда посол представил ему меня, подал любезно мне руку, сказав, что рад со мною познакомиться.

Усадив нас рядом с собою на широкий диван, он беседовал с нами около получаса самым непринужденным образом, а прощаясь, подтвердил мое будущее представление султану в следующую пятницу на «селямлике».

День представления великому визирю мне памятен еще и по другим обстоятельствам, запечатлевшим его в моих воспоминаниях

на всю жизнь. В этот день я получил письмо от Стамбулова, в котором он сообщал, что желание мое исполнено, и пять офицеров, приговоренных военным судом в Рущуке к смертной казни, помилованы. Правда, что наказание смертью было заменено десятилетним тюремным заключением, но и такая милость от Стамбулова была очень велика и неожиданна.

Давно мне не было так легко на душе, как по прочтении стамбуловского письма. Я радовался от души за этих совершенно незнакомых мне болгар, которых спас от смерти, и немедленно послал телеграмму Стамбулову, благодаря его за исполнение просьбы.

В то время как я вращался между дипломатами, Висконти усидчиво работал над составлением проекта займа и разных обязательств, долженствовавших его гарантировать. Дело в том, что из собранного материала я убедился, что было весьма легко устроить этот заем для Болгарии, не имея даже денег, а потому я взялся за это дело с большой энергией. Болгарские воротилы не сумели этого сделать только по неопытности, неимению связей и незнанию финансового дела, а не по недостатку гарантий.

Я выработал проект, на который Стамбулов и Странский изъявили согласие, состоявший в том, что выпускался внешний шестипроцентный заем на сумму сорока миллионов франков, по курсу семидесяти трех за сто. Подписку на заем я рассчитывал открыть в Париже, Лондоне, Берлине и других европейских городах. За мой труд по устройству займа и его реализации я получал от болгарского правительства концессию на мое имя на постройку в продолжение десяти лет железных дорог в Болгарии с тем, чтобы никто, кроме меня, в продолжение этого времени не имел права строить таковых в княжестве, причем мне представлялось право безвозмездного отчуждения земель по всем проводимым линиям. Хотя концессия и выдавалась на мое имя, но я получал право передавать ее полностью или частями другим лицам, без всякого на то вмешательства болгарского правительства.

Условия эти были блистательны, и проведи я это дело, концессию я мог бы легко продать за несколько миллионов.

Все дело было мною только потому не окончено, что я находил его удобнее отложить до приведения в известность результатов

народного собрания. Выбери меня болгарский народ в князья, заем этот я мог провести еще лучше по вступлении на престол.

* * *

Наконец, настал день представления моего султану. К десяти часам утра я был уже совсем готов и в сопровождении присланного мне французским послом каваса, одетого в парадный, шитый золотом чекмень, я отправился в открытой коляске к месту парада.

На полдороге между дворцом, Ильдиз-Киоском и священною мечетью, в которую султан ездит молиться каждую пятницу, находится обширный плац, посредине которого выстроена весьма изящная беседка, куда съезжаются дипломатический корпус, высшие турецкие сановники, не участвующие в выходе и народ, а также лица, которые должны быть представлены султану. В этот великолепный киоск я вошел по широкой, устланной ковром лестнице и застал там большое общество в блестящих мундирах, лентах и орденах. Между представителями иностранных держав находились французский посол с секретарем де Пурталесом, германский посол Радовиц со своим первым секретарем, князем Ратибором и несколькими прусскими офицерами, английский посол сэр Вуйат, наш русский военный агент полковник Пешков и многие другие.

Вдоль всей дороги от дворца к мечети стояли шпалерами войска, а на плацу расположилась артиллерия и кавалерия. За шпалерами войск толпилась масса любопытных в чалмах, фесках и европейских шляпах.

Ровно в десять часов между шпалерами войск проскакал по направлению к мечети какой-то паша, после чего все сразу стихло, войска взяли на караул, в беседке разговоры прекратились, и взоры обратились в сторону ожидаемо шествия. Всё как-то замерло, обратилось в живую картину. И вот, посреди этой шпалеры истуканов показалось шествие.

В сущности, это было не шествие, а какой-то бег. Сначала мимо нас, посреди шпалер войск, пробежали человек десять евнухов в шитых золотом мундирах и с бамбуковыми палками в руках. Шагах в двадцати за ними бежали целой кучей человек двадцать пашей и высших чинов двора, также в шитых мундирах, лентах и орденах. За ними вслед, почти по пятам их, ехал верхом на белой арабской

лошади султан. Лошадь шла довольно быстрым ходом, султан же сидел на ней, потупив взоры в землю и ни на кого не глядя. Одет он был в общегенеральский мундир, в феске, без лент и орденов, и один только богато шитый золотом вальтрап[14] свидетельствовал о парадности этого выезда. Сзади султана бежали многочисленные царедворцы, которые замыкали это оригинальное шествие.

На выраженное мною удивление, граф де Пурталес объяснил, что в силу придворного этикета чины двора обязаны предшествовать и сопровождать султана, при этом они не имеют права в присутствии падишаха сидеть, даже на лошади, что и заставляет их бежать таким комическим образом.

Пробыв около часу в мечети, Абдул-Гамид вернулся обратно в том же порядке, но с тою разницей, что при этом играла музыка всех частей войск, мимо которых он проезжал. Подъехав к беседке, он слез с лошади и вошел в нее. Ответив на поклоны всех присутствующих кивком головы, он подошел к английскому послу, подал ему руку и стал с ним разговаривать, не обращая ни малейшего внимания на проходящие в то время церемониальным маршем войска. Поговорив минут пять с сэром Вуайтом, он затем подошел к французскому послу, рядом с которым я стоял. Подав ему руку, он стал с ним разговаривать по-французски. Ответив на все вопросы, сделанные его величеством, посол спросил его позволения меня ему представить, и на выраженное им согласие представил меня.

Султан подал мне руку и спросил, как нравится мне Константинополь. Я, конечно, ему ответил, что я в восторге от всего, увиденного мною, и вынесу самое приятное впечатление о моем пребывании в Турции и его столице.

Затем он меня спросил, видел ли я его дворцы и окружающие их сады, на что я ответил, что, к сожалению, этого я не видал, так как на это нужно специальное разрешение его величества.

— Пожалуйста, — сказал любезно Абдул-Гамид, — я дам приказание вам все показать.

После этого, кивнув головою графу и мне, он отошел от нас, пошел к передней части беседки и стал молча смотреть на проходящие

---

[14] Вальтрап — покрывало, накладываемое на кавалерийскую лошадь поверх седла или под ним.

войска, не изъявляя никакого одобрения, как это делается в других странах в таких случаях.

Когда все войска прошли и снова выстроились, султан вышел из беседки, сделав общий поклон всем присутствующим, сел на поданного коня и отправился обратно по направлению к дворцу. После отъезда султана разъехались также и все присутствовавшие на «селямлике».

Хотя в представлении моем султану и великому визирю ничего официального не было, но это не прошло бесследно. Сначала появились в константинопольских газетах коротенькие сообщения о моем представлении, а вскоре затем целые столбцы в хронике, с комментариями по отношению моей личности и моей кандидатуры на болгарский престол. Как узнали об этом газеты, не знаю, но то, что я до сих пор так старательно скрывал ото всех, сделалось вскоре всем известным.

В одной из самых распространенных в Константинополе газет появилась статья, на которую я не мог не обратить внимания. После вступительных комментариев по отношению болгарских регентов, их нелегального захвата власти и палочной системы, введенной ими, речь переходила прямо на меня.

«Новостью дня, — говорила газета, — служит кандидатура на болгарский престол француза, графа де Тулуз-Лотрека. Как и где нашел Стамбулов этого будущего князя болгарского, нам пока неизвестно, но достопочтенный граф в ожидании своего избрания находится в настоящее время в Константинополе. Узнали мы также, что граф состоит в очень близких и дружеских отношениях к регентам, а кроме того, занимался до сего времени крупными биржевыми спекуляциями. Вообще, это аферист чистейшей воды, который смотрит на болгарский престол, как на аферу. По отношению его высокого происхождения, мы можем только заметить, что хотя он принадлежит по крови к французскому королевскому роду, но это родство не совсем-то в легальной форме, так как он потомок графа де Тулуз, сына короля Людовика XIV от морганатического брака с маркизой де Монтеспан».

Конечно, такая статья была для меня оскорбительна, и я не мог ее оставить без внимания. Захватив с собою Кисова и другого моего хорошего знакомого, маркиза Флори, я отправился с ними в редакцию,

чтобы потребовать напечатания опровержения, а в случае отказа вызвать на дуэль редактора-англичанина Барнета. Барнет нас принял лично, и когда я передал ему о цели моего визита, то он просил меня составить опровержение, так как раньше, чем дать положительный ответ, он должен знать, в каких выражениях оно будет изложено. Требование его было вполне законно, и я, присев к письменному столу, там же в редакции написал следующее:

«Во вчерашнем номере вашей газеты была помещена статья, относящаяся до кандидатуры на болгарский престол графа де Тулуз-Лотрека. Вследствие неточных сведений, имеющихся в редакции, в эту статью вкрались немаловажные ошибки, которые мы спешим исправить. Прежде всего граф де Тулуз-Лотрек не происходит, как мы это передавали вчера, от побочного сына французского короля Людовика XIV графа де Тулуз-Лотрека, но от владетельных графов Тулузских, считающих свое происхождение древней рода Бурбонов, с которыми состоят в родстве по боковой линии. Все же сказанное нами по отношению лично к графу, что он аферист и т. д., чистейший вымысел, и мы считаем долгом извиниться перед графом».

Прочитав написанное, Барнет нашел, что это слишком унизительно для газеты, и что извинение это он не напечатает. Я категорически заявил, что требование мое бесповоротно и я потребую от него удовлетворения оружием. Обратясь затем к моим приятелям Кисову и Флори, я просил их вызвать мистера Барнета, войти в переговоры с его секундантами относительно условий дуэли, после чего вышел из редакции.

Вскоре после моего возвращения домой ко мне приехали мои секунданты и к величайшему моему удивлению передали мне, что редактор Барнет наотрез отказался напечатать опровержение, а также отказался драться на дуэли, основываясь на том, что, по английским законам, поединки воспрещены, и он не желает нарушать законов своей страны.

Что оставалось мне делать? От маркиза Флори я узнал, что самое удобное — это встретить Барнета вечером в кафе, где собираются ежедневно все представители прессы и куда он почти всякий вечер ходит играть на бильярде, и с ним посчитаться. Недолго думая, я схватил хлыст и спустился в кафе, где действительно застал Барнета, сидящего в бильярдной.

— Секунданты мои передали мне, мистер Барнет, что вы категорически отказались напечатать опровержение, которое я требовал, — сказал я, подойдя к нему.

— Да, я не напечатаю этого опровержения, находя это унизительным для моей газеты, — возразил он мне.

— Вы также отказались принять мой вызов на дуэль, — продолжал я, более и более горячась.

— Да, и на дуэли драться не буду, — ответил флегматично Барнет, — так как по английским законам дуэль воспрещена и дуэлисты приравниваются к убийцам.

— Так вы отказываетесь дать мне какое-либо из требуемых мною удовлетворений? — воскликнул я, не помня себя от волнения.

— Да, — отвечал хладнокровно сын Альбиона.

Но не успел он процедить свое «yes», как мой хлыст врезался ему в лицо, и со словами:

— Теперь не мне, а вам требовать удовлетворения, так как я наношу вам самую тяжкую обиду, какую только можно нанести человеку, — я еще несколько раз хлестнул его по лицу и голове, спокойно вышел из кафе и пошел к себе в гостиницу.

Избиение мною Барнета в кафе «Люксембург» наделало много шуму в Константинополе. На другой же день во всех газетах появились целые столбцы с подробным описанием инцидента и тех причин, которые довели меня до этого. Многие газеты, в особенности французские, находили поведение мое вполне правильным, взваливая вину на Барнета и его отказ драться на дуэли. При этом большая часть газет разъясняла именно то, что я желал сделать в своем опровержении: что я ничего общего не имею с графом де Тулуз, незаконнорожденным сыном короля Людовика XIV.

История с Барнетом произвела целую революцию в обществе и прессе, и этот газетный шум наделал мне страшный вред.

Я получил этим большую известность: обо мне и моей кандидатуре только и было толку в обществе, и это навлекло на меня серьезную и неожиданную беду.

Русское посольство, которое до того времени игнорировало меня, стало зорко за мною следить и интересоваться мною. В его глазах я стал человеком опасным для интересов России, и оно сообщило обо мне и моей кандидатуре в Петербург. Узнал я об этом от моих друзей, графа де Пурталеса и барона де Мельваля, которые были

в близких отношениях с персоналом русского посольства. Правда, что эту оппозицию со стороны русских дипломатов я должен был рано или поздно ожидать, так как в их глазах я не мог быть никем другим, как врагом русских интересов, будучи другом болгарских регентов. Будь Ону в Константинополе, тогда дело было бы другое, я ни минуты не замедлил бы повидать его и обо всем ему рассказать, но он не возвращался еще в то время из России. Обратиться же к другим нашим дипломатам я не решался, так как все это были люди неподходящие.

Но в это время на мою беду подвернулась еще случайность, в сущности, весьма пустая, но направившая дело к весьма прискорбной и неожиданной развязке.

Как-то раз, в первых числах мая, выйдя в столовую Hotel de Luxembourg к завтраку вместе с Висконти и сев по обыкновению за отдельный столик, я заметил, что один из сидевших за общим табльдотом, молодой человек, в меня пристально вглядывается, и когда он увидел, что я его заметил и на него гляжу, улыбнулся и мне поклонился; машинально я ему отдал поклон, но, вглядываясь в этого улыбающегося франта, я с ужасом узнал в нем моего бывшего парикмахера от Леона из Москвы, некоего Верну. Я его знал более десяти лет, и он постоянно меня чесал и брил, когда я живал в Москве. Он отличался от других своим балагурством и вечными рассказами о любовных приключениях.

Не успел я опомниться от неожиданности этой встречи, как Верну с ловкостью чистокровного парижанина стоял передо мною и рассыпался в любезностях.

— Как я счастлив вас встретить здесь в Константинополе, господин Савин, — говорил он, ухарски раскланиваясь, — вот неожиданная и приятная для меня встреча — видеть вас, моего старинного московского клиента.

Потерявшись совершенно, я не знал, что мне делать, и только мог ответить стоявшему передо мною парикмахеру: «Вы ошибаетесь, милостивый государь».

Немного опомнившись и заметив, что все присутствующие смотрят на эту сцену, я собрался с духом и громким, отчасти грубым голосом оборвал прилипчивого француза, объясняя ему, что он ошибается, принимая меня за какого-то другого, а потому прошу его меня не беспокоить.

Скажи я это в более вежливом тоне, а главное, не выкажи я волнения, наверное экс-парикмахер удовольствовался бы моими словами и даже извинился бы передо мною, но резкость моего тона задела его самолюбие, и вместо того, чтобы отойти от меня и угомониться, он продолжал доказывать в весьма дерзких словах, что он не ошибается, а что я не узнаю своих знакомых по хорошо известным причинам.

— Я вас узнаю! — воскликнул он. — Не думайте, господин Савин, что я не читаю газет и не знаю всего случившегося с вами в Париже, Брюсселе и Ницце. Мне никто рта не закроет, и если я подошел к вам, то не из-за чести с вами говорить, а просто как к старому клиенту, которого знаю десять лет, — с этими словами он повернулся и вышел из столовой.

По уходе парикмахера я стал громко негодовать на поведение этого «нахала» и «сумасшедшего», позвал даже хозяина гостиницы и просил его принять меры, чтобы всякие прохвосты, какие-нибудь странствующие коми не смели беспокоить его гостей. Конечно, хозяин рассыпался в извинениях, объясняя, что он даже не знает этого господина, не живущего у него в гостинице, а пришедшего только завтракать к табльдоту.

Из этого инцидента может быть ничего и не вышло бы, если бы, к несчастью моему, в зале не находился недавно приехавший из России молодой секретарь русского посольства Неклюжев, живший со своим семейством в отеле «Люксембург» и завтракавший в то время в столовой. Как оказалось впоследствии, Неклюжев рассказал о случившемся со мною скандале в посольстве. Посол велел разыскать парикмахера и расспросить его, уверен ли он, что я именно тот Савин, которого он знал в Москве, на что получил утвердительный ответ.

Конечно, после этого русский посол сообщил в Петербург, что претендент на болгарский престол граф де Тулуз-Лотрек не кто иной, как корнет Савин. К несчастью, я об этом узнал уже слишком поздно, когда не было никакой возможности исправить дело.

XLI
Арест и высылка в Россию

13 мая я был приглашен графом де Пурталесом приехать к нему завтракать в Буюк-Дере, в посольский загородный дворец, куда переселился весь персонал французского посольства на летний сезон. Экипаж был мне подан, и я заканчивал туалет, собираясь ехать, когда пришли мне доложить, что начальник полиции квартала Пера Боннэн-паша и русский консул желают меня видеть. Конечно, этот неожиданный визит не мог мне быть приятным, но все-таки я в нем ничего не видел особенно опасного, и просил их войти в мой кабинет.

С Боннен-пашой я не был знаком, но видел его часто на общественных гуляньях и спектаклях. Мне рассказывали про него, что он родом француз, служил во время империи в парижской полиции сыщиком, был оттуда прогнан за какие-то неблаговидные дела и приехал в Константинополь, где поступил в полицию на должность комиссара. Как человек пронырливый, он сумел подделаться к высшим сановникам, и вскоре был назначен начальником полиции европейского квартала и произведен в паши. Это был человек лет сорока с небольшим, среднего роста, довольно полный брюнет с небольшой клинообразной бородкой и очень быстрыми плутовскими глазами. Он был одет в штатское платье, на голове носил феску.

Русского генерального консула, которого я застал вместе с Боннэном у меня в кабинете, я тоже не знал и никогда не видал. Это был человек уже не молодой, высокий, довольно красивый, с большой, окладистой, с проседью бородой.

Раскланявшись с ними, я спросил их по-французски, что им от меня угодно, на что Боннэн ответил мне, что он приехал ко мне, вследствие требования консула, арестовать меня.

— Как, меня арестовать? За что? — спросил я его взволнованным голосом.

— Русский консул заявил мне, что вы не граф де Тулуз-Лотрек, как себя именуете, а русский офицер Николай Савин, который преследуется в России за разные уголовные преступления, а потому я, как начальник оттоманской полиции, обязан исполнить это требование и препроводить вас в русское генеральное консульство.

Я, конечно, протестовал против ареста, объясняя, что я никакого Савина не знаю и что я действительно граф де Тулуз-Лотрек,

французский гражданин, а потому русский консул никакого права не имеет требовать моего ареста, и я этому требованию не подчинюсь. В доказательство моей личности я достал из письменного стола мой французский паспорт, который передал Боннэну. Прочитав его, Боннэн передал паспорт консулу, который, взглянув бегло на поданную ему бумагу, сказал, обращаясь к Боннэну:

— Я прошу ваше превосходительство исполнить мое требование, как представителя России. Я имею распоряжение из Петербурга не обращать внимания ни на какие объяснения и представляемые документы. Арест этот я беру на мою ответственность и сообщу потом французскому посольству о причинах, заставивших меня так действовать. Поэтому прошу вас приступить к аресту господина Савина и опечатыванию всех его бумаг.

— Я французский гражданин, — воскликнул я в бешенстве, — и не позволю над собою никакого насилия по распоряжению представителя иностранного для меня государства, который надо мною не имеет никакой власти! Я еду сейчас с жалобой во французское посольство.

Договорив эти слова, я направился к двери, но Боннэн бросился за мной и схватил меня за руку, приговаривая:

— От меня вы так легко не уйдете, как уходили в других местах.

Но не успел он прикоснуться к рукаву моего сюртука, как ловким движением я вырвался от него, ударом кулака в грудь сшиб его с ног и вышел из кабинета.

На крик Боннэна вбежало человек десять кавасов и полицейских, которые загородили мне выход. Вскочив опять на ноги, Боннэн неистово кричал и приказывал своим подчиненным взять меня силою и связать. Но это приказание оказалось не так легко исполнить. Схватив стул, я прижал его сиденьем к груди так, что ножки его торчали вперед и образовали своего рода защиту, мешая набрасывающимся на меня, по приказанию Боннэна, кавасам и полицейским. Ножками стула я тыкал им в лицо, а ногами посылал удары в живот, сшибая каждого, подходящего близко ко мне с ног. Взбешенный француз-паша, видя бессилие своих подчиненных, бросился сам на меня, но был отражен таким сильным ударом в живот ногой, что покатился на противоположную сторону комнаты.

В это время вмешался консул. Он стал меня уговаривать, прося успокоиться и подчиниться его требованию, уверяя меня,

что все-таки сила возьмет верх, и я только этим противодействием сделаю себе вред. Он убеждал меня ехать с ним в консульство, давая мне слово послать немедленно за французским генеральным консулом и вместе с ним рассмотреть мои бумаги. Если таковые установят, что я не Савин, а действительно граф де Тулуз-Лотрек, то немедленно меня освободят.

Слова эти меня немного успокоили. Во мне блеснула надежда устроить дело. Мне казалось, что, объяснив консулу всю истину, я мог надеяться, что доводы мои подействуют благоприятно на него и убедят в целесообразности моих намерений и серьезных выгод моих планов для России, вследствие чего я буду им освобожден.

Видя, что слова консула лучше подействовали на меня, чем насилие, избитый Боннэн был вне себя от злобы и грозил мне заставить меня дорого поплатиться за удар ногой, нанесенный ему. Но я с пренебрежением ответил, что не боюсь таких сыщиков, как он, и при первой же встрече переломаю ему ребра.

По приезде нашем в русское посольство было послано с кавасом письмо к французскому генеральному консулу, с просьбой немедленно приехать по важному и не терпящему отлагательства делу.

Французский консул не замедлил явиться, и я, конечно, обратился к нему с энергичным протестом на действия русского консула. В доказательство моей принадлежности к французской национальности, я предъявил ему французский паспорт, выданный мне французским генеральным консулом в Пеште, прося его вступиться и немедленно меня освободить.

На это русский консул возразил, что он просил бы сначала своего французского коллегу рассмотреть с ним вместе все арестованные у меня бумаги, а также взглянуть на сообщение русского министерства иностранных дел и на приложенную фотографическую карточку. Действительно, карточка была моя и весьма похожа. Кроме того, при разборке моих бумаг нашли мой русский паспорт, выданный мне русским консулом Маллейном в Триесте. Прочитав его, русский консул сказал мне:

— Вы говорите, что вы не русский, а это что за документ у вас, в котором вы именуетесь корнетом Савиным, русским подданным?

Что мог я после этого сказать?

— Да, я русский подданный, — ответил я по-русски, — но я не Савин, а граф де Тулуз-Лотрек, и документ этот только подтверждает

вам справедливость моих слов. Назвался же я французом, имея на это серьезные причины, о которых вам сообщу.

— Вам угодно будет повторить это самое французскому консулу?

— Да, но с условием, чтобы это было сделано в приличной форме, то есть я скажу ему, что, будучи рожден в России, что даже значится в моем французском паспорте, я не знал хорошо, к какой, в сущности, национальности я принадлежу, но теперь, вследствие ваших разъяснений, убедился, что я не француз, а русский подданный.

Русский консул на это согласился, и я передал французскому консулу, что из документов, только что представленных мне, я убедился, что родившись в России, я принадлежу к русской национальности, а потому прошу его меня извинить за беспокойство. Немало удивленный этим неожиданным исходом дела, консул уехал, так как, вследствие моего личного признания, ему более нечего было делать.

Оставшись вдвоем с русским консулом, я рассказал ему все о моем положении, разъяснив все мои намерения и планы, касающиеся Болгарии, вследствие чего просил его доложить о всем этом немедленно нашему послу и просил его, ввиду серьезных выгод, представляемых моими планами русскому правительству, дать мне возможность осуществить мои намерения.

На это консул ответил мне, что посол находится в Буюк-Дере и дал уже ему все надлежащие распоряжения касательно меня, что он не может отступить ни на йоту от предписаний, полученных из Петербурга, и должен сегодня же отправить меня в Одессу с отходящим в семь часов вечера пароходом «Корнилов». После моей отправки он пойдет к послу и передаст ему обо всем, и если посол найдет возможным изменить распоряжения, присланные ему из министерства, то он может телеграфировать одесскому градоначальнику о моем немедленном освобождении и возвращении.

Никакие мои доводы и убеждения не подействовали на консула. Он остался тверд и непоколебим, даже не разрешив мне съездить в гостиницу за вещами и деньгами.

На мое замечание, что не могу же я ехать в Петербург так, без вещей и денег, он ответил, что все мне будет дано, и я ни в чем не буду нуждаться в дороге.

Час спустя я сел вместе с консулом и еще одним чиновником в карету, которая отвезла нас к пристани. Сев в каик, мы отчалили от берега и подплыли к стоявшему на якоре, уже под парами, «Корнилову».

Там меня передали капитану парохода, приставив ко мне консульского каваса, который должен был сопровождать меня до Одессы, где сдать лично градоначальнику, на имя которого был адресован пакет.

Ровно в семь часов раздался третий свисток, и пароход, снявшись с якоря, покинул Царьград, увозя меня в Россию.

XLII
Из Константинополя в одесскую тюрьму

Все случившееся произошло до того неожиданно, что я не успел опомниться, как уже очутился на «Корнилове».

Я был до того потрясен, что, по прибытии на пароход, впал в бессознательное состояние.

Я ходил по пароходу, пил, ел, отвечал на предлагаемые мне вопросы, но делал это машинально, не понимая, где я нахожусь, и что со мною делается. В таком положении пробыл я почти сутки.

Когда, наконец, пришел я в себя, то увидел, что сижу на палубе парохода, идущего на всех парах по необозримому, слегка волнующемуся морю.

Я был уже не блестящий французский граф, претендент на болгарский престол, а снова русский корнет Савин, узнанный, униженный и арестованный.

Я знал вперед, что буду оправдан судом по всем возводимым на меня уголовным обвинениям, но невольно содрогался от ужасов современной инквизиции, называемой предварительным заключением, которое предстояло мне переносить до суда и оправдания.

Не скрою, что первой мыслью моей было снова бежать, и я стал придумывать план бегства. Конечно, я не мог предполагать, чтобы по доставлении моем в Россию, не были приняты самые строгие меры, чтобы меня довезти до Петербурга. Но путь от Одессы был длинен и, при всех принимаемых мерах предосторожности, я все-таки надеялся найти случай удрать. Мне даже пришла мысль совершить побег до приезда в Одессу, то есть бежать с парохода.

С этой целью я завел разговор с сидевшим рядом со мною за обедом капитаном парохода, оказавшимся очень милым и словоохотливым человеком, стал его расспрашивать о курсе парохода, о близости берегов и каких-либо островов и т. д., и узнал, что «Корнилов» идет прямо до Одессы, не заходя ни в какие порты, и рейс его вдали от берегов. В одном только месте, близ устьев Дуная он проходит не в далеком расстоянии от румынского берега и единственного имеющегося на Черном море острова. Узнал я также от него, что на этом острове есть маяк, который будет виден с «Корнилова»,

так как мы проходили всего в трех-четырех верстах от него, в первом часу ночи, на вторые сутки пути.

Намотав все это на ус, я стал обдумывать план бегства. Для этого мне нужно было взять один из многочисленных спасательных кругов, висевших на борту парохода, и, надев на себя, броситься в море во время прохода «Корнилова» мимо этого румынского острова.

Самым трудным в этом бегстве было обойти бдительность моего каваса, не отходившего от меня ни на шаг. Единственным местом, где я оставался один, без назойливого общества, была моя каюта. Туда он не осмеливался проникать, довольствуясь охранением меня у двери. Вот из этой-то каюты и надо было мне найти способ удрать. Осматривая ее хорошенько, я убедился, что это возможно.

Люк в каюте был настолько велик, что я мог свободно туда пролезть, но я должен был при этом отказаться от спасательного круга.

Конечно, я решился бы все-таки исполнить задуманное, если бы к вечеру не усилился ветер, и не взволновалось до тех пор спокойное море. При этом я стал чувствовать приближение пароксизма невралгии, часто бывающей со мной.

Вот такой пароксизм невралгии случился со мною в эту ночь, вследствие чего я забыл и думать о бегстве с парохода.

Всю ночь я промучился и ни на минуту не мог заснуть. К утру боль прошла, и я пошел на палубу, чтоб подышать свежим воздухом. Погода была восхитительная, буря стихла.

— Как ваше здоровье? — спросил меня любезно капитан.

— Благодарю вас, немного полегчало, — ответил я ему.

— Ну и отлично, так как мы уже подходим к Одессе и через час будем на якоре. Вон уже видна земля.

Вглядываясь по направлению, указанному капитаном, я увидел на горизонте черную полосу: это был русский берег. Сердце мое невольно сжалось; меня охватило томительное чувство страха неизвестности, ожидавшей меня. Заметив это, капитан сказал мне с видимым участием:

— Не унывайте, Бог даст, все уладится.

Эти сердечные слова совершенно постороннего человека меня немного успокоили, и я спросил его, не знает ли он, кому меня передадут по приезде в Одессу.

— Не знаю, — ответил он. — Мне поручено только довезти вас до Одессы. Наверное, консул уже телеграфировал градоначальнику о вашем прибытии на «Корнилове».

* * *

Во время визировки паспортов на «Корнилов» прибыл градоначальник, адмирал З., в сопровождении полицеймейстера и начальника порта. Войдя в кают-компанию, обращенную в канцелярию, градоначальник обратился к капитану, спрашивая, где я нахожусь.

Услыхав этот вопрос, я подошел к адмиралу.

— Вы спрашиваете меня, ваше превосходительство?

— Это вы Савин? — сказал он, оглядывая меня с ног до головы.

— Нет, я не Савин, а граф де Тулуз-Лотрек, но, по ошибке русского консула в Константинополе арестован и препровожден сюда под этим, мне не принадлежащим именем, почему считаю нужным заявить об этом вашему превосходительству, прося рассмотреть идущие со мной документы и, по рассмотрении их, меня освободить.

— Так вы отрицаете ваше тождество с корнетом Савиным и требуете вашего освобождения? — воскликнул он с иронической улыбкой. — Ну, на это я не уполномочен, а поступлю, как мне поручено из Петербурга и пока отправлю вас в тюрьму. — Полковник, — обратился он к стоявшему тут же полицеймейстеру, — отвезите сейчас же под усиленным конвоем «его сиятельство» в тюремный замок и поступите с ним, как я уже вам говорил.

Затем, отвернувшись от меня, он стал разговаривать с жандармским капитаном.

— Пойдемте, — сказал мне вполголоса полицеймейстер, — я уже приказал ваши вещи снести в карету.

Конечно, мне не оставалось более ничего, как последовать за полицеймейстером.

По выходе с пристани меня посадили с двумя околоточными надзирателями в карету, по бокам которой ехали два полицейских верхами, полицеймейстер же ехал впереди на своей паре.

В таком порядке мы двинулись через всю Одессу в тюремный замок, находящийся далеко от пароходной пристани, у самого вокзала, на Куликовом поле.

Сдав меня смотрителю тюрьмы, полицеймейстер уехал, а меня отвели в секретную одиночную камеру, в отделение, предназначенное для политических. Это была тюрьма в тюрьме.

Мертвая тишина царила в этом каземате, и кроме двух жандармских унтер-офицеров, сменявшихся через кадык шесть часов, я в первые два дня никого не видел.

Наконец, на третий день ко мне пришел помощник смотрителя.

— Почему меня держат тут, в отделении для политических? — спросил я его.

— Не знаю, — ответил он мне. — Таково распоряжение градоначальника.

— На каком же основании вы меня держите, по чьему постановлению?

— Никакого постановления на ваше содержание у нас нет, а держим потому, что вас привез полицеймейстер с приказанием градоначальника вас содержать в политическом отделении со всевозможною строгостью.

— Да это совершенно противозаконно.

— Отчасти да, — ответил мне помощник смотрителя. — И если вы недовольны, жалуйтесь прокурору.

В этот же вечер я написал прошение прокурору Одесского окружного суда.

После подачи прошения прошло с неделю, и я уже терял надежду на какой-либо результат, как в одно прекрасное утро дверь моей камеры отворилась, и ко мне вошел помощник смотрителя с каким-то мне незнакомым господином.

— Я прокурор здешнего окружного суда, — сказал, обращаясь ко мне, незнакомец. — Прошение ваше я получил и счел своим долгом повидать вас. Вы находите ваше содержание под стражей незаконным?

— Совершенно верно, господин прокурор. Меня содержат здесь без всяких законных оснований, по чистейшему произволу административных властей, и я прошу вашего заступничества.

— Но вас принимают за некоего Савина, который разыскивается петербургским и калужским судами.

— Прекрасно, господин прокурор, на арестование Савина, может быть, и есть законное основание, но отнюдь не на содержание под стражей графа де Тулуз-Лотрека, а я именно и есть то лицо, коим именуюсь.

— Чем вы докажете, что вы графа де Тулуз-Лотрек, а не Савин? Можете ли вы указать на лиц, могущих вас удостоверить?

— Здесь, в Одессе, я никого не знаю, но в других местах, конечно, найдется масса лиц, знающих меня.

— Так укажите этих лиц и места их жительства, и я распоряжусь вас немедленно отправить для удостоверения вашей личности.

— Мне кажется, — возразил я ему, — что это совершенно лишнее, когда у меня есть все необходимые бумаги и формальный паспорт, удостоверяющий, кто я такой. Если желают проверить подлинность этих документов, то достаточно телеграфировать тем официальным лицам, которые их выдали, начиная с русского консула в Триесте господина Маллейна, который меня лично знает и подтвердит не только подлинность выданного им мне паспорта, но и опишет мои приметы.

— Видите ли, граф, написать, даже телеграфировать консулу в Триесте я могу, но это не поведет ни к чему. Что бы ни ответил мне консул, я не вправе вас освободить, так как вы арестованы не судебными властями Одесского округа, а препровождаетесь только через Одессу в Петербург. Освобождение ваше зависит от петербургских властей, предписавших арестовать вас в Константинополе. Если вы не Савин, то вас, по прибытии в Петербург, немедленно освободят, а потому мой вам совет просить о скорейшем вашем отправлении.

После этого визита прокурора пропала последняя надежда на освобождение, и мне оставалось терпеливо ожидать отправки.

XLIII
По этапам из Одессы в Петербург

День отправки, наконец, настал.

— Вставайте и забирайте ваши вещи, сейчас вы отправляетесь, — разбудил меня ночью смотритель.

— Куда? — спросил я его, протирая заспанные глаза.

— Этапным порядком с партией в Киев.

Уложив наскоро вещи в ручной чемоданчик, я отправился в контору.

Под воротами, на лестнице, ведущей в контору, и в самой конторе толпилось человек до ста арестантов в длинных серых халатах и с бритыми наполовину головами. Я впервые видел так близко такую массу арестантов, и на меня произвело это крайне тяжелое впечатление.

В конторе, освещенной двумя керосиновыми лампами, толпились арестанты и солдаты. За длинным столом сидели начальник тюрьмы, конвойный офицер, принимающий партию, и писарь. Перед ними лежала куча бумаг и статейных списков, по которым они и вызывали арестантов. Каждый арестант, по вызове его, подходил к столу, где имя его и назначение места, куда он следовал, проверялись по статейному списку, затем унтер-офицер брал арестанта и, передавая его тут же стоявшему ефрейтору, кричал: «Обыскать и наручники». Несколько человек солдат конвойной команды обыскивали арестанта и его вещи, после чего заковывали людей попарно в ручные кандалы. От этой последней операции освобождались только принадлежащие к привилегированным сословиям, нижние чины, женщины и кандальщики.

Когда, наконец, партия была принята и все арестанты вышли из конторы, ко мне подошел начальник тюрьмы с конвойным офицером.

— Вас также надо принять, — сказал мне последний. — Покажите мне ваши вещи.

Я открыл ему мой чемоданчик.

— У вас ничего тут нет запрещенного?

— Кажется, ничего такого нет, но я не знаю, что вы называете запрещенным.

— Ножей, карт, водки, — сказал он мне с улыбкой.

— Нет, ничего подобного у меня нет, — ответил я ему.

— Запиши: гвардии корнет Николай Савин, в Петербург, в своем платье, — сказал штабс-капитан писарю. Затем, обращаясь ко мне, он продолжал:

— Мне поручено иметь строжайший неусыпный надзор за вами, о чем я считаю долгом вас предупредить. Надеюсь, что вы, как офицер, поймете меня и не заставите меня принимать против вас какие-либо меры, которые были бы неприятны как для вас, так и для меня. Я вполне сознаю, что такое положение тяжело, но что же делать, надо подчиниться. С моей стороны, я все сделаю, что от меня зависит, чтобы облегчить ваше положение, но прошу вас вполне подчиняться установленным правилам.

Когда мы вышли из конторы, партия выстроена во дворе тюрьмы, тускло освещенном двумя фонарями.

— Шашки вон, шагом марш, — скомандовал штабс-капитан. Ворота растворились, и партия двинулась по направлению к вокзалу.

Вокзал находился тут же, рядом, в нескольких сотнях шагов от тюрьмы. Когда партия пришла, арестантские вагоны были уже поданы, и нас немедленно рассадили в них. Для меня, по приказанию штабс-капитана Ранчевского, конвойного офицера — отвели отдельную лавку в вагоне, где помещалось офицерское отделение.

Как только поезд тронулся, в вагоне все преобразилось. Арестанты поснимали с себя свои ужасные, серые, с бубновыми тузами халаты, растворили окна и стали весело и шумно разговаривать между собою, даже затянули песню.

В этом же вагоне ехал еще один из «привилегированных», некий дворянин Лизгаро, с которым я скоро познакомился. Сначала я не обратил на него внимания, так как он был одет в арестантский халат. Когда он снял с себя этот арестантский атрибут, он оказался одет в весьма поношенный пиджак, но этот туалет, редкий между арестантами из простых обратил мое внимание, и я спросил унтер-офицера, кто это такой.

— А это дворянин Лизгаро, — ответил он мне. — Вы знаете, который на семи женах женат.

— Как на семи женах?

— Да разве вы не читали в «Ведомостях»? Его уже судили в трех местах за это, а теперь везут еще в остальные места судить.

Конечно, эти слова унтер-офицера меня заинтересовали, и я познакомился с этим семиженцем.

Лизгаро был еще молодой человек, лет двадцати пяти, не больше. Это был небольшого роста, худенький, с красивым, но крайне изможденным лицом, брюнет.

— А я уже давно собирался подойти к вам, господин Савин, — сказал он мне, когда я обратился к нему, — но совестился, боялся вас побеспокоить. В одесском замке многие вами интересовались, да уж держали вас там больно строго.

— Почему мною интересовались? — спросил я удивленно.

— Да как же не интересоваться вами: уж слишком много писали об вас в газетах за последнее время.

— Что же писали?

— Чего-чего только не писали. Ну, уж молодец вы, господин Савин, Стамбулова и того провели.

— Так здорово меня прохватывали в газетах?

— В некоторых, не скрою, вас порядочно продернули, но зато в других жалели, что вам не дали доделать задуманного. Немного еще, и вы были бы болгарским князем. Жаль, что сорвалось. Но вот кто в дураках, так это ваш кум Стамбулов, — сказал, смеясь, Лизгаро. — Как это он так опростоволосился? А, говорят, такой умный и хитрый человек.

— Да здесь ум ни при чем, — ответил я ему. — Разве он мог предположить, что я не то лицо, за которое я себя выдавал, раз я был ему представлен французским консулом?

— Ну, а документы ваши, паспорт, были у вас фальшивые?

— Нет, подлинные, — и я рассказал ему, как я их достал.

— Ловко, мастерски было обделано, наверное, вас оправдают присяжные…

— Да я не думаю, чтобы меня за это и предали суду. Все это произошло за границей, так что не подсудно русским судам, тем более что проживательство под чужим именем не наказуемо в тех странах, где я проживал.

* * *

В два часа дня, на вторые сутки по выезде из Одессы, мы прибыли в Киев. Дождь лил, как из ведра, но, несмотря на это, партию

высадили и повели в тюрьму, находящуюся в противоположном конце города, версты за три от вокзала.

По прибытии в тюремный замок, конвойный офицер повел меня с собою, не дожидаясь общей приемки партии, в контору и представил меня смотрителю.

— Вы меня извините, господин Савин, — сказал тот далеко не ласковым тоном, прочитав поданные ему конвойным писарем бумаги. — Но я принужден буду вас тщательно обыскать и затем содержать в секретной камере. Уж больно строго предписание насчет вас от одесского градоначальника.

И, действительно, благодаря этому предписанию, мне вывернули все карманы, заставили снять даже сапоги и посадили в маленькую, весьма грязную одиночную камеру, носящую название «секретной».

В одесской тюрьме, хотя меня и содержали строго, в политическом отделении, но там камера была, по крайней мере, светлая, чистая и, наконец, в ней было все необходимое, начиная с кровати. Здесь же, в киевской тюрьме, меня посадили в какую-то грязную, вонючую конуру, где, кроме нар, никакой мебели не было. Но что было всего ужаснее — это режим киевской тюрьмы. Я не мог положительно добиться ничего купить на свои деньги, и на мои требования мне было категорически отвечено, что выписка продуктов делается один раз в неделю — по субботам, а так как этап наш прибыл в понедельник, то мне предоставлялось ждать и голодать целых пять дней.

— Что же мне, умирать с голоду? — спросил я оборванного хохла-надзирателя.

— Нет, с голоду не умрете, мы вам дадим казенной пищи.

И действительно, на следующий день, в обеденное время, хохол принес мне в деревянной, крайне сомнительной чистоты, чашке «хлебово». «Голод не тетка», говорит пословица, но и голод не помог, и я не в силах был съесть этого «хлебова» и одной ложки.

— Проводите меня в контору к смотрителю, — сказал я хохлу, но он наотрез отказался это сделать, уверяя, что из секретных камер никуда не водят без особого приказания начальства.

— Что же мне делать? — спросил я его.

— Напишите смотрителю прошение, может быть, он и сделает для вас исключение. Вот, рядом в камере сидит «политик», так вот ему все полагается, свое получает.

Послушав совета надзирателя, я написал смотрителю заявление, в котором просил его разрешить мне купить необходимые продукты, но получил ответ, что это невозможно. Этот неосновательный отказ меня страшно взбесил, и я написал письмо прокурору Киевского окружного суда, моему старому приятелю, с которым я был, в бытность его еще товарищем прокурора в Туле, в самых лучших отношениях. Зная его за прекрасного человека, я был верен, что он не посмотрит на ту обстановку, в которой я теперь находился, приедет меня проведать и, конечно, прикажет смотрителю тюрьмы обращаться со мною по-человечески.

Письмо это, действительно, произвело чудеса и даже ранее, чем дойти по назначению. Оно произвело настоящий переполох в тюрьме. Не прошло и получаса после передачи его надзирателю, как ко мне явился смотритель.

— Вы жалуетесь на меня господину прокурору, что я вас будто бы притесняю и не даю ничего. Что же вы желаете, господин Савин?

— Я желаю, прежде всего, есть, так как сижу по милости вашей и ваших удивительных порядков уже второй день на пище святого Антония, и, получая, как дворянин, продовольствие не натурой, а деньгами, я имею, мне кажется, право выписывать, что пожелаю.

— Так-то так, но у нас, видите, господин Савин, заведено, что выписка бывает раз в неделю, а потому я приказал вам давать не в счет вашего порциона казенный обед, разве вы его не получали?

— Мне принесли какую-то бурду, но я есть ее не мог, так как к такой пище не привык, вот почему я и написал Николаю Григорьевичу, прося его, по старой дружбе, приехать проведать меня и распорядиться, кстати, о том, что вы считаете невозможным для меня сделать, то есть купить мне колбасы и белого хлеба.

— Хорошо, я сейчас распоряжусь, и вам все купят, а вы уж письмо к господину прокурору перепишите, не стоит его беспокоить из-за таких пустяков, — сказал, уходя, смотритель, оставив письмо на подоконнике.

После его ухода, мне принесли все, что я просил, и, кроме того, еще целую миску вкусного борща с говядиной, который мне прислал смотритель от себя.

XLIV
В предварительном заключении. В охранном отделении. *Любезное предложение*

К счастью моему, в этой ужасной киевской тюрьме я пробыл всего три дня, на четвертый же день уходил этап в Москву, и я отправился с ним далее.

В Курске принял наш этап московский конвой, под начальством очень милого молодого офицера, поручика Кунцендорфа, с которым мне вскоре пришлось познакомиться. Разговорившись и познакомившись со мною при первом же обходе арестантских вагонов, он был настолько любезен, что пригласил меня в свое отделение, в котором я и доехал до Москвы.

По прибытии в центральную пересыльную тюрьму, начались снова мытарства, и все благодаря «строжайшему» предписанию одесского градоначальника, находившегося при моих бумагах. Вместо того чтобы меня поместить в общую «дворянскую» камеру, меня засадили в «секретную», помещавшуюся в одной из башен. Здесь я пробыл в одиночестве четверо суток, до отхода этапа в Петербург.

На Петербург этапы бывают, большею частью, невелики, и тот, с которым меня отправили, состоял всего из тридцати арестантов, в числе коих я был один только «привилегированный». Офицера при этом этапе не было, и его заменял старший унтер-офицер.

По приходе поезда на Николаевский вокзал, для избежания скандального шествия по городу, я нанял на последний имевшийся у меня рубль карету, в которой и доехал до пересыльной тюрьмы в Демидовом переулке.

Не успели еще затвориться тяжелые железные ворота тюрьмы за въехавшей вслед за этапом каретой, как у дверец ее показался старший надзиратель.

— Вы корнет Савин? — спросил он меня, и на утвердительный ответ пригласил следовать за ним в контору. — У меня есть уже распоряжение отправить вас немедленно в дом предварительного заключения, — сказал мне при входе моем в контору седой, худощавый подполковник, оказавшийся начальником тюрьмы.

— Каким образом вы меня туда отправите? — спросил я его. — Обыкновенно, с солдатами.

— Я до сих пор русский офицер, состою в запасе гвардейской кавалерии, а потому считаю унизительным такую отправку и заявляю вам, г. подполковник, что я с солдатами не пойду.

— Ну, это мы посмотрим, — и, обратясь к стоявшему тут же старшему надзирателю, он приказал:

— Вместо двух конвойных назначить пятерых.

Вскоре вошли в контору вызванные солдаты с ружьями.

— Все готово, отправляйтесь!

— Вы можете вызвать целый взвод, и тогда все-таки не пойду.

— Взять его! — кричал взбешенный смотритель, и, видя, что солдаты его не слушают, он подскочил ко мне и схватил меня за рукав. Не помня себя от бешенства, я взял его за шиворот и так тряхнул, что он отскочил на несколько шагов.

Ошеломленный смотритель, бормоча что-то под нос, ушел из конторы. Минут через пять из конторы вызвали солдат, а полчаса спустя, въехала во двор извозчичья карета, в которой меня и отправили с двумя надзирателями в дом предварительного заключения.

Дом предварительного заключения. Не правда ли, это звучит мягче, чем тюрьма? Я наделялся, что с этим, более мягким названием, связано и более мягкое отношение к людям.

И, действительно, ничего тюремного не бросается вам в глаза: дом как дом, у ворот ни будки, ни часового, а дворник в красной рубашке и фартуке, с метлой в руке. Карета въезжает во двор, подъезжает к подъезду. Подъезд настежь, швейцар в ливрее, как в самом аристократическом доме, выбегает, отворяет дверцы кареты и спрашивает:

— Чемоданчик прикажете тоже захватить?

Я вошел в большую, прекрасно меблированную квартиру. За письменным столом сидел толстенький, лысоватый господин, в военном сюртуке со жгутами. Надевший золотое пенсне толстенький господин, оказавшийся помощником начальника, очень любезно со мною раскланялся, привстав даже со своего места, и спросил меня весьма мягким тоном:

— Вы корнет Савин?.. — И на мой утвердительный ответ сказал:

— О вашем прибытии нам уже сообщили по телеграфу. Садитесь, пожалуйста.

— Кто сообщил вам о моем прибытии? — спросил я его удивленно.

— Сначала нам сообщили со станции железной дороги о прибытии вашем с этапом, а затем, полчаса тому назад, еще из двух мест — от прокурора да из пересыльной тюрьмы, откуда вы были отправлены. Да мы уже и раньше знали, что вы сегодня к нам прибудете: во всех газетах было сообщение о вашем выезде из Москвы.

Выйдя из конторы на парадный подъезд и поднявшись на несколько ступеней, мы подошли к тяжелой полированной двери. Поднявшись на третий этаж, мы вошли, в сопровождении старшего надзирателя, встретившего нас при входе, в одну из камер. Аршин четырех ширины и шести длины, камера эта была безукоризненной чистоты.

— Ну, вот и ваша квартира пока, — сказал мне любезно помощник. — Располагайтесь и отдыхайте, — вы, наверное, устали с дороги. Если вам что будет нужно, то позвоните, — и он указал мне на пуговку электрического звонка. После чего, поклонившись и пожав мне руку, он вышел.

Первые дни, конечно, мне было очень тяжело это одиночное заключение. Хотя я не впервые находился в одиночной тюрьме, но до сих пор, как в Париже, так и в Брюсселе, я всегда был при деньгах, значит, мог пользоваться всеми удобствами. В дом же предварительного заключения я прибыл буквально без гроша, не имея даже чаю и табаку. Правда, все это продолжалось недолго, вскоре моя матушка прислала мне денег, но до этой присылки я испытал всю тяжесть положения человека, сидящего в тюрьме без всяких средств. При этом я должен отдать полную справедливость сердечности начальства в Доме предварительного заключения. Конечно, ничего подобно я не нашел бы ни в одной тюрьме Западной Европы. Хотя обыкновенная арестантская пища весьма порядочная, в особенности, когда знаешь, что от казны отпускается всего по шести копеек на человека в день, но и здесь постарались улучшить мое положение, дав мне лазаретную порцию и отпустив мне из каких-то пожертвований, имеющихся в распоряжении тюремного начальства, чаю, сахару и даже табаку. За все это я впоследствии уплатил, — но где же это сделали бы в какой-нибудь европейской тюрьме? Благодаря русскому благодушию, русскому сердцу, в эту одиночную со строгим режимом тюрьму внесена русская душевность и жалостливость ко всякому несчастному.

Нахождение в тюрьме, и притом в тюрьме одиночной, ужасно действует на людей впечатлительных. Оно поглощает их всецело, оставляя их постоянно с их горем.

В доме предварительного заключения, благодаря некоторым отступлениям от общего режима, принятого в западноевропейских тюрьмах, этот режим одиночных тюрем немного сглаживается и весьма облегчается жизнь заключенных.

Главным облегчением является ежедневная общая прогулка в продолжение часа, а с разрешения врача до двух часов, на тюремном дворе.

Так как дело мое было давно уже закончено следователем, то я попал на эту общую прогулку со второго же дня прибытия. Гуляют заключенные погалерейно, то есть каждый этаж тюрьмы гуляет вместе. Из этого правила исключаются только привилегированные, которые гуляют отдельной компанией.

* * *

Недели две спустя после прибытия в Петербург меня как-то утром вызвали в контору. Там я застал начальника Дома предварительного заключения полковника Ерофеева и двух жандармских унтер-офицеров.

— Вот приехали за вами из охранного отделения, — сказал полковник, указывая на жандармов. — Прошу вас отправиться с ними.

Меня усадили в ожидавшую у подъезда извозчичью карету, и отвези в охранное отделение. Охранное отделение помещалось в доме градоначальника, со стороны Гороховой улицы. По приезде туда меня ввели в кабинет начальника отделения, подполковника С-кого. Он носил синее в золотой оправе пенсне, которое мешало с первого взгляда разглядеть его хитрые, немного косые глаза. Усадив меня напротив себя у письменного стола, подполковник С-кий сказал мне:

— Я вас вызвал, господин Савин, вследствие распоряжения о том департамента государственной полиции, который предписал мне снять с вас допрос и сделать подробное дознание по поводу вашего пребывания в Болгарии, отношений ваших к тамошнему правительству и намерений ваших. Я уверен, что вы, как офицер, объясните мне всю правду, тем более что разъяснение этой правды может принести вам неоспоримую пользу.

— Вы вполне правы, подполковник. Я очень рад случаю, дающему мне возможность, наконец, высказаться, а тем более высказаться чрез ваше посредство высшему начальству, разъяснить мое поведение и все те намерения, с которыми я отправился в Болгарию. Поверьте мне, что я не утаю ничего, расскажу чистосердечно все, что случилось со мной, и каким образом я нежданно-негаданно сделался претендентом на болгарский престол. Для того чтобы вы лучше поняли мое поведение и те побуждения, которые понудили меня и толкнули на все случившееся, я должен буду разъяснить все с момента моего бегства из Варшавы в прошлом феврале.

Разъяснив все подполковнику С-кому самым подробным образом, я, по его требованию, изложил то же самое на бумаге, после чего меня отвезли обратно в дом предварительного заключения.

Дней десять спустя после моего первого визита в охранное отделение меня туда свезли вторично. Войдя в кабинет подполковника С-кого, я застал его одетым в парадную форму и узнал от него, что я должен ехать с ним сейчас же к министру, который желает лично меня видеть.

По приезде в дом министра на Большой Морской, нас ввели в приемную, куда минут через пять вошел и министр. Это был высокий, худой старик, с тонкими красивыми чертами лица и весьма изящными манерами. Ответив мне очень любезно на мой поклон, он сказал мне, между прочим:

— Я лично прочел ваше объяснение и крайне сожалею, что смело задуманный вами план не осуществился. Конечно, теперь дело уже непоправимо. Но этим все-таки вы доказали ваши способности, и я уверен, что после благополучного окончания ваших судебных дел вы посвятите себя служению государю и отечеству, и в этом я вам первый помогу. Если же, не дай Бог, вас осудят, то надейтесь вполне на меня. Я все сделаю, чтобы облегчить вашу участь.

Такое любезное отношение со стороны незнакомого мне всесильного человека, признаюсь, не только удивило меня, но даже возбудило некоторые опасения.

«Чего он хотел от меня?» — думалось мне, и я нашел разгадку этого вопроса после моего оправдания, когда любопытство заставило меня, в бытность мою в Петербурге, надеть фрак и явиться снова к министру. Он хотел, чтобы я занял место в тайной полиции.

XLV
Разбор дела через двенадцать лет. Снова по этапам

Вскоре мне вручили копию с обвинительного акта по обвинению меня в разорвании документа. Об этом деле я уже говорил в самом начале рассказа.

Вот этот-то инцидент и приводил меня теперь, двенадцать лет спустя, на скамью подсудимых. Наверное, многие удивятся, каким образом дело это могло тянуться так долго. Это вышло потому, что судебный следователь Ламанский, к которому поступило это дело, не видя ничего уголовного в моем поступке, отнесся ко мне в высшей степени мягко и деликатно, и зная, что я состою на действительной службе, не взял даже против меня никакой меры пресечения. Вот это формальное упущение со стороны следователя и послужило к отсрочке дела. Выйдя в отставку в 1875 году, я уехал жить в деревню и, не получая никаких более уведомлений и повесток по возбужденному делу, вообразил, что оно прекращено. В действительности же оно не было окончено, а только сдано в архив, вследствие «неизвестности моего местожительства».

Будучи избираем, в продолжение двух трехлетий, в должность почетного мирового судьи, я был утверждаем в этой должности именно тем самым Сенатом, в органе которого публиковался мой розыск. Таким образом, прошло десять лет, и прошло бы, наверное, и еще более, если бы не случилось со мной скандала и арестования в Париже, наделавшего такого шума. Этот арест и появившиеся во всех газетах статьи о нем побудили Боровского прокурора потребовать моей выдачи из Франции, по возбужденному против меня преследованию по делу о поджоге будто бы моего дома. Это требование, по поступление его в министерство юстиции, повлекло к справкам, которые обнаружили, что я обвиняюсь еще по другому делу, а именно — в разорвании векселя. С этого момента дело всплыло наружу и было вытащено из архивной пыли, где оно столько лет валялось, а я должен был предстать перед судом присяжных.

Так как следственная процедура была давно закончена, то вскоре после моего прибытия в Петербург мне была вручена копия с обвинительного акта, и дело было назначено к слушанию на 14 августа. Защитником моим, по назначению от суда, был присяжный

поверенный Мазаракий. За три дня до суда я впервые с ним познакомился и разъяснил подробности дела. Хотя мое дело, в сущности, не представляло никакого интереса по его существу, но, благодаря моей известности и рекламе, сделанной газетами, зал заседаний был переполнен жадной до таких зрелищ публикой.

Когда меня ввел в зал заседаний жандармский офицер с судебным приставом, суд, в полном своем составе, уже занимал свои места.

По прочтении обвинительного акта председатель предложил мне обычный вопрос: признаю ли я себя виновным, — и на отрицательный ответ мой приступил к судебному следствию. Показаниями свидетелей подтверждалось, что я денег по этим векселям не получал и что я обращался к высшим административным властям с заявлением о похищении у меня векселей.

Кроме того, выяснилось, что во время этих долговых обязательств я был еще несовершеннолетний, вследствие чего мне не представлялось никакой выгоды уничтожать их, так как достаточно было заявить о том в гражданском суде, чтобы в иске было отказано.

В результате — полное оправдание.

Но моя свобода длилась недолго. Мне предстояло еще путешествие в Боровск по делу о поджоге, почему председатель сделал вторичное распоряжение об отдаче меня под охрану жандармского офицера, и я был принужден снова вернуться в тюрьму.

Оправданный, но не освобожденный, я вернулся из суда обратно в тюрьму. Это оправдание было для меня только первой ступенью к моему обелению перед обществом и доказательством той несправедливой травли, которой я подвергался в продолжение более двух лет со стороны наших судебных властей. Но это оправдание подвигло меня также к тем страданиям, которых я так страшился, — к приезду в этой унизительной обстановке в родной город.

Отправили меня в Боровск спустя несколько дней после моего оправдания, в последних числах августа. За день до отхода этапа в Москву меня отвезли в карете в пересыльную тюрьму, где, к великому моему удивлению, начальник тюрьмы, с которым я так сильно повздорил при моем приезде в Петербург, отнесся ко мне очень любезно, поместил меня в отдельной, весьма чистенькой камере. И разрешил даже мне, не в пример другим, остаться в своем платье и получать кушанье из ресторана.

На другое утро меня отправили этапом в Москву. В этот раз все обошлось благополучно. До вокзала меня довезли в карете. Там меня поместили в отделение, в котором находилась походная канцелярия конвойного офицера. Этот последний был весьма любезен ко мне во все время дороги, а по прибытии в Москву разрешил мне ехать, не дожидаясь этапа, в сопровождении унтер-офицера, на извозчике, прямо в пересыльную тюрьму.

В этот раз в московской пересыльной тюрьме во время ожидания отправки в Боровск со смоленским этапом я не подвергся никаким мерам стеснения.

Тюремное начальство, зная из газет о моем оправдании в Петербурге, распорядилось меня поместить не в секретную камеру в башне, как во время моего первого пребывания, а в общую «дворянскую» камеру, куда меня привел лично начальник тюрьмы.

Тюрьма, помещающаяся у Бутырской заставы, считается самой большой в России. Колоссальное ее здание с высокими стенами, выходящими на Долгоруковскую улицу, хорошо известно москвичам.

Нормальный комплект этой тюрьмы-колосса пять тысяч арестантов, но весной вследствие огромно скопления ссыльных изо всей России, ожидающих в ней открытия навигации для дальнейшей отправки к местам ссылки, их накопляется до семи и более тысяч человек. Тюрьма в это время бывает так переполнена, что арестанты спят на полу, под нарами и где придется, даже в коридорах.

Звон и лязг кандалов, неописуемый шум, гам, руготня, — вот что прежде всего подавляет входящего. Это какой-то грандиозный улей, в котором вместо пчел снуют самые разнообразные типы людей и где, поистине, поражающая смесь одежд и лиц, племен, наречий и состояний. Это весьма понятно, так как чрез «централку» проходят ссыльные всех категорий, ожидающие отправки в Сибирь и на Сахалин.

Тут их сортируют, разбивают на партии и отправляют.

Войдя в ворота тюрьмы, вы попадаете, прежде всего, в приемный зал, в так называемую «сборную». В этой «сборной» принимаются все партии, как прибывающие, так и отходящие. Это огромная квадратная в два света, со сводчатым потолком, комната, саженей двадцать в длину и ширину. Во время приемок туда вводятся партии арестантов. Здесь им делают перекличку, поверку по статейным спискам их и казенной одежды, обыскивают и разбивают по категориям.

Последнее делается потому, что в пересыльной тюрьме обитатели ее распределены на определенные группы, соответственно которым размещены по этажам и коридорам.

Главных категорий две: «ссыльные» и «пересыльные». Но для помещения арестанты раздробляются на мельчайшие подразделения, обуславливаемые родом кары или сословием, к которому они принадлежат или принадлежали.

Такими подразделениями являются: привилегированные пересыльные, разночинцы, общественники[15], поселенцы, обратники[16], бродяги и каторжники. Каждая из этих категорий помещается отдельно, если не в особом коридоре, то, во всяком случае, в отдельной камере.

Я, как пересыльный и дворянин, попал в «дворянскую» камеру пересыльного коридора. Эта «дворянская» камера представляла комнату с двумя окнами, выходящими на двор, с неизменной решеткой. В комнате был ряд деревянных, голых, выкрашенных в темный цвет коек, так что большая часть «дворян» за неимением собственных матрацев спала на голых досках.

Вонь, грязь, мириады клопов, от которых на стенах нет живого места, люди в рубищах, многие с подбитыми глазами, ряд назойливых вопросов, просьбы покурить, — все это вместе сразу обрушилось своей мерзостью на меня.

В первую минуту я был ошеломлен этой обстановкой — обступившими меня «дворянами» с Хитрова рынка, бесцеремонно ползающими клопами и едким запахом махорки. Невольно сорвался с языка вопрос:

— Неужели это дворянская камера?

— Да-с, милостивый государь, эта камера и есть самая дворянская, — ответил мне сиплым голосом один из оборванцев. — А все эти господа, — продолжал он, указывая на лежащих на койках и снующих взад и вперед по камере людей, — бывшие дворяне-с…

— Позвольте вам представиться, титулярный советник Глушановский.

[15] Не принятые обществом по отбытии наказания в арестантских ротах и вследствие этого ссылаемые на житье в Сибирь (*примеч. Н. Г. Савина*).

[16] Вернувшиеся обратно из Сибири без разрешения на то начальства, вследствие чего ссылаемые обратно на водворение в Сибирь, в места их приписки (*примеч. Н. Г. Савина*).

Но не успел я ответить титулярному советнику, как кто-то фамильярно хлопнул меня по плечу.

Передо мною стоял, улыбаясь, мой старый знакомый, некогда камер-паж Полторацкий. На нем была грязная ситцевая рубаха навыпуск, нанковые шаровары, а босые ноги были воткнуты в большие казенные арестантские «коты».

— Какими судьбами? — сорвалось у меня.

— О судьбах поговорим после, а пока надо тебя расположить поудобнее.

К вечеру я немного осмотрелся, обтерпелся и приноровился.

XLVI
Нравы и обычаи «централки»

В семь часов нас разбудил звон. Надо было вставать на поверку. В «централке» все без исключения арестанты обязаны выстроиться к поверке, в коридоре, в две шеренги. Делается это для облегчения дежурному помощнику начальника замка проверять арестантов, которых он, при своем обходе в сопровождении старшего надзирателя, считает попарно, как они стоят в шеренгах.

Поверка производится два раза в день: утром и вечером; во время этих двух ежедневных поверок вся тюрьма как будто на время замирает. Шум, гам, звон кандалов, песни — все смолкает, и слышны только мерные шаги, да иногда разнос обходящего фронт начальства.

В течение всего дня коридоры и камеры «централки» напоминают толкучку, и сходство с нею тем естественнее, что большая часть пересыльных арестантов, действительно, попадает в пересыльную тюрьму с Хитрова рынка. В камерах от поверки до поверки никто не стесняет арестантов, и им предоставляется делать, что угодно. Благодаря этой относительной свободе, возможности перехода из одной камеры в другую и редкому посещению начальства, царят шум, гам, ругань, столь присущие толкучке. При этом здесь идет тоже весьма деятельная торговля, как предметами первой необходимости, так и самыми разнообразными принадлежностями одежды.

Эти все торговцы-арестанты снуют из камеры в камеру, выкрикивают, как истые разносчики, продаваемый товар, предлагают его всем и всякому, навязывают, торгуются и, конечно, ругаются бранью самой российской.

Мыкаясь по целым дням по коридору, я заглядывал иногда из любопытства в другие камеры, предназначенные для простонародья. Камеры эти ничем не отличались по устройству от «дворянской», но духота, вонь и невообразимая грязь доходили там до апогея тюремной мерзости, а в воздухе висело всероссийское присловье, по поводу которого Пушкину приписывают слова «как масло к каше, как соль ко щам».

Всех камер в пересыльном коридоре было шесть, из коих одна «дворянская», одна «жидовская» и остальные для «разночинцев». У каждой из этих категорий арестантов был староста. Эти старосты несли своего рода обязанности: следили за порядком, сносились

по нуждам своих арестантов непосредственно с начальством, получали и раздавали пищу, подаяния, кормовые деньги (привилегированным) и выписываемые арестантами продукты, а кроме всего этого, держали, по заведенному в «централке» обычаю лавочки, торгуя в них разными съедобными и первой необходимости предметами.

В старосты попадают большей частью «бывалые арестанты» и люди по-тюремному денежные, то есть обладающие пятью, десятью рублями. Это последнее необходимо, чтобы быть в состоянии торговать в лавочке и закупать необходимый товар, распродаваемый ими по мелочам, конечно, втридорога. Благодаря этой торговле, старосты быстро увеличивают свои капиталы, богатеют и приобретают иногда силу, вес и значение между арестантами, в особенности, в ссыльных коридорах, где они бывают подолгу во время зимовки.

Лавочки эти процветают, потому что, хотя арестанты всех категорий и имеют право покупать на собственные деньги что хотят, кроме вина, водки и табаку, но покупка производится только раз в неделю, по субботам и, таким образом, все, прибывшие в воскресенье, не могут купить ничего с воли целую неделю, хотя и имеют деньги. Вот и идет арестант в лавочку к старосте: за заваркой чая, за куском сахара, калачом, селедкой и другими припасами первой необходимости.

Самыми лучшими по снабжению и выгодными для их содержателей считались в «централке» дворянские лавочки, вследствие того, что дворяне пользовались некоторыми весьма важными преимуществами и льготами, благоприятно отражавшимися на торговле их старост.

Привилегированные как состоящие на порционке, то есть не получающие пищу из котла, а получающие деньгами, по пятнадцати копеек в сутки, пользовались правом ежедневной выписки продуктов: кроме этого, им разрешалось курить, следовательно и покупать табак. Вот эти две привилегии давали возможность дворянским старостам иметь всегда свежий товар и монополию на продажу табаку на всю тюрьму, что и составляло, в сущности, их главную отрасль дохода. Торговля вся эта ведется неофициально, как будто украдкой, и хотя начальство, конечно, о ней хорошо знает, но делает вид, что ничего не видит. Вследствие этого и старостам приходится обходить формальности для своих закупок. Для этого они вписывают все, что им нужно для лавочки, на имена своих товарищей-дворян в ежедневно подаваемый в контору список выписки, конечно, давая на эти

покупки свои деньги. Цены берутся соответственно спросу и количеству наличного товара. Так, например, заварка чаю самого дешевого сорта, стоит две копейки, два куска сахару — копейка, селедка и колбаса по соглашению продавца с покупателем.

Больше всего варьирует цена на табак. Когда тюрьма полна, а дворян немного, цены возвышаются страшно, доходят до тридцати-сорока копеек за восьмушку махорки, стоящей в лавке три копейки и, наоборот, как только тюрьма пустеет или дворян накопляется, махорка дешевеет. Одна только вещь продается по своей цене и часто ниже городской цены — это белый хлеб, калачи и сайки. Это происходит оттого, что хлебный товар большею частью не покупной, а подаянный, и попадает в лавочки к старостам вследствие того, что над подаянием у них «рука владыка».

Подаяний в русских тюрьмах бывает очень много, в Москве же в особенности. Более всего жертвуют съестными припасами: говядиной, солониной, огурцами и разными сортами белого хлеба. Калачи, сайки, баранки, можно сказать, непрерывно доставляются в тюрьмы целыми возами, так что не проходит дня, чтобы таковые не раздавали по рукам арестантам. Бывают случаи, даже весьма нередкие, что подаяние присылается в виде сытного, хорошего обеда на всю тюрьму, и делается это большею частью за упокой души или вожделенное здравие какого-нибудь благодетеля. Обилие подаяний особенно заметно перед праздниками, а к Святой, в великие дни, по словам бывалых людей, присылают так много подаяний — яиц, пасх, куличей, ветчины и других разных яств, — что арестанты не знают просто, что делать со всем этим. Эта черта общественного сострадания к заключенным представляет самобытную национальную русскую черту и не встречается в других странах Европы.

Подаянием распоряжаются старосты и, конечно, себя не забывают. Чрезмерная жадность и бестактность старост иногда ведет к озлоблению арестантов против них, и тогда дело доходит до расправы своим судом, расправы всегда грубой: или кулачной, или состоящей в разграблении всей лавочки зазнавшегося Колупаева.

В «централке» ведется постоянная крупная игра в карты, преимущественно в штос, очень азартная.

Проигравшие деньги пускают в оборот платье и часто проигрывают с себя все, так что принуждены бывают одеваться в казенное арестантское платье. В каждом коридоре есть так называемые

«майданщики», то есть владельцы карт, отдающие их напрокат, что на тюремном жаргоне называется «держать майдан».

Майданщик большею частью не участвует в игре, а получает десять копеек с оборотного рубля, с сорванного или забастованного банка. Игра ведется под строгим контролем и, безусловно, честно, за исключением особых случаев, когда все сговариваются против одного. В числе арестантов всегда находится ловкий шулер, которому и вручают карты, а выигрыш делят между всеми заговорщиками и тут же прокучивают.

Чтобы начальство не накрыло игры, ставят за вознаграждение караул, по-тюремному, «стрему», и назначают кого-нибудь в «затыльщики», то есть поручают кому-нибудь задержать в коридоре идущее начальство каким-нибудь заявлением или разговором, чтобы успели спрятать карты и разойтись по своим камерам. Часто роль затыльщика принимает на себя «паук», — так именуют надзирателей, если он «фартовый», то есть человек на все руки.

Вследствие этих мер предосторожности «дух», как называют начальство, всегда застает все в порядке, и по его уходе берутся снова за майдан.

Игра в карты особенно развита между каторжниками и бродягами. Первые играют между собою, и игра ведется в значительных размерах, потому что в обороте игры одни и те же деньги ходят из рук в руки, и бывает их по нескольку сот рублей; бродяги же, верные своему званию, бродят и в тюрьме из камеры в камеру и чутьем узнают, где можно поживиться. Среди них есть всегда люди на все руки и встречаются шулера.

* * *

Наконец, после недельного пребывания в «централке» настал день моей отправки. В этот день отходило из пересыльной тюрьмы два этапа: смоленский, с которым отправлялся я, и нижегородский, иначе называемый «сибирский». С этим сибирским этапом отправлялась последняя в этом году партия ссыльных арестантов в Сибирь, состоящая из пятисот с лишком человек одних мужчин, так называемая «холостая».

Из всех отправлявшихся в эту навигацию партий — это первая партия, которая была так велика. До сего во весь навигационный период партии в Сибирь отправлялись уменьшенного состава,

вследствие большого скопления арестантов в тюрьмах Перми, Тюмени и Томска. Все это я узнал как из разговоров с арестантами, дожидавшимися приемки в «сборной», так и из сведений, сообщенных мне любезным начальником тюрьмы.

Вглядываясь в состав этой сибирской партии, по разряду преступников, я был крайне удивлен, что с лишком пятую часть партии (сто десять человек) составляют бродяги, так сказать, люди, не помнящие своего рода и племени, не знающие даже места своей родины.

В самом ли деле таковы эти люди? Кто они в действительности и откуда их набирается такой сравнительно большой процент в цифре ссыльных, ежегодно ссылаемых в Сибирь за преступления?

На эти вопросы могу сказать следующее. По закону «бродягой» считается человек, не знающий или не желающий выяснить своего происхождения и указать прежнего места жительства, то есть, по-российскому, не имеющий законного вида на жительство и не могущий такового получить.

Такой бесписьменный, называющий себя каким-либо не принадлежащим ему именем или не помнящий родства, признается по закону бродягой, предается суду без присяжных и приговаривается к лишению всех прав состояния, тридцати ударам розгами и годичному заключению в тюрьме и, по отбытии наказания, к ссылке в отдаленнейшие места Сибири. Таково наказание не помнящему родства бродяге.

XLVII
Опять в дорогу

В один прекрасный день ко мне в камеру явился надзиратель.

— Собирайте вещи — и в дорогу. Сегодня этап, — сказал он и повел меня в канцелярию.

Я подошел к столу, за которым сидели конвойный офицер, начальник тюрьмы К-о и несколько писарей.

— Где это вы пропадали? — спросил меня шутливым тоном подполковник К-о. — Еще бы минутку и я подумал бы, что вы задали лататы, вы такой мастер по этой части.

— Нет, я не собираюсь удирать, — ответил я ему. — К чему удирать, когда я уверен, что буду оправдан?

— Да просто так, чтобы показать свое искусство по части удирания. Вы его берегите, как зеницу ока, — сказал, смеясь, К-о, обращаясь к конвойному офицеру. — Вы, конечно, слышали про корнета Савина, претендента на болгарский престол? Вот он самый.

— Как же, как же! — ответил конвойный офицер. — Очень приятно познакомиться. Читал обо всех ваших проделках, даже о том, как избили турецкого пашу. Ну, за это можно вас назвать молодчиной.

— Вот видите, поручик, как у нас в России все чудно. Вы сейчас говорите «молодчина». То же говорил мне на днях и подполковник. Даже газеты, которые всегда недружелюбно ко мне относились, и те хвалили меня за пашу; а вот нашлись люди, которые не только меня за это не похвалили, а даже притянули к суду.

— Ну, это дело пустое. Вас, конечно, оправдают, — сказал поручик.

На этом кончился наш разговор, так как партия была уже выстроена и готова к отправке.

Простившись с милейшим начальником тюрьмы подполковником К-о, я, благодаря любезности конвойного офицера, доехал с ним на извозчике до Смоленского вокзала.

От Москвы до станции Мценск, где мне приходилось выйти для дальнейшего следования с этапом в Боровск, всего четыре часа езды, и время это быстро пролетело в разговорах со словоохотливым конвойным офицером.

Но, чем ближе мы подъезжали к Мценску, тем томительнее становилось мне на душе. Здесь меня все знали, на каждом шагу, в каждом городе и деревне, через которые мне предстояло проходить с этапом.

В тюрьме, в арестантском вагоне, даже в душной парижской тюремной карете легче, чем на вольном воздухе в толчее арестантов, на глазах у всех.

На мое счастье, в момент прибытия поезда на станцию Мценск шел довольно сильный дождь, вследствие чего никого на платформе не было, и я незаметно мог выйти из вагона.

Арестантов было человек двадцать, и нас сейчас же отвели в местный острог, где нам пришлось переночевать в грязной камере, так называемой «пересыльной».

Как я узнал впоследствии, в каждом уездном остроге есть такая специальная «пересыльная камера», в которую и помещают без разбора, и сколько бы их ни было, всех прибывших для дальнейшей отправки с этапом арестантов.

На следующее утро этап наш отправлялся далее. Мне, как шедшему до Боровска, было всего два перехода и, благодаря моему «привилегированному» званию, полагалась подвода. Вот на эту-то подводу уложил я свои вещи и, для того, чтобы избегнуть срама при встрече со знакомыми, я лег в нее, укрывшись с головы до ног пледом, и таким образом пролежал в ней, пока этап выбрался из города. Прибегал я к этому способу прятания в телегу под плед во время всего моего дальнейшего странствования, при всяком въезде в деревню или город и даже въехал таким образом в ворота Боровского острога.

Боровский тюремный замок находится на выезде из города по Медынской дороге. Это было большое двухэтажное, выбеленное, с красной крышей, здание, стоявшее посреди обширного двора, окруженного высокой каменной оградой.

Для меня была отведена во втором этаже отдельная небольшая камера в одно окно, в которой я нашел все необходимое — постель, стол, кресло, посуду, белье и даже ковер, присланный из Серединского за два дня до моего прибытия.

Благодаря этой заботливости моей доброй матушки и любезности начальника тюрьмы Гавриила Афанасьевича, чистенькая, с выбеленными стенами, тюремная келья была довольно приглядна и произвела на меня благоприятное впечатление. Не забыты были

и съестные припасы, и на столе я нашел жареную утку, пирог с капустой, чай, сахар и две банки варенья.

— Это с час тому назад принесла ваша бывшая нянюшка Наталья Яковлевна, — сказал мне смотритель, указывая на яства. — Послушайте, вы, наверное, проголодались с дороги, я велю сейчас поставить для вас самовар.

— Благодарю вас, Гавриил Афанасьевич. Не до еды мне в настоящую минуту.

* * *

Через день после свидания с прокурором и следователем, наконец, допущена была ко мне моя мать, которая и ожидала меня в конторе тюрьмы.

При моем появлении мать приняла меня в объятия и, конечно, не выдержала, разрыдалась. Я горячо припал к материнской руке, осыпал ее поцелуями, старался чем-нибудь ободрить, успокоить. А кругом любопытными взорами уставился в нашу комнату весь персонал тюремной канцелярии.

Смотритель, как городской житель, конечно, знал мою мать, относился к ней с величайшим уважением, но у него не было в распоряжении другой комнаты для нашего свидания.

Когда моя бедная матушка немного успокоилась, она рассказала мне вкратце о тех мытарствах, какие ей пришлось пройти раньше, чем она добилась свидания со мною, рассказала о том, что делается дома, в семье. Старик-отец болен. От него скрывают мой приезд в Боровск. С ним уже было два удара. Надо опасаться всякого потрясения. Матушка мне рассказала, как отец всегда вспоминал меня, особенно часто в последнее время. Я был его любимым сыном. —

По отъезде матушка обещала навещать меня каждую неделю.

Неизгладимо запечатлелись в памяти дни этих приездов. Матушка ездила аккуратно. Но вдруг приезды матери прекратились. «Что такое задержало ее? Все ли благополучно дома?» Спросить не у кого, справиться невозможно. Единственный человек, с которым приходится перекинуться словами, это тюремный смотритель.

— Ваш батюшка опять сильно разнемогся, — сообщил мне как-то смотритель. — Два раза ваши лошади приезжали за Ададуровым.

Это была фамилия лучшего доктора в городе.

Через несколько дней я получил известие, что отец умер.

Эта весть дошла до меня в форме коротенькой записки матери, написанной, видимо, нетвердым, дрожащим почерком.

А я лишен возможности даже поклониться его праху, присутствовать при погребении. Я обратился к следователю, по его указанию к прокурору, просил разрешить мне поехать на похороны, — последовал отказ.

Через несколько дней ко мне приехала мать, убитая горем, вся в слезах. Это горе, ее и мое, отвлекло на время мои мысли от любимой женщины, от Мадлен, оставшейся в Париже.

Читатель помнит мои тревоги из-за отсутствия писем от Мадлен. Пока здесь в России я переносил все муки этапных передвижений, знакомился с российскими тюрьмами, Мадлен там страдала. Она готовилась сделаться матерью нашего ребенка.

И вот моя мать подает мне письмо от Рошфора из Парижа. В ответ на мой тревожный вопрос, отчего Мадлен не пишет, он отвечал коротко: «Потому что не может писать: в родах умерла, а вместе с ней и ребенок». Я слег в нервной горячке и лишь через три недели стал приходить в себя.

XLVIII
Суд

В конце ноября вручили мне копию с обвинительного акта, а вскоре после этого до меня дошел слух, что предполагают рассматривать мое дело не в Боровске, а в Калуге.

За день до отправки этапа я потребовал врача и получил удостоверение, что я еще болен настолько серьезно, что не могу быть отправлен с отходящим этапом. Этап ушел, следующий должен был пойти не скоро, и попасть в Калугу ко дню заседания я не мог уже иначе, как со специальным транспортом, с которым, кроме меня, отправить было некого. О том, что меня нельзя было по болезни отправить с этапом, уведомили прокурора. Вскоре последовал запрос по телеграфу от председателя суда о состоянии моего здоровья и о том, могу ли я быть доставлен ко дню разбора дела в Калугу. Исправник тотчас приехал в тюрьму справиться о состоянии моего здоровья и получил ответ, что я могу отправиться в путь.

Произошел новый обмен депеш, и последовало распоряжение немедленно доставить меня на почтовых с соответственным конвоем.

Много тревог и затруднений причинила моя отправка боровскому исправнику. Он вытребовал всех урядников из уезда и на общую их круговую ответственность решил сдать меня на хранение в течение семичасового пути в семьдесят верст от Боровска до губернского города.

— Пуще зеницы ока своего! — наставлял он их. — Головой отвечать будете!

К моменту моей отправки приехал в тюремный замок исправник с товарищем прокурора. Меня усадили на переднюю тройку, между двух урядников, на козлах третий, а позади, на второй тройке, разместили подкрепление, из остальных двух урядников; все, как полагается, по форме, при шашках и револьверах.

Урядник, поместившийся на козлах моих саней, имел, сверх обычного вооружения, еще охотничью двустволку за плечами.

Дорогой я узнал, что он из духовного звания, и что его зовут Стратоник Дормидонтович.

Выехали из Боровска на рассвете, останавливались только на почтовых станциях, чтобы напиться чаю, и еще засветло приехали в Калугу, где меня сдали под охрану двойных стен и решеток острога.

Из дорожных случайностей у меня оставалось в памяти только то, что на ухабах мы были два раза выброшены в снег, и Стратоник чуть не застрелился из своей двустволки, да и у саней отвязалась оглобля, так что пришлось минут двадцать простоять на морозе, пока ямщики закоченевшими руками копались над ней.

До суда оставалось так мало времени, что я был всецело поглощен мыслями о предстоящем великом дне моей жизни, моем судебном бенефисе.

Вскоре приехал адвокат, которого моя матушка пригласила в Москву. Он приехал заблаговременно, чтобы пополнить пробелы знакомства с делом, почерпнутого только из копий с протоколов и постановлений предварительного следствия.

Наступил, наконец, день суда.

Готовясь к защите всю ночь, я заснул только перед рассветом. В 8 часов ко мне пришел старший надзиратель.

— Вставайте, Николай Герасимович, — сказал он мне, раскладывая принесенное им платье на стуле, — уже девятый час, скоро и карета за вами приедет.

И действительно, не успел я еще одеться и напиться чаю, как явился начальник тюрьмы.

Окончив при нем наскоро мой туалет и забрав все нужные бумаги, я покинул камеру в надежде более в нее не возвращаться.

У подъезда нас ожидал какой-то старомодный рыдван, именуемый «каретой», в которую я уселся вместе с начальником и старшим надзирателем.

Около Соборной площади, на которой помещаются все присутственные места, в том числе и Окружной суд, было заметно необычайное движение.

На всех перекрестках стояли полицейские, собственные экипажи, извозчики, и масса пешеходов направлялась в здание суда.

Полицейские, с полицеймейстером во главе, суетились и неистово кричали на кучеров.

У подъезда стоял также дежурный судебный пристав в енотовой шубе и форменной фуражке, отряженный судебным начальником «для порядка».

Приложения

Приложение 1
Плагиаторы и подражатели

Николай Савин. «Моим читателям»

Приступая к изданию собрания моих сочинений, которые, в сущности, не что иное, как мемуары, история моей жизни, написанные в форме романа, я считаю нужным также издать вышедший в свет в 1896 году плагиат некоего Н. Э. Гейнца и напечатанный сотрудником этого плагиатора В. В. Комаровым в С.-Петербурге, издателя газеты «Свет», издавшего бесправно и напечатавшего самовольно мою рукопись «Исповедь Корнета» под заглавием «Герой конца века», рукописью коей воспользовался этот борзописец (проститутй пера) Гейнц, который воспользовался моим литературным трудом, моей литературной собственностью, благодаря моему многолетнему отсутствию из России, причем имел нечистоплотность и нахальство выпустить в свет книгу без ведома и спроса ее автора и собственника — меня…

Причем вся его «плагиаторская» работа в этом плагиате заключалась лишь в том, что он вместо первого лица: «Я, Корнет Савин», переделал на: «он, Корнет Николай Герасимович Савин» и вместо настоящих имен остальных, фигурирующих в этой книге лиц, исказил их имена. Так, например, известную балерину Марию Петина он превратил в Маргариту Граипа, с.-петербургского градоначальника Трепова в Федора Карловича Гофтреппе, князя Николая Николаевича Одоевского-Маслова в Михаила Дмитриевича Маслова, князя Сергея Крапоткина — в князя Корноухова; Якова Ивановича Лихачева в Якова Андреевича Хватова; графа Георгия де Рибопьер в графа Егора Петровича Дюбьсон; Александра Петровича Извольского в Михаила Сашина и т. д., и т. п.

Оставляя лишь фигурировать под настоящими именами моих родителей, родных и меня.

Находя такое извращение истины не только пошлым, но также крайне убавляющим интерес книги, превращенной из мемуаров — в роман, я, издавая ее теперь от моего имени, в первобытном ее виде, восстановляю истину, восстановляю все то, что было сокращено

и изменено плагиатором Гейнцом в книге, выпущенной в свет под заглавием «Герой конца века»…

Конечно, я привлек бы Гейнца и его издателя Комарова к суду, к уголовной ответственности, если их проступок — плагиат не был бы покрыт давностью и Всемилостивейшими манифестами, дарованными за последние пятнадцать лет. Обращаться же к суду гражданскому, предъявлять к ним иск об убытках, понесенных мною благодаря их плагиату, мне нет ни толку, ни пользы, так как плагиатор Генц не имеет никакого состояния, могущего мне вознаградить за понесенную мною имущественную потерю, убыток, а его издатель Комаров — умер…

Ввиду этого, одно, что мне лишь остается, это вновь выпустить в свет мою книгу (Записки корнета Савина), которая не только составила литературное имя плагиатору Гейнцу, но и принесла ему большие деньги, выдержав несколько изданий. Книгу, которую в настоящее время с трудом можно достать, составляющую библиографическую редкость.

При этом считаю нужным опровергнуть ложь г. Генца, высказанную им в его предисловии «Героя конца века», в котором он говорит, что рукопись моя «Исповедь корнета Савина», послужившая ему материалом для его книги, была будто бы мною подарена и отдана в полное распоряжение сопровождавшему меня в 1892 г. по Сибири штабс-капитану конвойной команды М. Р. Ранчевскому, от которого и перешла в собственность редакции «Света» (В. В. Комарова).

— Это неправда, извращение истины. Штабс-капитану Ранчевскому, сопровождавшему меня в 1892 г. от Тюмени в Томск, я действительно дал почитать мою рукопись «Исповедь корнета Савина» и даже просил подыскать мне издателя; но он не почитал, а зачитал мою рукопись, а найдя издателя в лице Комарова, нашел его не для меня, автора и собственника этого манускрипта, а для себя и помощника своего Гейнца, продав чужую литературную собственность издателю «Свет» — Комарову. В то время как я томился в дебрях Сибири, а затем жил более десяти лет в Америке, порвав всякую связь с Россией ввиду моих политических убеждений.

— Вот какова история этой книги, которую я теперь, 21 год спустя, выпускаю в свет под моей личной авторской подписью и с восстановлением ее в том виде, как она вышла из-под моего пера четверть века тому назад, с обличением тех литературных воров,

которые воспользовались так нагло, бесцеремонно и безответно моими литературными трудами во время моей 20-летней отлучки с родины, — жизни в дальней Америке. Вариант и дополнения к этой книге читатель мой найдет в другой моей книге «Савин и его жизнь», состоящей из трех книг:

1. «Бурная молодость», 2. «Травля по Европе», 3. «Инквизиция XIX века», из которых настоящая книга лишь первоначальный опыт моего пера на литературном поприще, вариант вышеупомянутых мною книг, написанных мною позже и много полней, и плагиат Гейнца является как бы конспектом тех произведений моих, исправленных и дополненных мною, с добавлением еще долгих лет моей бурной жизни, с включением исторической эпопеи моего избрания в 1887 году болгарским народом на болгарский престол и моего оправдания русскими судами по всем возводимым на меня обвинениям в России, по которым я и был столько лет травим, как лютый зверь, опричниками и шемякинцами Русского царства.

Москва, 1913 г.
Граф Николай де-Тулуз-Лотрек-Савин
(Бывший корнет русской гвардии)

* * *

«Предлагаемые строки вновь воскрешают память о знаменитом международном авантюристе корнете Савине, имя которого в течение ряда лет гремело по всей России и Западной Европе, будучи окружено целым рядом легендарных и фантастических рассказов. За последнее время в печать лишь изредка проникали сведения об этом в своем роде замечательном человеке. Автор помещаемых нами воспоминаний — русский артист, игравший в парижском театре Athene, дает ряд интересных штрихов из жизни Савина, с которым ему удалось случайно познакомиться и довольно близко сойтись в Париже в конце 1908 года.

* * *

Мое знакомство с корнетом Савиным произошло при посредстве одного афериста, нанимавшего помещение для нашего театра. Жил comte и т. д. в Hotel de Russie без копейки за душой, одинокий и всеми покинутый (он только недавно перед тем бежал из Сибири).

Сохранилась еще барственность и уменье пускать пыль в глаза, но, при внимательном наблюдении, было заметно, что человек сильно устал от постоянной травли. Врет он феноменально, особенно, пока мало знаком с кем-нибудь; самые невероятные “проекты” следуют один за другим.

Сегодня он хочет взять в кредит у Dion 12 автомобилей для установления автомобильного сообщения между Тифлисом и Батумом; завтра — он анархист и сочиняет проект, как одним ударом уничтожить “все”. (Между прочим, еще во время японской войны, он писал русскому императору письмо с проектом уничтожить японцев, отравив все колодцы и реки в Корее и Маньчжурии.)

Меня он полюбил, по его выражению, как родного сына, и каждый день звал меня с собой в Америку, где он хотел устроить “бюро усыновления”, но не имел такого помощника, какого хотел бы иметь. “Да, милочка, — (его любимое слово), — если бы во время оно со мной были вы, а не — (тут Савин употребил очень сильное и выразительное mot) — Трахтенберг, дела пошли бы иначе, и я теперь имел бы миллионы”.

Надо заметить, что этот самый Трахтенберг “работал” много лет вместе с Савиным, а в один прекрасный день, почуяв несомненный провал, нашел более выгодным выдать своего патрона и все его дела кому следует. Трахтенберг этим способом сохранил деньги, которые уже были заработаны, вышел сухим из воды, а в довершение издал на русском и английском языке биографию и похождения Савина. Этой биографии Савин ему в особенности не может простить. “Что значит жид, — из-за копеечной прибыли прозевал миллионы!”

Еще прошлой зимой, еще не отдохнув после последнего побега из Нарыма, Савин уже мечтал о каких-то 700 миллионах, которые ему следует получить с испанского королевского банка в качестве наследника графини Тулуз-Лотрек. (Он сам этот титул будто бы имеет по усыновлению от графа Т.-Л.) Но пока миллионы были в перспективе, его из Hotel de Russie выгнали за неплатеж. Правда, вещи, т. е. дюжину белья, 2 пиджачных пары, лаковые сапоги, цилиндр и полсотни щеток для ногтей, головы, бороды и проч., он успел вынести накануне, так же, как и огромный портфель с разными “акциями” и купонами аргентинского акционерного общества, не существующего уже лет 50, — и, кроме того, всю бутафорию: огромные серебряные вызолоченные (очень, правда, искусно) часы,

такие же браслеты и цепочки, серебряный кубок с орлом, выигранный когда-то его рысаком в Петербурге, фантастический эмалевый медальон, подаренный Марией-Антуанеттой его бабке, пачки вырезок из лондонских газет, сообщающих историю о вызове на дуэль русского императора дворянином Савиным (вызов этот был послан из Якутской области), описание болгарского инцидента с восшествием в сыскное отделение вместо престола и т. д. Все это находилось у меня на квартире. Но сам он очутился на улице. Первую ночь он скрыл это от меня и от моего товарища по театру Г., был, по обыкновению, у нас на спектакле, потом вместе на Монмартре, где у меня плясала "матчиш" моя знакомая венгерка (между прочим, в обществе среди женщин Савин был поразительно интересен и мил: немыслимо было дать ему 50 лет). Когда стали выходить, по обыкновению уничтожив массу устриц по 70 сантимов дюжина при соответственном возлиянии, он заявил мне, что поедет ко мне "посидеть", потому что плохо себя чувствует (у него часто бывают сердечные припадки). Принимая к сведению предшествующие "разговоры" администрации его отеля, я понял, в чем дело, отдал ему свой ключ, а сам остался ночевать на Монмартре. Он поломался (вообще, он очень деликатен, — никогда никакого амикошонства и напрашивания на интимность; сразу видно, что не хам), но, в конце концов, согласился. На другой день я и Г. сообща сняли ему большую, светлую комнату, где он и прожил два месяца.

Все время он проводил с нами: днем на репетициях, вечером — на спектакле. Обедали и ужинали всегда вместе, по-нашему. А у нас бывало так: то обед Mit Wein, Weib и пр. По 12 фр. с рыла в Grande Taverne, а то у меня в номере жарился антрекот и пожирался "труппой" без всяких приправ. Все зависело от сбора и вообще от дел. Один раз для "обеда" были проданы мои и Г. штиблеты (положим, старые) и кинжал некоего поручика Р.

Каждый день у него были все новые "проекты", и с каждым днем я убеждался все больше и больше, что он пережил себя и что от кандидата на болгарский престол остались только жалкие остатки. Все эти проекты страдали полным отсутствием здравого смысла, отзывались полным незнанием условий современного сыска. Раз он просил меня разменять среди бела дня в Credit Lyonnais (!) на 24 тысячи франков купонов от давно несуществующих акций. Чтобы его утешить, я ушел с купонами, посидел в кафе и пришел назад, будто

не приняли. Другой раз он хотел в ломбарде заложить золоченые часы за золотые. Мне прямо было жалко смотреть на него. Очевидно, когда-то он обладал даром подчинять людей своей воле, импонировал им своей личностью, но все это выдохлось, остались только потуги. Все равно как сорокалетняя женщина еще стреляет глазами в уверенности, что прежние чары не исчезли. Я каждый день подолгу беседовал с ним. Обыкновенно утром, я еще в постели, а он уже является с портфелем (когда-то, наверное, был роскошный портфель, и как он его сохранил, черт его знает) и с планами. И, пока я одеваюсь, я успею раза три стать миллионером. Замечательно, что все его "трюки" основаны на человеческом легковерии и большею частью необычайно просты; только в былое время они были просты до гениальности, а теперь просты до наивности. Я всячески разубеждал его, доказывал, что дураков на свете мало, что уже не те времена и т. п. Он возмущался современной дряблостью и отсутствием любви к риску, а иногда задумывался и говорил: "Правда, теперь уже все не то..." А у меня язык не поворачивался сказать ему, что не только "все не то", но и он сам — и это главное — "не тот".

Любили его все в нашем кружке страшно, большинство не зная, что такое Савин. Ни одна наша пирушка не обходилась без него. Носились с ним, как с писаной торбой, даже дамы наши ему конфекты таскали, а одна художница писала его портрет и целый месяц была "графиней". Устроили в "Morice" свадьбу, я говорил речь, взвинтился, стал в лирическом тоне говорить о прошлом и болгарской короне, а в заключение продекламировал "Перелетные птицы" Ришпена. Савин встал, хотел что-то сказать — и расплакался; надо заметить, между прочим, что он пьет очень мало и только шампанское или очень хороший коньяк, да перед едой рюмку "русской" — из патриотизма. Потом Г. прочел горьковскую "Песнь о Соколе", и все это было удивительно кстати. Все были тронуты, а французы за соседними столами не могли понять, что за торжество у artistes russes, и стали пить за наше здоровье. Даже англичане за своим Heidsick'ом стали шевелиться и подавать звуки. Славный был вечер, хотя и в 4 часа утра. У меня еще хранится счет с надписью "Савинская свадьба".

В общем, я и Г. берегли и сберегли Савина в Париже; как-то жалко было, что он на наших глазах ввалится с пустяками. Савин и посейчас не знает, каким образом парижская сыскная полиция,

напавшая было на его след, стала искать его в Ницце, а потом уверилась, что он в Англии.

В заключение расскажу о том, как Савин уехал из Парижа. У него была масса всяких ничего не стоящих ценностей, в виде несуществующих акций и т. п., на номинальную стоимость 32 тысячи франков. Он отвез все это в Credit Lyonnais и сдал на хранение в стальной шкаф. Там ему выдали квитанцию, что, мол, приняты такие-то бумаги, на общую сумму столько-то, от такого-то (банк примет хоть старые газеты, раз ты платишь за шкаф, и их не интересует, что ты сдаешь, хоть фальшивые монеты). В одно прекрасное воскресенье он вечером пошел к хозяйке дома, в котором жила его художница, которая его знала за "содержателя", и объяснил ей, что не успел взять из банка денег в субботу, а сегодня, мол, банк заперт, так вот, не может ли она дать до понедельника 1000 франков под залог квитанции из Credit Lyonnais, где у него положено на 32 тыс. франков valeurs. Баба видит — граф, часы, цепочка и вся бутафория, все tres chic, и дала 600 франков за 700 (больше у нее дома не было). А в понедельник "клиент" уехал, добродетель восторжествовала, и баба была наказана за свои ростовщические наклонности. Из 600 франков Савин 400 отдал мне на руки на хранение, чтобы они за последнюю ночь не попали в какие-нибудь нежные, но цепкие ручки (в этом отношении он слаб; всякая юбка приводит его в старческое раскисание и может снять с него последнюю рубашку).

Спектакля у нас в тот день не было, и мы решили на прощание покутить. Для начала поехали в клуб Cafe des Arts, где я был членом и куда ввел Савина в качестве гостя. Сели играть, как всегда в баккара. Савин, по обыкновению, продул в полчаса бывшие при нем деньги, около 200 фр. (играет он совершенно по-детски и, по-моему, это крайне для него характерно: не его сфера), после чего стал сначала глазами, а потом по-русски просить меня, чтобы я ему дал еще сотню на "отыгрыш". Я отказал категорически, выругал его за бесхарактерность и сказал, что, согласно уговору, отдам ему деньги только на вокзале. Он обиделся, вынул аршинную американскую акцию в 500 долларов (акция была, конечно, "савинская"), которая всегда лежала в его бумажнике для демонстрации, и попросил секретаря клуба разменять. Секретарь пошел советоваться с казначеем. Видя, что может выйти некрасивая история, если, полагаясь на честность comte de Touluse-Loutreque (его знали там с лучшей стороны),

казначей выдаст деньги, я отозвал секретаря, с которым был очень близок, и попросил акции не менять. Француз, по выразительности моего тона, понял, в чем дело, и возвратил Савину его бумажку, извиняясь, что клуб вообще акций не принимает, а своих денег у него при себе нет, иначе, конечно, он бы с удовольствием и т. д. Савину пришлось кончать игру, а так как я был в выигрыше в этот вечер, то и пригласил всех ужинать, т. е. Г., Р. и Савина. Сначала угощал я в Halles, потом Г. на Монмартре; в заключение, стал угощать "отъезжающий", которому для сей оказии были возвращены его деньги. Ночь, конечно, не спали и в понедельник утром поехали прямо на вокзал, где расцеловались и расстались. На прощанье Савин сказал, что едет на дело, которое даст ему сотни тысяч, и обещал телеграфным переводом вызвать меня в Нью-Йорк и там усыновить.

А через неделю мы прочли в "Matin" корреспонденцию из Бордо, озаглавленную "Escroc de haut vol". В ней сообщалось, что некто приятной наружности, именуясь графом де Тулуз-Лотрек, хотел учесть в банке чек, подписанный Вандербильдтом. Просили его прийти завтра, справились, а когда он сдуру (это Савин-то, "сам" Савин!) действительно явился на другой день вечером за деньгами, его арестовали, как мальчишку, его, Савина, про которого 15 лет назад начальник парижской Surete говорил, что l'agent qui ferait bon le comte de T.-L. n'est pas ne (faire bon значит выследить и поймать с поличным).

Что же произошло, что изменилось? Французская сыскная, что ли, лучше стала? Не думаю. А то, что Савин выдохся, это верно. Sic transit...

В общем, я сохранил о нем самое милое и симпатичное воспоминание. Какая-то смесь Хлестакова с Кречинским, но с сильной примесью Павла Кирсанова. Не хам, и душа большая и красивая, а в наше время это очень много и очень редко».

Писавший под псевдонимом Роман Добрый Роман Лукич Антропов (1876 (?) — 1913) выпускал в начале века бульварные брошюрки серии «Похождения сыщика Путилина» (Путилин — реальное лицо, начальник петербургской сыскной полиции). Одна из книжечек называлась «Претендент на болгарский престол». В ней «болгарский эпизод» похождений Савина излагался абсолютно неправдоподобно, ничего общего с тем, что произошло в действительности, антроповские похождения Путилина Савин, оказавшись

в 1913 году на свободе, и увидев, какой успех у не слишком требовательной публики имеет халтура Романа Доброго, решил взять дело в свои руки и посвятить себя литературной деятельности, рассчитывая на большие доходы от распространения своих «мемуаров» в виде отдельных выпусков тоненьких брошюр. Вышла, кажется, только одна, под заглавием «В царстве женщин». Между прочим, в предисловии к этой брошюрке Савин писал: «Приступая к изданию собрания моих сочинений, которые в сущности не что иное, как мои мемуары я считаю нужным также издать вышедший в свет в 1896 году плагиат некоего Н. Э. Гейнце издавшего бесправно и напечатавшего самовольно мою рукопись “Исповедь корнета” под заглавием “Герой конца века”, рукописью коей воспользовался этот борзописец, проститутй пера Гейнце».

Голос Москвы. 1913. 4 ноября

Приложение 2
Николай Эдуардович Гейнце.
Герой конца века

Предисловие

«Предлагаемому благосклонному вниманию читателей роману совершенно чужда личная фантазия автора. В основу его положены отданные в распоряжение автора записки Н. Г. Савина, веденные почти в форме дневника. Записки эти были подарены Н. Г. сопровождавшему его по Сибири штабс-капитану Уярской конвойной команды М. Д. Рончевскому, от которого, через третье лицо, поступили в собственность редакции газеты “Свет”, в фельетонах которой и помещен был этот роман-хроника. Жизнь и правда, бьющая в каждой строке этих записок, названных самим Савиным “исповедью”, не давали автору нравственного права украшать их плодами фантазии, тем более что по прочтении “исповеди корнета Савина”, автор невольно мысленно повторил уже высказанное им в первом, подобном предлагаемому “романе фотографии” “В тине адвокатуры” положение, что сама жизнь порой является автором таких драм, до которых уму человеческому и не додуматься. Это не значит, однако, что авторская работа была этим облегчена, рамки жизни, напротив, усложнили ее: создание картин по наброскам, а порой лишь нескольким

штрихам, обрисовка характеров действующих лиц по характеристикам в несколько строк, а иногда просто намекам, группировка фактов в ряд последовательных сцен и вся внутренняя психологическая окраска главного героя и других действующих лиц — вот что принадлежит всецело автору романа»

Часть первая
«В царстве женщин»

I
В Большом театре

Февраль 1876 года стоял холодный и снежный, два весьма редкие качества петербургских зим.

На площади Большого театра вытянулся целый ряд собственных экипажей и длинная лента извозчиков. Кучера и возницы топтались около карет и саней, хлопали рукавицами и перекидывались между собою замечаниями об адской погоде.

Дул действительно резкий ветер, шел косой снег, залеплявший глаза и как бы острыми иголками коловший лицо.

Было около девяти часов вечера.

Насколько мрачно, уныло и холодно было на Театральной площади, тускло освещенной газовыми фонарями, стекла которых были запушены густым инеем, настолько светло и тепло было в зрительной зале Большого театра, переполненной публикой.

Чудной гирляндой цветных туалетов развертывались ложи бенуара, бельэтажа и даже 1-го яруса, туалетов, обладательницы которых, в большинстве, как картины искусных художников, были достойны роскошных рамок. Переливы драгоценных камней всех цветов радуги украшали белоснежные шеи, розовые ушки и затянутые в изящные перчатки грациозные ручки.

Тут был и петербургский «свет» и «полусвет», последний старавшийся затмить первый искусственным сиянием — сиянием драгоценностей и вполне этого достигавший.

Скромные «светские розы», нежные цветы с тонким ароматом чистоты и невинности, робко жались в сторонке перед пышными «камелиями», получавшими свой одуряющий аромат от современного парижского алхимика Герлена, нашедшего средство возвращать молодость и красоту и путем этого средства делать себе золото.

Такую параллель можно было провести, впрочем, лишь между несколькими великосветскими девушками, сидевшими в ложах бенуара и бельэтажа с почтенными старушками, мамашами и тетушками, седые букли которых придавали этим ложам особый строгий стиль.

Остальные же светские дамы и даже девушки, как юные, так и перешедшие далеко тот возраст, который называется «бальзаковским», являлись не параллелями дам полусвета, а скорее — слабыми их пародиями. Это были цветки, менее выхоленные, выросшие на менее благородной почве, это были бледные копии тех же камелий, писанные кистью доморощенного дюжинного живописца. Верхние театральные сферы, вплоть до «райка», также пестрели яркими женскими платьями и темными фигурами мужчин во всевозможных костюмах, от модного до длиннополого сюртука и даже до суконной поддевки и крашеного нагольного тулупа.

Партер представлял своего рода торжественную картину, особенно первые ряды кресел, в которых, как известно, сосредоточен фокус балета, тогда как в опере этот фокус звука, а не зрения, находится в дальних рядах.

Оканчивался первый акт балета «Трильби».

Публика для внимательного наблюдателя разделялась на две категории: одна пришла вынести из театра купленное ею эстетическое наслаждение, и по напряженному вниманию, отражавшемуся в ее глазах, устремленных на сцену, видно было, что она возвращала уплаченные ею в кассе трудовые деньги, другая категория приехала в театр, отдавая долг светским обязанностям, себя показать и людей посмотреть; для них театр — место сборища, то же, что бал, гулянье и даже церковная служба — они везде являются в полном сборе, чтобы скучать, лицезрея друг друга.

Таков обыкновенно у нас контингент театральной толпы. Конечно, среди нее найдется несколько десятков людей, для которых театр не «дорогое удовольствие», не «место выставки себя и нарядов», а нечто, составляющее неотъемлемую часть их жизни, духовной или физической — первые завсегдатаи драмы и оперы, вторые — балета.

Наблюдательный глаз всегда различит группу этих завсегдатаев театра, занимающих первые ряды. Они держат себя с непринужденностью «своих», они все знакомы друг с другом, один бог — бог хореографии, которому они служат, равняет возрасты и положения.

Их «общее дело» видно по взглядам и улыбкам, которыми они перекидываются друг с другом, в их поклонах, пожатиях рук, словом, во всех мелочах их жизненных отношений.

Появление между ними новичка тотчас бросается в глаза.

Он не сразу осваивается в этой среде и его выдает излишняя развязность, желание порисоваться, несдержанная восторженность взглядов и манер.

Таким «новичком» в описываемом нами спектакле был молодой гвардейский офицер, Петр Карлович Гофтреппе, блондин с небольшими усиками на круглом лице, которые он усиленно теребил левой рукой, а правой то и дело поднося к глазам огромный бинокль, целую систему астрономических труб, годных скорее для наблюдений небесных светил, нежели звездочек парусинного неба.

Его серые, бесцветные глаза во время отдыха, который он давал им от наблюдений, живо выражали лихорадочное нетерпение, которое, впрочем, конечно, в меньшей, сдержанной форме, читалось в глазах и других балетоманов.

Они, однако, не вооружаясь биноклями с ленивою скукою посматривали на сцену, где грациозными пестрыми гирляндами свивался и развивался кордебалет, где мелькали десятки тех ножек, от которых кружатся мужские головы, где сгибались и разгибались торсы, созданные для объятий и вызывающие желания — эти наркотические, если можно так выразиться, моменты балета, не производили на пресыщенных балетоманов впечатления.

Среди них, видимо, царила атмосфера ожидания.

Они ожидали последнего акта балета, когда должна будет появиться недавно объявившееся чудо красоты и грации — характерная танцовщица Маргарита Гранпа.

С год как выпущенная из театральной школы, эта еще совсем юная жрица Терпсихоры сразу оставила за своим флангом подруг по балету, среди которых в то время, кстати сказать, насчитывалось много красавиц, воздушных, грациозных, пластичных.

Все эти звезды померкли перед восшедшим светилом — Маргаритой Гранпа.

Избрав своею специальностью характерные танцы, она с первых шагов на сценичных подмостках не знала, да и до сих пор, сказать вскользь, не знает соперниц.

Для нее почти в каждом балете вставлялись номера, и эти-то номера и были «гвоздями» балета.

В последнем акте балета «Трильби» она танцевала с Кшесинским «цыганский танец».

Его-то и ожидали балетоманы.

Кончалось, как говорили, первое действие, когда в партере появился высокий, статный, красивый мужчина, на вид не более двадцати пяти лет. Изящная сюртучная пара, видимо сшитая лучшим портным, красиво облегала атлетически сложенную фигуру, по походке и по манере держать себя указывавшую на военную выправку.

Достигнув первых рядов кресел, он начал раскланиваться направо и налево.

По выражению лица завсегдатаев балетных спектаклей не трудно было угадать, что он «свой», ему добродушно кивали головой, а выражение удивления вместе с удовольствием встречи говорили, что он появился в театре неожиданно, что он был в отсутствии, ибо так не встречают тех, с кем виделись на прошлом спектакле.

— Здравствуй, Савин!

— Какими судьбами, Николай Герасимович!

— Bonsoir, Savin![17]

— Ты ли это?

— Откуда, брат!

Такие возгласы слышались вполголоса со всех сторон вместе с протянутыми для рукопожатия руками.

С одним только из балетоманов вошедший обменялся церемонным поклоном — это с Гофтреппе, причем, хотя и на одно мгновение, но добродушная улыбка исчезла с лица прибывшего, когда его взгляд встретился со взглядом молодого офицера, отразившим все его внутреннее самодовольное торжество.

Лицо вошедшего вдруг исказилось от какой-то внутренней боли, и он на одно мгновение, повторяем, беспомощно оглянулся вокруг, как бы ища защиты.

Деланно усмехнувшись своей собственной слабости, он прошел в первый ряд и опустился на крайнее от прохода кресло.

---

[17] Добрый вечер, Савин!

Отставной корнет Николай Герасимович Савин, действительно, после довольно продолжительной отлучки появился в Петербурге и в первый раз присутствовал на балетном спектакле сезона 1876 года.

По выражению лица, с которым он доглядел первый акт и смотрел следующие, видно было, что и он, как и другие балетоманы, приехал для последнего действия — для характерного танца Маргариты Гранпа.

Волнение сильного нетерпения, проглядывавшего в каждой черте его мужественного лица, в нервном прокручивании выхоленных усов, невольно выделяло его среди ожидавших появления очаровательной цыганки и красноречиво говорило то, что в этой цыганке для него дорога не только танцовщица, но и женщина.

Несколько раз во время действий и антрактов взгляды Савина и Гофтреппе встречались. Лицо последнего по-прежнему не покидала улыбка торжества, видимо, раздражительно действовавшая на состояние духа первого.

К происходившей между молодыми людьми мимодраме не относились безучастно и остальные балетоманы — что было видно по тревожным взглядам, бросаемым ими по временам то на того, то на другого.

Казалось, их интересовал исход этого представления гораздо более, нежели того, которое шло на сцене. Наконец окончился последний антракт, и занавес взвился.

Выход Гранпа и Кшесинского был в половине акта, но эта половина тянулась для балетоманов вообще, а для Савина, в частности, томительно долго.

Наконец из-за правой кулисы выскользнула давно ожидаемая пара. Оглушительный гром аплодисментов приветствовал ее появление.

Сигнал подавался из первого ряда партера и с быстротою электрического тока передавался всему театру, достигая своего апогея в театральных верхах.

На секунду наступала тишина, театр замирал — артисты уже готовились сделать первые па, как снова еще сильнейшие рукоплескания и восторженные крики огласили зрительный зал.

Артисты стояли рука в руку и с почтительной грацией кланялись приветствовавшей их толпе.

Наконец аплодисменты стали постепенно смолкать, то тут, то там слышались местные взрывы, и перед воцарившейся тишиной раздались единичные рукоплескания.

Оркестр грянул.

Цыганский танец начался.

II
У театрального подъезда

Несмотря на то, что в описываемые годы петербургский балет, как мы уже имели случай заметить ранее, имел в своих рядах много талантливых танцовщиц, блиставших молодостью, грацией и красотой — с год как выпущенная из театральной школы Маргарита Гранпа сумела в это короткое время не только отвоевать себе в нем выдающееся место, но стать положительной любимицей публики.

Суд балетоманов признал в ней все достоинства танцовщицы и женщины.

Последней, впрочем, in spe, то есть в будущем, так как пока еще она была тем благоухающим распускающимся цветком, который обещает при своем полном расцвете образовать вокруг себя одуряющую атмосферу аромата и сочетанием нежных красок ласкать взоры людей, одним словом, стать изящнейшим цветком мироздания — женщиной.

И она более чем оправдала эти надежды.

Высокая, стройная блондинка, с тем редким цветом волос, который почему-то называется пепельным, но которому, собственно, нет названия по неуловимости его переливов, с мягкими, нежными чертами лица, которые не могут назваться правильными лишь потому, что к ним не применимо понятие о линиях с точки зрения человеческого искусства.

Есть красота, так сказать, отвлеченная, создаваемая гением художника, воспроизводящего на полотне свою фантазию, свой идеал, соответствующий его настроению — такова красота рафаэлевой мадонны — возвышенная, неземная, говорящая более о небе, нежели о земле.

Есть создание гениев-художников, изображающих красоту в сочетании тонких линий — образец такой красоты мы видим в статуях богини Венеры.

Есть в художественных произведениях изображение красоты, более близкой к земным типам — это красота миловидного личика, чистого создания, еще не знающего жизни, но стремящегося к ее познанию — таковы головки Греза.

Природа — этот величайший и гениальнейший из художников — дарит изредка мир такими воплощениями красоты, в которых перечисленные нами образцы находятся в какой-то наисовершенной гармонии.

Тонкость линий как бы стушевывается общим неземным, полувоздушным обликом, кажущимся таким далеким от жизни, а между тем полным ею.

Спокойствие и буря, чистота и страсть, святость и грех — все это, кажущееся несовместимым, соединяется во вдохновенном образе идеальной красавицы.

Такой красавицей была Маргарита Гранпа.

Эта печать неземной, а между тем так много говорящей земному чувству красоты лежала не только на всей ее фигуре, но и на всех ее движениях — пластичных, грациозных, естественных и непринужденных.

Она, казалось, не была, как другие, выучена для балета, она была рождена для него.

В ней был не талант, а гений танцовщицы.

Потому-то театр во время исполнения ею номеров затаивал дыхание — публика видела исполнение танца, говорящего не только зрению, но и уму.

Она видела не только одну физическую работу танцовщицы, но и работу ее мысли.

Восемнадцатилетняя девушка, хотя уже с великолепно, но, видимо, еще полуразвившимся торсом, инстинктивно влагающая в танец еще неведомую ей страсть, несвойственную ей самой по себе дикость, цыганскую удаль и размах, должна была создать этот образ изображаемой ею цыганки и выполнить его на сцене.

Это, повторяем, задача не танцовщицы, а артистки.

И в описываемый нами спектакль, после улегшейся бури аплодисментов, театр затих и замер.

Все взоры устремились на талантливую молодую танцовщицу, и каждое движение ее не только ловили, к нему, казалось, прислушивались.

Рассеянные до этого момента балетоманы сосредоточились.

Оставив свои наблюдения над мимодрамой, происходившей между неожиданно появившимся в театре Савиным и юным Гофтреппе, они всецело предались созерцанию танцовщицы Гранпа.

По выражению их лиц не трудно было заметить, что все они, от старого до малого, готовы сейчас же пасть к грациозным ножкам молоденькой танцовщицы.

Но и среди этого обожания, разлитого на лицах балетоманов, выражения лиц Савина и Гофтреппе выделялись своим красноречием.

На красивом лице Николая Герасимовича, с великолепными светло-каштановыми усами, появилось выражение какого-то сладостного блаженства, на красивом, точно выточенном, высоком лбу выступили от волнения капли пота.

Вся его фигура, как бы выдававшаяся вперед, точно говорила: «Я приехал, я здесь, я у ног твоих».

Юный Гофтреппе выглядел несколько спокойнее, в его глазах по очереди то мелькали страстные огоньки, то сменялись они какой-то назойливой беспокойной думой, причем он как-то инстинктивно повертывался в сторону сидевшего недалеко от него Савина.

Но вот обоими исполнителями сделано последнее па.

Танец был окончен.

Гром аплодисментов и крики «браво», «бис» огласили театр.

Из оркестра начались подношения, всегда сопровождавшие выход Маргариты Гранпа.

Букеты, венки и корзины с цветами, футляры и ящики одни за другими показывались из оркестра, как из волшебного ларца чародея.

Гранпа принимала их, хотя и с очаровательной улыбкой, но с достоинством уже избалованной публикой любимицы.

Ее большие голубые, искрящиеся глаза смеялись вместе с розовыми губками, и за некоторые подношения она, видимо, благодарила ими по точному адресу.

Крики и рукоплескания не умолкали до тех пор, пока несколько конечных па не были повторены.

Потянулась, после умолкнувших аплодисментов, последняя часть акта.

Несколько человек из балетоманов, в числе которых был и Гофтреппе, проскользнули в боковую дверь, ведущую к входу на сцену.

Остальные остались на местах, с тревогой поглядывая на ту же дверь.

Вышедшие вернулись еще до конца акта.

— Согласилась, согласилась… — подобно электрическому току пронеслось по первым рядам.

К Савину наклонился сидевший сзади него молодой человек, особенно радостно приветствовавший его появление в зрительном зале.

— Савин, ты с нами, ужинать…

— Куда?

— К Дюссо, конечно, все по-прежнему… Слышишь, будет и Гранпа.

— Маргарита?.. — с какой-то спазмой в горле сказал Николай Герасимович.

— Ну, да, она согласилась… Ей послали записку, и теперь ходили за ответом…

— Одна?..

— Одна… Аргус болен… там будут и другие…

Лицо Савина засияло радостью.

— С удовольствием, с удовольствием… — пожал он крепко руку своему собеседнику.

— И Савин с нами… И Савин в доле… — пронеслось в креслах.

— И Савин… — протянул громче всех Гофтреппе каким-то странным, загадочным тоном.

Николай Герасимович невольно повернулся в его сторону.

В глазах молодого офицера он прочел такое злобное торжество, что невольно вздрогнул.

«Что это значит? — мелькнуло в его уме. — Он становится дерзок… Его надо проучить… Я это сделаю сегодня же…»

Мысли его, однако, тотчас же приняли другое направление.

«Я увижу ее… я буду говорить с ней…» — замечтал он.

Сердце его усиленно билось. Занавес в это время тихо опускался.

Начался разъезд, с его обычной сутолокой в коридорах и вестибюле театра и выкрикиванием кучеров у подъездов.

Николай Герасимович Савин, одетый в военную николаевскую шинель и бобровую шапку, вышел из театра в группе балетоманов и двинулся вместе с ними к «театральному подъезду», как технически называется подъезд, откуда выходят артисты и артистки театра.

Гофтреппе шел сзади всех и при выходе из театра перекинулся шепотом несколькими словами со стоявшим в подъезде дежурным участковым приставом, видным мужчиной, служащим до сих пор в петербургской полиции и носящим историческую фамилию.

Пристав кивнул головой и не спеша отправился за группой балетоманов.

Последние уже были у театрального подъезда, когда пристав, ускорив шаги, подошел к Савину и тихо дотронулся до его плеча.

— Николай Герасимович, на два слова… — тихо сказал он.

— Вы меня?.. — остановился тот, удивленно смерив глазами полицейского офицера.

— Да, вас, именно вас… на два слова…

— Хорошо, но только поскорей… Что вам нужно? — торопил Савин, с тревогой видя, что из подъезда уже показываются закутанные женские фигуры.

«Это она… наверное она!» — мелькнуло в его уме.

— Я, Николай Герасимович, как мне это не неприятно, должен вас арестовать… — бесстрастно прошептал пристав.

Удар грома, наверное, не поразил бы так Савина, как эти тихие слова полицейского офицера.

Савин бросил растерянный взгляд на театральный подъезд.

«Это она! Это она!» — в последний раз мелькнуло в его уме.

Это было на одно мгновение. Он вспомнил сказанные ему слова стоявшим около него полицейским приставом.

— Арестовать… меня… За что?.. Это ошибка… Почему сейчас?.. — растерянно заговорил он.

— Вы сосланы административным порядком в Пинегу!.. — тихо, серьезным тоном отвечал пристав.

— В Пинегу… Пинегу… Что такое Пинега?.. — бормотал Николай Герасимович. — Я не пойду…

Он двинулся было вперед, но пристав загородил ему дорогу.

— Я дам свисток… Лучше без скандала поедемте со мной в участок, — внушительным шепотом сказал полицейский офицер.

В это самое время от театрального подъезда откатило несколько троечных саней и промелькнуло мимо Николая Герасимовича и пристава.

В одних из саней, на которых упал свет фонаря, среди сидевших двух дам и двух кавалеров Савин узнал Гофтреппе и Маргариту Гранпа.

Злобная усмешка торжества змеилась, как и в театре, на губах молодого офицера. Теперь Николай Герасимович ее понял.

Судорожным движением запахнув шинель, он произнес сдавленным голосом, обратившись к приставу:

— Так в участок?..

— В участок… Очень жаль… Но что делать… долг службы прежде всего…

— Едемте… — прохрипел Савин.

— Пожалуйте… — указал полицейский офицер на уже подъехавшие ранее собственные сани.

Николай Герасимович твердой походкой пошел к саням и сел первый, пристав быстро примостился рядом и крикнул:

— Пошел, в участок!

Трудно описать весь ужас, охвативший молодого человека, которому нежданно-негаданно говорят, что он арестован и именно в тот момент, когда вся душа его, все его существо пылало одним желанием, одною мыслью о свидании с любимой женщиной.

Савин сидел, как окаменелый. В приказании пристава кучеру последний раз слух Николая Герасимовича резнуло слово «участок». Затем на него напал какой-то столбняк от промелькнувшей мысли, что он арестован, что его везут как арестованного в тот самый участок, к которому он по всему складу его жизни не мог не чувствовать отвращения, даже почти презрения.

Чтобы понять это, читателю необходимо поближе познакомиться с героем нашего повествования и со всем складом его жизни до описанного нами его неожиданного и непредвиденного им ареста. Это мы и сделаем в следующей главе.

III
Детские годы

Отец нашего героя — Герасим Сергеевич Савин в молодости был лихой кавалерист, в том, почти ныне позабытом, лучшем значении этого понятия.

Беззаветно храбрый, чуткий до щепетильности в вопросах чести и долга, с широкой русской душой и не менее широкой русской удалью, Герасим Сергеевич, однако, рано вышел в отставку, питая с молодости страсть к сельскому хозяйству, а свою храбрость

и удаль всецело вложил в охоту, которой посвящал все свободное от хозяйственных занятий время.

Собственник нескольких громадных имений в разных губерниях, он переезжал из одного своего поместья в другое, везде оглядывая все зорким хозяйственным взглядом и всюду являясь грозою не только для своих старост, но и для волков, лисиц и зайцев, во множестве населявших его собственные леса.

Несмотря на то, что, находясь в положении жениха, он представлял «лакомый кусок» для губернских маменек и доченек и эти последние делали на него облавы не хуже и не искуснее тех, которые он делал на «лесного зверя», Герасим Сергеевич был счастливее последнего и долгое время благополучно ускользал от цепей Гименея.

Его ближайшие родственники, иные с грустью, другие с радостью, и все в общем с тревогой уже думали, что он останется вечным холостяком, как вдруг на сороковом году Герасим Сергеевич влюбился в свою дальнюю кузину, семнадцатилетнюю девушку и, со свойственной ему стремительностью, сделал предложение и женился.

Кочевая по разным имениям жизнь, проводимая им до свадьбы, прекратилась, и молодые поселились в родовом гнезде фамилии Савиных, в селе Серединском Боровского уезда Калужской губернии, проводя, впрочем, несколько зимних месяцев в Москве, где у Герасима Сергеевича был дом у Никитских ворот.

Фанни Михайловна Савина, славившаяся в половине и конце сороковых годов в Москве своею выдающеюся красотою, была женщиною развитою и умною, очень набожной и так же, как и ее муж, чрезвычайно доброй.

Избалованная светскими удовольствиями и выдающейся ролью, играемой ею в обществе, окруженная толпой раболепных поклонников и немых обожателей, она в чаду великосветских успехов осталась верна своему долгу не только жены, но и матери, и когда сыновья ее: Сергей, герой наш — Николай и Михаил стали подрастать, почти отказалась от света и всецело отдалась воспитанию детей, несмотря на то, что была в это время в полном расцвете женской красоты.

Таковы в сущности должны быть женщины-матери, но, видно, понятие о них в наше время позабыто даже более, нежели понятие о лихих кавалеристах.

Особенно много беспокойства доставлял ей любимец ее отца — Коля, шалости которого были подчас до того буйны и неукротимы, что окончательно ставили в тупик добрую и кроткую женщину.

Потеряв нескольких детей, Фанни Михайловна положительно дрожала за здоровье и жизнь оставшихся в живых сыновей. Между старшим и вторым было девять лет разницы, и в этот-то период она потеряла пятерых детей, умерших вскоре после их рождения.

Понятно, что сын Николай, за которого боялись, что он также не выживет, как его братья и сестры, сделался кумиром своих родителей и мать берегла его, как зеницу ока. Родившийся через два года сын Михаил уже казался родителям не столь верно обреченным на раннюю смерть.

Идол отца и матери, баловень всех домашних, маленький Коля, конечно, пользовался исключительностью своего положения с чисто детским неразумением. Живой характер от природы обратился сначала в шаловливый, а затем прямо в необузданный и неукротимый.

Для любящих родителей это прогрессирование дурных наклонностей сына произошло, по обыкновению, незаметно. Они оба опомнились только тогда, когда исправление было затруднительно или даже почти невозможно, особенно при домашнем режиме, где ребенок уже привык к своеволию, не ставя ни в грош, ни отца, ни мать, ни многочисленных учителей и гувернеров, приглашенных для его образования.

Мальчику уже шел двенадцатый год, когда, наконец, и Фанни Михайловна согласилась с мужем, что ее любимец окончательно отбился от рук и его надо воспитывать вне дома.

Возник вопрос о том учебном заведении, которому выпало бы на долю исправить неисправимого шалуна. Как отставной военный, Герасим Сергеевич стоял за корпусное воспитание.

— Там, матушка, его быстро сократят, дисциплина — великое дело, только военная выправка и может сделать из него человека и достойного дворянина, — говорил Савин-отец. — Там, наконец, развито товарищество, которое тоже пригодится ему в жизни… — добавлял он.

— Нет, уж как хочешь, Герасим Сергеевич, — Фанни Михайловна звала всегда своего мужа по имени и отчеству, — а не отдам я Колю в твои казармы, выйдет он оттуда неотесанным чурбаном с прескверными манерами, да к тому же и неучем…

— Фанни… Фанни… Как неучем? — возразил Герасим Сергеевич. — Разве я уже такой неуч и неотесанный чурбан? — с улыбкой посмотрел он на жену.

— Ты, ты другое дело, — нежно трепала его Фанни Михайловна по щеке. — Ты моя прелесть и исключение, а все же я сперва, когда ты был моим женихом, тебя боялась…

— Меня… Боялась… Отчего же?

— Вид у тебя был такой отчаянный… Впрочем, я, кажется, за это тебя и полюбила…

Герасим Сергеевич удивленно разводил руками.

— Вот и пойми женщин! — патетически восклицал он.

— Нет, Герасим Сергеевич, ты там какие мины ни строй, а в корпус я Колю не отдам. Кадет… фи… Я не хочу, чтобы он был кадетом…

— Куда же, матушка, мы его денем?

— В императорский лицей… в Петербург.

— Почему это ты выбрала именно лицей? — недоумевал Савин-отец.

Фанни Михайловна вспыхнула.

— Еще девочкой я любила танцевать с лицеистами, приезжавшими в отпуск на праздники, они все были такие чистенькие, благовоспитанные, франтоватые, — отвечала она.

— Вот оно что!.. — улыбнулся Герасим Сергеевич.

Разговоры, подобные приведенному, возобновлялись не раз. Если женщина захочет, то поставит на своем — эта поговорка оправдалась, и Фанни Михайловна победоносно отбила у мужа право распорядиться судьбой своего Коли по своему усмотрению и отдать его в лицей.

Судьба нашего героя таким образом попала в зависимость от женщины. Но этого мало, другая женщина изменила это решение, что еще более отразилось на его судьбе.

Этой другой женщиной была его бабушка — Татьяна Александровна Савина, московская аристократка, статс-дама и представительница разных московских благотворительных учреждений.

Как истая москвичка, она была усердная читательница «Московских ведомостей» и рьяная почитательница стоявших во главе этого университетского издания М. П. Каткова и П. М. Леонтьева.

За год перед окончательным разрешением вопроса о поступлении Николая Савина в Императорский лицей, в Москве Катковым и Леонтьевым был учрежден лицей, называвшийся в первое время своего существованию «Катковским».

Москва до небес восхваляла порядки и метод обучения этого юного детища московских отцов классицизма, и Татьяна Александровна Савина была, конечно, сторонницей этого учебного заведения.

На сына своего Герасима Сергеевича и его жену знатная и богатая старуха, уважаемая всей родовитой и чиновной Москвой, имела большое влияние, и так как к тому же она очень любила своего внука Колю, то решение его судьбы по приезде в Москву семейства Савиных было предоставлено на ее одобрение.

Старушка не одобрила.

— В Петербург да в Петербург, дался вам этот Петербург, вольнодумец-город, выскочка-город… — начала она обычную в устах москвичей филиппику против приневской столицы.

Неизменно носимый ею черный чепец с желтыми лентами, прикрывавший седые букли, сильно закачался, что служило признаком необычайного волнения.

— От добра добра не ищут… У нас в Москве теперь свой лицей — не чета петербургскому, сам Михаил Никифорович наблюдает за воспитанием детей, а у него глазок-смотрок на отличку…

Разговор происходил в гостиной в обширном доме Татьяны Александровны на Тверском бульваре.

Герасим Сергеевич, отказавшись от мысли отдать сына в военное учебное заведение и предоставив право выбора воспитательного для него учреждения Фанни Михайловне, отнесся безучастно к новому проекту своей матери относительно поступления его в Катковский лицей.

Фанни Михайловна, вполне надеявшаяся, что ее выбор учебного заведения для Коли заслужит одобрение бабушки, так как последняя не раз сама высказывалась против военных учебных заведений, не ожидала возражений и, что называется, опешила.

— И что за радость, отправлять ребенка в это болото, испарения которого губительно подействуют на его молодой организм… Болото ваш Петербург, настоящее болото, не говоря уже о том, что там и взрослые задыхаются в тине бюрократизма… — продолжала между тем волноваться старушка. — То ли дело здесь, в Москве, и я здесь,

и вы зимой наезжаете, по праздникам ко мне и к вам в отпуск приходить будет, связи с семьей не будут разрушены, а из Петербурга-то в год раз или два удастся его сюда на несколько деньков залучить… Отца и мать, и меня старуху позабудет, а мне недолго осталось ждать и им любоваться, ох, недолго.

— Что вы, матушка… — вставил Герасим Сергеевич.

— Что я, стара, сынок, а два века не живут… — слезливо заморгала глазами Татьяна Александровна.

— А ведь, маман, пожалуй, права! — обратился к жене Герасим Сергеевич. — Я сам слышал много хорошего о здешнем лицее.

Перспектива не разлучаться с сыном на очень долгое время улыбалась и самой Фанни Михайловне, а название «лицей», тоже носимое вновь открытым московским учебным заведением, и похвалы его порядкам, которые она слышала от мужа и его матери, довершили остальное.

— Что же, я не прочь последовать совету maman и отдать Колю в Катковский лицей, — после минутного раздумья сказала она.

Глаза старушки Савиной прояснились — она вся засияла.

— Вот этого я тебе никогда не забуду, нынче не так-то скоро слушают старых людей! Ты у меня золото — умница.

Татьяна Александровна привлекла к себе Фанни Михайловну и несколько раз ее поцеловала. Таким образом, судьба маленького Коли была перерешена этими двумя женщинами, и через несколько дней он сделался воспитанником Катковского лицея.

IV
В юнкера!

Катковский лицей в первые годы своего существования, то есть в конце шестидесятых годов, помещался в Москве, на Большой Дмитровке, в том самом доме, где ныне огромный электрический фонарь освещает по вечерам вход в один из разнузданных московских кафешантанов, известный под именем «Salon de Variete», или, попросту говоря языком московских «саврасов», «салошки».

Да не подумает дорогой читатель, что, сопоставляя чисто классическое учебное заведение со своего рода воспитательным для московских «матушкиных сынков» учреждением, мы имеем какую-нибудь заднюю мысль. Ничего кроме чисто топографического указания места, где помещалась первая школа, в стенах которой начал свою

отдельную от родительского крова жизнь Николай Савин — не заключается в вышеприведенных строках.

Нельзя сказать, чтобы строго классический режим лицея благотворно повлиял на бурную натуру мальчика.

Способный и хорошо подготовленный, он учился с успехом, но еще большие успехи выказывал в изобретении и исполнении всевозможных шалостей, сошедшись с отъявленными шалунами-товарищами и сделавшись их коноводом.

Начальством принимались все меры строгости, но тщетно.

Одной из главных причин неукротимости нрава Коли было продолжающееся, или лучше сказать, еще увеличивавшееся баловство дома, то есть у бабушки, к которой молодой лицеист ходил в отпуск по праздникам.

Татьяна Александровна, после того как ее любимый внук сделался питомцем «рассадника государственных людей», как называли Катковский лицей в Москве, учрежденный двумя кумирами, положительно не чаяла души в Коле и не знала, чем одарить его и чем побаловать на праздник. Денег щедрая бабушка давала ему, что называется, вволю.

Прошло около двух лет.

Одновременно с классицизмом, как известно, на Руси народилась оперетка, с легкой руки тоже классической «Прекрасной Елены».

Юный лицеист Савин тратил деньги, даваемые ему его бабушкой, между прочим и на театр, к которому страшно пристрастился.

Каждый праздник он был то в одном, то в другом московском театре.

«Прекрасная Елена» произвела на него неотразимое впечатление, и мальчик, перевидев ее много раз, знал наизусть мотивы этой бесспорно прелестной оперетки.

В лицее в это время, для вящего упражнения учеников в познаниях по классическим языкам, затеялся домашний спектакль на латинском языке.

В костюмах древних римлян лицеисты должны были декламировать на специально построенной для этого сцене длиннейшие стихи.

Долбежка ролей мучила мальчиков, как всякое скучное зубрение, и была им очень не по нутру.

Молодой Савин недолюбливал, как и многие, классических языков и, получив от учителя громадную в несколько страниц роль

на латинском языке, вдруг выкинул одну из своих школьных проделок, которая, впрочем, имела роковые для него последствия и была последнею в стенах лицея.

— А знаете, господин учитель, мне кажется, что можно бы и не учить эту роль?

— Почему? — воззрился на него сквозь очки почтенный педагог.

— Да зачем мне учить ее, когда я и без этих длинных стихов знаю кое-что наверно лучшее, чем это, из классического репертуара, — отвечал Савин.

— Что вы можете продекламировать мне классического? — заинтересовался учитель.

Недолго думая, четырнадцатилетний мальчик во весь голос и очень правильно запел:

Мы все невинны от рожденья,
И нашей, честью дорожим!
Но ведь бывают столкновенья,
Когда невольно согрешим!

— Что?! — при гомерическом хохоте всего класса, не хуже Савина знавшего «Прекрасную Елену», воскликнул учитель, быстро сошел с кафедры и вышел из класса.

Прибежал директор лицея Павел Михайлович Леонтьев и «любителя оперетки» посадили в карцер.

Но скандал этим не кончился.

Выходке мальчика придали значение чуть ли не преступления. По решению классических менторов, Николая Савина очень реально выпороли. Балованный, своенравный и в высшей степени самолюбивый мальчик, он был страшно потрясен таким уничижающим человеческое достоинство наказанием и, недолго думая, бежал к бабушке.

Татьяна Александровна, оповещенная уже дирекцией лицея о поступке ее внука и той каре, которой он подвергся, встретила его сначала со всею возможною для доброй старушки строгостью — черный чепец с желтыми лентами усиленно около четверти часа качался из стороны в сторону — и заявила, что сейчас же отправит его обратно в лицей.

Слезы и рыдания огласили спальню бабушки — Савин успел вырваться из лицея на другой день после экзекуции рано утром и застал старушку еще в постели — и произвели свое впечатление.

Татьяна Александровна сильно разохалась и разахалась, и уступила горячим протестам внука, заявившего ей категорически, что он снова убежит из лицея, но уже не к ней, а к отцу с матерью в Серединское.

Бабушка решила оставить его у себя, написала родителям, и кончилось тем, что с мальчиком поступили по первоначальному проекту Фанни Михайловны и несколько месяцев спустя, в декабре 1868 года, отвезли в Петербург, где он и поступил в императорский лицей.

Петербургский лицей, в смысле окончания в нем образования для Николая Савина не был удачнее московского, хотя в нем он пробыл несколько долее, а именно — три года.

Латинский язык, из-за которого он провалился при переходе из второго в третий класс, и страсть к оперетке и шансонетке и здесь были роковыми для него причинами.

В начале семидесятых годов в Петербурге был в большой моде театр «Буфф», в котором пели в то время производившие страшный фурор Жюдик и Жанн Гранье.

Начальство лицея, конечно, нашло неудобным для своих воспитанников посещение этого излюбленного всем петербургским светом театра, помещавшегося близ Александрийского, и строго запретило лицеистам быть в этом храме оперетки и шансонетки.

Но сладость запретного плода, прелести Жюдик и начинавшая бушевать молодая кровь — все влекло туда, и лицеисты, несмотря на запрещение, переодевались в штатское платье и были усердными поклонниками «несравненной», как называли тогда Жюдик.

Одним из самых заядлых завсегдатаев «Буффа» был Савин.

В один из далеко не прекрасных для последнего воскресных вечеров 1871 года он вместе со своим товарищем, Михаилом Масловым, сидел в первом ряду «Буффа», что было запрещено даже в других, не находившихся под начальственным запретом театрах, как вдруг, в антракте, подходит к молодым людям известный в то время блюститель порядка в Петербурге Гофтреппе, в сопровождении полицейского офицера.

— Ваши фамилии, господа?

Савин и его товарищ сказали.

— Запишите! — кивнул блюститель сопровождавшему его офицеру.

— А позвольте узнать вашу фамилию? — обратился к нему Савин.

— Как, разве вы меня не знаете? Я — Гофтреппе!

— Миша, запиши… — тоном блюстителя обратился Савин к Маслову.

Ближайшие свидетели этой сцены расхохотались.

Гофтреппе удалился весь красный.

Этот анекдотический эпизод с быстротою молнии облетел в этот вечер театр «Буфф», а на другой день весь Петербург, сделавшись злободневным анекдотом.

Петербург смеялся.

Лицейское начальство, впрочем, оказалось не из смешливых.

Савина посадили сперва в карцер, а по обсуждении вопроса об его переэкзаменовке по латинскому языку, признали в нем соединение лености с дурным поведением и предложили его родным взять его из лицея.

Так окончилось научное образование нашего героя — балованного сынка богатых и родовитых родителей.

Традиционного участью того времени для русского юноши, неудачника в школе, был юнкерский мундир, а следовательно, и дальнейшая карьера Савина определилась словами — «в юнкера»!

Два класса лицея давали ему права средних учебных заведений, и он мог поступить юнкером в гвардию.

Для самого Савина этим осуществлялась его заветная мечта. Он горел желанием поступить в военную службу и, быть может, не вмешайся в его судьбу две дамские прихоти, сперва его бабушки, поклонницы «Московских ведомостей», а затем его матери, хранившей в своем сердце воспоминание о танцах с миловидными и чистенькими лицеистами, по той дороге, которую определил ему отец, при корпусном воспитании, его жизнь сложилась бы иначе и несомненные способности и духовные силы, таившиеся в этом пылком юноше, получили бы другое направление.

Но, видно, в книге судеб было написано, что женщины, от колыбели до могилы, должны играть в его жизни роковую роль.

Они и сыграли ее.

Вопрос об избрании рода оружия не мог иметь места. Все Савины искони веков были кавалеристами.

Таким образом, 12 марта 1872 года недавний Коля, теперь уже Николай Герасимович Савин, облекся в мундир и доспехи одного из блестящих гвардейских полков.

V
Прежде и теперь

Не прошло и четверти века с того времени, к которому относится наш правдивый рассказ, а между тем жизнь Петербурга начала семидесятых годов сравнительно с настоящей представляется почти фантастической.

Метаморфоза эта произошла на наших глазах и до того исподволь, что только сравнивая последние годы, мы ясно видим, какая глубокая пропасть легла между тогдашним и нынешним Петербургом за эти какие-нибудь двадцать лет с небольшим.

Да и с одним ли Петербургом случилась за это короткое время в России такая редкая перемена?

К худу это или к добру — решать этот вопрос здесь не место и не время, скажем лишь, что в то близкое, но кажущееся таким далеким от нас время жить было легче и веселее, хотя нельзя отрицать, что жизнь эта не могла назваться серьезной, а тем более полезной.

Существует мнение, что перемена эта произошла постепенно, вследствие объединения общества, вследствие исчезновения свободных капиталов.

Не то было, повторяем, каких-нибудь двадцать, двадцать пять лет тому назад, — жизнь кипела ключом, била через край и разливалась широкой волной по всему Петербургу, юноши, со школьной скамьи уже так или иначе хлебнувшие этой одуряющей влаги, бросались сломя голову в жизненный водоворот.

Особенно шумно и весело текла жизнь расположенных в столице гвардейских полков. Представители их вместе со штатскою «золотою молодежью» составляли контингент так называемого «веселящегося Петербурга».

Молодой Савин, попав в эту среду, очутился в той сфере, к которой он был приготовлен домашним баловством, выбором школьных товарищей и развитыми слишком преждевременно жизненными вкусами.

В то время юнкера служили на старых правах, были приняты в обществе офицеров и жили с ними на товарищеской ноге.

Поэтому Николай Герасимович, представившись начальству в первый день своего зачисления в полк, на другой же — отправился с визитами к офицерам.

Большинство из них жило на частных квартирах, а потому Савину пришлось исколесить из конца в конец весь город.

Между прочим он заехал к своему товарищу по лицею, недавно выпущенному в корнеты того же полка, Михаилу Дмитриевичу Маслову, который повез его завтракать к Дюссо.

Ресторан Дюссо находился на Большой Морской и был сборным пунктом того полка, в который поступал Николай Герасимович.

После каждого учения здесь собирались все, от полковника до юнкера. Для офицеров сохранялось всегда несколько кабинетов, носивших название полка.

Вечером носили сюда полковой приказ для прочтения ужинающим офицерам; вообще, Дюссо был своего рода клуб, rendez-vous всего полка.

По приезде к Дюссо, они застали там большое общество молодых офицеров, которым Михаил Дмитриевич представил Савина.

Он был принят, и новые товарищи, поздравляя его с поступлением в полк, один за другим предлагали ему выпить брудершафт.

От брудершафта, вообще, не принято отказываться — отказываться же пить брудершафт со своими офицерами было уже совершенно немыслимо.

По числу находившихся за столом офицеров Николаю Герасимовичу пришлось выпить семнадцать бокалов шампанского и в результате очутиться дома, в комфортабельно и уютно меблированной квартире на Караванной, в постели, на попечении лакея, от которого он только и мог узнать на другое утро, что его привезли домой господа офицеры.

Такому внутреннему омовению вином должен подвергаться, по полковому обычаю, каждый новичок.

Впоследствии ему самому не раз приходилось участвовать в таком же спаивании молодого корнета или юнкера, поступившего в полк, и отвозить его мертвым телом к нему на дом.

Подобному же обряду омовения шампанским подвергали с добавлениями и вариантами каждую новую шикарную кокотку, появлявшуюся в офицерском кружке.

Полковая жизнь того времени в гвардии не представляла вовсе собою военной жизни.

Хотя офицеры и сходились ежедневно в полку на ученье и в манеже, но зато остальное, свободное от занятий время отдавали вполне светской жизни и кутежам.

Товарищи по службе встречались чаще на балах, в театре, у Дюссо, чем в самом полку.

Основным местопребыванием офицеров полка, в который попал Савин, был, как мы уже говорили, ресторан Дюссо.

Он служил главным звеном соединения всех офицеров.

Здесь праздновали полковые и эскадронные праздники, тут чествовали счастливцев с повышением и наградами, устраивали проводы уезжающим по разным причинам и, наконец, просто кутили с французскими и другими кокотками.

Попав в этот водоворот светской и полусветской полковой жизни, молодой Савин окунулся в него буквально с головой.

Вскоре о подвигах его и его товарища юнкера Хватова, в полку было тогда всего два юнкера, стали ходить по Петербургу целые легенды, кстати сказать, почти не прикрашенные.

Яков Андреевич, так звали Хватова, был сын богатого откупщика, получивший от отца состояние в несколько миллионов, нажитых на поприще российского отравления сивухой.

Круглолицый, краснощекий и необыкновенно тучный для своих лет, он производил впечатление чистокровного пижона.

Еще до поступления в полк, он появился в среде кутящей петербургской молодежи и бросал огромные деньги на лошадей.

Поступив в полк, он дал великолепный обед товарищам, на который выписал цыган из Москвы, а после обеда сделал выводку своей действительно замечательной конюшни в зал, превращенный в манеж.

С этим-то Хватовым и подружился Савин.

Дни проходили за днями в беспрерывных попойках, кутежах, в ухаживании за актрисами и тому подобное.

Естественно, что познания в военном деле от этого не подвигались, и на экзамене в Николаевском кавалерийском училище Савин блестяще провалился.

Этот образ жизни требовал к тому же денег без меры.

Пятисот рублей в месяц, которые Николай Герасимович получал из дома с первых же дней поступления в полк, не хватало порой на один вечер.

Явилась «золотая нужда», а с нею долги, векселя, бланковые надписи за товарищей, и таким образом за полтора года службы Савин сделал долгов на полтораста тысяч.

Кредиторы стали напоминать о себе все чаще и чаще, что и заставило его после неудачного экзамена поехать к отцу в деревню и принести повинную.

Герасим Сергеевич, пожурив сына, заплатил его долги, но в Петербург назад не пустил, а заставил подать прошение о переводе в гродненские гусары как полк, где живут скромнее, да и расположенный не в Петербург, а в Варшаве.

Пока ходило по инстанциям прошение об этом переводе, Герасим Сергеевич с сыном поехал в Москву.

В белокаменной Николай Герасимович снова окунулся в веселую столичную жизнь.

Море шальных денег и в Москве било широкой волной.

Там кутило богатое молодое купечество, около которого группировались, со свойственною московскою неразборчивостью, и великосветские денди первопрестольной столицы.

Ареною таковых кутежей служил вновь открытый ресторан «Славянский Базар», отделанный с невиданной в Москве оригинальностью, с огромным бассейном, где плавали аршинные стерляди, а подчас и подгулявшие франты, и «Эрмитаж», славившийся своими обедами — это были убежища на день.

Ночью к услугам «веселящейся Москвы» широко распахивали свои двери загородные рестораны «Яр» и «Стрельня», последний со своим тогда знаменитым по всей России хором цыган под управлением Хлебникова.

Шампанское, хотя и не особенно высокой марки, — говорят, что для Москвы приготовляется особое за границей, — лилось рекой.

Наконец, перевод Николая Герасимовича в гусары состоялся.

С тяжелой головой от последнего прощального кутежа он выехал по московско-брестской железной дороге к месту нового своего служения.

Вещи и лошади сына были высланы ранее предусмотрительным Герасимом Сергеевичем.

VI
В Варшаве

Варшава первой половины семидесятых годов, как и Петербург, представляется бывавшим в ней в то время совершенно иною, нежели нынешняя Варшава.

Польское противостояние всему русскому было в ней почти повсеместно, несмотря на суровый урок, незадолго перед тем данный польским «политическим фантазерам». Польский говор слышался повсюду, и к лицам, заговаривавшим в публичных местах, театрах, ресторанах, цукернях и огрудках[18] по-русски, относились если не совершенно враждебно, то крайне пренебрежительно, — над ними прямо глумились даже ресторанные гарсоны, очень хорошо понимавшие по-русски, что оказывалось тотчас же при получении хорошей платы «на чай», но притворявшиеся непонимающими и заставлявшие русского, или, по их выражению, «москаля», по часам ждать заказанного стакана кофе, не говоря уже о кушанье.

В цукерне Лурса, например, одному приезжему русскому, приказавшему подать себе кофе со сливками, лакей подал кофе и на тарелке слив, пользуясь тем, что сливки по-польски «сметанка», и он-де не понял посетителя.

Появившиеся по распоряжению свыше переводы на русский язык польских вывесок над магазинами и ресторанами тоже дышали в большинстве явной и злой насмешкой над государственным языком; так в окне одного из ресторанов в Краковском предместье красовалось объявление: «фляки господарски», а внизу перевод: «хозяйские внутренности».

Это мелочи, но по этим мелочам можно было судить о настроении города, имевшего в то время совсем иную, нежели теперь, политическую, если можно так выразиться, окраску.

В течение четверти века из польского города Варшава обратилась в русский, чему, конечно, немало способствовало разумное управление краем путем сближения русского общества с польским.

Войска, стоявшие в то время в этом городе, держались обособленно от горожан, и большинство их, а также и гусарский полк, в который поступил Николай Герасимович Савин, расположены были

---

[18] Загородных садах.

не в самой Варшаве, а в предместье Лазенках, отстоявшем от центра города в двух-трех верстах.

Это расположение полка, а также и его традиции налагали на полковую жизнь особый отпечаток тесного товарищества. Офицеры были всегда вместе, жили одной семьей, клуб же связывал их еще больше. Натянутых товарищеских отношений, часто встречавшихся в петербургских гвардейских полках, не существовало, и даже разгульно-гусарские кутежи носили чисто семейный характер.

Несмотря на такое обособленное положение военных, жизнь их все же текла в почти беспрерывном веселье.

Николай Герасимович, со свойственным ему увлечением, отдался всем прелестям Варшавы, во главе которых стоял балет, насчитывающий тогда в своих рядах массу прелестных балетничек. Лихая тройка, которую он завел вскоре после его приезда в Варшаву, приводила в восторг веселых паненок — жриц Терпсихоры, и катаясь на ней, они забывали всю свою ненависть к «москалям» и всему русскому.

Женщины, всегда игравшие первую роль в истории Польши, и теперь уже начинали делать почин сближения с русскими и далеко не враждебно относились к ухаживанию поклонников-москалей.

Кутежи Савина и его ухаживания за красивейшими женщинами Варшавы скоро сделали его известным всему городу.

Быстро летело время, незаметно промелькнули еще полтора года.

Варшавская рассеянная жизнь все же оставляла возможность несколько заниматься, и Николай Герасимович успел приготовиться к офицерскому экзамену и, сдав его, был произведен, наконец, в корнеты.

Этот служебный успех вскоре, впрочем, омрачился грозными тучами.

Долги — эта петербургская болезнь Савина — появились у него и в Варшаве. Быть «веселящимся варшавянином» оказалось почти так же накладно, как и «веселящимся петербуржцем».

Кутежи и ухаживания за балетничками стоили много денег, а ловкие пауки-ростовщики, к которым приходилось обращаться, успевали незаметно для заимодавца накидывать на него свою паутину в форме переписки векселей, сумма которых возрастала в их искусных руках с какою-то чисто волшебною быстротою.

К страсти к женщинам присоединилась еще начавшаяся в Варшаве страсть к карточной игре, очень развитой в полку, где служил Николай Герасимович.

Человек крайностей по своей натуре, Савин не умел класть пределов своим увлечениям, втянулся в карты и делил свое время между женским будуаром и зеленым столом.

Счастливый в любви, он, согласно известному правилу, не был счастлив в картах и то и дело проигрывал крупные куши, все более и более влезая в неоплатные долги.

Игра в долг страшно нервировала его, всякая малость приводила, его в раздражение, почти в ярость.

Начались неприятности и скандалы.

Через несколько месяцев, по производству в корнеты, у Николая Герасимовича, жившего в казенной квартире в казармах полка, находившихся, как мы уже упоминали, в предместье Варшавы, в Лазенках, собралась вечером компания офицеров.

Шла игра в баккара.

За карточным столом, под большой висячей лампой сидело восемь офицеров-игроков, утолявших жажду карточного волнения шампанским.

Вдруг перед столом выросла, как из-под земли, приземистая, невзрачная фигурка рыжего еврейчика в засаленном лапсердаке.

Это был полковой портной Данилка.

Такие неожиданные появления поставщиков-евреев в офицерских квартирах были далеко не редкость. Им были должны все и они зорко караулили момент застать офицера при деньгах.

Никакие меры против них не действовали — они пробирались и прокрадывались мимо прислуги и неожиданно, как и в этот раз, появлялись перед своими должниками.

— Я зе к вам, ясновельможный пан Савин… Не мозете ли вы мне отдать мои пенендзы… Ривка моя совсем разнемоглась… Хайка-доцурка… лежит тозе больная, хоть беги до пана доктора… В доме зе нет и ни ломаного злота… — заговорил Данилка, кланяясь в пояс Николаю Герасимовичу.

— Пошел вон, денег нет!.. — крикнул на него тот.

— Как зе так можно, что у пана денег нет, когда пан играет в карты! Я знаю, что у пана тысячи в кармане, а бедному Данилке всего надо триста рублей, — произнес еврей.

— Пошел вон, говорят тебе!.. — вскочил рассерженный Савин.

Данилка, однако, не трогался с места, продолжая бормотать на своем жаргоне. Имена Ривки и Хайки то и дело слетали с его уст.

— Так ты не хочешь уйти!.. — окончательно вспыхнул Николай Герасимович. — Ну, так погоди же, я тебя сейчас застрелю, как собаку…

С этими словами Савин схватил лежавший на письменном столе револьвер, заряженный холостыми патронами для ученья, и прицелился в Данилку.

Тот, на удивление всех, даже не попятился.

— Не уходишь… — вскрикнул Николай Герасимович. Одновременно с этими словами раздался выстрел.

От сотрясения воздуха висевшая над столом лампа погасла, а когда ее зажгли, то увидали Данилку лежащим без чувств на полу.

Все присутствующие, не исключая Савина, невольно вздрогнули. У всех, как и у него, мелькнула одновременно мысль, не попал ли по ошибке боевой патрон вместо холостого.

Бросились к Данилке, подняли его, положили на диван, раздели, всего осмотрели — ни царапины.

Послали за полковым доктором, который, явившись, констатировал сильнейший обморок.

Данилку отнесли к нему на квартиру, — с ним сделалась от испуга нервная горячка.

Эта шутка, имевшая такие печальные последствия, конечно, принесла Николаю Герасимовичу много неприятностей.

Все случившееся не могло не дойти до командира полка, не говоря уже о том, что Савину пришлось щедро заплатить Данилке за лечение и убытки, понесенные им во время болезни.

Когда же он выздоровел и снова появился в полку, то очень комично объяснил случившееся:

— Я знал, что пан Савин шутит, и что пиштолет не заряжен, когда же он выштрелил, я все-таки спигался и впал… Открыв один глаз, я хотел уже встать, как вдруг гляжу — темно, тогда я подумал, что я вже умер и так сильно спигался, что со мной сделалось вдурно…

Этот случай не послужил, однако, уроком сдержанности для Савина.

Не прошло и месяца, как у него произошло новое столкновение с одним из евреев.

Это был маляр Ицко Швейнауге.

Он взялся провести разные работы в конюшне Николая Герасимовича, которую последний задумал отделать довольно затейливо. Стойла и денники красились под дуб, потолок под мрамор, приборы и шары ставились медные.

Швейнауге перебрал у него множество денег, а отделка конюшни не подвигалась вперед, несмотря на настойчивые требования Савина.

Наконец, кое-как стойла были отделаны, но краска не сохла очень долго, между тем лошадям Николая Герасимовича было тесно и неудобно в эскадронной конюшне, и он выходил из себя.

Осматривая работы, он убедился, что краска не сохнет вследствие дурного ее качества. Ицка же уверял противное, утверждая, что все уже высохло, и после ухода Савина уговорил его кучера поставить для пробы серого «Визапура» в стойло.

Придя на другое утро, Николай Герасимович увидел свою любимую лошадь, сплошь выпачканную желтой масляной краской, которую и смыть было почти нельзя.

Узнав же, как было дело, он окончательно взбесился и напустился на Швейнауге, почуявшего бурю и от страха забившегося в самый темный угол конюшни.

— Так это ты устроил эту пакость! Ах ты негодяй! Конюшню всю изгадил, а теперь еще лошадь мне испортил…

— Да, нечего сказать, изукрасил «Визапура», — заметил один из двух пришедших к Николаю Герасимовичу товарищей.

— Изгадил лошадь в конец, проклятый жидюга, — вставил второй.

— Ну, Ицка, за твое нахальство я тебя накажу твоей же паршивой краской! Взять его! — крикнул Савин своим конюхам и рейткнехту. — Вешайте его на этот крюк и выкрасите его самого.

Солдаты и кучера, довольные случаем потешиться над жидом, быстро бросились исполнять его приказание, подвесили Швейнауге на вожжах под мышки на фонарный крюк и длинною кистью быстро выкрасили с головы до ног желтой краской.

Барахтаясь в воздухе, Ицка вопил благим матом.

Его крики и вопли долетели до офицерского собрания и канцелярии полка, оттуда пришли офицеры, и хотя хохотали до упаду, но уговорили Николая Герасимовича велеть снять Швейнауге с импровизированной виселицы.

Вне себя от ярости, Ицка с места побежал к командиру полка и не удовольствовавшим этим, кинулся в город жаловаться оберполицеймейстеру, представ перед обоими начальствующими лицами в том виде, в каком был снят с фонарного крюка, то есть сплошь вымазанный желтой краской.

За эту проделку Савин высидел три дня на гауптвахте.

Подобные скандальчики, в связи с все возрастающими неоплаченными долгами, привели Николая Герасимовича к необходимости оставить полк, подав прошение об отставке.

С горьким чувством расстался он с ним и с Варшавой и отправился в отпуск в Петербург, чтобы там выждать получение указа об отставке.

В Петербурге ожидали его две встречи, роковым образом отразившиеся на всей его последующей жизни.

Он влюбился и совершил первое преступление… но не будем предупреждать событий.

VII
На берегах Невы

Петербург, после более двухлетнего отсутствия, Николай Герасимович нашел таким же, каким и оставил.

Мы говорим, конечно, не о внешнем его виде, почти сплошь построенном из долговечного камня и гранита, а о его внутренней жизни и, главным образом, о жизни того круга общества, в котором вращался Савин перед переходом в Варшаву.

Остановившись в «Европейской» гостинице, он стал посещать свой старый полк и товарищей, которые приняли его с распростертыми объятиями.

Большая часть товарищей Николая Герасимовича все еще были юнкерами, и во главе их царил все тот же Яша Хватов.

Он сделался положительно известностью Петербурга, по своей разгульной жизни и расточительности, а еще более по своей фигуре.

Хотя ему было только двадцать лет, но он расплылся до необъятной толщины, и лицо его, лишенное растительности, было похоже на полнолуние.

Этот-то бочкообразный юнкер появлялся везде и выкидывал штуки, до того времени неслыханные в Петербурге.

Своими выездами и лошадьми он до того намозолил глаза начальству, что вышел приказ, запрещавший юнкерам ездить иначе, как на извозчиках.

Яша Хватов, однако, не сдался; он немедленно взял в думе несколько извозчичьих ярлыков и, прибив их ко всем своим экипажам, с прежним треском стал показываться на Большой Морской и на Невском в обычные часы катанья.

Роскошные экипажи с извозчичьими номерами, прибитыми на самом видном месте, невольно обращали всеобщее внимание.

Посмеялись этой выходке и махнули на него рукой.

Жил Хватов на Пантелеймоновской, близ Моховой, и занимал один целый дом, а на дворе помещались его знаменитые конюшни, каретные сараи и манеж.

Квартира его была похожа скорее на ресторан или клуб, чем на частное помещение.

Лакеев, гайдуков, карликов у него был целый взвод, и все они были одеты в ливрейные костюмы.

Сам Хватов дома одевался в генеральскую форму и все его величали «ваше превосходительство».

Товарищи, в особенности юнкера, были у него как дома, ели, пили, даже спали без всякой церемонии.

Все это рассказал Николаю Герасимовичу его закадычный друг Михаил Дмитриевич Маслов, встретивший по телеграмме своего приятеля на Варшавском вокзале и поехавший с ним в карете в Европейскую гостиницу.

Савин очень заинтересовался этим рассказом, заставил Маслова продолжать его в номере гостиницы, наскоро переодевшись из дорожного платья и заказав завтрак.

Приятели сидели в ожидании этого завтрака на удобном турецком диване и курили сигары.

— Когда же он будет произведен? — спросил Савин, продолжая разговор о Хватове.

— Не знаю. Он теперь освобожден от полковых занятий, так как готовится к офицерскому экзамену. Да какие это занятия? — засмеялся Михаил Дмитриевич.

— И как это ему все сходит с рук… Вот что значит независимое состояние… — вздохнул Николай Герасимович, вспомнив о своем положении в последнее время в полку.

— Да разве это одно, то ли еще ему сходит и сходило… — заметил Маслов. — Я тебе не рассказал и десятой доли…

— Что же еще?

— Что?! Компания подобралась у них очень теплая… Я и многие офицеры перестали бывать… Прямо предосудительно. А с ними юнкера, офицеры из пехотных полков, несколько штатских — отчаянных буянов, и всеми коноводит Хватов и князь…

— Какой князь?

— Карноухов… помнишь?..

— Помню, помню…

В это время лакеи на двух серебряных подносах внесли кушанья, вина и приборы.

Приятели умолкли и через несколько минут сели за накрытый стол и дымящиеся кушанья.

— Рассказывай, рассказывай… — проговорил Николай Герасимович, когда первый голод был утолен и приятели выпили по стакану душистого «Шамбертена».

— Взяв, как я уже тебе рассказывал, — начал Маслов, — извозчичьи ярлыки, Хватов придумал воспользоваться ими для новой забавы, и вот, накупив извозчичьих троечных и одиночных саней, он с компанией запрягают их по вечерам и выезжают на Невский. Посадят там какого-нибудь господина и везут в противоположную сторону той, куда он нанял. Седок ругается, импровизированный извозчик хохочет и наконец выталкивает седока и удирает… Ну и забавно…

— Верно, что забавно, — заметил Савин.

— В большинстве же эти извозчики-дилетанты собираются у театральных подъездов, чтобы развозить актрис, причем главное старанье прилагают к тому, чтобы разлучать мужей с женами, увозя каждого в противоположные стороны… Говорят, что несколько увезенных жен, с их согласия, попадали в «штаб-квартиру», как они называют квартиру Хватова…

— Молодцы ребята! — вставил Николай Герасимович.

— Не оставляют они в покое и гимназисток старших классов при выходе из гимназии, и из них некоторые тоже, как слышно, не миновали «штаб-квартиры»… а одна так туда совсем переселилась на житье и завела амуры с князем… И теперь живет у Хватова… После езды дилетанты-извозчики собираются в «штаб-квартиру» и рассказывают свои похождения… Кто что чудней придумал.

— И не надоедает им, однако, это? — спросил Савин.

— Отчего надоесть… Они разнообразят удовольствия… Несколько вечеров извозничают, а то садятся в тройки и летят по городу из конца в конец, бьют стекла в окнах саблями и палашами, скандал, свистки полиции, а они на лихих лошадях уезжают в карьер; а то примутся тушить уличные фонари особо приспособленными для того палками…

— А ведь это, Маслов, превесело!.. — воскликнул оживившийся Николай Герасимович.

— Как кому… По-моему, безобразие.

— Ну, ты известный служака… — захохотал Савин. — Мы, кажется, потому с тобой и приятели, что крайности сходятся…

— Может быть… — отвечал Михаил Дмитриевич.

— Нет, ты расскажи еще… — приставал к нему Савин.

— Ишь тебя разбирает… Кажется, сейчас бы ты полетел бить стекла и тушить фонари, несмотря на то, что надел офицерский мундир.

— Скоро придется его снять… — вздохнул Николай Герасимович.

— Что так?

Савин в кратких словах рассказал ему свои варшавские злоключения.

— Скверно, голубчик, — заключил он. — Поневоле, чтобы забыться, будешь бить стекла, да фонари тушить…

— Что же ты думаешь делать… К отцу?..

— Конечно, к отцу… Но что обо мне… Одна грустная канитель… Порасскажи-ка лучше еще что-нибудь о Хватовской компании.

— Да что же еще рассказать… Разве вот, когда ты мне сейчас рассказывал, как ты жида желтой краской вымазал, то я вспомнил, что они эту штуку у тебя предвосхитили и давно практикуют.

— Как так?

— Да так… По дороге на острова, в «Ташкент» или «Самарканд», — это их излюбленные места кутежей, — заезжают на Петербургскую или Выборгскую сторону, разыщут дом, где происходит какая-нибудь вечеринка, именины или свадьба… Дома там низенькие… Остановятся, двое выйдут из экипажа и постучат в окно… Открывается обыкновенно форточка и в нее показывается голова какого-нибудь расфранченного чиновника с вопросом на лице. В один миг один схватывает его за волосы, а другой приготовленной заранее

щеткой с ваксой или копытною мазью мажет злосчастному франту лицо, потом вскакивают в тройки и только их и видели…

— Ха, ха, ха… — неудержимо хохотал Николай Герасимович. — Хороша должна быть картина появления из форточки вымазанного кавалера, еще молодого мужа, пожалуй.

— Ты, братец, неисправим, — покачал головою Маслов, — и я, не будучи пророком, могу предсказать, что через несколько дней ты будешь в их компании…

— Сказал тоже, — недовольным тоном возразил Савин, — но довольно о них и переменим разговор. Что театр, что «Буфф»?..

— Какой там «Буфф», о «Буффе» почти позабыли… Теперь здесь новый храм искусства, с позволения сказать… — презрительно усмехнулся при последних словах Михаил Дмитриевич.

— Это ты о театре Берга?.. Я слышал в Варшаве…

— Еще бы, слава о нем идет не только по всей России, а по всему миру… Недаром говорит пословица: «Добрая слава лежит, а худая бежит».

— Интересные есть сюжеты…

— Очень, надо сознаться… Филиппо способна своими песенками воскресить мертвого, Blanche Gandon со своею «La chose» делает юношей дряхлого старика. Недаром весь Петербург съезжается теперь к Бергу по вечерам… Седина и обнаженные от волос головы блестят по всему театру вперемежку с золотом военной молодежи… Старички покровительственно относятся к молодым людям и даже оказывают им своего рода содействие.

Маслов горько усмехнулся.

— Однако ты совсем стал моралистом… — вставил слово Савин в филиппику своего приятеля.

Маслов не слыхал этого замечания и продолжал:

— Мой дядя, заслуженный старик, на днях изрек следующий приговор театру Берга: «Ce n’est que quelque chose de piquant, un passetemps agréable de moments perdus. Les franèaises sont si drôles, si amusantes, qu’ont pent leur pardonner tous les entraînements qu’elles causent»[19]. Это освежает, mon cher, — прибавил он, — пусть мои

[19] Это только нечто пикантное, остроумное, приятное препровождение свободных минут. Француженки так милы, так забавны, что им можно простить многие их выходки.

сыновья лучше идут к Бергу, чем знакомятся с Базаровым, Ренаном и другими пакостями, которые их сделают нигилистами… Мои двоюродные братцы, — закончил свой монолог Михаил Дмитриевич, — конечно, далеки от посещения Берга по принципу, в них кипит жизнь, бушуют страсти и им каждый омут по вкусу…

— А ты-то там бываешь? — спросил его между тем Николай Герасимович.

— Заезжаю иногда… Больше ведь некуда, там все…

— А-а… — произнес Савин. — Поедем сегодня…

— Пожалуй…

— Так я распоряжусь послать за билетами.

— Это надо заранее, вечером в кассе висит неизменный аншлаг: «Билеты все проданы».

Николай Герасимович позвонил и, приказав убрать со стола, сделал распоряжение, чтобы на этот вечер ему достали два кресла первых рядов у Берга, не стесняясь в цене, у барышника, если нет в кассе.

Лакей произнес стереотипное «слушаю-с» и удалился с подносом и посудой.

Приятели еще несколько времени провели в приятной беседе, темой для которой служила та же петербургская злоба дня.

Савин со своей стороны восторженно описывал Маслову прелести варшавской жизни и миловидность и веселость польских балетничек.

Наконец Михаил Дмитриевич простился и уехал, обещав заехать за Николаем Герасимовичем перед театром.

Савин остался один.

VIII
Без любви

Николай Герасимович после ухода Маслова несколько раз прошелся по комнате, затем сбросил с себя тужурку и лег на тот самый турецкий диван, на котором только что сейчас вел беседу со своим приятелем.

Странное впечатление произвела на него эта беседа.

В то время, когда Михаил Дмитриевич говорил, Савин с интересом слушал все подробности похождения Хватовской компании, и даже — он сознавал это — с таким интересом, что Маслов был прав, говоря, что он сейчас бы готов принять в этих похождениях

живое участие. При описании Масловым прелестей театра Берга, Николай Герасимович с наслаждением думал, что в тот же вечер ближе, как можно ближе, познакомится с «рассадником русского беспутства», как называл этот театр его приятель.

Личность рассказчика не играла тогда никакой роли для слушателя: Савину было совершенно безразлично, как относился Маслов ко всему передаваемому им, а главное, почему он, его товарищ, выработал такие отношения к явлениям жизни, которые представлялись ему, Николаю Герасимовичу, такими заманчивыми и увлекательными.

Только после ухода Михаила Дмитриевича Савин вдруг задал себе этот вопрос и стал ломать над ним свою голову.

Эта непривычная для него работа была мучительна.

Муки эти усугублялись еще тем, что Николай Герасимович как-то вдруг понял, что во всей только что окончившейся беседе с Масловым, он, Савин, играл далеко не достойную роль, что Михаил Дмитриевич смотрел на него сверху вниз, со снисходительным полусожалением, что тон, с которым он кинул ему пророчество о том, что не пройдет и нескольких дней, как он, Савин, появится в Хватовской компании, был прямо оскорбительный.

Вся кровь бросилась в лицо Николая Герасимовича.

Быть оскорбленным — тяжело, но быть справедливо оскорбленным — еще тяжелее.

Сознавать превосходство над собой оскорбителя — невыносимо.

Савин же испытывал два последние тяжелые сознания.

Он как-то инстинктивно понимал, что Маслов имеет нравственное право так говорить ему и так относиться к нему.

Почему? — этот вопрос оставался для него открытым.

Его-то, вдруг, до боли, до физической боли захотелось разрешить Николаю Герасимовичу.

Среда, воспитание, служба — все эти условия жизни были одинаковы как для него, так и для Михаила Дмитриевича.

Почему же он, Савин, прав, тысячу раз прав Маслов, с удовольствием будет бить стекла в окнах, тушить фонари по улицам, мазать физиономии чиновников-франтов копытною мазью, а Маслов, Маслов делать этого не будет.

«Пустота жизни!» — пронеслась в голове Николая Герасимовича шаблонная фраза, служащая оправданием шалопаев.

«Пустота жизни! — Может быть это и верно… Но его и моя жизнь одинаковы, — продолжал рассуждать мысленно сам с собой Савин. — Чем наполняет он ее, эту пустоту?»

«Службой…» — вот что первое пришло ему в голову.

Он вспомнил, что еще во время разговора, видимо под влиянием зародыша мучившего его теперь вопроса, он назвал Маслова «служакой».

Нет, гвардейская и особенно кавалерийская служба оставляет массу свободного времени, которого положительно некуда деть и которое поневоле образует эту пустоту, являющуюся, как до сих пор был убежден Николай Герасимович, причиной кутежей и безобразий вроде тех, которые позволяют себе Хватов с компанией.

Савин откинул этот ответ, как не выдерживающий критики.

«Науками, военными науками… Уж не готовится ли Маслов в академию…» — мелькнуло в уме Николая Герасимовича.

Это было, однако, менее чем на мгновение.

Савин даже расхохотался от этой мысли.

Еще в лицее Маслов не отличался способностями и прилежанием, был феноменальным лентяем, офицерский экзамен сдал с грехом пополам и, как говорили тогда, даже по протекции.

Какая тут академия!

Чем же наполнил он эту пустоту жизни? Почему он сделался даже моралистом и сверху вниз смотрит на него, Савина, и на других, подобных ему прожигателей жизни, для которых наслаждения мгновениями составляют цель жизни, а цепь этих мгновений — самую жизнь. Какие, более серьезные, жизненные цели знакомы Маслову и почему они не знакомы ему, Савину?

«Семейная обстановка? — несется в голове Николая Герасимовича. — Но ведь Маслов, как и я, был привезен отцом, служащим в Сибири, в лицей и оставлен одиноким, у него нет даже — он говорил ему — ни сестер, ни братьев, в Петербурге есть родственники, но и у него, Савина, они есть…»

Николай Герасимович даже вспомнил, что надо к ним еще сегодня заехать с визитом, вынул из маленького кармана рейтуз часы и посмотрел на них…

Был третий час в начале.

«Еще успею!» — подумал он, не поднимаясь с дивана, видимо не желая расстаться еще с неразрешенным вопросом.

Не семейной, значит, обстановкой заполняет свою жизнь Маслов! Чем же? Чем?

«Чувством!.. Любовью!..» — вдруг осенило Николая Герасимовича.

Он как-то вдруг разом понял, что это именно так, что он наконец нашел искомое.

— Он любит, — проговорил он даже вслух и как-то невольно повторил это слово:

— Любит!

«Я никогда еще не любил…» — со вздохом подумал он, и все лицо его, выразительное, красивое, подернулось вдруг дымкой грусти.

Николай Герасимович стал припоминать свои отношения к девушкам и женщинам с самой ранней юности, чуть ли не с отрочества, даже с детства.

Среди воспоминаний последнего перед ним промелькнул образ мадемуазель Эрнестины, высокой, стройной француженки, его первой гувернантки, даже, пожалуй, бонны… Он припомнил ее грациозную походку, плавные движения, матовый цвет лица, оттеняемого как смоль черными волосами, и большие карие глаза… Ему было восемь-девять лет и он обожал ее… Он по целым часам глядел на нее, затаив дыхание. Ей он обязан превосходным знанием французского языка, он с любовью учился у нее ее родному говору, прислушиваясь к чарующей музыке ее речей… Ее взгляд, обращенный на него, приводил его в трепет; когда она, чтобы приласкать, сажала его к себе на колени, он весь дрожал от волнения… Он не мог объяснить себе этого чувства — он говорил, что он обожает мадемуазель Эрнестину. Это обожание заметили отец и мать, замечали соседи, они смеялись над ним, называя его «влюбленным». Детское сердце до боли сжималось от этих шуток над его чувством. Он стискивал свои кулачонки, чтобы скрыть готовые брызнуть из глаз его злобные слезы. Когда мадемуазель Эрнестина, прожив три года, уехала за границу, он был неутешен, не хотел слушаться новой гувернантки, старушки Пикар, и с того времени начались проявления его несдержанности, прямо необузданности — черты, которые — он сам сознавал это — остались до сих пор в его характере.

Перед Николаем Герасимовичем восстало время, проведенное им в Москве перед переходом в гусарский полк.

В Москве в то время все знали двух хорошеньких сестер Баум, за которыми бегала вся московская молодежь.

Сестры Баум бывали везде и особенно часто их можно было встретить на балах и вечерах дворянского собрания и на модном тогда катке Фомина.

Звали их просто по именам, Тиночка и Эммочка.

Представленный на балу в дворянском собрании, Николай Герасимович стал бывать в доме их матери, толстой немки, с сильно подведенными глазами, и вскоре сделался неразлучным спутником прелестной Тиночки.

Шестнадцатилетняя красавица овладела его сердцем, и он отдался страсти слепо, без рассуждений. Пылкий по натуре и необузданный по нраву, он влюбился, что называется, по уши.

Да и было в кого. Прелестная, высокая, стройная и замечательно красивая девушка была умна, приветлива и без всякой натянутости, так свойственной московским барышням.

Темные волосы окаймляли красивое матовое с правильными чертами лицо; носик с горбинкой был изумителен, темные большие глаза смотрели так нежно, и пухленькие алые, сулящие страсть, губки прикрывали два ряда жемчужных зубов.

«Это-то была наверное любовь, первая, чистая!» — думал Николай Герасимович, восстанавливая, как мы видели, в своем воображении чудный образ пленившей его девушки.

Она как живая стояла перед ним.

«Была ли это любовь?» — снова задал он себе вопрос и, несмотря на то, что еще так недавно разрешил его утвердительно, теперь, обдумав, изменил свое решение.

Нет и нет… это была только страсть, брожение молодой крови. Любовь не излечивается покупными лобзаниями.

«Я никогда не любил…» — закрыл лицо руками Николай Герасимович.

«Пустота жизни — это жизнь без любви…» — *сделал* он вывод из всего им передуманного.

IX
Катька-Чижик

Театр Берга был действительно набит, что называется, битком. Савин и Маслов приехали в половине первого отделения. Филиппо

только что спела свое знаменитое «L'amor» и театр положительно дрожал от аплодисментов и буквально стонал от криков «браво», «bis» и «фора».

Николай Герасимович и Михаил Дмитриевич прошли в первый ряд кресел среди этого бушующего моря голов с шевелюрами всех оттенков, между которыми, впрочем, преобладала седина и порой совершенное отсутствие шевелюры.

Всех почти, кого встретили они в первых рядах партера, они знали, если не лично, то по фамилиям — это были сливки мужской половины петербургского общества, почтенные отцы семейств рядом с едва оперившимися птенцами, тщетно теребя свои верхние губы с чуть заметным пушком, заслуженные старцы рядом с людьми сомнительных профессий, блестящие гвардейские мундиры перемешивались скромными представителями армии, находившимися в Петербурге в отпуску или командировке, изящные франты сидели рядом с неотесанными провинциалами, платья которых, видимо, шил пресловутый гоголевский «портной Иванов из Парижа и Лондона»; армяне, евреи, немцы, французы, итальянцы, финны, латыши, татары и даже китайцы — все это разноплеменное население Петербурга имело здесь своих представителей.

Приманкой для всей этой «смеси одежд и лиц, племен, партий, состояний» — служил персонал исполнительниц.

Большая часть шансонеток пелась на французском языке парижскими бульварными певицами, приехавшими за русскими рублями.

Их лихой, бравурный шик, остроумный, доходящий до грации, цинизм, хорошо гримированные, хорошенькие, пикантные личики исполнительниц, более чем откровенные костюмы — все это разжигало страсти даже пресыщенных и устарелых людей и туманило головы молодежи.

Француженки были все на содержании или искали содержателей, обнаруживая при этом изумительные таланты, не столько на сцене, сколько за кулисами, умением вскружить головы всем, кто, так или иначе, попадал в их набеленные ручки.

Корифейки пристраивались к старичкам-капиталистам, заурядные отдавались молодежи. Любовники и содержатели были известны всем завсегдатаям театра и отношения их к содержателям были на виду, у всех.

Все было, как говорят в Сибири, «за всяко просто».

Между сценой и зрительной залой существовала несомненная связь, к сожалению, не духовная.

В театре собственно было мало театрального.

Причину колоссального успеха и ежедневного полного сбора надо было искать в том, что неизбалованные петербуржцы воспринимали эротический наркоз при одном появлении на сцене полуобнаженного цинизма и им было все равно, в каком бы диком и необузданном разгуле он не проявлялся.

В то время, когда Николай Герасимович в первый раз посетил театр Берга, он уже только носил фирму своего основателя.

Сам Берг, нажив солидный капитал, бросил антрепризу, и театр стал переходить из рук в руки, от одной певицы к другой.

Конечно, антреприза велась на средства любовников, и первым после Берга антрепренером был знакомый нам Яков Андреевич Хватов для своей содержанки Антуанетты.

Последняя была, собственно, второстепенная шансонетная певица, но положительно умирала от зависти к своим подругам, имевшим успех на сцене, или, как Филиппо и Бланш Гандон, пристроившихся к богатым сановным старичкам.

Но «певичка Антуанетта» была смела и предприимчива, а Хватова нашла денег больше, чем у все-таки несколько сдерживавшихся старичков, а устроить временную прочность связи и подчинить себе всегда полупьяного любовника для нее, как и для каждой француженки, прошедшей огонь и воду и медные трубы еще в родной Франции, было делом нетрудным.

Чем затея была оригинальнее и новее, тем более она привлекала такие натуры, какою отличался самодур новейшей формации Хватов.

Ему было всякое море по колено и на всякое дело у него были деньги.

Стоило поэтому Антуанетте подзадорить Якова Андреевича как он не задумываясь сделался антрепренером театра Берга.

Однако, управление театром, да и самим Яшей, Антуанетте вскоре наскучило и нажившись достаточно, директриса уехала с берегов Невы на берега Сены менять рубли на франки и экю.

В момент описанного нами приезда Савина в Петербург и первого посещения театра Берга антреприза его принадлежала русской певице Екатерине Ивановне Сергеевой, известной под прозвищем Катька-Чижик.

Эта Катя было своего рода петербургскою известностью.

Простая работница одной из прачечных в Подьяческой, он пала шестнадцати лет и пошла по торной дорожке «жертвы общественного темперамента».

Характерной чертой Кати была погоня за деньгами… «Денег, денег и как можно больше» — было ее постоянным девизом.

Еще до поступления на сцену театра Берга, будучи простой уличной авантюристкой, с манерами прачки, но с хорошеньким, пикантным личиком, всегда веселой и задорной, она целыми днями кочевала одна или с переменными подругами из трактира в трактир, оригинальничала, заходила в бильярдные — всюду и всегда имея одну цель «поймать чижика», как она сама прозвала трехрублевую бумажку, составлявшую тогда предел ее мечтаний.

Отсюда и пошло ее прозвище.

Большая часть таких «милых, но погибших созданий», к которым принадлежала Катька-Чижик, существа в высшей степени несчастные.

Они тяготятся тем образом жизни, который им выпал на долю, ведут эту жизнь с отвращением и лишь настолько, насколько это неизбежно, чтобы иметь скудный кусок насущного хлеба.

Иначе смотрела на избранную ею карьеру Катька.

Она обратила свое поведение в строго определенную цель наживы и смотрела на себя, как на машину, пущенную в ход, чтобы возможно больше добыть денег.

Был ли это расчет или мания — трудно ответить на этот вопрос, но, во всяком случае, это было явление исключительное.

То же стремление к наживе проявилось в ней и тогда, когда какой-то господин из персонала мелких служащих театра Берга пристроил ее в хористки. У нее был голос приятного тембра, был слух, она вскоре сумела перенять непринужденно-вызывающую манеру держать себя у берговских француженок, и таким образом, не имея ровно никакого сценического дарования, была неотразима и имела громадный успех, что доказывалось массой поклонников, забросавших ее деньгами.

Через два-три года после прачечной Катя-Чижик уже имела некоторые сбережения и вдруг сделалась очень разборчива в выборе между своими обожателями.

Среди них был, между прочим, колоссально богатый, чувственный и очень юный граф, Егор Петрович де Дибюисон, или, как его называли в кругу петербургской золотой молодежи, «граф Жорж».

Сметливая от природы, Катя поняла, что с влюбленного юноши она может сорвать больше своею недоступностью, нежели получала с других за свою доступность, и начала свою искусную игру.

Граф Жорж мучился холодностью бывшей уличной авантюристки, положительно потерял голову и готов был на всякую безумную выходку, чтобы добиться взаимности очаровавшей его женщины, разжигавшей в нем страсть и ревность своей почти явной благосклонностью к другим.

Он привязался к ней не на шутку.

Катя тоже поняла это, как поняла и то, что карман графа очень и очень объемистый и туго набит предками-эмигрантами, веками умножавшими состояние рода.

Судьба графа решена была в двух словах.

«Или я хозяйка у Берга, или прощай!» — сказала ему Катька-Чижик.

Ответ, конечно, последовал ожидаемый ею.

Граф был «весь ее».

Катя, никогда не имевшая даже порядочной комнаты, почти не бывавшая дома, из грязи трактиров и номеров мелких гостиниц вдруг очутилась в роскошной квартире собственного дома на Караванной, отделанной по графскому вкусу, ничуть не потерялась, а напротив, быстро свыклась со своим положением и вошла в роль домовладелицы и директрисы театра.

Она сразу остепенилась.

Мысль наживы, бывшая рычагом всей ее жизни, нашла себе другие проявления — она занялась сама всецело театром и заняла им своего «графчика».

Последний привязался к ней так, что готов был на ней жениться, но от этого отклоняла его сама Катя да своевременное вмешательство старших офицеров того полка, в котором он служил юнкером.

Связи с певицами от Берга, впрочем, нередко завершались браками, и не один блестящий гвардеец увез в свои родные поместья супругу с подмостков театра Берга.

Оставаться с шансонетными супругами в полках и даже в Петербурге было, конечно, невозможно, и парочки улетали в провинцию,

где состояние и положение в свете мужей открывало новым дамам двери во все дома и где «берговские певички» щебетали вскоре в ролях предводительниц, супруг почетных мировых судей и других представительниц провинциального boeau monde'а.

Антреприза Катьки-Чижик была лучшим временем процветания театра Берга.

Мы поспешили воспользоваться временем, когда в театре происходили шумные овации по адресу Филиппо, повторявшей без конца, по требованию публики, заключительные куплеты своего знаменитого «L'amour» и ушедшей наконец со сцены, грациозным жестом указывая на утомление горла, чтобы познакомить читателя с Катькой-Чижик, которой суждено играть в нашем дальнейшем рассказе некоторую роль.

Типичное явление того времени, она, как и театр Берга, послуживший почвой для ее полного расцвета, и без того, впрочем, стоило бы описания.

После Филиппо был ее выход.

Она появилась грациозная, с кошачье-вкрадчивыми манерами, со смеющимся личиком, вся в белом, в короткой юбочке и откровенном декольте, дававшем возможность судить о ее сложении, в огромной белой шляпе, оттенявшей блестящие волосы, играя своими веселыми, искрящимися глазами и запела.

Николай Герасимович с любопытством глядел на нее, так как Маслов рассказал ему о ней все то, что известно нашим читателям из этой главы.

X
Выгодное пари

Михаил Дмитриевич Маслов действительно оказался пророком. Пророчество его исполнилось раньше, нежели он назначил.

Из театра Берга Маслов уехал один. В одном из последних антрактов Николай Герасимович, куда-то в предшествовавшие антракты исчезавший, обратился к Михаилу Дмитриевичу.

— Будь другом, исполни мою просьбу…

— Что такое?

— Отужинаем вместе после театра.

— С охотой… Пойдем… Куда?..

— Куда? Конечно, за город… И с дамами… — добавил, после некоторой паузы, Савин и внимательно, с тревогой, посмотрел на своего приятеля.

— Вот как с дамами, ты уже обзавелся… Быстро… Ну, будь потвоему, пожалуй, и с дамами, — после некоторого раздумья согласился Маслов.

— Так и пойдем всей компанией… — уронил будто невзначай Николай Герасимович.

— С компанией?.. Может с Хватовым? — резко спросил Михаил Дмитриевич.

— И… с ним… — с расстановкой, покраснев, произнес Савин. — Да что тебе, ты со мной…

— Нет, слуга покорный… не поеду…

— Как же так?

— Поезжай один… Чай, не маленький… Что я тебе за нянька такая…

— Но мы почти целый день вместе… Я не хочу с тобой расставаться…

— Увидимся… — махнул рукой Михаил Дмитриевич. — Кстати, пойду откланяюсь моему дядюшке, тому самому, который, как я тебе рассказывал, из принципа возит сюда своих сыновей.

Маслов отошел от Николая Герасимовича и скрылся в толпе. На последнем отделении он не явился в партере.

— Удрал… — подумал Савин, и какая-то тяжесть, показалось ему, свалилась с его плеч.

Маслов был ему не пара, и его присутствие тяготило, смущало.

«Счастлив в любви, ну и сиди дома, — с насмешкой подумал он, — а мы, мы поедем “играть в любовь”, это, пожалуй, даже лучше, нежели всерьез…»

Николай Герасимович горько усмехнулся.

Савин действительно уже обзавелся дамой, собственно «обзавелся» — выражение не совсем точное, так как певица, которой он увлекся, принадлежала к исключительным явлениям театра Берга — она была замужем.

Последнее обстоятельство было бы, впрочем, с полгоря, если бы супруг не находился почти безотлучно около своей законной половины, а ее чрезвычайно симпатичный голосок и врожденный шик,

который она умела вкладывать в исполняемые ею неуклюжие, часто коробившие откровенным цинизмом ухо «русские шансонетки», были источником его благосостояния. К чести супруга следует сказать, что другие стороны, кроме артистической, не входили в его определение доходности супруги.

Это знали «завсегдатаи» театра Берга, и на ужины приглашали и его, как неизбежное зло.

В общем он был все-таки очень покладист и на ухаживания и даже довольно двусмысленные заигрывания с женой смотрел сквозь пальцы, охраняя лишь свои супружеские на нее права, своеобразно понимая их нарушение лишь окончательным ее падением.

Симочка, как звали эту певицу подруги, или Серафима Николаевна Беловодова, была грациозная миниатюрная блондинка, с тем льняным цветом волос, который, и то редко, бывает у маленьких девочек и чуть ли в единичных случаях сохраняется у взрослых. Тонкие, нежные черты лица, правильный носик и пухленькие губки, несмотря на то, что Симочке шел двадцать четвертый год, придавали ей вид девочки, и лишь большие темно-карие, почти черные глаза, горевшие бедовым, много сулящим огоньком, красноречиво выдавали в ней женщину.

Симочка, как и Катька-Чижик, попала на сцену, не готовясь к ней, хотя сферы общества, из которых они вышли, чтобы встретиться на театральных подмостках, были совершенно противоположны.

Серафима Николаевна происходила из почтенной семьи потомков обрусевших шведов. Отец ее был чиновник, но рано умер, оставив многочисленное семейство на руках матери.

Два сына, из которых один находился в военной службе, а другой в гражданской, не могли особенно много помогать матери, так как их скудного жалованья едва хватало на удовлетворение их личных потребностей, а потому Агриппина Кирилловна — так звали мать — чтобы кое-как воспитать и пристроить своих дочерей, открыла в Петербурге меблированные комнаты.

Дело пошло довольно удачно, и семья не бедствовала.

Дочери подрастали, старшая вышла замуж за банковского чиновника, вторая — которая и была Симочка, порхала неутомимо на танцевальных вечерах Благородного собрания, ища свою судьбу.

Третья была застенчивая дикарка и сидела дома за домашним рукодельем, в котором дошла до необычайного искусства.

В Благородном собрании и отыскалась действительно судьба Симочки в лице Андрея Андреевича Беловодова, выдававшего себя за богача и чуть ли не вельможу — он, по его словам, разыскивал утраченное «графство».

Ветреная Симочка увлеклась и признала его не только «графом», но и владетельным князем своей особы.

Свадьба была сыграна и вскоре наступило разочарование. У молодого супруга, кроме долгов и замашек к кутежам, не оказалось ничего, ни родового, ни благоприобретенного, и Агриппина Кирилловна должна была уделять на пропитание молодым крохи из своей мизерной пенсии.

Всегда полный разных проектов и планов, Андрей Андреевич не удерживался более месяца на службе, которую ему выхлопатывали ради жены, общей любимицы всех ее знавших, и наконец занялся пресловутой «театральной агентурой», которая давала ему возможность кутить с артистками и их поклонниками в то время, когда его жена сидела дома на хлебе и колбасе.

Одним из его проектов — единственно удавшимся — было вывести на сценические подмостки жену, сперва, как мы уже сказали, в роли «дамы напрокат» фокусников и, наконец, в роли «шансонетной певицы».

«Театральный агент» ликовал — в театре Берга Симочка зарабатывала хорошо и даже получала, с разрешения мужа, подарки от поклонников.

Ее саму — это было видно — тяготила эта опека эксплуатирующего ее супруга, она не прочь была и пошалить, но Андрей Андреевич внушал ей какой-то панический страх.

«Как посмотрит он на меня пристально, точно меня всю пронизывает… — рассказывала она подругам, по поручению вздыхателей, уговаривавших ее “пошалить”. — Страшно очень… да и куда от него укроешься, ведь как тень ходит…»

В голосе ее слышалось раздражение.

Этой-то Симочкой и увлекся в первый же вечер посещения театра Николай Герасимович Савин, с ней-то «играть в любовь» он и поехал из театра с компанией Хватова, других артисток и не покидающим жену Андреем Андреевичем в «Самарканд».

С этого вечера Савин не расставался с «теплой», как называл ее Маслов, компанией Хватова, по целым дням пребывал в «штаб-квартире» и редкие вечера не был в театре Берга и не виделся с Симочкой.

Последняя, видимо, благосклонно принимала ухаживание Николая Герасимовича, но черные глаза ее мужа мощно держали ее в должных пределах.

«Как избавиться от этого черного дьявола!» — восклицал вне себя Савин и начал ломать голову над приисканием этого средства.

«Споить!» — мелькнуло у него в голове.

Но это уже, он знал по опыту, не удавалось. Андрей Андреевич чуть бывало заметит, что ему с целью подливают вина, перестает пить совсем.

Хватов, князь Карнаухов и другие члены «теплой компании» принимали горячее участие в Николае Герасимовиче и всячески готовы были помочь ему завести интрижку с «канарейкой», как звали они Симочку, но «черный ворон» — так прозвали они мужа ее, разрушал все их планы.

Наконец план был составлен.

Придумал его сам Николай Герасимович.

В одно прекрасное утро он явился в «штаб-квартиру».

— Друг Хватов, окажи услугу… и Симочка моя…

— Ну… изволь, говори, что делать… — отвечал тот.

— Устрой завтра после театра пикник у себя в Красном.

— В Красном… Зачем это?..

— Не спрашивай… чудней будет, когда будет для тебя неожиданно…

— Хорошо, будь по-твоему… Сейчас пошлю все устроить и приготовить… придется там заночевать… Эй, люди!.. Дворецкого…

Явившемуся человеку Яков Андреевич отдал соответствующие приказания.

Надо заметить, что в первый же лагерный сбор, по поступлении на военную службу, Хватов не нашел в Красном Селе избы себе по вкусу, а главное конюшни лошадям и, не задумываясь, купил землю и с изумившей всех быстротою выстроил дачу для себя и при ней образцовую конюшню.

Дом состоял из десяти комнат с мезонином, балконом и террасами. Роскошно меблировав ее, он каждый год переезжал в нее во время лагерного сбора — это была летняя «штаб-квартира».

Зимой там был тоже штат прислуги, хотя и значительно уменьшенный.

На эту-то дачу на другой день после спектакля и полетело пять троек с веселой компанией, среди которой была Симочка и Андрей Андреевич.

Роскошный ужин и целая батарея бутылок ожидали гостей на блестяще освещенной и даже иллюминованной даче.

Начался кутеж продолжавшийся почти до утра. Уже забрезжил восток, когда сели пить кофе с ликерами.

Андрей Андреевич совсем, точно мучимый, каким предчувствием, не желавший ехать, был на стороже и пил очень мало.

Хватов и остальные собутыльники с сожалением посматривали на Савина, думая, что он надеялся, что значительно напившийся супруг заснет слишком крепко.

Николай Герасимович загадочно улыбался.

Незаметно он навел разговор на вопрос, кто сколько может пройти пешком, не отдыхая.

— До Петербурга не дойти… — кинул он.

— Вот пустяки… Да я хаживал у себя в деревне за двадцать верст на станцию и обратно, так, шутя, в виде прогулки… — прихвастнул Андрей Андреевич.

Этого только и ждал Савин, ранее слышавший, что Беловодов считает себя отличным ходоком.

— Ну, что вы, батенька, хвастаете… В Петербург пешком, не отдыхая, не дойдете.

— Еще как дойду.

— Пари…

— Что держать пари, все равно проиграете…

— Пари… на триста рублей… Руку… Разнимайте…

— Да… что вы…

— Ага, на попятный…

— Извольте… держу…

Хватов разнял.

Савин вручил триста рублей Симочке, как второй посреднице этого пари.

С рассветом «муж-пешеход» вышел в сопровождении князя Карнаухова, взявшегося проводить его верхом и следить, чтобы он не позволял себе отдыха.

— А как ты, Симочка? — с тревогой осведомился муж.

— Обо мне не беспокойся, я с Марьей Сергеевной… — указала она на одну из подруг-певиц, довольно солидного возраста, которую брали только для счета, за веселый и покладистый нрав и умелое содействие в амурных делах.

— А-а… — сказал Андрей Андреевич и удалился зарабатывать триста рублей.

Проводив Беловодова и князя, остальная компания улеглась вздремнуть, где кому пришлось.

Симочка легла в мезонине, но долго не могла заснуть. Она очень беспокоилась о муже. Ее, как мог, утешал Николай Герасимович.

По возвращении часам к двум дня в Петербург, Савин узнал, что Андрей Андреевич выиграл пари. Он не пожалел проигранных денег.

XI
Первая любовь

Связь Савина с Симочкой Беловодовой была мимолетной.

Как пошаливший ребенок бежит и прячется в темный угол, почти с паническим страхом смотря на запрещенный предмет, с которым только что играл, так и этот взрослый ребенок Симочка стала избегать Николая Герасимовича.

Ничего не подозревавший муж казался ей всезнающим и лишь по неизвестным ей соображениям откладывающим строгое взыскание.

Подруги подтрунивали над нею втихомолку; она дрожала.

— Тише, милые, тише, — не ровен час, услышит…

— Кто? Савин?

— Тише… муж…

— Эка невидаль… Пусть себе слышит на здоровье… Его самого вчера видели, с Антуанеткой ехал…

— Он по делу…

— О, святая простота, по делу… Знаем мы, какие дела могут быть с Антуанеткой… Дура… Строй рога, Савин молод, красив… не такой чумазый как твой… — настаивали подруги…

— Боюсь… милые, боюсь…

— Кого?

— Андрея Андреевича…

— Да что же он сделает?

— Убьет…

— Дура… Ведь ты его содержишь, а не он, так уж и подавно молчать должен, все жены молчат, а он у тебя как бы вроде жены.

— Убьет… Вы его не знаете… Он страшный…

Подруги отступились.

— Дура! — единогласно решили они.

Отступился и Николай Герасимович, преподнеся Симочке в роскошном букете дорогой браслет.

Он, впрочем, кажется менее хлопотал о продолжении связи, чем театральные подруги Беловодовой.

Симочка не принадлежала к тем женщинам, обладание которыми усиливает обаяние. Напротив, увлекающаяся и страстная, она после первых же объятий не оставляла ничего желать — в ней не было той тайны некоторых женских натур — отталкивающего электрического тока, усиливающего притяжение.

Она была вся на ладошке, простая, безыскусная — таких женщин приятно иметь сестрами, но не любовницами.

Быть может, Андрей Андреевич знал это свойство своей жены и прямо с коммерческою расчетливостью не допускал, пагубной для ее обаяния, близости к ней поклонников.

Издали она казалась соблазнительной, ее глаза сулили неземной рай, но увы, глаза являлись несомненно зеркалом ее души, а не тела.

Завсегдатаи же театра Берга едва ли искали души.

Не искал души в женщине и Николай Герасимович, а может быть, и не подозревал ее в тех «общедоступных существах женского рода», с которыми почти исключительно сводила его судьба.

Словом, он отступился без сожаления от робкой Симочки, как огня боявшейся своего мужа.

К этому времени, кроме того, в Хватовской компании произошел раскол: граф Жорж с Катькой-Чижик отделились от нее, всецело занявшись делом — антрепризой театра.

Занятие же каким-нибудь делом и звание члена «штабквартирного кружка» было своего рода нетерпимой в кружке совместностью.

Театр Берга был почти позабыт: жрицы этой своеобразной Мельпомены без всякого ущерба заменены французскими кокотками, после франко-германской войны особенно в большом количестве прибывшими в Россию, в это, по выражению поэта, «наивное царство», где, по доходившим до них слухам, было легко обирать наше будто богатое барство.

Дни летели за днями, или лучше сказать, ночи летели за ночами, так как дни, наперекор общему правилу, в Хватовской компании были назначены для краткого отдохновения, ночи же посвящались всецело делу, то есть оргиям.

Все так восхитившие Савина в рассказе Маслова «кунштюки» Хватовской компании были проделаны и при его благосклонном, как выражаются театральные афиши, участии.

Но всему бывает предел. Даже долготерпению власть имущих…

Проделки, вроде описанных нами, Хватовской компании участились и стали положительно угрожать спокойствию мирных обывателей.

По городу стали ходить положительно целые легенды, конечно, не без прикрас, о похождениях завсегдатаев пресловутой «штаб-квартиры».

На всю «теплую компанию» и участвовавшего в ней в качестве деятельного члена Николая Герасимовича Савина городское начальство серьезно обратило внимание.

Нужно было только несколько капель, которые переполнили бы чашу.

Наступил апрель месяц, первый весенний месяц года, в описываемый нами год, отличавшийся почти майской погодой.

Рассветало. К Строгановскому мосту неслась коляска, запряженная четверкой лихих лошадей.

В экипаже, почти в лежачем состоянии, находились Савин и его товарищ юнкер Муслинов.

По раскрасневшимся лицам и посоловевшим, еле открывавшимся глазам, видно было, что оба они недаром провели ночь на островах.

Въехав на мост, кучер придержал лошадей и поехал, согласно полицейским правилам, шагом.

Вследствие этого с четверкой почти бок о бок поравнялась извозчичья пролетка с двумя неизвестными франтами, тоже, видимо, возвращавшимися с островов в сильных градусах.

Увидев коляску с дремавшим офицером и юнкером, один из франтов толкнул другого в бок.

— Смотри, смотри, вот это и есть те самые пустозвоны, выкидывающие по Петербургу штуки, не дающие покоя добрым людям. Надо бы их хорошенько проучить.

Франт при этом указал тросточкой по направлению коляски. Как ни был пьян Николай Герасимович, но это замечание франта достигло его чуткого уха. Он весь вздрогнул и вскочил.

— Стой! — крикнул он кучеру.

Коляска остановилась.

Савин выскочил из нее в сопровождении ничего не слышавшего, только что пробужденного от сладкой дремоты Муслинова.

— Остановись! — крикнул он извозчику, везшему франтов. Тот послушался приказания офицера.

— Это вы про меня и моих, товарищей осмелились сейчас так выражаться? — подошел Николай Герасимович к сидевшим, как пригвожденным от страха, франтам.

— Караул! Караул!

— Городовой! Городовой!

Эти возгласы последовали вместо ответа.

— Не кричите, отвечайте! — крикнул Савин.

— Оставьте нас, поезжайте вашей дорогой… Мы не хотим иметь дело со скандалистами… Знаем мы вас… Караул! Городовой!

— Ну, Муслинов, — вне себя закричал Николай Герасимович, — надо проучить этих негодяев… Бить их не стоит… Бросим их в воду, пусть они охладятся… и впредь не будут учить и говорить дерзости.

С пьяных глаз пришедшая Савину идея нашла быструю поддержку в товарище.

Схватили они, долго не церемонясь, каждый по штатскому, да и бросили с моста в Неву, благо Строгановский мост невысок.

— Город… Кара…

Эти неожиданные возгласы были прерваны всплеском воды. Собравшийся уже народ и явившиеся городовые не успели не только остановить бросавших, но даже ахнуть. Произошел переполох.

Народ и полиция бросились спасать барахтавшихся в воде франтов и вскоре они были, как оказалось потом, благополучно вытащены, отделавшись холодным купаньем, не повредившим их здоровью.

Герои наши во время переполоха спокойно сели в коляску и уехали.

Но скандал все же вышел грандиозный. Савину и Муслинову пришлось ехать объясняться с Гофтреппе и со своим непосредственным начальником.

Их обоих посадили под строгий арест, но, приняв во внимание сильное опьянение и отсутствие жалобы со стороны потерпевших, ограничились этой дисциплинарной мерой.

— Я вас помню и знаю… — зловеще сказал Николаю Герасимовичу Гофтреппе.

Савин вскоре, впрочем, позабыл эти слова. Он вспомнил их потом.

Скандал этот и арест, однако, несколько остепенили его, он поотстал от компании Хватова, снова стал часто видеться с Михаилом Дмитриевичем Масловым, который наконец посвятил его в тайну своего сердца.

Николай Герасимович не ошибся — Маслов, действительно, любил.

Предметом этой любви была молоденькая кордебалетная танцовщица, только что выпущенная из школы, Анна Александровна Горская.

Темная шатенка, с глубокими вдумчивыми глазами, она производила впечатление не столько хорошенькой женщины, сколько хорошего человека, в смысле безграничной симпатии, возбуждаемой ею с первой же встречи.

Она жила со старушкой матерью на Торговой улице, в небольшой уютненькой квартирке и, конечно, в добавление к своему скудному балетному жалованию, пользовалась помощью Михаила Дмитриевича.

Помощь эта, однако, была очень скромная.

Это происходило не потому, что Маслов не был в состоянии давать больше, но сама Анна Александровна больше не желала этого.

— Я не содержанка, чтобы разорять тебя… Я не хотела бы брать от тебя ничего, но меня заставляет пользоваться твоей помощью только крайняя необходимость… Я люблю тебя не за деньги… — говорила она ему.

Он сначала протестовал, а затем подчинился решительным доводам своей Анны, как он называл ее, и только иногда успевал всучить Фионии Матвеевне — так звали мать Ани — лишнюю сотню рублей.

Та копила эти сотни тайком от дочери, откладывая их на черный день.

Анна Александровна, действительно, серьезно, не «по-балетному», любила Михаила Дмитриевича и последний платил ей тоже искренним чувством.

Он не раз предлагал ей жениться, но благоразумная девушка отклоняла решительно это намерение.

— Это только может испортить твою карьеру, не внеся ничего лучшего в наши отношения… Теперь мы оба служим… а часы отдохновения проводим вместе, без всяких семейных дрязг и недомолвок.

Маслов ввел в квартирку Анны Александровны Савина и в этой-то квартирке последний встретился с девушкой, которой представлено было сыграть роковую роль в его жизни.

Эта девушка была Маргарита Максимилиановна Гранпа.

Ее внешность поразительной красоты уже известна нашим читателям.

Дочь известной русской красавицы и очень красивого француза Максимилиана Гранпа, Маргарита соединила в себе все прелести обоих и, как бывает почти всегда при смешении рас, выросла лучше родителей.

Она незадолго перед этим дебютировала в балете «Голубая героиня».

Ей едва минуло шестнадцать лет.

Николай Герасимович после первых же встреч с Маргаритой у Горской понял, что пустота жизни его наполняется первою любовью к Маргарите Гранпа.

XII
Похищение

Прошло около двух месяцев.

Был теплый вечер конца июня.

На террасе одной из изящных дач Ораниенбаума в креслекачалке сидела Маргарита Максимилиановна Гранпа.

Тот, кто видел ее только на театральных подмостках, не узнал бы грациозную, всегда оживленную танцовщицу в этой поразительно хорошенькой, но бледной и грустной девушке с заплаканными глазами.

Скромное платье из легкой голубой бумажной материи облегало ее чудный полуразвившийся стан. В небрежно сколотой косе воткнута была белая чайная роза, а дивные ножки были обуты в туфельки желтой кожи.

Она смотрела, как мы уже сказали, грустно, почти печально, своими глазами цвета польского неба.

Казалось, сумерки природы, затуманившие небо, отражались и в этих глазах.

Порой на ее выточенном точно из слоновой кости лбу появлялись чуть заметные складочки, а красиво и тонко очерченные губки нервно передергивались.

Маргарита Максимилиановна переживала происшествие сегодняшнего дня — столкновение с отцом и «тетей», как она называла женщину, ставшую на место ее матери.

«Без всякого права!» — обыкновенно мелькало в ее уме, когда она об этом думала.

«Нет, я уеду, уеду… Пусть он увезет меня… Ведь я поеду с ним к бабушке… Здесь я жить не могу…»

В это время из сада на террасу легкой поступью поднялся мальчик лет четырнадцати, одетый в суровую парусиновую пару.

Брюнет, с выразительными чертами лица и лоснящимися кудрями, он положительно мог назваться красавцем.

— Марго, ты опять плакала! — грудным голосом воскликнул он.

— Это ты, Макс… — остановила на нем взгляд Маргарита Максимилиановна и деланно улыбнулась.

— Не притворяйся, ты плакала, плакала… — говорил мальчик. — Она тебя опять обидела… О, как я ненавижу ее…

— Что ты, что ты, Макс… Она тебе мать…

При последнем слове глаза молодой девушки наполнились слезами.

— Что же из этого, а ты мне сестра по отцу… и я люблю тебя… больше ее…

Мальчик опустился на стоявшую около качалки скамеечку и вперил в Маргариту Максимилиановну почти страстный взгляд.

— Не говори этого, Макс, и не гляди так, ты знаешь, я этого не люблю…

Мальчик опустил глаза.

— Опять из-за Савина… — после некоторой паузы начал он.

— А то из-за чего же… Но Николай Герасимович только предлог, она рада есть меня из-за каждого пустяка, из-за всякого куска хлеба… Я не могу… Я убегу, Макс…

— И я с тобой…

— Нет, Макс, ты оставайся, я убегу к бабушке…

— К бабушке… С ним… — в глазах мальчика блеснул ревнивый огонек.

— Он только проводит меня… Он честный, Макс, он хороший…

— Все они честные и хорошие… — проворчал мальчик.

— Он любит меня…

— Все они любят…

— Он сделал мне предложение…

— Ты говорила об этом отцу… и ей?.. — последнее слово он произнес, как будто не найдя другого названия.

— Говорила.

— Ну и что же?..

— Она настроила отца… Он за Колесина…

— За эту накрашенную куклу… Он ведь шулер, говорят… — презрительно уронил Максимилиан Гранпа.

— Но он очень богат…

— Савин тоже богат… Я люблю тебя, но лучше уступлю тебя Савину, нежели тому…

— Савин хочет жениться…

— Тем лучше…

— Я и сама так думала… а она говорит… брак вздор… и отец туда же… Такой красавице мало одного состояния мужа, ей надо несколько состояний… Она просто хочет погубить меня…

Маргарита Максимилиановна замолчала.

— О, как я ненавижу ее!.. — вырвалось из груди мальчика почти диким криком.

— Макс, не говори так…

Она протянула ему руку.

Он прижался к этой руке долгим поцелуем.

Что-то горячее вдруг обожгло ее руку.

Мальчик плакал.

Расскажем, чтобы объяснить эту сцену, в коротких словах всю неприглядную обстановку, в которой выросла Маргарита Гранпа.

Ей не было и двух лет, когда ее мать, русская красавица из хорошей фамилии, увлекшаяся французом-танцором, отцом Маргариты, и вышедшая за него замуж без дозволения родителей, уехала от него с другим избранником сердца, оставив дочь на руках отца.

Не прошло и года после этого бегства, как Максимилиан Гранпа сошелся с танцовщицей-полькой, от которой у него родился сын Максимилиан и дочь Клавдия.

Любовь к новой подруге жизни, конечно, оттеснила на второй план любовь к первой дочери, явившейся, кроме того, живым напоминанием измены его законной жены.

По седьмому году ее отдали в театральную школу.

Быть может, она была бы и совершенно забыта отцом и женщиной, заступившей место ее матери, если бы ее выдающаяся красота и необычайные способности по танцам не выдвинули ее сперва в школе, а затем, незадолго до момента нашего рассказа, и на сцене.

Максимилиан Эрнестович Гранпа стал гордиться ею не только как дочерью, но и как своей ученицей.

Горечь измены жены уже стушевалась в его душе, и он искренно полюбил «Марго», как звали ее дома и в школе.

Марина Владиславовна, так звали танцовщицу, с которой Максимилиан Эрнестович сошелся после бегства жены, глубоко возненавидела девочку, с которой ее «Макс», как звала она своего сожителя, носился, по ее выражению, как дурак с писаной торбой.

Она даже предсказывала, что из нее ничего не выйдет, даже порядочной танцовщицы.

Когда же это предсказание не сбылось, когда весь Петербург в один голос заговорил о вновь появившейся звезде балета, Марина Владиславовна, скрепя сердце, должна была признать совершившийся факт.

Затаив свою ненависть, продолжавшуюся, впрочем, проявляться в мелочах, в попреках из-за куска хлеба, в сценах Максу за траты на дочь, она задумала извлечь из красоты и таланта своей падчерицы как можно более выгоды для семьи.

Ухаживание влюбленного Савина, конечно, не отвечало ее планам — она была за Колесина, который не щадил средств, чтобы снискать себе расположение Марины Владиславовны.

Николай Герасимович полюбил действительно искренно.

Любовь всегда влияет благотворно на душу человека.

Из буйного скандалиста и необузданного кутилы, она сделала из него тихого воздыхателя, лежащего у ног красавицы.

Каждый день он был у Маргариты Гранпа, жившей тоже по Торговой улице, невдалеке от дома, где жила Горская, возил ей букеты и конфеты.

Марина Владиславовна, а под ее влиянием и Максимилиан Эрнестович косились на Николая Герасимовича, находившегося притом в финансовом отношении, в это время, далеко не в авантаже.

Чувства влюбленного не похожи на чувства людей, находящихся в нормальном состоянии, — они все видят в розовом цвете, надежды, их на блаженство бывает без границ.

Савин стал мечтать о вещах, которые до того времени никогда не приходили ему в голову.

Оказалось, что в нем таилась романическая жилка, чего он до сих пор не знал сам, и он был способен к чистой, пламенной и даже платонической любви.

Такою именно любовью сгорал Николай Герасимович к Маргарите Гранпа.

Мы знаем из разговора с ее братом, что он сделал ей предложение, но не слыхали от нее, чтобы она отказала ему.

Она действительно и не отказала.

Замужество улыбалось ей.

Нежный цветок, выросший на «театральном болоте», всосав в себя случайно лишь чистую ключевую подземную воду, тина и грязь не коснулись его.

Зная рано все житейские отношения, она с отвращением отталкивала от себя мысль сделаться такою, какими были ее старшие подруги и даже уже некоторые сверстницы.

Она видела, однако, что ее толкают именно на эту дорогу. Она, как мы слышали, говорила, что ее хотят «погубить», когда на балетном языке это называлось «пристроиться».

Ухаживания Колесина вели к этой погибели.

Ухаживания Савина вели, как она думала, к браку.

Она согласилась на план Николая Герасимовича спасти ее от когтей Колесина, скрыв на время у бабушки ее, со стороны матери, старушки Нины Александровны Бекетовой.

Для приведения этого проекта в исполнение Савин переехал в Ораниенбаум, поселился в гостинице, куда понемногу были

с помощью подкупленной горничной перенесены вещи Маргариты Максимилиановны, уложены в приготовленный сундук и отправлены в Петербург.

Тот самый вечер, или лучше сказать следовавшая за ним ночь, в который мы застали молодую девушку на террасе дачи в Ораниенбауме, был назначен для бегства из родительского дома.

Поговорив еще несколько времени со своим братом Максимилианом, Маргарита Гранпа ушла в свою комнату и стала ждать.

Вечер тянулся томительно долго. Наконец он сменился наставшей июньской ночью.

На даче все заснуло.

Маргарита Максимилиановна стала чутко прислушиваться к окружавшей ее тишине. Вдруг послышались топот лошадиных копыт и стук колес.

Молодая девушка надела шляпку, накинула на себя летнее манто и на цыпочках пробралась через залу и террасу в сад.

Миновав его бегом, она очутилась у калитки, около которой стояла карета, запряженная четверкой лошадей.

— Марго, ты?.. — послышался из кареты голос.

— Я… — чуть слышно проговорила она.

Дверцы кареты отворились, и Маргарита Максимилиановна быстро юркнула во внутрь и очутилась возле Николая Герасимовича. Кучер, не дожидаясь приказания, ударил по лошадям. Они помчались.

Нина Александровна была подготовлена Николаем Герасимовичем к встрече своей любимой внучки. Он сумел понравиться старушке, и она всецело была на его стороне.

— Женись, батюшка, женись… и вези в деревню, хозяйкой будет, хорошей женщиной, а то «танцорка», прости господи, беса тешить… — говорила старушка.

Бабушка Бекетова жила в маленьком собственном домике на Петербургской стороне.

Туда и примчал свою ненаглядную Марго влюбленный без ума Савин.

Нина Александровна, не ложившаяся спать, встретила внучку и заключила ее в свои объятия.

— Радость ты моя, Маргариточка… А ты, молодчик, — обратилась она к Савину, вошедшему в зал вместе с молодой девуш-

кой, — убирайся восвояси… завтра день будет и наглядишься, нечего по ночам бобы разводить… спать пора… Иди, иди.

Николаю Герасимовичу ничего более не оставалось, как повиноваться.

XIII
В Серединском

Широко, привольно и живописно раскинулось село Серединское — родовое именье Савиных.

Узкая и неглубокая, но светлая, как кристалл, бегущая по песчаному руслу, речка блестящей лентой окружала сад, раскинутый на горе, на вершине которой стоял господский дом со службами, доминируя над окрестностью.

Дом был старинный, прочной постройки, но, видимо, заботливый ремонт не допускал на него печати времени, каковая печать, вместе с печатью судебного пристава лежала в описываемое нами время на большинстве помещичьих усадеб.

Выходя фасадом и огромной террасой к реке, дом весело и приветливо глядел своими зеркальными стеклами на темно-сером фоне общей окраски дома.

С антресоль, составляющих непременную принадлежность каждого старого дворянского дома, и в особенности с высокого бельведера, с затейливыми окнами из разноцветных стекол, открывался чудный вид на окружавшее почти десятиверстное пространство.

С другой стороны, то есть со стороны прилегавшего в полутора верст от усадьбы почтового шоссе, к дому вела прекрасно убитая щебнем дорога, обсаженная деревьями и представлявшая чудную прямую аллею, оканчивающуюся воротами, ведущими во двор к громадному стеклянному подъезду.

Дорога к дому все время довольно круто шла в гору.

Все усадебное место, кроме сада, разбитого террасой по спуску к реке, находилось на плоскогорьи, на скате которого находились барские поля, оканчивающиеся, с одной стороны, далеко тянувшимся барским лесом, а с другой, примыкавшие к самому селу, раскинувшемуся уже на отлогом берегу той же реки.

Село было большое и красивое. Прочные, просторные избы, почти сплошь крытые тесом, а некоторые даже железом, указывали на благосостояние обывателей.

Ни одно развалившееся или почерневшее от времени строение не коробило глаз.

Широкая улица села содержалась в чистоте и на ней выделялись вычурною постройкою здания волостного правления, школы и трактира.

Каменный храм стоял в конце села, среди огороженного каменною оградою кладбища.

За околицей тянулись крестьянские поля и пастбища, а вправо — крестьянский лесок.

Стояла половина сентября 1875 года. Было около девяти часов вечера.

В угловой гостиной помещичьего дома, за круглым преддиванным столом, на котором горела высокая, старинная, видимо, переделанная из олеиновой в керосиновую, лампа под уже новейшим огромным пунцовым абажуром, сидели на диване Фанни Михайловна Савина и наискосок от нее молодая девушка лет восемнадцати, с оригинальным смуглым лицом цыганского типа.

Фанни Михайловне уже перевалило за пятьдесят, но красивое лицо ее сохраняло такую свежесть, что лишь заметные морщинки около юношески-светлых глаз и около несколько поблекших губ выдавали прошедшее над нею сокрушающее время. Седины в темно-каштановых волосах, под черной кружевной наколкой, заметно не было. Одета она была в домашнее, темно-коричневое платье, а на плечах был накинут ангорский платок.

Фанни Михайловна вышивала на клеенке какое-то затейливое английское шитье, внимательно слушая читавшую ей молодую девушку.

Девушка читала ровным, певучим голосом поэму Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Зиновия Николаевна Богданова, или Зина, была приемышем семейства Савиных.

Лет шестнадцать тому назад, поздним зимним вечером, в их московском доме раздался сильный, резкий звонок.

Выбежавшая на звонок прислуга увидела у подъезда стоящую на верхней ступеньке маленькую девочку, лет двух, в рваной кацавейке и платке, с висевшим у нее на шее образком Божией Матери, в металлической ризе.

Больше ни на подъезде, ни на улице никого не было.

О странной поздней посетительнице доложили Фанни Михайловне, которая приказала ввести девочку к ней в будуар, раскутала ее, увидала хорошенькую брюнетку с резкими и тонкими чертами лица и большими черными глазами.

Из-за ее пазухи выпали две бумажки.

Одна из них оказалась метрической выпиской из церкви святого Ермолая, что на Садовой, о рождении два года и два месяца тому назад, у крестьянской девицы Вассы Андреевой незаконной дочери Зиновии, а другая написанной полуграмотно запиской:

«Приютите сироту, по отцу зовут Николаева».

Фанни Михайловна, с разрешения Герасима Сергеевича, исполнила просьбу неизвестной матери, хотя об этом пришлось довести до сведения местной полиции, оставившей девочку на попечение дворянина Савина и отобравшей документы, выписку и записку для справок.

Справки наводили довольно долго и не достигли никаких результатов. Священник церкви Ермолая припомнил, что крестил года два тому назад девочку у полевой цыганки, предъявившей ему паспорт, из которого и выписано было звание матери.

По наведении справок в волостном правлении оказалось, что крестьянская девица Васса Андреева находится в безвестной отлучке.

На этом дознание года через два было прекращено и бумаги возвращены Фанни Михайловне.

Девочка тем временем обжилась в доме, поставленном, по желанию своей приемной матери, на барскую ногу.

Девочки скорее мальчиков свыкаются с обстановкой и даже отражают ее на себе.

Недаром же говорят, что все женщины родятся аристократками, чего нельзя сказать о мужчинах, на которых родовитость накладывает особую печать — аристократа нельзя не узнать в грязных лохмотьях в ночлежном доме, тогда как там же бывшую княжну трудно отличить от прачки, а между тем, с другой стороны, сколько прачек делались настоящими княгинями, не по имени только, но и по манере держать себя.

Зина тоже стала совсем барышней.

Она росла. Сперва ей наняли бонну, а затем гувернантку и учителя, и только когда ей минуло двенадцать лет, Фанни Михайловна последовала, в виду ее происхождения, советам мужа и отдала ее в гимназию.

Девочку приписали к московскому мещанскому обществу и дали фамилию Богдановой.

Она поступила прямо в третий класс и в описываемый нами год окончила курс первой ученицей, с золотой медалью.

Зина читала:

От женской волюшки
Потеряны ключи!
Какою рыбой сглотнуты,
В каких морях та рыбина
Гуляет… — Бог забыл…

В это самое время в дверях гостиной появился из своего кабинета, где он сидел за разбором только что привезенной почты, Герасим Сергеевич.

Время его сильно изменило, и хотя он был по-прежнему строен, так как некоторая полнота известных лет скрадывалась высоким ростом, но совершенно седой. Белые как лунь волосы были на голове низко подстрижены, по-английски. Бороды он не носил, а совершенно белые усы с длинными подусниками придавали ему сходство с известным портретом Тараса Бульбы.

Обыкновенно ясные и веселые темно-карие глаза, под несколько нависшими седыми бровями, были теперь мрачны.

Лицо его было бледно и расстроено и в самой манере входа в гостиную было видно раздражение.

Одет он был в драповый полу халат с шелковыми шнурами и шитых шелковых туфлях, а в руке держал длинную трубку с черешневым чубуком.

Это было тоже необычно.

По правилам дома, в гостиной, зале и столовой не курили, и это правило никогда не нарушал и сам хозяин.

Должно было случиться нечто необычайное, чтобы всегда корректный и строгий прежде всего, и кажется только исключительно, к самому себе, Герасим Сергеевич забыл оставить трубку в кабинете,

аккуратно поставив ее на стоявшую там подставку с десятками этих орудий услады досуга наших предков.

— Что с тобой, Герасим Сергеевич? — удивленно подняла на него от работы глаза Фанни Михайловна, от которой не ускользнула ни малейшая подробность, указывающая, что с ее мужем что-нибудь случилось необычайное.

Зина прекратила чтение и тоже глядела на «дядю», как она звала Герасима Сергеевича, беспокойно-вопросительно.

— Что со мной, что со мной!.. — развел старик Савин руками, в одной из которых был чубук, а в другой раскрытое письмо.

— Виноват! — вдруг произнес он, заметив чубук, и быстро удалился из гостиной.

Обе женщины молчали и сидели, с недоумением глядя друг на друга.

Через минуту Герасим Сергеевич вернулся в гостиную без трубки, но с письмом в руке и подойдя к преддиванному столу, грузно опустился на кресло, противоположное тому, на котором сидела Зиновия Николаевна.

— Уф!.. — вздохнул он.

— Что такое? — с тревогой в голосе снова спросила Фанни Михайловна.

— А вот, что такое, полюбуйся, что проделывает твой любимец, кумир, сынок ненаглядный…

— Коля! — как-то простонала Фанни Михайловна.

— Ну, да, Коля, Колечка… Свет очей твоих… Прочти, полюбуйся.

Герасим Сергеевич почти перебросил жене письмо, которое он держал в руках, встал и нервной походкой стал ходить из угла в угол гостиной.

Фанни Михайловна жадно впилась в строки письма, писанного дорогой ей рукой любимого сына.

Наступило молчание, прерываемое лишь мягкими шагами Герасима Сергеевича.

— Бедный, бедный… — вырвалось, видимо, прямо из сердца Фанни Михайловны.

Герасим Сергеевич, находившийся в противоположном углу гостиной, быстро обернулся.

— Бедный, ты говоришь, бедный… Полтораста тысяч долга за его юнкерство в Петербурге я заплатил… Отправил в Варшаву, думал, что остепенится, радовался, что наконец он произведен в корнеты, и вдруг — опять столько же долгу, и… отставка… Корнет в отставке!.. Ха-ха-ха!

— Но ведь, Герасим Сергеевич, и ты…

— Что я, я, матушка, вышел в отставку для того, чтобы заниматься делом… Я служил, никогда не зная, что такое долг. У меня была наклонность к хозяйству…

— А может и Коля… — прервала его Фанни Михайловна.

— А может и Коля… — передразнил ее муж. — Ты все прочла?

— Нет…

— Так читай дальше… Увидишь, какое он хочет устроить хозяйство… Чем хочет порадовать родителей…

Фанни Михайловна снова углубилась в чтение письма, а Герасим Сергеевич снова продолжал свою прогулку из угла в угол.

— Бедный, бедный… — снова с вздохом произнесла Фанни Михайловна, складывая письмо, но не выпуская его из своих рук.

— Опять бедный… — встрепенулся Герасим Сергеевич. — Прокутить в три года триста тысяч, чтобы корнетом в отставке жениться на танцорке!..

— Но ведь он ее любит… — вставила Фанни Михайловна.

— Любит, любит!.. Я выбью из него эту любовь!.. Вот приедет, я с ним поговорю.

— Герасим Сергеевич… Он разоряет не меня. Мне скоро в могилу, — с собой не унесу, — но он разоряет братьев… Я заплачу, но я вычту из его части и отделю его… А об танцорке ему надо будет позабыть. Пусть лучше займется делом — хозяйством…

— Только ты, Герасим Сергеевич, не очень круто… лучше я с ним переговорю.

— И дашь свое благословение?..

— Нет, нет, если ты этого не хочешь…

— А ты бы хотела?..

— А может она хорошая девушка, по письму… Ведь бывает…

— По письму!.. — воскликнул Герасим Сергеевич и, махнув на жену безнадежно рукою, ушел к себе в кабинет.

XIV
Первое преступление

Вернемся за неделю назад в Петербург.

Николай Герасимович только что закончил длинное письмо отцу, то самое, которое послужило предметом беседы между Герасимом Сергеевичем и Фанни Михайловной, описанной в предыдущей главе.

Савин перечитал письмо, бережно сложил его, вложил в конверт и заклеил последний.

Проведя двумя пальцами по краям конверта, он стал старательно четко писать адрес, сильно наклонясь над письменным столом, уставленным портретами в рамках разных фасонов и разных величин.

Тут же стоял атласный балетный башмачок.

На всех этих портретах было, впрочем, одно и то же изображение Маргариты Гранпа в разных видах и костюмах, балетных и характерных.

Башмачок, конечно, принадлежал тоже ей.

На Николая Герасимовича из рамок глядели десятки образов любимой им девушки и распаляли и без того напряженное воображение.

Под впечатлением этих образов и написал он письмо отцу, и только чуткое женское сердце матери отгадало настроение сына за сотни верст, и Фанни Михайловна, как, конечно, не забыл читатель, воскликнула:

— Он любит ее!

Действительно, часть письма, посвященная описанию достоинств его невесты — как он уже называл Марго — дышала искренним, неподдельным чувством.

Николай Герасимович кончил писание адреса и встал из-за письменного стола.

Пройдясь несколько раз по задней комнате отделения, занимаемого им в Европейской гостинице, комнате, служившей ему кабинетом-спальней и, как он говорил, храмом, где он молился своему божеству, то есть Маргарите Гранпа, и куда он допускал только одного Маслова да несколько своих друзей-балетоманов, Николай Герасимович позвонил.

Явившемуся слуге он приказал отправить письмо на почту и взглянул на часы.

Было начало второго.

— Завтрак в два, ты знаешь… — кивнул он уходящему с письмом слуге.

— Так точно-с… Не извольте беспокоиться… — почтительно остановившись, ответил тот.

После ухода лакея Николай Герасимович выдвинул ящик письменного стола, взял оттуда большой сверток и бережно вынул из него кабинетный портрет.

Это был новый, только что полученный им от Бергамаско портрет его ненаглядной Гранпа.

Маргарита была изображена качающейся на цветочных качелях в легкой воздушной, не прикрывающей колен юбочке, в лифе, прикрепленном на плечах маленькими бантиками, словом в костюме, не скрывающем всех чудных очертаний ее тела. Очаровательное улыбающееся личико молоденькой танцовщицы шаловливо глядело на него.

Он залюбовался этим портретом и не слыхал, как в спальню кабинета вошел Михаил Дмитриевич Маслов.

Савин очнулся только тогда, когда тот положил ему руку на плечо.

— Витаешь в мечтах и эмпиреях… Молишься своему кумиру, забыл все и всех и даже может и то, что обещал сегодня накормить завтраком своих друзей.

— Нет, ты посмотри, как она хороша… — вместо ответа сказал Николай Герасимович.

— Кто же в этом сомневается… С этим согласен весь Петербург.

— Весь Петербург… — злобно проговорил Савин. — Если хочешь, брат, знать, то меня иногда приводит в бешенство именно то, что «весь Петербург» может соглашаться с этим… И зачем снята она в этом костюме.

Николай Герасимович быстро сунул портрет в конверт, почти швырнул его в стол и запер на ключ. Маслов глядел на него в недоумении.

— Ого!.. Значит, если ты бы на самом деле женился на Гранпа, то сцена должна будет сказать ей «прощай»?

— Конечно же… Тысячу раз права ее бабушка, она будет хорошей женой, хозяйкой, а не танцоркой, тешущей беса.

— Это, кажется, первый случай в твоей жизни, что ты соглашаешься с бабушками, — улыбнулся Михаил Дмитриевич.

Савин пропустил это замечание мимо ушей и продолжал:

— Неужели, Маслов, ты не понимаешь той муки, которую должен испытывать всякий любящий человек, видя, как предмет его любви выставляется напоказ толпы, которая ценит ее по статьям, как красивую лошадь… Я понимаю жену — актрису, певицу, но жены — танцовщицы я не понимаю.

— Почему же?

— Как почему… Да уж потому, что самый костюм балетной танцовщицы посвящает других в такие красоты женщины, любоваться которыми должно составлять прерогативу только близкого ей человека, мужа… Да неужели, повторяю, ты, Маслов, никогда не ощущал горького чувства, видя на сцене Горскую…

— Нет, я не ощущал… Может быть, потому, что Анна Александровна танцует в кордебалете, в массе, а, следовательно, устремленные взоры толпы не сосредоточены на ней одной, хотя с тобой я почти согласен, мне Аня доставила бы большее удовольствие, если бы бросила сцену, но она об этом и слышать не хочет.

— Разве она так любит свое искусство?..

— Нет, не то, какое там искусство у кордебалета, это просто каторжный, плохо оплачиваемый труд, но Аня отказывается оставить сцену из принципа, — она училась для этой цели, и наконец, по ее мнению, ее заработок дает ей самостоятельность… Смешная… а между тем ей нельзя возразить.

— Я очень рад, Маслов, — восторженно воскликнул Николай Герасимович, — что ты согласен со мной… Я за последнее время терплю такую нравственную муку и в балете, и даже здесь, среди этих портретов, на которых она снята в позах одна соблазнительнее другой… так мне хочется крикнуть этому тысячеглазому зверю, называемому толпой: «Не смейте смотреть на нее вашими плотоядными глазами… Она моя…» Здесь меня мучит, что всякий за рубль, за полтинник может купить себе такой же портрет, и даже все, и любоваться ими, но не так, как я, а с более гадким чувством… Меня мучает это, нервная дрожь охватывает все мои члены… Ум мутится…

— Боже, я не ожидал от тебя такого идеализма. Успокойся… Я в самом деле начинаю подозревать, что ты в этих муках позабыл, что пригласил меня и других завтракать к двум часам.

Михаил Дмитриевич вынул часы.

— Теперь без четверти.

— Завтрак заказан, не беспокойся. Я думаю подчас и о земном… — улыбнулся на самом деле успокоенный Савин. — Стол уже, впрочем, накрыт.

— Что стол, а где же другие? Ты кого звал?

— Кулдашева и Григорова…

— А…

— Да вот, кажется, и они, легки на помине… Кто-то вошел.

Оба приятеля прошли через среднюю комнату, где был действительно прекрасно сервирован стол для завтрака на четыре персоны и вышли в первую комнату, которая соединялась с коридором гостиницы небольшой передней.

В ней оказался какой-то неизвестный им обоим господин, одетый в поношенную черную сюртучную пару.

Высокий брюнет с сильною проседью и с бледным, страдальческим лицом, он производил с первого взгляда впечатление благородного человека, просящего на бедность.

— Здесь живет господин Савин? — с более чем нужной почтительностью обратился он к вышедшим в первую комнату Савину и Маслову.

— К вашим услугам… — ответил первый, выйдя вперед и приглашая жестом незнакомца войти из передней в приемную. — Что вам угодно?

— У меня к вам есть маленькое дело… — следуя приглашению приблизился к нему незнакомец, осторожно ступая по ковру, которым был обит пол приемной. — Моя фамилия Мардарьев, Вадим Григорьевич.

— Мардарьев… — не знаю, не слыхал… прошу садиться.

Николай Герасимович сел в кресло около преддиванного стола и жестом указал гостю на противоположное.

Тот сел.

Маслов, чтобы не мешать, отошел к окну, выходившему на угол Михайловской и Невского, и стал смотреть на улицу.

— В чем же дело? — спросил Николай Герасимович.

— У меня есть на вас вексел ек в четыре тысячи рублей, — заискивающим тоном начал Мардарьев.

— У вас… На чье же имя?.. На ваше?..

— Нет-с, на имя Соколова, перешедший ко мне по безоборотному бланку… Вот он…

Вадим Григорьевич вынул тотчас из кармана вексель и подал его Савину.

— На имя Соколова… Ага… — говорил Николай Герасимович, осматривая вексель. — Но позвольте, этот вексель и еще два таких же, всего на сумму двенадцать тысяч рублей, два года тому назад были даны мною господину Соколову для учета… Векселя он взял и сам ко мне не являлся… Я поехал к Гофтреппе, который приказал разыскать его… Оказалось, что этот мошенник векселя мои учел, а сам скрылся… Вот история вашего векселя и двух ему же подобных.

— Это до меня, как до третьего лица, не касается… — мягко заявил Мардарьев. — Пожалуйте деньги, или я предъявлю его ко взысканию, внесу кормовые и посажу вас под арест…

Николай Герасимович вспыхнул.

— Извините, я не дал себя обкрадывать господину Соколову и его приятелям и не только не заплачу по этому векселю ни копейки, но даже и не возвращу его вам…

— Позвольте, вот это будет тогда настоящий грабеж, — вскочил, вдруг переменив тон, Мардарьев, — грабеж при свидетелях. Я тотчас закричу караул и позову полицию.

— Кричи и зови… — вне себя от гнева вскочил и Николай Герасимович… — Получай твой мошеннический вексель и убирайся вон…

Савин разорвал в клочки вексель и бросил его в лицо Вадима Григорьевича.

Тот схватил в обе горсти клочки разорванного векселя и быстро опустил их в свои карманы.

— Это вам даром не пройдет, господин Савин… Я познакомлю вас с господином прокурором… господин Маслов, будьте свидетелем.

Михаил Дмитриевич, уже ранее подошедший к концу этой сцены, вытаращил на Мардарьева глаза.

— Разве вы меня знаете?

— Знаю-с… Но никогда не говорю без надобности, кого я знаю…

— Пошел вон! — крикнул все еще вне себя от гнева Николай Герасимович и, схватив Вадима Григорьевича за шиворот, буквально вышвырнул его в коридор.

— Вы меня попомните, будете меня знать… — бормотал Мардарьев, когда Савин тащил его по приемной и передней.

Захлопнув дверь номера, Николай Герасимович вернулся и бросился в кресло.

— Вот негодяй, аппетит испортил… — после некоторой паузы воскликнул он.

В это время в передней появились оба остальных приятеля. Савин позвонил и приказал тотчас явившемуся лакею подавать завтрак.

XV
С повинною

Весть о приезде «барчука» с быстротою молнии облетела не только барскую усадьбу в Серединском, но и самое село.

Своеобразное и почти в описываемое нами время единичное исключительное отношение существовало между селом Серединским и «барским двором», как называли крестьяне усадьбу.

Уже около пятнадцати лет прошло со времени отмены крепостного права, а между тем при появлении проездом в церковь или к соседям барского экипажа на улице села, все оно, от мала до велика, высыпало, несмотря на время года и погоду, на улицу, почтительно кланяясь господам в пояс.

По праздникам на барский двор, по собственной инициативе, собирались парни и девки и водили хороводы, щедро оделяемые пряниками и кренделями.

К «барину» шли из села все со своей нуждою, с просьбой, за разрешением «спора с суседом», и все делалось, как рассудит «барин».

Сохранилось в полной силе, если можно так выразиться, «нравственное крепостное право» или лучше сказать все, что было в нем, то есть в подчиненном отношении, хорошего крестьянина к хорошему помещику, идеально-правового, основанного на их взаимной пользе, барин, как интеллигент, вносил в темную массу знание, как капиталист, давал беднякам деньги, а крестьяне платили ему работой.

В Серединском не было при Герасиме Сергеевиче «ряды на работы». Что «барин положит» — было мерилом, и барин не обижал, платя даже более высокую плату с процентом доходности.

Крестьяне понимали, что с ними поступают «по-божески», и сами следили друг за другом на работе и за ее исполнением.

Село и усадьба, несмотря на то, что господа пребывали в ней только половину года, жили одною жизнью, радовались одною радостью и печалились одною печалью.

Немудрено, что известие о том, что молодой барчук отслужил и едет к родителям, волновало не только домашнюю прислугу, среди которой были почти все бывшие крепостные люди Савиных, оставшиеся после воли тоже без всяких условий найма, на основании стереотипно обращенной к барину фразы: «не обидите», но и всех крестьян села Серединского.

Наконец в последних числах сентября, рано утром, по селу сперва проехал шагом экипаж, посланный встретить «молодого отслужившего барчука» на ближайшую станцию железной дороги.

Хотя крестьяне знали, куда едет экипаж, но все же многие из них выходили из своих изб и вопросительно кричали знакомому им кучеру Селифонту:

— За барчуком?

— За ним самим… — откликался кучер, вынимая носогрейку и сплевывая в сторону.

Таких вопросов, пока он проезжал по улице села, было более десятка. Только и слышалось:

— За барчуком?

— За ним самим…

В иных местах возгласы варьировались прибавлениями:

— С Богом!

— С Христом!..

Последний возглас принадлежал бабам, почему-то любящим эту форму пожелания.

Наконец экипаж выехал за околицу села и скрылся из виду.

Не говоря уже об усадьбе, во всем селе наступили часы ожидания.

После завтрака Фанни Михайловна прошла вместе с мужем в его кабинет. Она пробыла с ним с глазу на глаз около часа и вышла расстроенная, с заплаканными глазами, видимо, не смягчив его гнев на сына.

Она прошла в молельню, где пробыла тоже с час времени и как будто бы успокоилась… Она почувствовала, что молитва ее услышана и не ошиблась.

За обедом Герасим Сергеевич, все время, до выхода за стол, остававшийся в своем кабинете, сказал ей первый:

— Успокойся, я не буду резок… Я не согласен только на одно — на брак.

Фанни Михайловна с благодарностью посмотрела на мужа и на ее губах заиграла, исчезнувшая было за последние дни, ее обыкновенная добродушная улыбка.

После обеда до приезда сына оставалось уже несколько часов. Ажиотаж увеличивался.

Зиновия Николаевна тоже волновалась в последние дни.

Прежде всего она молчаливо сочувствовала «тете Фанни», как звала она Фанни Михайловну, в романической стороне вопроса о будущности ее сына.

«Почему ему нельзя жениться на такой хорошей, прелестной и честной девушке? — Фанни Михайловна описала ей Маргариту Гранпа по письмам сына. — Только потому, что она танцорка — это отсталое понятие… Ах, какой дядя… отсталый», — думала гимназистка-медальерка.

Впрочем, ее волновал еще и самый приезд Николая Герасимовича, которого она почти не знала, видела мельком в Москве, но о котором слышала от той же Фанни Михайловны столько восторженных описаний его красоте, уму, ловкости и молодечеству.

Она знала его жизнь во всех мельчайших подробностях, конечно, впрочем, ту часть ее, которую он не скрывал от матери в письмах, начиная от любви семилетнего Коли к француженке-бонне и некоторых из петербургских похождений последнего пребывания его в этом городе.

— Золотая, но горячая голова!.. — восклицала восторженно Фанни Михайловна. — Если умная, хорошая женщина сумела бы взять его в руки, он был бы прекрасным мужем, я в этом более чем уверена.

«Отчего я не могу быть этой хорошей, умной женщиной», — мелькала мысль в головке Зины, но она быстро отгоняла эту нелепую мысль.

Имело также большое значение для нее, что молодой Савин ехал из Петербурга.

Последний — в нем Зина никогда не была — рисовался ее воображению почти волшебным городом.

Там жили и живут выдающиеся литераторы, там источник знания для женщин: женские медицинские и другие высшие курсы.

«Высшие женские курсы есть и в Москве, — думала Зиновия Николаевна. — Но это не то… Там, как в университете…»

В Петербург Зина стремилась всеми своими помыслами. Ей страстно хотелось сделаться «женщиной-врачом», но дядя Герасим Сергеевич, когда она высказала ему это желание, даже рассердился:

— Замуж я тебя отдам… Довольно учена… И от твоей учености, если муж не сбежит, скажи слава Богу…

«Ах, какой же дядя… отсталый…» — мелькнуло в ее уме.

Так рушились ее мечты о медицинском образовании, но Петербург все же остался для нее обетованной землей.

И вот оттуда едет сюда этот красивый, умный человек… Золотая, но горячая голова…

Сердце Зины усиленно билось. Она сама не знала отчего.

Она понимала, что сердце молодого Савина занято, что она, бедная девушка, безвестная Зиновия Богданова, не может быть для него той «хорошей, умной женщиной», которая должна составить его счастье, что это удел той… танцорки… — и все-таки ожидала его с каким-то все более и более усиливающимся волнением.

Это было просто волнение молодой крови — дань известному возрасту, а Зина толковала его иначе и недоумевала.

Время шло, как это всегда бывает, в ожидании, томительно долго.

Было уже около шести часов вечера, а экипаж еще не показывался.

Зина несколько раз бегала на бельведер с биноклем, но на почтовом тракте не появлялось черной точки, которая могла бы вырасти в ожидаемую коляску.

В начале седьмого, когда уже стало смеркаться, новая астрономка, наконец, открыла ехавший по дороге экипаж.

— Едут, едут!.. — с криком сбежала она с бельведера. Этот крик всполошил весь дом, но был преждевременен. Николай Герасимович был еще верстах в трех от села.

Он приказал ехать тише и задумчиво сидел, откинувшись в угол покойной венской коляски.

Савин был в штатском — дорожном пальто и черном котелке.

— Тише, тише! — приказывал он кучеру, хотя тот почти и то уже ехал шагом.

Казалось, ему хотелось отдалить свидание с отцом и матерью и не так скоро увеличить расстояние, лежавшее между ним и оставшимся позади Петербургом.

Мысли его неслись из последнего в Серединское и обратно.

В Петербурге он оставил все, что было дорого для него в жизни — Маргариту Гранпа.

В течение почти трех месяцев он все собирался в деревню, но не мог решиться расстаться с маленькой, уютной, казавшейся ему очаровательной, квартиркой бабушки Бекетовой, где каждый день проводил с Марго два-три часа наедине.

Это были часы того неизъяснимого на словах и неописуемого пером блаженства. Скорее его может передать кисть или карандаш художника.

Это было блаженство влюбленных.

С этими-то часами блаженства и не решался расстаться Николай Герасимович.

Наконец в начале сентября вышел приказ об его отставке и, переждав еще почти три недели, Савин написал сперва, как известно, письмо, а затем в конце сентября выехал из Петербурга.

Он припомнил теперь свое прощанье с Марго.

Это был тяжелый момент для обоих.

«Это необходимо для нашего счастья!» — повторял он мысленно и теперь ту фразу, которую сказал ей тогда, но между тем сердце его, как теперь, так и тогда, болезненно сжалось. Точно какое-то страшное предчувствие, что он теряет ее навсегда, а теперь с каждым шагом лошадей все более и более удаляется от нее — закралось в его сердце.

— Тише, тише!.. — невольно крикнул он кучеру.

— Да что вы, барин, и то почитай шагом едем, — обернулся к нему, не выдержав Селифонт, — папенька с маменькой чай заждались совсем, глаза все с вышки проглядели…

— Ну, хорошо, хорошо, поезжай, как знаешь, — отвечал отрезвленный таким замечанием кучера Савин.

Они проезжали по селу, и Николай Герасимович отвечал на поклоны вышедших из изб крестьян.

Мысли его между тем под впечатлением слов Селифонта перенеслись в Серединское.

Его там ждут — в этом он не сомневался, но что ожидает его там — вот вопрос.

Относительно наделанных им долгов он был спокоен, он знал своего отца, честь имени Савиных может заставить его снять с себя последнюю рубашку, он пожурит его и заплатит, заплатит все до копейки.

— Среди Савиных не было не плативших долгов! — с гордостью говорил он.

Не это теперь беспокоило Николая Герасимовича. Нет, далеко не это!

Эта гордость рода, это отстаивание его чести со стороны его отца, разрешавшие так благополучно первый вопрос, неодолимой преградой восставали при разрешении в желательном для молодого Савина смысле второго вопроса, — вопроса о женитьбе его на Гранпа.

Брак с танцовщицей для Герасима Сергеевича несомненно представляется «неравным браком».

— Une messaliance! — даже вслух проговорил Николай Герасимович.

Селифонт, полуобернувшись, покосился на него, но в это время лошади въехали уже в аллею, ведущую к усадьбе, и он ударил вожжами лошадей, которые, дружно подхватив, крупною рысью понеслись в гору.

«Вот он и родительский дом! Что-то будет!» — пронеслось в голове Савина.

Коляска остановилась у подъезда.

XVI
Миллионер в рубище

Буквально выкинутый сильною рукою Николая Герасимовича Савина в коридор Европейской гостиницы, Вадим Григорьевич Мардарьев долетел до противоположной стены широкого коридора и, упершись в нее обеими руками, удержался на ногах.

Первою мыслью его было исполнить свое обещание, данное в разговоре с Савиным, и закричать: «Караул, грабят!»

И он уже выкрикнул первый слог этого слова, но вдруг весь этот высокий, красивый коридор с полом, устланным прекрасным ковром, со спускавшимися с потолка изящными газовыми лампами и, наконец, появившиеся на его повороте двое изящных молодых людей — это были гости Николая Герасимовича — сомкнули уста

Мардарьева и выкрикнутое лишь «кар» замерло в воздухе, как зловещее карканье ворона около помещения, занимаемого Николаем Герасимовичем.

Вадим Григорьевич быстро по стенке прошмыгнул по коридору, сбежал по лестнице, шагая чуть ли не через две-три ступеньки. Надев без помощи важного швейцара свое выцветшее пальто горохового цвета и такого же цвета помятый котелок, выскочил на улицу и пустился бежать сперва по Михайловской, а затем по солнечной стороне Невского проспекта, по направлению к Московскому вокзалу, точно за ним гнались призраки.

На ходу он что-то бормотал вслух и разводил руками.

Прохожие сторонились и некоторые останавливались, с любопытством смотрели ему вслед.

Стоявший у Аничкова моста на посту городовой подозрительно покосился на него, сделал даже несколько шагов, взявшись правой рукой за шнурок, на котором висел свисток, но затем, видимо, раздумав, махнул рукой и вернулся на свое прежнее место.

Мардарьев продолжал свой неистовый бег.

Перебежав Аничков мост, он в три, четыре скачка буквально перепрыгнул на другую сторону проспекта и, казалось, еще стремительнее побежал дальше.

Миновав Владимирскую, он, не доходя до Николаевской, повернул направо и скрылся под красной вывеской трактирного низка.

— Дядя Алфимыч здесь?.. — обратился он с вопросом к первому попавшемуся ему навстречу половому, одетому в белые рубашку и шаровары весьма сомнительной чистоты.

Половой нес на подносе около десятка чайников, держа его на одной руке и балансируя с искусством, которому позавидовал бы любой жонглер.

— Корнила Потапыч у себя.

— Один?

— Одни-с, — на ходу ответил половой.

Вадим Григорьевич прошел три комнаты трактира, наполненные посетителями, со многими из которых он приветливо и фамильярно или почтительно раскланялся.

— К дяде?

— К Алфимычу?

— К алхимику?

Такие вопросы раздавались с некоторых столов, и на них Мардарьев отвечал утвердительным кивком головы.

Наконец он очутился перед закрытой дверью четвертой комнаты трактира и остановился перевести дух.

Тут только заметил Вадим Григорьевич, что лицо его совершенно мокро, что пот капал с висков, и, вынув из кармана пальто нечто схожее с носовым платком — род четырехугольной квадратной тряпки, отер себе лоб и лицо.

Затем он тщательно стал одергивать на себе сюртук и пальто.

Приведя таким образом в порядок свой туалет, он робко взялся за ручку двери и полуотворил ее.

— Лезь, лезь… — послышался из-за двери шамкающий голос. Мардарьев вошел.

Четвертая комната низа трактира, выходившего на улицу десятью окнами, была самая маленькая, в одно окно — это был род отдельного кабинета, с одним столом, довольно больших размеров, стоявшим перед диваном, и одним маленьким для закусок, приставленным к стене, противоположной окну.

Диван и стулья, бывшие в комнате, были обиты когда-то зеленой, теперь совершенно облупившейся американской клеенкой; из дивана в нескольких местах торчала мочалка.

На диване сидел маленький невзрачный старичок, одетый в длиннополый сюртук и сапоги бурками. Сюртук был когда-то черного сукна. Но от последнего осталась от времени одна основа, пропитанная салом, пуговицы были самые разнокалиберные, оставшаяся и так сильно порыжевшая одна сюртучная была в совершенно несвойственной ей компании костяшек и даже одной медной солдатской, на шее старика был повязан шарф, когда-то красивый, но превратившийся от насевшей на него грязи в буро-серо-малиновый. Признаков белья заметно не было, и это было одно из достоинств этого костюма, судя по которому можно было предположить о состоянии этой части мужского туалета.

Но всего замечательнее было лицо старика: совершенно оголенный череп, украшенный бахромой рыжевато-седых волос, такие же волосы росли перьями, образуя род усов под крючковатым носом и на приближавшемся к последнему загнутом кверху подбородке, производя впечатление выщипанной бороды. Несколько считаемых

единицами желтых зубов выглядывало из-под тонких губ при разговоре и улыбке или гримасе, которая исправляла ее должность.

Серо-желтые нависшие брови скрывали глаза, которые давали тон всему этому оригинальному лицу, — они были совершенно круглые, совиные, блестящие, с темно-зеленоватым отливом. Настоящий цвет этих глаз было невозможно уловить: они бегали из стороны в сторону, а во время отдыха, который хозяин порой давал им, он закрывал их.

Перед стариком стояли два чайника, стакан, наполовину налитый чаем, около которого на маленьком блюдечке лежал огрызок сахару.

В стороне стояла опорожненная маленькая трактирная миска с мельхиоровой ложкой и одна из тех тарелок, на которых в трактирах подают хлеб.

Это и был дядя Алфимыч, он же алхимик, или же, как почтительно произнес половой, Корнилий Потапович. Фамилия его была Алфимов, отчего и происходило первое прозвище «дядя Алфимыч»; кличка «алхимик» была дана старику, видимо, лишь по созвучию с его фамилией, но это не мешало ему очень на нее обижаться и долго помнить того, кто при нем решился даже шутя обозвать его так.

Потому на это решались немногие, так как немногие из знавших Корнилия Потаповича не были от него в зависимости.

Корнилий Потапович Алфимов был один из столичных и притом крупных пауков-капиталистов, раскинувших свои сети и на торговый, нуждавшийся в кредите мир приневской столицы.

Корнилия Потаповича, или дядю Алфимыча, знали и крупные купцы, и блестящие франты. Для первых это знание было роковым, оно было всегда началом конца торговых оборотов. Вторых дядя Алфимыч, запутывая в тенета, если не спасали их богатые и сановные родственники, нередко доводил до скамьи подсудимых.

Кроме двойных, тройных и даже четверных векселей, он практиковал и заведомо подложные, чтобы держать свою жертву не только под мечом гражданского, но и под мечом уголовного закона.

Таков был Корнилий Потапович Алфимов.

О его прошлом и о его средствах, которыми он нажил свое колоссальное состояние, не было известно ничего положительного.

Об этом ходили лишь легенды.

Одна из этих легенд была наиболее правдоподобной.

Рассказывали, что Корнилий Потапович был крепостной дворовый человек очень богатых помещиков, носивших фамилию Алфимовских, которую в некотором сокращении получил и он. Побочный сын предпоследнего в роде, он воспитывался вместе с законным сыном своего барина, молодым барчуком, к которому, когда тот подрос, был приставлен в камердинеры.

Он был скорее друг, нежели слуга.

Молодой Алфимовский служил затем в Петербурге, женился на красавице, которая умерла в родах, оставив на руках отца дочь.

Молодой муж остался неутешным вдовцом и вместе с Корнилием вырастил девочку, воспитал и образовал ее при помощи лучших гувернантов и учителей.

Молодая девушка в восемнадцать лет была красавицей — вся в мать, — влюбилась в одного из своих учителей и бежала из родительского дома, похитив у отца из шифоньерки более ста тысяч рублей в банковых билетах на предъявителя.

Отец, ослепленный любовью к дочери, не замечал домашнего романа, окончившегося такой катастрофой, но зоркий Корнилий следил за влюбленными.

Он погнался по следам влюбленной парочки, догнал ее на одной из ближайших станций от Петербурга и под угрозой вернуть дочь к отцу и предать суду, отобрал капитал, оставив влюбленным десять-пятнадцать тысяч, с которыми они уехали за границу, где и обвенчались.

Вернувшись в Петербург, он передал своему барину-другу о бегстве его дочери с учителем и о будто неудачной его погоне за ними.

С барином случился удар, двукратно, через малый промежуток повторившийся и сведший его в могилу.

Имущество барина описали. В конторе нашли оставленные беглянкой по забывчивости шестьдесят тысяч рублей в таких же банковых билетах и в письменном столе — вольную на имя Корнилия.

Отобранный от беглянки дочери капитал остался у последнего.

Он приписался в мещане и стал увеличивать свое богатство путем ссуд под закладные и векселя. Скоро жажда наживы обратилась у него в болезнь, которою его, видимо, наказал Бог за неправильно нажитые деньги.

Он отказывал себе во всем, жил в одной комнате подвального этажа в конце Николаевской улицы и для своих деловых свиданий

облюбовал грязный низок трактира, где ему отвели отдельный кабинет, который занимался гостями лишь по вечерам, а днем все равно пустовал.

Там же Корнилий Потапович обедал разного рода объедками и кусками, которые ему сваливали в одну миску по дешевой цене, и пил целый день чай из одного чайника, требуя кипятку. За чай в большинстве случаев платили клиенты.

Хозяин трактира был в числе его должников, а потому и вся прислуга почтительно относилась к миллионеру в рубище. Приходившие клиенты Корнилия Потаповича тоже давали половым на чай, и они были довольны.

Сам Корнилий Потапович не дал никогда пятачка.

Хозяин трактира собственноручно вел его незатейливый счет и вычитал из процентов.

Из-за этого каждый год выходили споры и препирательства, в которых хозяину приходилось уступать.

XVII
Комиссионер

Вадим Григорьевич Мардарьев стоял перед Корнилием Потаповичем, тяжело дыша, и молчал. В нем не прошла еще усталость, и к ней, кроме того, прибавилось волнение.

— Чего это ты сопишь, словно дилижанская лошадь, кто это тебя так упарил?.. Хе, хе, хе… — с дребезжащим смехом спросил Алфимыч. — Коли уж так устал — садись, вздохни, а там и докладывай что нужно, а то стоит предо мной, как сыч… — добавил он.

Вадим Григорьевич не замедлил воспользоваться приглашением и скорее упал, нежели сел на стоявший около стола стул, который даже скрипнул.

— Тише, тише, стульев-то не ломай, хозяин — сквалыга-мужик, как раз взыщет за поломку, а они и так чуть живы… — беспокойно заметил Корнилий Потапович.

Вадим Григорьевич между тем с наслаждением предавался разрешенному ему отдыху и молчал. Молчал и Алфимов и даже, отгрызая с трудом двумя уцелевшими клыками чуть заметный кусочек сахару, стал допивать свой стакан чаю.

В комнате наступила тишина, прерываемая лишь звуками всасывания чая беззубым ртом дяди Алфимыча, да по временам тяжелы-

ми вздохами все еще не отдышавшегося Мардарьева. Познакомим этим временем с последним поближе дорогого читателя.

Вадим Григорьевич Мардарьев, отставной прапорщик, был одним из тех лиц без определенных занятий, которых порождает столичная жизнь, как сырость мокриц.

Неопределенность занятий происходила не от отсутствия работы в большом городе и даже не от неспособности к ней лиц, подобных Мардарьеву, но от их желания найти легкую, хорошо оплачиваемую работу, не стесняясь целями и средствами. Будь это желание единичным у того или другого лица и не найди они спроса у известной части общества столичных обывателей, которое далеко не прочь обделать подчас темное дельце, лица без определенных занятий поневоле обратились бы к занятиям определенным, легальным, и «общественные язвы», растравленные ими, не существовали бы, но повторяем, общество само поддерживает эту язву, и лентяи, падкие на легкие заработки, процветают, и занятие их даже получило право гражданства под громким и звучным именем «комиссионерства».

Здесь повторился вечный, незыблемый закон политико-экономической науки: на темный спрос явилось темное предложение.

Судебные и административные власти считались, в большинстве случаев, с отдельными фактами и не обращали внимания на выводы, не задумываясь над тем, что именно из среды этих «комиссионеров» огромный процент ежегодно садится на скамью подсудимых или же высылается из столицы за чересчур смелое казусное дельце.

Армия «комиссионеров» не редела от этих потерь, новые члены прибывали в усиленной пропорции — все слои столичного общества выбрасывали в нее своих так или иначе свихнувшихся представителей: и уволенный без права поступления на службу чиновник, и выключенный из духовного причетник, и выгнанный из полка офицер, разорившийся помещик, сбившийся с настоящей дороги дворянин, порой даже титулованный — все, что делалось подонками столицы, — все они были «комиссионерами».

Иным посчастливилось пооткрывать «конторы» или заручиться крупными клиентами — это были аристократы столичных подонок[20],

[20] Осадок, то, что опало на дно.

не только терпимые в обществе, но даже порой пользовавшиеся известным уважением — как ни странно звучит по отношению к ним это слово.

Остальная масса пробивалась, что называется, с хлеба на квас, алчно высматривая, где сорвать рубль или даже порой полтинник или менее и тотчас пропить его.

Это было жалкое существование столичных мелких паразитов с волчьими аппетитами, но и заячьей трусостью.

Это были мелкие, всеми презираемые воришки, сравнительно с их счастливыми сотоварищами — «уважаемыми грабителями».

К такой-то мелкоте комиссионерской армии принадлежал Вадим Григорьевич Мардарьев, несмотря на то, что кроме комиссионерных дел был «отметчиком» одной из уличных петербургских газет.

Объясним для непосвященных этот род газетного сотрудничества. «Отметчиком» называется мелкий репортер, хотя многие годы дающий заметки о мелких столичных происшествиях в одну и ту же редакцию, но не считаемый ею «своим сотрудником», так как его писания требуют всегда переработки и часто наведения справок, ввиду отсутствия к нему полного доверия.

Грошовая построчная, а иногда и поштучная (за заметку) плата составляет его гонорар.

Таким «отметчиком» и был Мардарьев, хотя в его рваном сильно потертом и всегда пустом бумажнике хранились визитные карточки, на которых было напечатано: «Вадим Григорьевич Мардарьев. Сотрудник петербургских изданий», но этими карточками он пользовался с благоразумной осторожностью, в случае лишь настоящей нужды, в темной массе полуграмотного люда, где имя «газетчика» было в то время равносильно известному «жупелу».

Мардарьев был человек семейный, но жена его, буквально лишь терпевшая своего супруга в своей убогой квартирке по 9-й улице Песков, занималась шитьем, — она была хорошей портнихой и кое-как перебивалась с двумя детьми, мальчиком и девочкой, из которых первому шел уже двенадцатый год и он находился в ученье у оптика, а девочке не было девяти.

Софья Александровна, так звали Мардарьеву — чуть ли не с первых лет своего вынужденного замужества — ее первый сын родился спустя три месяца после свадьбы, а с Мардарьевым она познакоми-

лась накануне их венчания — давно махнула рукой на Вадима Григорьевича, хотя последний чуть ли не ежедневно сулил ей в будущем золотые горы.

Он был человек фантазии необузданной.

— Ну, что ты, глядеть на меня пришел, што ли?.. — прервал наконец молчание Корнилий Потапович, отпив свой стакан чая и уставясь своими бегающими глазами на Мардарьева. — Докладывай, что твой молодчик?

Вместо ответа Вадим Григорьевич опустил обе руки в карманы своих брюк и вытащил клочки мелко разорванного векселя, положил их бережно на стол.

— Это, брат, что же? — спросил Алфимов.

— Вексель-с… Корнилий Потапович, вексель-с… Вся моя надежда-с… Все-с тут.

Голос его, полный подступивших к горлу слез, вдруг оборвался, и он зарыдал. Видимо, все, накопившееся в нем с момента вылета из номера Савина и бега до низка трактира, горе и озлобление вылилось наружу.

— Хе, хе, хе… — раскатистым добродушным смехом захохотал Корнилий Потапович… Дурак же ты, братец мой, дурак, так в руки ему и отдал.

— Такой-с важный, приятный господин… — среди рыданий ответил Мардарьев.

— Важный, приятный… — передразнил его Алфимов, — хе, хе, хе.

Вадим Григорьевич принялся громко всхлипывать.

— Да что ты плачешь, как баба какая, говори толком… — вдруг строго оборвал его Корнилий Потапович. — Или забирай свою лапшу и пошел вон… Не время мне с тобой бобы разводить, ишь нюни распустил.

Мардарьев встрепенулся.

Быстро рукавом своего горохового пальто утер он слезы.

— Сейчас, сейчас… Корнилий Потапович… отец-благодетель, на вас вся надежда… Вы один можете мне посоветовать, я в вас верю, как в Бога, верю-с… — прерывающимся голосом затараторил Вадим Григорьевич.

— Ну, ну, не болтай вздору, говори… — смягчился Алфимов.

Мардарьев, спеша и путаясь, но все же с мельчайшими подробностями, кончая даже своим полетом поперек коридора Европейской гостиницы, рассказал все происшедшее в номере Савина.

Корнилий Потапович слушал внимательно, не перебивая.

Когда Мардарьев кончил, то Алфимов несколько времени молчал, сидя в глубокой задумчивости.

Вадим Григорьевич глядел на него полными страха и надежды глазами.

— Чуял я, что в этом вексельке что-то неладное. Недаром тебе его подарили… Четырех тысяч тоже так не подарят… Савин богат… Не он — отец… Отец за него долг заплатит… Это я доподлинно знаю и векселей у меня на этого молодца много… Вексель его подарить, значит все равно, что четыре тысячи подарить… Кто же это сделает… Взяло меня тогда, когда ты его принес мне, сумление, ан и оправдалось… Вексель-то безнадежный… По начальству о нем заявлено… У меня, храни Бог, на имя Соколова нет… У меня все бланки важные… А то вдруг тебе в четыре тысячи Савина вексель подарят… Благодетель какой нашелся.

— Позвольте… Корнилий Потапович… как это подарят-с… Ведь это не подарок, кровные мои деньги-с… Ведь я вам докладывал-с.

— Это о том, что деньги эти тебе был должен Семиладов за женитьбу на его душеньке, за прикрытие греха?

— Именно-с, Корнилий Потапович… Ведь я ей имя дал, также и сыну его, Семиладова-то… Как родного люблю Ваську… Он тогда мне пять тысяч обещал, тыщу в задаток перед венцом дал, а затем и на попятный. Я его и так, и сяк… Ничего с ним не поделаешь. Сперва совсем к нему не допускали, как женихом был, а потом женился, первое время никак его подстеречь не мог… Наконец накрыл… И не заикайся, говорит, довольно с тебя, у тебя жена-краля, да с тысячью приданного… Какого тебе, мозгляку, рожна еще.

— Верно… — вставил замечание Алфимов.

Вадим Григорьевич остановился, испуганно посмотрел на старика, несколько минут помолчал, приняв обиженный вид, а затем продолжал:

— Помогать, помогать, говорит буду… а то отдай тебе такую уйму денег, как четыре тысячи, так ты сопьешься и околеешь… Это я-то!

— Верно… — снова заметил Корнилий Потапович, но на этот раз Мардарьев пропустил это замечание мимо ушей.

— Ну, действительно, Соньке по малости помогал и помогает, так, к Рождеству, к Святой, 17 сентября, день ее ангела, да от нее разве что мне перепадет. Кремень-баба.

— Умна! — вставил Алфимов.

— А я между тем имя дал… — воскликнул Вадим Григорьевич… — Ей и сыну имя дал.

— Имя… — вдруг обозлился Корнилий Потапович, — и что ты пустяки лопочешь… имя… какое у тебя, паршивец, имя?

— По… по… позвольте… — покусился перебить его Мардарьев, даже привскочив на стуле.

Но это был мгновенный порыв, он тотчас же снова смирно уселся на него и даже как-то весь осунулся и притих.

— Грош твоему имени цена… Вот что, а ты тыщу взял… Да думал еще четыре заполучить… Ишь у тебя аппетит волчий… А сноровки нет…

— Однако, Корнилий Потапович, они сами, Семиладов-то год тому назад меня призывают и этот самый вексель дают-с… На, говорит, тебе, в уплату моего долга, получишь — твое счастье. Значит они сознают.

— Ничего не значит… Прознал он вексель-то у него какой, может его за тысчонку, а то и меньше учел… Видит, дело дрянь, денежки все рано пропадают, дай, думает, потешу дурака… Тебе и отдал… А ты меня хотел подвести… но только меня трудновато… Нюх есть… ой, какой нюх… Векселя-то эти на ощупь оцениваю… по запаху цену назначу… Хе, хе, хе… — раскатился старик довольным смехом.

Сбитый в мыслях, Мардарьев молчал.

— А у тебя, говорю, сноровки нет… Ишь какую лапшу из его документа дозволил мальчишке сделать. — Алфимов рукою указал на лежавшие на столе клочки разорванного векселя. — Сейчас караул бы закричал, полицию бы навел, откупился бы он, струсил.

— Я это и хотел-с, Корнилий Потапович.

— Хотел-с… — передразнил его старик. — Чего же не сделал?

— Обстановка-с… Страшно-с стало… Важное такое место, роскошное, можно сказать… Язык прилип в гортани.

— То-то же… Глуп ты, а еще писатель… А то имя.

Старик замолчал.

— Так что же делать теперь, Корнилий Потапович? — не произнес, а скорее простонал Вадим Григорьевич.

Корнилий Потапович не отвечал ни слова. Он сидел с закрытыми глазами.

XVIII
Благодетель

— Ты еще здесь? — открыл глаза Корнилий Потапович Алфимов.

— Я-с… Здесь… — с недоумением ответил Вадим Григорьевич, с томительным беспокойством ожидавший ответа на свой вопрос: «что делать?» и совершенно не подготовленный к заданному ему вопросу.

— Что же тебе от меня надо?.. Вексель я, если бы и хотел купить у тебя, не могу, так как его нет…

Алфимов указал снова рукою на оставшиеся на столе клочки бумаги.

— Что же, значит на него и управы нет, на Савина, на этого?..

— Как нет, управа есть, управа на всех найдется, но надо, чтобы были поступки… — докторальным тоном ответил Алфимов.

— Какие же к нему еще поступки надо?.. — заволновался Мардарьев. — Ежели к нему человек с документом приходит, а он документ в клочки, а человека за шиворот и на вылет…

— Чудак человек, ведь какой документ, да и какой человек… У иного человека и шиворота-то нет, ухватит он его и подумает, а другой, так весь один шиворот, толкай не хочу… Так-то…

— Что же, какой документ… Документ, как документ — вексель… Мне нет дела, что он украден у него, я третье лицо… — продолжал горячась Мардарьев, не поняв или не захотев понять намека Корнилия Потаповича о человеке-шивороте.

— Ну, какое же ты лицо… Ты совсем не лицо… Ха, ха, ха… — прервал его Алфимов и захохотал.

— То есть как не лицо, Корнилий Потапович?

— Так, ты один шиворот… Вот тебя за него взял да и…

Алфимов жестом показал, как выталкивают в шею.

— Вы все шутите. А мне не до шуток, — обиженно произнес Мардарьев.

— Не плакать же мне с тобою прикажешь… Лицо… Ха, ха, ха… — расхохотался снова Корнилий Потапович.

Вадим Григорьевич сидел совершенно уничтоженный и обиженный.

— Так что же, значит, теперь всему пропадать!.. — после некоторой паузы воскликнул он.

В этом восклицании слышалось неподдельное отчаяние.

— Как же ты это в толк взять не можешь?.. — вдруг, сделавшись серьезным, заговорил Алфимов. — Коли вексель этот безденежный, коли об этом по начальству заявлено своевременно… опять же находится в таких подозрительных руках… Ведь на тебя кто ни посмотрит, скажет, что ты этот вексель как ни на есть неправдой получил, и денег за него не давал… потому издалека видно, что денег у тебя нет, да и не было…

— Ну, как не было…

— Деньги, брат, у того только есть, кто им цену знает, а ты хоть сотню тысяч имей, пройдут между рук, как будто их и не было… А ты им цены не знаешь… Принес ты мне намеднись этот самый вексель, учти за три тысячи, я отказал; за две, говорил, я говорю не могу; бери за тыщу… Так ли я говорю?

— Так-с…

— Так-с… — передразнил Алфимов Мардарьева. — А ведь ты не знал, что вексель этот с изъяном?

— Не знал, видит Бог не знал…

— Верно… А если бы ты цену деньгам знал, уступил ли бы ты четыре тысячи за три и даже за тыщу?.. А?..

Корнилий Потапович остановился и вопросительно поглядел своими бегающими глазами на Вадима Григорьевича. Тот молчал.

— Кабы ты не спешил сбавлять цену, да был бы человек по виду пообстоятельнее, да не знал бы я тебя, кто ты есть таков, может я три с половиной тыщи тебе за этот вексель дал, да теперь сам попался, вот оно что…

— Это вы, Корнилий Потапович, правильно… Горяч я-с… Мне сейчас вынь да положь… Сам виноват, каюсь…

— А меня Бог спас! — произнес торжественно Алфимов и снова закрыл глаза.

— Так как же-с, Корнилий Потапович? — снова простонал Мардарьев.

— Что, как же? — открыл тот глаза. — Вот пристал-то… Что тебе надо?..

— Может все же можно что-нибудь с него получить?.. Лоскутки все целы…

Вадим Григорьевич бережно стал расправлять клочки векселя и складывать их на скатерти.

— Получай, коли сможешь… Твое счастье…

— Вы бы мне посоветовали как…

— Постой… Савин, Савин… Николай Герасимович, — вдруг заговорил как бы сам с собою Алфимов и опустил руку в боковой карман своего сюртука и вытащил из него объемистую грязную тетрадь серой бумаги, почти всю исписанную крупным старческим почерком.

Положив тетрадь на стол, он стал ее перелистывать, мусоля пальцы слюнями.

Мардарьев с благоговением смотрел на занятие старика и на самую тетрадь, которую тот перелистывал, как бы чуя, что в ней его спасение.

— Так и есть, на имя Соколова векселей нет, — произнес Корнилий Потапович.

У Вадима Григорьевича упало сердце.

«Так вот он о чем», — промелькнуло в его уме.

Надежда, впрочем, снова закралась в его сердце.

Алфимов продолжал перелистывать тетрадь. Наконец он нашел, видимо, нужную ему запись и несколько, раз перечитал ее.

— Вексель-то склеить можно? — вдруг спросил Алфимов.

— Можно-с… Все лоскутки до одного целехоньки… А что?

— Склей к завтрему… Сотнягу нажить дам.

— Сотнягу… — упавшим голосом повторил Вадим Григорьевич. — По векселю-то ведь четыре тысячи, кровных…

— Опять за свое… Так тебе мало?.. Ишь, у тебя, говорю, аппетит-то волчий… Пошел вон…

— Накиньте хоть полсотенки…

— Пошел вон!

— Ин будь по-вашему…

— Нет, теперь я раздумал…

— Благодетель, простите, — взмолился Мардарьев.

— То-то… взмолился… А то, паршивец, торгуется, как заправский купец, будто и впрямь продает что… Ты завтра утречком ко мне понаведайся… Прошеньице напишешь куда следует, о поступке

с тобой дворянина Савина и о нанесенном тебе оскорблении и наклеенный на бумагу вексель к оному приложишь… Он тебя это один на один отчихвостил?..

— Никак нет-с, при свидетеле.

— При свидетеле!.. Не знаешь кто?..

— Знаю-с… Корнет Маслов, Михаил Дмитриевич.

— А, приятель его… Знаю и его тоже. Обстоятельный офицер… Его и выставишь в свидетели…

— А что дальше?

— Дальше, отдашь мне прошение… Я по почте отправлю… и сотнягу получишь… Когда вызовут — подтвердишь.

— А вам-то это на что?

— Много будешь знать, скоро состаришься…

Вадим Григорьевич задумался.

— Ну, а теперь проваливай… недосуг. И так с тобой с час проваландался… коли хошь завтра утром будь здесь, а коли не хошь, как хошь… Собирай свою лапшу…

В тоне этого приказания послышались такие решительные ноты, что Мардарьев, бережно собрав разорванный вексель и сунув его в карман, вышел, сказав:

— Так до завтра.

— До завтра… Прошенье изготовь, подпишешь здесь, при мне…

— Слушаю-с…

Когда дверь кабинета затворилась за Вадимом Григорьевичем, Корнилий Потапович снова принялся за рассмотрение своей тетради, перелистывая ее взад и вперед и делая про себя одному ему понятные односложные замечания. Это были скорее не слова, а продолжительные междометия.

Если бы эта тетрадь Алфимова сохранилась бы до настоящего времени, она была бы драгоценным материалом для обрисовки нравов той эпохи, к которой относилась. Это было собрание не только финансовых, но и семейных тайн многих выдающихся и известных лиц Петербурга, в ней была история их кредитоспособности, фамилии и адреса содержанок женатых людей и кандидаток в них. В этой тетради была канва для всевозможного рода шантажа, по которой искусный и беззастенчивый человек мог вышивать желательные для него узоры.

К чести Корнилия Потаповича, мы должны сказать, что он прибегал к помощи собранных и собираемых им сведений, аккуратно записанных им в эту тетрадку, в редких и исключительных случаях.

Окончив ее просмотр, он бережно сложил ее и опустил снова в боковой карман сюртука, закрыл глаза и задумался.

Алфимов думал об устроенном деле.

Читатель, конечно, понял, что предлагая Мардарьеву сто рублей за разорванный Савиным вексель и прошение об его разорвании и нанесении Мардарьеву личного оскорбления, Корнилий Потапович был далек от благодетельствования Вадима Григорьевича.

Добрые дела и не входили в сферу деятельности этого паука-ростовщика.

Это понял и сам Мардарьев и усиленно ломал себе голову, возвращаясь домой, зачем этому «старику-дьяволу», как непочтительно заочно думал о нем Вадим Григорьевич, понадобились этот, по его же словам, ничего не стоящий вексель и прошение, так понадобились, что он предложил ему, Мардарьеву, сто рублей.

Обдумывание этого вопроса не привело, однако, ни к каким результатам, он оставался без ответа.

Ясно было лишь для Вадима Григорьевича одно, что «старый дьявол», «алхимик», выдав эту сотню рублей, заработает в десять, двадцать, а может и тридцать раз более, но как?

Если бы этот вопрос Вадиму Григорьевичу удалось разрешить, хотя частично, он мог бы с ним торговаться и не дать назначить себе цену без разговоров.

«Хошь, так хошь, а не хошь, как хошь…» — со злобой вспомнил он фразу Алфимова.

«Корчит из себя, старый черт, будто ему и впрямь совсем этого векселя не надо, а спрашивает все же, цел ли весь?..» — продолжал думать Вадим Григорьевич, уже шагая по Слоновой улице.

— Благодетельствует, говорит… Ишь благодетель какой выискался!.. — даже вслух повторил Мардарьев, входя во двор, где помещалась квартира его жены и на подъезде была изображена на вывеске дама с талией осы и длинным шлейфом, а сверху и снизу было написано черными буквами на белом фоне: «Портниха мадам Софи».

— Благодетель, алхимик… — повторил снова вслух Вадим Григорьевич, скрываясь в подъезде.

Думы Корнилия Потаповича были прерваны явившимися один за другим несколькими клиентами.

Это были все лица, далеко не гармонировавшие с публикой описанного нами низка трактира: два каких-то солидных господина, офицер и даже порядочно одетая не старая дама под густой вуалью.

Алфимов неизменно принимал их в своем кабинете… бесстрастно выслушивал их, бесстрастно вынимал документы, отдавал деньги и брал, возвращал документы и также бесстрастно отказывал в просьбах.

Последний клиент, видимо, почтенный купец задержался и приказал подать чаю… Он уплачивал деньги в окончательный расчет, а потому счеты затянулись.

Когда наконец он ушел, заплатив за чай, Корнилий Потапович бережно собрал оставшиеся четыре куска сахару и сунул их в карман, затем, позвав полового, приказал сохранить ему недопитый чай до утра.

— Ты завтра мне его и подогрей, зачем пропадать, — сказал Алфимов.

— Слушаю-с… — с чуть заметной усмешкой отвечал слуга.

Корнилий Потапович вынул из кармана громадную серебряную луковицу-часы и посмотрел на нее.

Было половина пятого.

Несмотря на то, что всегда он сидел до пяти, в описываемый нами день он нахлобучил, бывший когда-то плюшевым, а теперь ставший совершенно неизвестной материи, картуз, который относил зиму и лето, надел с помощью полового старое замасленное и рваное пальто, взял свою палку с крючком, вышел из низка на улицу и пошел по направлению к Владимирской, видимо, не домой.

Он ходил несколько согнувшись, но быстро и твердым шагом.

XIX
Крашеная кукла

На Большом проспекте Васильевского острова в половине семидесятых годов стоял громадный двухэтажный каменный дом, весьма старинной и своеобразной для Петербурга архитектуры.

Дом этот существует, впрочем, и до сегодня, но по внешнему его виду изменился совершенно неузнаваемо.

Теперь это один из обыкновенных громадных петербургских домов, пятиэтажный фасад которого выходит на улицу со множеством торговых помещений; в доме приютился и большой трактир.

При входе под ворота, находящиеся в середине дома, во дворе взору посетителя представлялся такой же другой пятиэтажный дом, причем нижних два этажа резко отличаются по форме постройки от верхних.

Разница эта бросается в глаза уже и потому, что два нижних этажа оштукатурены и на них даже видны следы лепных украшений, тогда как верхние три — кирпичные, как и дом, выходящий на улицу.

Посреди двора обращают на себя внимание два дерева с густой листвой; такие же деревья растут и на втором обширном дворе, занятом надворными постройками и складом строительных материалов.

В описываемое нами время дом был, повторяем, двухэтажный, окрашенный в светло-желтую краску и поражал своею архитектурою и затейливыми лепными украшениями. Весь карниз был из головок амуров, выглядывавших из гирлянд цветов; в широких простенках внизу, между двенадцатью, а наверху, четырнадцатью большими окнами по фасаду, выделялись лепные мифологические фигуры, расположенные одна над другой, нижние как бы поддерживающие куски колонн и служащие пьедесталом для верхних, и так далее. Большой подъезд, навес которого тоже поддерживался такими же фигурами-колоннами, делил нижний этаж на две равные части.

Сам дом стоял в глубине двора-сада, отделенного от улицы железной решеткой в каменных столбах, на вершине которых находились шары с воткнутыми в них острием вверх копьями; в середине были такие же железные ворота, на столбах которых были традиционные львы.

За домом шел огромный сад, обнесенный каменной оградой, калитка в которой выходила в совершенно пустынный переулок, даже кажется в то время не имевший названия.

Два совершенно отдельные одноэтажные флигеля, в четыре окна каждый, выходили на улицу. Надворные постройки, как то: конюшня, каретный сарай, другой сарай, погреб и прачечная, были расположены за флигелями.

Посередине двора стояла целая куща деревьев, вокруг которых надо было объехать, чтобы попасть к подъезду.

Такие же деревья росли и с боков главного дома, полузакрывая надворные постройки — словом, дом, стоявший на фоне заднего разросшегося сада, казался, весь в зелени.

Проезжавшие или проходившие в первый раз по Большому проспекту невольно останавливались перед этим оригинальным строением.

Зеркальные окна дома в солнечный летний и в особенности зимний день, когда все деревья были покрыты блестящим инеем, придавали ему почти волшебный вид.

Оригинальный дом этот принадлежал Аркадию Александровичу Колесину, уже знакомому нашим читателям по фамилии, одному из горячих поклонников очаровательной Гранпа, сопернику Николая Герасимовича Савина в деле ухаживания за этой восходящей звездой балета.

Читатель не забыл, вероятно, что молодой Максимилиан Гранпа определил его внешние и внутренние качества несколькими словами: «крашеная кукла» и «шулер».

Это определение было, надо сознаться, довольно метко и справедливо.

Еще, пожалуй, не старый — ему было за сорок, высокий, статный — но совершенно отживший человек, он уже несколько лет прибегал к усиленной реставрации своей особы с помощью корсета, красок для волос и всевозможных косметик, и только после более чем часового сеанса со своим парикмахером, жившим у него в доме и хранившим тайну туалета барина, появлялся даже перед своей прислугой — жгучим брюнетом с волнистыми волосами воронового крыла, выхоленными такими же усами, блестящими глазами и юношеским румянцем на матовой белизны щеках.

В таком виде пребывал он до поздней ночи, а иногда и до утра, хотя в последнем случае, по ядовитому замечанию своих друзей-приятелей, начинал «несколько линять».

Такими друзьями-приятелями у него был весь фешенебельный Петербург.

Колесин не стеснялся в деньгах, слыл даже за очень богатого человека, служил когда-то в одном из блестящих гвардейских полков и носил древнюю дворянскую фамилию — вот все, что надо было петербургскому свету, чтобы раскрыть двери своих гостиных Аркадию Александровичу.

Какое дело было тому же свету, откуда черпает Колесин те самые богатые средства, которые при том умении ими пользоваться, каким обладал Аркадий Александрович, казались еще больше?

Знали, что он игрок, говорили даже, «что счастливый игрок», втихомолку называли даже шулером, но доказательств последнего не было никаких, никто никогда не поймал его на передержке, никто не накрыл его с крапленой колодой.

Он часто даже проигрывал, и настоящие игроки готовы были присягнуть, что Колесин играет чисто.

Правда, у него в доме в задних комнатах велась каждую ночь большая игра, но он почти не принимал в ней участия — он любил только, чтобы собирались у него по чисто русскому широкому хлебосольству.

Он выписал даже из-за границы рулетку и поставил ее в отдаленную комнату своего дома, но он сделал это для приятелей, любителей сильных ощущений.

Банк в рулетке держался от самого хозяина, особо приставленным для этого крупье.

Среди его гостей также, правда, всегда было несколько подозрительных личностей, но и сам хозяин хорошенько не знал их, принимая в Петербурге, по московскому обычаю, и званых и незваных.

Поговаривали, впрочем, что у Колесина, на вечерах редко можно выиграть. Выигрывали все какие-то неизвестные личности, не принадлежащие к свету, приезжие помещики, адвокаты…

Бывали случаи, однако, что и лицо из общества выиграет довольно крупный куш, и слава об этом идет, тогда как те, которые проигрались, по большей части молчат…

Этим не только смягчалась, но прямо возвышалась репутация колесниковских вечеров.

Аркадий Александрович жил в правой половине нижнего этажа, где у него были так называемые жилые комнаты, маленький зал, приемная, гостиная, кабинет и спальня.

Весь верхний этаж был занят парадными комнатами, роскошно меблированными гостиными; там же помещались и игорные комнаты и комната, где находилась рулетка.

Левая часть нижнего этажа была совершенно скрыта от постороннего глаза, шторы на окнах были всегда спущены, а перед дверью, ведшею из громадных сеней с шестью колоннами в эту половину,

всегда в кресле сидел седой швейцар, встававший при входе посетителя и неизменно повторявший одну и ту же фразу:

— К Аркадию Александровичу дверь направо.

У этой двери направо был свой швейцар, снимавший с гостей верхнее платье и дававший звонок, на который ливрейный лакей, если то был приемный час, отворял дверь.

Носились слухи, что в левой половине нижнего этажа помещался гарем Колесина, в котором были, как передавали «всезнайки», красивейшие женщины всех наций и даже негритянка.

Жители соседних домов по Большому проспекту подтверждали те же слухи, клятвенно уверяя, что видели не раз выглядывавшие украдкой из-под спущенных штор миловидные женские личики, а в саду зимой и летом слышались женские голоса.

Местные полицейские власти, конечно, знали об этом более основательно, но они не считали нужным быть болтливыми.

Существование домашнего гарема не мешало, однако, в описываемое время Аркадию Александровичу быть по уши влюбленным в Маргариту Максимилиановну Гранпа.

Он не щадил средств на букеты, венки и подарки молоденькой танцовщице, а также не забывал и ее мачеху, которая, как мы знаем, была на стороне этого претендента на ее падчерицу и даже сумела склонить к тому и своего сожителя — родного отца Маргариты.

Оба они, пропитанные до мозга костей балетными традициями, а особенно последний, быть может совершенно искренне желали счастия Марго и заботились о ее судьбе, а эта судьба в среде звезд парусинного неба всецело определялась словами «попасть на содержание».

Швыряющий без счета деньги, Колесин в балетном мире, конечно, считался хорошим «содержателем».

Не так, как мы знаем, думала пока Маргарита Максимилиановна и не так глядела, вообще, на судьбу своей любимой внучки бабушка Нина Александровна Бекетова.

Увоз первой из родительского дома Савиным, укрывшим свою «невесту», как называли уже Гранпа в театральных кружках под покров ее бабушки, произвел, конечно, переполох в ее семье, но отец Маргариты побаивался Нины Александровны и предпринимать что-нибудь против старушки, несмотря на настояния своей сожительницы, не решался, даже ездить к Нине Александровне он не смел,

так как старушка все равно не приняла бы его, прозевавшего и погубившего, как она выражалась, ее дочь — мать Маргариты.

Театры летом закрыты, а потому встретить дочь на сцене и уговором ее возвратить не представлялось возможности.

Эта победа Николая Герасимовича Савина, конечно, дошла и до Аркадия Александровича Колесина.

Он, что называется, рвал и метал в бессильной злобе.

— Десять тысяч не пожалел бы тому, кто бы устранил с моей дороги этого бесшабашного сорванца… — говорил он в кругу своих друзей-приятелей.

У Максимилиана Эрнестовича и Марины Владиславовны он продолжал бывать почти ежедневно, участвуя в семейных советах о мерах, которые можно было бы предпринять для возвращения Маргариты.

Но никаких действительных мер придумать было невозможно.

Старуха Бекетова стояла перед своей внучкой надежным стражем.

Максимилиан Эрнестович знал, что старушка имела в Петербурге связи, что ее уважали в довольно высоких сферах, что голос ее, поднятый в защиту внучки, которой отец с сожительницей препятствуют выйти замуж для того, чтобы продать подороже, будет услышан и наделает ему неприятностей.

Это понимала и Марина Владиславовна и только отводила, как говорится, душу, упрекая в слабости и тряпичности своего Максимилиана Эрнестовича.

Колесин, тоже как огня боявшийся всяческой огласки, был на стороне последнего, который предложил обождать до начала сезона, то есть до возобновления балетных спектаклей.

— Но в каком положении у них роман? — допытывался Колесин.

— В каком? Да ни в каком… Воркуют себе в квартире у старушки; он ждет отпуска и хочет ехать к родителям просить благословения… Дадут они ему его, так и есть, дожидайся… — утешал Аркадия Александровича Максимилиан Эрнестович.

Все эти сведения он получил от Анны Александровны Горской, а последняя от Михаила Дмитриевича Маслова, которого Николай Герасимович посвящал во все свои надежды и упования.

— Эх, как бы его скорей угнали отсюда черти! — восклицал Колесин. — И что она в нем нашла такого… Беспутный малый…

— Ну, положим, он красив… — подливала масла в огонь Марина Владиславовна. — Да и уедет, много вам корысти не будет, вернется… Напрасно Макс думает, что родители его ему не позволят жениться на ней… Отчего? Рады еще будут, может-де остепенится…

Аркадий Александрович краснел и бледнел даже под толстым слоем белил и румян.

— Десять тысяч бы не пожалел тому, кто устранил бы с моей дороги этого сорванца… — все чаще и чаще повторял он.

XX
Хитроумный план

Аркадий Александрович Колесин считался одним из крупных клиентов знакомого нам Корнилия Потаповича Алфимова.

Образ жизни, который вел первый, обладание крупными денежными кушами, которое зачастую сменялось абсолютным безденежьем, делали оказываемую вовремя денежную поддержку со стороны Алфимова неизбежной, легко же приобретаемые деньги позволяли Аркадию Александровичу не стоять за процентами и платить, как назначал Алфимов, аккуратно, при этом оправдывая обстоятельства.

Кроме личного кредита, Колесин доставлял Корнилию Потаповичу и других клиентов из проигравшихся «пижонов», как технически, на языке шулеров, называются сынки богатых родителей.

Все это делало то, что Алфимов даже не затруднял Аркадия Александровича заходить в его кабинет в низке трактира на Невском проспекте, а сам частенько прогуливался к нему на Васильевский остров — исключение, которое Алфимов делал весьма немногим.

Он уважал Аркадия Александровича.

— Почтенный, благородный господин… — в глаза и за глаза называл его Корнилий Потапович.

Во время этих-то визитов и бесед с Колесиным, последний, — просто потому, что являлась потребность выложить душу, — рассказывал Корнилию Потаповичу свое ухаживание за танцовщицей Гранпа и свои неудачи.

— А вы мошной тряхните, посильней… Мошной… — посоветовал Алфимов.

— Да уж трясу, сильно трясу… Не помогает!

— Поди ж ты, с чего бы это? Их сестра, танцорка, к мошне очень чувствительна… ох, как чувствительна.

— А вот эта не чувствительна.

— Выродок, стало быть…

— Выродок, не выродок, а любовь тут к одному замешалась…

— Тсс… — удивленно прошипел Алфимов. — Любовь…

— Да, любовь, замуж выходить захотела…

— Это танцорка-то?

— Да… Эх! Десяти бы тысяч не пожалел, кабы кто устранил с моей дороги этого сорванца.

— Десять тысяч… большие деньги…

— Не пожалел бы, говорю, не пожалел бы! — крикнул раздраженно Колесин.

— Верю-с, верю-с, Аркадий Александрович, смею ли я вам не верить, такому благородному, почтенному господину… А кто это, осмелюсь спросить?

— Савин, некто…

— Савин Николай Герасимович!..

— А разве ты знаешь?

— Лично не знаком-с, а с почерком очень даже.

— Как с почерком?..

— По векселям…

— Много их у тебя на него?

— Достаточно-с… Векселя верные… Папенька за них платит, раз уже заплатил рубль за рубль, тоже почтенный и благородный господин.

— Кто это? — вскинул на него глаза Аркадий Александрович.

— Папенька Савина, Герасим Сергеевич.

— А-а…

На этом разговор прекратился, и Корнилий Потапович вышел из комфортабельного кабинета Колесина, убранного в восточном вкусе, где последний принимал первого.

Суть разговора, однако, засела в голову Алфимова, и, придя домой, он вписал в свою заветную тетрадь все слышанное им от Аркадия Александровича и решил, кроме этого, пополнить сведения о Николае Герасимовиче Савине.

«Скандалист он, дебоши вместе с Хватовым устраивал, его верно чиновники от Гофтреппе знают…» — рассуждал между тем Алфимов.

Среди последних у Корнилия Потаповича было много своих людей и даже должников.

Он принялся наводить справки, которые увенчались неожиданным успехом, несколько страниц тетради были посвящены Савину.

Оказалось, что если бы он не был на службе, то давно был бы выслан из Петербурга. Конечно, теперь все забыто, но случись какой-нибудь казус после отставки, которую Савин ждет со дня на день, ему всякое лыко поставят в строку и вышлют, «куда Макар телят не гонял», вышлют без разговоров.

По счастливому для Алфимова стечению обстоятельств, вскоре явился к нему известный нам Мардарьев с векселем на Савина в четыре тысячи рублей для учета.

На Корнилия Потаповича, как мы знаем, нашло сомнение в качестве этого векселя, ввиду, как он объяснял сам Вадиму Григорьевичу, слишком быстрой и большой уступки и личности самого настоящего владельца векселя, и он предложил Мардарьеву сперва переговорить лично с Николаем Герасимовичем, попросил его, если он не отдаст денег, переписать вексель.

— А тогда возвращайся ко мне, посмотрим… — сказал Алфимов.

Читателям известен результат визита Вадима Григорьевича к Николаю Герасимовичу.

Вексель оказался, действительно, с изъянцем, а в разорванном виде, конечно, не стоил ни гроша, но ввиду близости отставки Савина, у Корнилия Потаповича зародился во время беседы с Вадимом Григорьевичем в голове хитроумный план воспользоваться этим поступком Савина, подать на него жалобу и всякими путями, правыми и неправыми, добиться его высылки.

«Десяти тысяч не пожалею тому, кто устранил с моей дороги этого сорванца!» — звучали в ушах Алфимова слова Колесина.

«Десять, не десять, а пять тысчонок сорвать можно…» — рассудил Корнилий Потапович, и вот причина, почему он сперва играл с Мардарьевым, как кошка с мышью, а затем предложил ему сто рублей за разорванный вексель и жалобу на Савина.

Выйдя на полчаса ранее своего обычного времени из низка трактира, Корнилий Потапович пешком — он никогда в жизни не ездил на извозчиках — отправился на Васильевский остров.

Путь был не близкий, но Алфимов не заметил его, идя ровной походкой и не спеша. Алфимов знал, что ранее шести часов он не застанет дома Аркадия Александровича Колесина.

Было без четверти шесть, когда он достиг Большого проспекта и вошел в ворота вычурного дома.

Он не вошел в парадный подъезд, а повернул к левому флигелю, где жил с семьей камердинер Колесина, Евграф Евграфович, и, кроме того, помещалась и другая прислуга дома.

Евграф Евграфович Крутогоров являлся, впрочем, во флигель только в отсутствие барина, днем и вечером, а ночью находился в главном доме, где ему около спальни Аркадия Александровича была отведена маленькая комнатка. Евграф Евграфович оказался во флигеле и радостно приветствовал Корнилия Потаповича.

Он знал, что барин ведет с Алфимовым большие дела, знал не только как приближенное к Колесину лицо, но принимал, хотя и очень незначительное, участие в прибылях ростовщика, который считал необходимым задабривать камердинера выгодного клиента, «почтенного и благородного человека», маленькими денежными подарками. Корнилий Потапович даже не ограничился этим, а покумился с Евграфом Евграфовичем, окрестив его последнюю дочь. Куме и крестнице он тоже нашивал дешевенькие подарки.

По этой допущенной роскоши можно судить, насколько он «уважал» Аркадия Александровича Колесина или, лучше сказать, насколько считал для себя выгодным иметь его в числе своих клиентов.

Едва Алфимов показался в передней комнате флигелька, как Евграф Евграфович воскликнул:

— Куму почтенье… Жена, дядя Алфимыч… Самоварчик!..

— Не надо, не надо, — замахал руками Корнилий Потапович, не раздеваясь, входя в следующую комнату, заменявшую и гостиную, и спальню супругов; в соседней комнате слышался крик детей — Евграф Евграфович имел в своем распоряжении две комнаты и переднюю.

— Почему это не надо?.. Дорогой гость… — возразил Евграф Евграфович.

— К самому я, по важному делу… Нету еще?..

— Нету… Да должен сейчас быть… Раздевайтесь, кум.

Корнилий Потапович только что начал расстегивать свое пальто, как на дворе послышался шум въехавшего парного экипажа.

— Сам? — спросил Алфимов, снова застегивая расстегнутую пуговицу.

— Он, легок на помине… Надо бежать… Ты посидишь или со мной?

— С тобой… Дело, говорю, казусное, так и доложи, что о Савине…

— О Савине… Это сейчас позовет… — бросил уже на ходу Евграф Евграфович, вместе с Корнилием Потаповичем выходя из флигелька и огибая угол дома, чтобы пройти в него с заднего крыльца.

— Пройди ко мне в комнату… — сказал первый. — А я сейчас доложу, только раздену.

Евграф Евграфович отправился в кабинет, откуда через полчаса вернулся к себе и сказал снявшему пальто Корнилию Потаповичу:

— Иди, зовет…

Алфимов своей ровной походкой через умывальную и спальную комнату, видимо знакомым ему путем, направился в кабинет.

Аркадий Александрович в дорогом синем атласном халате с бархатными отворотами в тень и большими шнурами, с кистями у пояса полулежал на одном из турецких диванов и, видимо, с наслаждением втягивал в себя дымок только что закуренной гаванны.

Аромат сигары несся в воздухе, раздражающе щекоча обоняние.

— Корнилий Потапович! — сквозь зубы, не вынимая изо рта сигары, воскликнул Колесин. — Приехал?

— Никак нет-с, пришел…

— Устал?

— Нет-с, с чего устать, близко.

— Это с Николаевской-то?

— С Невского…

Вопросом о том, приехал ли Алфимов или пришел Аркадий Александрович допекал его при каждом его появлении в своем кабинете.

— Садись… — Колесин указал на стоявший перед диваном низенький пуф.

— Я к вам по делу, может могу вам устроить то, о чем намедни вы говорить изволили… насчет Савина, Николая Герасимовича…

— Мне говорил Евграф… что же ты придумал?..

— Казусное, скажу, вышло дельце… Дозвольте маленько сообразить…

— Ну, соображай…

Корнилий Потапович замолчал, видимо, что-то усиленно обдумывая.

XXI
Договор

Алфимов молчал.

Аркадий Александрович нетерпеливо теребил кисти халата.

— Надумался… говори же… — не вытерпел наконец он.

— Вам желательно было бы этого самого Савина из Петербурга удалить?

— Желательно, очень… Да он, говорят, сам скоро уезжает…

— Временно, но ведь опять вернется?

— Ну, конечно…

— А вам бы желательно, чтобы он не вернулся, а если вернется, чтобы его сейчас же бы и попросили о выезде…

— Это бы хорошо… Да кто же это может сделать?

— Чего-с?

— Попросить о выезде…

— Начальство.

— Начальство?

— Доподлинно только начальство.

— Но как же этого достигнуть?

— Вот об этом я с вами, Аркадий Александрович, и пришел погуторить…

— Говори…

— И вам ведь доподлинно известно, что господин Савин у городского-то начальства куда на каком дурном счету… Скандалист он, безобразник, только за последнее время несколько поутих…

— Знаю, конечно, знаю…

— Ну, вот, в том-то и дело… По службе он офицер, гражданскому-то начальству с ним справиться нельзя, однако, все его «штучки» где следует прописаны… но за это-то время, как он притих, конечно, позабыты… Теперь же, не нынче завтра он в отставку выйдет, городскому начальству подчинен будет, как все мы, грешные… Ежели теперь бы найти поступок, хоть самый наималейший, все бы можно и прошлые со дна достать, да и выложить… Так то-с…

— Но ведь ты говоришь, что он теперь притих… Я и сам слышал, что неузнаваем стал, точно переродился…

— Верно, верно, это вы правильно…

— Где же ты поступок-то возьмешь, коли его нет, да и как взглянуть, может старое-то перетряхать не станут… Исправился, скажут, человек, ну и Бог с ним…

— Эх, Аркадий Александрович, умный, обстоятельный вы барин, а простого дела не знаете, вся ведь сила у начальства в докладе…

— В докладе?.. — вопросительно повторил Колесин.

— Точно так, Аркадий Александрович, как доложат главному начальству; коли справочки о прошлом припустят, они и пригодятся и для настоящего… справочки-то.

— Однако и дока же ты, Корнилий Потапович… — лениво сквозь зубы уронил Колесин. — Ну, положим ты прав, а поступок-то где взять, настоящий, к которому бы пригодились твои справочки?..

— Поступок есть…

— Есть?

— Дозвольте рассказать все спервоначала?

— Рассказывай.

Корнилий Потапович начал обстоятельный рассказ о векселе Мардарьева, не утаив и его происхождения, и как он очутился в руках Вадима Григорьевича, передал о визите последнего к Савину и поступке с ним этого последнего, то есть разорванного векселя, клочки которого Мардарьев сумел сохранить, и насилия над Вадимом Григорьевичем.

— Вот-те и поступочек, — сказал в заключение Алфимов.

— Пожалуй, что и так, — после некоторого раздумья заметил Колесин. — Но тогда Мардарьеву надо идти в суд, к прокурору.

— Можно, конечно, и таким путем. Только проволочки больше… Когда еще решение-то выйдет, а Савина-то и след простынет. Потом, на уголовном-то суде, с присяжными, сами знаете, и не такие казусы с рук сходят, вы вот сами по жизненному-то, не по закону сказали: «Он в своем праве». Наказать его, пожалуй, и не накажут, а иск гражданский-то, конечно, признают за Мардарьевым, да только исполнительные листы нынче бумага нестоящая, ищи ответчика-то, как журавля в небе…

Корнилий Потапович остановился.

— Так что же ты придумал? — спросил Аркадий Александрович.

— Индо жалость меня взяла к этому человеку, Мардарьеву-то, начал я мозговать, как бы его горю помочь, да и вспомнил о вас, Аркадий Александрович.

— Обо мне?

— Об вас: припомнил я, что вы десяти тысяч не пожалеете, чтобы этого самого Савина из Петербурга удалить... Дело, думаю, подходящее, то я у Мардарьева за четыре тысячи куплю, прошенье его куда следует написать заставлю, тысяченку еще не пожалеете, Аркадий Александрович, на расходы, дельце-то мы и оборудуем. Поступок есть, справочки припутаем, ан высылка-то из Петербурга отставного корнета Савина и готова.

— Ой ли?.. — отозвался Колесин. — Что-то мне не верится, чтобы это осуществилось.

— Уж будьте покойны, я зря на ветер слов не бросаю, сами, чай, знаете; коли говорю, что дело оборудую, так уж не сумлевайтесь, в лучшем виде сделано будет...

— Знаю я тебя, верю...

— То-то же, только за деньгами не стойте... Всего ведь за половину обходится... Хотели десять дать, ан всего пять понадобится.

— Да может Мардарьев этот и уступит наполовину... вексель-то... — в раздумьи сказал Аркадий Александрович.

— Уступит отчего не уступить, только ведь последние у него деньги-то... По-человечески-то торговаться жаль... Человек-то больно несчастный, кругом обиженный...

— С чего это ты вдруг зажалел его? Я за тобой этой самой любви к человечеству не знал... Нажить сам сильно хочешь...

— Видит Бог, нет-с, не обижайте... А потому лишь, что этого Вадима Григорьевича давно знаю, работящий, достойный жалости человек... В газетках пописывает, и мне и вам пригодиться может, так обижать бы его не хотелось.

— Гм... — крякнул Колесин.

— Впрочем, как вам угодно, коли не доверяете, так и разговор кончен... Помогу ему, судебным порядком пойдет...

Алфимов встал.

— Прощенья просим...

— Куда, куда ты? — заторопился и даже привскочил на диване Аркадий Александрович. — Ишь какой обидчивый, слова сказать нельзя, как порох...

— Слово слову рознь, Аркадий Александрович, а иное ножом человека полоснет по сердцу… Все дела веду на доверии… Сколько годов с вами знаком и, кажись, ни в чем не замечен… и вдруг…

— Сиди, сиди, я пошутил… Верю я тебе, верю, всегда верю… Только вот денег-то у меня теперь свободных, как на зло, нет…

— Деньги что, деньги у Алфимыча есть, все равно что ваши… Вот подмахните вексельк…

Корнилий Потапович вынул объемистый, когда-то желтой кожи, страшно засаленный бумажник и вынул оттуда вексельный бланк.

— На какой срок?

— Да месяца на три…

— На три?.. Двести пятьдесят, да двести пятьдесят, да еще двести пятьдесят… Итого семьсот пятьдесят, а для ровного счета, да вексельная бумага, пишите на пять тысяч восемьсот, и дело в шляпе…

— Уж и проценты же ты берешь, Корнилий Потапович, даже жидовскими нельзя назвать… И те меньше цапают…

— Процент; Аркадий Александрович, цена деньгам, а деньги товар… Я этим товаром торгую, значит мне и цену на него назначать… Коли покупатель согласен — по рукам, а коли нет — его воля… Тоже мы насильно денег никому в карман не кладем…. Сами просят… Да и что вам, Аркадий Александрович, лишний процент, нам бы лишь оборотного капитала не ко времени не вынимать, до дела подождать, а дело наклюнется, загребайте деньги лопатой…

— Оно так-то так, но все-таки… Сбавочку хоть по знакомству давнишнему сделать бы надо…

— По знакомству я вас, Аркадий Александрович, вот как уважаю и ценю, а процент изменить не могу, в этом деле коммерция, пословица недаром молвит: «Дружба дружбой, а деньгам счет».

— Счет-то у тебя аптекарский. Ну, да давай, напишу вексель, а то ты опять обидишься.

Колесин встал с дивана, взял вексельный бланк, подошел к письменному столу и стал писать.

Корнилий Потапович сидел молча и совершенно бесстрастно.

— На, получай, — сказал Аркадий Александрович, просушив написанный вексель на пропускной бумаге и подходя с ним в руках к Алфимову.

Последний взял вексель, встал, подошел к стоявшей на столе лампе, внимательно прочел его и, бережно сложив, положил в вынутый им из кармана бумажник, который снова опустил в карман.

— Значит с Богом и начнем?..

— Начинай… Оборудуй, благодетель, век не забуду, — сказал Колесин. — Значит так будет сделано, что раз он уедет, сюда ему назад носа показать будет нельзя. Шабаш?..

— Шабаш.

— Это хорошо, это-то и надобно. Валяй, Алфимыч, валяй.

— Рад стараться.

Корнилий Потапович откланялся, вернулся в комнату Евграфа Евграфовича, сунул ему красненькую для крестницы и, провожаемый всякими благопожеланиями последнего, вышел из ворот Колесинского дома. Он не заметил, как прошел громадное расстояние от своего дома до Николаевской улицы.

Голова его была полна вычислениями, результатом которых Алфимов был очень доволен. По его соображению, он нажил по делу Мардарьевского векселя более пяти тысяч рублей.

«Хорошее дельце! Хорошее дельце!» — шептал он про себя.

XXII
У домашнего очага

Квартирка Вадима Григорьевича Мардарьева или, лучше сказать, жены его Софьи Александровны, состояла из двух маленьких комнат и передней, служившей вместе и кухней.

Меблировка была убога: в первой комнате стоял старинный диван с деревянной когда-то полированной спинкой и мягким сиденьем, крытым красным кумачом, несколько стульев, простой большой деревянный стол у стены и окна справа и раскрытый ломберный, с ободранным сукном, покрытый газетной бумагой, у окна, находящегося прямо от входа.

На диване спал Вадим Григорьевич, а на стоявшем налево в углу сундуке, покрытом матрасом с кожаной подушкой — сын Софьи Александровны — Вася.

Сама Мардарьева помещалась с дочерью во второй узенькой комнатке — с одним окном, служившей им спальней, работала же она у большого стола, тогда как ломберный служил для письменных

занятий Мардарьева, на что указывал пузырек с чернилами, брошенная деревянная красная ручка с пером и разбросанная бумага.

Софья Александровна будто и не заметила прихода своего мужа, и лишь маленькая Лида произнесла «папа», но замолчала под строгим взглядом своей матери, и таким образом в самом начале была остановлена в проявлении своих дочерних чувств.

Софье Александровне Мардарьевой было лет за тридцать, но трудовая жизнь положила на нее отпечаток той суровой сдержанности, которая старит женщину более, нежели лета. Можно было безошибочно сказать, что в молодости она была очень красива и эта красота сохранилась бы и до сих пор при других условиях жизни, но горе и разочарование избороздили ее лицо с правильными, хотя и крупными, но симпатичными чертами, и высокий лоб преждевременными морщинами, которые являются смертным приговором для внешности настоящей блондинки, каковой была Софья Александровна Мардарьева.

Когда-то темно-синие большие глаза выцвели от слез, и теперь эти глаза были безжизненно белесоватые.

Роскошная лет десять тому назад коса вылезла и маленьким жиденьким пучком была свернута на затылке.

Она была одета в чистое ситцевое серое клетчатое платье с блузкой, которая скрывала ее когда-то стройную фигуру. Девочка была худенькая и маленькая брюнетка, видимо, в отца.

— Сонь, а Сонь… — произнес после довольно продолжительного молчания Вадим Григорьевич.

— Чего тебе? — не поворачивая головы от шитья, как бы нехотя отвечала Софья Александровна.

— А дело-то с векселем Семиладова — дрянь, совсем дрянь.

— А мне-то что… Не мой это вексель, не мои и деньги, тебе ведь заплачено.

— Да ты мне не жена что ли… — упавшим голосом произнес Вадим Григорьевич. — Вечно я слышу только от тебя один попрек — заплачено… Целый день, высунув язык, бегаю, как бы дельце какое оборудовать, денег заработать… все ведь, чай, для тебя, да для детей.

— Не видим мы что-то твоих денег… Если что и наживешь ненароком, или из редакции получишь, в трактире оставишь.

— Какие же это деньги, это гроши.

— Из грошей рубли скалачивают.

— Нет, это не по мне, не могу… Натура широкая… Погоди, Сонь, еще будем мы богаты.

— Слыхали мы болтовню-то эту, уши вянут. Вон Гордеев, тоже комиссионерничал, как и ты, а теперь, сегодня встретила на своей лошади в пролетке.

— Он вдову нашел.

— Там вдову не вдову, а в люди вышел, едет он, а впереди меня генерал идет, так он с генералом-то этим раскланивается, а тот ему эдак под козырек, честь честью.

— Проныра.

— На вашем месте только проныры и могут кормиться, а не такие, как ты ротозеи да губошлепы… — отвечала Софья Александровна.

В голосе ее слышалось нескрываемое презрение.

— Погоди, Сонь, погоди.

— Чего годить, гожу, больше двенадцати лет гожу.

— Только вот насчет векселя-то Семиладова дело, говорю, дрянь.

Софья Александровна тем временем овладела собой и молчала.

— Алфимов сто рублей дает.

— Давал, — поправила Мардарьева.

— Нет, теперь дает, прах его знает почему, а дает за склеенный. Надо будет склеить, все равно и сто рублей лучше, чем ничего.

— Зачем же он ему понадобился?

— Говорю, прах его знает… Да вот что, ты баба умная, может рассудишь, я тебе все по порядку расскажу… Рассказать?

— Да говори, ну тебя! — кивнула Софья Александровна, принимаясь снова за работу.

Вадим Григорьевич откашлялся и обстоятельно, шаг за шагом, не пропуская ни одной самой ничтожной подробности, рассказал Софье Александровне все происшедшее с ним за сегодняшний день: визит к Савину, разорвание векселя, полет из номера Европейской гостиницы, беседу с Корнилием Потаповичем и, наконец, предложение последнего за склеенный вексель и прошение заплатить ему завтра утром сто рублей.

— Поняла ты что-нибудь из всего этого? — спросил Вадим Григорьевич жену, окончив рассказ.

— Поняла… — отвечала та.

— Что же ты поняла? — вытаращил на нее глаза Мардарьев.

— А то, что Алфимов плут, а ты — дурак.

— Рассудила, нечего сказать… Первое я и без тебя знаю… а второе…

— Второе я давно знаю… — перебила Софья Александровна. — Да что толковать… склей вексель-то, напиши и подпиши прошение, а я завтра сама к этому «алхимику» пойду.

— Ты?

— Да, я, увидим, чья возьмет… Поверь моему слову, я тебе никогда не лгала, что завтра ты двести рублей от меня получишь, сиди дома и жди.

— Ой ли!

— То-то ой ли.

— Пожалуй, что и так… Потому, если насесть на него, он двести рублей даст… Характеру-то у меня только нет.

— Дурак!

— Опять… Заладила, точно попугай… Может я не хочу тебя в это дело вмешивать.

— Дважды дурак… — хладнокровно отрезала Софья Александровна.

— Хорошо, будь по-твоему… Только чтобы мне двести целиком. Я сам уж тебе дам… Экипироваться надо — обносился.

— Сказано из рук в руки отдам… Чего тут — экипируйся на здоровье, да только одежду не пропей.

— Видит Бог.

Придя к такому соглашению, супруги занялись каждый своим делом.

Софья Александровна зажгла, так как уже начало смеркаться, висевшую над большим столом висячую лампу, одну из тех, которые бывают обыкновенно в портновских мастерских. Лампа осветила всю комнату и при свете ее можно было не только шить за большим столом, но и писать за ломберным, где и поместился Вадим Григорьевич клеить вексель и писать прошение.

Вечер пролетел незаметно. Напились чаю, рано отужинали и легли спать. Вадиму Григорьевичу не спалось, он долго ворочался на своем диване.

На другой день еще задолго до девяти часов утра Корнилий Потапович Алфимов пришел в известный нам низок трактира на Невском.

Проходя по еще пустым комнатам в свой кабинет, он спросил у полового:

— Никто не спрашивал?

— Никто-с.

— Мардарьев не был?

— Никак нет-с.

Войдя в кабинет, он сел на свое обычное место и принялся за поданный ему вчерашний разогретый чай.

Во всех его движениях заметно было нетерпеливое ожидание. Он то и дело смотрел на свою луковицу. Наконец стрелка часов стала уже показывать четверть десятого.

— Что бы это могло значить? — уже вслух произнес Алфимов. В это время половой осторожно отворил дверь кабинета и взглянул в нее.

— Лезь, лезь… — по привычке произнес Корнилий Потапович.

— Там вас женщина какая-то видеть желает.

— Какая такая женщина?

— Не могу знать.

— Пусть лезет.

Половой отворил дверь и пропустил Софью Александровну Мардарьеву, одетую не только довольно чисто, но с претензией на моду. Алфимов уставился на нее своими бегающими глазами.

— Что вам угодно?

— Я Мардарьева, жена Вадима Григорьевича.

— А-а… садитесь. Что же он сам?

— Захворал… Вчера вечером еще здоров был, а сегодня утром головы от подушки поднять не может.

— Вот оно что; бывает, бывает… — покачал головой Алфимов.

— Он вчера склеил вексель, потом подписал прошение, как вы желали, вот и прислал меня с ними к вам.

— Тэк-с… Сам подписал?

— Все прошение его рукою написано.

— Тэк-с… Хоть и не порядок, но ради болезни… Извольте получить деньги. Пожалуйте прошение и документ.

Корнилий Потапович полез в карман сюртука, вытащил бумажник и из объемистой пачки радужных отделил и вынул одну.

— Вам известна сумма — сто.

— Нет, мой муж на это согласиться не может, да и я. Это невозможно.

— Что же… Так зачем же вы пришли? Я ему вчера сказал, не хочет, как хочет.

— Да он меня просил все же зайти вас уведомить, а впрочем, если так, извините за беспокойство.

Мардарьева встала. Все это до того поразило Корнилия Потаповича, что он уронил раскрытый бумажник на стол и сидел, держа в руках радужную.

— Куда же вы, посидите, потолкуем.

— Что же толковать, когда вы говорите: «Не хочет — как хочет». Он не хочет, а главное я не хочу… — продолжая стоять, сказала Софья Александровна.

— Вот оно что… — вслух произнес Алфимов и пристально посмотрел на Мардарьеву. — «Кремень-баба», — пронеслось в его голове вчерашнее определение ее мужем.

Все устроенное им вчера дельце разрушилось, натолкнувшись на этот кремень. Тысячная нажива улыбалась. Приходилось поступиться доходом.

«И зачем я вчера с ним не кончил!..» — пронеслось в уме Корнилия Потаповича.

— Все же садитесь, пожалуйста!.. — вслух обратился он к Мардарьевой.

Та, как бы нехотя, села.

XXIII
«Кремень-баба»

— Так сколько же ваш муж, или собственно вы, хотите с меня взять за этот ничего не стоящий вексель?.. — спросил после некоторой паузы Софью Александровну Корнилий Потапович.

— Если он ничего не стоит, то за него и взять ничего нельзя, так как ничего и не дадут, а если дают, значит он что-нибудь да стоит, а потому и торговаться можно, — отвечала та.

— Правильно, сударыня, рассуждать изволите, правильно… Только может я просто по доброте сердечной мужу вашему помочь пожелал, а векселя мне его и даром не надо, пусть он при нем и остается.

— Ну, в этом-то позвольте мне усомниться, не из таких вы людей, чтобы даром сотнями швырять стали… Не так вы глупы, чтобы это делать, и не так глупа я, чтобы этому поверить…

— И это верно, сударыня, что верно, то верно, видно у нас с вами по пословице: «Нашла коса на камень».

— Кажется…

— Ну, так и будем разговаривать по-хорошему… Чайку не хотите ли, прикажу подать чашечку… Чай хороший, крепкий…

— Благодарствуйте, пила.

— Что же — чай на чай не палка на палку…

— Не люблю я его…

— Чай, кофейничаете?

— Балуюсь…

— Тэк-с…

Корнилий Потапович как бы чувствовал перед собой силу, почти равную, и потому медлил приступить к решительному разговору. Он положил обратно радужную в бумажник, тщательно запрятал его в карман, долил из чайника водой недопитый стакан, взял в руки огрызок сахару и тогда только нерешительно спросил:

— А сколько вы примерно с меня за этот вексель хотите?

— Две тысячи… — не сморгнув глазом, отвечала Софья Александровна.

— Две… тысячи!.. — как-то выкрикнул Корнилий Потапович, точно громом пораженный этой цифрой, и даже выронил из руки огрызок сахару, который упал в стакан с чаем и, ввиду его крайне незначительной величины, быстро растаял.

Алфимов бросился было его вынимать, но опустив два пальца правой руки в стакан, толкнул стакан и пролил чай на сомнительной белизны скатерть.

— Ох, и напугала же ты меня, мать, — заговорил он, вдруг переходя на ты, — я думал, что разговариваю с обстоятельной женщиной, а ты, вишь, какая неладная.

Корнилий Потапович поднял стакан, спасая остатки драгоценной влаги.

— Чем же я неладная? — спросила с усмешкой Мардарьева.

— Как же ты не неладная, такую сумму выговорить, и за что, спрашивается?.. Тебе, видно, муженек-то твой не передавал, какой это вексель… опороченный…

— Знаю, все знаю, только не в векселе тут дело, а в прошении… Видно, понадобилось кому-нибудь досадить Савину, не для себя вы тут хлопочете…

— Ин, будь по-твоему, угадала, что с тобой поделаешь… Умна, бестия. Только ты рассуди, кто же за это две тысячи даст?..

— Могут дать и больше, как кому надо.

— Да ведь ты не знаешь кому надо…

— Не знаю… Вы зато знаете… Вам, значит, и надо…

— Тэк-с, и это правильно. Только уж и запросила ты… Мужу твоему я говорил вчера, что аппетит у него волчий… А ты уж, мать, совсем тигра лютая…

— Да ведь и вы не овца, вас не задерешь…

— Овца, не овца, однако же, задрать ты меня норовишь…

— Ничуть, клочок шерсти ухватить норовлю, да ничего, обрастете.

— Шутница… — несколько успокоившись, сказал Корнилий Потапович. — Нет, ты говори сколько, по-божески?..

— Я сказала.

— Заладила ворона про Якова, одно про всякого… Я тебе говорю, как по-божески…

— Да ваша-то какая цена?..

— Я свою цену еще вчера твоему мужу объявил, ну, для тебя, уж больно ты умна да догадлива, еще столько же добавлю: две сотенных.

— Нет, это не подойдет…

— Не подойдет?.. — удивился Алфимов.

— Нет и разговаривать нечего…

Я пойду. Софья Александровна поднялась со стула.

— Сиди, сиди, куда тебя несет, вот стрекоза, прости, Господи!..

— Чего же так сидеть зря, у меня дома дело есть — работа.

— Не медведь дело, не убежит в лес… хе, хе, хе… — засмеялся своей собственной остроте Корнилий Потапович.

Мардарьева оставалась серьезно-спокойной.

— Так не подойдет?.. — спросил он полушутя, полусерьезно.

— Сказала не подойдет… — отвечала та.

— И уступки не будет?

— Отчего не уступить, коли скажете настоящую цену…

— Цену… цену… — проворчал Алфимов. — Да чему цену-то… Где товар?

— Товар есть, коли двести рублей уже за него давали.

— Ну, баба! — воскликнул Корнилий Потапович. — «Кремень-баба», — снова пронеслось в его уме определение Вадима Григорьевича.

— Что ж что баба, а умней другого мужика... — невозмутимо заметила Софья Александровна.

— Вижу, вижу! — со вздохом произнес Алфимов.

— То-то же...

— Ну, триста...

— Нет... Вот уж как, чтобы много не разговаривать, тысячу пятьсот рублей, по рукам...

— Полторы тысячи? — простонал Корнилий Потапович.

— Ни копейки меньше... А то я сейчас отсюда к Савину...

— Зачем это?

— Расскажу ему, что есть люди, которые дают триста рублей за жалобу на него... Поверьте, что он мне за эту услугу и вексель перепишет, да еще благодарен будет... Пусть сам дознается, кто против него за вашей спиной действует... Вот что.

— Тэк-с... — окончательно сбитый с позиции, протянул Алфимов.

Так хорошо только вчера устроенное дельце окончательно проваливалось. Эта шалая баба способна привести свою угрозу в исполнение, и кто знает, быть может, Николай Герасимович действительно допытывается, откуда идут против него подкопы. Ему, конечно, известно, что Колесин спит и видит устранить его со своей дороги к сердцу этой танцорки Гранпа — это первое придет ему в голову, и он будет на настоящем пути к открытию истины. Тогда прощай крупная нажива, прощай и даром сунутая Евграфу Евграфовичу красненькая... Ее почему-то особенно жалко стало Корнилию Потаповичу, и с ней мысли его перенеслись на растаявший из-за этой «кремень-бабы» кусок сахара и разлитый стакан чаю...

«Сколько убытков! Сколько потерь!» — мысленно воскликнул Корнилий Потапович.

Он взглянул исподлобья на Софью Александровну. Она сидела перед ним серьезная, спокойная и крупные складки на ее высоком лбу указывали на ее решимость сделать именно так, как она говорит.

«Надо во что бы то ни стало купить у нее этот вексель! Но надо все же что-нибудь выторговать!» — промелькнуло в уме Алфимова.

— Ваш супруг… — вкрадчиво начал он, — за него в неразорванном виде просил у меня тысячу рублей…

— Дуракам, сами знаете, закон не писан, — прервала его Мардарьева.

— Оно так-с, так-с, — согласился Алфимов, — однако я могу его купить за тысячу рублей цельным… а теперь по справедливости вы можете взять за него половину — пятьсот…

— Нет и нет, да и что время в самом деле терять… Хотите тысячу двести последняя цена… — решительно воскликнула Софья Александровна. — Иначе я сейчас же уходу…

Она встала и направилась к двери.

— Постойте, погодите… — в свою очередь приподнялся Корнилий Потапович. — Хотите шестьсот?

— Ни гроша менее.

— Семьсот, восемьсот…

— Прощайте…

— Девятьсот, тысячу…

Софья Александровна взялась уже за ручку двери.

— Вернитесь, получайте… — простонал Алфимов, не садясь, а буквально падая на диван.

Мардарьева с насмешливой улыбкой вернулась и села на стул.

— Пожалуйте документ…

— Пожалуйте деньги…

«Кремень-баба» — снова пронеслось в уме Корнилия Потаповича, и он полез за бумажником.

Тем временем Софья Александровна вынула из кармана аккуратно сложенные и завернутые в газетную бумагу прошение и вексель.

Дрожащими руками отсчитал Алфимов двенадцать радужных и подвинул Мардарьевой.

Она подала ему сверток, который он бережно развернул и стал рассматривать.

— В порядке все?.. — спросила она после некоторой паузы, пересчитав и сунув деньги в карман.

— В порядке… — отвечал Корнилий Потапович.

— Так до свиданья, — сказала она и встала.

— Прощайте…

Как только за Софьей Александровной затворилась дверь, Алфимов, спрятав бумаги в бумажник и положив его в карман, схватился за голову, упал на стол и в бешенстве буквально прорычал.

— Дурак, старый дурак, тысячу сто рублей потерял, кровные деньги, своими руками отдал этой чертовой бабе…

— Ну, да где наше не пропадало! — успокоил он себя через несколько минут. — И то сказать, в хорошие руки попали, Мардарьеву этих денег не видать… Отдаст она ему сотню, а остальные припрячет… И хорошо, хоть этот шалаган знать не будет, как меня его супружница важно нагрела… А мы наверстаем…

Ему почему-то снова стало особенно жаль растаявший кусок сахара, пролитый чай и отданную вчера десятирублевку Евграфу Евграфовичу.

Корнилий Потапович действительно стал наверстывать.

Клиенты этого дня и последующих должны были покрывать понесенный им убыток, и он буквально сдирал с них последнюю шкуру. В кабинете стоял стон его должников и должниц, настоящих и будущих.

Софья Александровна Мардарьева, выйдя между тем из низка трактира, вздохнула полною грудью и, придерживая рукой в кармане «целый капитал», как она мысленно называла полученные ею от Алфимова тысячу двести рублей, быстрым шагом пошла не домой, а по направлению к Аничкову мосту.

Деньги изменили даже ее походку, она шла бодрым, уверенным шагом, высоко подняв голову, и как будто сделалась красивее и свежее.

Она спешила в банк.

Никогда не бывая в этом современном храме Молоха, она не без труда добилась толку, куда внести ей деньги на текущий счет, и, наконец, совершив эту операцию, получив чековую книжку на тысячу рублей, она спрятала ее за пазуху и вернулась домой.

Вадим Григорьевич дожидался ее почти в лихорадке от нетерпения.

— Что так долго? — встретил он ее вопросом.

— Скоро-то не споро… — ответила она с улыбкой.

— Устроила?

Вместо ответа она подала ему две радужных.

— Милая, хорошая, золотая!.. — воскликнул он, хватая ее за обе руки и целуя их.

Не привыкшая к таким супружеским нежностям, она стала вырывать их.

— Что ты, что ты!..

— Как что, благодетельница, ноги должен я твои целовать, вот, молодец, вот жена — золото! Да, впрочем, что же я, сто-то я себе возьму, сейчас, побегу в магазин готового платья — таким франтом вернусь, ну, и кутну, Софьюшка, потом… А сто тебе.

Он подал ей одну радужную.

— Ну, уж франти, франти и кути, — ласково улыбнулась она. — Только смотри, одежу не пропей новую.

— Что ты пустяки говоришь. Это я-то?

— Ты-то…

Вадим Григорьевич быстро надел свое гороховое пальто, котелок и, почти вприпрыжку выскочив за дверь, спустился по лестнице и выбежал на улицу.

На ходу он то и дело опускал руку в карман брюк, где лежала сторублевая бумажка.

«Ну, жена, ну, молодец-баба! Вдвое против меня стянула со старого дьявола! Не ожидал!» — говорил он сам себе.

Быстро добежав до Невского проспекта, он вошел под первую вывеску, на которой золотыми буквами на черном фоне значилось: «Готовое платье».

XXIV
В отчем доме

Прошло уже четыре месяца со дня прибытия Николая Герасимовича Савина в село Серединское.

Он все еще жил под родительским кровом, всячески стараясь добиться согласия родителей на брак с Маргаритой Максимилиановной Гранпа.

Но, увы, старания его были тщетны.

Предчувствия Савина, мучившие его, если не забыл читатель, по дороге к родительскому дому, оправдались.

Отец, после почти ласковой встречи — мы не говорим о матери, которая, рыдая, повисла на шее своего любимца — на другой же день по приезде, заговорил с ним о его делах.

Не сердясь и почти не волнуясь, Герасим Сергеевич, с записанными цифрами в руках, представил сыну положение его финансовых дел, точно вычислил ту наследственную долю, которая принадлежит ему, Николаю Герасимовичу, и из которой могут быть уплачены его долги.

— Я могу отнять у себя, — заключил старик, — но отнимать у моих детей, я, как отец, не могу дозволить, и надеюсь, что ты понимаешь, что во мне говорит не жадность…

— Понимаю, батюшка, и благодарю вас, — отвечал молодой Савин.

— За вычетом огромной истраченной тобою суммы, ты, как видишь, имеешь в твоем распоряжении еще хорошее состояние, которое может быть названо богатством. Кроме имений, у тебя изрядный капитал и при умении и, главное, при желании работать, — ты можешь всю жизнь прожить богатым человеком, не отказывая ни в чем себе и принося пользу другим… Дай Бог, чтобы уроки молодости, за которые ты заплатил чуть ли не половиной своего состояния, пошли тебе впрок. Тогда это с полгоря… Деньги вернутся, они любят хорошие руки…

Отец умолк и спрятал в письменный стол вынутые им бумаги, заключавшие в себе точный расчет наследственных долей его детей.

Молчал и сын, сидя в кресле перед отцом с опущенной долу головою.

Он видел, что Герасим Сергеевич умышленно не поднимал вопроса о главном — для Николая Герасимовича, конечно, это было главное — деле, о котором он писал в письме, о предстоящей его женитьбе на Гранпа.

«Начать ли сейчас этот разговор, решить этот вопрос так или иначе, сбросить со своей души эту тяжесть, или подождать, поговорить с матерью, попросить ее подготовить отца и действовать исподволь?» — вот вопросы, которые гвоздем сидели в голове молодого Савина.

Он решил их во втором смысле.

— Я сегодня же напишу в Петербург одному из местных нотариусов, чтобы он собрал сведения о точной сумме твоих долгов, и затем переведу нужную сумму; в течение месяца или двух твои обязательства будут погашены… Ты можешь погостить здесь… Мы думаем остаться здесь зиму, я несколько раз, конечно, поеду в Москву, можешь ехать куда тебе угодно, ты свободен, но главное, повторяю, обдумай, что ты намерен делать, чем заняться в будущем, так как без дела человек не человек, и никакое состояние не может обеспечить бездельника… Помни это!

— Я поживу здесь… — упавшим голосом произнес Николай Герасимович.

— Поживи, очень рад, — заметил Герасим Сергеевич таким тоном, который давал знать, что беседа с глазу на глаз окончена.

Отец и сын вышли оба в гостиную, где нашли сидевших за работой Фанни Михайловну и Зину.

Время летело.

Жизнь в Серединском была довольно оживленная. То и дело собирались соседи, по вечерам устраивались танцы, игра в карты, а по первой пороше начались охоты, продолжавшиеся по несколько дней.

Герасим Сергеевич считался лучшим охотником в губернии, его собаки, борзые и гончие, получали первые награды на выставках, славились вплоть до самой Москвы, а потому вокруг него группировались калужские Немвроды.

Николай Герасимович не был, как его отец, страстным охотником, но все же охота занимала его среди сравнительно скучной деревенской жизни и тяжелого томительного состояния духа.

Беседы с матерью не привели тоже к желанным результатам.

Фанни Михайловна готова была по целым часам слушать восторженные, почти поэтические рассказы сына о предмете своей любви, вздыхала и плакала вместе с ним, но на просьбы Николая Герасимовича поговорить с отцом, убедить его, отвечала:

— Нет, Коленька, нет… с этой просьбой к нему мне и подступиться нельзя… Я уж до тебя пробовала… Ты знаешь отца… Он в иных случаях гранит…

— Но что же делать, что же делать! — восклицал сын.

— Уж и ума не приложу, Коленька, что делать… Разве вот что…

— Что, что?.. — взволнованно спросил Николай Герасимович.

— Уж если она тебя так любит… — начала Фанни Михайловна, но остановилась и потупилась.

— Я же вам говорил, что, конечно, любит, безумно, страстно. Ведь вы же читали ее письма…

— Да, да… — отвечала мать. — Так если она любит, то… — Фанни Михайловна снова остановилась и с трудом добавила, — зачем ей брак…

— Мамаша… — тоном укоризны, почти со слезами на глазах произнес Николай Герасимович. — Разве можно так смотреть на вещи… Я не хочу, чтобы она оставалась в балете… Я хочу сделать из нее порядочную женщину, верную жену, хорошую мать…

— Ох, Коленька, Коленька, — качала головой Фанни Михайловна, — всякому человеку своя судьба определена, к чему себя приготовить, поверь мне, что ей только теперь кажется, что она без сожаления бросит сцену и поедет с тобой в деревню заниматься хозяйством… Этого хватит на первые медовые месяцы, а потом ее снова потянет на народ… Публичность, успех, аплодисменты, овации — это жизнь, которая затягивает, и жизнь обыкновенной женщины не может уже удовлетворить.

— Какие глупости… Она терпеть не может сцены… — горячо возразил Савин. — Ведь читали же вы ее письма?

— Ах, Коленька, мало ли что влюбленные девушки пишут…

В таком, или приблизительно таком роде велись эти разговоры, не приводившие, как мы уже сказали, ни к каким положительным результатам.

Письма Маргариты Максимилиановны к Савину доставляли ему одновременно и жгучее наслаждение.

Полные уверения в страстной любви, в намерении скорее броситься в Неву, нежели отдаться другому, они сообщали ему наряду с этим далеко не радостные известия. Из них он узнал, что Маргарита снова переехала в квартиру отца, и по некоторым, для обыкновенного читателя неуловимым, но ясным для влюбленного, отдельным фразам, оборотам речи, он видел, что она снова находится под влиянием своего отца, то есть значит и Марины Владиславовны, мыслями которой мыслил и глазами которой глядел Максимилиан Эрнестович.

Это волновало и мучило Николая Герасимовича, и он каждый день, оставив надежду на помощь матери, собирался начать с отцом разговор по этому предмету.

Он знал, что этот разговор будет решающим его судьбу, а потому день ото дня откладывал свое намерение — какое-то внутреннее убеждение говорило ему, что мать права и отец будет непреклонен.

«Он в иных случаях гранит», — проносилась в его голове сказанная ему матерью фраза.

Было существо, без теплого участия которого нервное состояние молодого Савина дошло бы прямо до болезни; возможность отводить с этим существом душу, по целым часам говорить о «несравненной Маргарите», слышать слово сочувствия, нежное, дружеское, не оскорбительное сожаление — все это было тем бальзамом,

который действует исцеляюще на болезненно напряженные нервы, на ум, переполненный тяжелыми сомнениями, на свинцом обстоятельств придавленную мысль, на истерзанную мрачными предчувствиями душу.

Горе человеку, около которого в момент невыносимых подчас душевных мучений нет такого существа.

Как часто заблуждаются люди, думая отрезвить человека от шальной мысли путем резкого отношения к его страданию.

Они забывают русскую пословицу: «Чужую беду руками разведу, а к своей беде ума не приложу».

Мудрость русского народа учит в этой пословице, что к несчастью человека нельзя относиться со своей меркой, что его надо мерить меркой того, кого постигло то или другое несчастье.

Горе, повторяем, нравственно страдающему человеку, который окружен этими «благоразумными лечителями» и около которого нет настоящего ухода со стороны нежного существа, чувствующего его чувствами и болеющего его болями.

Такое существо было около Николая Герасимовича Савина.

Это существо было — Зиновия Николаевна Богданова.

В сердце молодой девушки, подготовленной рассказами Фанни Михайловны о сыне, к нежному сочувствию к последнему, Николай Герасимович нашел полный отклик своим чувствам к «несравненной Гранпа», своим надеждам и упованиям.

Зина, как он начал звать ее, с ее дозволения и по настоянию Фанни Михайловны, заявившей, что она ему все равно, что сестра, ободряюще действовала на молодого Савина, она выслушивала его всегда с увлечением, соглашаясь с ним, а, главное, ее общество, близость ее, как молодого существа, свежестью и грацией напоминающей ему Маргариту, успокоительно действовали на его нервы, постоянно напряженные перед предстоящим объяснением с отцом и оскорбительными для «его кумира» разговорами с матерью.

Эти долгие беседы молодых людей не ускользнули от внимания Фанни Михайловны и вызвали ее подозрения относительно намерений сына.

Она сообщила эти подозрения Герасиму Сергеевичу.

— А пусть его утешается… — заметил тот.

— А неровен час… — испуганно сказала Фанни Михайловна.

— Все лучше, чем танцорка! — ответил ей муж. — Хорошая девушка… На наших глазах выросла…

Фанни Михайловна успокоилась.

XXV
Совет Зины

На дворе стояли первые числа февраля 1876 года.

В первой из двух отведенных в родительском доме молодому барчуку прекрасно и комфортабельно меблированных комнат, на покойной кушетке лежал Николай Герасимович и думал тяжелую думу.

В доме шла суматоха.

Герасим Сергеевич уезжал по делам в Москву, и тройка лошадей, запряженная в карету-возок, стояла у подъезда.

Домочадцы провожали главу семьи, но сын не участвовал в этих проводах.

Он лежал у себя в комнате навзничь на кушетке и глядел куда-то вверх, в пространство, помутившимся взглядом. Для него было все кончено.

Сегодня утром, после долгого откладывания, он наконец решился заговорить с отцом о своем браке.

— В наше время, — сказал ему Герасим Сергеевич, не дав даже окончить начатую им фразу: «Я писал вам, батюшка, о моей любви, эта любовь…» — мы тоже увлекались балетными феями и даже канатными плясуньями, но не смели и подумать не только писать, но даже обмолвиться перед родителями об этих любовных интригах с танцорками…

— Но, батюшка, — возразил было Николай Герасимович.

— Я все сказал… — прервал его отец. — Между нами, кажется, все выяснено, ты знаешь положение твоих дел, ты знаешь цифру твоего состояния, ни одной копейки более от меня ты не получишь… Ты уже взрослый, даже в отставке, — иронически улыбнулся Герасим Сергеевич, — потому сам можешь рассудить, должен ли ты заняться каким-либо делом, чтобы прожить безбедно, всеми уважаемый, до старости, или же можешь истратить свое последнее состояние на содержание танцорок… Исправлять тебя поздно — ты только сам можешь исправиться…

— Но, батюшка, я не позволю… — возвысил голос сын.

— Что-о!.. — крикнул отец. — Ты забываешься… Вон!.. Нам не о чем больше разговаривать, а выслушивать рассказы о твоих любовных похождениях не дозволяют мне мои седые волосы…

— Это честная девушка… — выкрикнул молодой Савин.

— Это только возвышает… ей цену… — презрительно кивнул Герасим Сергеевич. — Триста тысяч, прокученных тобой, пригодились бы…

— Батюшка… — вне себя сделал шаг к отцу Николай Герасимович.

Они оба стояли друг перед другом в кабинете Герасима Сергеевича.

— Пошел вон!.. Не собираешься ли ты меня бить?.. — крикнул старик.

Молодого Савина отрезвил этот крик, он повернулся и, шатаясь, пошел к двери.

— Чтобы я не слыхал от тебя ни одного слова об этой… танцорке. Образумься до моего возвращения… — бросил ему вдогонку Герасим Сергеевич.

Николай Герасимович, бледный как смерть, отправился к себе в комнату и бросился навзничь на кушетку.

В этом положении мы и застаем его.

Он мысленно переживал только что происшедшую сцену между ним и его отцом.

«Все кончено!..» — несколько раз повторял он про себя шепотом, полным неподдельного отчаяния.

Николай Герасимович не ожидал такого оборота, который принял его разговор с отцом по поводу его женитьбы. Он полагал, что отец рассердится, начнет убеждать его в неблагоразумии этого шага, говорить о чести их рода и неравенстве этого брака. Молодой Савин приготовился уже к ответам на эти доводы. Он надеялся, что его красноречие, подогретое искренним чувством к избраннице его сердца, если не убедит отца, то смягчит его, что останется надежда убедить его возобновленным разговором через несколько дней. Все было в этом смысле обдуманно молодым Савиным, обо всем он долго совещался с Зиной, и она одобрила этот план и тоже выразила надежду, что старика убедят доводы любви, которую питал его сын к этой прелестной девушке, готовой подчас бросить сцену, чтобы посвятить его сыну всю свою жизнь. Николай Герасимович

даже хотел прочесть отцу письма Маргариты, эти послания, дышавшие искренним чувством.

И вдруг все кончено!

Герасим Сергеевич, оказывается, не пожелал даже выслушать его, не поинтересовался силою чувства к увлекшей его девушке, считая это чувство за одну из тех заурядных «любовных интриг» с танцоркой, с канатной плясуньей, в подробности которых взрослые сыновья, из уважения к родителям, не смеют посвящать их; родители смотрят на такие «интрижки», если знают о них стороной, как на «дань молодости», сквозь пальцы и не поднимают о них вопроса, как о несерьезных и скоропроходящих увлечениях.

Такая постановка вопроса, кроме того, что была оскорблением чувства Николая Герасимовича, делала невозможным какой-либо разговор по этому предмету.

Отец, значит, не только не давал своего согласия на брак с танцовщицей, но даже не допускал о нем и мысли в голове своего сына.

Это было препятствие, которое ни с какой стороны нельзя было обойти.

«Что делать? Что делать?»

Этот вопрос жег мозг молодого Савина.

Он продолжал лежать с открытыми глазами, устремленными в одну точку.

Вдруг дверь комнаты распахнулась, и на ее пороге появилась Зиновия Николаевна.

Увидев лежащего на кушетке молодого человека, она остановилась и даже попятилась назад, но Николай Герасимович вскочил.

— Зина, вы…

— Меня послала тетя Фанни узнать, что случилось, что вы не пришли проститься с Герасимом Сергеевичем…

— Он уехал?

— Уехал.

— Я с ним простился… — глухо произнес Савин.

— Когда?.. — вопросительно поглядела на него молодая девушка и вдруг воскликнула. — Да что с вами, на вас лица нет…

— Я говорил с ним…

— Говорили?

— Да.

— И что же?

— Он, видимо, не допускает и мысли о подобном браке с танцоркой.

Николай Герасимович с трудом выговорил последнее слово.

— Какое несчастье! — с неподдельным горем воскликнула Зиновия Николаевна.

— Что мне делать? Что мне делать? — как бы про себя, в свою очередь произнес одновременно Савин.

— А если вы женитесь без его позволения… Что будет за это вам? — вдруг спросила она.

— Женюсь… без позволения… — с расстановкой повторил Николай Герасимович. — И в самом деле, Зина, какая простая вещь, а мне не приходило в голову… Но тогда он меня не пустит на порог своего дома, лишит наследства…

— Он сказал это?

— Нет, этого он не говорил… Повторяю, он даже не считает это серьезным, он прямо обо всем этом отказался говорить со мной…

Зина в задумчивости села на кушетку, на которую опустился и Савин.

— Я думаю, что, если бы вы женились и все было кончено, дядя, в конце концов, простил бы вас… Он добрый…

— Как для кого?

— Для вас, и для всех… Ведь это первый отказ с его стороны в вашей просьбе… Ведь не развенчаешь… Он посердился бы, посердился бы, да и простил… Он добрый.

— Вы умница, Зина! Я последую вашему совету… Как только он возвратится, я поеду в Петербург и женюсь. Я не могу жить без Марго… Вы не понимаете, Зина, как я страдаю…

— Понимаю, Николай Герасимович, конечно, я еще никого так не любила, но я много читала и могу поставить себя на ваше место.

— Вы ангел, Зина…

Он взял ее руку и поцеловал ее.

— Ах, что вы, зачем это! — сконфузилась она, вся вспыхнув от неожиданной первой ласки с его стороны.

— Вы мой единственный добрый друг! — воскликнул он.

— Я рада, что вы считаете меня другом… — просто сказала она.

— Лучшим, дорогим другом, Зина!

— Вы когда же хотите ехать?

— На другой день после возвращения отца.

— А в июле я тоже приеду в Петербург… — с радостной улыбкой сказала она.

— Вы?

— Да, я… Меня отвезет туда тетя Фанни, и я буду жить в доме дочери ее гувернантки.

— Зачем?

— Я буду учиться.

— Учиться?

— Да, я хочу учиться на доктора…

— Вы хотите быть женщиной-врачом?

— Это моя давнишняя мечта, но дядя Герасим Сергеевич слышать прежде не хотел об этом, а за последние дни на него вдруг напал добрый стих, и сегодня, после утреннего чая, это значит прежде, нежели он говорил с вами — он согласился, и тетя Фанни в июле везет меня в Петербург… Мне только одно грустно… — вдруг заторопилась она.

— Что именно?

— Что день, в который мне удалось добиться разрешения дяди, был днем отказа с его стороны вам…

— Я и не надеялся на согласие… Я думал, что я сумею его убедить исподволь… А теперь я последую вашему совету… Женюсь и, приехав с молодой женой сюда, упаду к его ногам… Если его не тронут мои мольбы, то тронет ее красота, я в этом уверен…

— И вы не ошибетесь… Он добрый… он простит… Однако, тетя Фанни там дожидается ответа… Пойдемте к ней, — вдруг спохватилась она.

— Пойдемте, но только ни слова о нашем разговоре… У мамы нет тайн от отца…

— Что вы, что вы, разве я не знаю…

Они прошли через залу, коридор, который вел в апартаменты молодого барчука, и одну из гостиных в будуар Фанни Михайловны, где и застали ее в сильнейшем беспокойстве относительно отсутствия сына на проводах отца, а главное того, что, когда она заикнулась позвать Колю, Герасим Сергеевич вдруг отрывисто заметил:

— Не звать… Не надо… Что за нежности!

«Что произошло между ними?» — восстал в уме ее томительный вопрос, разрешение которого она отложила до отъезда мужа,

и, как только лошади тронулись от крыльца, послала Зину за Николаем Герасимовичем.

— Где ты так долго пропадала? — накинулась она на вошедшую первою в будуар Зину. — Что Коля?

— Вот он… — указала Зиновия Николаевна на вошедшего за ней следом Савина.

— Коля, что случилось?.. — бросилась к нему мать.

— Успокойтесь, мама, ничего особенного. Отец отказал мне в своем согласии… — отвечал он, беря Фанни Михайловну за плечи и усаживая на диван.

— Я тебе говорила…

— Вы правы… — закончил он, садясь в кресло.

Зина незаметно выскользнула из будуара, оставя наедине мать с сыном.

— Что же ты намерен делать?..

— Придется поехать и объяснить ей положение дела… — деланно хладнокровным тоном произнес Николай Герасимович.

— Послушайся меня… — начала было Фанни Михайловна.

— Нет, мамаша, не надо… — остановил он ее.

— Тебе нравится Зина? — вдруг переменила она разговор. Он пристально посмотрел на нее, пораженный этим неожиданным вопросом.

— Зина… Она прекрасная девушка и хороший человек… Я рад за нее, что исполняется ее заветная мечта и она едет учиться в Петербург; с ее чудным сердцем она будет идеальной женщиной-врачом.

— Если бы ты не был влюблен в эту Маргариту Гранпа, она, может быть, раздумала бы ехать учиться и ее чудное сердце отдано было бы тебе… Я материнским чутьем догадываюсь, что она любит тебя.

— Оставьте, мама, этот разговор, я люблю Зину как сестру, не более, слышите, не более…

— Слышу… — сконфуженно сказала Фанни Михайловна. Мать и сын замолчали.

Эту неловкую паузу прервала вбежавшая Зина, заявившая, что едут Поталицыны.

Это было большое семейство соседних помещиков. Фанни Михайловна и Зина отправились навстречу гостям. Николай Герасимович ушел к себе.

XXVI
Для другого

Прошение отставного прапорщика Вадима Григорьевича Мардарьева о разорвании векселя и насилии, произведенном над ним отставным корнетом Николаем Герасимовичем Савиным, было направлено Корнилием Потаповичем куда следует.

Мардарьев был вызван и подтвердил свое прошение.

Вызван был и Михаил Дмитриевич Маслов, которому волей-неволей пришлось рассказать все то, чему он был свидетелем в номере Европейской гостиницы.

Одетый весьма прилично, хотя и скромно, Вадим Григорьевич даже вошел в роль негодующего жалобщика и произвел впечатление на допрашивавшего его чиновника.

Знакомство Алфимова тоже пригодилось, и доклад о поступке Николая Герасимовича Савина был снабжен надлежащими справочками о его прошлых похождениях в Петербурге, а потому резолюция последовала суровая, вполне соответствующая желаниям Колесина: «Выслать в Пинегу».

К чести Аркадия Александровича надо сказать, что он даже несколько опешил, когда Алфимов сообщил ему копию с этой резолюции.

— Это уж того… слишком… — сказал он сквозь зубы.

— Поступков много оказалось…

— Все это так, но… Надеюсь, впрочем, что если он не вернется в Петербург, то его же не потащут в Пинегу из родительского дома?..

— Не сумею вам сказать.

— Нет, этого нельзя… Устройте, Корнилий Потапович, чтобы они дали знать только городской полиции, а вне Петербурга пусть его гуляет где хочет… А то это уже слишком, мне это ляжет на совесть…

— Постараюсь…

— Постарайся, постарайся… А то я сам поеду хлопотать…

— Зачем беспокоиться вам… самим… — отвечал Алфимов.

— Кстати, я могу тебе теперь заплатить деньги по векселю. Кажется ему срок…

— Послезавтра.

— Ну, все равно, получай сегодня…

Колесин выдвинул один из ящиков письменного стола, почти сплошь наполненного пачками с деньгами, вынул несколько пачек и отсчитал Корнилию Потаповичу пять тысяч восемьсот рублей…

— Вот еще двести, ты похлопочи там, о чем я говорил, — подал он две радужных Алфимову.

— Благородной души вы человек! — воскликнул умиленный Корнилий Потапович, пряча деньги в бумажник. — Все будет сделано, как желаете.

Алфимов скрылся.

Он действительно устроил так, что распоряжение о высылке отставного корнета Савина в Пинегу было сообщено только приставам петербургской полиции.

Великодушно снисходя к своему побежденному врагу, Аркадий Александрович не мог себе и представить, что плодом его хлопот, соединенных со значительной тратой денег, воспользуется не он, а другой.

Мы уже знаем из писем Маргариты Максимилиановны Гранпа к Савину, что вскоре после начала сезона она поддалась просьбам отца и переехала от бабушки снова под родительский кров.

Колесин торжествовал и буквально засыпал «предмет своих вожделений» цветами и подарками, не забывая и Марину Владиславовну.

Он уже считал Маргариту своею, зная, что его опасный соперник Савин не станет теперь между ним и ею, как вдруг среди ярых поклонников «несравненной», «божественной», как звали ее балетоманы, Гранпа появился молодой гвардейский офицер Федор Карлович Гофтреппе.

Сын влиятельного в Петербурге лица, обладавший колоссальным состоянием, он сразу выдвинулся вперед не только во мнении Марины Владиславовны, а следовательно, и Максимилиана Эрнестовича, но даже во мнении самой Маргариты.

Восторженное поклонение юноши и притом богача, действует заразительно. Молодой Гофтреппе был желанным поклонником в замкнутом мире жриц Терпсихоры, а потому явное предпочтение, отдаваемое им Маргарите Максимилиановне, не могло не щекотать сначала ее самолюбия.

Несколько месяцев разлуки с предметом своей первой любви, Николаем Герасимовичем Савиным, разлуки, хотя и сопровождаемой

нежной перепиской, несколько охладили чувства молодой девушки, которую стало понемногу всасывать в себя театральное болото, среди которого она находилась; балетный мир, этот мир легких па и нравов, переменных туник и обожателей, не мог остаться без влияния на молодую, предоставленную самой себе девушку.

Шепот зависти подруг по поводу ухаживания за ней Гофтреппе все более возвышал в глазах Маргариты Гранпа последнего, и все благосклоннее и благосклоннее она стала принимать его ухаживания.

Федор Карлович не забывал и Марину Владиславовну и состязался с Колесиным в выражении ей всякого вещественного внимания и даже одержал верх, так как Аркадий Александрович, по праву старого знакомства, полагал, что положение его в семье Гранпа упрочено, иногда неглижировал исполнением желаний стареющей красавицы, Гофтреппе же умел исполнить малейшую ее прихоть.

Марина Владиславовна взвесила на весах своего мнения обоих поклонников Маргариты, и Федор Карлович перетянул.

Об этом деле не догадывался Колесин, хотя ухаживанья Гофтреппе его начали беспокоить, но он думал, что старик Гранпа на его стороне и был сравнительно спокоен.

Федор Карлович не считал Колесина своим соперником. Эта «крашеная кукла», как он называл его вместе с другими, не могла представлять какой-либо опасности, а тем более в глазах ненавидящей его, — он знал это, — Маргариты Максимилиановны.

Другое дело Николай Герасимович, его бывший товарищ по полку, об отношениях которого к Гранпа он знал, знал он также, что Маргарита ожидает его приезда в качестве жениха.

Это представляло серьезное препятствие в его романических планах будущего.

Он таил, однако, эти опасения в самом себе, так как самолюбие не позволяло ему сознаться в боязни соперничества Савина.

Только раз Федор Карлович, после изысканного обеда у Дюссо, обильно политого шампанским и другими тонкими винами, по душе разговорился в приятельской компании и упомянул о Савине, как о конкуренте и конкуренте серьезном на расположение Гранпа.

Среди обедающих был его товарищ детства — один из видных чиновников при его отце.

— Савин не представляет ни малейшей опасности, — сказал он.

— Почему? — воззрился на него Федор Карлович.

— Так как его нет в Петербурге, а отсутствующий не опасен.

— Но он приедет, она его ждет…

— Пусть ждет — не дождется…

— Почему же? Он может приехать во всякое время.

— Если и приедет, она его не увидит.

— Ты говоришь загадками.

— Ничуть. Если он приедет в Петербург, то тотчас же и уедет по независящим от него обстоятельствам.

— Объясни, ради Бога! — взмолился молодой Гофтреппе.

— Есть постановление о высылке его в Пинегу, — отвечал чиновник.

— Не шутишь?

— С какой стати. Зайди ко мне в канцелярию, я покажу тебе подлинное дело и подлинную резолюцию.

— Ты меня окончательно воскрешаешь!.. Значит он здесь не заживется?

— Он будет выслан в течение двадцати четырех часов. Об этом дано знать по всем участкам. Где бы он ни остановился, — участковый пристав должен будет сделать распоряжение.

— За что же это?

Чиновник в коротких словах рассказал Гофтреппе историю с Мардарьевским векселем.

— Но это не все… За ним много прежних грешков… Он, ведь ты помнишь, скандалил вовсю в Хватовской компании.

— Знаю, знаю. Но ведь этому прошло много времени. Он еще тогда двух штатских в Неву бросил.

— Было и это. Да мало ли что прошло… У нас за каждым обывателем все на счету, все записано… Мы помним…

— Это в данном случае хорошо, очень хорошо. Я одобряю, — засмеялся Федор Карлович.

Полученное так неожиданно известие об устранении серьезного соперника подействовало ободряюще на молодого Гофтреппе, который усугубил свои ухаживания как за Маргаритой Максимилиановной, так и за Мариной Владиславовной, и мог считать свой успех у прелестной танцовщицы обеспеченным.

Маргарита привыкла видеть его в первом ряду кресел в театре, привыкла встречать у себя в театральной уборной и, наконец, у себя дома, где он был дорогим гостем ее отца.

Его настойчивые ухаживания стали казаться ей выражением искреннего чувства, и образ отсутствующего Савина стал постепенно стушевываться в ее воображении.

Незначительное само по себе происшествие послужило окончательно причиной разочарования Маргариты Максимилиановны в своей первой любви.

Михаил Дмитриевич Маслов после вызова по делу Мардарьевского векселя, раздраженный и озлобленный за беспокойство, так как его еще к тому же заставили довольно долго ждать, бросил по адресу Николая Герасимовича несколько жестких слов в присутствии Горской.

— Это из рук вон что такое… Этот Савин невыносим… Скандалист, безобразничает, и из-за него порядочных людей таскают в свидетели.

— Что такое? — полюбопытствовала Анна Александровна. Михаил Дмитриевич рассказал.

— Ему, говорят, запрещен въезд в Петербург, — заключил он, передавая слышанное от чиновников того присутственного места, где производился допрос.

— Как же Марго? — спросила Горская.

— Что Марго?.. Он, чай, об этой Марго забыл и думать… Ветреная, непостоянная голова.

— Что ты, Миша, неужели!

— Вот тебе и неужели…

Все это, сказанное раздраженным приятелем, Анна Александровна Горская приняла за чистую монету, и при первом зашедшем у нее за кулисами разговоре с Гранпа относительно Савина, передала ей, возмущенная такой «подлой изменой», как она выразилась.

— Что ты, Аня, но ведь я получаю от него письма… Он в них клянется, что любит меня по-прежнему…

— Верь ему, негодяю, уж мой Миша лучше нас с тобой его знает… Может он и письма-то эти пишет около другой… — заметила Горская.

— Действительно, в последних письмах он упоминает с восторгом о какой-то Зине, приемной дочери его родителей; говорит, что только она составляет для него некоторую отраду в его грустной жизни в деревне, — задумчиво произнесла Маргарита Максимилиановна.

— Вот видишь, видишь… я значит права… Все они ветреные, изменщики…

— Но он пишет, что эта Зина — это друг, что он с ней по целым часам говорит обо мне, что она одна понимает его и сочувствует ему, — пробовала возражать Гранпа.

— Знаем мы этих друзей, это сочувствие… О, святая простота! — заметила Анна Александровна.

— Ужели он меня обманывает!.. — воскликнула Маргарита.

— В лучшем виде, миленькая, в лучшем виде.

Нельзя сказать, чтобы Маргарита Максимилиановна окончательно поверила Горской, но разговор с ней заронил семя сомнения в ее сердце, семя принялось и стало разрастаться.

«Если он имеет там друзей-женщин, почему же и мне не обзавестись здесь другом-мужчиной», — мучимая ревностью и жаждой мести, думала Гранпа.

Мысли ее перенеслись на Федора Карловича Гофтреппе.

«Он так меня любит», — пронеслось в ее голове.

В этот вечер она была с ним любезнее, нежели ранее. Влюбленный Федор Карлович был на седьмом небе. Вместе с отцом, Гофтреппе и другими балетоманами и танцовщицами она в первый раз поехала ужинать к Дюссо.

Этот ужин для Федора Карловича был началом успеха. С этого вечера он и Маргарита Гранпа сделались друзьями. Дружба с женщиной — всегда начало любви.

XXVII
Арест

С тревожным чувством надежд и сомнений подъезжал к Петербургу Николай Герасимович Савин.

Что ожидает его на берегах Невы? Как встретит его ненаглядная Марго намерение жениться на ней против воли его родителей, с тем, чтобы уже после венца ехать к ним с повинною?

Этот вопрос заставлял его сердце биться учащенно, мучительными ударами.

Он не мог скрыть от нее несогласия родных, потому что в тех планах, которые они оба строили о будущем, в уютной квартирке бабушки Марго — Нины Александровны Бекетовой, приезд его

родных на свадьбу в Петербург играл первую роль, как играла роль и пышная, богатая свадьба, которая должна была заставить подруг Маргариты Максимилиановны умереть от зависти и злобы.

Она хотела расстаться со сценой с помпой и триумфом.

Она в разговоре с ним осуждала одну из своих подруг, тайком вышедшую замуж за графа без ведома родителей последнего, и с краской негодования рассказывала о тех унижениях, которые пришлось вытерпеть несчастной, прежде нежели родные «из милости» допустили ее к себе и с виду простили сына и его молодую жену.

Она, именно, сказала эти слова: «из милости», да еще добавила:

— Но в душе они простили только сына, ей же никогда не простят, что она насильно ворвалась в их семью… Ей много предстоит испытать и от родных мужа, и от того круга, в который она затесалась незванная и нежеланная…

— Я бы ни за что не решилась на это… Это ужасно, всегда сознавать себя лишней.

А между тем Николай Герасимович теперь предлагал ей совершенно аналогичное положение… Как поступит она?

Быть может, говоря ему, что она никогда не решилась бы на подобный шаг, она была далека от мысли, что то же самое должно случиться с нею. Быть может, она поступит так же, как поступила ее подруга, любя своего избранника и принося ему в жертву свое самолюбие, а может быть ее гордость не позволит ей этого, и она искренно и бесповоротно разрешила этот вопрос словами: «Я ни за что не решилась бы на это».

Вот вопрос, который мучил всю дорогу Николая Герасимовича от родительского дома, откуда он уехал, как и предполагал, на другой день возвращения из Москвы отца, до станции железной дороги и по железной дороге вплоть до Петербурга.

«Если любит, то согласится… — утешал он самого себя. — Но любит ли она так сильно, чтобы хоть временно принести в жертву свое самолюбие?»

Он стал припоминать содержание ее писем, которые он знал почти наизусть.

Они все дышали, казалось, искренним чувством, хотя в последних звучала какая-то непонятная ему, неприятная нотка. Он, впрочем, объяснил это неосновательной ревностью. Последние письма были получены после того, как он в одном из своих имел неосторожность

восторженно отозваться о приемной дочери его родителей — Зине, он назвал ее своим другом, который утешает его в одиночестве и с которым он по целым дням беседует о ней, о «ненаглядной Марго».

Видимо, однако, и последняя подробность не успокоила ревность Маргариты Максимилиановны.

В своих ответах она стала иронически посылать поклоны его «другу» и как бы шутя замечала, что очень сожалеет, что в начале разлуки не прибегла к этому исцеляющему его горечь разлуки средству и не постаралась отыскать себе друга, что это, впрочем, не поздно и она поищет.

Эта ирония резала ножом сердце Николая Герасимовича.

В самом последнем письме была уже совершенно ядовитая приписка: «Ты прав, гораздо легче, когда найдешь друга, — я нашла его».

— Что это шутка или серьезно? — спросил он даже вслух себя, как и тогда при чтении письма.

«Конечно шутка…» — успокаивал он сам себя, но червь сомнения уже точил его мозг.

В этих думах сидел он в купе первого класса Николаевской железной дороги и не замечал, как станции летели за станциями. Сев вечером в курьерский поезд, он не спал всю ночь и лишь под утро забылся тревожным сном.

— Станция Колпино! Поезд стоит три минуты! — как-то особенно зычно прокричал около окна вагона кондуктор, и этот крик разбудил Савина.

«Вот и Петербург!.. Что-то меня в нем ожидает?» Он с горечью подумал, что за последнее время, куда бы он ни ехал, везде перед ним восставал тот же томительный вопрос, что его ожидает. Как тяжело под гнетом этого туманного вопроса, доказывающего неопределенность жизненных условий!

— Петербург! — произнес он вслух.

Когда-то этот город пробуждал в нем жажду удовольствий, так доступных на берегах Невы для богатого человека. В нем проводил он веселые дни и ночи, даже под гнетом долгов, среди невыносимой «золотой нужды». Теперь он едет в него без копейки долга, с туго набитым бумажником, свободный, без всяких обязанностей, даже тех не особенно трудных, налагаемых военною службою, одним словом господином самого себя, а между тем при приближении к этому

городу сердце его, он чувствует это, — болезненно сжимается, точно какое-то предчувствие томит и убивает его.

А все это потому, что с именем Петербурга соединяется, или, лучше сказать, поглощает его имя Маргариты Гранпа, которое для него составляет все, альфу и омегу его жизни, без которой самая жизнь представляется ему совершенно ненужной, жизнь, та самая жизнь, полная удовольствий, разгула, кутежей, та жизнь в царстве женщин, которой он еще с год тому назад отдавался с таким искренним восторгом, с таким неустанным наслаждением.

Все это померкло, потеряло всякий интерес, и рой благосклонных жриц культа любви кажется ему отвратительным, вызывающим омерзение к самому себе.

Над этим царством женщин высоко, высоко, почти недосягаемо, стоит одна, к которой несутся все его помыслы, все желания, которая привязывает его к жизни, которая сама жизнь.

Эта одна — она, его ненаглядная Маргарита.

Наконец поезд подошел к петербургскому вокзалу, послышались неистовые свист и шум выпускаемого пара при замедлении хода.

Николай Герасимович выскочил на платформу, приказал первому попавшемуся ему на глаза носильщику получить его багаж и нанять карету.

Он решился ехать прямо к Якову Андреевичу Хватову, который еще при отъезде, несмотря на то, что Савин отдалился от его компании, взял с него в этом слово товарища.

Хватов оказался дома и принял своего приятеля и бывшего собутыльника с распростертыми объятиями.

Яков Андреевич был произведен в корнеты и даже успел жениться на опереточной актрисе Зое Киршнер, имевшей громадный успех в «Прекрасной Европе».

Перемен было немного у женатого корнета.

Та же квартира, та же обстановка, лакеи и карлики в ливреях, та же бесшабашная юнкерская компания.

Изменилась только форма Хватова.

Генеральский сюртук, который он носил дома, будучи юнкером, он переменил на корнетский, да на месте, занимаемом прежде какой-нибудь привезенной откуда ни попало дамы полусвета, сидела теперь экс-«Прекрасная Елена», его законная супруга Зоечка.

Началась приятельская беседа.

От Хватова и его товарищей Савин действительно узнал все балетные новости.

Некоторые были ему, впрочем, известны, как, например, то, что Маргарита Гранпа снова переехала жить к отцу, — другие его не на шутку обеспокоили.

— Аргус-то ее представляет ей каждый день все новых и новых поклонников, — говорил Хватов, — и все по своему выбору, побогаче да потароватее…

— А она что?

— Презирает… — улыбнулся Яков Андреевич, употребив слово жаргона балетных танцовщиц того времени. — Впрочем, говорят, одного из них за последнее время не презирает, — добавил он.

— Кого это? — вздрогнул Николай Герасимович.

— Федю Гофтреппе.

— Его?

— Да, говорят, что и отец, и особенно Марина Владиславовна, тоже на его стороне… Да и что говорить, отец — особа, сын богат… Чего же надо?

— Кому?

— Ну, конечно, аргусу, да Маринке… А может, впрочем, и ей…

— Ну, это ты оставь…

— Хорошо все-таки, что ты приехал, может теперь она его сразу «презирать» начнет, а то, говорят, за последнее время у них началась такая дружба, пошли печки да лавочки…

В уме Савина промелькнула фраза из последнего письма Маргариты Максимилиановны.

«Уж не он ли друг, которого она нашла — этот Гофтреппе», — подумал он.

— Ну, а что Колесин? — спросил он вслух.

— Крашеная кукла в загоне…

— Надо ехать к ней… Она все живет на Торговой?

— Все там же… Но только едва ли тебя пустят после летней истории… Максимилиан-то слышать твоего имени не может, так весь и трясется, а Маринка зеленеет…

— Пожалуй, ты прав… — упавшим голосом сказал Николай Герасимович. — Но где и когда я ее увижу?

— Сегодня идет «Трильби» — она занята.

— Можно послать кого-нибудь за билетом?

— Пожалуйста, распоряжайся, как у себя.

Савин распорядился, и через какой-нибудь час билет кресла первого ряда Большого театра был у него в кармане.

Успокоенный, что сегодня же вечером увидит свою красавицу, он отдохнул до обеда у Хватова, который подавали в шесть часов, и вскоре после того, как встали из-за стола, поехал в театр.

Читатель не забыл, что вместо свидания с невестой Николаю Герасимовичу пришлось иметь роковую беседу с участковым приставом, носившим историческую фамилию, которому Федор Карлович Гофтреппе указал на Николая Герасимовича.

Савин привезен был в местный участок в каком-то отупелом, бессознательном состоянии. Ни в чем, что происходило с ним там, он не мог даже впоследствии дать себе отчета.

Очнулся он уже на дороге в Пинегу.

Оказалось, впрочем, что в пылу охватившего его ужаса, он успел уведомить о постигшем его несчастии петербургских родственников, а так как последние были люди влиятельные, то распоряжение о высылке было вскоре отменено.

Когда Николай Герасимович прибыл к месту своего назначения в Пинегу, то местная администрация была уже уведомлена об отмене первоначального распоряжения и о дозволении отставному корнету Савину проживать, где ему угодно.

Не теряя ни минуты, Николай Герасимович полетел обратно в Петербург.

Здесь ожидал его новый тяжелый удар, отразившийся на всей его жизни.

Маргарита Гранпа была потеряна для него навсегда… в объятиях Гофтреппе.

Часть вторая
Свободная любовь

I
На театре войны

Началась русско-турецкая война 1877 года.

34-й Донской казачий полк, к которому был прикомандирован отставной корнет Николай Герасимович Савин и в котором

он командовал полусотней, перешел вместе с другими частями 9-го армейского корпуса Дунай под Систовом в конце июня и двинулся по направлению к Никополю.

Крепость Никополь стояла на правом нагорном берегу Дуная, на высоком утесе.

Дунай в этой местности достигает до полуторы верст ширины и представляет великолепную картину.

С одной стороны на темном утесе высится крепость Никополь со своими бастионами, увенчанными орудиями, кругом крепости по склону горы до самого Дуная живописно раскинулся город, весь в садах и виноградниках, с торчащими кое-где высокими минаретами.

На другой стороне величественной реки, на низкой луговой румынской стороне, расположен красивый городок Турн-Магурель, с европейской распланировкой и грациозными фасадами румынских домов.

Войска окружили Никополь. Задачей кавалерии было держать посты и разъезды в тылу неприятеля и, отрезав его от Виддина, где находился Осман-паша, и от Софии и Рущука, где были другие турецкие армии, лишить его возможности получать подкрепления и провиант для Никополя.

Кавалерийский отряд, в котором находился 34-й Донской казачий полк, состоял, кроме него, из уланского и казачьего полков 9-й кавалерийской дивизии и кавказской казачьей бригады.

Драгунский и гусарский полки 9-й дивизии ушли на рекогносцировку за Балканы с генералом Гурко.

Во время разъездов русским пришлось несколько раз бывать в никого не интересовавшей в то время Плевне, ставшей впоследствии такой грозной твердыней и причинившей столько беспокойства и горя России.

В то время в Плевне турецкий гарнизон состоял всего из нескольких башибузуков, бежавших при первом появлении русских разъездов.

Впрочем, охранять тыл Никополя кавалерии пришлось недолго.

3 июля стали стягиваться к Никополю остальные войска, приехал командир корпуса со своим штабом, а вечером того же дня прислан был приказ всем войскам быть готовым к штурму Никополя на следующее утро.

Рано утром 4 июля пехота стала подвигаться и строиться в боевой порядок, артиллерия выехала на позицию; с румынского берега началась бомбардировка из девятифунтовых орудий.

В пятом часу утра началась ружейная перестрелка, превратившаяся вскоре в жаркий бой.

Русская артиллерия стреляла без отдыха, а пехота стала подвигаться все ближе и ближе к неприступному утесу.

Ружейная трескотня слилась в один могучий, несмолкаемый рев, среди которого орудийные выстрелы, как русских, так и неприятельских батарей, звучали низкими нотами, как звучит густая струна контрабаса в большом оркестре, когда на фортиссимо все звуки отдельных инструментов сливаются в одно могучее, потрясающее целое.

Ряды пехотинцев заволоклись белой пороховой дымкой, сквозь которую то здесь, то там вздымались более густые клубы дыма, извергаемые орудиями.

Крепость тоже опоясалась тонким облачком порохового дыма, причудливым кольцом охватившего ее вокруг.

Вот удалая казацкая батарея вскарабкалась на отрог утеса, на высоту, казавшуюся недоступной, и оттуда стала наносить видимый страшный вред неприятелю и вскоре пробила даже брешь в крепостной стене.

Увидела эту брешь пехота, и длинные ряды лежавших до того времени пехотинцев как бы выросли и быстро двинулись к крепости.

Громкое «ура» слилось с гулом продолжавшейся орудийной пальбы и всколыхнуло русское сердце.

Русские ворвались в крепость, и через несколько минут русское знамя уже взвилось в воздухе над взятой твердыней.

Так быстро пал Никополь под всесокрушающим победоносным русским оружием.

Николай Герасимович Савин, во главе своей полусотни, вместе с другими войсками, въехал в город.

Удовлетворим, однако, понятное любопытство читателей и расскажем, каким образом наш герой из Петербурга, где мы оставили его после невольного путешествия в Пинегу и обратно, пораженного страшной потерей, потерей любимой им девушки, очутился на театре русско-турецкой войны.

Убедившись, что слух об отношениях Маргариты Максимилиановны Гранпа к Федору Карловичу Гофтреппе далеко не принадлежит к области закулисных сплетен, а является вопросом, бесповоротно решенным в положительном смысле, — совершившимся фактом — Николай Герасимович был поражен, как громом.

Какая-то тупая, невыносимая боль сжала его сердце.

Он не хотел этому верить, и только Михаил Дмитриевич Маслов, знавший через Горскую все достоверные театральные новости, подтвердив ему, что связь эта известна всем и даже ничуть не скрывается, убедил его окончательно в обрушившемся на него несчастье.

Отчаяние его не поддается описанию.

Смерть любимого существа, несомненно, потрясающим горем обрушивается на человека, но в ней есть некоторое утешение для остающихся в живых — утешение эгоистическое, но какое же утешение не таково — состоящее в том, что любимое существо потеряно не для одного его, а для всех.

Этого утешения не имел Савин — любимая им девушка была потеряна именно и исключительно для него одного, для всех остальных она скорее делалась приобретением — талантливая танцовщица оставалась на сцене, чтобы возбуждать восторги толпы не только своей красотой и искусством, но даже, с этого времени, и возможностью осуществления иных, более осязательных надежд.

Нежная роза превратилась в роскошный цветок без запаха.

Грязная вода театрального болота окрасила его в яркие цвета, убив тонкий аромат, чуждый грубым вкусам толпы.

Началась блестящая карьера танцовщицы Гранпа.

Чтобы не быть свидетелем этой «карьеры» — «нравственной смерти» — как называл ее Николай Герасимович, он уехал из Петербурга в Серединское.

Там, в тишине семейной обстановки, он провел около года.

Герасим Сергеевич, внутренне порадовавшийся неудаче сына в любви к танцорке, — он имел точные обо всем сообщения из Петербурга, — с присущим ему тактом, ни словом, ни намеком не подал сыну виду, что знает об этом.

Он, напротив, отнесся к нему более сердечно, нежели в прошлый его приезд, и по целым часам беседовал с ним в своем кабинете о делах.

Он предложил ему при жизни получить выдел причитающегося ему наследства, настоял на этом и переукрепил за ним два приходившиеся на его долю имения и выдал на руки капитал в процентных бумагах.

— Это сделает тебя более самостоятельным в твоих собственных глазах. Подумай о своем будущем, о своей карьере… Ты можешь принести много пользы, служа по выборам… России нужны молодые силы… Ты умен… этого отнять у тебя нельзя, — заметил старик, — даже твоя бурно проведенная юность доказывает, что в тебе есть темперамент, пыл, энергия… Надо только направить эти качества на дело, а не на безделье… Признайся, что многое, что ты натворил в Петербурге и Варшаве, сделано тобой от скуки.

— Вы правы, батюшка, — искренно ответил сын.

— Видишь, а если ты найдешь себе по душе работу, то весь этот жар молодой крови вложишь в нее… Я не упрекаю тебя, я сам был молод и был почти в таком же положении как ты, меня спасла любовь к хозяйству… В тебе нет этой наклонности… Тогда служи… Деятельность земства видная, публичная и почетная деятельность… Она не требует особого специального образования… Она требует только трех вещей: честности, честности и честности.

Фанни Михайловна и Зина — поездка последней в Петербург, по случаю постигшей ее болезни, была отложена на год — окружили Николая Герасимовича теплым попечением, одна — матери, другая — сестры.

Сердечная рана Савина, если не закрылась, то перестала мучить его своею острою болью.

Так бывает и с физическими ранами при нежном женском уходе.

При первом известии о войне, Николай Герасимович весь отдался мысли снова поступить на военную службу. На поле битвы, пред лицом смерти, казалось ему, может он только найти душевный покой, забыть холодящий его мозг весь ужас его поруганной любви, стереть из своей памяти до сих пор до боли пленительный образ развенчанного кумира, или же умереть, честною, славною боевою смертью.

С какою беззаветною храбростью, храбростью человека, для которого жизнь — ненужное тяжелое бремя, будет он бросаться в самые опасные места, с каким хладнокровием самообреченного человека будет он стоять под градом пуль.

«Война — это жизнь…» — повторял он где-то слышанное изречение.

«Это смерть!..» — подсказывал ему какой-то внутренний голос, но это не останавливало его, так как смерть была для него желаннее жизни.

«Говорят, что ищущие на войне смерти никогда не находят ее…» — думал молодой Савин, не с надеждой, а напротив, с горечью.

Он сообщил отцу о своем намерении. Герасим Сергеевич вместо ответа обнял своего сына.

— Если бы я не был стар, я сам бы полетел туда… Это война не только война, это святое дело… Благослови тебя Бог… Ты принес мне своим решением такую радость, такую радость…

Старик не мог говорить и заплакал.

Фанни Михайловна, узнав о намерении своего любимого сына идти подставлять свой лоб под турецкие пули, сначала остолбенела, а затем упала в истерическом припадке.

Но это было лишь первое впечатление. Восторженная радость ее мужа, которого с сыном окончательно примирило его патриотическое решение, передалось и ей — в ней проснулась русская женщина, и она, даже с неожиданной для Герасима Сергеевича твердостью, дала свое согласие, хотя чутким женским сердцем проникла в тайные думы сына, и раз, оставшись с ним наедине, серьезно сказала ему:

— Ты ищешь смерти… Господь не пошлет ее к тебе, я спокойна.

Сердце у Николая Герасимовича упало при этих словах его матери.

«Ужели они окажутся пророческими!» — мелькнуло в его голове.

Зина восторгалась решением своего названого брата и начала проситься отпустить ее в сестры милосердия.

— Разве с нянькой… — шутливо ответил Герасим Сергеевич. Она не на шутку обиделась и замолчала.

II
Под Плевной

Кишинев весной 1877 года был центром всех собиравшихся войск и представлял прелюбопытную картину.

Кого, кого тут не было?

Представители русских войск всех родов оружия со всех окраин России, иностранные представители и военные агенты всех стран,

и корреспонденты всех европейских и даже американских газет, торговцы, аферисты, крупные и мелкие, и бесчисленное количество всякого темного люда.

Не было недостатка и в представительницах прекрасного пола, привлеченных блеском военных мундиров и звоном золота, которым платилось жалование носящих их.

При приезде в Кишинев Николаю Герасимовичу Савину пришлось мыкаться по городу более двух часов, пока он нашел себе не квартиру, а просто приют.

Это была крохотная комнатка в нижнем этаже гостиницы «Швейцария», со скрипучей постелью, хромым столом и двумя стульями.

За это помещение с него взяли пять рублей в сутки.

Надо заметить, впрочем, что «Швейцария» была одной из лучших гостиниц Кишинева и бралась нарасхват, так как город никогда не видал такого громадного сборища людей, как при мобилизации, и жители его пользовались моментом.

Представившись августейшему главнокомандующему и зачисленный по роду оружия в названный нами казачий полк, Николай Герасимович принужден был жить в Кишиневе, ожидая прибытия этого полка, стоявшего в Подольской губернии.

В Кишиневе он нашел многих своих товарищей по Петербургу, которые стояли при главнокомандующем адъютантами и ординарцами.

Кроме этих счастливцев, было много гвардейских офицеров, перешедших добровольно в армейские полки, или прикомандировавшихся к ним, чтобы попасть на войну.

Все эти представители «золотой петербургской молодежи», за неимением в Кишиневе Бореля и Дюссо, сходились в «Швейцарию» или «Северную» гостиницу — единственные места, где можно было что-нибудь достать.

Видя такую избранную публику, хозяева «Швейцарии» и «Северной» гостиницы вообразили себя «Борелями» и стали драть «поборелевски» за свою невозможную стряпню.

Вина, подаваемые этими «кишиневскими Дюссо и Борелями», были невозможные. Даже тотинские и рижские шампанские показались бы нектаром в сравнении с «шипучей бурдой», предлагаемой местными рестор採аторами.

Но офицерство, хотя и морщилось, но пило, заменяя качество количеством.

Вечером вся публика высыпала на бульвар, куда выплывали и все разнокалиберные и разномастные представительницы прекрасного пола.

С бульвара молодежь, обыкновенно, отправлялась гурьбой в одну из гостиниц, где, в пропитанной табачным дымом атмосфере грязной залы, просиживала до рассвета, отравляясь винами кишиневских Борелей.

Иногда же целой компанией посещали кафешантаны.

Последних появилось в Кишиневе великое множество. Кафешантаны были особенные, походные.

Лучший из них помешался в каком-то погребе, где прежде был пивной склад.

Хозяин, слышавший, вероятно, что залы украшаются зеленью, вместо экзотических растений насовал в углы и амбразуры окон березки и липы, так что концертный зал был всегда убран, как в Троицын день деревенский кабак.

В одном из углов этой залы, тоже в зелени, стояло старое дребезжащее фортепьяно, какое можно только встретить в захолустье у мелкопоместного помещика и на котором дочки этих помещиков играют и поют чувствительные романсы и «верхние выводят нотки».

В кишиневском «Эльдорадо» — так назывался кафешантан — играл густо напомаженный еврей-тапер в розовом галстуке, и под звуки его музыки пели надорванными голосами разные дульсинеи-арфянки в сильно декольтированных яркого цвета платьях, с очень короткими юбками.

Так проходила предпоходная жизнь, в которой волей-неволей принимал участие и Савин.

Наконец в конце апреля прибыл в Кишинев 34-й Донской казачий полк, к которому был прикомандирован Николай Герасимович.

Полк представился на смотре его высочеству, который осматривал лично каждую проходившую часть.

Савин представился командиру и познакомился с офицерами.

Полковник оказался знакомый ему по Петербургу, где он прежде служил в лейб-казаках.

Для бывшего блестящего гвардейского офицера и не менее блестящего гусара, а главное барича, с детства светски вылощенного Савина, общество казацких офицеров показалось несколько странным.

Это были настоящие военные служаки, сравнительно грубые и необразованные, умеющие побеждать и умирать, но не умеющие пленять и развлекать.

Командир сотни есаул Полиевкт Сергеевич Балабанов — ближайший начальник Николая Герасимовича, был человек простой, лишенный всякого образования и воспитания.

Не говоря уже о том, что он с трудом подписывал свою фамилию, он не знал даже употребления носового платка и такового при себе никогда не имел и редко употреблял за столом вилку, и то разве для того, чтобы поковырять в зубах.

Ел он вместе с сотенным вахмистром, который был его кумом и первым его другом, а ложку свою носил всегда при себе, в голенище сапога.

Разговаривая изредка с Николаем Герасимовичем, он раз поведал ему, что взял своего сынишку из новочеркасской гимназии, так как тот научается там вольнодумству и разному вранью.

— Какое же это вранье? — полюбопытствовал Савин.

— Сами посудите, Миколай Герасимович, — с жаром заговорил Полиевкт Сергеевич, — четырнадцатилетний мой хлопчик рассказывает вдруг мне, старику-отцу, что земля какой-то шар и даже, что он ходит кругом солнца, а не солнце кругом земли… Я его хвать за чуб, трясу да приговариваю: «Не бреши, не бреши». Ну и взял его из гимназии. Теперь табун стережет в станице, там глупостей не наберется.

Другие офицеры тоже не многим отличались от Полиевкта Сергеевича по воспитанию и образованию.

В таком-то непривычном для Савина обществе выступил он в поход.

Единственной отрадой было общество полковника, который очень любезно предложил Николаю Герасимовичу столоваться у него.

У полковника был повар и все необходимое для кухни.

Обедали обыкновенно втроем: полковник, Савин и полковой доктор, милейший человек и большой балагур, смешивший постоянно своих собеседников разными анекдотами.

Время похода шло однообразно; те же переходы, те же бивуаки и те же мелкие молдавские городишки, Кишиневы в миниатюре, с тою же невылазною грязью, для которой походные сапоги были как раз кстати.

Наконец полк прибыл в Слатино, где и остановился.

Николай Герасимович поехал в отпуск в Бухарест, чтобы хоть немного отдохнуть от непривычной казачьей жизни и его товарищей — Гаврилычей.

Бухарест — современный европейский город, во время же восточной войны и пребывания в нем русских еще более оживился и сделался настоящим Парижем.

Русские имеют какую-то странную особенность не обрусить, а скорее офранцузить все их окружающее.

Так было и с Бухарестом.

На улицах только и слышалась, что французская речь.

Куда ни взглянешь, везде французские гостиницы и рестораны, с настоящими уже Борелями, Вавасерами и др.

Театры все французские, кафешантаны тоже настоящие — парижские. «Альказар», «Фоли-Бержер», «Альгамбра», с мадемуазелями Келлер, Филиппе и Альфонсиной во главе.

Французских кокоток наехало столько, что, наверно, на Итальянском бульваре в Париже их столько нельзя встретить, сколько на бульварах Бухареста во время войны.

В магазинах товар стал весь парижский, Николай Герасимович купил даже себе форменную военную фуражку от «Leon a Paris».

Вина продавались настоящие французские, но были неимоверно дороги — по золотому бутылка и даже дороже.

Савин остановился в «Grand-Hotel Brofft», где за полуимпериал в сутки ему отвели маленькую комнатку, но устланную ковром и прекрасно меблированную.

В Бухаресте Николай Герасимович отдохнул душой и телом и пробыл около месяца, выехав лишь в конце июня, по получении телеграммы от командира полка, требующего его возвращения в Слатин.

В Слатине он уже застал сбор к дальнейшему походу.

Вот каким образом Николай Герасимович очутился под Никополем.

Турецкий гарнизон последнего сдался корпусному командиру.

Потери русских были невелики, войска были в неописуемом восторге.

Первое дело 9-го корпуса было блестящее и взятие Никополя — изумительное.

После победы Никополь был занят одним из пехотных полков 5-й дивизии, более всего пострадавшим в этом деле, а остальные и в том числе полк, где находился Савин, двинулись вперед на Плевну.

Но Плевна преобразилась, в ней уже укрепился Осман-паша, пришедший из Виддина.

Попытки русских войск овладеть ею были безуспешны.

8 и 18 июля русские потерпели большие неудачи, войска были отражены и даже должны были отступить в беспорядке.

В некотором опьянении первым успехом под Никополем, русские силы не были соображены с силою противника, и корпус был брошен на целую армию.

Неудача 8 июля, при которой русские потеряли несколько тысяч человек, не послужила ни уроком, ни предостережением, и отчаянно смелая попытка снова одним натиском выбить значительно превосходящие силы из позиции, поставленной в лучшие условия защиты, при скорострельном оружии, повела еще к большим потерям 18 июля.

В этот роковой день выбыло из строя до семи тысяч человек.

Только крайний пыл нападения, поставивший в тупик турецкую армию и заставивший Османа-пашу быть излишне осторожным, спас русские войска от еще больших потерь при преследовании.

В результате пришлось остановиться и ожидать подкреплений, с чего можно было бы начать.

После ночного отступления 18 июля, паника распространилась глубоко в тыл настолько, что отразилась в Систове, где все население города и русские раненые бросились бежать к переправе к мосту, спасаясь от воображаемого наступления турок.

Николай Герасимович был свидетелем этой паники в Систове, будучи там со взводом своих казаков, так как привел из Никополя турецких пленных, которых препровождали в Россию.

Ему пришлось лично убеждать население и уговаривать раненых русских солдатиков не верить распространявшимся слухам, принесенным испуганными отступлением русских войск, бежавшими от Плевны братушками.

Более месяца продолжалось ожидание подкреплений.

Кавалерии пришлось нести аванпостную службу.

Это бездействие, да и вообще жизнь с казаками положительно тяготили Николая Герасимовича, и он решил ехать в штаб корпуса, просить перевода в регулярный полк или куда-нибудь еще ординарцем.

Задумано — сделано. Отпросившись у полковника, Савин уехал с вестовым в корпусный штаб.

III
В первом сражении

Бездействие, или же, что главное, безопасная деятельность, страшно угнетали Николая Герасимовича.

Он всеми своими помыслами стремился принять участие в деле и получить так называемое «крещение огнем».

Между тем кавалерия была только зрительницей, а не активной участницей на поле брани, так как задачей ее было охранение тыла войск от случайного нападения неприятеля или могущего подойти неприятельского подкрепления.

С затаенной мыслью принять на себя возможно опасные поручения, ехал Савин в корпусный штаб.

Последний помещался в болгарском Карагаче.

Николай Герасимович остановился у офицеров-ординарцев корпусного командира, Козлова и Гаталея, своих бывших петербургских товарищей.

Они приняли его с распростертыми объятиями, как свежего человека среди однообразия бивуачной жизни.

Он разъяснил им цель своего приезда и просил представить корпусному командиру.

— Хорошо, хорошо, это уж завтра, — заметили оба офицера в один голос, — а теперь давай обедать.

На столе появился душистый шашлык, приготовленный поваром Козлова, персиянином, которого он где-то раздобыл.

После обеда отправились смотреть лошадей.

У Козлова был замечательный белый арабский жеребец, которого он впоследствии продал генералу Скобелеву и, кроме того, еще чудная бурая, английская чистокровная лошадь, которой залюбовался Савин, знаток и любитель лошадей.

Вечером сошлись остальные ординарцы и адъютанты, с которыми познакомили Николая Герасимовича, и началась попойка, окончившаяся позднею ночью.

На другое утро Савин пошел представляться командиру корпуса и начальнику штаба, которым, со слов Козлова и Гаталея, было уже известно о цели его приезда.

Генерал, барон Крюденер, принял Савина очень любезно, выслушал его разъяснения о причинах, заставивших его покинуть казачий полк, и предложил ему поступить к нему ординарцем, прикомандировал его к 6-й сотне того же 34-го Донского казачьего полка, которая состояла при нем.

Николай Герасимович рассыпался в благодарностях и, конечно, согласился.

Это было в двадцатых числах августа, и ему недолго пришлось прожить без дела.

Русские строили в это время в нескольких местах батареи, для привезенных дальнобойных и осадных орудий.

Предполагалось со дня на день начать общую бомбардировку Плевны и общее наступление со всех сторон.

9-й корпус занимал линию от болгарского Карагача, Сгалушц и Гривицы до Парадила, на правом фланге, то есть на север от Плевны, расположены были румыны, а на левом фланге с юга — 4-й корпус.

25 августа был объезд корпусного командира со всем штабом и начальниками частей позиции, и на ночь штаб уже перенесся на бивуак к главной батарее.

С 28 началась перестрелка, заревели осадные орудия, начали громить турок и потрясать окрестность своими оглушительными выстрелами.

Огромные снаряды и гул их полета радовали солдатиков, которые со свойственною им шутливостью приговаривали при всяком выстреле из орудия большого калибра:

— Вот так ахнула…

— Полетела Матрешка к туркам ночевать, разуважит она их!

В ночь на 29 августа был небольшой переполох.

На бивуаке уже спали, как вдруг затрещала ружейная перестрелка.

Корпусный командир послал Савина и одного из своих адъютантов, князя Гагарина, узнать в чем дело.

Посланные помчались.

Ночь была темная, и приходилось ориентироваться по вспыхивающим огонькам перестрелки, которая происходила впереди деревни Гривинцы, занятой уже русскими войсками.

В передовой линии был в эту ночь Козловский полк 31-й пехотной дивизии, к которому Савину и Гагарину и пришлось ехать.

Чем ближе они подъезжали, тем все яснее и яснее вырисовывалась местность, освещаемая ружейными выстрелами, и когда они добрались до ложементов Козловского полка, то узнали, что турки сделали вылазку, но были встречены нашим огнем и отбиты.

Перестрелка подняла турок в Гривицком редуте, хотя за темнотою без всякого вреда для русских.

Разузнав все это, Савин и Гагарин вернулись обратно и доложили ожидавшему их корпусному командиру.

На другой день на бивуак стали съезжаться со всех сторон корреспонденты и военные агенты.

Эти господа съезжались обыкновенно перед делом, как вороны, ожидая результатов боя, чтобы сообщить во все пункты земного шара о его подробностях и исходе.

В числе корреспондентов были знаменитые Станлей и Мак-Гахан и русские: В. И. Немирович-Данченко и присяжный поверенный Утин.

Последний был корреспондент-любитель и приехал верхом на прекрасном вороном коне.

Перестрелка русских батарей с турецкими редутами шла очень деятельно, турецкие батареи отвечали исправно, хотя и не имели орудий большого калибра, но их орудия были дальнобойные и гранаты долетали до русских войск.

Если бы все их снаряды разрывались, то дело было бы плохо, но, к счастью русских, англичане продали своим друзьям-туркам старые, залежавшиеся снаряды, которые большею частью не разрывались, а закапывались в землю.

Наконец настало знаменитое 30 августа.

Приказано было наступать по всей линии. Все ординарцы были разосланы для наблюдения по частям.

Николай Герасимович был командирован в 1-ю бригаду 5-й пехотной дивизии, которая должна была штурмовать вместе с румынскими войсками Гривицкий редут.

По диспозиции начать предстояло румынам в 4 часа дня, а русские должны были их поддерживать.

Для подготовки штурма русская артиллерия выехала одновременно с румынской на позицию и открыла огонь по редуту.

Румынские войска два раза принимались штурмовать и оба раза были отбиты.

Пришла очередь двинуться русским.

Савин в это время сидел с командиром архангелогородского полка флигель-адъютантом полковником Шлитер.

Это был храбрый боевой офицер, георгиевский кавалер, прослуживший около десяти лет на Кавказе, отличившийся там и переведенный за это отличие в гвардию в Преображенский полк.

Он только что принял архангелогородский полк, который в делах под Никополем и Плевной потерял уже двух командиров, большую часть своих офицеров и две трети нижних чинов.

Полковник Шлитер, как старый боевой офицер, предвидел всю трудность предстоящего дела и был скучен.

Может быть, впрочем, это было предчувствие.

Когда наступила роковая минута двинуться вперед, он встал, осенил себя крестным знамением и громким голосом скомандовал полку:

— Вперед!

Настала и для Савина желанная минута броситься в бой.

Он пошел тоже впереди атакующих колонн.

Началась стрельба залпами и перебежка вперед.

Турки стреляли без умолку, их пули жужжали непрерывным роем, вырывая из русского строя жертву за жертвой, но бригада бодро подвигалась вперед.

Отдать отчет в ощущениях, которые какой-то кровавой волной охватили Николая Герасимовича, он не мог положительно ни тогда, ни после.

Он помнит только, как, подбегая к главному редуту, он увидел, что шедший рядом с ним полковник Шлитер зашатался и упал.

Савин хотел поддержать его, но в это время сам почувствовал оглушительный удар в голову и потерял сознание.

Очнулся он через три дня на перевязочном пункте.

Все это время он был без памяти.

Подняться Николай Герасимович был не в силах и почти не мог шевельнуться.

Левая рука была в повязке и привязана к койке.

С головы только что сняли компресс.

— Что со мной? Где я? Чем кончилось дело? — слабым голосом спросил он у стоявшей около его койки сестры милосердия, стройной блондинки, с добрыми светлыми глазами.

— На перевязочном пункте, — отвечала сестра, — вы были контужены в голову и впали в беспамятство… Кроме того, у вас перебита левая рука выше локтя пулей…

— А дело, дело… — настаивал Савин.

— Гривицкий редут взят.

— Ну, слава Богу… А полковник?

— Полковник Шлитер убит.

Николаю Герасимовичу пришлось пробыть на перевязочном пункте еще несколько дней, после чего он с другими ранеными отправился в Россию.

До Бухареста их везли на волах и лошадях, а в Бухаресте поместили в прекрасном вагоне поезда Красного Креста, в котором раненые и помчались на родину.

Савин был отправлен в Тулу, где и был помещен в госпитале Красного Креста и где через два месяца настолько поправился, что мог ехать в деревню.

В Серединском его ожидали тяжелые дни.

Его мать Фанни Михайловна лежала на одре смерти, а Герасим Сергеевич ходил как убитый.

В доме собралась вся семья, оба брата Николая Герасимовича и Зина, приехавшая из Петербурга, где она только что было начала готовиться к экзамену на женские медицинские курсы.

Ее, по желанию больной, вызвали телеграммой.

Болезнь Фанни Михайловны развилась неожиданно быстро. Здоровая, почти никогда не хворавшая, она вдруг слегла как подкошенная, совершенно неожиданно для мужа и окружающих.

Началом болезни было нервное расстройство, отразившееся на всем организме.

Последнее письмо от сына ею было получено 30 августа. Сын писал, что на это число назначен штурм Плевны.

Весть о том, что русские войска наконец сломили эту турецкую твердыню, дошла вскоре до России, как донеслась и весть о том, сколько жертв стоила эта победа.

Не получая писем от сына, Фанни Михайловна не осушала день и ночь глаз, вполне уверенная, что он убит.

Слова утешения не действовали на нее, и она положительно слабела день ото дня.

Пришедшее почти через месяц письмо, задержанное, видимо, отправкой с перевязочного пункта, о том, что Николай Герасимович ранен и вместе с другими серьезно раненными отправляется в Россию, писанное по просьбе Савина сестрой милосердия, почти совершенно не успокоило несчастную мать.

— Это все ваши шутки, — твердила она, — это одно желание скрыть от меня истину, отдалить роковое известие… Я знаю, я сердцем чувствую, что он убит…

Наконец Фанни Михайловна окончательно слегла, простудившись при частых поездках в церковь, на каменном полу которой она буквально лежала ничком по целым часам.

Организм был окончательно подорван нервным расстройством и простудой.

Даже пришедшее известие, что сын ее жив и здоров, не могло уже поднять ее со смертного одра.

Через неделю после приезда Николая Герасимовича в Серединское, Фанни Михайловна испустила последний вздох на его руках.

Он не отходил ни на шаг от ее постели.

Герасим Сергеевич, после похорон любимой жены, не пожелал остаться в Серединском, которое по его распределению имений принадлежало его сыну Николаю, и приказал увезти себя в Москву.

Его именно увезли, почти в бессознательном состоянии от постигшего его горя.

Братья разъехались, уехала и Зина в Петербург.

Она было предложила ехать с собою и Николаю Герасимовичу, но при слове Петербург его лицо исказилось таким выражением невыносимого страдания, что Зиновия Николаевна даже не окончила начатую фразу.

«Как он до сих пор любит ее», — промелькнуло в ее уме не без некоторой горечи.

Николай Герасимович не остался, однако, тоже в Серединском. Поручив управление имением старосте, он уехал в Тулу, где за время пребывания в госпитале сделал несколько приятных знакомств.

Вскоре верстах в десяти от Тулы он купил себе имение «Руднево», очень живописно расположенное, с прекрасным, почти новым барским домом, садом и оранжереями, а главное, великолепными местами для охоты, как на дичь, так и на красного зверя.

Выписав из своих других имений лучших лошадей и лучших собак, он зажил в деревенской тиши хлебосольным помещиком, радушным хозяином, к которому охотно собирались как соседи-помещики, так и городские гости.

В Туле даже начали поговаривать, что в Рудневе недостает только молодой хозяйки.

Тульские маменьки и дочки особенно сильно были заинтересованы этим вопросом.

IV
В поиски за счастьем

Прошло около трех лет, но мечты и надежды тульских маменек и дочек относительно Николая Герасимовича не осуществлялись.

Он, казалось, не замечал рассыпаемых перед ним чар прекрасной половиной Тульской губернии, ни красноречивых улыбок, ни не менее красноречивых томных вздохов.

Видимо, молодой Савин решился остаться холостяком, и это решение было твердо и бесповоротно.

«Это просто ненавистник женщин!» — решили хором тульские маменьки, не будучи в состоянии иначе объяснить себе неудачу романической осады их дочек, из которых каждая, в глазах своей матери, была перлом красоты и невинности.

«Бесчувственный идол! — твердили дочки. — Статуй каменный… У него нет сердца… Это какой-то изверг…»

«У него прехорошенькая ключница!» — загадочно говорили мужья и отцы.

В тоне этого замечания слышалось не то осуждение, не то зависть.

Черноглазая двадцатитрехлетняя Настя, исполнявшая в имении Николая Герасимовича Савина должность экономки и щеголявшая нарядными платьями, действительно была тем аппетитным

кусочком, на который обыкновенно мужчины смотрят, по меткому выражению русского народа, как коты на сало.

Высокая, стройная, той умеренной здоровой полноты, которая придает всем формам женского тела прирожденную пластику, с ярким румянцем на смуглых щеках и знойным взглядом из-под соболиных бровей, Настя была чисто русской красавицей, о взгляде которой русский народ образно говорит, как о подарке рублем.

Ее мелодичный грудной голос, подчас становившийся суровым и властным при отдаваемых распоряжениях, ее выразительный смех с утра до вечера раздавались по всему дому вместе с шуршанием ее туго накрахмаленных юбок, к которым она имела необычайное пристрастие.

Об отношениях ее к молодому барину было только некоторое, основательное, не спорим, подозрение, но положительно никто утверждать не мог.

При гостях она была почтительной служанкой, из тех служанок, с которыми господа позволяют себе иногда добродушные шутки и… только.

Как вел себя Николай Герасимович и Настя без гостей — того не знал никто, и даже дворня и остальная отданная ей под начало прислуга не особенно уверенно называли ее втихомолку «барской барыней» и «дворянской утехой».

Каковы бы, впрочем, ни были отношения к Насте, не она удерживала его, вопреки мнению тульских отцов и братьев, от выбора себе законной подруги.

Настя, с ее вызывающей желания красотой, не могла восполнить ту потребность настоящей всепоглощающей любви, быть может эфемерной, но казавшейся достижимой, потребность которой жила в разбитом сердце Николая Герасимовича.

В этом сердце остался пьедестал, с которого так неожиданно свалился кумир — Маргарита Гранпа, и замена этого кумира, заполнение образовавшейся сердечной пустоты, было настойчивой, почти болезненной мечтой Савина.

Он решил броситься в поиски за счастьем, в погоню за созданной его болезненным воображением свободной любовью.

Неожиданно для его тульских знакомых, он, сдав управление имением старосте, а домашнее хозяйство поручив Насте, уехал, не сделав даже прощальных визитов, за границу.

Этот внезапный отъезд породил в тульском обществе массу толков, приведших оскорбленных обывателей к выводу, что у Николая Герасимовича «не все дома».

При этом делали красноречивый жест вокруг лба.

Виновник же этой тревоги мчался в курьерском поезде, туда, в Западную Европу, где он делался, по его мнению, вольной птицей, где он будет жить как хочет, как ему нравится, не подвергаясь пересудам разных чопорных старушек, провинциальных кумушек, которым все надо знать, во все сунуть свой нос.

Там он будет делать все то, что позволяют ему его средства, вращаться в том обществе, которое ему приглянется, и наконец, там он найдет ту «свободную любовь», которая здесь скована холодом приличий, как сковываются зимним холодом реки его родины.

Николай Герасимович мчался без оглядки, как выпорхнувшая из клетки птичка, и опомнился только, очнувшись на платформе венского вокзала Nord-Bahn-Hoff.

В Вене он остановился в «Hotel Imperial» на Ринге и, переодевшись и позавтракав, отправился сделать визиты двум знакомым, служащим в русском посольстве, товарищам по службе его старшего брата.

Эти знакомые были милые и веселые люди, знавшие хорошо Вену и ее прелести.

Они с удовольствием предложили Савину свои услуги для посвящения его в венскую жизнь, и в их обществе он стал посещать венские театры, балы, маскарады и другие увеселения.

Театров в Вене много, большею частью опереточные.

В семидесятых годах оперетка, руководимая венскими маэстро Штраусом, Зуппе и Миллекером, процветала, выпуская ежегодно из рук талантливых композиторов все новые и новые произведения блестящей музыки.

Все эти венские оперетки имеют свой особый жанр и пошиб, иначе сказать свой венский шик.

Произведения эти отличаются от французских своею музыкальностью, меньшей скабрезностью и большим юмором.

Этот жанр вполне подходил под тогдашние силы венских исполнителей и, в особенности, исполнительниц.

Венские женщины, отличающиеся своей красотой, миловидностью и простотой, положительно не способны к цинизму, с которым так мило и искусно обращаются ловкие француженки, превращая его в пикантность.

Этого венки не умеют, и вот почему венские композиторы и пишут свои оперетки более похожими на комические оперы.

Венские женщины произвели сильное впечатление на Савина, да и не мудрено, — венки безусловно красивее француженок, при этом рослы и замечательно хорошо сложены.

Кто любит женскую красоту и пластичность, тот должен ехать в столицу Австрии, где он на каждом шагу будет встречать замечательных красавиц.

На сценах венских театров целые рассадники красивых, веселых и милых женщин, в обществе которых можно провести прелестно время.

Пребывание в Вене Савину показалось каким-то чудным сном, но кошмар сердечной пустоты не заполнился мимолетными интригами.

В описываемое нами время среди венских красавиц особенно выделялись три сестры, которых можно было видеть в оперном театре, сидящими в ложе бельэтажа.

Они принадлежали к венской буржуазии.

Старшая из них, госпожа Шварц, была женою биржевого маклера, вторая — госпожа Сакс-Бей, вдовою лейб-медика египетского хедива, и младшая еще была барышнею и звали ее m-lle Зак.

Не будучи с ними знаком, Николай Герасимович несколько дней подряд ходил в оперный театр и не сводил бинокля с ложи красавиц.

Наконец один из его венских знакомых, граф Фестегич, представил его красавицам-сестрам.

Они оказались очень милые, воспитанные и развитые женщины. Жили они все вместе на Шоттен-Ринге, в прелестной квартирке.

Николай Герасимович стал их частым гостем.

Все три сестры были большие музыкантши, и у них часто устраивались музыкальные вечера, на которые съезжались все знаменитости венского музыкального и артистического мира.

У них Савин познакомился с известным художником Макартом, который не раз пользовался для своих картин любезностью сестер-красавиц, соглашавшихся позировать в мастерской знаменитого художника.

Николай Герасимович увлекся было одною из сестер, госпожою Сакс-Бей, но узнав, что сердце ее занято, тотчас же уехал из Вены в Италию.

Он отправился во Флоренцию через Земеринг и Понтеба при 10 градусах мороза, с лежащим на полях снегом.

Проснувшись на другое утро, около Понтеба, и выглянув в окно вагона, Савин просто не поверил своим глазам.

Поля все были зеленые, деревья с распускающимися листьями и при этом 15 градусов тепла.

Николай Герасимович не отрывался от открытого им окна своего купе.

Чем дальше мчался поезд, унося пассажиров в глубь Италии, к Тосканской долине, тем местность становилась все красивей и живописнее, а январь месяц превращался в май.

Места так очаровательны и живописны на протяжении всего пути, что человек, подобно Савину, не бывавший ранее в Италии, действительно не может оторвать глаз от окна вагона, любуясь прелестной панорамой с мелькающими перед ним горами, быстрыми потоками и живописно расположенными городами и садами.

Железная дорога, выходя из Ломбардо-Венецианской равнины, начинает подниматься в горы; от Вероны же до Болоньи проходит по отрогам Аппенин, прорезая их бесчисленными туннелями.

С Болоньи дорога начинает спускаться извилинами по склону гор в Тосканскую долину, где тянется вдоль живописного и быстрого Арно до самой Флоренции.

Несмотря на то, что Николай Герасимович прибыл во Флоренцию первый раз, он знал, что в ней его не ожидает одиночество.

В этом итальянском городе живет много русских, а ко времени прибытия туда Савина, там находилось несколько его петербургских знакомых, которых он хотя и давно не видал, но связи с которыми не были нарушены.

Достаточно, впрочем, знать соотечественника по имени, чтобы на чужбине с первого раза сделаться приятелями.

Как ни стараются некоторые из русских корчить из себя космополитов, но в глубине их сердец все же теплится неугасающая никогда искра любви к родине, и встреча с соотечественником вдали от России заставляет невольно трепетать эти сердца.

Только за рубежом познаешь верность слов поэта, что «дым отечества нам сладок и приятен».

V
Во Флоренции

Поезд еще не успел остановиться у Флорентийского вокзала, медленно двигаясь у широкой платформы, как до слуха Николая Герасимовича Савина долетели слова, сказанные на чистом русском языке:

— Ба, Савин, какими судьбами!

Николай Герасимович быстро высунулся из окна вагона и увидел спешившего за поездом молодого, довольно полного, элегантно одетого господина.

Он сразу узнал в нем барона Федора Федоровича Рангеля, своего товарища по гусарскому полку.

— Рангель, ты? — крикнул Савин.

— Я, я… — запыхавшись отвечал толстяк, все продолжая продвигаться за уже совершенно медленно двигающимся поездом.

Наконец поезд остановился.

Николай Герасимович выскочил из вагона и приятели обнялись и троекратно, по русскому обычаю, поцеловались, к большому недоумению находившихся на платформе итальянцев.

— Из России?

— Да.

— Проветриться?

— Почти.

— Отлично… Но вот что значит предчувствие… Отправлял посылку… Слышу идет поезд, дай, думаю, посмотрю, не приехал ли кто из русских… Сколько раз бываю на вокзале, никогда этого не приходило в голову, а сегодня вдруг… и встречаю тебя… В этом есть нечто таинственное, — говорил барон. — Ты сюда надолго?

— Не знаю, как поживется.

— Отлично… Ты не думай, что я тебя отпущу в гостиницу… Это ты оставь…

— Но…

— Говорю, оставь… Давай багажную квитанцию.

— Позволь, однако, я стесню тебя… Твоя жена…

— Ничуть не стеснишь, у нас большое помещение. Жена будет тебе рада… Давай, давай квитанцию.

Савин повиновался.

Барон Рангель подозвал носильщика и, вручив ему квитанцию, объяснил ему по-итальянски, куда следует отвезти багаж. Носильщик с поклоном удалился.

— Багаж будет доставлен прямо ко мне… Едем…

— Мне, право, совестно.

— Я тебе задам, совестно…

Они вышли с вокзала, сели в парный экипаж барона, который через каких-нибудь четверть часа доставил их к прекрасной вилле, чудному домику, стоящему в саду из апельсиновых деревьев.

Баронесса Юлия Сергеевна, которую Савин знал в Варшаве еще барышней, так как она была дочерью полкового командира Сергея Ивановича Краевского, приняла его очень любезно и заявила с первых же слов, что завтрак подан.

— Папа будет очень рад вас видеть, — сказала она после того, как ее муж и его гость утолили первый аппетит.

— Генерал тоже здесь? — спросил Савин.

— Как же, он живет в нескольких шагах от нас, — отвечал барон Рангель, отрезая сыр себе и Савину.

— А добрейшая генеральша Пелагея Семеновна?

— Тоже здесь… Похудела, помолодела и очень довольна.

— Теодор… — остановила барона жена.

— Я не хотел сказать ничего дурного, ma chère, я ее люблю не только как твою мать, но как нашу мать-командиршу… Мы все ее боготворили… Не правда ли, Савин?

— Я думаю… Кто не был ею обласкан… За кого из нас она не заступалась у своего мужа.

— Мама всегда была добра, даже слишком, — заметила Юлия Сергеевна, взглянув на мужа.

— Ты находишь, вероятно, что она была слишком добра именно тогда, когда застала нас на первом поцелуе.

— Теодор… — вспыхнула баронесса и замолчала.

После завтрака Савин попросил позволения переодеться и Федор Федорович провел его в отведенную ему комнату, где уже находились привезенные с вокзала чемоданы Николая Герасимовича.

— Переодевайся да пойдем к старику, — сказал барон.

— С удовольствием.

Быстро сделав свой туалет, Савин с Рангелем отправились к генералу Краевскому, вилла которого была действительно в двух шагах от виллы Рангелей.

Сергей Иванович служил в гусарском полку с корнетского чина и, командуя им впоследствии, любил страстно полк и всех в нем служащих, и всякий офицер, хотя и не служивший при нем, мог быть уверенным, что будет хорошо принят этим истым старым гродненским гусаром. Любовь к своему полку сохранил он и выйдя в отставку.

Николай Герасимович к тому же пользовался его расположением в Варшаве, и потому генерал и его супруга приняли его как родного.

— Вот кстати! — воскликнула Пелагея Семеновна. — А мы собираемся все ехать в Рим на карнавал. Вы непременно должны ехать с нами, — после первых приветствий обратилась она к Савину.

— Куда угодно, с удовольствием.

— А сегодня приходите в театр, к нам в ложу… Ложу генерала Краевского… Там знают.

— Мы приедем вместе, он остановился у меня, — сказал барон Рангель.

— Вот и отлично, — заметила генеральша.

В этот же вечер, надев фрак, Николай Герасимович вместе с Рангелями отправился в театр.

Давали «Джоконду».

У каждого знатного итальянского семейства свои собственные ложи, с отделанной в виде гостиной аванложей, где дамы принимают, как у себя дома.

Ложи эти не абонируются, а покупаются, и составляют собственность купившего, переходя даже из поколения в поколение.

На дверях таких лож всегда красуется герб того семейства, которому принадлежит ложа.

Иностранцы пользуются только свободными ложами или нанимают их у тех семейств, которые в трауре, или не живут в городе. Нанявшему такую ложу, вместо билета, дают ключ от нее.

У Краевских и Рангелей была абонирована на весь сезон одна из таких лож, которая скоро наполнилась целым большим обществом.

Общество это, хотя и разделялось по национальностям, но слилось в одно целое и жило довольно дружно.

Русских во Флоренции была целая колония, и Николай Герасимович, отправившись вместе с Рангелями и Краевскими через несколько дней в русскую церковь, положительно удивился, увидев ее переполненной.

Правда, что многие уже стали полурусскими, в особенности много дам, вышедших замуж во Флоренции за итальянцев и носящих не русские, а итальянские фамилии, но как православные, посещающие русскую церковь.

Но были и чисто русские семейства, которые перенесли с собою во Флоренцию все свои русские привычки: ездят на русских рысаках, запряженных по-русски, и с русскими бородатыми кучерами, которые неистово кричат «берегись», едят щи и борщ с кулебякой, приготовленные русскими поварами, держат русских кормилиц в кокошниках и сарафанах.

К таким чисто русским семействам принадлежали и Краевские.

На русских рысаках Краевского с ними, или с бароном и баронессой Рангелями, Савин часто катался в Кашинах.

Кашины — это достопримечательность Флоренции, прелестный парк, тянувшийся более чем на три версты вдоль быстрого и красивого Арно и заканчивающийся весьма оригинальным памятником индийскому принцу, который сам себе воздвиг его при жизни, завещав его и близлежащую виллу городу Флоренции с тем, чтобы его похоронили там же, что и исполнено.

Кашины — излюбленное место гулянья флорентийцев.

Живя во Флоренции, вы поражаетесь фланерству этих молодых людей высшего круга, положительно ничего не делающих, нигде не служащих и ничем не занимающихся, а слоняющихся с утра до вечера везде, где полагается быть.

Из Кашины они едут с визитами; из гостиных разных палаццо спешат в театр, а из театра снова в палаццо на бал и раут.

Такова жизнь флорентийской «золотой молодежи».

Во все эти тонкости и подробности флорентийской жизни посвятил Николая Герасимовича барон Федор Федорович Рангель, служивший ему усердным чичероне, тем более, что баронесса Юлия Сергеевна вскоре после приезда Савина во Флоренцию прихворнула и потому сидела дома.

Барон с Савиным были неразлучны, и последний в течение какой-нибудь недели знал Флоренцию почти как любой старожил этой столицы Медичисов.

VI
Туристы и аборигены

В Кашинах катается не одно аристократическое общество. Сюда съезжается и сходится буквально вся Флоренция. Иногда народу бывает такая масса, что трудно пробить себе дорогу сквозь эту пеструю толпу.

Здесь также множество иностранцев-туристов, особенно англичан, проезжающих через Флоренцию целыми вереницами.

Англичане преимущественно путешествуют по Италии, кочуя из города в город, из отеля в отель со своими семействами, чадами и домочадцами.

Главной причиной, влекущей детей туманного Альбиона в Италию, кроме страсти к путешествиям вообще — дешевизна итальянской жизни.

По окончании катанья в Кашинах, начинаются для флорентийского гранд-монда часы визитов.

Визиты и приемы днем весьма приняты во Флоренции, преимущественно в домах иностранцев, которые ввели в моду распространенный в то время в Париже так называемый «five o'clock the».

В часы этих визитов все салоны запружены молодыми людьми, представителями флорентийской jennesse dorre, особенно салоны иностранной колонии.

Оказывается, что итальянчики пришлись по вкусу иностранным дамам, живущим в бывшей столице Тосканского королевства, и почти у каждой из них имеется такой ручной итальянчик, которому, за его услуги и преданность дому, дают несколько сот франков в месяц карманных денег, на которые они шьют себе коротенькие пиджаки и покупают огромные сигары.

— Есть такие шустрые итальянчики, — заметил барон Федор Федорович Рангель, — которые сумели приласкаться не только к одной, но даже к двум дамам, и по заслугам таким образом получают двойное жалованье.

— Так, значит, русская пословица, что «ласковый теленок двух маток сосет», применяется и в Италии? — улыбнулся Николай Герасимович.

— Еще как применяется, милейший, в лучшем виде… Есть по этому поводу интересный анекдот. Слушай: два флорентийских

графчика встретились в Париже. «Как поживаешь, mio caro conte?» — спрашивает один другого. «Скверно, граф, — отвечает тот. — В этом проклятом Париже нет житья порядочному человеку. Во Флоренции — вот житье! Графиня платила портному, герцогиня за лошадей, а русская дама давала наличными!.. Здесь же, в Париже, черт знает что!.. На днях знакомлюсь с одной актрисой… Кажется, ей должно бы быть лестно знакомство со мной, итальянским графом, но вообрази ее нахальство! Она, вдруг, требует подарков. Не могу этого переварить и уезжаю домой, во Флоренцию…» Вот этот анекдот — полная характеристика взглядов на жизнь итальянской аристократической молодежи, — добавил барон Рангель.

Так пролетали для Савина дни во Флоренции, нравы которой он изучал при помощи барона Федора Федоровича.

Но приближалась масленица — время карнавала в Риме. Газеты были переполнены известиями о готовящихся увеселениях, а также списками прибывших в Рим.

Читая их, Николай Герасимович был поражен количеством английских имен и их преобладанием над всеми другими национальностями. Списки эти были буквально переполнены разными мистерами и миссис Самсон, Жаксон, Томсон и другими. Целые столбцы, целые страницы наполнены ими, просто диву даешься, откуда их понаехало в Рим.

Перелистывая как-то раз такой «liste des etranders», прилагаемый к газете «Italie», Савин насчитал одних мистеров и миссис Томсон девятнадцать штук и различить их можно было только по городам, откуда они были родом или откуда приехали.

Тут были Томсоны из Лондона, Эдинбурга, Манчестера, Ливерпуля, были Томсоны из Калькутты и с острова Мадагаскара и все они съехались в Рим в ожидании карнавала.

Вскоре отправились туда и Савин с Краевским и бароном Рангелем; баронесса же Юлия Сергеевна по нездоровью осталась во Флоренции.

В «Вечный город» они приехали за два дня до начала карнавала и остановились в «Hotel du Quirinal», самой большой и во всех отношениях лучшей гостинице Рима, находящейся в новой части города на Via Nationale, где было уже для них приготовлено заблаговременно заказанное помещение.

Эта предосторожность во время карнавала необходима, если хотят иметь мало-мальски порядочный номер и не желают очутиться в положении скитальца, разъезжающего от одного отеля к другому, не находя себе нигде пристанища.

Рим был возбужден, полон жизни, и это возбуждение невольно передавалось приезжим.

Николай Герасимович бросился в этот водоворот римской жизни с давно неизведанным им наслаждением. Образ Гранпа, преследовавший его неотступно до самых ворот вечного города, несколько стушевался среди праздничной ликующей толпы.

VII
В Риме

Эта праздничная толпа действительно колоссальна.

Во время зимнего сезона гостиницы и комнаты не только в Риме, но и, вообще, во всей Италии, бывают переполнены, вследствие огромного наплыва туристов и всякого иностранного люда, приезжающего положительно со всех концов земного шара проводить зиму в эту благословенную страну.

Можно же себе представить, что происходит в римских отелях с приближением карнавала.

Они не только переполнены, но просто битком набиты, и все, что только может быть превращено в жилое помещение и быть сдано, превращается и сдается.

Биллиардная и курительные комнаты, даже ванные, все заняты приезжими и, согласись хозяева поставить кровати в коридорах, и те, кажется, были бы взяты нарасхват.

За мало-мальски приличную комнату многие были бы готовы платить сумасшедшие деньги, но здесь и деньги уже не помогают, и вместо комфортабельной комнаты приходится удовольствоваться каким-нибудь чуланом, а вместо кровати свернуться калачиком на кушетке.

Надо отдать, впрочем, справедливость хозяевам римских отелей, что они не злоупотребляют этой горячкой и не чересчур обирают своих карнавальных клиентов.

В больших отелях цены остаются большей частью те же самые, как и в обыкновенное время, и если делаются надбавки, то самые незначительные, на какой-нибудь франк, или два на номер, вот и все.

Вообще, цены как в римских, так и во всех итальянских гостиницах весьма невысокие, положительно наполовину ниже, чем во Франции, и на три четверти ниже, чем в России.

За то, что мы у себя платим рубль, там получаем за франк с большим почтением.

По типу своему и громадности римские и вообще итальянские гостиницы напоминают таковые же в Женеве, Монтре и других излюбленных туристами местах Швейцарии.

«Hotel du Quirinal», в котором остановились Краевские, Рангель и Савин, был ни дать, ни взять всем известный «Schweizer-Hof» в Люцерне.

Та же громадность, та же распланировка и те же внутренние порядки.

Это сходство оказалось весьма понятным, так как «Hotel du Quirinal» содержал один из братьев Гаузера, владельца «Schweizer-Hofa».

В Италии много отелей содержатся швейцарцами — это своего рода специалисты по этой части. При этом хозяевам швейцарских гостиниц весьма удобно держать гостиницы во время зимнего сезона в Италии, так как они хорошо знакомы со всем этим контингентом туристов, живущих летом у них в Швейцарии и перекочевывающих на зиму в Италию.

Туристы эти большей частью все те же англичане-кочевники.

Карнавалы в Риме интереснее и великолепнее всех других городов Италии, где они справляются.

В этот день всякий добрый римлянин изображает из себя или арапа, или полишинеля, или черта.

На улицах, на площадях — везде одно и то же, всюду один веселый, бесшабашный маскарад.

Все сословные различия на эту неделю упразднены.

Чопорные аристократки отвечают на бесцеремонные любезности переодетого рабочего, вчерашний нищий с piazza di Spagna, под маской и в бумажном домино, вскакивает в карету к княгине Боргез и, стоя на подножке, очень развязно разговаривает с ней в открытое окно.

На балконах черноглазые римлянки сами заводят беседы с проходящими внизу франтами и кокетничают с ними, что, по законам карнавала, нисколько и никому не удивительно.

На всех перекрестках Рима гремит музыка. Многие из гуляющих по городу компаний направляются к королевскому дворцу.

Перед ним начиналась хоровая серенада, исполняемая до того художественно, что королева Маргарита, слушавшая ее с балкона, просила иногда повторить.

Николай Герасимович, бывший свидетелем такой серенады перед дворцом, думал, что король бросит денег — но нет.

Оказалось, что этого от него бы не приняли, и Гумберт вышел из дворца и, войдя в круг певцов, поблагодарил их в сердечных выражениях за удовольствие, доставленное ему и королеве серенадой, и, уходя, пожал всем им, по очереди, руки.

Королева же Маргарита сверху бросила им свой букет, который они тотчас же разделили между собой и с гордостью прикололи цветы к своим шляпам.

Идя с площади дворца по направлению к Корсо, Савин встретил комическое шествие.

Человек тридцать-сорок молодежи были переодеты женщинами, в дезабилье: в женских рубахах, а также других принадлежностях белья, с кружевами и прошивками, в турнюрах, корсетах, самых эксцентричных шляпках, но без верхних платьев.

Толпу эту встречал и провожал гомерический смех, а переряженные заигрывали с встречными мужчинами не без приятности и юмора. Такова общая картина вечного города в эту маскарадную неделю.

Ее довершает и украшает темно-синее безоблачное небо и яркое итальянское солнце, которым весна уже начинает баловать Рим во время карнавала.

Не мудрено, что Николай Герасимович всецело отдался этой волне веселья и беззаботности, которая вдруг захлестнула величественный, старинный, в обыкновенное время строгий, чопорный город.

В экипаже с Краевскими и Рангелем и пешком вдвоем с последним, он положительно почти с утра и до утра не покидал улицы, вмешиваясь в разноцветные толпы масс и веселясь их заразительным весельем.

VIII
Разгар карнавала

Корсо — это длинная, узкая улица, прямая как стрела, тянущаяся от puazzo del Popollo, через весь старый город, на протяжении около двух верст до via Nationale.

На этой-то улице и происходит главным образом весь карнавал.

Все окна, выходящие на Корсо, в особенности окна первого этажа и балконы, разукрашены цветами и задрапированы разноцветными материями.

Большая часть этих окон и балконов сдаются внаймы и битком набиты публикою.

На площади del Colonna, которую прорезает Корсо, устроены подмостки, места на которых сдаются тоже за плату публике.

На Корсо сплошная толпа, сквозь которую медленно двигаются роскошные экипажи с расфранченными дамами и мужчинами, как сахар мухами, облепленные масками.

Заметив хорошенькое личико в коляске, маски лезут на козлы, на подножки, на запятки, более смелые втискиваются даже в самую коляску и бесцеремонно болтают с сидящими в них красавицами.

Никакой сословной преграды.

Вот едет княгиня Торлони, жена архимиллионера, головы города Рима.

Ее совсем не видно.

Вся коляска полным полна масками, и красавица благосклонно улыбается им.

Ничего сегодня не поделаешь с этими господами, которых в иное время кучер ее сиятельства бесцеремонно стегнул бы своим бичом.

Вот дальше в ландо принцессы Савойской, ближайшей родственницы короля, влезли трое студентов и болтают с нею, точно они у себя дома.

Едет мимо верхом жандармский офицер.

На круп его лошади живо перескакивает из ландо один из замаскированных и катит дальше, обхватив всадника руками за талию.

Хохочут все, хохочет всадник, смеются и в ландо.

Принцесса Савойская бьет одного из залезших к ней букетом цветов, а тот бесцеремонно вытаскивает у нее из волос розу и, целуя пышные лепестки, гордо украшает ею свою шутовскую шляпу.

— На, уж бери и эти! — кричит ему принцесса, бросая свой букет на мостовую.

За букетом выскакивают из коляски все, и на земле начинается комическая борьба.

В конце концов, на поле битвы остаются фальшивая борода, громадный бумажный нос и растрепанные цветы.

Полишинели, арлекины, паяцы ходят стадами. Шум, гам и хохот беспрерывный.

Не наша северная скука царит здесь. Напротив, все здесь веселы, все хохочет. Нечему, кажется, но уж так смеяться хочется, ну и смеются!

Вот целая толпа негров с африканскими музыкальными инструментами. Где они их достали? Видимо, не так себе, а со знанием дела.

Парики заплетены по обычаю некоторых племен внутренней Африки, оружие, страусовые перья, украшение в виде ожерелья из зубов диких зверей, сами музыкальные инструменты — все это настоящее.

По пути эти партии замаскированных заходят во все кафе, дают там оригинальные представления, не столько забавляя других, сколько самих себя.

В компании с милыми и веселыми дамами катанье по Корсо очень забавно, но вместе с тем и очень утомляет, просто изнемогаешь от всей этой движущейся и без умолку болтающей пестрой толпы.

Усталый и разбитый вошел Николай Герасимович в кафе и уселся на первый стул.

К нему тотчас же подлетел тоже переряженный полишинелем гарсон с вопросом, что ему угодно.

В ожидании заказанного, Савин стал нехотя осматриваться вокруг себя.

Направо сидел господин, обвешавший себя с ног до головы коробками от сардинок, поднимающих при каждом его движении оглушительный шум, налево — другой сосед надел на голову какую-то коробку, с проверченными в ней глазами, а из-под фрака выпустил ослиный хвост — и доволен. И себе и другим он кажется в высшей степени остроумным.

Вдруг все сидевшие в кафе бросились к окнам. Оказалось, что проезжала по Корсо королевская чета.

Королева Маргарита ехала в открытой коляске, благосклонно раскланиваясь с толпой.

Компания переряженных актеров окружила королевский экипаж, один влез прямо в коляску и бесцеремонно болтает с ее величеством.

Король Гумберт едет верхом около, на спину его лошади вскакивает какая-то маска, и король ни слова — обычай!

— Эй, Гумберт! — кричит ему из публики пестрый арлекин, — я знаю, отчего ты так не весел.

— Отчего? — улыбаясь, спрашивает король.

— Уж знаю, да только помолчу при супруге.

Король, краснея и смеясь в то же время, дает шпоры лошади, так что сидящая у него за спиной маска летит вверх ногами через зад коня на землю.

Кругом раздается гомерический хохот.

Но дальше бедному королю приходится выслушивать массу острот и всяких замечаний и отвечать так же весело, как делают их. Обычай!

В клубах и аристократических домах также не отстают от общего веселья, соблюдая тот же маскарадный дух, задавая костюмированные балы, как для взрослых, так и для детей.

Особенно забавны и веселы детские праздники.

Вся эта мелюзга является туда тоже в масках и в пестрых костюмах. Девочки четырех, пяти лет с длинными шлейфами, белыми напудренными париками, подведенными глазами и мушками на лице.

Мальчики с привязными усами и бородами, в генеральских мундирах, или изображая из себя разных турок, китайцев, полишинелей и арлекинов.

И все эти маленькие разодетые человечки кружатся и танцуют до упаду.

Но пора отдохнуть, пора хотя на время снять маски, привязанные бороды и носы и сном набраться новых сил, чтобы завтра снова предаться тому же веселью.

Хорошо, однако, идти спать тому, кто живет в Риме, кто наконец нашел себе помещение, приют, но есть много простого деревенского народа, которому возвращаться домой слишком далеко, а нанять себе ночлег слишком дорого.

Этот весь народ идет спать на открытом воздухе на Villa Borguesa или на Monte Pinzio. Там, хотя он не найдет мягкой постели, но зато никто с него ничего не спросит.

В темных аллеях Villa Borguesa целые ночи звенят мандолины, и слышится топот плясок.

Отойдите несколько в сторону от торных дорожек и в тени кустов, где никого не видно, вы уловите звук поцелуя и робкий, словно крадущийся шепот.

Не мешайте, уйдите прочь, ведь карнавал бывает только раз в году!

Очень также интересна встреча римским муниципалитетом приезжих масок из других городов Италии.

У всякого итальянского города своя историческая маска: маска Неаполя — «пурчинель», маска Венеции — «арлекин», маска Турина — «фанфуля» и так далее.

По заведенному издревле обычаю, в Рим съезжаются на карнавал все эти маскарадные гости из всех концов Италии, человек тристачетыреста. Все это большею частью люди веселые и состоятельные, могущие доставить себе удовольствие съездить повеселиться в Рим, на карнавал.

Римский муниципалитет, как хозяин города, их чествует, делает им официальную встречу, дает в честь их обеды и празднества.

Самое интересное, конечно, встреча, которая происходит с большой торжественностью.

Муниципалитет города в полном своем составе и головой города, в то время князем Торлони, во главе, с оркестром музыки, музыканты которого одеты древними римлянами, и с целой вереницей экипажей, приготовленных для гостей, едут на вокзал железной дороги, где происходит официальная встреча.

После обмена приветствиями, гостей, одетых в их карнавальные костюмы, усаживают в экипажи и везут по городу на Корсо.

Народ восторженно их принимает и кричит:

— Да здравствует Италия! Да здравствует карнавал!

Во время этой сумасшедшей недели все идет вверх дном, тихий и благочестивый Рим совершенно перерождается, все, кажется, на время забывают, что весь этот шум происходит в городе, называемом «святым», и что в нем проживает глава католической церкви — папа.

Повеселившись вволю, побывав везде и повидав все, Савин, простившись с Краевским и Рангелем, возвращавшимися во Флоренцию, уехал в Неаполь отдохнуть в тиши земного рая от земного ада — карнавала.

IX
Неаполь

Есть итальянская пословица, которая предлагает посмотреть на Неаполь, а затем умереть.

Пословица эта более чем несправедлива. Даже у умирающего, которому придется посетить Неаполь, появится непреоборимая жажда жизни и силы для нее.

Если где человек действительно оживает, то это в Неаполе. Его климат, очаровательная местность, веселость и игривость всего окружающего придают человеку какую-то особенную бодрость, энергию, словом, жизнь.

Кругом все светло, все весело, все поет, и серенады с утра до ночи раздаются во всех концах Неаполя.

Воздух так хорош, что им просто не надышишься, а перед глазами постоянно одна из прелестнейших картин природы.

Николай Герасимович Савин остановился в гостинице «Везувий», находящейся в конце набережной Киае, на Санта-Лючия.

Из окон и балкона занятого им номера с левой стороны открывался прелестный Неаполитанский залив с раскинувшимися по его берегу Неаполем и Касталямарой, напротив окон дымился грозный Везувий, а направо, на горизонте чудного темно-синего Средиземного моря, виднелся остров Капри.

Гостиницы в Неаполе носят совершенно итальянский характер и особый неаполитанский отпечаток.

Все стены расписаны фресками, в огромных передних со сводами и колоннами помещаются целые музеи античных вещей помпейских раскопок, а также местных неаполитанских произведений. На лестницах выставлены разные вазы и статуи местных скульпторов, коридоры всех этажей представляют собой картинные галереи, а сами художники положительно не дают вам прохода, указывая и восхваляя свои произведения, и предлагают купить их.

Цены заламываются всеми этими артистами страшные, но пугаться этого не следует, а надо предложить десятую часть просимого без всяких церемоний и вы, наверное, купите, что желаете, особенно если набавите самую малость.

Неаполитанцы в заманивании покупателей и запрашивании цен — великие мастера и заткнут за пояс торговцев Апраксинского рынка.

Апраксинцы только зазывают, неаполитанцы же лезут к вам в номер и назойливо навязывают вам свой товар, не отступая до тех пор, пока вы что-нибудь не купите.

Но все это делается ими до того своеобразно, с такой болтовней и веселостью, что положительно прощаешь им их приставанье и назойливость и невольно покупаешь у них их товар.

Кормят в гостинице довольно сносно.

Обед, хотя и табльдот, но не носит того скучного характера, который томит вас в других городах.

Каждое утро Савин делал какую-нибудь экскурсию, поднимался на Везувий по подъемной железной дороге, ездил в Помпею осматривать раскопки, был в Соренто, где под звуки бубна перед ним танцевали тарантеллу, на острове Капри любовался знаменитым лазуревым гротом и, наконец, осматривал все музеи, дворцы и достопримечательности Неаполя.

По вечерам он посещал театры.

Театры в Неаполе разделяются на две категории: театры оперные и драматические и театры с пурчинелем.

В последнем он был только один раз, но ничего не понял, так как в них играют на неаполитанском наречии, и ничего особенно забавного в знаменитом пурчинеле (паяце) он не нашел. В своей беседе с публикой паяц разбирает местные злобы дня, не интересные для иностранцев.

Оперный театр Сан-Карло великолепен во всех отношениях. По величине это самый большой театр в мире. Зал его в полтора раза больше зала московского Большого театра, и лож в нем шесть ярусов.

Музыка и опера настолько составляют потребность итальянцев, что в оперные дни этот гигант-театр набит битком и трудно иногда достать билет.

Ложи бенуара и бельэтажа, как и во Флоренции, составляют собственность местной аристократии, которая там также принимает визиты, как и флорентийская.

Расфранченные и сильно декольтированные пылкие неаполитанки занимают все передние места лож, что придает, конечно, немало прелести этому и без того великолепному театру.

Партер устроен очень комфортабельно. Кресла большие, глубокие, с мягкими сиденьями и спинками, что позволяет меломанам, развалившись весьма удобно, слушать прелестную музыку.

Во все время пребывания Савина в Неаполе, пели две знакомые по Петербургу примадонны: Ферни-Жермани и русская артистка Булычева.

Ферни, хотя и некрасива, но обладает большим и прекрасно обработанным голосом, и при этом эта артистка с большим драматическим талантом.

Она производила в Неаполе фурор в роли Кармен.

Булычева имела успех в роли Маргариты в «Фаусте».

Аристократическое общество Неаполя не представляет ничего интересного. Всякий день перед закатом солнца оно выезжает на набережную Киаи в причудливых экипажах и страшно расфранченное катается по набережной вдоль городского сада Villa Reale до сумерек.

Молодые люди, такие же как и во Флоренции, в коротеньких пиджаках и с большими сигарами во рту, разгуливают по набережной, сильно размахивая руками.

Эти усиленные жестикуляции — привычка неаполитанцев.

Они ничего не могут говорить и делать без жестов.

Кланяются рукой, не снимая шляпы, приветствуют друзей так же рукой.

Должно быть они набрались этих манер от своего столь любимого ими национального пурчинеля.

Очень характерен также тип уличных мальчишек, они снуют по улицам босые и в лохмотьях, приставая ко всем проходящим и, в особенности, к иностранцам, прося самым назойливым образом милостыню.

Дадите одному — являются целые толпы, едете в экипаже — они бегут за вами, не отставая *от* лошади. От них нет просто никакого прохода.

В этом, отчасти, виноваты сами иностранцы, приучившие их своими подачками и бросанием этой толпе маленьких «лазарони» грошей на улицу.

Происходят неимоверные свалки и драки, и счастливцы, ухватившие добычу, бегут в ближайшую лавочку и покупают себе сигар и макарон.

Савин и князь Кассано тоже не раз забавлялись этим, и так приучили маленьких уличных бродяг, что не могли выйти на улицу, не быв сопровождаемы целой толпой этих оборванцев-мальчишек и их криками:

— Viva signiori principe!

Многие из них от избытка чувств ходили колесом перед ними.

— Что вам за охота бросать даром деньги этим пострелятам? Надо заставить их трудиться… — заметил однажды встретившийся с ними старик.

— Как трудиться? — удивился Николай Герасимович.

— Бросайте ваши гроши, завернутые в бумагу, с набережной в море и посмотрите, как наши ребята станут ловко нырять.

Приятели последовали этому совету, и вот в самой фешенебельной части города на Кияе, напротив двух самых больших гостиниц Неаполя, человек тридцать мальчишек разделись, без всякой церемонии, сложили свои лохмотья в кучу и стали бросаться с набережной в море, ныряя очень искусно и доставая брошенные деньги.

На это зрелище собралась публика.

Такие комедии, с исполнителями в костюме Адама, повторялись ежедневно, не навлекая на Савина и Кассано ни малейшего негодования со стороны блюстителей порядка, которые расхаживали тут же и смеялись наравне с другими.

Нашелся только один англичанин, возмутившийся этой забавою и нашедший, что это «choking».

Он обратился к прохаживающемуся по набережной блюстителю порядка с требованием прекратить эти неприличия, но получил совершенно неожиданный ответ:

— Кому они мешают? Они честно зарабатывают себе на макароны. Бог с ними и святая Дева Мария.

Таковы уличные нравы Неаполя.

X
Мамаши и дочки

Нравы под крышами неаполитанских домов еще оригинальнее и развязнее.

Мимолетные любовные интриги возведены здесь в своего рода искусство или ремесло, смотря по положению занимающихся ими представительниц прекрасного пола.

То, что за последнее время стало известно под названием «флирта», царило в то время в Неаполе во всевозможных неоплачиваемых и оплачиваемых формах.

Первые, конечно, выпадали преимущественно на долю постоянных обывателей этого «легконравного города» — приезжие же должны были довольствоваться вторыми.

Жрицами этого культа «мимолетной любви» являлись второстепенные артистки неаполитанских театров вместе с профессиональными служительницами богини Венеры.

Посредниками между этими «погибшими, но милыми» неаполитанскими созданиями являлись целые полчища комиссионеров, рассыпанных по всему городу, а особенно в его центре.

Это не те комиссионеры, которых путешественники привыкли встречать во всех городах Европы, нет, это специалисты, которых в Неаполе зовут «руфьянами».

Они с необычайной таинственностью суют в руки путешественников разные удостоверения высоких лиц с выражением благодарности за услуги, а также целые альбомы с хорошенькими женщинами, снятыми в весьма пикантных позах.

Между этими руфьянами были и «знаменитости», которые не стояли на углах улиц, а важно сидели в «Cafe del Europa», за газетами и сигарой.

Самыми известными из них были Сальватор и Бетинни Фьярованти.

Николай Герасимович, по совету князя Кассано, обратился к первому, и через него оба молодых человека перезнакомились со всеми доступными неаполитанскими красавицами.

Время пролетало в тех оргиях, за которые так строго осуждают моралисты.

Но всегда ли правы они в этих приговорах?

Эти покупные лобзанья своего рода наркотическое средство, как вино, гашиш и опиум, в котором человек, повторяем, видит суррогат любви, иллюзию того блаженства, о котором он имеет только теоретическое понятие, блаженства, которое, как кажется ему, не выпало на его долю, которое было близко, возможно, но силою разных обстоятельств досталось другому, поразив его этим в самое сердце.

В этом положении был и Николай Герасимович Савин.

Ему не давалось то блаженство любви, которое он считал так близким, так возможным с незабвенною Гранпа, и он начал искать забвения в наркозе покупных лобзаний.

Он, как и другие в его положении, не понимал, что поиски этого блаженства любви в наше время есть нелепая погоня за призраком.

В наш век фальсификации, во всем и везде, любовь не существует, есть только ее суррогат — покупное лобзанье — имитация чувства, имитация страсти.

Разбитое сердце Николая Герасимовича жаждало ласки и любви — и то и другое давалось ему в чрезвычайно правдоподобной форме, и хотя временно, но успокаивало, как наркотическое средство успокаивает расходившиеся нервы.

Ужины, на которые, при посредстве Сальватора, приглашались балетные или другие артистки, проходили оживленно и весело, несмотря на присутствие при каждой молоденькой дочке ее маменьки.

Савину это вначале не нравилось.

Он полагал, что это явится стеснением, но ошибся.

Неаполитанские мамаши садились обыкновенно в угол занимаемого компанией кабинета, кушали за обе щеки все, что им подавали, и не мешали ни в чем, разговаривая между собою самым благодушным образом и не обращая никакого внимания на своих дочерей и их кавалеров.

Дочки, в свою очередь, и не думали стесняться своих матерей.

Ужины эти для большего удобства происходили преимущественно у Сальватора на квартире, находившейся «vicolo del divine amor».

Квартира эта была отделана со всеми нужными для таких увеселений приспособлениями, и каждая парочка находила себе уютный уголок.

Во время этих пиршеств мамаши кутящих дочек, чтобы не мешать, сидели в передней с Сальватором, грызя орехи, и терпеливо ожидали, иногда очень долго, чтобы из рук кавалеров получить подарки за беспокойство их дочек.

Одна из таких неаполитанских маменек раз пустилась в откровенность с Николаем Герасимовичем.

— Как мне не ходить, signior principe, вместе с моей дочерью, у меня целая семья на руках, муж мой умер, и кому же, как не мне, главе семейства, следует заботиться о доходах семьи. Моя Бианка так молода и легкомысленна, что истратит зря все полученное ею в подарок на пустяки; я же кладу деньги в банк и коплю приданое моим дочерям.

Таковы прямолинейные до наивности взгляды неаполитанских маменек.

Они далеки от хитроумных ухищрений наших русских «матерей семейств», дозволяющих своим дочкам объявлять себя невестами всех состоятельных людей, не исключая и женатых, принимать в этой роли подарки и вещами, и деньгами, чтобы, в конце концов, выдать их за первого встречного, обладающего возможностью совершить с их милой, чуть не справившей свой юбилей в роли невесты, дочкой заграничный вояж.

Они далеки от того, чтобы ставить ловушки молодым, увлекающимся людям, оставляя их наедине со своими дочерьми и, подстерегая неосторожный поцелуй, явиться с раскрытыми объятиями, чтобы заключить в них, не ожидавшего ничего подобного и сильно сконфуженного оборотом дела, будущего любезного сына.

Европа, таким образом, далеко опередила нас своею… откровенностью и, пожалуй, даже добросовестностью.

Прожив в Неаполе около двух недель, Николай Герасимович решил проехаться по северной Италии.

Известно, что наркотические средства при частом пользовании ими перестают оказывать на организм свое действие — красивые неаполитанки и их маменьки одинаково надоели Савину.

Сердечная пустота требовала новых впечатлений, и он погнался за ними, наметив себе маршрут: Рим, Пиза, Генуя, Турин, Милан и Париж.

Пробыв в Пизе, Генуе и Турине по одному дню и осмотрев их достопримечательности, Николай Герасимович приехал в Милан, где его ожидала встреча, оставившая след в его сердце.

Остановился Савин в «Hotel de la Ville» и, не имея никого знакомых, стал бродить по городу.

Он решил остаться в нем день, много два.

Милан не похож на другие города, он скорее схож с Берлином и Веной.

Новые прелестные здания, прямые широкие улицы, скверы, сады и, наконец, великолепный пассаж Виктора-Эммануила, такого нет другого во всей Европе.

Главным фасадом пассаж выходит на соборную площадь, на которой стоит знаменитый Миланский собор, составляющий единственную артистическую достопримечательность города.

Побывав в соборе, Николай Герасимович пошел в пассаж в одну из фьяскетерий, чтобы отдохнуть и выпить стакан кианти.

Там совершенно неожиданно он встретил одного знакомого румына Николеско, которого знал в Бухаресте во время русско-турецкой войны.

Оказалось, что Николеско женился на итальянке, оперной примадонне, которая пела в театре «Scala», имеет двух детей, виллу вокрестности города и живет припеваючи с певицей-женой.

Поболтав, они сговорились ехать вечером в оперу, где давали «Миньону». Николеско действительно заехал за Савиным, и они отправились обедать в лучший ресторан города «Restaurant de la Bourse», а после обеда поехали в театр.

«Scala» после театра «St.-Carlo» в Неаполе — самый большой театр в Италии и замечателен своею акустикой. Снаружи он ничего не представляет особенного и даже очень некрасив, но зато внутри прелестно отделан.

«Scala» также замечателен тем, что считается пробным камнем для артистов. Пропев в театре «Scala», артист может петь везде; вот этим-то страшно дорожат певцы и певицы, и все оперные знаменитости пели на его сцене.

Как город, так и театр не носят итальянского характера, который так резко бросается в глаза во Флоренции, Риме и в особенности в Неаполе.

Опера шла хорошо. M-me Николеско, в роли Миньоны, была очень недурна, но более всего понравилось Николаю Герасимовичу — это прелестный оркестр и кордебалет.

XI
Двойник Марго

Во время первого же антракта Николеско ушел на сцену к жене, а Николай Герасимович стал оглядывать в бинокль ряды лож, наполненных миланскими красавицами.

Знакомый с итальянскими представительницами женской красоты по Риму, Флоренции и Неаполю, почти пресыщенный ими, Савин равнодушным взглядом скользил по матово-смуглым личикам, то с тонкими и нежными, то с резко выразительными, но всегда правильными чертами, освещенными яркими, как звезды южной ночи, большими глазами и украшенными ярко-пурпуровыми губками,

казалось, созданными для страстного поцелуя, со слегка раздувающимися ноздрями изящных носиков, красноречиво говорящих о пылкости темперамента и суливших, увы, только для новичка, неземное блаженство.

Вдруг Николай Герасимович остановил свой осмотр и как бы окаменел в своем кресле — ему показалось, что какая-то электрическая искра пронизала его от темя и до пяток.

В третьей от края ложе второго яруса сидела пожилая дама, а рядом с ней совсем молоденькая девушка, на вид лет семнадцати.

Что-то знакомое, родное, жившее в его сердце увидал Савин в этой белокурой грезовской головке.

Это был положительно двойник Марго, если это не была она сама.

Николай Герасимович вспомнил, что сегодня утром в читальной гостиницы он просматривал «Новое Время», где в восторженных выражениях говорилось об участии Маргариты Гранпа в одном из новых балетов, о ценных подношениях, которых удостоилась артистка, и анонсировалось о выходе ее в следующем балете в каком-то еще не исполненном ею характерном танце.

Савин почувствовал прилив бессильной злобы и далеко швырнул от себя газету.

Ему живо представилась сцена благодарности рекламируемой и одаряемой артистки с теми, кто участвовал в этих рекламах и подношениях.

Он был сумрачен целый день и дал даже себе зарок не читать русских газет, и старался забыть прочтенное.

Но теперь он вспомнил… Вспомнил потому, что мысль, что в ложе сидела Гранпа, заставила похолодеть его сердце.

«Нет, это не она!.. Но какое сходство… Быть может, эту встречу мне приготовила наконец обернувшаяся ко мне лицом фортуна… — мелькнуло в его уме. — Быть может, я найду здесь то, что потерял там, такую любовь, которая, подобно солнцу, осветит окружающую меня беспросветную тьму…»

Так мечтал идеалист по натуре, Савин, не отводя бинокля от поразившей его сходством с Гранпа молоденькой девушки.

Ее пепельного, как и у Марго, цвета волосы чудно гармонировали с красивым личиком и большими выразительными темно-голубыми глазами.

Савину показалось даже, что она лучше Гранпа.

«Конечно, лучше настоящей…» — пронеслась в его голове злобная ревнивая мысль.

Его мечтательный столбняк был нарушен возвратившимся в партер Николеско.

Последний, однако, должен был дотронуться до его плеча, чтобы вернуть к действительности.

— Кто это? Вы не знаете?.. — были первые слова очнувшегося Савина.

Сметливый румын направил свой взгляд по направлению взгляда Николая Герасимовича и сразу догадался, о ком спрашивают его.

— Это графиня Марифоски с дочерью…

— Как ее зовут?

— Кого?

— Конечно, дочь.

— Анжелика.

— Вы знакомы с ними? — радостно воскликнул Савин, увидав, что мать и дочь приветливо кивком головы ответили на поклон Николеско.

— Да.

— Вы можете представить меня?

— Отчего же. В следующий антракт я попрошу позволения.

— Кто они такие?

— Мать родом англичанка, вышла замуж за итальянского графа Марифоски, который ее обобрал и бросил… Говорят, они теперь находятся в очень стеснительном положении.

— Гм… — загадочно промычал Савин. Хитрый румын лукаво посмотрел на него.

В это время поднялся занавес для второго акта. Николай Герасимович рассеянно смотрел на сцену, то и дело направляя бинокль на заинтересовавшую его ложу второго яруса. Акт казался ему бесконечно длинным. Наконец при громе рукоплесканий занавес опустился.

— Идите же, идите… — почти с мольбой в голосе проговорил Савин, обращаясь к Николеско, неистово аплодировавшему.

— Иду, иду… — с лукавой, змеиной, не покидавшей его губ улыбкой, сказал румын и вышел из зрительной залы.

Николай Герасимович со страхом и надеждой вперил бинокль на ложу Марифоски и нетерпеливо ожидал появления в ней Николеско.

Вот, наконец, он появился, поздоровался с дамами, сперва со старшей, затем с младшей и что-то начал говорить.

«Это он обо мне…» — догадался Савин, тем более что графиня и дочь — он видел это — обе обернулись в его сторону.

Сердце его замерло.

Николеско кончил, старшая — мать кивнула головой в знак согласия.

Савин перестал смотреть в бинокль и замер на своем кресле, ожидая возвращения румына.

Ему снова почему-то подумалось, что последний не идет слишком долго.

Он украдкой, с боязнью, бросил взгляд на ложу. Николеско в ней не было.

Николаю Герасимовичу показалось, что графиня и ее дочь продолжали смотреть на него.

— Пойдемте, они очень рады… — вдруг совершенно неожиданно, как это всегда бывает при ожидании, как из земли вырос рядом с ним румын.

Савин вскочил и последовал за Николеско. Обе дамы приняли Николая Герасимовича очень любезно.

Румын, пробыв в ложе с минуту, извинился необходимостью пройти к жене и вышел.

— Передайте синьоре, что она восхитительна! — бросила ему вдогонку графиня Марифоски.

— И от меня тоже, тоже… — добавила Анжелика. Савин стоял и молча любовался последней.

Вблизи она была еще лучше, нежели издали, — редкое свойство женщин.

Она встала, чтобы пересесть на другой стул и дать место около себя Николаю Герасимовичу, и оказалась высокой, стройной, прелестно сложенной.

— Садитесь… — с утонченной любезностью сказали мать и дочь, в один голос.

Савин сел.

Между ним и Анжеликой завязался тот непринужденный разговор, который умеют вести веселые, умные и воспитанные девушки.

Николай Герасимович был сразу очарован.

Ему припомнились вечера бабушки Гранпа, и он даже не знал, может ли он отдать предпочтение им перед этими мгновеньями.

Он с жаром рассказывал своей очаровательной собеседнице о своем путешествии, о впечатлении, которое он вынес из пребывания в Риме, сперва во время карнавала, затем из аудиенции, которой его удостоил святой отец.

Анжелика слушала с тем, не только любезным, но любознательным вниманием, которое подкупает, ободряет и одушевляет рассказчика, изредка вставляя остроумные замечания.

Незаметно прошел довольно длинный антракт и взвился занавес.

Савин поднялся.

— Останьтесь с нами… — чуть слышно произнесла Анжелика.

Николай Герасимович, не помня себя от восторга, как автомат опустился на стул.

Таким образом он незаметно просидел до конца спектакля, который, как показалось ему, шел очень скоро, с почти мгновенными антрактами.

С согласия дам, он пошел их проводить.

Что-то родное чувствовалось для него в них, и ему казалось, что он даже знаком с ними целые годы.

Графиня Марифоски с дочерью жила напротив той гостиницы, где остановился Савин, на piazza St. Carlo.

— Надеюсь, вы зайдете к нам… Хоть завтра… Мы всегда дома… — сказала, прощаясь, графиня.

Анжелика, как, по крайней мере, почудилось Николаю Герасимовичу, подкрепила эту просьбу нежным взглядом.

— Я сочту за честь, за особое удовольствие… — рассыпался в любезностях Савин.

Самая мысль о том, что он на другой день хотел покинуть Милан, была, конечно, забыта.

На другой день, в три часа дня, он уже входил в квартиру графини Марифоски.

Мать и дочь жили бедно, в двух меблированных комнатах, но присутствие очаровательной Анжелики делало волшебной, в глазах Николая Герасимовича, всякую обстановку.

Молодая девушка стояла перед ним в маленькой приемной, и он ничего не видел, кроме нее.

За первым посещением последовало второе и, наконец Савин сделался ежедневным гостем графини Марифоски и ее прелестной дочери.

Не желая расставаться с ними и по вечерам, Николай Герасимович стал привозить им ложи в театр или в цирк, где и просиживал с ними целые вечера, болтая с Анжеликой.

Таким образом дни проходили за днями.

Николай Герасимович таял и млел под все ласковее и ласковее становившимся взглядом Анжелики.

Чутьем влюбленного он угадывал, что сердце прелестной девушки принадлежит ему, но горизонт его светлого счастья омрачился первой тучкой — тучкой размышления.

Анжелика была девушка хорошей фамилии, девушка с безупречной репутацией, в его ухаживании она могла видеть, по ее понятиям, серьезные цели, то есть женитьбу.

Между тем он, Савин, искал «свободной любви», которая, быть может, была не только не понятна молодой девушке, но даже прямо для нее оскорбительна.

Николай Герасимович решился объясниться.

Случай скоро представился. В один из вечеров Анжелика захотела остаться дома и удержала Савина. Мать чем-то была занята в спальне, и молодые люди сидели одни.

Между прочим молодая девушка рассказала Николаю Герасимовичу, что в их доме, наверху, затевается свадьба: дочь хозяина дома выходит замуж за француза, который приехал в Милан на неделю, но влюбился в Веронику, так звали дочь домохозяина, и сделал ей предложение. После свадьбы молодые уезжают в Париж.

— Счастливая!.. — воскликнула в заключение Анжелика.

— Чем? Тем, что едет в Париж? — спросил Савин.

— Нет, вообще, всем… тем, что выходит замуж… — тихо и смущенно проговорила молодая девушка, поняв, что этим восхищением она как бы напрашивалась на предложение со стороны явно ухаживавшего за ней Николая Герасимовича.

— Ну, в этом я не вижу большого счастья… — серьезно заметил он.

Большие темно-голубые глаза Анжелики удивленно раскрылись и смотрели на него с недоумением.

— Это почему же? — чуть слышно спросила она.

— А потому, что брак не дает ничего тем, кто в него вступает, а отнимает у двух существ их свободу и превращает, в случае разочарования, жизнь в каторгу.

— А если любят друг друга? — воскликнула молодая девушка и даже несколько отодвинулась от спинки кресла, на котором сидела рядом с Савиным.

— Если любят друг друга, так и пусть любят, пока любится… Если это любовь вечная, то она и продолжится всю жизнь, если же она пройдет, не будет тех цепей, которые приковывают одного человека к другому, да еще и нелюбимому… Вот я, например, я никогда не женюсь.

— Вы… — как-то даже простонала Анжелика.

— Да, я.

— И если бы любили? — прошептала она.

— Я и люблю, люблю безумно, страстно, до самозабвения, до помрачения рассудка…

Он остановился.

Молодая девушка сидела, потупившись, красная до корней волос.

— И будто бы вы не знаете, кого люблю я? — спросил, после некоторой паузы Николай Герасимович.

— Откуда же знать мне… — отвечала она.

— И не догадываетесь?

— Нет…

— Простите, но я не верю вам, Анжелика, мое чувство так сильно, так бьет наружу в моих взглядах, в жестах, в тоне голоса, что не надо и хваленой женской проницательности, чтобы догадаться, к кому стремится мое сердце в течение последних двух недель… Впрочем, если женщина не хочет видеть, она не видит… Если чувство человека ей противно, она делает вид, что не замечает его…

— Ах, что вы! — торопливо остановила его молодая девушка, и взгляд ее полных слезами прекрасных глаз доказал ему то, о чем он догадывался: что она тоже любит его…

— Теперь я вижу, что вы знаете, кого я безумно люблю, это вас, Анжелика… Люблю больше жизни… Готов отдать вам эту жизнь по первому вашему слову… Я положу к вашим ногам все мое

состояние, я буду исполнять самые малейшие ваши капризы, прихоти, но… ни своей свободы не отдам вам, ни от вас не потребую вашей… Я предлагаю вам все, кроме брака.

— Как же это так? — растерянно произнесла Анжелика.

В это время в двери приемной входила графиня Марифоски.

XII
Практическая графиня

— О чем вы тут так оживленно беседуете? — спросила графиня. — Что с тобой, Анжель? — вдруг переменила она тон, с беспокойством взглянув на дочь, не оправившуюся еще от волнения и не успевшую вытереть навернувшиеся на ее глаза слезы. — Ты плакала?

— Мама… — растерянно, почти шепотом проговорила Анжелика. — Синьор сказал, что любит меня…

— Так что же из этого? — нежно заметила графиня. — Разве синьор, ты думаешь, хотел тебя этим обидеть? Я думаю, что у синьора честные намерения…

— Но, мама, синьор сказал, что он никогда не женится…

— А-а-а… — протянула графиня и бросила было вопросительный взгляд на сидевшего в кресле Николая Герасимовича, переживавшего моменты, которые не могли быть названы приятными, но вдруг снова обратилась к дочери:

— Синьор пошутил, моя крошка… Поди в спальню, умойся и напудрись… Плакать нехорошо, надо беречь свои глазки, они еще пригодятся тебе, чтобы смотреть на синьора, — деланно шутливым тоном заключила графиня.

Анжелика послушно вышла из комнаты.

Графиня Марифоски опустилась на кресло против Савина.

Наступила томительная пауза.

— Что это значит, синьор? — нарушила первая молчание графиня. — Зачем вы мистифицируете таким образом молоденькую девушку, которой сами же своим настойчивым ухаживанием вскружили голову… Она ведь еще ребенок, и, как мне кажется, сильно, чисто по-детски, привязалась к вам… Я ожидала с вашей стороны объяснения, но, признаюсь, не в такой странной форме… Объяснитесь же…

— Ваша дочь, графиня, — начал, выдержав некоторую, довольно продолжительную паузу, Николай Герасимович, — передала вам в двух словах, совершенно верно, сущность нашего с ней разговора.

— Вот как, — вспыхнула графиня Марифоски.

— Не волнуйтесь, но выслушайте меня! — с мольбой в голосе произнес он.

Графиня смягчилась.

— Я вас слушаю.

— Я действительно сказал ей, что *люблю* ее, но не могу ей предложить, так называемого, законного брака…

— Почему же? Ее имя, ее положение… — не утерпела, как женщина, чтобы не перебить своего собеседника, графиня.

— Все это я хорошо знаю, графиня, но я в принципе против брака, не дающего, как вы сами знаете, никаких гарантий на счастье… Мое предложение любимой девушке я мог бы сделать на более прочных основаниях любви и логики… Я человек свободный, с независимым и даже, если хотите, хорошим состоянием, имею около сорока тысяч франков дохода… что позволит мне жить безбедно вместе с той, которая меня полюбит и согласится сделаться подругой моей жизни.

Графиня молчала, но по лицу ее бродили какие-то тени. Видно было, что в ней происходила сильная внутренняя борьба между желанием, и весьма естественным, выкинуть за дверь этого нахала, который предлагает ей, прикрываясь какими-то принципами, взять ее дочь на содержание, ее дочь — графиню Марифоски, и другими соображениями, не допускавшими такой развязки.

Вдруг складка на ее лбу прояснилась, в глазах даже блеснул, на мгновение, луч смеха — она что-то придумала.

Савин между тем, приняв ее молчание за внимательное отношение к его разглагольствованию, продолжал:

— Я счел себя, однако, обязанным высказаться вашей дочери, так как привык всегда и во всем идти прямою дорогой. Увлечь молодую девушку нетрудно, но это против моих принципов, я никогда не решусь обмануть женщину…

Графиня горько улыбнулась. Савин вопросительно глядел на нее.

— Пожалуй, вы правы… — начала она дрогнувшим голосом, в котором слышались непритворные слезы. — Я сама жертва брака,

что дал он мне, кроме лишений и нужды; муж, вы, вероятно, слышали об этом от синьора Николеско, обобрал меня и бросил с малолетней дочерью…

Графиня остановилась, чтобы перевести дух от волнения. Николай Герасимович печальным наклоном головы дал ей понять, что он слышал об этом, и выразил на лице своем сочувствие.

— Я, как мать, конечно, не желаю того же моей дочери, я желаю ей счастья, и если вы дадите его ей, я согласна, берите ее, если она вас любит и согласится последовать за вами…

Савин вскочил, не ожидая такого быстрого согласия, и упал на колени перед графиней.

— Но… — продолжала она.

Он не слыхал этого «но», покрывая ее руки горячими благодарными поцелуями.

— Но… — повторила графиня, дав ему время излить свои нежные чувства.

— Я согласен на все! — с пафосом воскликнул Савин.

— Я должна предупредить вас, что я кругом должна, что мне верили только в надежде на выход моей дочери замуж за богатого человека, который заплатит мои долги, так что, если Анжель согласится на ваше предложение, я ставлю вам в условие уплатить мои долги, которых у меня много…

Она остановилась.

— Я на все согласен, — повторил Савин. — Сколько надо?

— Пятнадцать тысяч франков, — после некоторого колебания сказала графиня. — Вам, как человеку богатому, это не составит большого стеснения, а меня успокоит.

— Эти деньги будут доставлены вам завтра же.

— Погодите, что скажет еще Анжель…

— Она любит меня…

— И, кроме того, прошу вас не говорить об этом ни слова Анжелике, она ребенок и не должна этого знать…

— Конечно, конечно, зачем ее мешать во все эти житейские мелочи, — согласился восхищенный Николай Герасимович.

— Теперь отправляйтесь домой, а завтра, часа в два, приезжайте за ответом… Я сегодня же переговорю с Анжель…

Савину осталось только повиноваться.

Нечего говорить, что он провел бессонную ночь, почти всю просидев на балконе.

Образ Анжелики, двойника Марго, носился перед ним, и кровь ключом кипела в его венах; чудная летняя ночь своим дыханием страсти распаляла воображение Николая Герасимовича. С ним случился даже род кошмара, ему казалось, что это точно бархатное черное небо, усыпанное яркими золотыми звездами, окутывает его всего, давит, не дает свободно дышать, останавливает биение его сердца — сидя в кресле, он лишился чувств и пришел в себя лишь тогда, когда на востоке блеснул первый луч солнца.

Он вошел в комнату и совершенно разбитый и нравственно, и физически бросился в свою постель.

Он забылся часа на два и, уже совершенно проснувшись, стал считать минуты, оставшиеся до назначенного срока.

Минут было много.

Но наконец наступило желанное время, и он поспешил в квартиру графини Марифоски.

Хотя по разговору с ним последней вчера вечером, он имел полное основание надеяться на счастливый оборот дела, но все же сердце его тревожно билось, когда он переступил порог ее приемной.

Его встретила в приемной Анжелика.

Это был хороший признак. У Николая Герасимовича отлегло от сердца.

Она стояла, смущенная, с опущенными глазами.

— Анжелика… — с мольбою произнес он и покорно наклонил голову, как бы все-таки в ожидании рокового удара.

— Мамаша мне передала ваше предложение, синьор Савин… и я… согласна… но с условием, чтобы мы уехали из Милана… Это требует честь моего имени… Вы мне понравились с первого дня нашего знакомства, а потом… я полюбила вас…

Молодая девушка торопилась, точно говоря заученный урок.

Восхищенный Николай Герасимович не заметил этого… Он усадил ее в кресло, упал перед нею на колени и стал горячо, страстно целовать ее руки.

Она не отнимала их.

Он не мог нацеловаться.

Эту нежную сцену прервала вошедшая графиня, у которой Савин с чувством почти сыновьего почтения поцеловал руку, и получил от нее ответный поцелуй в лоб.

Просидев около часа, Савин поехал к банкиру Фенчи, у которого был аккредитован, взял пятнадцать тысяч франков, а оттуда заехал к ювелиру и купил Анжелике первый подарок, браслет из жемчугов и рубинов.

Вернувшись в квартиру Марифоски, он передал браслет молодой девушке, глаза которой при виде этого подарка заблестели радостью.

— Я поцелую тебя за этот браслет без мамы… — шепнула она Николаю Герасимовичу.

Последний был в восторге.

Графиня вскоре затем вышла, и Анжелика исполнила свое обещание.

Савин был, что называется, на седьмом небе.

Улучив минуту, когда Анжелика вышла в спальню, Николай Герасимович сунул графине в руку банковые билеты.

— Тут ровно пятнадцать тысяч… — сказал он ей.

— Благодарю вас, синьор.

Торг был заключен. Савин считал себя властелином прелестной Анжелики. Вечером в тот же день они решили через день уехать из Милана.

Николай Герасимович просидел у Марифоски до поздней ночи. Возвратившись домой, он заснул сном счастливого, полного надежд, человека.

На другой день его ожидал еще более счастливый сюрприз. Прийдя к Марифоски, он узнал, что графиня изменила свое решение. Она нашла неудобным ехать теперь же вместе с Савиным и с ее дочерью, а решила отпустить их одних.

— Вы сделаете маленькое путешествие по Италии, — говорила графиня, — это приучит вас друг к другу, и вы друг друга лучше узнаете, а я тем временем устрою все мои дела в Милане, и мы встретимся с вами в Венеции, куда я приеду; мы можем условиться о времени, когда вы прибудете в этот город…

Решение графини привело внутренно в восторг Савина, хотя он старался не показать этого.

Ему, конечно, было гораздо приятнее провести первое время вдвоем с Анжеликой, нежели в обществе ее матери.

В тот же вечер они условились, что поедут в Геную и Сан-Ремо, где пробудут около месяца, после чего приедут в Венецию, где будет их ожидать графиня, а пожив в Венеции, все вместе поедут на лето в Россию.

На другой день, в назначенный час, Николай Герасимович приехал на станцию железной дороги, куда вскоре прибыли и графиня Марифоски с дочерью.

Было условлено заранее, что Савин не должен был подходить к ним на вокзале, чтобы не возбуждать сплетен об отъезде Анжелики.

Последняя села в отдельное купе, в которое перед самым отходом поезда вскочил Николай Герасимович.

— Милая, дорогая моя Анжелика, как я счастлив, как я люблю тебя, — были первые его слова, когда они очутились одни уже в тронувшемся от станции поезде.

Молодая девушка позволила беспрепятственно заключить себя в объятия и крепко прижалась к его груди.

В беседе с глазу на глаз с любимой девушкой время летело незаметно.

Приехав в Геную, они остановились в «Grand hôtel d'Italie», где заняли прелестные апартаменты с окнами, выходящими на море.

Записался Николай Герасимович в книге гостиницы господин и госпожа Савины.

Переодевшись, они поехали обедать в ресторан Конкордию, славящийся своей кухней, а после обеда, прокатившись по городу, отправились в театр.

До конца представления они не досидели, так как Анжелика жаловалась на сильную головную боль.

Возвратившись в гостиницу, Савин послал за доктором. Явившийся врач не нашел ничего такого, но прописав микстуру и холодные компрессы, уложил молодую девушку спать.

Николай Герасимович входил в положение Анжелики: расставшись с матерью, переменив так неожиданно образ жизни, она не выдержала и заболела.

Всю ночь просидел он у ее изголовья, меняя компрессы и любуясь в то же время ее красотой.

На следующее утро, к величайшей радости Николая Герасимовича, она проснулась здоровая и веселая, и он отправился в город, чтобы купить ей букет ее любимых цветов — ландышей.

Вернувшись с букетом, он увидел молодую девушку совсем уже одетую и сидящую за письменным столом.

Она что-то писала.

При входе Савина, Анжелика быстро спрятала свою работу. Он сделал вид, что ничего не заметил, но это обстоятельство сильно заинтриговало его.

Позавтракав, Николай Герасимович сказал Анжелике, что идет в банк и, спустившись вниз, приказал швейцарцу все письма и телеграммы, которые барыня ему даст для отправки, оставить до его прихода, так как он собирается идти на почту и сам лично отнесет их туда.

XIII
Нашла коса на камень

Совершив по городу получасовую прогулку, Николай Герасимович вернулся в гостиницу, где портье передал ему заказное письмо и телеграмму, адресованные на имя графини Марифоски.

— Барыня только что сейчас отдала их мне, — заметил портье, — приказав отправить немедленно.

— Хорошо, я сейчас же отнесу их… — отвечал Савин, и, не поднимаясь наверх, быстро вышел на улицу, но лишь завернув за угол в первый переулок, прочел телеграмму, написанную на полулисте почтовой бумаги.

Содержание ее поразило его. Он перечел второй раз и только тогда понял.

«Все благополучно, болезнь удалась, чем дальше, тем будет труднее. Торопись. Анжелика».

Эти несколько слов, из которых состояла телеграмма, сразу раскрыли глаза Николаю Герасимовичу.

Он понял, что он жертва какой-то хитро сплетенной интриги. Суть ее, впрочем, он не совсем постигал. Он распечатал письмо, надеясь, что в нем он найдет объяснение телеграммы, что оно откроет ему подробности интриги против него, затеянной матерью и дочерью.

Он и не ошибся.

Из содержания письма оказалось, что графиня Марифоски отпустила с ним свою дочь с целью заставить его жениться на ней или заплатить крупный куш отступного, во избежание скандала.

По итальянским законам, увоз несовершеннолетней девушки и сожитие с нею, хотя и с ее согласия, наказывалось очень строго по жалобе родителей.

На эту-то удочку и хотела поймать графиня Савина.

Узнав через его банкира, что он очень состоятельный человек и имеет кредит на пятьдесят тысяч франков, «сиятельной мамаше» пришла мысль пристроить дочку или сорвать с него солидный куш.

Из того же письма Николай Герасимович узнал, что роль больной разыгрывалась Анжеликой по наущению ее матери, чтобы заставить его смириться, и что он должен ожидать приезда графини на следующую ночь.

Времени оставалось немного, и надо было во что бы то ни стало обойти замыслы предприимчивой мамаши.

Для этого Савин переписал конверт письма и телеграмму, адресовав их хотя и на имя графини Марифоски в Милан, но без обозначения ее адреса, сдал их на почту, а квитанцию отдал швейцару гостиницы, приказав отнести их барыне, сам же пошел снова гулять по городу, чтобы придумать дальнейший план действий.

Возвратившись через час, он сказал Анжелике, что им надо сегодня же ехать в Сан-Ремо, где начинаются интересующие его гонки парусных и гребных судов (regattes). Она сначала начала было возражать против отъезда, но, не имея серьезных причин, согласилась, попросив только послать телеграмму графине об их отъезде, на что Савин, конечно, согласился.

Они выехали с курьерским поездом, отходящим в четыре часа дня и приходящим в Сан-Ремо в двенадцатом часу ночи.

Дорога от Генуи до Ниццы, так называемая «chemin de fer de la corniches», прилегает к берегу Средиземного моря, называемой итальянцами «Riviera di Gêna».

Это очаровательнейшая местность, и проехать по ней приятнейшее путешествие, которое можно себе представить.

В продолжение восьми часов вы едете по берегу Средиземного моря, у самой подошвы Альп, так называемых «Alpes maritimes». Вообразить себе что-нибудь более живописное и грандиозное положительно невозможно.

Анжелика Марифоски была совершенно очарована красотой местности и положительно не отходила от окна купе. Это в конце концов утомило ее, и она заснула крепким сном.

Пользуясь сном своей молодой спутницы, Николай Герасимович стал на свободе обдумывать план отражения атаки, предпринятой против него графиней.

— Остается одно из двух, — думал он, — или немедленно отправить Анжелику обратно к ее матери и ехать далее одному или хитростью обойти хитрость.

Вот дилемма, которую приходилось ему разрешить. После долгих колебаний он решился на последнее. К тому же он считал себя вправе противодействовать нечестным замыслам чересчур предприимчивой мамаши.

Отдав ему добровольно дочь, с ее согласия, будучи при этом предупреждена об его намерениях и взглядах на жизнь вообще и на отношение его к Анжелике в частности, и получив, наконец, с него пятнадцать тысяч франков, она всем этим предоставила ему все права на Анжелику.

Не будь замешана в эти замыслы сама молодая девушка, не играй она в них главной роли, Савин счел бы своим долгом предупредить ее и дать ей свободу выбора между ним и ее матерью.

Но эта семнадцатилетняя девочка была посвящена в нечистые планы ее маменьки и не только не возмущалась ими, но вполне их разделяла, помогая их осуществлению.

Так думал Николай Герасимович, и эти соображения привели его к убеждению, что он имеет право защищаться тем же оружием, то есть хитростью.

Конечно, нелегко перехитрить двух женщин, но нечего делать, Савин решился попробовать.

Он стал обдумывать план, начало которого уже сложилось у него в Генуе, при чтении телеграммы и письма Анжелики.

«Надо во что бы то ни стало, — блеснуло тогда в его голове, — скрыться от графини и ее преследований, а главное, избавиться от ужасного итальянского закона, так покровительствующего родителям, даже таким, как графиня Марифоски».

Потому-то Николай Герасимович и ускорил отъезд в Сан-Ремо, как город, отстоящий близко от французской границы.

«Что же делать мне дальше, когда мы прибудем в этот Сан-Ремо?» — стал в его голове вопрос.

Вдруг внезапно его осенила мысль.

«Да можно и не заезжать в Сан-Ремо, а переехать границу в том же поезде, не говоря ни слова Анжелике!»

Он тревожно посмотрел на молодую девушку.

Она спала, как убитая, утомленная долгим напряжением зрения и опьяненная чудным воздухом.

«Поезд этот на следующей станции разветвляется; один идет в Сан-Ремо, другой в Ментон. Едущие в Сан-Ремо должны пересаживаться, мы останемся, вот и все, — продолжал соображать Савин, — она будет спать и не догадается, что мы не в Сан-Ремо, она никогда в нем не бывала».

В это время поезд подходил к этой узловой станции.

Анжелика продолжала сладко спать.

Когда поезд остановился, Николай Герасимович вышел, незамеченный своей спутницей, переменил билеты и квитанции на багаж вместо Сан-Ремо на Ментон и возвратился в вагон.

План удался вполне, так как Анжелика проснулась только тогда, когда поезд стоял уже на станции Ментон, то есть они были уже во Франции.

Сев в коляску, они поехали в «Hotel des Iles Britaniques», куда прибыли в двенадцатом часу ночи.

По приезде, Анжелика снова стала разыгрывать больную, опять оказалась мигрень и необходимость безусловного покоя.

Довольный, что первый шаг его плана удался, Николай Герасимович сделал вид, что поверил ее болезни и ушел в смежную комнату, предоставив молодой девушке свободу заснуть с мыслью, что она водит его за нос.

На другое утро он предложил Анжелике ехать в Ниццу, чтобы купить все для нее необходимое, так как ее сиятельная мамаша ничего с ней не отпустила, кроме огромного порожнего сундука.

Для женщин туалет их кумир, потому Савину недолго пришлось уговаривать свою милую спутницу.

От Ментона до Ниццы всего сорок минут езды, и они живо туда докатили.

Началось странствование по всевозможным магазинам и выбор разных атрибутов дамского туалета.

Чтобы складывать все многочисленные покупки, Николай Герасимович взял комнату в «Hôtel de la Mediteranee» на Promenade des Anglais.

Анжелика, как истая дочь Евы, так увлеклась всеми этими покупками и заказами, что даже забыла об обеденном времени, и Савин еле-еле уговорил ее в восемь часов вечера ехать обедать. Пообедав в «Restaurant Francais», они опять отправились бродить по магазинам до самого закрытия.

Возвратясь почти в полночь усталые в гостиницу, они решили не ехать в воображаемое Сан-Ремо-Ментон, а остаться ночевать в Ницце, так как многие заказанные Анжеликой вещи должны были быть доставлены только на следующий день, а для большего удобства укладки купленных вещей вытребовать их сундуки из Ментона в Ниццу, о чем Николай Герасимович и послал телеграмму.

Анжелика, как ребенок, радовалась всякой вещице, примеряя все вновь купленные туалеты и вертясь перед зеркалом.

Она так увлеклась этим, что забыла даже о своей мигрени и о наставлениях своей мудрой маменьки.

Комната была одна, и молодым людям пришлось ютиться потеснее, нежели в апартаментах, занимаемых ими до сих пор.

Теснота помещения, видимо, тоже не беспокоила Анжелику.

Утомившись бесчисленной примеркой, она присела на стоявший в номере широкий турецкий диван.

Николай Герасимович подсел к ней.

— Как я рад, что вижу тебя, наконец, совершенно здоровою, — обнял он ее рукой за талию.

Личико Анжелики вдруг омрачилось. На глазах ее заблестели слезы.

— Ах, как у меня вдруг заболела голова… — простонала она.

— Неужели!.. И так сразу… — усмехнулся он.

— Оставь меня… Боже мой, какая мука…

— Пустяки, моя крошка, я излечу тебя поцелуями…

— Оставь меня… Мне нужен покой…

— Я люблю тебя…

— Оставь… Я говорю тебе, я страшно страдаю…

— Вздор, это все пройдет… Ты просто немножко устала…

Он заключил ее в объятия и стал покрывать ее лицо и шею страстными поцелуями.

Побежденная тигрица обратилась в овечку.

Она сделалась кротка и ласкова, и следующие дни пребывания в Ницце прошли для Николая Герасимовича, как чудный сон.

Он был в каком-то упоении от охватившего все существо его восторга и даже забыл о существовании старой графини Марифоски и о том приятном для его самолюбия сознании, что относительно последней и его, Савина, оправдалась русская поговорка: «Нашла коса на камень».

Он только и видел одну его Анжелику, он только и думал об одной его Анжелике.

Его чувство к ней, бывшее до сих пор увлечением, превратилось в любовь.

XIV
В Париже

— Нам необходимо поехать в Париж, Анжелика? — сказал дня через два Николай Герасимович Анжелике.

Молодая женщина, одетая в новое платье, с довольной, радостной улыбкой на лице, укладывала в то время купленные в Ницце вещи в присланный из Ментона сундук.

Несмотря на то, что вещей было много, сундук, видимо, был рассчитан на более массовое приобретение.

— В Париж! Это невозможно… — отвечала она, вскинув на Савина удивленный взгляд.

— Почему же невозможно, мы просто изменим наш маршрут, и вместо того, чтобы ехать теперь обратно в Сан-Ремо, поедем в Париж.

— Это невозможно, — повторила Анжелика.

— Но почему же, спрашиваю я тебя?

— Потому, что мамаша отпустила меня с тобой путешествовать по Италии и страшно обеспокоится, узнав, что мы поехали в Париж…

— Но мне нужно, голубка, быть в Париже по моим делам, и кроме того, тебе самой необходимо сделать себе туалеты, заказать платья, шляпки, верхние вещи… Ведь не можешь же ты обойтись купленными здесь тряпками.

Глаза молодой женщины заблестели.

— Конечно, конечно, мне нужны туалеты и было бы хорошо сделать их в Париже, но… — она остановилась и после некоторой паузы добавила, — это невозможно.

— Да, наконец, графиня, твоя мать, даже не узнает о том, что мы были в Париже, к назначенному сроку мы вернемся в Венецию… Какое ей дело, где мы проводили разрешенные ею два месяца. Мы и теперь ведь находимся не в Италии…

— Где же мы? — побледнела Анжелика.

— Во Франции…

— Зачем ты так сделал?

— Исключительно для тебя, так как в вашей Италии молодой женщине положительно невозможно порядочно одеться, я воспользовался, когда мы ехали в Сан-Ремо, близостью французской границы и привез тебя сперва в Ментон, а затем в Ниццу, где все-таки ты приобрела кое-что, имеющее хотя вид туалета… В Париже ты можешь окончательно запастись всем нужным, и все это будет изящно и со вкусом… Анжель, дорогая моя, какая ты будешь красавица в парижских туалетах.

Николай Герасимович присел около молодой женщины, окончившей уже укладку вещей и взобравшейся с ногами на турецкий диван.

— Ах, какой ты хитрый… но милый… — прошептала Анжелика, прижимая головку к его плечу.

Он обнял ее за талию.

— Так поедем в Париж… Это чудный, волшебный город… Таких дамских магазинов, какие там, нет в мире…

— Лучше здешних?

— Здешние сравнительно с парижскими, это убогие лавчонки…

— А мы… если бы поехали… мы не опоздаем приехать в Венецию, не заставляя очень долго ожидать маму… — начала сдаваться новая Ева на искушения современного «змия».

— Конечно же, мы даже приедем раньше ее.

— В таком случае… — начала молодая женщина, но вдруг остановилась. — Я боюсь.

— Чего же ты боишься?

— Ну, хорошо, поедем, только чтобы непременно вернуться в Венецию к назначенному сроку.

— Непременно, непременно… — подтвердил Савин.

Он был в восторге — он нашел себе верного и сильного помощника, который заставил Анжелику позабыть ее маменьку — эту хитрую мегеру, как мысленно называл ее Николай Герасимович.

Этот верный и сильный помощник был — Париж.

Не теряя времени, они выехали туда в тот же день с курьерским поездом.

Дорога промелькнула незаметно, так как путевыми компаньонами Савина и Анжелики оказались трое веселых и разговорчивых парижан.

Приехав на следующее утро в Париж, они остановились в «Hotel d'Albe», находящемся на Avenue des Champs Elises, невдалеке от Триумфальных ворот.

Николай Герасимович выбрал эту гостиницу, вследствие ее прекрасного местоположения.

Елисейские поля в весеннее время — самая приятная местность Парижа.

Там и воздух чище, и Булонский лес в двух шагах, да и веселей, так как из окон видишь весь Париж, то есть все сливки парижского общества, приезжающие в Булонский лес и на скачки.

Это настоящий калейдоскоп, в котором мелькает этот «tout Paris», как выражаются парижане.

Савину надо было показать Париж Анжелике с такого конца, поразить ее им, отуманить, и для этого избранная им часть города и гостиницы были самые подходящие.

Молодая женщина горела нетерпением видеть бульвары и магазины, а потому, переодевшись и позавтракав, они поехали с этой целью кататься.

На rue de la Paix Анжелика пришла в положительный восторг при виде великолепных магазинов и подолгу останавливалась перед их витринами.

Начало было сделано — Париж увлек ее.

Для ознаменования приезда в Париж, Николай Герасимович купил в подарок молодой женщине пару серег с крупными бриллиантами.

Покупки и заказы всех туалетных принадлежностей они отложили до следующего дня, так как Савину граф де Дион и де Монбрен, с которыми он сошелся на дружескую ногу в Неаполе, обещали указать самых лучших и модных кутюрьерок и модисток.

Он известил уже их о своем приезде в Париж и пригласил к себе обедать.

Они оба приехали к назначенному часу, и Николай Герасимович их представил Анжелике.

Де Монбрен так и ахнул при этом представлении.

— Где и когда ты успел найти такую прелесть? — спросил он Савина вполголоса. — Давно ли мы с тобой расстались в Неаполе, и ты мне ни слова не говорил о ней. Когда же ты успел все это отделать?

За обедом они сговорились на другой день завтракать все вместе у Биньона, а затем отправиться по мытарствам, то есть по разным кутюрьеркам, модисткам и другим поставщикам, заказывать все нужное для Анжелики.

Последняя была в восторге и ожидала следующего дня с лихорадочным нетерпением.

Хотя Николай Герасимович бесчисленное количество раз состоял в роли ухаживателя, но связь его с Анжеликой была первой серьезной связью с женщиной.

Не считая платонического романа с Гранпа, все остальные были мимолетными интрижками.

Между прошлыми отношениями к женщинам и отношением его к Анжелике была существенная разница.

Теперь было далеко недостаточно ухаживать, занимать и забавлять, приходилось заботиться, печься о ее самых общежитейских нуждах.

Привезя Анжелику в Париж с огромным и, несмотря на покупки в Ницце, все же еще пустым сундуком, Савину надо было делать ей целое приданое.

В этом отношении ему очень и очень помог его друг граф де Дион.

Он оказался большим мастером и специалистом по части одевания женщин.

Его уроки пошли впрок Николаю Герасимовичу, и с легкой руки Анжелики он в продолжение нескольких лет только и делал, что одевал и одевая разных дам, пока не оказался сам положительно почти раздетым.

Но не будем забегать вперед.

Сначала вся эта процедура хождений к разным Дусе, Родриг, Руф, Виго, Першерон и другим показалась Савину невыносимой. Быть заваленным всякими материями, шляпками, лентами, кружевами, чулками, перчатками и тому подобным дамским хламом, быть принужденным все это рассматривать, подбирать цвета, смотреть

на модные картинки, образчики, модели, а главное давать советы — положение не из завидных.

Вернувшись в первый день этих мытарств домой, Николай Герасимович был совершенно разбит.

Но понемногу он втянулся в это скитанье по магазинам и даже, если говорить правду, впоследствии вошел во вкус и, не будь эта процедура связана с крайне серьезными счетами всех этих знаменитых парижских поставщиков — это даже было бы забавно.

Он только теперь понял, насколько важную роль играет туалет в красоте женщины.

Наконец платье, белье, шляпы, зонтики и другие заказанные вещи были готовы и принесены в отделение гостиницы, занимаемое Савиным и Анжеликой.

Это было положительно целое наводнение.

Не было ни одного стула, ни стола, на котором не лежало бы что-нибудь, не стояли бы какие-нибудь картонки, ящики или футляры.

В гостинице стало тесно, и Николай Герасимович начал думать о найме квартиры.

Он передал эту мысль Анжелике. Та пришла от нее в положительное восхищение.

Начались поиски квартиры, впрочем, вскоре увенчавшиеся успехом. Найдено было очень миленькое помещение на Avenue d'Antin.

Новые хлопоты, новые заботы заняли время.

С месяц как жили уже они на своей новой квартире, вполне счастливые и довольные.

Маленькая итальяночка превратилась в прелестную парижанку, и Николай Герасимович старался всем, чем только мог, сделать ее жизнь приятною, балуя ее, как ребенка, и исполняя все ее причуды, что для него самого было величайшим наслаждением.

Сезон, как мы уже говорили, кончался, и Париж пустел. Савин и Анжелика тоже собирались его покинуть, чтобы ехать в Трувилль.

Казалось, на горизонте их счастливой жизни не было ни малейшего облачка, как вдруг, как часто это бывает и в природе, резкий порыв ветра сразу нагнал тучи, которые с неимоверной быстротой облегли небосклон, и с за минуту перед тем ясного, лазурного неба вдруг послышались раскаты грома.

Такой гром грянул и над головами Савина и Анжелики.

XV
Удар грома

— Крутогоров!

— Савин!

— Ковалев!

— Савин!

Такими приветствиями обменялись при встрече в ресторане «Maison dorée» Николай Герасимович, куда он заехал позавтракать с Анжеликой, и два его товарища по петербургской военной службе, оказавшиеся, так же, как и он, в отставке.

Они уже завтракали за одним из столиков, а Савин со своей спутницей сел за отдельный.

Вскоре оба товарища, окончив завтрак, подсели к ним. Николай Герасимович представил их Анжелике. Начались разговоры, воспоминания, как это всегда бывает, когда встречаются старые, давно не видевшиеся товарищи.

Савин после завтрака приказал подать шампанского, вспрыснуть встречу со старыми друзьями. Те в свою очередь ответили тем же — словом, время пролетело быстро и оживленно.

Прощаясь, Анжелика, желая сделать приятное Николаю Герасимовичу, пригласила его товарищей к ним завтракать на другой день.

Они приехали, привезя молодой хозяйке прелестный букет цветов, наговорили ей кучу любезностей по поводу ее хозяйственных способностей, — уезжая же после кофе уже поздно вечером, в свою очередь пригласили Савина и Анжелику на следующий день к себе завтракать.

Они жили в «Hotel Continental».

Когда на другой день Николай Герасимович и Анжелика приехали в отделение, которое занимали Крутогоров и Ковалев, они застали там еще двух мужчин, которых хозяева представили им.

Один оказался каким-то польским графом Княжевским, а другой — французом Амари.

Завтрак прошел очень весело, причем у прибора Анжелики красовался великолепный букет цветов.

После завтрака хозяева и два гостя сели играть в баккара.

Игра была страстью Савина. Читатели не забыли, что он втянулся в нее еще в Варшаве.

Он не мог видеть равнодушно играющих в карты, особенно в баккара, чтобы не подсесть.

Услав Анжелику кататься, он тоже сел играть. Видимо, правило, что кто счастлив в любви, тот несчастлив в картах, всецело оправдалось на Николае Герасимовиче.

Ему страшно не везло, и в какой-нибудь час или два он проиграл около пятнадцати тысяч франков.

Проигрывая, он всегда горячился. Страсть разгоралась в нем и остановиться он был не в силах, а по обыкновению у него появлялась только одна мысль, преобладавшая над остальными — отыграться.

Так произошло и в этот злополучный день, он продолжал играть и проигрываться, выдавая чек за чеком на банк, где у него лежали деньги, и кончил тем, что проиграл все, что имел с собою в Париже — сорок тысяч франков.

Тогда поневоле он кончил игру.

Выйдя из отеля на свежий воздух, он понял безвыходность своего положения.

В чужом городе, имея на руках женщину, привыкшую к тратам и роскоши, с квартирой и людьми, требующими ежедневных расходов, без гроша в кармане, так как было проиграно все до последнего сантима — положение более чем трагическое.

Мрачный вернулся он домой, не сказав, конечно, Анжелике ни слова.

На другой день надо было добыть деньги, хотя бы для того, чтобы просуществовать несколько дней и телеграфировать в Россию о переводе.

Николай Герасимович поехал к графу де Диону.

Тот оказался тоже в довольно тяжких обстоятельствах, но предложил ему, однако, разделить пополам содержимое его бумажника.

В нем оказалось два билета по пятьсот франков.

Один из них он отдал Савину.

Последний рассказал ему, конечно, о своем громадном проигрыше.

— Ты говоришь, Амари и Княжевский?.. — спросил де Дион.

— Да.

— Ну, так поздравляю, ты обыгран шулерами… Это в отеле «Континенталь»… Там живут двое русских…

— Верно, мои бывшие товарищи…

— Поздравляю еще раз, благодари Бога, что бывшие, они нарочно свели тебя с шулерами и разделили по-братски твои денежки.

— Не может быть!

— Поверь мне, я уже слышал об этой компании… Недаром описал ее тебе с такою точностью.

Савин был поражен.

Выйдя от де Диона, он стал припоминать ход вчерашней игры, и чем более он обдумывал его, тем сильнее убеждался, что граф прав, что он на самом деле сделался жертвой шулеров.

Это привело его в бешенство.

— Так уж разделаюсь я с ними по-свойски. Проучу русских товарищей по-русски, — решил он и, наняв фиакр, приказал везти себя в отель «Континенталь».

Проучить ему, однако, их не пришлось.

Оказалось, что они в то же утро уехали из Парижа.

Пятисот франков, данных де Дионом, хватило ненадолго, и хотя граф устроил Савину заем в две тысячи франков, все же пришлось несколько стесняться и отказывать себе во многом.

Тогда-то сказался характер молодой женщины.

При первом неисполненном ее желании она ударилась в слезы.

— Так-то ты любишь меня… Зачем я себя погубила для такого изверга… Я надоела, видно, тебе… Прежде ты предупреждал мои желания, а теперь отказываешь во всем… О, я несчастная, несчастная.

Анжелика падала, впрочем, всегда очень безопасно и удобно в кресло, на кушетку или диван в истерическом припадке.

Начался тот домашний ад, который умеют создавать так называемые «любящие женщины», «кроткие ангелы» для постороннего взгляда, «несчастные жертвы мужского эгоизма», «слабые создания», ад, хуже которого едва ли придумает сам повелитель преисподней, тем более ужасной, что во всех этих «объяснениях», как называют женщины отвратительные домашние сцены, виноватым является мужчина.

Он лишен даже возможности призвать кого-нибудь к своей защите, потому что, по словам его ангела-супруги или сожительницы, виновен во всем один он.

При первой же сцене он имел неосторожность сознаться Анжелике.

— Я отказываю тебе не потому, что не хочу исполнить твоей просьбы, а потому, что не могу… Я имел неосторожность сесть играть после завтрака в «Континентале» и проиграл.

— Проиграл? — взвизгнула Анжелика. — Но ведь не все же ты проиграл?

— Все.

— Сколько же?

— Сорок тысяч франков.

Она упала на диван и зарыдала.

— Как можно было проиграть сорок тысяч франков и остаться без гроша! Вот не послушалась я своей мамаши, и останемся мы теперь с ней ни с чем…

Мамаша была вспомянута в Париже в первый раз.

— Перестань плакать, не о чем, ведь это только временное стеснение… На первое время я занял деньги и уже телеграфировал в Россию, моему поверенному, чтобы он перевел мне денег… Какое же тут несчастье! При моем состоянии это пустяки…

— Хороши пустяки… сорок тысяч…

— Но недели через две деньги будут… Много через месяц…

— Уже теперь месяц, и в этот месяц мы должны жить, как нищие…

— У меня есть деньги на мелкие расходы, есть кредит… Наконец, вещи…

— Уж не рассчитываете ли вы на мои? Слуга покорная! Проиграть сорок тысяч, живя с любимой женщиной… Вы изверг, негодяй, подлец!

— Анжелика!..

— Что Анжелика?.. Я говорю правду, недаром мама меня предупреждала…

— Анжелика…

Но молодая женщина не унималась, и подобные сцены стали повторяться ежедневно.

Россия неблизкий край, и достать помещику денег до урожая хлеба довольно трудно, особенно, когда именье без хозяина.

Для того чтобы получить денег, остается один исход — заложить именье, что Савину и пришлось сделать.

Но для этого нужно было время, чтобы выслать необходимые доверенность и документы, и дело затянулось, а Николай Герасимович сидел в Париже без денег и каждый день выносил домашние сцены.

Но это были только цветочки, ягодки же, как оказалось, предстояли впереди.

Прошло около трех недель.

Однажды утром в кабинет Савина вошел его лакей.

— Вас спрашивает полицейский комиссар с какой-то дамой, — доложил он.

— Проси, — бросил Савин, но сердце его сжало какое-то тяжелое предчувствие.

Он не ошибся.

Через несколько минут перед ним, в сопровождении полицейского комиссара, стояла графиня Марифоски.

— По просьбе этой дамы, — обратился к Николаю Герасимовичу комиссар, — и по приказанию префекта полиции я явился к вам, чтобы, во имя закона, отобрать у вас несовершеннолетнюю дочь графини Марифоски — Анжелику, которую вы увезли из Милана и которая проживает с вами под именем вашей жены… Правда ли все это?..

— Правда, — отвечал ошеломленный заявлением старой графини Савин. — Но я надеюсь, что вы позволите мне переговорить с графиней… наедине…

— С удовольствием, — сказал комиссар и хотел выйти, но графиня остановила его.

— Мне не о чем говорить с господином Савиным, — надменно сказала она. — Я прошу вас исполнить вашу обязанность…

— Но, послушайте, графиня…

— Я ничего не хочу слушать.

В это время в комнату вбежала Анжелика и бросилась было на шею графине, но та холодно оттолкнула ее.

— Вот моя дочь, господин комиссар… Прикажите ей собрать все ее вещи и следовать за мной.

— Но, мамочка, не разлучай нас, я люблю его, я не хочу, я не могу с ним расстаться… — рыдала, и, может быть, даже искренне, Анжелика.

— Ты еще слишком молода, чтобы иметь свою волю и говорить хочу иди не хочу. Объясните ей, господин комиссар.

— Сударыня, вы, как несовершеннолетняя, должны повиноваться вашей матушке, и как ни грустно будет, но мне придется прибегнуть

к силе, чтобы заставить вас покинуть этот дом… Это непременная воля вашей матушки-графини.

Савин и Анжелика снова со слезами на глазах, не обращая внимания на присутствие полицейского комиссара, стали умолять графиню Марифоски не разлучать их.

Но графиня осталась непреклонною.

В этот же день Анжелика с помощью своей матери уложила все свои вещи, не исключая даже мелкой квартирной обстановки, и уехала из квартиры Николая Герасимовича.

Последний, прощаясь с ней, разрыдался как ребенок.

Оказалось, что графиня Марифоски приехала в Сан-Ремо для исполнения задуманного ею плана в ту самую ночь, когда Савин с Анжеликой были в Ницце, и была немало озадачена, не найдя их там… Она бросилась искать, писала, телеграфировала, но безуспешно и решила, что дочь ее увезена в Россию.

И вот, спустя четыре месяца, из письма Анжелики узнала, что она и Савин в Париже, что последний проиграл в карты огромную сумму денег и находится в очень стеснительных обстоятельствах, отчего должна страдать и она, Анжелика.

Графиня пришла в неистовство, в ней заговорила накопившаяся злоба, и она решила, во что бы то ни стало отомстить перехитрившему ее человеку.

Приехав в Париж, она обратилась к властям, с помощью которых, как мы видели, и отобрала дочь у Николая Герасимовича. Она и Анжелика на другой день уехали обратно в Милан.

Об этом отъезде Савин узнал из письма графини Марифоски, которое она прислала ему с дороги.

В нем она писала, что если он любит ее дочь и хочет получить ее обратно, то пусть приедет в Милан и положит в банк на ее имя пятьдесят тысяч франков, без чего она его не допустит к своей дочери.

Николай Герасимович не отвечал на это письмо.

Так окончился первый опыт его «свободной любви». Он, впрочем, не исправил его.

XVI
В Лондоне

Распродав всю квартирную обстановку, распустив прислугу и телеграфировав в Россию, чтобы деньги были переведены на одного

из лондонских банкиров, Николай Герасимович уехал в столицу туманного Альбиона, чтобы среди новых мест и новых людей отдохнуть и рассеяться от постигшего его удара.

Летом в Лондоне сезон и съезд всего английского высшего общества, прибывающего из своих поместий и замков проводить единственное приятное время года в этом вечно туманном городе.

Во всей Европе летом все города пустеют. Лондон же, наоборот, наполняется.

Это потому, что в Лондоне никогда не бывает жарко, и солнце только показывается как будто по обязанности, не грея, а лишь разбивая кое-как черный лондонский туман.

Чувствуется постоянная сырость и какая-то мелкая черная угольная пыль покрывает человека с ног до головы, пропитывая все вещи и заставляя чиститься и мыться несколько раз в день.

Остановился Николай Герасимович в «Bristol-Hotel» — маленькой, но лучшей гостинице Лондона, знаменитой своим превосходным рестораном.

Прежде всего в Лондоне бросается в глаза эта чопорность англичан у себя дома — они там совсем другие, нежели на континенте.

За границей они разыгрывают каких-то чудаков, маньяков, делают на каждом шагу эксцентричности, одеваются по-шутовски, не соблюдая приличия. Даже дамы, встречающиеся во Франции и Италии, поражают, как мы уже имели случай заметить, странностью своих костюмов, причесок и манер.

У себя дома, в Англии, а особенно в Лондоне, они перерождаются, отличаясь приличием и выдержанностью.

Джентльмен в Лондоне не покажется на улице иначе, как в цилиндре, платья другого он не наденет, как сюртук или жакет, днем, а с пяти часов вечера фрак с белым галстуком.

Куда бы вы ни пошли вечером: в ресторан ли, в клуб ли, в театр — везде вы должны быть во фраке.

Во многие театры даже не пускают без этого, якобы официального костюма.

Дам в шляпках тоже не пускают в театр, заставляя их снимать при входе, что страшно возмущает француженок.

Англичанки с этим свыклись и не ездят иначе в театр и даже в ресторан, как декольтированные и в большом параде.

В некоторых избранных ресторанах, например в «Bristol-Hotel», вы поражаетесь чопорностью обедающей публики, расфранченной, как на придворном обеде.

Да и зал ресторана не похож на столовую гостиницы, а скорее напоминает столовую на аристократическом балу.

Стены этой столовой обтянуты дорогими гобеленами, пальмы и экзотические растения по всем углам. На огромном камине красного мрамора стоит дорогая бронза, окна занавешены тяжелыми портьерами и на полу мягкий роскошный ковер.

За маленькими столиками сидят обедающие компании, разговаривающие тихо и с достоинством.

Мужчины все во фраках, с огромными стоячими воротниками и гладко причесанными белокурыми волосами.

Дамы, страшно расфранченные, декольтированные, в цветах, перьях и бриллиантах, а волосы причесаны так же гладко, как и у мужчин и с заплетенными сзади мелкими косичками.

Все это общество сидит, не шевелясь, с вытянутыми шеями, и кушает устрицы, ростбиф и потом пудинг, запивая шампанским.

Лакеи, так же чопорны, как и господа, в ливрейных фраках, шелковых чулках и башмаках.

Вот картина приличного ресторана в Лондоне, и даже живущие в этой гостинице не имеют права сходить в это святилище еды, не облачившись в установленную форму.

Повсюду царит чинность и тишина — ни шуточных разговоров, ни товарищеской веселой беседы.

Карточная игра — редкое явление. Она ведется лишь в некоторых клубах, большею же частью играют только на биллиарде, да в шахматы.

Англичане любят клубную жизнь по-своему.

Они приходят в клуб, чтобы узнать новости, прочитать газеты, получить свою корреспонденцию, держать пари на скачки, а главное — поесть и выпить.

Пьют англичане как нигде, много, больше чем в России, но пьют флегматично и большею частью крепкие напитки: джин и бренди с содовой водой, а также шампанское, но никогда не напиваются.

Лондон даже во время сезона — город скучный.

В этой стране даже придуманы официально скучные дни и таких дней наберется в году немало — одних воскресений уже пятьдесят два, да еще большие праздники.

В одно из таких воскресений Николай Герасимович, по приглашению своих приятелей, поехал в Ричмонд, куда многие ездят проводить праздники.

Он думал, что там, за городом, в этом излюбленном английском Ричмонде, по крайней мере веселее, но ошибся.

Ричмонд оказался маленьким английским городком на берегу той же Темзы, с прямыми широкими, но пустыми улицами, с высокими, но узкими в три окна домами, выстроенными из красного кирпича, с запертыми магазинами и погруженными в праздничный сон обывателями.

В этом-то городке, у самого вокзала железной дороги, выстроена огромная гостиница.

Этот гигант, без всякой архитектуры, с высокими трубами, походил скорее на фабрику, чем на место увеселения.

В эту-то фабрику ростбифов, жареной баранины и пудингов съезжается веселиться лондонская «золотая молодежь» с своими дамами, разодетыми в яркие туалеты.

Огромные залы и террасы ресторана набиты битком публикой, сидящей за столиком и уписывающей по целым часам разные английские яства, запивая их портером, элем и джином. Ни музыки, ни пения, ни даже веселого разговора.

Таково знаменитое ричмондское воскресенье.

После месячного пребывания на берегах Темзы, лондонская скука стала действовать на Савина удручающим образом. Он уже начал чувствовать симптом английского сплина.

На его счастье, его излечила от этой болезни встреча с женщиной.

Женщина эта была прелестная мексиканка. Он жаждал влюбиться и влюбился… в незнакомку. Она была, впрочем, достойна этого.

Это была стройная блондинка с рыжеватым оттенком волос и огромными черными выразительными глазами, греческим носиком и таким привлекательным личиком, что Николай Герасимович не в силах был оторвать бинокля от глаз и не мог налюбоваться очаровавшей его с первого взгляда красотой незнакомки.

Она сидела в ложе с красивой, средних лет, прекрасно одетой дамой. Парижский покрой платья доказывал, что они обе иностранки.

Кроме дамы, в ложе сидел молодой человек, лет двадцати трех, смуглый брюнет, тоже не похожий на сына туманного Альбиона.

Никто из знакомых Савина не знал этих дам, даже мистер Велслей, знавший Лондон и его общество, как свои карманы, не был в состоянии удовлетворить его любопытство.

Что было делать?

Волей-неволей пришлось ожидать конца спектакля, чтобы при разъезде проследить красавицу и узнать ее адрес.

Николай Герасимович так и сделал.

Проследив их при выезде из театра до кареты, он сел в кеб, которому велел ехать за экипажем незнакомок, и к удивлению его приехал домой, в «Briston — Hotel».

Оказалось, что дамы эти живут под одним с ним кровом и занимают апартаменты в первом этаже. Собрать о них сведения было таким образом совсем легко.

Швейцар гостиницы сообщил Савину, что это мексиканское семейство Гуера, мать и дочь, и что они уезжают через два дня во Францию на воды.

Николай Герасимович не спал всю ночь.

Очаровательная мексиканка положительно не выходила из его головы, и он придумывал всевозможные комбинации, чтобы с нею познакомиться.

Он остановился на мысли ехать за ней туда, куда она едет, и по дороге постараться познакомиться.

«Если не удастся познакомиться в пути, — продолжал он развивать эту мысль далее, — то я остановлюсь в той же гостинице, где остановится она, и познакомлюсь на водах, что бывает всегда нетрудно».

С этим успокоившим его решением он заснул.

На другой день Савин сделал прощальные визиты своим лондонским друзьям и стал готовиться в дорогу, ожидая отъезда мексиканок.

Куда ехать — ему безразлично, только бы познакомиться с ней.

Наконец хорошо оплаченный швейцар сообщил день и час отъезда господ Гуера, и Савин очутился на станции Серинг-Крос и сел в поезд, отходящий на Фолькстон-Булон в Париже.

Семейство Гуера село в отдельное взятое ими купе, так что втереться в их общество ему не пришлось, и он должен был ожидать случая дальше.

На пароходе, по причине дурной погоды, опять-таки не было возможности познакомиться, а из Булона до Парижа, хотя Николай Герасимович ехал с ними в одном спальном вагоне, но это было ночью, и дамы спали в своем отделении. Надежды, однако, он не терял.

XVII
В погоню за мексиканкой

Поезд мчался на всех парах к Парижу.

Николай Герасимович, лежа в спальном вагоне, в котором только тонкая стенка отделяла его от дамского отделения, где находилась прекрасная мексиканка, обдумывал свое более чем странное положение.

«Куда и зачем я уеду? — неслось в его голове. — По-видимому, семейство Гуера принадлежит к хорошему обществу, и люди они со средствами. Дочь их богатая и изысканная невеста! Для чего же лечу я за ней, я, открытый противник брака? Пока я увлекаюсь только ее красотой, но познакомившись, наверно, влюблюсь в нее без ума и тогда, пожалуй, забыв мои принципы, поддамся столь ненавистному мне Гименею. Понравлюсь ли я ей? Такая красавица, конечно, уже видела у своих ног не одного влюбленного, а целые массы. Захочет ли она еще выслушать меня и мои пламенные чувства».

Мысли за мыслями мелькали в его голове, и он настолько увлекся этим любовным бредом, что опомнился, только подъезжая к Парижу.

Получив багаж и взяв карету, он стал ожидать отъезда незнакомок.

С ними ехал лакей и горничная, которые хлопотали около огромных сундуков.

Наконец, усадив своих господ в карету, лакей сел с горничной в другую, и экипажи тронулись.

Савин велел своему кучеру ехать сзади.

Покинув вокзал Северной дороги, они поехали по малолюдным улицам, по берегу обводного канала и окраинам Парижа.

Это удивляло Николая Герасимовича и он положительно не понимал, куда едут они, а вместе с ними и он.

Гостиницы все находятся в центре Парижа, зачем же они колесят по этой глухой местности.

Наконец переехали Сену и поехали по направлению к Jardin des plantes.

Тогда Савин догадался, что едет на вокзал орлеанской железной дороги.

Он не ошибся и вскоре все три экипажа остановились у орлеанского дебаркадера.

Пока носильщики брали его вещи, Николай Герасимович соображал, куда могли ехать его незнакомки, на какие воды?

«Ближайшее морское купанье Аркашон, близ Бордо, еще… еще Котере, Люшон и другие, но все это в Пиринеях, на границе Испании», — думал он.

Здравый смысл подсказывал ему: брось, не дури, прокатился до Парижа и довольно, но мысль о красавице-мексиканке заглушала этот голос, и образ ее стоял неотступно перед его духовным взором.

На него напал какой-то столбняк, и он долго бы простоял на подъезде вокзала, если бы зычный голос сторожа не заставил его очнуться.

— Les voyageurs de l'exprès pour Bordeaux, en wagons, s'il vous plait![21] — кричал сторож.

Савин бросился в зал первого класса и буфет искать его спутниц, но не нашел их там, он выскочил на платформу и оказалось, что они уже сидели в своем купе, на окнах которого была приклеена бумажка с надписью: «reserve»[22].

Не зная, все-таки, куда они едут, он взял билет пока до Бордо.

Жара была страшная. Вагон был битком набит, и Николай Герасимович, не спавший всю ночь, был окончательно разбит этим новым путешествием.

В Бордо приехали ночью, часов около двенадцати. Выскочив на платформу, он побежал к вагону своих спутниц, чтобы узнать, не выходили ли они тут.

В их вагоне царила глубокая тишина. Шторы на окнах были спущены, доказывая, что в нем спят, а следовательно, едут далее.

Курьерский поезд, с которым Савин приехал в Бордо, отходил далее на юг Франции и в Испанию через час, и Николай Герасимович был в затруднении, куда ему брать билет и сдавать багаж, так как поезд этот, в четыре часа ночи, дойдя до Мон-Марсан, разделялся

---

[21] Пассажиры на курьерский поезд в Бордо, прошу садиться в вагоны!

[22] Занято.

на два. Один шел в Испанию, а другой сворачивал на Лурд, По, Тарб, направляясь в Пиринеи, в Котере и Люшон.

Наконец один из железнодорожных служащих сказал ему, что вагон, в котором едут дамы, едет до испанской границы, и Савин взял билет тоже до самой границы.

Улегшись в спальном вагоне, он заснул как убитый.

На другой день он проснулся довольно поздно, когда поезд уже мчался по ландам, приближаясь к Байону.

Увидав себя почти в Испании, не зная, куда и зачем он едет, ему стало смешно на самого себя.

Как угорелый скачет он за незнакомой красавицей, которая не обратила даже на него до сих пор никакого внимания и не знает, что за ней едет какой-то влюбленный.

Савину стало досадно, что он, видимо, до сих пор все тот же гвардейский корнет, не видящий перед собой никаких преград и не признающий ничего невозможного.

Рассуждая так сам с собою, он взглянул в окно и моментально все разумные доводы, мелькавшие в его голове, тотчас рассыпались прахом.

Рядом, у открытого окна вагона, несколько высунувшись из него, стояла красавица-мексиканка.

Она была еще очаровательнее, чем когда-либо.

На ней было дорожное темно-коричневое платье, плотно обхватывающее ее гибкий стан, на голове была шляпа фетр с темною вуалью, а в прелестной, обтянутой шведской перчаткой ручке она держала розан.

Этот простой, но прелестный костюм шел к ней как нельзя больше.

Николай Герасимович впился в нее глазами и не мог долго оторваться.

Наконец она заметила его и отошла от окна.

Чудное видение исчезло.

Проехав Бойон, они подъехали к какой-то маленькой станции, на которой, к удивлению Савина, многие пассажиры стали выходить и в том числе и семейство Гуера.

Их встретил красивый молодой человек с букетом цветов, который поднес m-lle Гуера.

Выскочив из вагона, Николай Герасимович узнал, что это станция «Négresse», на которой сходили едущие в Биарриц, находящийся отсюда всего в двух километрах.

Конечно, не медля ни минуты, он также покинул поезд, взял коляску и поехал за незнакомками, которые и довезли его на добровольном буксире в гостиницу «Palais Biarritz», бывший дворец Наполеона III.

Таким образом, Николай Герасимович нежданно-негаданно очутился в Биаррице.

Познакомиться с m-lle Гуера и ее дочерью он надеялся через кого-нибудь из знакомых, которых думал здесь встретить, а потому вечером отправился в казино, место свиданий всего общества.

Приезд Савина в Биарриц совпал с так называемым «испанским сезоном».

Съезд испанского общества в этом году был очень велик, и главными его представителями были экс-королева Изабелла и экс-президент испанской республики маршал Серано, герцог де ла Торе.

Кроме этих потухших испанских звезд первой величины, было много небольших, но блестящих звездочек в образе представительниц прекрасного пола Испании.

Но Николай Герасимович почти не замечал их, будучи поглощен только своими мечтами и видя только ту, которая своею магическою красотою привлекла его с берегов Темзы на песчаное прибрежье Бискайского залива.

Когда Савин пришел в казино, красавица мексиканка уже сидела с матерью, братом и молодым человеком, который их встретил на станции.

Сев невдалеке от них, он стал любоваться ею и целый вечер просидел в ожидании доброго гения, в образе общего знакомого, могущего его представить.

Но это, увы, оказалось напрасным, и он ушел из казино, не дождавшись этого гения и узнав только, что его очаровательную незнакомку зовут Кармен.

Николай Герасимович, как мы уже говорили, приехал в Биарриц в разгар испанского сезона.

В это время, кроме испанцев и местного общества, никого не бывает.

Парижское и интернациональное общество собирается попозже — в половине сентября, а на дворе стоял только август.

Вот почему Савин не встретил и не мог встретить никого знакомого, в испанском же обществе он никого не знал, не знал он и их языка.

Познакомиться с этим обществом было очень трудно, так как испанцы по своему характеру нелюдимы и неохотно знакомятся с иностранцами, при этом мало кто из них говорил на каком-нибудь другом языке, кроме языка своей родины.

Была еще одна надежда — это познакомиться на бале в казино, где во время танцев Савин мог быть представлен Кармен Гуера распорядителем, но бал не предвиделся ранее недели, а потому приходилось волей-неволей ждать.

В таком-то мучительном ожидании слонялся Николай Герасимович по Биаррицу в продолжение нескольких дней, не зная, что делать от скуки, развлекаясь только по вечерам созерцанием красавицы Кармен.

Семейство Гуера также, видимо, не имело никого знакомых, кроме какого-то мексиканского семейства, жившего на вилле невдалеке от отеля «Palais Biarritz», да молодого человека, находившегося постоянно в их обществе, которого звали дон Педро Сарантес.

Каждое воскресенье в Испании, в Сан-Себастиано, бывает бой быков.

Сан-Себастиано находится от Биаррица всего в часовом расстоянии по железной дороге.

В эти дни из Биаррица отходят несколько специальных поездов, отвозящих в Сан-Себастиано испанскую публику, жадную до таких зрелищ.

Будучи в вечной погоне за красавицей-мексиканкой, Савин постарался заблаговременно взять ложу рядом с ложей, взятой семейством Гуера, и поехал в том же поезде и вагоне, в котором ехали обе дамы.

Мать и дочь были одеты по испанской моде, то есть без шляпок и в мантильях.

Мантилья — это кружевная косынка, большею частью из черных кружев, которую испанки надевают на голову, прикалывая ее большими золотыми шпильками и ажурными гребнями.

Носят испанки эти мантильи с особенным, им одним присущим шиком, они им чрезвычайно идут и придают особую прелесть и грацию.

Ни одна истая дочь Кастильи и Андалузы не поедет на бой быков иначе как в мантилье и с огромным веером — этих традиционных принадлежностей женского туалета.

В таких же кружевных мантильях, приколотых дорогими шпильками и ажурными высокими гребнями, с великолепными веерами из страусовых перьев в руках и в черных кружевных платьях ехали мать и дочь Гуера на «corido de los toros»[23].

Этот грациозный испанский туалет замечательно шел Кармен, и Николай Герасимович, сидя в углу вагона, не отрывал от нее глаз, и почти не заметил, как поезд подкатил к Сан-Себастиано.

Помещение, в котором происходят бои быков, называемое в Испании цирком, было почти рядом со станцией, и Савин скоро очутился в его ложе.

Здание это построено наподобие древних римских цирков и в миниатюре напоминает Колизей.

Оно круглое, без крыши, на середине арена, усыпанная песком и окруженная забором в два метра высоты.

Кругом этой арены возвышается, в виде лестницы, амфитеатр, на ступенях которого размещается многочисленная публика, в несколько тысяч человек.

На самом верху устроены ложи.

Над ложами сделаны навесы из парусины, выкрашенные в национальные цвета Испании, защищающие публику от солнца и дождя.

На это национальное излюбленное испанцами зрелище съезжалась масса народа со всех сторон.

Ложи полны избранной публикой, дамы в прелестных туалетах, и вся эта толпа жестикулировала и хохотала в ожидании любимого представления.

Наконец грянула музыка, и на арене появилась блестящая процессия исполнителей.

Впереди ехали верхом по два в ряд человек десять «пикадоров», одетых рыцарями, но в круглых с большими полями шляпах, так называемых «sombrer».

---

[23] Бой быков.

За ними пешком в древне-испанских парчовых костюмах, в шелковых розовых чулках и лакированных башмаках, с накинутыми на плечи красными плащами и в небольших с круглыми полями шляпах, из-под которых виднеются заплетенные косички, шли «бандельеры», замыкают же шествие в таких же костюмах, но с мечами в руках, главные артисты — «матадоры».

Между «матадорами», или иначе называемыми «тореадорами», есть знаменитости, славящиеся на всю Испанию и зарабатывающие огромные деньги.

Эти знаменитости получают по три и четыре тысячи франков за представление.

В Сан-Себастиано в то время был один из таких знаменитостей La Hortiho, который был встречен при появлении его на арене оглушительными рукоплесканиями.

Вообще, знаменитых тореадоров немного, и их насчитывают всего с десяток во всей Испании.

Самые знаменитые из них: Fascnello, La Hortiho, Guerito и Masoutini.

Достаточно, чтобы имя таких знаменитостей стояло на афише, чтобы со всех концов Испании съехались бы в цирк их поклонники и поклонницы.

Представление началось.

XVIII
Роковое открытие

Роли исполнителей каждой из трех категорий различны.

По окончании торжественного шествия и по выпуску на арену быка начинают пикадоры.

Они скачут и колят его со всех сторон пиками, стараясь разъярить.

Раздраженный бык бросается на них и распарывает брюхо их лошадей рогами.

Удар бывает иногда так силен, что лошадь со всадником опрокидываются на землю.

Разъяренный бык топчет их, и всадники спасаются лишь тем, что под платьем у них латы.

Раненую или убитую лошадь убирают, а другой пикадор спешит подставить быку другую жертву.

Убив или выпустив кишки двум-трем лошадям, бык, весь в крови, разъяренный до высшей степени этими совершенными им убийствами, с налитыми кровью глазами, мечется по арене, ища новых жертв.

Тогда выступают бандельеро.

Они идут прямо навстречу быку и машут перед ним своими красными плащами, что приводит и без того разъяренное животное в бешенство.

Он бросается на плащ, но ловким движением бандельеро отдергивает плащ и всаживает в спину или шею несущегося мимо него животного копье, украшенное лентами.

Бедный бык ревет от боли, обливаясь кровью, и бросается на других бандельеро, которые проделывают то же самое и всаживают копья даже с петардами, которые с треском лопаются, обжигая спину и раны несчастному животному.

Унизанный копьями, бык ревет от боли и трется о стены арены, думая тем избавиться от воткнутых в него копий, но этим еще более вонзает их в свое израненное тело.

В этот момент появляется главный исполнитель — тореадор. Он с необычайным хладнокровием, мерными шагами идет прямо навстречу разъяренному быку и, махая своим красным плащом, как будто вызывает его на поединок.

Рассвирепевшее животное бросается на него, стараясь посадить его на рога, но ловкий артист быстрым движением в сторону уклоняется от направленного на него удара.

Промахнувшийся бык, оборачиваясь, снова бросается на тореадора, и на этот раз неустрашимый артист ждет быка твердо, не трогаясь с места.

Бык, нагнувшись, с пеной у рта, кидается на своего противника. Кажется, еще одна секунда — и тореадор у него на рогах, но в этот самый момент артист ловко отскакивает в сторону и одновременно вонзает свою шпагу по самую рукоять между плечами несчастного животного, которое с ревом падает к его ногам.

Публика в восторге. Аплодисментам нет конца, восхищенные пылкие испанцы бросают тореадору деньги, браслеты и цветы.

Музыка играет триумфальный марш в честь победителя, а бедного быка увозят с арены на тройке изукрашенных лентами и бубенчиками мулов.

Во время представления убивают таким образом шесть-восемь быков, и чем бык свирепее, тем больше удовольствия доставляет публике.

Во время этого-то представления, сидя один в ложе, находящейся рядом с ложей госпожи Гуера, Николай Герасимович заметил, что сын ее не имеет стула.

Савин предложил ему один из свободных стульев своей ложи. Он с благодарностью его взял и после представления счел долгом поблагодарить поклоном.

Николай Герасимович отвечал поклоном ему и его дамам, которые тоже поклонились ему с любезной улыбкой. Савин был в восторге — первый шаг был сделан.

На обратном пути ему удалось опять сесть в вагон с семейством Гуера.

Кроме них в купе никого не было, и Николай Герасимович, входя в него, спросил из учтивости, не помешает ли он. Ему ответила госпожа Гуера по-испански, что нет.

По дороге Савин старался разговориться с молодым Гуера, но тот дал ему понять несколькими дурно произнесенными французскими словами, что не говорит иначе, как по-испански.

Бывший с ними и теперь, как всегда, безотлучно, дон Педро Сарантес передал Николаю Герасимовичу свою визитную карточку и в очень любезных выражениях объяснил, что он и его дамы очень будут рады с ним познакомиться, но что никто, кроме него, из их общества не говорит иначе, как по-испански.

Савин поспешил выразить сожаление о незнании их языка.

Он и действительно пожалел, что не знал языка Кальдерона и даже мысленно дал ему слово сейчас же начать изучать его.

Это, однако, осталось только намерением.

Выйдя на другой день в коридор гостиницы, Николай Герасимович встретился с ее хозяином, живым и юрким, не то французом не то евреем, г. Ласаль.

Они разговорились о новостях сезона.

— На днях у нас в гостинице свадьба… — сообщил хозяин.

— Вот как, чья же? — спросил Савин.

— Дон Педро Сарантес женится на m-lle Кармен Гуера.

Удар обухом по голове не так бы сразил Николая Герасимовича, как эта новость.

Два часа спустя, он покинул Биарриц и катил на всех парах по направлению к Парижу.

Он застал Париж пустым.

Знакомые были на морских купаньях и в своих замках, и Савин почувствовал пустоту и скуку в этом городе веселья и суеты.

Парижане не выезжают на дачи в окрестности города, как это делают в России, и дачная жизнь у них совершенно неизвестна.

Там, по окончании весеннего сезона, в июне месяце, после Grandprix, все представители бомонда и вообще все богатые люди уезжают на воды или едут путешествовать по Англии и Швейцарии. В конце же лета весь этот кочующий Париж съезжается на морские купанья в Трувиль, Диеп, Аркашон, Биарриц и другие модные купанья, где проводят время до поздней осени.

Парижский «демимонд» со времени второй империи завоевал себе вполне гражданственность в столице мира.

Он имеет самостоятельное положение, свой круг знакомства, дает даже тон, моду и бывает открыто и без всякого стеснения всюду, где бывает и бомонд.

К высшему полусвету принадлежат далеко не все хорошенькие и шикарные парижские кокотки. Для того, чтобы попасть в эту аристократию батальона Цитеры, надо тоже своего рода право или протекцию, être lancée dans la haute vie, как выражаются парижане. Для этого надо быть или артисткой какого-нибудь театра, или же иметь постоянного покровителя, принадлежащего к этой haute gomme и могущего ввести свою протеже в высший круг парижского кокотства.

Все эти дамы — ярые аристократки, и как только попадают в высший полусвет, сейчас же возводят себя в баронесс, графинь и маркиз, бесцеремонно прибавляя к своим вульгарным фамилиям дворянскую частицу «de», а если фамилии их уж очень вульгарны и нельзя их приукрасить даже прибавлением титула, то они, не задумываясь и не спросясь, берут и носят первую понравившуюся им аристократическую фамилию, не забывая, конечно, вышить, измалевать и напечатать везде, где только возможно, короны и гербы носимых ими фамилий и титулов.

Оттого-то между разъезжающими в великолепных экипажах по Булонскому лесу дамами полусвета часто можно встретить графинь д'Алансон, де Лануа, Субиз, Шабан и других, не имеющих, как дочери портье и прачек, ничего общего с носимыми

ими аристократическими фамилиями. Да им и нельзя не быть аристократками и ярыми монархистками.

Не республика и не плебеи дали им то положение, ту роскошь, которыми они пользуются.

Получили они все это большею частью от людей, принадлежащих к настоящей или поддельной финансовой аристократии, и потому весьма понятно, что взгляды и понятия их покровителей легко прививаются и к ним, а идеалами их являются все эти титулы, короны и связанная с ними роскошь.

Замечательнее всего — эта быстрота, с которой эти дочери прачек и лакеев входят в свою новую роль и как они прекрасно усваивают элегантные манеры, подходящий тон и даже разговор чистокровных аристократок, не говоря уже о том, с каким умением и шиком они одеваются и бросаются, чисто по-аристократически, деньгами.

Вообще полусвет в Париже делает огромный подрыв настоящему свету.

«Эти дамы», живущие очень роскошно и располагающие огромными деньгами, преподносимыми им многочисленными обожателями, задают у себя часто вечера, балы и обеды и этим, конечно, отвлекают из скучных салонов Сан-Жерменского предместья большую часть молодежи, находящую, понятно, более развлечения в обществе этих милых и легко доступных женщин, чем у чопорных светских львиц.

Другое и огромное преимущество кокоток перед светскими женщинами состоит в том, что связь с первыми ни к чему не обязывает, кроме траты денег, ухаживания же за светскими женщинами стоят часто дороже и, главное, всегда связывают.

«Этих дам» можно встретить повсюду: на общественном балу, в театре, на скачках, наравне с дамами бомонда, и мужчины открыто, без всякого стеснения кланяются им и входят к ним в ложи на глазах у всех.

Мужчины делают вид, что не замечают кокотки только тогда, когда находятся в экипаже или в обществе светских женщин, но, отойдя от светской дамы и встретив, хотя бы в двух шагах от последней, знакомую даму полусвета, галантный кавалер поклонится ей так же учтиво, как бы он поклонился при встрече с самой чопорной герцогиней.

Вообще, по отношению к кокоткам высшего полета соблюдается во всем принятый светский этикет, и для того чтобы познакомиться с ними, необходимо быть им представленным.

Это представление, кроме этикетного значения, служит также ручательством за вновь представленного, что он не окажется дутым богачом или, выражаясь языком кокоток, «qu'il ne pausera pas un lapin».

XIX
Нравы «полусвета»

В своих деловых отношениях кокотки очень практичны и осторожны.

Они собирают справки обо всех богатых иностранцах, приезжающих в Париж, о молодых людях, получивших наследство, или богато женившихся.

Для этого существуют даже специальные «конторы справок» (bureaux de rensegnements), дающие своевременно все эти сведения кокоткам, а они уже принимают все меры, чтобы привлечь к себе интересного субъекта, de ia faire casquer, как выражаются они на своем жаргоне.

Кокотки, кроме того, имеют большое влияние на парижскую «золотую молодежь» и представителей прессы, вертящихся в их обществе, и часто этим влиянием содействуют богатым иностранцам, тратящим на них деньги, втереться в аристократическое общество, в первоклассные парижские клубы, что очень трудно в Париже без серьезных рекомендаций, а кокоткам удается очень часто.

Еще в бытность Николая Герасимовича Савина в Париже с Анжеликой, весь город говорил о страшном богаче, русском князе Оскорбленове, который удивлял Париж своею роскошью и безумными тратами.

Задавая лукулловские обеды и великолепные вечера в своем роскошном отеле на бульваре Мальзерб, он был пущен в ход и даже попал в члены двух аристократических клубов, «Merliton» и «Cercle», стараниями и рекомендацией своей метрессы Декроза, хорошенькой жидовочки, артистки театра Nouveautés.

Савину, как русскому, и кроме того, москвичу, было, конечно, смешно слышать все эти рассказы о русском князе Оскорбленове.

Он знал хорошо его отца, известного ростовщика того времени, Сергея Васильевича Оскорбленова.

Правда, что ростовщик, отец этого, возведенного Декроза в князья, московского савраса, действительно был миллионер, но нажил эти миллионы самым грязным образом, пустив по миру немало несчастных людей, что было известно всей Москве.

Знай это все кутящие, но, бесспорно, почтенные господа, в обществе которых вертелся в Париже Оскорбленов — сына его, конечно, не приняли бы не только в аристократический клуб, но даже не впустили бы ни в одну переднюю.

Не довольствуясь своим самозванным титулом, этот «prince d'Oskorblenoff» прибавлял на своих визитных карточках еще ложное официальное положение, именуя себя «attache au ministère des finances de Russie en mission a Paris».

Французы страшно доверчивы, особенно по отношению к иностранцам, так что достаточно представления какой-нибудь «модной дамы» (femme a la mode), самозванно взятого громкого титула, бесцеремонно прибавленного к плебейской фамилии, и глупейшей приписки на визитных карточках, чтобы совершенно незнакомый иностранец был принят в самое изысканное общество, в которое трудно попасть даже вполне приличному, с безукоризненной репутацией французу, не принадлежащему по рождению к этому обществу.

Николай Герасимович удивлялся, глядя со стороны на этого московского савраса, превратившегося в Париже в князя, как это все эти воспитанные и в высшей степени щепетильные господа, в кругу которых он вращался, не замечали его вульгарных манер и неумения себя держать в обществе.

Не могли же они предполагать, что русские князья такие неблаговоспитанные.

Конечно, не его дело было вмешиваться в это и раскрывать глаза доверчивым и наивным французам.

Он не сделал бы этого даже только потому, чтобы не нанести вреда своему соотечественнику.

Хотя Оскорбленов был хам, но все же он был русский и, кроме того, этим княжеским титулом не делал вреда никому, кроме своего собственного кармана, прожигая в Париже накопленные его ростовщиком-отцом деньги.

Случай на этот раз привел Савина познакомиться ближе с этим «князем Оскорбленовым».

Вскоре после приезда из Биаррица Николай Герасимович встретил графа де Диона.

Приятели обнялись.

Граф рассказал ему, что дела его теперь блестящи, так как тетушка, о которой он при жизни почти не имел понятия, умерла без завещания, и он оказался единственным наследником ее богатств.

— Я приехал в Париж по делу к моему банкиру и адвокату и сегодня же уезжаю к себе в замок… Надеюсь, что и ты приедешь ко мне погостить и поохотиться. Теперь в Париже ты рискуешь умереть со скуки, — сказал граф.

— Да, признаться, скучновато, — заметил Савин.

— То-то же, так приезжай…

— С удовольствием…

Граф де Дион дал ему карточку, написав маршрут поездки.

Замок де Дион находился в окрестностях Тура.

Перемена в имущественном положении графа де Диона не была неожиданна, так как Николай Герасимович еще в Лондоне слышал о широкой жизни графа и, конечно, догадался, что обстоятельства его изменились к лучшему.

Через несколько дней после встречи с де Дионом, Савин решил воспользоваться его приглашением и выехал из Парижа в замок своего друга.

На станции Piere-sur-Liore, находящейся в трех километрах от замка де Дион, его встретил кучер графа, приехавший за ним вследствие посланной Савиным телеграммы, с извещением о времени выезда из Парижа, и он отправился в замок.

Старинный замок был построен на высоком живописном берегу широкой Лауры.

Его высокие башни виднелись на несколько километров, а подъезжая ближе, Николай Герасимович положительно залюбовался его красивой архитектурой стиля ренессанс и очаровательным пейзажем, который его окружал.

Вокруг замка, по склону довольно крутого берега, был раскинут тенистый, очень обширный парк, облегавший замок со всех сторон, так что, подъезжая к нему ближе, въезжаешь в самый парк и едешь в продолжение четверти часа по широкой шоссированной дороге,

ведущей прямо к главному фасаду замка, выходящему на большой усыпанный песком двор.

Приехав в замок и переодевшись в отведенной ему комнате, Савин отправился вслед за лакеем, показывавшим ему дорогу, через целую анфиладу богато убранных комнат на террасу, где находилось в ожидании обеда все общество.

Хотя это было в деревне и притом не в семейном доме, но этикет туалета тоже строго соблюдался, и к обеду все переодевались.

Дамы надевали более элегантные туалеты, а кавалеры являлись все во фраках.

Разница от городского туалета была только та, что дамы носили короткие платья, а мужчины, вместо черных фраков, надевали красные.

Граф де Дион радостными восклицаниями встретил Николая Герасимовича и тотчас же представил всему обществу, и в том числе хозяйке дома, своей новой подруге, Жанне де Марси, с которой он сошелся недавно.

— Князь Оскорбленов… — между прочим, сказал де Дион, представляя Савину толстого, упитанного юнца. — Русский князь.

— Я знавал вашего батюшку… в Москве, — не утерпел, чтобы не сказать, Николай Герасимович.

Оскорбленов сперва весь вспыхнул, а затем побледнел. Савину стало его жалко.

— Очень приятно теперь познакомиться и с вашим сиятельством… Здесь, за рубежом, все мы, русские, должны быть друзьями…

Он подал Оскорбленову руку. Тот крепко, с чувством, пожал ее.

— Очень рад, благодарю, благодарю вас…

Хозяйка дома — Жанна де Марси, была одна из новых звезд полусвета и по красоте своей звезда первой величины. Высокая, стройная брюнетка, с правильными чертами лица и большими голубыми глазами.

Этот контраст глаз с цветом волос был замечательно эффектен и придавал много прелести и без того прелестному личику молодой женщины.

Николай Герасимович видел ее и раньше мельком в Булонском лесу и на скачках, но в то время она еще не была пущена в ход, «lancée», как выражаются французы, в высшем полусвете, живя с каким-то шоколадным фабрикантом.

С получением неожиданно громадного наследства, граф де Дион перебил ее у шоколадных дел мастера, и она сразу получила громкую известность.

Все модные газеты восхищались ею, и Савин неоднократно, будучи в Лондоне и Биаррице, читал в «Gil-Blas» и «Gaulois» хвалебные рецензии, посвященные новой подруге известного clubman'a и жуира графа де Дион.

Жанна де Марси была подругой и даже товаркой по театру с Декроза, подругой Оскорбленова, и в силу-то этой дружбы «русский князь» и попал в замок де Дион.

После обеда, окончившегося довольно поздно, все общество перешло в большой зал, где начались танцы под рояль.

Сначала танцевали очень чинно, как бы в самом фешенебельном обществе, но это продолжалось недолго.

Под влиянием выпитого шампанского, милые графини и баронессы вскоре разошлись и, сбросив свою напускную сдержанность, стали поднимать свои кружевные юбки и хорошенькие ножки немного выше, чем это принято в обществе настоящих графинь.

В конце концов, увлекшись окончательно, дамы стали бойко канканировать, не хуже любой гризетки в Бюлье и Элизе-Монмартр.

Князь Оскорбленов, не принимавший участия в танцах, весь вечер сидел, с важностью истого князя, у буфета и почти без передышки тянул шампанское.

В конце вечера он так им насосался, что во время самого разгара танцев, видимо, вообразил, что он в «Стрельне», и во все горло начал петь цыганские песни, и вдруг, не выдержав долее своего княжеского достоинства, пустился в пляс, вприсядку.

При начале этого неожиданного дивертисмента все отнеслись к нему с удивлением и смехом, но когда князь в красном фраке стал выделывать ногами разные выкрутасы русского трепака и пустился вприсядку, все, особенно дамы, пришли в неистовый восторг.

Аплодисментам не было конца, и со всех концов только и было слышно:

— Bravo, bravo, Oskorblenoff![24]

— Vive la danse nationale russe![25]

---

[24] Браво, браво, Оскорбленов!

[25] Да здравствует национальный русский танец!

Танцы были остановлены, все общество образовало широкий круг, в центре которого «веселый русский князь» продолжал с необычайной неустрашимостью выделывать замысловатые па русской пляски.

Наконец, обессиленный и утомленный, он растянулся на полу, и не успели опомниться зрители, как танцевальный дивертисмент сменился вокальным, — «русский князь» спал крепким сном и храпел на всю залу.

Раздавшийся кругом него гомерический хохот не разбудил его.

Два лакея бережно взяли бесчувственное тело рьяного плясуна и отнесли его в его комнату.

Прерванные этим смехотворным эпизодом танцы продолжались.

Танцевально-вокальный и совершенно неожиданный номер программы вечера, данный Оскорбленовым, еще более усилил веселое настроение присутствующих.

XX
Лили

Как ни велик был замок де Дион, но поместить всех многочисленных приятелей и приятельниц графа он был не в состоянии, а потому приглашенные чередовались.

Когда Николай Герасимович приехал, гостей было человек до тридцати, в том числе двенадцать дам, дня через два некоторые из гостей покинули замок, а на место их приехали новые.

В числе последних были две очень хорошенькие женщины, сестры де Баррас.

Приехали они с известным спортсменом Эдмундом Блан, сыном бывшего содержателя игр в Монте-Карло.

Эдмунд Блан жил со старшей сестрой Генриеттой.

С последней Савин был знаком раньше, но младшую, Елиз, которую все звали *Лили*, он не знал, так как она в Париже в последнее время не жила, будучи на содержании у берлинского банкира-миллионера барона Шварцредера.

Приехав в Париж к сестре погостить, она совершенно случайно попала в замок де Дион.

Лили было всего девятнадцать лет.

Это была среднего роста, стройная и в высшей степени грациозная блондинка, с золотисто-рыжеватым оттенком волос, напоминавшим Николаю Герасимовичу Кармен Гуера.

Черты лица ее нельзя было назвать правильными, но в этих-то именно неправильностях и была вся ее пикантная красота.

Бойкая, веселая, остроумная, она была чистейший тип парижанки.

Замечательнее же всего в наружности Елиз де Баррас были ее большие черные глаза, которые магически притягивали к их обладательнице.

На Николая Герасимовича эти глаза так подействовали, что положительно приковали его взоры к ней. Он не мог оторвать от нее глаз с первой же минуты их знакомства.

Через три дня он был уже в нее влюблен по уши.

По целым дням он любовался ею и преследовал ее как тень, садился за стол рядом с нею, был ее постоянным кавалером во время прогулок, катанья верхом и танцев.

Такое упорное ухаживание не могло быть, конечно, не замечено всеми и вызвало шутки.

— Фонды Шварцредера в Берлине, кажется, идут на понижение, — подсмеивался граф де Дион, — а прическа на повышение — у него, наверное, стали пробиваться рожки…

Эту шутку встретил взрыв хохота.

— Я не поручусь, — продолжал он развивать свою мысль, — что, когда Лили вернется в благочестивый Берлин, она не узнает своего барона, так как к тому времени у него вырастут настоящие оленьи рога.

— А я боюсь вот чего, — продолжала на ту же тему Генриетта де Баррас, — чтобы моя милая Лили не испугалась бы настолько этих рогов, выросших у ее барона, что от испуга не уехала бы еще дальше от нас, в русские степи, кстати и кавалер ее знает туда дорогу.

Завись это от Савина, он готов был увезти Лили не только в степи, но и на край света. Но для этого недостаточно было одного его желания, надо было узнать взгляд на это и Лили.

Николай Герасимович решил переговорить с нею, высказать свои чувства и просить решить его участь.

Он стал искать удобного случая.

Этот случай не замедлил представиться.

Через несколько дней после завтрака, в то время как все общество разбрелось, кто в курильную, кто в библиотеку, а кто и в парк, дамы же большею частью пошли в свои комнаты, чтобы поправить

свой туалет, Савин совершенно неожиданно очутился вдвоем с Лили в одной из гостиных замка.

Была ли случайность, или же Лили сама устроила этот tete-a-tete со своим настойчивым ухаживателем — кто знает, но только Николай Герасимович, возвращаясь из библиотеки и проходя большой красной гостиной, застал ее одну у пианино.

Она играла какой-то мотив из «Маскотты».

— Я не помешаю вам? — подошел к ней Савин.

— Нисколько, — ответила она с прелестной улыбкой, — я очень даже рада случаю, что вы пришли именно сюда, к пианино… Наверное, вы не откажетесь спеть несколько русских романсов, я уже в Берлине слышала некоторые из них от одного моего знакомого русского дипломата барона Норинга, и они мне очень понравились…

Савин с радостью согласился исполнить желание Лили. Он сел к пианино и, аккомпанируя самому себе, запел один из его любимых цыганских романсов «Очи черные, очи страстные».

Голоса у него в строгом смысле не было, но было уменье петь и фразировать, что совершенно достаточно для исполнения цыганских романсов.

Элиз де Баррас, конечно, не понимала слов, но мелодичность музыки видимо подействовала на нее, щеки ее разгорелись, прекрасные глаза еще более, чем обыкновенно, засверкали, и она, сев за пианино рядом с Николаем Герасимовичем, стала по слуху подбирать только что слышанный ею цыганский романс.

— Сыграйте и спойте еще… — попросила она.

Один за другим романсом он спел почти весь свой репертуар.

Родные русские слова, слова поэзии, слова любви наэлектризовали Савина еще более, и после спетого последнего романса он неожиданно для самого себя внезапно очутился у ног Лили и, схватив ее руки, стал покрывать их горячими поцелуями.

Она не отнимала их.

— Я вас люблю… — говорил он ей. — Не удивляйтесь такому быстрому моему увлечению и не думайте, что это только порыв мимолетной страсти… Когда вы больше узнаете меня и мой характер, вы поймете, что для меня время не играет в деле чувства никакой роли, и что любовь, которую я питаю к вам, искренняя, жгучая, сильная и вечная… Любовь эта загорелась с того момента, как я в первый раз увидел вас здесь, она поразила с быстротою молнии мое сердце,

я потерял способность рассуждать… Безрассудно, что я говорю вам это, зная, что вы принадлежите другому, страшно богатому человеку, с которым, конечно, в денежном отношении я соперничать не могу, но я не в состоянии был сдержаться и не излить вам мои чувства, и если эти чувства найдут хотя бы какой-нибудь отголосок в вашем сердце, то вы не скроете его от меня, скажете мне, согласны ли вы бросить вашего барона для меня и быть моей.

Елиз де Баррас слушала Николая Герасимовича внимательно, почти с тем же выражением, с которым прислушивалась к понравившимся ей музыкальным мотивам.

Когда он кончил, она несколько времени молчала. Он глядел на нее умоляющим взглядом.

Наконец она заговорила.

— Вы мне очень нравитесь, m-eur Савин, и я думаю, что полюблю вас. До сих пор я никого не любила и, признаюсь вам, что первое чувство симпатии, которое пробудилось в моем сердце, принадлежит вам.

Савин снова стал целовать ее руки.

— Барона Шварцредера я не люблю, и если живу с ним, то потому только, что надо же мне жить с кем-нибудь, раз я попала на эту дорожку. Я на нее была увлечена примером моей сестры и моим легкомыслием, — вздохнула она.

Николай Герасимович восторженными, счастливыми глазами смотрел на нее.

— Что касается миллионов барона, то я к ним отношусь очень хладнокровно. Я не из тех женщин, которые смотрят на деньги, как на главный двигатель их жизни. Да и барон, хотя и миллионер, но не из тех людей, которые тратят свои миллионы на женщину, с которой живут. Многого я ему не стою, и я не стараюсь его обирать, так как это не в моем характере. С годами, с опытностью, может быть, это разовьется и во мне, как у других женщин, но пока эти алчные чувства, вероятно, спят во мне… Они чужды мне…

В этот самый момент в гостиную вошли Жанна де Марси, Декроза и Оскорбленов; дамы были в амазонках, а последний в высоких сапогах со шпорами.

Они ехали кататься и искали Савина и Лили.

Николай Герасимович быстро вскочил с колен и отступил от Лили.

Но любовная сцена была замечена, и вошедшие громко расхохотались.

— Вот они, наши воркующие голубки, которых мы ищем целый час! — воскликнула Жанна.

Хотя Лили не была барышня-институтка, застигнутая своею мамашей, но все же очень сконфузилась восклицанием Жанны и, чтобы избегнуть новых насмешек, ушла в свою комнату под предлогом переменить платье на амазонку.

— Я сейчас, я переоденусь и еду с вами… — сказала она и выпорхнула из гостиной.

Николай Герасимович кататься не поехал, а пошел в свою комнату и стал писать Лили письмо.

Так неожиданно прерванный разговор с молодой женщиной требовал непременного продолжения.

Из него Савин узнал, что она симпатизирует ему, что не любит барона и не дорожит его миллионами.

Все это было для него отрадно, но он не знал главного, согласна ли она бросить барона и сойтись с ним.

Поэтому в письме он умолял Лили о свидании наедине, а для этого самым удобным местом, по его мнению, была ее комната. Для того же, чтобы избежать новых шуточек со стороны наших приятелей и особенно приятельниц, Николай Герасимович предлагал ей проникнуть в ее комнату, находившуюся в первом этаже, через окно из парка.

В конце письма он уведомлял ее вследствие этого, что в ожидании свидания будет ровно в час ночи находиться под ее окном.

Письмо это Савин отправил через горничную Лили, по возвращению последней с катанья, и ожидал с нетерпением ответа.

Весь вечер провел он в мучительном ожидании.

Лили была очень весела, кокетничала с ним, как никогда, но ни слова не говорила о том, что так его интересовало.

Правда, они ни на минуту не могли остаться одни, но, по его мнению, она все же могла ему сказать вскользь что-нибудь, хотя несколько слов, из которых он понял бы ответ.

Так прошел вечер, все стали расходиться.

Сердце Николая Герасимовича сильно билось, когда Лили протянула ему на прощанье свою маленькую ручку.

Но оно сперва замерло, а потом еще сильнее забилось, когда в момент нежного пожатия руки он почувствовал шуршанье бумажки, оставленной в его руке.

Положив незаметно в карман драгоценный лоскуточек, он ушел в свою комнату.

Быстро поднявшись по лестнице, он, как только вошел к себе, вынул записочку.

В ней было одно слово: «Venez»[26].

Все спало в замке, когда башенные часы пробили час.

Осторожно вышел Савин из комнаты, на цыпочках спустился вниз по лестнице и вышел через террасу в парк.

Лили, как мы уже сказали, занимала комнату в нижнем этаже, и Николаю Герасимовичу не стоило большого труда влезть в окно по широкому выступу фундамента.

Все это было им осмотрено заранее.

Подойдя к окну, он увидал, что оно *открыто,* но огня в комнате не было.

Савин несколько раз кашлянул.

Кашель был услышан.

Портьера откинулась, и у окна показалась Лили, освещенная нежным светом луны.

На ней был голубой шелковый, отделанный кружевами, пеньюар, длинные золотистые волосы были распущены и имели вид золотой мантии.

Нежная, но страстная улыбка играла на ее прелестных губках, а глаза не только блестели, но даже искрились. В них чувствовалось нетерпение, страсть и желание.

Они красноречиво выдавали душевное настроение их обладательницы.

Эти-то глаза первые выразили Савину то, что он потом услышал из уст Лили.

Вскочить, осторожно, без шума, в окно, было делом одной секунды, и Николай Герасимович очутился в объятиях молодой женщины.

Долго он не мог вырваться из этих объятий, долго он целовал пахучие нежные волосы и эти страстные, притянувшие его глаза.

---

[26] Приходите.

Молодая женщина говорила уже не о симпатии, а о любви, и эти слова звучали так нежно и страстно.

Ожидаемый от Лили ответ, за которым он пришел, был получен, однако, не на словах только…

Рано утром Николай Герасимович осторожно пробрался снова в свою комнату.

XXI
Разочарование

Прошло несколько месяцев.

Николай Герасимович и Лили объехали почти всю Италию, побывали в Венеции, Флоренции, Риме и Палермо и поселились, наконец, в Неаполе, куда приехали в начале декабря, предполагая прожить в нем до конца весны и возвратиться в Париж к открытию сезона.

Жили они в небольшой, но очень хорошенькой вилле, расположенной на берегу моря, в конце Киаи, по дороге в Базилит.

Савин нанял эту виллу, по настоянию Лили, которой надоела жизнь в гостиницах во время странствования по Италии.

Ей хотелось устроить, как она выражалась, свое гнездышко.

Николай Герасимович, конечно, с радостью исполнил ее желание и нанял на полгода хорошенькую виллу, окруженную садом из апельсиновых и лавровых деревьев.

Внутри она была очень мило отделана и меблирована, так что с небольшими, сделанными по указанию Лили, переделками, их новое жилище обратилось действительно в то уютное гнездышко, о котором мечтала молодая женщина.

Прислуга у них была итальянская, за исключением горничной Лили — Антуанетты, которую она привезла из Парижа.

Первое время по приезде в Неаполь, они жили жизнью иностранцев-туристов, жаждущих все видеть, везде побывать.

Любопытного в Неаполе и его окрестностях — пропасть, и Савин, как хорошо уже знакомый со всеми достопримечательностями этого прелестного города, мог служить прекрасным чичероне для своей милой спутницы.

Ему помогали в этом и его неаполитанские друзья: князья Кассоно, Пиньятелли и другие.

В первое пребывание его в Неаполе он составил себе довольно обширный круг знакомства среди местной «золотой молодежи».

Эта-то молодежь стала бывать у них, всячески развлекая и занимая Лили.

Ее все чествовали, баловали, исполняя все ее малейшие прихоти и затеи.

Почти ежедневно устраивались катанья, осмотр музеев, разных достопримечательностей, поездка в интересные и очаровательные окрестности Неаполя, на Везувий, в Помпею, Соренто, остров Капри и другие.

В благодарность за любезность друзей, Николай Герасимович и Лили часто устраивали для них обеды, вечеринки, а также приглашали в ложу в театр, куда ездили почти ежедневно.

Время летело быстро и незаметно.

Савин был счастлив, счастлив безусловно, но увы, это, к сожалению, продолжалось недолго.

Наступило роковое время анализа, и у Николая Герасимовича раскрылись глаза.

То, что он увидел, охладило его чувство, или, лучше сказать, уничтожило ту полноту его, при которой он только и понимал чувство.

Увлекшись, влюбившись в Лили, он предался этой любви со всею силою своего необузданного характера. Ему не приходило даже в голову, куда доведет его эта любовь и сколько она продолжится.

Да и к чему ему было знать это?

Он любил Лили и, видимо, был любим ею — этого ему было вполне достаточно.

Конечно, Лили его тоже любила, но любовью своеобразной.

Ее любовь к нему была скорее порывами страсти, капризом, чем настоящей истинной любовью.

Первое время он не замечал, не понимал этого, но мало-помалу он ознакомился ближе с душевными свойствами, характером и темпераментом молодой женщины, начал вникать в ее оригинальную натуру и к ужасу своему убедился, что они друг друга не понимают, а главное любят друг друга совершенно различно.

Лили была бесспорно умна, и ум ее проявлялся в остроумии и насмешках, при полном отсутствии логики.

При этом она была страшной кокеткой и любила всюду во всем оттенять свою красоту и грацию.

Кокетство было для нее какой-то потребностью, она не могла без него обойтись, от него удержаться и этим часто шокировала Савина.

Она была существо чисто внешнее, декоративное, не находящее успокоения ни в тихой жизни, ни в блаженстве взаимной любви.

Николай Герасимович пришел к страшному убеждению, что она любила его ради удовольствия и смотрела на любовь, как на чувственный порыв, как на потребность насыщения, но не как на возвышенное чувство.

Любовь была для нее только одним из многих удовольствий.

Она относилась к Николаю Герасимовичу не искренно, как к другу, а пылко и страстно, как к любовнику.

Это-то разделение чувств и полное отсутствие искренности ему было непонятно.

Он не постигал, как можно любить тело, без того, чтобы не любить душу.

Для него женщина, которую он любил, была его первым другом: он не только любил ее ради удовольствия любить, но уважал ее и доверял ей.

По его мнению, эти чувства были нераздельны и связаны настолько крепко между собой, что отделить их одно от другого невозможно без нарушения общей гармонии любви.

Вначале, отуманенный страстью, он не замечал этой разницы между ними во взглядах на жизнь и любовь.

Сойдясь с Лили, он надеялся найти в ней то, что давно искал: любовь и счастье.

В ней было, казалось ему, именно все, что могло дать желаемое. Она была красива, молода, изысканна, изящна и умна.

В его влюбленных глазах она была олицетворением красоты и женских достоинств.

Это было, повторяем, вначале.

Вглядевшись и изучив ее больше, он стал замечать все более и более ее недостатки — пустоту, легкомыслие и кокетство.

Он не унывал на первых порах, надеясь подействовать на молодую натуру, и принялся энергично воспитывать молодую женщину.

Он старался говорить с ней о вещах более серьезных, заинтересовать чтением, серьезной музыкой, удерживать от мотовства, не отказом в деньгах, а убеждениями в несообразности бесцельного бросания этих денег на ветер.

Но труд его не увенчался успехом, или, быть может, его педагогические способности были плохи.

Время летело.

Несходство взглядов и характеров незаметно, как подземный червь, подтачивало благополучие Савина и Лили.

Разрыв подготавливался медленно, но упорно, хотя, как это всегда бывает, должен был случиться именно тогда, когда его менее всего ожидают.

Если внимательно вглядеться, из-за чего так безобразно, злостно и бесчестно разрушается семейная жизнь, то увидишь, что в громадном большинстве случаев это происходит из-за сезонной шляпки, из-за модного платья, выезда на бал, вообще, из-за мелочей и пустяков.

Когда же притом еще замешивается роман, тогда разрыв ускоряется и зависит чисто от непредвиденных случайностей.

Как ни содержи муж свою жену, в полную ее волю, как ни люби ее, но отказ в сезонной шляпке, или в другой безделушке поведет, в девяносто девяти из ста случаев к крупному скандалу, к разрыву, к измене и даже иногда к пальбе из револьверов.

Матримониальные отношения не играют здесь никакой роли — жена или сожительница — все равно, здесь выступает на первый план женщина.

Но возвратимся к прерванному рассказу.

Между молодыми людьми, бывавшими часто у Савина и Лили, был и некто Франческо Битини.

Он был отставной кавалерийский офицер, родом из Турина, проживавший, по выходе в отставку, в Неаполе.

Познакомился Николай Герасимович с ним у князя Пиньятелли, с которым он был очень дружен.

Битини был человек небогатый и очень скромный.

Эта его скромность, предупредительность и большой талант в музыке расположили Савина в его пользу, так что вскоре после знакомства Битини стал частым гостем на их вилле, проводя с Лили и Николаем Герасимовичем целые дни.

Лили не обращала на него почти никакого внимания и даже не кокетничала с ним, как она делала с остальными молодыми людьми.

Это последнее обстоятельство заставило Савина еще более доверчиво относиться к Битини.

Николаю Герасимовичу надо было съездить во Флоренцию на свадьбу одного его приятеля и он, уехав, поручил Лили Битини, как самому верному и скромному его другу.

Вернувшись в Неаполь, Савин получил от последнего искренний, полный отчет в проведенном им в обществе Лили времени.

Савин крепко его обнял и горячо поблагодарил.

Вскоре после этой отлучки из Неаполя, произошла между Николаем Герасимовичем и Лили первая серьезная ссора.

Ссора произошла сравнительно из-за пустяков.

Лили была, как известно, очень своенравна и капризна, не терпела противоречий и отказа.

Ее желания, прихоти должны были быть законом для окружающих и особенно для близкого ей человека, малейший спор, со стороны которого вызывал бурную сцену.

В одно даже не прекрасное утро вскоре после возвращения его из Флоренции, он был крайне удивлен визитом господина Маркесини, придворного ювелира в Неаполе.

Оказалось, что он явился со счетом в двадцать с чем-то тысяч франков за купленные Лили в его магазине вещи.

В этом счете фигурировали, между прочим, пара бриллиантовых серег, солитеров и брошь, стоящая шестнадцать тысяч франков, которые Лили взяла у него в отсутствие Николая Герасимовича и даже не сказала ему об этом по его возвращении.

Попросив господина Маркесини подождать его в кабинете, Савин пошел объясниться с Лили.

Эта выходка была слишком крупной, чтобы оставить ее без последствий. Он не мог бросать так десятки тысяч, и решился раз и навсегда прекратить подобное мотовство.

XXII
Из-за бриллиантов

Лили была в своем будуаре.

Это была прелестная комнатка, вся светло-голубая. Стены были обиты голубым атласом, низенькая мебель, кушетка, диванчики, креслица, пуфы такого же цвета составляли меблировку этой комнаты-бомбоньерки, с одноцветными шелковыми занавесями и портьерами на окнах и дверях. Небольшой черного дерева, резной

письменный стол и три этажерки были полны всевозможных безделушек, а два зеркальных шкафа дополняли убранство.

Направо от входа стоял туалет в стиле ренессанс с огромным зеркалом.

Лили сидела перед этим туалетом, и Антуанетта причесывала ей волосы.

Николай Герасимович стремительно вошел в будуар. Молодая женщина быстро повернула голову, но Антуанетта успела воткнуть последнюю шпильку и отступила.

Прическа была кончена.

— Вышли Антуанетту, мне надо переговорить с тобой… — сказал Савин, садясь на один из пуфов, стоявших рядом с туалетным табуретом, на котором сидела Лили.

— Что такое? — уставила она на него глаза.

— Прошу тебя…

— Антуанетта, вы мне больше не нужны… — обратилась к горничной Лили.

Та быстро вышла из будуара.

Лили снова перевела вопросительно-недоумевающий взгляд на Николая Герасимовича.

Он молча ей подал счет Маркесини.

— Счет Маркесини!.. — сказала она, улыбаясь.

— Да, счет Маркесини и, как ты видишь, на большую сумму, двадцать тысяч восемьсот франков…

— Знаю… Что же из этого?

— Как, что из этого? К чему было покупать все это, когда я просил тебя не бросать так деньгами. Я не миллионер, как Шварцредер, и должен жить по средствам. Этот счет я даже не могу уплатить…

— Вот как… — надула она губки. — Что же делать…

— Очень просто… Возврати господину Маркесини последнюю твою покупку, серьги и брошь, за которые я положительно отказываюсь платить деньги.

— Как, — вспыхнула Лили, — ты не можешь заплатить этого пустого счета, когда у тебя лежит более ста тысяч франков в разных ценных бумагах…

— Я говорю тебе, что не могу…

— Мне эти бриллианты очень понравились, это старинные камни… — продолжала она, не обратив внимания на его

заявление. — Они были поручены Маркесини на комиссию, и ты сам убедишься, увидев их, что это прекрасная, выгодная покупка. Такой парюр за шестнадцать тысяч франков — просто даром!.. Даже m-r Битини и тот советовал мне скорее купить их, чтобы кто-нибудь не перебил их у меня!..

Говоря все это скороговоркой, *Лили* вскочила с табурета, открыла один из шкафов и достала из него свою шкатулку с драгоценностями, из которой вынула экран голубого бархата и подала Савину.

— Ну, смотри сам, Нике, какая прелесть, какие огромные камни и как они блестят… Похвали же твою *Лили*, скажи ей, что она умница и не брани ее.

С этими словами она пылко обвила его шею своими обнаженными, так как на ней был голубой пеньюар с разрезными рукавами, руками и стала целовать.

— *Лили*, голубчик мой, — отвечал он, в свою очередь нежно целуя ее, — я бы с радостью исполнил твою просьбу, но в настоящую минуту положительно не могу бросить такой крупный куш. Мы и так тратим с тобой больше, чем я могу тратить по своему состоянию… Сто тысяч франков, о которых ты говоришь, составляют часть моего капитала, на который мы должны жить и с которого можем тратить только одни проценты. Будь ты благоразумнее, моя милая, и сделай, как я тебя прошу… Возврати этот парюр ювелиру, остальные же деньги по счету я заплачу…

Не успел он договорить этих слов, как она быстро отскочила от него… Слезы брызнули из ее глаз, и она начала рвать на себе кружева пеньюара и, схватив наконец экран с бриллиантами, бросила его на пол.

— Если вы жалеете каких-нибудь шестнадцати тысяч для меня, то берите эти бриллианты и отдавайте, кому хотите…

— Но, милая *Лили*, перестань, успокойся!

— Оставьте меня, берите и уходите!

— Я не хочу действовать таким образом, я хочу, чтобы ты сама согласилась со мной…

— Ни с чем я не могу согласиться… Оставьте меня… Говорю вам…

Ничего не добившись, Николай Герасимович вышел, сильно хлопнув дверью, и заплатил по счету.

Эта история охладила их отношения.

Лили, видимо, дулась на него, была скучна и рассеянна.

На Савина эта история подействовала совершенно иначе.

Он не сердился на Лили, а жалел ее, жалел вместе с тем и себя.

Ему стало еще яснее, что любовь к нему Лили ни более, ни менее, как порыв страсти, каприз, но не искреннее чувство.

Он же сильно и глубоко любил ее и вырвать это чувство у себя из сердца был не в силах.

Это его мучило и заставляло страдать.

Он понимал всю неосновательность его увлечения и невозможность поддерживать долее прежние отношения к Лили.

Благоразумие подсказывало ему необходимость прервать эту связь, клонящуюся к его разорению, и все равно не могущую долго просуществовать, если он будет удерживать Лили от мотовства.

Теперь ему стало ясно, что она неисправима, несмотря на ее слова в замке де Дион.

Горько, грустно было ему сознавать, чувствовать, как постепенно разрушается его счастье.

Он был полон мучительным сознанием, что Лили, быть может, и желала бы его искренно любить, но не может, в силу недостатка ее натуры и характера.

Это сознание его положения, его несчастной любви страшно удручало его.

Для борьбы он был бессилен, так как не мог оторваться от Лили, прикованный к ней всесильной, обезволившей его любовью.

Несмотря на страдания, которые она причиняла ему, он все еще испытывал наслаждение в ее обществе.

Что-то связующее его с ней существовало и не позволяло разойтись, покинуть ее.

В таком душевном настроении находился Николай Герасимович после этой ссоры из-за бриллиантов.

В Лили, напротив, не было заметно никаких внутренних волнений и перемен.

Посердившись немного и поплакав, она стала по-прежнему той же веселой, порхающей и щебечущей птичкой, как и прежде.

Наступила половина апреля.

В конце пасхи у князя Колонна был большой бал.

Об этом бале давно уже говорили не только в обществе, но даже и в прессе, и ожидали его, как события.

На него съехалась не только вся неаполитанская аристократия, но и многочисленные друзья князя, со всех концов Италии.

Савин был также приглашен на этот бал, и в одиннадцать часов входил в великолепное палаццо князя, освещенное a giorno.

Приехал он на бал прямо из театра Сан-Карло, где оставил Лили с Битини дослушивать конец оперы «Кармен», которая давалась в этот вечер.

Бал был действительно великолепен и превзошел ожидания всех.

Танцы продолжались до рассвета.

Как ни старался Николай Герасимович вырваться оттуда, но не мог, так как котильон затянулся очень долго, и он, танцуя с маркизой Дусинари, его флорентийской знакомой, волей-неволей не мог уехать раньше его конца.

Наконец бал окончился, стали разъезжаться, и Савин отправился домой.

От дворца князя до виллы, которую занимал Николай Герасимович, было недалеко, и он пошел пешком вдоль прелестной набережной Киаи.

Солнце уже всходило и хотя не поднялось еще из-за гор, но его яркие лучи прорывались высоко к небу из-за дымящегося Везувия.

С моря веял свежий ветерок, нагонявший на зеркальную поверхность Неаполитанского залива мелкую зыбь.

В городе все еще спало, а под густою зеленью Villa Reale пел громко соловей.

«Как хорош Неаполь и как бы я был счастлив в нем, если бы Лили меня понимала…» — промелькнуло в его голове.

С этой мыслью он позвонил у подъезда своей виллы.

Войдя к себе в кабинет, Николай Герасимович разделся, накинул на себя халат и пошел в будуар Лили, чтобы там лечь на кушетку, не желая входить в спальню, чтобы не разбудить молодой женщины.

Но не успел он отворить дверь в будуар, как его поразила странная картина.

Шкафы были отперты, раскрыты и пусты, ящики письменного стола выдвинуты и тоже пусты, на полу валялась рваная бумага, мелкие туалетные вещи и несколько старых ботинок и туфлей.

Первую минуту Савин подумал, что здесь хозяйничали воры, даже убийцы.

Он бросился в спальню, дверь в которую из будуара была открыта.

Лили в ней не было, а в углу на пуфе сидела Антуанетта и горько плакала.

— Где *Лили*? Что с вами? Что случилось? — скорее прохрипел, нежели проговорил Савин, объятый ужасом.

— Мадам Елиза уехала! — зарыдала в ответ Антуанетта.

— Когда, куда? — простонал он.

— Не знаю… — сквозь слезы продолжала Антуанетта. — Вот вам записка от барыни.

Дрожащими от волнения руками схватил Николай Герасимович эту записку, разорвал конверт и прочел следующее:

«Я вас разлюбила и жить больше с вами не могу, не ищите и не преследуйте меня, так как это ни к чему не поведет. Я взяла у вас тридцать тысяч франков, которые мне нужны в настоящую минуту, но отдам их вам скоро, не беспокойтесь о них. Будьте счастливы без меня. *Лили*».

Несмотря на то, что, как мы знаем, Савин приготавливался к разрыву, но когда он наступил неожиданно, и, главное, тайком от него, он был ошеломлен.

Скорее упав, нежели сев на кресло у окна спальни, он много раз машинально прочел роковую записку, и вдруг голова его тихо опустилась на грудь, руки с запиской упали на колени.

Нервы его не выдержали, и он зарыдал.

XXIII
Случай — половина удачи

В то время, когда наш герой, Николай Герасимович, ездил по «заграничным землям» и проводил время в довольно-таки неуспешных поисках «свободной любви», долженствовавшей заполнить ту мучительную брешь в его сердце, которая была сделана прелестной ручкой очаровательной Гранпа, в судьбе остальных действующих лиц нашего правдивого повествования произошло много перемен.

Особенно резко изменилась жизнь знакомых нам Вадима Григорьевича Мардарьева и его жены Софьи Александровны.

В начале одной из улиц, прилегающих к Невскому проспекту от Знаменской площади до Аничкова моста, находился вновь открытый магазин, с двумя зеркальными окнами, на одном из которых стоял манекен дамы в прекрасном платье, а на другом — такой же манекен

в верхнем модном пальто. В амбразуре окон приделаны были медные крюки, на которых были развешены дамские шляпы. Над дверью магазина красовалась вывеска, гласившая: «Дамские наряды. М-м Софи».

Этот магазин принадлежал госпоже Мардарьевой.

За главной комнатой с прилавком и шкафами, наполненными шляпками и материями, находилась другая, еще более обширная, служившая мастерской.

В ней, под наблюдением самой Софьи Александровны, работало несколько мастериц и до десяти учениц, в числе которых была и ее дочь Лидочка.

Мардарьева занимала в доме две смежных квартиры, и во вторую был ход со двора, хотя она пробитою, по условию, дверью соединялась с магазином.

В этой второй квартире и было собственно жилое помещение хозяйки магазина, жившей там с мужем, сыном и дочерью.

Сын Вася уже служил мастером в том самом оптическом магазине, где был в ученье, и получал довольно хорошее жалованье.

Он был уже почти юношей, высокий, стройный, с правильными чертами лица своей матери, которой был любимцем.

Лидочка была похожа на отца, которого любила до обожания.

Софья Александровна, впрочем, не делала резкого различия между детьми, и в семье с некоторых пор царило вожделенное согласие.

Самого Вадима Григорьевича нельзя было узнать, и кто видел его, как мы, в роли маленького комиссионера, преследуемого судьбой и людьми, не сказал бы, что франтоватый распорядительный помощник пристава Мардарьев и бывший оборванец-комиссионер одно и то же лицо.

Он, казалось, даже вырос, не говоря уже о том, что пополнел и имел приятный вид упитанного, довольного собою и окружающими, человека.

Несмотря на свой сравнительно небольшой рост, он сделался так представителен, что его назначили по наряду на видные дежурства, и место пристава, предмет его тайных мечтаний, было обеспечено за ним при первой вакансии — на таком хорошем счету исполнительного и аккуратного чиновника был он у своего начальства.

Он любил свою жену до обожания и имел на то основательные причины — ей, одной ей обязан был он своим настоящим

положением и тем почетом и уважением, которые оказывали ему обыватели участка, где находился магазин его жены и где он состоял старшим помощником пристава.

Даже Корнилий Потапович Алфимов, встречавший его почти ежедневно во время своего утреннего следования в низок трактира на Невском, где в отдельном кабинете он неизменно продолжав отделывать свои дела, почтительно снимал перед ним картуз и даже в помышлении не имел, что Вадим Григорьевич не человек, а один шиворот, как он, если припомнит читатель, определил его несколько лет тому назад.

Шивороты обывательской мелкоты теперь были к услугам самого Вадима Григорьевича Мардарьева.

Успех по службе последний справедливо приписывал самому себе; но все же отдавал должную дань своей супруге за открытие ему той дороги, которая оказалась ему до того по способностям, как будто он родился полицейским чиновником.

Как случилось это, он сам хорошенько не понимал, но в один прекрасный день Софья Александровна обратилась к нему с вопросом:

— Хочешь служить в полиции?

— Отчего же бы и не послужить… Все равно зря по улице бегаю… — отвечал Вадим Григорьевич, неизвестно по каким соображениям полагавший, что полицейская служба состоит в беганье по улицам.

— Так пиши докладную записку и давай мне, тебе дадут место околодочного…

— Ой ли…

— Нечего тут «ой ли»… Коли говорю «дадут», значит — дадут… — отрезала Софья Александровна.

Впечатление того, как последняя окрутила Алхимика, было еще так свежо в памяти Вадима Григорьевича, как почти свежо было и платье, купленное на деньги, полученные ею с Корнилия Потаповича, и сердце Мардарьева было еще переполнено уважением и доверием к умственным способностям своей жены.

Знал он также, что, на самом деле, она не любит бросать слова, на ветер, как не любит, когда ее расспрашивают.

Несмотря на мучившее его любопытство, он смирился и поверил.

— Хорошо, напишу, отчего не написать…

В этот же вечер докладная записка на имя лица, указанного Софьею Александровною, была написана и подписана ее мужем.

На другое же утро она, уходя из дому, захватила ее с собой.

Ответа пришлось ждать недолго.

Через неделю Вадим Григорьевич, к удивлению своему, получил приказ о назначении его в штат санкт-петербургской полиции исполняющим должность околодочного надзирателя.

Софья Александровна сама экипировала его, и он начал службу, в которой в очень скором времени проявил такие выдающиеся способности, что не прошло и года, как он был назначен младшим помощником пристава, а затем через полтора года, за смертью старшего помощника, занял его место.

Товарищи его по службе, хотя и отдавали ему справедливость, как исполнительному, сообразительному и находчивому полицейскому офицеру, все же удивлялись его быстрой карьере и, подсмеиваясь, говорили, что ему ворожит хоть не бабушка, но жена.

Вадим Григорьевич сам это чувствовал, хотя, повторяем, не мог догадаться, каким образом все это было устроено его женой и откуда у нее появились деньги на обзаведение магазином, приличной обстановкой квартиры и всего прочего.

Сперва у него было мелькнули подозрения любовного свойства, но почти постоянное домоседство жены и посещение ею знакомых только с ним вместе рассеяли их, да при том же, если бы что-либо подобное существовало, наверное, сплетни эти росли бы в полицейском мире и так или иначе, прямо или косвенно, дошли бы до его ушей.

Ничего подобного, однако, не было.

Мардарьев успокоился, а с течением времени даже не старался более проникнуть в тайну такого быстрого определения его на место в петербургскую полицию.

Мы, однако, по праву бытописателя, не скроем этой тайны от благосклонных читателей, и в особенности от очаровательных читательниц.

Последним, преимущественно, будет приятно узнать, сколько таится подчас сообразительности, ловкости и уменья пользоваться обстоятельствами в русской женщине.

Среди скромных заказчиц Софьи Александровны в то время, когда она жила в описанной нами убогой квартирке на Песках, была

одна экономка одинокого чиновника, жившего на Большом проспекте Васильевского острова, рядом с вычурным домом Колесина.

Это была средних лет красивая русская женщина, звали ее Домна Спиридоновна.

Вскоре после получения от Алфимова тысячи двухсот рублей Софья Александровна Мардарьева понесла к Домне Спиридоновне работу.

Чиновника, по обыкновению, не было дома, — его одна заря вгоняла, а другая выгоняла, — как выражалась о нем его экономка, и Домна Спиридоновна встретила Мардарьеву с распростертыми объятиями.

— Уж готово, платье-то?.. Вот это хорошо, впрочем, не к спеху оно было, а что вот вы зашли, кралечка, это расчудесно, в самый раз… Садитесь, матушка, Софья Александровна.

Экономка была, видимо, полновластной хозяйкой в квартире чиновника и принимала в гостиной.

— А что такое? — спросила Софья Александровна, садясь на одно из кресел рыночного производства, которыми, обыкновенно, обставляют гостиные мелких чиновников мебельщики апраксинского и александровского рынка.

— Нашла вам еще давальщицу… Два платья, да дипломат.

— Очень вам благодарна.

— Нечего вам благодарить… Уж я вами так довольна, так довольна… Особливо за зеленое платье. Сидит как влитое, в нем-то она меня и видела и спрашивает, кто вам так хорошо платья шьет? Я назвала вас, она и пристала, пришлите ее ко мне. Хорошо, говорю, у меня ей заказано ситцевое платье, шьется теперь, вот принесет, и ее к вам сейчас и доставлю.

— Благодарю вас, а это далеко?

— Какой далеко! Бок о бок. Дом Колесина.

— Это такой чудной?

— Ну, да, рядом. Его дворецкого, доверенного человека, Евграфа Евграфовича супруга, Агафья Васильевна.

— Что ж, хорошо, вот примерите платье и пойдемте.

— Нет, без кофею не отпущу, подождет.

После примерки платья и беседы за кофеем, Домна Спиридоновна отправилась с Софьей Александровной в квартиру Евграфа Евграфовича и представила свою «чудо-портниху», как она называла Мардарьеву.

Агафья Васильевна, добродушная, еще не старая женщина, стала тотчас к Софье Александровне в те задушевные отношения, к которым так способны только простые и неиспорченные образованием и светским лоском женщины.

Заказ был взят, и Мардарьева, нагруженная материями, после беседы за чайком, без которого не отпустила «дорогих гостей» Агафья Васильевна, поехала домой на приведенном извозчике.

Исполнением заказа Софья Александровна угодила Агафье Васильевне, и знакомство между обеими женщинами завязалось.

Через обеих соседок Мардарьева получила на Большом проспекте еще несколько давальщиц и, часто бывая в той стороне, никогда не забывала заглянуть мимоходом к Домне Спиридоновне или к Агафье Васильевне, к последней даже чаще, так как она ей более нравилась, к великой обиде первой, всегда встречавшей Софью Александровну выговорами за то, что она позабыла ее для Агафьи.

Дружба Мардарьевой с Агафьей Васильевной между тем росла, и та за чайком выкладывала ей все совершавшееся в доме и вокруг его.

Прошло несколько месяцев.

Обе женщины сидели за самоваром в первой комнате, описанной нами ранее квартиры Евграфа Евграфовича, в левом флигеле Колесниковского дома.

— Наш-то туча тучей ходит, рвет и мечет, — говорила Агафья Васильевна. — Который день из дому носу не показывает… Евграф Евграфович инде измучился, безвыходно в доме торчит, уж я его три дня не видела.

Под именем «наш» Софья Александровна понимала, что подразумевался Аркадий Александрович Колесин.

— С чего же это?

— Танцорка тут у него одна сорвалась.

— Как сорвалась? — недоумевала Мардарьева.

— Как… Ухаживал он за ней. Сколько, кажется, тысяч истратил. Думал, значит, с ней амур завести, а она от него стрекача к другому.

— А-а-а… — протянула Софья Александровна.

— Сколько хлопот было у нашего-то, и все по-пустому, да и это бы ничего, а то оказалось, для другого хлопотал и тратился, оно поневоле зло возьмет.

Агафья Васильевна остановилась.

— Конечно! — произнесла Мардарьева из вежливости, чтобы не молчать, хотя ее далеко не интересовал этот рассказ.

— Человека неповинного совсем загубили. И все не помогло.

— Как человека загубили?

— Жених был у этой танцорки. Красавец, говорят, только головорез, из отставных военных, Савин.

— Савин? — переспросила Софья Александровна, уже ставшая более внимательна к рассказу.

— Да, Савин… А вы его знаете?

— Нет, *слышала*.

— Кто о нем не слыхал. Набедокурил он в Питере всласть. Однако это все раньше было, а как влюбился в эту танцорку Гранпа, изменился, не узнать, присмирел, тише воды, ниже травы стал, около нее сидит и вздыхает. Поехал наконец за родительским благословением. Ну, нашему-то, конечно, он поперек горла стал. «Десяти тысяч не пожалею, чтобы его не было тут никогда», это Савина-то, кричит. Известное дело, десять тысяч деньги хорошие, да и половина не дурна, охотники найдутся. Кум наш с ним дело ведет, Корнилий Потапович Алфимов, может слышали?

— Нет… — сказала Мардарьева, стараясь не проронить ни одного слова.

— Он все дело-то и оборудовал. Савин-то перед отъездом у кого-то свой вексель разорвал, да и говорят разорвать-то был вправе, а Корнилий-то Потапович у того этот разорванный вексель и купи, да заставь его жалобу записать о том деле. С нашего-то за это пять тысяч сгреб. Дело обладили и присудили Савина-то к высылке. Приехал он сюда к танцорке-то, а его, раба Божия, цап-царап, да и увезли из столицы.

— Куда же?

— Да уж там не знаю, куда возят. Только увезли. Наш-то думает о танцорке — теперь моя, ан вышло-то по-другому. Молодой офицер ей подвернулся в то время. О женихе ни слуху, ни духу, она с ним и спуталась. Вот наш-то, как остался не солоно хлебавши, и загрустил.

— Тоже, верно, богат офицер-то?

— Гофтреппе.

— Сын?

— Сын. С ним тоже не померяешься, сам богат, а отец силен. Вот оно дела-то какие у нас.

Целый рой мыслей несся в голове Софьи Александровны. План воспользоваться полученными сведениями и хоть этим вознаградить себя за убыток, понесенный на векселе, за который Алфимов взял пять тысяч рублей, а дал всего тысячу двести, начал в общих чертах слагаться в ее голове.

XXIV
«Золотой барин»

Адрес молодого Гофтреппе узнать было нетрудно.

Софья Александровна Мардарьева на другой же день после описанного нами разговора с Агафьей Васильевной, звонила у парадной двери второго этажа одного из домов на Малой Морской улице.

На двери красовалась, горевшая, как золото, медная доска, на которой крупными буквами значилось:

«***Федор Карлович Гофтреппе***».

Был двенадцатый час утра.

Отворивший на звонок Мардарьевой дверь бравый денщик окинул ее внимательным взглядом.

— Дома барин? — осведомилась Софья Александровна.

— Почивают еще, — отвечал денщик.

Произведенный им осмотр посетительницы, видимо, удовлетворил его настолько, что он, после маленькой паузы, добавил:

— Скоро проснутся.

По внешнему виду Мардарьева действительно производила приятное впечатление порядочной дамы. Надо сказать, что она умела одеваться просто и прилично, а полученная ею от Алфимова тысяча рублей, положенная в банк, дала то недостававшее ей спокойствие все-таки несколько обеспеченной женщины, изменившее манеру держать себя и придававшее уверенность тону ее голоса.

Словом, денщик не принял ее за просительницу и не посмел не пустить в квартиру и не доложить барину.

«Может, по какому ни на есть важному делу», — мелькнуло у него в голове.

— Так я подожду, — заявила Софья Александровна.

— Пожалуйте, — распахнул ей двери денщик.

Сняв с нее пальто, он отворил дверь гостиной, служившей и приемной.

Мардарьева вошла.

На ней было новое черное шерстяное платье, красиво облегавшее ее высокую фигуру, и на голове черная шляпа. Привычка держать себя прямо, почти гордо, делала ее, несомненно, особенно в глазах денщика, похожей на барыню, и тот, совершенно успокоенный, пошел в свою комнату, находившуюся рядом со спальней молодого Гофтреппе, сказав почтительно посетительнице:

— Пообождите здесь.

Квартира Федора Карловича была уютная квартира холостяка, как по расположению, так и убранству.

Первая комната, как мы уже сказали, была гостиная, заменявшая и приемную, за ней следовал кабинет, потом столовая, это было по одну сторону коридора, начало которого составляло переднюю, по другую же находилась комната денщика, спальня и ванная, а за ней уже кухня, находившаяся тоже в распоряжении Прокофия, как звали денщика Гофтреппе.

Гостиная, пол которой был покрыт мягким персидским ковром, была вся убрана в восточном вкусе. Тахты, покрытые коврами, табуреты, пуфы, низенькие столики, разбросанные по всей большой комнате в живописном беспорядке, скрадывали ее величину и придавали ей вид укромного уголка.

Стены были завешены коврами и картинами лучших мастеров, большею частью легкого жанра и несколько пикантного содержания. Маленькое пианино с вычурными инкрустациями и кресло-качалка довершали убранство этой комнаты, если не считать ламп, стенных, висячей в столовой, и множества бронзы и других «objets d'arts», помещавшихся на двух резных, черного дерева, этажерках.

Часть кабинета, которая была видна из гостиной, тоже была убрана со вкусом и с тем шиком моды и дела, который говорил о погоне его хозяина скорее за первой, нежели за вторым.

Софья Александровна села на один из пуфов и стала ждать, с любопытством осматривая окружающую обстановку.

Она еще никогда не бывала в таких квартирах, и все привлекало ее внимание. Она даже не усидела на месте и стала ходить по гостиной, рассматривая ее редкости.

Время в этом осмотре прошло довольно быстро.

Раздался резкий звонок.

Мардарьева, как пойманная на месте шалости школьница, снова села на пуф.

В коридоре раздались шаги денщика, направлявшегося в сторону, противоположную парадной двери.

«Проснулся!» — промелькнуло в голове Мардарьевой.

Сердце ее вдруг тоскливо сжалось.

Только теперь, перед самой минутой свиданья с неизвестным ей богатым и молодым человеком, ей ясно представилось все безумие ее плана.

А что если он с позором выгонит ее после первых же ее слов?

Она даже несколько раз поглядела на дверь, ведущую в переднюю. У нее появилась мысль о бегстве. Она, впрочем, тотчас же отбросила ее.

— Поздно! — прошептала она. — Уж если вошла, надо довести дело до конца… Будь что будет!

Она начала утешать себя радужными мечтами.

Ей не спалось сегодня. Она встала рано и уже вышла из дома в девять часов утра.

Она хорошо знала, что «большие господа» в это время видят чуть ли не первый сон, а потому по дороге зашла к знакомой жене местного околодочного надзирателя.

Этот визит был не без цели: Софья Александровна намерена была собрать справки о молодом Гофтреппе, к которому она собиралась в тот же день нанести неожиданный визит.

Жена околодочного знала всю подноготную о ближайшем и высшем начальстве своего мужа, который, кстати сказать, уже ушел на службу.

За кофе Мардарьева искусно навела разговор на молодого Гофтреппе, и ее собеседница рассыпалась ему в необычайных похвалах. По ее словам выходило, что это был не человек, а ангел.

Это успокоило Софью Александровну и укрепило ее решение обратиться к Гофтреппе с составлявшею пока ее тайну просьбою.

Она храбро позвонила, вошла, и теперь, когда тот, кого она ожидала в этой роскошной гостиной, проснулся и ему, конечно, доложили о ней, отступление для нее было отрезано.

В мгновенья охватившей ее робости, она стала припоминать слышанные ею о Федоре Карловиче отзывы и снова успокоилась.

Сладкая надежда появилась вновь в ее сердце.

— Сейчас вас примут… только оденутся, — заявил вошедший в гостиную денщик и снова удалился, стараясь как можно тише своими толстыми казенными сапогами ступать по ковру гостиной, что придавало его походке несколько неуклюжий вид, несмотря на то, что это был рослый, бравый солдат, готовый хоть сейчас твердою и уверенною походкой идти под град неприятельских пуль.

Мгновенья продолжались.

Вот, наконец, в соседнем кабинете раздались легкие шаги, и в дверях гостиной появился Федор Карлович Гофтреппе.

Мы не станем описывать его наружность — читатели знакомы с ней.

Заметим только, что то злобно-ядовитое выражение лица, которое преобладало у него в театре в присутствии его соперника Савина, совсем отсутствовало теперь и, казалось, даже ему не было совершенно места на этом добродушном, открытом лице.

Оно все сияло счастьем, на губах играла приветливая улыбка.

Он был одет в изящную военную тужурку. Грациозно поклонившись Софье Александровне, он незаметно для нее оглядел ее с головы до ног.

Видимо осмотр был произведен с иной точки зрения, нежели осмотр его денщика, так как Гофтреппе довольно холодно произнес:

— Что вам угодно?

Мардарьева вскочила при его входе с пуфа и стояла перед ним смущенная, растерянная.

Вся кровь бросилась ей в лицо.

Он заметил ее смущение и более мягко произнес:

— Садитесь, пожалуйста.

Софья Александровна машинально опустилась на пуф. Гофтреппе сел на другой и вопросительно поглядел на посетительницу.

— Я весь к вашим услугам.

— Извините меня. Я, быть может, покажусь вам очень странной, чтобы не сказать более… — начала дрожащим голосом Мардарьева, — но мне подумалось, что если человек счастлив, то ему хочется, чтобы как можно более людей были также счастливы.

Она остановилась перевести дух. Федор Карлович смотрел на нее удивленным взглядом.

— Но почему вы думаете, что я так счастлив? — спросил он с полуулыбкой.

— Слухом земля полнится… — уклончиво, но уже более храбро ответила она. — А разве неправда?

— Положим, правда… — сказал он. — Но в чем же дело? В его голосе уже слышалось дружелюбие.

Мардарьева обладала чрезвычайно симпатичным голосом, проникавшим в душу. Она знала это и в настоящую минуту во всю пользовалась своими голосовыми средствами.

Увидав, что она достаточно размягчила сердце своего собеседника, она поняла, что половина победы одержана, и смущение ее прошло.

Его дружеский ответ, казалось ей, соединял их ближе, и она отвечала:

— Я не говорю, что счастливый человек должен делать счастливых всех без разбору, направо и налево, это невозможно, но тех, кто так или иначе содействовал его счастью, кто был косвенною причиною его, те, по моему мнению, имеют право желать, чтобы на них он обратил свое внимание.

— Содействовали… были причиной?.. — недоумевающим тоном повторил Гофтреппе. — Простите меня, но я не понимаю, кто содействовал, кто был причиной?

— Косвенной, Федор Карлович, косвенной.

— Ну, хоть косвенной… Вы?

— Отчасти и я, но более всего мой муж.

— Ваш муж?

— Да. И к тому же он играл в этом деле чисто пассивную роль и был обманут.

— Расскажите, в чем дело. Это интересно, — заметил Федор Карлович.

Софья Александровна начала подробный рассказ.

Она не упомянула, конечно, каким образом и за что был получен вексель Савина ее мужем, а начала прямо с визита последнего к Николаю Герасимовичу в «Европейскую» гостиницу и разрыва векселя, объяснила, что на это личное свидание Вадима Григорьевича с Савиным подбил ее мужа ростовщик Алфимов, который затем хотел купить у него разорванный вексель и жалобу на Савина за сто рублей. Передала в лицах, что очень рассмешило Гофтреппе, свое объяснение с Алхимиком и увеличение покупной суммы векселя и прошения до тысячи двухсот рублей — последствие этого объяснения.

— Теперь же оказалось, что Корнилий Потапович действовал в пользу Колесина, которому во что бы то ни стало, надо было устранить Савина со своей дороги, — заключила она.

— Да, действительно, эта крашеная кукла сильно увивалась за Марго, но она прямо не переносила его, хотя родительским сердцам он был приятен.

Федор Карлович с горечью подчеркнул слово «родительским».

— Ему-то он и продал этот вексель в четыре тысячи рублей и жалобу за пять тысяч. Савин был выслан, но его отсутствие не помогло, да оно и понятно, было присутствие другого, еще более опасного… — окончила рассказ Мардарьева, произнеся последние слова с обворожительной улыбкой.

Гофтреппе сидя поклонился с улыбкой на этот умело сказанный комплимент.

— Вы, пожалуй, правы, ваш супруг помог мне, но точно так же помог и ваш Алхимик, как вы его называете, и Колесия. Не должен же я и их хотеть сделать счастливыми.

Он расхохотался.

— Они и без того счастливы, по-своему, — заметила Софья Александровна, — а мы…

В ее голосе прозвучали ноты, полные грусти. Федор Карлович сочувственно посмотрел на нее.

— Я пошутил, — произнес он, — и хотя помощь ваша и вашего мужа в деле моего счастья и очень отдаленная, я, слушая ваш рассказ, приятно провел время, и за одно это готов исполнить всякую вашу просьбу, если она в моих силах.

— О, — воскликнула Мардарьева, — исполнение моей просьбы для вас не будет стоить получасу времени, несколько слов разве.

— В каком это отношении вы меня считаете настолько всемогущим?

— В помощи людям, которые далеки от желания многого.

— Но все-таки?

Софья Александровна, однако, прежде нежели изложить сущность своей просьбы, описала в мрачных красках свое положение с мужем, не имеющим ни занятий, ни места, с сыном и дочерью, которых всех троих она должна содержать неблагодарной работой иглой.

— Надо, кроме того, и прилично одеться, хоть мне, так как я бываю в домах за заказами, нельзя же идти туда в рубище, — заметила она.

Гофтреппе не прерывал ее, ему нравился звук ее голоса. На его лице даже выразилось непритворное сочувствие ее положению.

— Мне хотелось бы только одного — определить мужа в околодочные надзиратели.

— Только-то?.. — расхохотался Федор Карлович. — Это действительно немного и, как кажется, я смогу вам это устроить.

— Я буду считать вас своим благодетелем… — встала Мардарьева.

— Прикажите подать ему завтра же докладную записку, а я походатайствую.

— Благодарю, благодарю вас.

Он подал ей руку.

Она наклонилась с видимым желанием ее поцеловать.

— Что вы, что вы, перестаньте… Все будет сделано, это такие пустяки, — вырвал он руку.

— Благодарю вас, завтра он подаст… Простите, что обеспокоила.

Она повернулась, чтобы уйти.

— Подождите минуту, — сказал он и вышел из кабинета.

Софья Александровна стояла, не понимая, зачем он удержал ее.

Она слышала в кабинете звук отворяемого замка, а затем шелест бумаги.

Гофтреппе вышел снова.

— Я считаю поступление вашего мужа на место настолько верным, что прошу вас передать ему эту безделицу на обмундирование.

Мардарьева, пораженная столь неожиданным благодеянием, взяв конверт, уже почти насильно схватила руку Федора Карловича и запечатлела на ней поцелуй.

Выйдя из его квартиры, она разорвала конверт — там оказались две радужных.

Докладная записка на другой день была подана, и место вскоре получено.

Остальное известно.

XXV
На свадьбе

В судьбе товарища и друга Николая Герасимовича Савина, ставшего невольным разлучником между ним и Маргаритой Максимилиановной Гранпа, Михаила Дмитриевича Маслова тоже произошла довольно крупная перемена.

Он женился.

Вскоре после отъезда Савина из Петербурга, умер дядя Михаила Дмитриевича, крупный сибирский золотопромышленник и владелец нескольких имений и фабрик во внутренних губерниях России.

Старик Петр Семенович Маслов был одинокий вдовец, за последние годы живший почти анахоретом, человек со многими странностями, в числе которых преобладающими были страх смерти вообще и какая-то фатальная уверенность, что он умрет, убитый молнией.

Он жил безвыездно в Москве, в Пименовском переулке, близ Малой Дмитровки, в собственном доме, над крышей которого высилась целая система громоотводов, но они, впрочем, не рассеивали его опасения, и старик во время грозы скрывался на погребице.

О каком-либо завещании, как все же напоминающем о смертном часе, Петр Семенович не хотел и думать.

По странной случайности, опасение его сбылось, и он умер, убитый молнией у двери погреба, куда хотел скрыться от начавшейся грозы.

Михаил Дмитриевич оказался его единственным наследником.

Предстояла масса хлопот по утверждению в правах наследства, которые Маслов передал одному из петербургских присяжных поверенных, но в перспективе виделась все же неизбежность продолжительного отсутствия из Петербурга для приведения в ясность и порядок дел его золотых промыслов, фабрик и имений, которые были запущены стариком и администрация которых и управление требовало перемен, как в личном составе, так и в системе.

Поручить все это другому лицу — не было возможности.

Михаил Дмитриевич понимал, что должен был сделать все сам, конечно, при совете взятых с собою специалистов по этим разнообразным отраслям его будущего хозяйства.

К этому же времени относится совершившееся событие, которое наполнило сердце Маслова необычайной радостью, но вместе с тем и заставило серьезно вглядеться в свое будущее.

Анна Александровна Горская почувствовала себя матерью.

С тревогой и смущением сообщила она об этом Михаилу Дмитриевичу.

— Голубка моя, дорогая, ненаглядная… — нежно заключил он ее в свои объятия.

— Чему ты так радуешься? — удивленно посмотрела она на него и снова опустила глаза. — Ведь это же ужасно.

Он зажал ей рот поцелуем.

— Я радуюсь тому, что у меня является существо, которое своим молчаливым красноречием убедит тебя в том, в чем я убедить не смог в течение нескольких лет.

— В чем это?

— Существо, которое ты носишь под сердцем, сын или дочь, должно быть моим законным ребенком.

— Ты опять за свое…

— Теперь я не прошу, теперь я этого требую, от его лица.

Анна Александровна сидела и молчала.

Он снова предлагал ей законный брак. Сколько раз она отказывалась от его предложения, не желая, как мы знаем, портить его карьеру и терять своей самостоятельности. Но теперь положение изменилось, он вправе, действительно, не просить, а требовать этого — она должна покориться. Да разве ей нужно для этого покоряться, разве не мечта всей ее жизни быть его женой, законной женой… Она любит его, любит больше себя и, чтобы только доказать это, она приносила в жертву свое самолюбие, она оставалась в глазах всех его содержанкой, хотя многого она не брала, но об этом знал только он, а не другие… Она не хотела браком с собой заставить его покинуть полк, она боялась, даст ли она ему столько счастья, что он никогда не вспомнит о совершенном им шаге, что у него не явится раскаянья… О, этого она боялась больше всего! Самостоятельность? Она все это только придумала, чтобы скрыть от него истинную причину отказа обвенчаться с ним, истинную причину этой жертвы… Теперь он прав. Существо, покоящееся у нее под сердцем, предъявляет свое право на имя — неотъемлемое право… Но он, как он честен, добр, великодушен… Обладание ею не изменило его чувств, уже прошло года два, когда последний раз поднимался между ними вопрос о браке и когда она почти резко отказала ему и даже просила не поднимать его.

Он не воспользовался этим разрешением, этой просьбой, как воспользовался бы всякий другой мужчина, он сейчас же подумал о ребенке… Этот ребенок был теперь для нее дороже ее самой… Он подумал о нем.

— Хороший, милый, ненаглядный… — могла только произнести она, обвив его шею руками и скрывая на его груди свое лицо со счастливыми слезами на глазах.

Он понял, что она согласна.

На другой день он и она подали прошение об отставке.

Ввиду этих прошений начальство разрешило ему вступить в брак с артисткой императорских театров Анной Александровной Горской.

Свадьбой поспешили.

Венчание происходило в церкви государственного контроля у Синего моста. Там же в залах поздравляли молодых.

Приезжих было немного. Несколько товарищей по полку Михаила Дмитриевича, которые были и шаферами, и подруги по театру невесты.

В числе приехавших на свадьбу были Маргарита Максимилиановна Гранпа и Федор Карлович Гофтреппе.

В тот момент, когда жених и невеста шли к аналою, Маргарита Максимилиановна бросила какой-то странный взгляд на стоявшего рядом с ней Гофтреппе.

В этом взгляде мелькнуло злобное недовольство.

Она мысленно позавидовала Горской, обряд венчания над которой уже начался.

Через какие-нибудь полчаса, час, эта ее подруга — заурядная «кордебалетная» выйдет из церкви под руку со своим законным мужем богачом Масловым.

«Он теперь, пожалуй, богаче этого!» — мелькнуло в ее уме, и она снова далеко недружелюбно покосилась на Федора Карловича.

Мысли ее перенеслись к прошлому. Она вспомнила Савина.

За это время она ни разу не вспоминала о нем. Он был в переписке с Михаилом Дмитриевичем, и письма его дышали то мрачным разочарованием, то, видимо, насильственным увлечением, деланною веселостью.

Маслов выносил из них тяжелые впечатления и делился ими с Анной Александровною.

Раздражение против приятеля за неприятные вызовы по делу о разорванном векселе, понятно, прошло.

— Жалко беднягу, пропадает совсем и пропадет из-за этой бездушной кокетки… — после получения первого же письма, заметил вслух при Горской Михаил Дмитриевич.

— Кто это, и кого это ты честишь бездушной кокеткой? — спросила Анна Александровна.

— Я думаю о Савине, сегодня получил от него письмо из деревни… Убивается, видимо, бедняжка, по Гранпа.

— Как убивается по Гранпа… — вытаращила на него глаза молодая жена. — Да ведь ты же сам говорил, что он забыл об ней и думать, что он ветреный, непостоянный.

— Когда это я все, матушка, говорил? — удивился в свою очередь Маслов.

— Как когда, вскоре после его отъезда просить дозволения у родных на брак с Маргаритой.

— Не припомню.

— Да как же, еще ты приехал ко мне прямо с допроса по его делу.

— А-а-а… Ну, мало ли что я тогда сболтнул в сердцах.

— Что я наделала, что я наделала! — воскликнула Анна Александровна и закрыла лицо руками.

— Что такое?

— Да ведь я Маргарите тогда же высказала твое мнение о нем и предупредила ее, чтобы она на него очень-то не надеялась.

— Ты?

— Да, я, я-то ведь не знала, и приняла за правду все то, что ты говорил.

— Ай, ай, ай, как можно… Ему бедняге подстроили нарочно эту высылку, чтобы он не мог видеться с ней.

— Какую высылку?

— Да, впрочем, ведь ты не знаешь… Он все мне рассказывает в письме.

Михаил Дмитриевич рассказал Горской о высылке Савина в Пинегу и возвращении его из ссылки уже тогда, когда Гранпа принадлежала Гофтреппе.

— Неужели это он устроил?

— Не думаю… Впрочем, не знаю.

— Ах, несчастный Савин, ах, бедный, а я-то, я-то, — разохалась Горская.

— Нечего охать, дела не поправишь. Вперед урок быть осторожнее в своих выводах из чужих слов и главное воздерживаться на язык о том, что слышала от близкого человека, — заметил Маслов.

Анна Александровна молчаливо, с виноватым видом, выслушала этот выговор.

— Но я все это ей скажу, что я ее ввела в заблуждение, расскажу, какой он несчастный.

— Зачем! Поздно.

— Нет, я этим сниму все-таки тяжесть со своей души.

— И навалишь его на душу приятельницы, — улыбнулся Михаил Дмитриевич.

— Нет, она теперь так любит Федора Карловича, что ей и этим не доставлю особого огорчения… Она и не вспоминает о Николае Герасимовиче… А мне будет легче.

Маслов понял, что, если бы он даже продолжал настаивать не говорить ничего о Савине Маргарите Максимилиановне, и Анна Александровна дала бы ему слово, она все равно не сдержала бы его — не была в состоянии это сделать.

— Как знаешь, — сказал он, махнув рукою.

Ему так было в эту минуту искренно жаль Савина, что он даже с радостью подумал, что не беда будет, если красавица Гранпа и перенесет несколько неприятных минут при признаниях Горской.

Более чем минутного огорчения для Маргариты Максимилиановны он не допускал — он считал ее, как считали уже ее тогда многие, пустой, бездушной кокеткой.

«Конечно, — думал он далее, — слова Ани могли повлиять на ее более быстрое сближение с Гофтреппе, но тут вопрос только во времени: рано или поздно, она бы бросила и Савина, если бы даже вышла за него замуж. Не для замужества рождена она».

Получив косвенное разрешение Михаила Дмитриевича снять с себя тяжесть оклеветания Савина, Анна Александровна поспешила это сделать при первом свидании за кулисами с Гранпа.

В более чем мрачных красках описала она положение отвергнутого ею жениха — Савина, покаялась, что со слов Маслова, сказанных сгоряча, она оклеветала несчастного перед ней и, быть может, разбила ему жизнь навсегда.

Михаил Дмитриевич оказался почти правым.

Маргариту Максимилиановну не тронул особенно рассказ подруги — она была вся под обаянием новой жизни, на путь которой она вступила.

Она даже вскоре совершенно забыла об этом разговоре с Горскою, и только теперь, во время венчания последней, все восстало в памяти, сгоравшей от зависти к подруге, Гранпа.

— Она могла тоже выйти из церкви под руку с законным мужем, с Савиным, молодым, красивым, богатым. Если бы она подождала.

Она снова искоса уже совершенно злобно поглядела на Гофтреппе.

Тот предлагал мне брак, а этот… этот не предложит. Горская может быть завтра не пустит меня в свою гостиную. Что такое я?

Злоба душила ее.

Ее красивое матовой белизны лицо покрылось почти сине-багровыми пятнами.

— Что с тобой, Марго? — наклонился к ней и нежным шепотом спросил ее Федор Карлович.

Его голос показался ей ненавистным.

— Ничего… мне жарко, — кинула она ему и быстро вышла в соседнюю с церковью залу.

Он поглядел ей вслед удивленным взглядом и медленно пошел за нею. Она, выбежав почти из церкви, вздохнула несколько раз полной грудью и силой воли заставила себя успокоиться.

— Ты нездорова, — подошел к ней Гофтреппе.

— Нет, я говорю, что мне стало там жарко… Теперь все прошло, достань мне стакан воды.

Он пошел исполнить ее желание.

Этим временем она воспользовалась, чтобы еще более переломить себя и приготовиться к комедии во время поздравления «милой подруги», как она мысленно со злобою назвала Горскую.

Через минуту Федор Карлович стоял перед ней, а рядом с ним ливрейный лакей держал на подносе стакан воды. Она с жадностью сделала несколько глотков и окончательно пришла в себя.

Поставив стакан на поднос, она взяла под руку Гофтреппе и вернулась в церковь спокойная, с присущей ей очаровательной улыбкой на губах. Кто мог догадаться, какая змея скрыта в этой чудной корзине роз.

В церкви уже служили молебен для молодых. Венчание было окончено.

Начались поздравления «с законным браком» сперва в церкви, а затем в зале, где появились лакеи с подносами, уставленными бокалами с шампанским, фруктами и конфетами.

Особенною искренностью и задушевностью и в зале и в церкви звучали поздравления Маргариты Максимилиановны Гранпа, крепко, крепко целовавшейся с Анной Александровною Масловой.

XXVI
Доигрался

Через полгода у Масловых родился сын, названный в честь отца Михаилом.

Анна Александровна всецело отдалась прелестям первого материнства, целый день возясь со своим крошкой, открывая в нем все новые и новые достоинства и способности и чуть ли не гениальный ум.

Таково блаженное состояние всех молодых матерей.

Время шло.

Дело об утверждении в правах наследства окончилось, и Михаил Дмитриевич уже собирался ехать осматривать свои новые владения, вел переговоры с агрономами, техниками и горными инженерами.

Решено было, что ребенок останется с бабушкой, матерью Анны Александровны, и нянькой, так как он ко времени отъезда будет отнят от груди, — молодая мать кормила сама, — а Анна Александровна поедет вместе с мужем.

Хотя последней было тяжело расставаться с сыном, но ввиду того, что бабушка была, несомненно, тем надежным лицом, на которого можно было его оставить, а Михаил Дмитриевич не хотел и слышать о поездке без жены, Анна Александровна, после некоторого колебания, согласилась.

Разлука с ее ненаглядным мужем тоже была для нее не из легких. Она так привыкла за это время быть с ним неразлучной.

Несмотря на то, что они после свадьбы стали жить на широкую ногу, — Михаил Дмитриевич нашел прекрасную квартиру на Сергиевской и роскошно меблировал ее, — жизнь они вели сравнительно уединенную и, не считая театров и концертов, которые усердно посещали, круг их знакомых был очень ограничен.

Взаимная любовь делала им приятными вечера, которые они просиживали одни, посторонние только бы вносили дисгармонию в аккорды их семейного счастья.

В их жизни не наступило еще того, почти неизбежного в супружестве времени, когда муж и жена, оставаясь с глазу на глаз, должны или браниться, или молчать.

Только тогда домашний очаг выносится на народ, на базар.

Время отъезда приближалось, когда вдруг из конца в конец России с быстротою молнии пронеслась весть о предстоящей войне с Турцией.

Сперва это было в форме настойчивого слуха, нуждавшегося в подтверждении.

Наконец явилось и это подтверждение.

Обнародован был высочайший манифест о начале военных действий.

То сочувствие, с которым не только русское общество, но и русский народ встретил объявление войны за освобождение наших братьев-славян от турецкого ига, не поддается описанию.

Еще ранее этих слухов о предстоящей войне, Россия, как один человек, следила за событиями на Балканском полуострове, и все симпатии русских людей были на стороне боровшихся за свою свободу болгар и сербов, в рядах которых сражались наши храбрые добровольцы.

Первые павшие из них в борьбе с турками были окружены ореолом народных героев.

В Михаиле Дмитриевиче Маслове проснулся не только русский человек, но и русский солдат.

Звук воинской трубы заставил затрепетать его сердце. Были забыты личные дела, были забыты имущественные интересы — все потонуло в одном великом деле, в одном русском общенародном интересе, — это дело, этот интерес была война за страждущих в иноверной неволе единоверных братьев.

— Я поступаю в армию… — заявил он Анне Александровне.

Молодая женщина сначала побледнела и не сразу ответила своему мужу.

Но через несколько мгновений она оправилась и с чуть заметною дрожью в голосе произнесла:

— Я буду молиться за тебя…

Восторженным взглядом подарил ее муж за эту геройскую фразу. Вопрос был решен.

Михаил Дмитриевич подал докладную записку и вскоре, снова облачившись в военный мундир, отправился в действующую армию, прикомандированный к одному из кавалерийских полков, находившихся на Кавказе.

Будучи, таким образом, на другом театре военных действий, он не встретился с Савиным.

При взятии Карса, он выказал чудеса храбрости и был тяжело ранен в правую сторону груди.

Около двух месяцев пробыл он в лазарете, но перенесенные им страдания были вознаграждены тем, что раненая грудь его была украшена славным «Георгием».

Остальную часть компании он сделал счастливо и по окончании войны вышел в отставку и вернулся в Петербург.

Его встретили ласки молодой жены и первый лепет сына.

Анна Александровна, бросившись в объятия мужа, буквально замерла в них от радости.

Когда же первый порыв встречи прошел, она вдруг истово перекрестилась и с благоговением поцеловала украшавший грудь Михаила Дмитриевича беленький крестик.

После нескольких месяцев отдыха, Маслов с женою уехали из Петербурга, в сопровождении специалистов и около полугода употребили на объезд принадлежавших им имений, фабрик и золотых приисков.

Дело оказалось далеко не в таком безотрадном положении, как говорили; пришлось сделать лишь несколько перемен в администрации приисков и некоторых фабрик, и громадное и разнообразное дело было почти налажено.

Заявление Михаила Дмитриевича, что он ежегодно, в неизвестное для управляющих время, будет лично приезжать на место, подтянуло нерадивых и сильно наживавшихся на хозяйском добре служащих, бывших в течение многих лет без всякого надзора.

Михаил Дмитриевич, ознакомившись с делом, сам принялся за руководство им из Петербурга, получая ежемесячно отчеты и давая те или другие письменные приказания.

Несколько месяцев в году приходилось все-таки находиться в разъезде.

Эти последующие поездки он уже совершал один.

Прошло два года.

Несмотря на множество работы по своему многочисленному хозяйству, Маслов поддерживал переписку с Николаем Герасимовичем Савиным, который писал ему из заграницы и описывал подробно свои приключения.

Михаил Дмитриевич называл шутя эти письма «главами романа», а Анна Александровна всегда с удовольствием слушала их, хотя они производили на обоих тяжелое впечатление.

— Жаль беднягу — такая жизнь разорит его окончательно… — говорил Маслов.

— Бедный, бедный, эта Марго, действительно, точно отуманила его, он, видимо, мечется по сторонам, чего-то ищет и не находит.

— Действительно, он, кажется, до сих пор еще влюблен в нее, хотя не хочет в этом признаться…

— Пусть бы вернулся сюда, разочаровался… — заметила Анна Александровна.

Муж вопросительно-недоумевающе посмотрел на нее.

— Кстати… Отчего я давно ее не вижу у нас?..

— Очень просто, ей у нас нечего делать…

— То есть, как?..

— Прости, Миша, но я… я не хочу быть с ней знакома… Ее поступок с Федором Карловичем… Ее поведение здесь, когда он был на войне… Все это мне крайне не нравилось. Я понимаю, почему он по возвращении все порвал с ней… Я ее не раз предупреждала, останавливала… Знать ничего не хочет… Теперь же этот постоянно длинный хвост обожателей… Как хочешь, это нехорошо… Я не отдала ей визита… Она поняла и прекратила посещения.

Маслов молчал.

— Ты не сердишься на меня за это? — с тревогою заметила Анна Александровна.

— Напротив, душа моя, я очень рад, что не мне пришлось просить тебя прекратить это знакомство… Я доволен, что ты предупредила меня.

По лицу молодой женщины разлилась довольная улыбка.

— А вот с кем я хочу очень, очень подружиться, это с нашей докторшей.

— С Зиновией Николаевной?

— Да… Это такая хорошая женщина… Ведь она Мишу положительно спасла от смерти… Она уже после сказала мне об этом…

Уже начиналось воспаление мозга… Я так, говорит, боялась, так боялась… И сказала она это так задушевно, искренне, что я бросилась и расцеловала ее… Миша ее тоже обожает… Тетя Зина, тетя Зина… — только у него и разговора.

— Она, действительно, премилая барынька.

— А знаешь, Миша, чья она воспитанница? Ведь она сирота, подкидыш, не знает ни отца, ни матери…

— Вот как!.. Чья же?

— Савиных… Она хорошо знает Николая Герасимовича… Он ей поверял свою любовь к Гранпа, свои надежды… Мы как-то с ней разговорились, и она мне все рассказала.

— Она замужем?

— Да.

— Кто ее муж?

— Он писатель… Ястребов… известный.

— А-а-а… знаю.

— Они, кажется, очень счастливы… Оба работают и живут душа в душу… У нее ведь очень большая практика.

— Еще бы… Она, несмотря на то, что молодая, начинает приобретать известность. Со сколькими врачами я ни говорил, все отзываются о ней с величайшим уважением.

Так пришедшаяся по душе Анне Александровне Масловой женщина-врач Зиновия Николаевна Ястребова была действительно знакомой нам приемной дочерью стариков Савиных — Зиной Богдановой.

Ее мечта исполнилась.

У Масловых она была желанной гостьей.

Чтобы чаще видеть ее, Анна Александровна с разрешения мужа пригласила ее к себе годовым врачом.

Добросовестно до педантизма она являлась ежедневно, к большому удовольствию Масловой.

Таким образом они сблизились и подружились.

Михаил Дмитриевич вскоре тоже разделил восторженное мнение своей жены о докторше и с удовольствием беседовал с ней, когда случайно был дома и не был занят во время ее визита.

Как-то раз, когда Зиновия Николаевна сидела с Анной Александровной в будуаре последней, туда вошел Михаил Дмитриевич с письмом в руке.

— Могу сообщить вам новость! — воскликнул он.

— Какую?.. — почти в один голос спросили дамы.

— Савин приезжает в Петербург… Вот его письмо…

Он передал его жене.

— Неужели? — обрадовалась Зиновия Николаевна.

— Это хорошо, мы здесь его общими силами исправим и вылечим, — заметила Анна Александровна.

— Это как удастся…

— Чего нам с Зиновией Николаевной не удастся… А мы тебе тоже можем сообщить новость, только более печальную.

— Печальную?

— Да… Вот сейчас только мне рассказывала Зиновия Николаевна…

— Что такое?

— Сегодня к ним в больницу привезли Аркадия Александровича Колесина.

— Что с ним?

— Он сегодня утром застрелился в Летнем саду.

— Несчастный! Он жив?

— Нет, умер через полтора часа… Он выстрелил в себя сидя, в левый бок, пуля проникла в полость живота, — ответила Ястребова.

— Доигрался!.. — печально заметил Маслов. — Царство ему небесное.

Часть третья
На законном основании

I
В укромном уголке

Стоял конец октября 1883 года.

На дворе была та адская осенне-зимняя петербургская погода, в которую, по определению русского народа, хороший хозяин не выгонит на двор собаки.

Дул резкий ветер, неся с собою пронизывающий до костей холод, в воздухе стояла какая-то мгла, не то туман, не то изморозь, сквозь которую еле пробивался свет электрических фонарей Невского проспекта, не говоря уже о газовых, слабо мерцавших во мраке на остальных улицах приневской столицы.

Был десятый час вечера.

Невский был сравнительно пуст, так как наполняющий его по вечерам фланирующий Петербург обоего пола, вследствие адской погоды, отсутствовал.

На извозчиках и в своих экипажах проезжали закутанные фигуры, быстро катясь по мокрой глади проспекта; даже неисправимые петербургские возницы, — о, чудо! — усердно подгоняли своих кляч, видимо, мечтая о теплом уголке трактира и горячем чае.

По панелям быстро мелькали съежившиеся от холода фигуры пешеходов, скорым шагом бежавших по домам.

Во всем этом быстром движении, этой вечерней сутолоке читалась одна мысль о теплом уголке, в который всякий как можно скорей хотел укрыться от охватывающей с головы до ног болотистой сырой мглы.

Освещенные окна квартир как бы манили к себе и казалось сулили райское наслаждение тепла и неги.

Уйдем и мы с тобой, дорогой читатель, и укроемся от разыгравшейся петербургской непогоды в укромном уголке.

Свернем с главной артерии столицы — Невского проспекта — на Николаевскую улицу и, добравшись до Колокольной, войдем в один из пятиэтажных домов этой улицы, в квартиру третьего этажа, на двери которой, выходящей на парадную лестницу, прибита металлическая доска, с надписью выпуклыми буквами: «М. Н. Строева».

Квартирка была небольшая, состоявшая из амфилады четырех, не считая передней, маленьких комнат, но так уютно и комфортабельно убранных, что даже не в такую адскую погоду этот, действительно, райский укромный уголок способен задержать довольно долго даже вечно торопящегося истого петербуржца.

Воздух комнат, начиная с передней, пропитан был таким неуловимым тонким ароматом дорогих духов, что каждый входящий поневоле с наслаждением вдыхает его.

По одному этому запаху можно было заранее догадаться, что в этой квартире живет хорошенькая женщина.

По выбору тех или других духов можно всегда почти безошибочно, не видя женщины, определить степень ее привлекательности и сознания ее силы, ее обаяния, а также и ее лета.

Только очень хорошенькие и молоденькие женщины употребляют духи нежных запахов, ласкающие обоняние и не раздражающие его.

Менее красивые, миловидные и грациозные, душатся смесью, составляемою ими из разных запахов, в которой сильные духи парализуются несколько нежными запахами — секрет этой смеси составляет тайну женщин, которую они не выдают даже своей задушевной подруге.

К такой же смеси прибегают и очень хорошенькие, но несколько пожившие дамы.

Женщины некрасивые или уже чересчур вкусившие от жизни, к числу последних принадлежат и «милые, но погибшие создания», предпочитают сильные запахи, действующие на мужские нервы, распаляющие воображение и таким образом заставляющие не замечать в этих представительницах прекрасного пола недостатков природы и изъянов, нанесенных жизнью и временем.

Хозяйка квартиры, в которую мы укрылись от непогоды — Маргарита Николаевна Строева, — принадлежала к женщинам третьей категории.

Умышленно или нет, но все двери этой амфилады комнат были раскрыты.

Сама хозяйка сидела в гостиной на одном из кресел, стоявшем перед преддиванным столом, и играла кистями своего домашнего платья-принсес, плотно охватывавшего ее красивую фигуру, затянутую в корсет.

Надетое на ней платье цвета бордо, из плотной шерстяной материи, только в силу пришитых у талии шелковых шнуров с большими кистями, да широких полуразрезных рукавов, позволявших видеть полуобнаженную ручку, считалось домашним, не представляя из себя ни малейшего удобства просторного капота.

Маргарита Николаевна Строева была очень хорошенькая брюнетка с большими черными задумчивыми глазами.

Бронзовый цвет лица, с правильными тонкими чертами и нежным румянцем, несколько приподнятые ноздри изящного носика с маленькой горбинкой и изящно очерченные алые губки, верхняя из которых оттенялась нежным темным пушком, розовые ушки, в которых блестели крупные бриллианты и, наконец, иссиня-черные, воронова крыла, волосы, густая и, видимо, длинная коса которых, небрежно сколотая на затылке и оттягивавшая назад грациозную головку своей обладательницы — все это делало то, что Маргарита Николаевна невольно

останавливала на себе внимание с первого взгляда, поражала своей, если можно так выразиться, вакханической красотой.

Высокая, стройная, чудно сложенная, той умеренной полноты, не уничтожающей грации, а напротив, придающей ей пластичность, с точно выточенными, украшенными браслетами руками, на длиннотонких пальцах которых блестело множество колец, и миниатюрными ножками, обутыми в ажурные чулки цвета бордо и такие же атласные туфельки с золотыми пряжками, Маргарита Николаевна была той пленительной женщиной, которые мало говорят уму, но много сердцу, понимая последнее в смысле усиленного кровообращения.

На вид ей было не более двадцати лет.

Перед ней, на противоположном кресле, в элегантной сюртучной паре, красиво облегавшей стройную фигуру, сидел наш старый знакомец Николай Герасимович Савин.

По восторженному взгляду его глаз, устремленных на молодую женщину, видно было, что она производит на него сильное впечатление. В тоне его голоса дрожали страстные ноты, он, видимо, старался говорить мелодично, лаская слух очаровательной хозяйки. С воодушевлением передавал он ей впечатления о своем заграничном путешествии, описывая все виденное и слышанное, жизнь, нравы, удовольствия главных городов Франции, Италии и Англии.

Маргарита Николаевна слушала его с непрерывным вниманием, лишь изредка вставляя замечания, задавая вопросы, прося разъяснения.

— Какой вы счастливец, — наконец воскликнула она, — все это видеть, жить этой жизнью, наслаждаться картинами этой восхитительной природы, дышать этим благорастворенным воздухом. И вернуться сюда, где…

Она грациозным жестом показала на окно, в которое, как будто для окончания ее фразы, порыв ветра бросил крупные брызги дождя.

— Увы, вы заблуждаетесь, и там человек может быть глубоко несчастным, — вздохнул он.

— И вы… вы были несчастны?

— И я…

— Но чего же вам было надо? Вы человек с независимым состоянием, свободный. Я не понимаю. Вы кажетесь мне таким жизнерадостным.

— Кажусь… — с горечью улыбнулся Савин, — только кажусь. А между тем я много перенес горя и неудач… в поиске того, что я искал и ищу.

— Чего же вы ищете?

— Вам станет смешно. Но вы не смейтесь. Идеальной любви.

— А-а… — как-то загадочно произнесла она, но даже не улыбнулась.

Савин сидел, как завороженный и молчал.

— Скажу вам про себя. Замуж я вышла семнадцати лет, против моей воли, по требованию родителей, за человека, которого я не только не любила, но которого я просто боялась. Муж мой — человек уже немолодой и притом грубый деспот. С год томилась я, живя с ним, но не выдержала и уехала от него из Петербурга на Кавказ к моей тете и там прожила почти без всяких средств два года. В Тифлисе я познакомилась с одним господином, Зариновым, человеком прекрасным во всех отношениях, а главное, с прекрасной душой. Он долго за мною ухаживал и, наконец, сделал мне предложение, умоляя меня развестись с мужем и выйти за него замуж. Будучи совершенно чуждой моему мужу и не любя его, я давно бы развелась с ним, но для этого нужны были большие затраты, а денег у меня не было. И вот Заринов, предложив мне быть его женой, просил меня разрешить ему вести мое бракоразводное дело на его счет. Я согласилась и поехала хлопотать в Петербург. Вскоре приехал и Заринов. Он поручил мое дело одному из лучших присяжных поверенных, а меня устроил вот на этой квартире.

Бракоразводные дела, как известно, тянутся долго, а потому Заринов до окончания их уехал обратно в Тифлис, имея там дела. Я его искренне полюбила, как хорошего и доброго человека, и жила сладкой надеждой на развод и брак с ним. Но недолго ласкали меня эти радужные грезы. Три месяца тому назад приехал сюда Заринов, больной, расстроенный, лица на нем нет, говорит бессвязные речи. Я испугалась и послала за доктором, который, осмотрев его, посоветовал мне немедленно отвезти его в больницу для умалишенных. Горько, грустно было мне, но нечего было делать и я отвезла его к доктору Преображенскому, который, осмотрев его, нашел, что он очень плох, и что нет надежды на его излечение. Я очутилась теперь здесь, в Петербурге, одна, без всяких средств и с бракоразводным процессом на руках, который, за неимением денег, не могу

продолжать. Вот видите, что не одни вы несчастны. Вы, по крайней мере, хоть короткое время да были счастливы, любили и были любимы, я же кроме горя ничего не видела в жизни, а счастье, только что показавшееся на моем горизонте, закатилось и исчезло.

Она замолчала и поникла головой.

По ее прелестным смуглым щекам катились слезы.

Николай Герасимович тихо встал и несколько раз прошелся по комнате.

— Голубушка, Маргарита Николаевна, не плачьте, — подошел он к ней, — не унывайте… Вы так молоды, так хороши… в вас такая прекрасная душа, что всякий порядочный человек, узнав вас, сочтет себя счастливым вас полюбить.

Говоря эти слова, Савин взял ее руку и прижал ее к своим губам.

— Благодарю вас. Вы добрый, хороший… — сказала она. — Но это меня все так расстроило, что я совсем чувствую себя больной… Простите.

Николай Герасимович выпустил руку и взялся за шляпу.

— Успокойтесь… Не волнуйтесь, все будет хорошо… — сказал он ей, прощаясь и снова целуя ее руку. — Так до послезавтра у Масловых.

Она через силу улыбнулась.

— До послезавтра.

Он уехал.

II
Соломенная вдовушка

Выйдя из дому, где жила Строева, Николай Герасимович, не торгуясь, сел на первого попавшегося извозчика и велел ему ехать на Михайловскую.

Он и в этот свой приезд в Петербург остановился, по обыкновению, в «Европейской» гостинице.

Несмотря на сравнительно ранний час, — был всего двенадцатый в начале, — Савин решил ехать домой.

Вероятно, это был единственный человек в Петербурге в эту адскую осеннюю ночь, который не замечал бушевавшей непогоды.

Ветер дул ему прямо в лицо, осыпая холодными как лед брызгами изморози и дождя, от которого открытые пролетки петербургских извозчиков не давали ни малейшей защиты.

Николай Герасимович между тем даже не поднял воротника своего мехового пальто и не надвинул поглубже на лоб меховой шапки.

Ему было не до непогоды.

Пусть бушует ветер, пусть даже разыграется буря, пусть сырая мгла еще более сгущается вокруг него!..

Что ему до всего этого, когда он внутренне переживает одну из лучших неаполитанских ночей, когда какое-то давно неизведанное спокойствие ощущает его мятежная душа, когда грезы одна другой обольстительнее, подобно легкому зефиру, проносятся в его голове, когда сердце хотя и бьется учащенно, но ровными ударами, без перебоев.

Он был весь под впечатлением откровенно-дружеского признания Маргариты Николаевны.

— Ищу, — думал он, — я в жизни любви. С этой целью изъездил почти пол-Европы, думая там, на чужбине, найти счастье и что же? После почти трехлетнего скитания, истратив огромные деньги, вернулся домой, в Россию, все таким же одиноким, с тою же сердечною пустотой. Правда, что влюбляясь так, как делал я до сих пор, увлекаясь только одной красотой женщины, не стараясь узнать ни ее характера, ни ее души, я не мог рассчитывать на прочное счастье. Да и в силах ли я, с моим пылким, необузданным темпераментом, изучать внутренние качества той, которая уже очаровала меня своей красотой… Нет, конечно, нет, и вот главная причина всех моих неудач…

Образы Гранпа, Анжелики, Лили и даже Кармен пронеслись перед ним какими-то светлыми, но мгновенными метеорами и исчезли бесследно.

Сердце его томительно сжалось.

Мгла сырой промозглой петербургской ночи стала еще мрачнее после этих светлых видений.

Не то ли происходит с мраком жизни, когда в нее лишь на мгновенье вносят яркий светоч.

От прошлого мысли Савина перенеслись к настоящему.

Он и теперь чувствует себя увлеченным его новой знакомой, но это увлечение, которое сегодня, после ее признания, перешло, как по крайней мере казалось ему, в более серьезное чувство, началось иначе, нежели начиналось там, в прошлом.

Он не поразился с первой встречи ее красотой, не запылал к ней непреодолимой страстью, которая заставила бы его все бросить и лететь за ней.

Чувство его к Маргарите Николаевне родилось не с первого знакомства, а только сегодня, когда она раскрыла ему свою душу.

Остановившийся у главного подъезда «Европейской» гостиницы извозчик прервал течение его мыслей.

Николай Герасимович и не заметил, как был уже дома.

Приказав швейцару расплатиться с извозчиком, он быстро вбежал по лестнице в бельэтаж гостиницы, отворил поданным ему лакеем ключом свой номер и вошел.

Провожавший его лакей зажег свечи и, получив на свой обычный вопрос: «ничего не прикажете?» — отрицательный ответ, беззвучно вышел.

Савин остался один.

Потушив одну из свечей, он взял другую и прошел с ней в спальню.

Быстро раздевшись, он бросился на приготовленную постель, но не с целью заснуть — было еще, во-первых, слишком рано, а во-вторых, он был слишком взволнован, чтобы рассчитывать на сон. Ему хотелось лишь сосредоточиться, чтобы вновь вызвать прерванные приездом домой мечты прошлого, грезы будущего.

Николай Герасимович погасил свечу.

Оставим его в этих мечтах и грезах и постараемся удовлетворить, хоть в нескольких словах, совершенно законное любопытство читателей, каким образом на жизненной дороге нашего героя, которого мы оставили в Неаполе, собирающегося возвратиться в Россию, появилось новое действующее лицо — Маргарита Николаевна Строева.

Николай Герасимович вскоре после своего приезда в Петербург из Руднева, где он пробыл все лето и часть осени, встретился с нею на первом же «вторнике» Масловых.

Эти «вторники» были очень оживлены. В гостиных Михаила Дмитриевича и Анны Александровны собиралось небольшое, но очень милое общество, среди которого были представители печати и артистического мира, придававшие этим собраниям характер задушевности и простоты.

Маргарита Николаевна Строева была в этих гостиных новым лицом. Ее познакомила и ввела в дом Масловых Зиновия Николаева

Ястребова, познакомившаяся с нею, в свою очередь, всего месяца три тому назад, как с пациенткой.

Последняя передала о новом знакомстве Анне Александровне Масловой, в мрачных красках описала несчастную судьбу очаровательной женщины и настолько заинтересовала молодую женщину, что та выразила непременное желание познакомиться со Строевой.

Знакомство это состоялось у Ястребовой.

Маслова тоже положительно очаровалась Маргаритой Николаевной и пригласила ее к себе.

Только оба мужчины — Маслов и Ястребов остались относительно новой знакомой их жен при особом мнении.

— Не нравится мне эта твоя Строева, — заметил Михаил Дмитриевич, — в ней нет правды, она вся деланная…

Оба мужа, несмотря на свои отдельные от жен мнения, были очень любезны и предупредительны к новой знакомой — ее чисто плотская красота поневоле заставляла их забывать копошившиеся в их уме сомнения, по крайней мере, в ее присутствии.

Приезд Николая Герасимовича Савина в Петербург ожидался со дня на день.

Анна Александровна и Зиновия Николаевна были до чрезвычайности заинтересованы этим приездом.

Обе женщины, знавшие по письмам к Маслову о несчастных его заграничных разочарованиях, принимали горячее участие в его судьбе.

Им во что бы то ни стало хотелось удержать его в Петербурге, и они были заняты изысканием для этого действительных средств.

Маслова первая высказала в один прекрасный день пришедшую ей на ум идею.

— Надо устроить так, чтобы он влюбился в Строеву, это будет спасением их обоих. Она утешится в потере жениха. Он найдет любящее, действительно, сердце, испытанное в горниле страдания. Может быть, даже он поможет ей развестись и женится на ней… В тихой пристани домашнего очага он найдет успокоение.

Наконец наступил вторник, когда приехавший незадолго перед этим в Петербурге Николай Герасимович явился на вечер к Масловым.

Он уже успел ранее побывать и у Михаила Дмитриевича, и у Зины, с мужем которой даже успел сойтись на дружескую ногу.

Ястребов был положительно в восторге от Савина.

— Широкая, непочатая русская натура. Загубленный жизнью талант-самородок. Направь его воспитанием и образованием на другую дорогу, из него вышел бы выдающийся деятель на всяком поприще. А теперь… Отними у него средства — он сделается опасным, неуловимым мошенником…

— Что ты, что ты! — замахала рукой Зиновия Николаевна.

— Помяни мое слово… Дай Бог, чтобы он не разорился.

— Он очень богат.

— В этом его спасенье.

В этот вторник Анна Александровна представила Николая Герасимовича Строевой.

Он проболтал с ней целый вечер и отправился провожать ее домой.

Она, прощаясь, пригласила его бывать у ней.

— Без всяких визитов… вечерком, — сказала она.

Савин не заставил себя долго ждать, и через несколько дней был у очень понравившейся ему с первого взгляда «соломенной вдовушки».

Мы присутствовали с тобой, дорогой читатель, при этом первом визите.

III
На верху блаженства

План, составленный Масловой и Ястребовой, удался в совершенстве и с даже их самих удивившей быстротой.

Прошел с небольшим месяц, как однажды очень поздно вечером к Масловым весь сияющий влетел Николай Герасимович.

Это посещение было совершенно неожиданно.

Михаил Дмитриевич и Анна Александровна находились в угловой гостиной и слушали, как Ястребов читал им свою последнюю, только что оконченную им повесть.

Зиновия Николаевна сидела тут же. В ее глазах, смотревших на мужа, горело восторженное восхищение.

Ястребов был мастер читать — явление очень редкое среди литераторов.

Алексей Александрович, впрочем, ранее готовился к сцене и даже был воспитанником театрального училища, играл долгое время

в провинции и, лишь отдавшись литературе, бросил сцену, хотя был очень недурным актером и обладал редкою дикцией в связи с мелодичным грудным голосом.

Новая его повесть, как и все его произведения, слушалась легко и во многих местах производила сильное впечатление.

Увлеченные чтением, сидевшие в гостиной не слыхали даже звонка Савина, впущенного, по праву друга, без доклада, и он, повторяем, совершенно неожиданно появился в гостиной.

Увидав сидевшую около читавшего Ястребова группу, он остановился.

В это самое время Алексей Александрович кончал главу и первый заметил вошедшего:

— А, Николай Герасимович…

— Ба, Савин, вот подкрался… — воскликнул Михаил Дмитриевич.

— Как кстати… Послушайте, какая это прелестная вещь, мы вкратце расскажем вам прочитанное… — заметила Анна Александровна.

Зиновия Николаевна молча подала руку Савину, — она не любила, когда прерывали чтения ее «Лели», как называла она мужа.

— Садись и слушай… Продолжайте, пожалуйста… — обратился к Ястребову Маслов.

— Но надо рассказать Николаю Герасимовичу, в чем дело… — запротестовала Анна Александровна.

— И то правда.

— Я расскажу вам… — вызвался Ястребов и в коротких словах передал содержание прочитанных глав… — Осталось всего три… — успокоил он Николая Герасимовича, заметив на лице его выражение нетерпения.

Чтение продолжалось.

Три заключительные главы были полны еще большего интереса, так как в них сосредоточивалась развязка довольно запутанной фабулы, и повесть оканчивалась эффектно, оригинально и, что главное, совершенно неожиданно для читателей.

Слушатели рассыпались в похвалах.

Зиновия Николаевна молча подошла к мужу и поцеловала его в лоб.

На ее глазах были слезы — это были слезы радости, слезы торжества, она гордилась своим мужем и не старалась скрыть этого.

Алексей Александрович нежно потрепал ее по щеке.

— Вот моя вдохновительница и оценщица… Когда я вижу в глазах ее слезы, я чувствую, что написанное мною не пройдет бесследно, что оно чему-нибудь научит, хотя в ком-нибудь пробудит доброе чувство, хоть кого-нибудь да исправит… — заметил с совершенно несвойственной ему серьезностью Ястребов. — Но это в сторону, добавил он, — я не хотел идти против желания большинства и продолжал читать, хотя видел, что наш общий друг Николай Герасимович принес нам известие, куда интереснее моей повестушки… Не так ли, мой молодой друг?

Савин вспыхнул.

— Однако, вы преопасный человек, такая наблюдательность… — сконфуженно пробормотал он.

— Что, догадался?.. — засмеялся Ястребов. — Приехали сообщить нам, что любимы и любите…

— Вы положительно чтец мыслей…

— Это нетрудно, когда книга открыта, иные лица очень красноречивы, у вас такое лицо… Буду говорить дальше… Значит после развода веселым пирком да и за свадебку…

Вся компания перешла в столовую.

— Однако, в самом деле «быстренько», как сказал Алексей Александрович, — шепнула Анна Александровна Ястребовой.

Та только пожала плечами.

За ужином, впрочем, компания оживилась. Больше всех и тут говорил Савин, и его уверенный тон, его более чем красноречивые описания нравственных качеств Маргариты Николаевны сделали то, что даже у скептиков Ястребова и Маслова появилась в голове мысль: «А может и впрямь они будут счастливы!»

Дамы раньше их уже склонились к этому решению.

«Впрочем, что вглядываться в будущее, хоть день, да их…» — неслось почти одновременно в голове Михаила Дмитриевича и Алексея Александровича.

«Не нам мешать их счастью бесполезными рассуждениями…» — думали то же почти в унисон дамы.

Таким образом, к тому времени, когда в бокалах заискрилось шампанское, все, сидевшие за столом, искренне и от души поздравили Николая Герасимовича и выпили, как за его здоровье,

так и за здоровье отсутствующей, его будущей подруги жизни, Маргариты Николаевны Строевой.

Николай Герасимович предложил тост: «за друзей».

Такой быстрый успех Савина у красавицы Строевой, удививший, как мы видели, его друзей, для него самого казался далеко не быстрым.

Эти пять недель — Николай Герасимович считал не только дни, но и часы, которые прошли в усиленном ухаживании за Маргаритой Николаевной, — показались ему целою вечностью.

После первого визита он стал частенько наведываться к обворожившей его «соломенной вдовушке», увлекаясь ею все более и более.

С каждым разом, как и все влюбленные, он открывал в ней все более и более выдающиеся качества человека и женщины.

Строева, конечно, не могла не заметить внушенного ею чувства, которое било ключом в тоне голоса, в жестах, во взглядах Николая Герасимовича, но искусно делала вид, что ничего не замечает.

Она даже день ото дня становилась все грустнее, все сосредоточеннее.

Нервозность ее дошла до крайности.

При каждом малейшем стуке она вздрагивала и пугливо озиралась по сторонам.

— Что с вами, голубушка, Маргарита Николаевна? — с необычайно нежной заботливостью спрашивал Савин.

— Ничего… Уж такая я вся искалеченная… Довел муженек… Окончательно изломал меня и физически и нравственно… Думала, будет хоть какой-нибудь просвет в этой тьме, но последний удар окончательно доконал меня… Все в жизни кончено, поскорей бы смерть… Если бы не боялась греха, давно бы на себя наложила руки… — слабым, страдальческим голосом говорила молодая женщина.

Сердце Николая Герасимовича разрывалось на части.

— Полноте, дорогая, что за мысли, вы еще так молоды, ваша жизнь впереди, разве можно так отчаиваться.

Она только безнадежно махала рукой.

Савин настойчиво, почти ежедневно, посещал ее и употреблял всю силу своего красноречия и остроумия, чтобы утешить и рассеять ее.

Его старания недели через три, показавшиеся ему по крайней мере за три года, увенчались успехом.

Вечно задумчивая красавица стала улыбаться.

Прошло еще несколько томительно долгих для него дней.

В глазах Маргариты Николаевны появилось оживление, мелькнули даже огоньки страсти — она стала принимать Николая Герасимовича, видимо, с нескрываемой радостью.

Чутье влюбленного подсказало ему, что предмет его восторженного обожания не равнодушен к нему.

Он стал наблюдать, чтобы убедиться в этом.

Его наблюдения дали благоприятные для него результаты.

Он решил объясниться с нею прямо, откровенно, но какая-то не свойственная ему прежде робость заставляла откладывать это объяснение со дня на день.

Наконец в тот самый день, когда поздним вечером он явился к Масловым, это объяснение произошло.

Он обедал у Строевой и после обеда, когда они перешли в гостиную, вдруг опустился перед нею на колени.

— Что вы, что вы? — деланно удивленным тоном воскликнула она.

— Вы слишком умны, Маргарита Николаевна, — начал он дрожащим голосом, — чтобы не замечать, что я изнемогаю от любви к вам. Скажите же мне откровенно, любите вы меня и могли бы решиться разделить мою жизнь.

Ее большие грустные глаза устремились на него с выражением — так по крайней мере показалось ему — беспомощно стыдливой нежности.

Она точно хотела сказать: «Вы еще спрашиваете!» Она шевелила губами, но слов не было слышно.

Он держал в своих руках ее маленькие нервно вздрагивающие руки.

Голова его кружилась.

Наконец он привлек ее к себе и страстным шепотом произнес:

— Любишь, дорогая моя?

— Да! — прошептала она едва слышно. Их губы слились в долгом горячем поцелуе. Николай Герасимович был на верху блаженства.

Вдруг Маргарита Николаевна оттолкнула его и закрыла лицо руками.

— Боже мой, что я делаю!

— Что, дорогая моя, что, ненаглядная… Ты любишь… В этом великом слове заключается все… Я окружу тебя всевозможным комфортом, я дам тебе все радости жизни — я дам тебе счастье, не говоря уже о том, что я сам весь, все мое состояние принадлежит тебе… Я люблю тебя, люблю безумно, страстно… Ты моя, и я никому не отдам моего счастья.

— А муж!

— Я сумею охранить тебя от него… — сверкнув глазами, воскликнул Савин.

— Я боюсь, что он узнает, что я в Петербурге и приедет.

— Мы будем жить вместе… Попробуй он явиться.

— Вместе!.. — испуганно воскликнула она.

— На этой же лестнице сдается квартира в бельэтаже, я займу и меблирую ее. А пока я буду бывать у тебя ежедневно.

Она молчала.

— Ты согласна?

— Да… Но поговорим завтра… Я сегодня так взволнована.

Он обнял ее, еще раз крепко поцеловал и уехал.

Мы знаем, что прямо от Строевой он отправился к Масловым.

IV
Под арест

Прошло полгода.

Николай Герасимович и Маргарита Николаевна все еще, казалось, переживали медовый месяц своей любви.

Нанятую в том же доме, где жила Строева, большую квартиру Савин отделал, действительно, на славу.

Вся мебель была заказана у Лизере, из Парижа он выписал свои картины и вещи.

Словом, Николай Герасимович устроил прелестнейшее гнездышко для своей очаровательной Муси, как называл Маргариту Николаевну.

Составленный им круг знакомых из бывших товарищей Савина по полку, Маслова с женой и Ястребова с Зиновией Николаевной и их друзей был небольшой, но веселый и задушевный.

Время проходило очень приятно.

Николай Герасимович выписал из Руднева своих рысаков и тройку, на которой часто они с компанией совершали поездки за город слушать цыган.

Одевал он Маргариту Николаевну роскошно, выписывая ей все туалеты и все необходимое из Парижа.

У всякого есть своя слабость или страсть.

У Савина, с легкой руки Анжелики, развилась страсть одевать женщин, и он, надо было отдать ему справедливость, знал это дело до тонкости.

Вообще, он старался окружить «свою Мусю» самой трогательной заботливостью, баловал самыми поэтическими выражениями внимания и исполнял все ее мельчайшие желания.

Он блаженствовал.

Жизнь его была одна сплошная, по его собственному выражению, страстная песнь любви.

Наконец он нашел то, что так долго искал: умную, прелестную женщину, с прекрасным характером и нежно любящим сердцем.

Ему было так хорошо в обществе его дорогой Муси, что никуда не тянуло и он просиживал по целым дням дома, наслаждаясь покоем не изведанного им счастья у домашнего очага.

Тихое пристанище после его бурно проведенной жизни казалось ему настоящим раем.

Время летело незаметно.

Темные тучи стали появляться на ясном небосклоне их жизни. Началось с того, что Маргарита Николаевна получила письмо, которое по прочтении тотчас же уничтожила.

Письмо это расстроило ее на целый день.

Она ходила как потерянная, то и дело задумывалась, и на глазах ее выступали слезы.

— Что с тобой, Муся?.. — допытывался Николай Герасимович.

— Ничего, положительно ничего… — отвечала она, стараясь улыбнуться через силу.

— От кого было это письмо?.. — серьезно спросил он.

— От мужа… — не выдержала Строева и зарыдала.

— От мужа? — повторил растерянно Савин. — Что же он пишет?

— Пишет, что не даст больше отдельного вида… и что едет сюда… — сквозь слезы продолжала Маргарита Николаевна. — Кончено

наше счастье… Все кончено… Паспорту срок через месяц… Бракоразводное дело я не веду.

— Надо будет опять начать его.

— Теперь уже поздно… Муж может приехать не нынче-завтра, опять начнутся скандалы…

— Об этом не беспокойся… Сюда он не явится, а если осмелится, то будет иметь дело со мной… Но чего же он хочет? Денег?

— Нет, денег он не возьмет… — печально покачала она головой.

— Чего же ему надо?

— Чего? Ему надо мучить меня… отравлять мою жизнь… Он, вероятно, узнал теперь, что я счастлива и довольна, вот он и едет, чтобы все испортить, чтобы сделать меня снова несчастной.

— Ну, это ему не придется, Муся… Положись на меня и будь спокойна.

— Но что же ты можешь сделать… Он муж, а ты…

Она горько усмехнулась.

— Я ему покажу «муж»… Я его так проучу, что он позабудет, как отворяется наша дверь и на какой улице мы живем… Пусть только явится, — горячился Николай Герасимович.

— Это скандал!.. — вздохнула Строева.

— Скандал, так скандал, но до тебя я его не допущу, пока жив, можешь быть спокойна.

Скандал действительно произошел.

Спустя полторы недели после получения Маргаритой Николаевной письма от мужа, в их общей с Савиным квартире раздался резкий звонок.

Был двенадцатый час утра, и Николай Герасимович сидел у себя в кабинете.

— Там господин Строев просят доложить барыне… Я сказал, что они почивают, требует, чтобы разбудили, кричит… — доложил вошедший испуганный лакей.

Вся кровь бросилась в голову Николая Герасимовича.

— Где он?

— В зале.

Савин быстро вышел из кабинета и застал посетителя уже входившего из залы в гостиную.

Это был низенького роста толстенький человечек, с опухшим, видимо от беспрерывного пьянства, лицом, всклокоченными черными

с сильной проседью вьющимися волосами, седым, давно не бритым подбородком и торчащими в разные стороны щетинистыми усами.

Одет он был в изрядно потертый репсовый сюртук, в петлице которого была орденская ленточка, и темно-серые брюки с сильно обитыми низками, лежавшими на порыжелых, стоптанных сапогах.

В руках он держал барашковую вытертую шапку.

Он был и теперь очень сильно выпивший и посоловелыми, заплывшими маленькими глазами, в которых светилось какое-то странное насмешливое добродушие, глядел на Николая Герасимовича.

«И этот оборванец — ее муж… — мелькнуло в голове последнего. — Он обладал ею и, конечно, прибыл сюда, чтобы предъявить на нее свои права».

Ревнивая злоба чуть не задушила его.

Маленький человечек еще более подлил масла в огонь.

— Честь имею представиться… — заговорил он заплетающимся языком, — отставной капитан и георгиевский кавалер Эразм Эразмович Строев, законный супруг живущей в этой квартире Маргариты Николаевны Строевой… Хорош-с?.. — вопросительно насмешливым тоном добавил он. — С кем имею честь?

— Это все равно… — задыхаясь от злобы, отвечал Савин. — Что вам угодно?

— Хе, хе, хе… Все равно… Это действительно все равно, какой мужчина живет в одной квартире с моей супругой… Это действительно все равно… Только, по-человечески, вас жаль… Попали вы в логовище пантеры… Я-то не боюсь, я укротитель.

— Довольно болтать вздор, я вас спрашиваю, что вам угодно?

— Что угодно? Это уж я, государь мой, скажу своей супруге… Вот что-с… Повидать мне ее надо… кралю-то эту красоты неописанной.

— Если вам надо видеть Маргариту Николаевну, то можете уйти, с чем пришли… Вы ее не увидите…

— Это как же понимать прикажете?.. Вы кто же ей приходитесь? Сожитель? А я муж, законный муж, ну, значит, и брысь.

— Что-о-о… — заревел вне себя от гнева Савин… — Говорю тебе, убирайся вон сейчас же, или я тебя вышвырну!

— Чтоб я ушел!.. Это атанде… Я в своем праве, я к супруге, за меня закон.

Он совершенно неожиданно для Николая Герасимовича поспешил сесть в кресло.

— Подождем, пока изволят проснуться.

— Так ты честью уйти не хочешь?.. Хорошо, — подскочил к нему Савин и, схватив за шиворот, приподнял с кресла и понес через гостиную и залу в переднюю.

Эразм Эразмович барахтался и руками и ногами, но Николай Герасимович, обладавший, особенно в припадках гнева, колоссальной силой, нес его на весу и так, видимо, затянул ему ворот рубашки, что и без того красное лицо Строева сделалось сине-багровым.

Отворив дверь на парадную лестницу, Савин выпустил отставного капитана и пинком ноги сбросил его с лестницы.

Эразм Эразмович покатился вниз, колотясь головой о ступени.

— Караул, убили! — раздались его крики по всей лестнице.

Два каких-то господина, поднимавшиеся в это время по лестнице, бросились на помощь к кричавшему Строеву; явился швейцар.

— Это я спровадил этого нахала! — крикнул последнему Николай Герасимович. — Если он вздумает явиться второй раз — не пускай, не то совсем убью.

Он вернулся в квартиру и запер дверь.

Возвратившись в кабинет и несколько успокоившись, Савин позвонил.

Явился лакей.

Он улыбался во весь рот.

— Маргарита Николаевна не должна знать, что этот господин был здесь… Слышишь, Петр?

— Слушаю-с… А на отличку вы его попотчивали, Николай Герасимович… Вся голова разбита и рыло в крови.

— А почему ты знаешь?

— Дворник прибегал на кухню, сказал. К мировому жалиться идти грозился. Имена и фамилии записал швейцара и двух господ, которые видели, как он по лестнице ступени считал. Умора-с.

— Скажи всем людям, чтобы ни гугу барыне, а не то разочту мигом.

— Слушаю-с, зачем говорить, не скажут.

Скрыть, однако, этой истории от Маргариты Николаевны не удалось.

Через несколько дней была получена повестка от мирового судьи, которой отставной корнет Савин вызывался на суд по обвинению в нанесении побоев отставному капитану Эразму Эразмовичу Строеву.

Повестку принесли после обеда, когда Николай Герасимович спал, и она попала в руки молодой женщине.

Проснувшийся Савин, получивший повестку из рук Строевой, поневоле должен был ей рассказать подробно всю историю расправы, которую он произвел с ее мужем.

— Зачем, зачем ты это сделал?.. Ты не знаешь его, это не человек, а сам дьявол. Он будет тебе мстить всю жизнь. Это не ограничится одной жалобой.

— Пусть себе, я не боюсь, но зато сюда он, надеюсь, позабудет дорогу. Я его проучил как следует.

— Ах, Нике, я боюсь.

— Чего?..

— Всего… И этого суда… И его… мести…

Молодая женщина с трудом произнесла последние слова.

— Какие глупости… Мировой оштрафует… Жалобщик ведь сам вломился в чужую квартиру… Это смягчающее обстоятельство…

— Ты забываешь: он пришел к жене, — заметила Строева.

— Забываю и хочу забыть о том, что ты жена… такого плюгавого отродья… — брезгливо сказал Николай Герасимович.

Маргарита Николаевна тяжело вздохнула. Слезы показались на ее чудных глазах.

— Разве я виновата в этом? — прошептала она. Савин опомнился.

— Голубчик, Муся, прости меня, я тебя обидел… Я не хотел этого… Но когда я вспомнил его фигуру, вся злоба прилила к моему сердцу при одной мысли, что эта гадина могла сметь приблизиться к тебе… Не плачь, моя ненаглядная.

Он сел с ней рядом на диван, обнял ее и привлек к себе, покрывая ее руки и лицо нежными поцелуями.

— Не буду, не буду! — сквозь слезы улыбалась она.

— Забудем о нем.

— Он о себе напомнит.

— Не беспокойся, я сумею отделаться от него.

— А теперь все же предстоит скандал… суд.

— Пустяки… кончится ничем… говорю тебе.

Она вытерла слезы и скоро действительно развеселилась или, по крайней мере, приняла веселый вид.

На другой же день Николай Герасимович поехал к одному из лучших петербургских присяжных поверенных, которому и поручил дело.

— Надо будет несколько протянуть его, — заметил адвокат.

— Это как же?

— Очень просто… Я не являюсь на первое заседание, постановят заочное решение… Затем я подам отзыв, а в случае решения не в нашу пользу — апеллирую в съезде.

— Это уж как вы сами находите лучше… Только нельзя ли, чтобы ограничились штрафом.

— Постараюсь.

— Уж пожалуйста… За гонораром я не постою.

— Придется являться два раза, написать две бумаги, это вам будет стоить триста рублей.

— Прикажете сейчас?..

— Да, по обыкновению, за уголовные дела я беру вперед, в мировых учреждениях я собственно и не веду, только для вас.

— Благодарю вас.

Савин вынул бумажник, отделил из пачки денег три радужных и подал адвокату.

Тот небрежно бросил их на роскошный письменный стол и написав расписку и доверенность, передал их Николаю Герасимовичу.

— Доверенность засвидетельствуйте и оставьте у нотариуса, я заеду получить сам.

Адвокат назвал нотариуса.

Савин положил в карман бумаги и уехал.

Заехав по дороге к указанному нотариусу, он подписал доверенность, расписался в ее получении и оставил в конторе для выдачи поверенному.

Время шло.

Николай Герасимович и даже, как по крайней мере казалось, и Маргарита Николаевна позабыли об этом деле.

Он считал его пустяками и сумел убедить ее в этом.

Вскоре оказалось иное.

Через два месяца Савин получил от своего поверенного письмо, в котором тот уведомлял его, что по приговору мирового судьи,

утвержденному съездом, он, Николай Герасимович, приговорен к двухмесячному аресту.

«Если вам угодно подать кассационную жалобу, то благоволите пожаловать ко мне для переговоров, так как принятые на себя мною, по нашему условию, обязательства окончены» — так заканчивалось письмо присяжного поверенного.

Савин, несмотря на то, что был поражен приговором, невольно улыбнулся.

— Каков гусь… Взял за два месяца ареста триста рублей и хочет сорвать еще.

Он не отвечал адвокату и на другой же день уехал с Маргаритой Николаевной из Петербурга в Харьков, отметившись выбывшими неизвестно куда.

Они отсутствовали в Петербурге около трех месяцев и вернулись, рассчитывая, что капитан Строев, потеряв их из виду, не будет настаивать на приведении приговора в исполнение.

Расчеты эти оказались неверны — капитан сторожил Савина, как ястреб добычу.

V
Пристав под замком

В первых числах марта месяца, на третий день после приезда Савина и Маргариты Николаевны в Петербург, где они думали пробыть не более месяца, рано утром, в спальню господ вбежала перепуганная горничная.

— Барин, а барин… — начала она будить Николая Герасимовича.

— Что такое? — проснулся тот.

— Там полиция… — тревожным шепотом сообщила горничная.

— Какая полиция?.. Что за вздор… — спросонок, но также шепотом, боясь разбудить Маргариту Николаевну, заговорил Николай Герасимович.

— Помощник пристава… пришел за вами… Приказал разбудить…

Савин понял, что пришли его арестовать. Он быстро вскочил, надел туфли и накинул халат, но тотчас же снова сел на кровать.

Несколько секунд он, видимо, что-то обдумывал.

— Они где? — спросил он горничную.

— В кухне…

— Петра там не было?..

— Никак нет-с… Петр убирает комнаты…

— Позови его ко мне в кабинет, а помощника пристава в залу, скажи, что барин сейчас выйдет…

— Слушаю-с… — сказала горничная и вышла.

— Но сперва Петра в кабинет… — бросил ей вдогонку Николай Герасимович и сам прошел к себе в кабинет, находившийся через комнату от спальни.

Эта комната служила гардеробной. В кабинете уже стоял Петр.

— Что прикажете?..

— Ты меня любишь? — вместо ответа спросил Савин.

— Это то есть как же?.. — удивленно вытаращил на него глаза Петр.

— Ну, так же… Русским языком тебя спрашиваю, любишь?..

— Конечно же люблю… За что мне не любить… Вы барин хороший, на отличку…

— А деньги любишь?

— Хе, хе, хе… Кто же их не любит…

Николай Герасимович подошел к письменному столу, отпер один из ящиков и, вынув двадцатипятирублевку, подал ее Петру.

— За что жалуете?

— Конечно, не даром… Прячь, прячь в карман, — добавил он видя, что лакей нерешительно держит в руке бумажку, — пригодится. Прячь и слушай…

Петр опустил бумажку в карман.

— Что прикажете?..

— В зале дожидается меня помощник пристава. Он пришел меня арестовать, по делу того негодяя, которого я спустил с лестницы… Помнишь…

— Как-с не помнить… Умора-с… — осклабился Петр.

— Ну, вот за него меня присудили на два месяца под арест, а мне садиться не хочется…

— Вестимо, кому хочется…

— А для этого мне надо выиграть время, чтобы уехать…

— Так через кухню…

— Там, наверное, городовой… Городовой стоит и у парадного подъезда… Это неудобно…

— Вот беда…

— Я и придумал, как ее избежать… Пусть арестуют тебя…

— Меня?.. Это за что же?

— Дурак, вместо меня…

— Нет-с, это вы оставьте… Возьмите и деньги… — Петр полез в карман. — За четвертную-то да на два месяца…

— Дурак, ты выслушай… Не на два месяца, а на два часа…

— Это как же?

— Очень просто… Раздевайся, надевай мой халат и туфли и выходи… Ты такой видный… Помощник пристава меня никогда не видал и примет тебя за меня.

Петр был действительно высокий, стройный, с почти интеллигентными чертами лица, серыми большими глазами и шелковистыми усами, которыми он очень гордился.

Среди соседних горничных он имел большой успех.

— Так-с… — в раздумье произнес он.

— Тебя повезут в арестный дом, ты назовешь себя, и ошибка откроется… А я тем временем успею уже удрать из Петербурга…

— Это можно-с… Это вы ловко, Николай Герасимович, придумали… Я их в лучшем виде проведу…

Переодевание быстро совершилось…

— Иди, платье я тебе сам достану из шкафа…

Савин прошел в гардеробную за одним из своих костюмов, а Петр, важно завернувшись в халат и шлепая господскими туфлями, направился в залу.

— Что вам угодно? — надменно спросил он вставшего при его появлении помощника пристава.

— Я прибыл вас арестовать. Вот копия с приговора мирового съезда, извольте немедленно одеться и следовать за мной.

— Это черт знает что такое!.. Ишь явились в такую рань беспокоить порядочного человека… Могли бы, мне кажется, приехать немного попозднее. Я это так не оставлю, я буду жаловаться!.. — разошелся Петр.

— Можете жаловаться, но теперь пожалуйте поскорее.

— Сейчас, дайте одеться! — раздражительно воскликнул Петр и ушел в кабинет.

Переодевшись в приготовленное платье Николая Герасимовича, он отправился отдаваться в руки исполнителя правосудия. Беспечный Савин уже с веселой улыбкой сказал ему:

— Надевай мое барашковое пальто и шапку.

— Слушаю-с, — по обыкновению отвечал Петр, но выйдя в залу, уже снова принял на себя барский вид.

— Едемте!

Через минуту он уже выходил из парадного подъезда в сопровождении помощника пристава и сел с ним на ожидавшего у подъезда извозчика.

— В арестный дом, — сказал полицейский. — А вы по домам! — добавил он, обращаясь к стоявшим у подъезда городовым.

Извозчик хлестнул по лошади, и сани покатили. Тем временем Николай Герасимович, снова накинув халат и надев туфли, вернулся в спальню.

— Что случилось? — встретила его вопросом проснувшаяся Строева.

Николаю Герасимовичу ничего не оставалось делать, как рассказать всю правду.

Он это и сделал в коротких словах, добавив в заключение:

— Я сейчас удираю в Москву, а тебе напишу, что и как делать. Ради Бога не плачь, если не хочешь меня видеть под арестом… Будь мужественна. Мне дорога каждая минута.

Насупившееся было лицо Маргариты Николаевны прояснилось. Силою воли она переломила себя и, вскочив с постели, начала одеваться.

— Тебе надо уложить чемодан.

— Ничего не надо, я возьму только деньги, конечно, часть оставлю и тебе.

Он вышел из спальни и прошел в кабинет. Быстро одевшись и простившись со Строевой, он накинул шинель и вышел из дома по парадной лестнице.

Судьба в этот день, видимо, преследовала его.

Выходя из подъезда, он лицом к лицу столкнулся с знавшим его приставом.

Это был наш знакомый Вадим Григорьевич Мардарьев, с год как занимавший эту должность в местном участке.

Увидев Савина, он разинул рот и растопырил руки от удивления.

— Позвольте, позвольте… Да разве вас не арестовали час тому назад? — спросил он тревожным голосом.

— Не понимаю, что вы говорите. Ни о каком аресте я не слыхал.

— Как? А по делу Строева… Мой помощник должен был вас сегодня препроводить в арестный дом, я это поручил ему еще с вечера.

— Не знаю… Как видите, я не в арестном доме.

— Удивительно, удивительно. Это надо разъяснить… я вас попрошу дойти со мной до управления участка.

— Это зачем? Я не пойду.

— Нет-с… я вас очень попрошу… Пожалуйте… Иначе мне придется прибегнуть к силе.

Мардарьев взялся за свисток.

— Хорошо, хорошо, пойдемте, — остановил его Савин.

«Недоставало еще скандала, чтобы меня повели в участок с городовыми», — пронеслось в его голове.

Они отправились.

Управление участка помещалось на Николаевской улице. Там уже была тревога.

По телефону дали знать, что арестовали не того, кого следовало арестовать, вместо корнета Савина, привезли мещанина Петра Трезвонова.

Мардарьев тотчас же по приходе в участок и по выслушании доклада околодочного, телеграфировал, что господин Савин арестован им лично и тотчас же будет доставлен в арестный дом.

— Ну и подвели же вы меня, Николай Герасимович, — обратился затем пристав к Савину. — Вы даже, оказывается, у меня не прописаны.

— Да я только третьего дня приехал из Харькова. Когда же мне было прописываться?

— Разве вы не были в Петербурге? — обрадовался Вадим Григорьевич. — Так дайте мне сейчас ваш вид в прописку.

— Но мой билет не при мне, — ответил Савин, — он у меня дома.

— Так заедем к вам по дороге, вы там его мне отдадите, — сказал пристав.

— Хорошо, заедем.

Они тотчас же вышли из управления участка и поехали сперва на Колокольную.

У Савина по дороге домой блеснула мысль, и сразу в голове его создался план освободиться от рьяного пристава.

Войдя в квартиру по парадной лестнице, Николай Герасимович сам запер на ключ за собой дверь и, незаметно вынув ключ, положил его в карман.

Пригласив Мардарьева в кабинет, он предложил ему сигару и велел горничной подать кофе.

В кабинет вошла Строева.

Представив ей пристава, он затем дал ей понять, чтобы она заняла его и во время их разговора успел шепнуть подававшей кофе горничной, чтобы та его шубу, шапку и калоши перенесла в кухню.

Через несколько минут Савин вышел в кухню, оделся и ушел, заперев кухонную дверь снаружи и взяв с собою и этот ключ.

Увлеченный разговором с хорошенькой женщиной, Вадим Григорьевич только через несколько времени хватился своего арестанта.

— Где же Николай Герасимович? — спросил он.

— Он был здесь, куда-то вышел, — ответила ничего не знавшая о проделке Николая Герасимовича Маргарита Николаевна.

— Поторопите его, пожалуйста. Пора ехать. Я уже по телефону дал знать, что сейчас привезу его.

Строева пошла было из кабинета, но в это время в нем появилась горничная.

— Где барин? — спросила ее Маргарита Николаевна.

— Барин-с?.. Они уехали.

— Как уехал?! — воскликнул пристав. — Не может быть.

— Они при мне надели шинель и вышли задним ходом.

— Как же вы могли его выпустить? — набросился на горничную Мардарьев.

— Как же бы я смела их удержать?

Пристав вне себя от беспокойства, забыв всю прелесть хозяйки, бросился к выходным дверям: они обе оказались запертыми на ключ.

— Где ключи? — стонал Вадим Григорьевич.

— Видно, барин их взяли с собою, — отвечала горничная.

— Но что же делать, что же делать? — воскликнул пристав.

Но как он ни бесился, как ни кричал, делать было нечего, пришлось блюстителю порядка просидеть около четырех часов под замком.

Он шумел, звал на помощь, но никто не слыхал и не откликался.

Наконец он догадался отворить форточку и крикнул одному из прохожих, чтобы тот попросил швейцара подняться в бельэтаж, в квартиру № 3 — под этим номером была квартира Строевой.

Швейцар пришел к парадной двери и начались переговоры его с приставом через замочную скважину.

Переговоры окончились тем, что было решено сломать замок.

Позвали слесаря, который наконец и выпустил на свободу злосчастного пристава.

История об ошибке при аресте Савина и, наконец, о потере последнего Вадимом Григорьевичем дошла, конечно, до высшего полицейского начальства, которое засадило пристава на гауптвахту на две недели.

За все время службы Мардарьева, это было для него первым взысканием со стороны его ближайшего начальства.

Он был страшно озлоблен.

VI
Помещица

Почтовый поезд Николаевской железной дороги, на который попал, переждав несколько часов в «Балабинской» гостинице, Николай Герасимович Савин, подъезжал уже к Любани.

Николай Герасимович сидел один в купе первого класса.

— Надо ехать в Руднево! — вдруг вслух сказал он.

К этому решению его привел ряд размышлений, которым он предался после бегства из дому, где остался запертый пристав Мардарьев, за поневоле очень продолжительным завтраком в гостинице и, наконец, в железнодорожном вагоне.

Несмотря на беззаботный характер, Николай Герасимович тотчас по выходе из дома, где он провел столько счастливых месяцев и где оставил так безумно любимую им женщину, стал обдумывать свое положение и возможность избежать в будущем преследований со стороны мужа Маргариты Николаевны как ее самой, так и его, Савина.

Надо было найти такое убежище, куда бы скоро не проникла копия с решением санкт-петербургского мирового съезда и где, наконец, Строева могла бы приобрести некоторое легальное положение.

Вопрос был не из легких.

После довольно продолжительного размышления, он решил вторую часть задачи, после чего, к радости его, оказалось, что и первая вместе с ней разрешается довольно удачно.

Чтобы оградить Маргариту Николаевну от всяких случайностей и полицейских невзгод, а главное придирок ее мужа, Николай Герасимович придумал продать ей Руднево и этим дать ей положение в местном обществе и возможность получения, как дворянки и землевладелицы, вида на жительство от местного предводителя дворянства.

План этот почти утешил его, как вдруг в голове его появилась мысль, выражавшаяся двумя словами: «А Настя?»

Николай Герасимович совершенно позабыл о ней.

Не позабыл ее, верно, дорогой читатель, но мы все же напомним ему о ней в нескольких словах.

Настя, о которой так неожиданно вспомнил Савин, была его молоденькая ключница в Рудневе, проживавшая там в последнее время на правах почти полноправной хозяйки.

Случилось последнее превращение ключницы в почти помещицу при следующих обстоятельствах.

Вернувшись из-за границы после разрыва с Лили, Николай Герасимович приехал прямо в Руднево.

Состояние его духа было тяжелое, угнетенное.

Разрыв с любимой женщиной, на который он решился по нравственным основаниям, не уничтожил воспоминания о ее обаятельной красоте, о ее ласках, об упоительных минутах, проведенных в ее объятиях.

Это вчерашнее опьянение чисто плотской любовью требовало, как и всякое опьянение, похмелья.

Сосредоточенный и мрачный, Савин в первое время пребывания в своем тульском имении вел одинокий, почти затворнический, образ жизни.

Из окружавших его людей одна Настя представляла отчасти существо, подходившее под понятие Николая Герасимовича о женщине.

Пролетевшие годы не оставили на ней своего разрушающего отпечатка — ее лета были не таковы, чтобы время могло нанести ущерб ее внешности.

Напротив, живя безвыездно в деревне, она расцвела и похорошела, а глаза заискрились и радостью, и страстью с первого же момента встречи с Савиным.

Он приветливо поздоровался с ней, хотя не обратил на нее особого внимания, но когда необходимость похмелья от неаполитанского опьянения стала настоятельнее, взгляд его все внимательнее и внимательнее останавливался на грациозно-полной фигуре молодой женщины.

Ее чисто русская красота, с цыганским вызывающим оттенком, стала производить на него, как и в былые годы, впечатление, и он снова постепенно приблизил ее к себе.

Настя была в положительном восторге.

Она беззаветно любила «своего милого барина», как она мысленно называла Николая Герасимовича.

Она принадлежала к числу тех женщин, из которых любимый ими мужчина лаской и нежностью может, как из воска, делать что угодно, ставить в какие угодно общественные положения, но которые не прощают также любимому человеку не только оскорбления, но даже резкого слова.

Когда года четыре тому назад Савин впервые приблизил к себе Настю, эта связь их была тайной не только для соседей-помещиков, но даже для остальной прислуги дома, которая только смутно догадывалась об отношениях молодого барина к своей молоденькой ключнице.

С таким врожденным тактом, по желанию Николая Герасимовича, умела вести себя тогда эта двадцатитрехлетняя женщина.

Разлука с «ее барином» была тяжела для нее, но она понимала, что она не могла составить для него настоящее общество и проводила его за границу, своеобразно утешая себя:

«Пусть позабавится с другими, только бы не на моих глазах».

Ее пугала больше возможность, что он женится, нежели даже многолетняя разлука.

При последней она его подождет.

И она ждала.

Он приехал усталый, грустный, и Настя, радостно встретив его, ни одним словом, ни одним намеком, даже оставаясь с ним наедине при разговоре о хозяйстве, не напомнила ему о прошлом.

«Сам вспомнит!» — решила она в уме и только еще тщательнее стала заниматься своим туалетом.

И он вспомнил.

В чаду жажды любовного похмелья он сделал одну ошибку, которая имела роковые последствия.

Он открыто возобновил свою связь с молодой женщиной, так что самое положение ее в доме изменилось.

Николай Герасимович требовал, чтобы она сидела с ним почти по целым дням, обедала за одним столом, говорила ему «ты», словом, сделал ее барыней.

Она возражала, что это будет «зазорно», но подчинившись раз его требованиям, уже укрепилась в созданном им ей положении, и поворота назад не существовало.

Такой странный «барский каприз», как называла производство ее в барыни сама Настя, имел свои причины и основания.

Последние лежали в развившейся за границей в Савине потребности в женском обществе.

Грамотная Настя, хотя и была совершенно необразована, но обладала природным умом и недюжинным юмором, который первое время развлекал Николая Герасимовича.

Между ним и молодой женщиной была, таким образом, не только физическая, но почти нравственная связь.

Через два-три месяца, эта однообразная жизнь, хотя и с любящей простой девушкой, наскучила Савину, как наскучивает простая домашняя кухня человеку, привыкшему к ресторанной.

Вновь явилась потребность разнообразных пряностей, потребность гарнира.

Последнего в Насте не было.

Николай Герасимович собрался в Петербург, но Настя уже осталась в другом положении, нежели при первом отъезде барина.

Теперь уехал помещик — осталась помещица.

В вихре нового серьезного увлечения Строевой на берегах Невы Савин совершенно позабыл о своей деревенской сожительнице, и только тогда, когда, избирая себе и Строевой убежище от полиции и законного супруга, вспомнил о Рудневе, все это восстало в его памяти и сложилось в мысленном восклицании: «А Настя!»

Только тогда он понял сделанную им ошибку и мысленно обругал себя.

Если бы мы не боялись опережать события, то мы сказали бы, что эта ошибка имела на его последующую жизнь еще более роковое влияние, тем более что в настоящее время это было поправимо.

Надо было ранее продажи имения и водворения в нем Маргариты Николаевны, перевести Настю в другое, объяснив ей, что дела его требуют продажи Руднева.

Но куда отвезти ее?

Выбор Савина остановился на Серединском.

Он решил, таким образом, прямо, лишь минуя Москву, ехать в Тулу, что и объясняет его восклицание:

— Надо ехать в Руднево!

Приехав на другой день в Белокаменную, он тотчас с Николаевского вокзала приказал везти себя на Курский и в тот же вечер был в Туле, откуда проехал на наемных лошадях в свое Руднево.

Он застал там все в образцовом порядке.

Настя, веселая и радостная, бросилась ему на шею.

Ему поневоле, чтобы не возбудить в ней подозрения, пришлось отвечать на ее ласки.

Насиловать себя ему, впрочем, пришлось только первые минуты.

Таково было над ним обаяние всякой женщины.

На следующий же день он сообщил Насте о предстоящей продаже Руднева.

— Скоро? — спросила Настя.

— На днях. Вот устрою тебя и поеду в Москву совершать купчую крепость…

— Как устроишь меня?

— Я перевезу тебя в Серединское… Кстати, это именье очень запущено… Ты там все приведешь в порядок…

— А жаль Руднева… Отчего бы лучше не продать какое-нибудь другое…

Насте не хотелось расставаться с местом, где она получила первую ласку от ее «Коли», как теперь она называла Савина.

— На это нашлась покупательница, и мне нужны деньги.

— Покупательница!.. — подозрительно спросила Настя. — Кто она?..

— Одна барыня, замужняя…

— Молодая?..

— Ты ей годишься в дочери…

— Когда же мы поедем в это… как его?..

— Серединское.

— Да…

— Как управишься, уложишь свои вещи.

— Это я сделаю в один день.

— Тем лучше…

Действительно, хотя и не через день, а через три были отправлены в Серединское сундуки, а затем через неделю Николай Герасимович повез туда Настю.

Дом, с которым мы уже знакомы, по письменному приказанию Савина был проветрен и очень, как и все имение, понравился «новой помещице», как шутя называл Николай Герасимович молодую женщину.

Устроив ее в Серединском, Савин помчался в Москву, куда по его телеграмме, данной еще из Тулы, должна была приехать Строева.

Она еще не приехала, но в ее письмах, которые нашел Николай Герасимович в гостинице «Славянский базар», где остановился и куда еще телеграммой с дороги в Тулу он просил ее адресовать письма, Маргарита Николаевна сообщала, что пристав Мардарьев положительно сживает ее со свету, требуя предъявления нового паспорта, и что два раза в квартиру являлся ее муж, но был выпровожен Петром.

Николай Герасимович письмом просил ее отправить мебель и вещи в Тулу, а самой ехать вместе с горничной и лакеем Петром в Москву.

Недели через две Маргарита Николаевна наконец прибыла в первопрестольную столицу.

Савин сообщил ей свой план относительно продажи ей Руднева и, получив согласие, тотчас же совершил купчую крепость, причем с утверждением у старшего нотариуса тульского окружного суда дело затянулось почти на месяц.

Только в мае он повез новую владелицу в ее именье.

В природе все оживало, вековой парк зеленел.

Деревня, особенно им, еще влюбленным друг в друга, показалась раем.

Руднево было старое дворянское гнездо, с великолепной усадьбой, огромным каменным домом посреди обширного английского парка.

Перед домом и большим двором, окруженным флигелями, конюшнями и другими пристройками, был разбит роскошный цветник.

Усадьба стояла на пригорке, у подошвы которого запруженный ручей образовал два огромных проточных пруда.

За прудами были фруктовый сад и оранжереи; дальше живописно раскинулось село.

Выбеленные постройки усадьбы эффектно выделялись среди зелени парка.

Дом был большой, просторный и прекрасно отделанный и меблированный старинною ценною мебелью.

Привезенные из Петербурга мебель и вещи украсили его еще более, дав ему элегантный вид.

Маргарите Николаевне имение очень понравилось, и она с радостью поселилась в нем.

Скуки они оба не боялись, и жизнь в деревенской глуши казалась им блаженством.

Образовался даже круг знакомых из соседей-помещиков тульских жителей, которым Николай Герасимович представил новую владелицу Руднева, как свою кузину.

Гости стали собираться довольно часто, и в это время Руднево принимало праздничный вид, устраивалась охота, кавалькады, пикники.

Время летело быстро.

Лето кончалось.

Перспектива осени и долгой зимы не пугала наших сельских жителей поневоле.

Николай Герасимович был очень доволен: паспорт Строевой он достал, а копия с приговора не появлялась.

О последней он даже почти позабыл.

VII
Нежданный гость

В то время, когда Савин и Маргарита Николаевна Строева благодушествовали в Рудневе, Настя, или, как мы ее будем называть теперь, вследствие ее полубарского положения, Настасья Лукьяновна Червякова вела деятельную жизнь в Серединском.

Имение и хозяйство в нем было действительно страшно запущено, и Настасья Лукьяновна ретиво принялась за его исправление, всюду поспевала сама и ее властный голос раздавался то в саду, то в амбарах, то на покосе, то на гумне.

— Ну и глазастая эта у нас «барская барыня», — говорили наемные рабочие и работницы, жившие в дворовых избах, и крестьяне села, подряжавшиеся на работу.

— Сметливая, любому мужику, либо дотошному помещику впору…

— Да и краля, братцы, писаная, ведь уродится же такая из простых крестьян… Подлинно барский кусочек… За красоту ей да за тело и честь.

— Баба вальяжная… Да не в этом суть, башка у ней ровно как мужицкая… До всего доходит, все знает… Для барина во как старается… Страсть.

— Любит…

— Любит… Ишь сказал… Ты в городе не живал, а я годов пять в самом Питере выжил… Пронзительные, братец, там тоже бабы…

— Ну?..

— Вот те и ну… А вот того самого ума в них нетути… Да и любовь-то тоже городская, питерская.

— Ась…

— Питерская, говорю, городская… Ишь Настасья-то норовит, коли любит, все барину-то в карман, да в карман, а те, питерские, коли полюбят, так все из кармана и тащут.

— Облегчают, значит.

— Уж подлинно, что облегчают.

— Эта, значит, еще не дошла.

— То-то оно, что не дошла… А может и честь есть, да совесть хрестьянская.

— Может и так.

Как-то раз под вечер на аллее, ведущей к дому, показался запряженный парой лошадей открытый тарантасик из тех, в которых выезжают на ближайшую станцию железной дороги серединские крестьяне, занимающиеся извозом.

Настасья Лукьяновна в это время была во дворе и отдавала свои последние приказания скотнице.

С крайним удивлением она увидала приближающийся экипаж.

— Кого это Бог несет? — недоумевала она.

— Не становой, нет… Становой был недавно… Землемер… Этот должен быть еще через неделю…

В это время тарантасик въехал на двор и остановился у подъезда, на крыльце которого уже стояла Настя, все еще не решившая вопроса, кто мог быть этот нежданный и негаданный гость.

Тем временем из тарантасика выскочил небольшого роста человек в коричневом, довольно потертом летнем пальто и военной фуражке.

Он был совершенно незнаком Настасье Лукьяновне, но зато хорошо знаком нам с тобой, дорогой читатель.

Перед Настей стоял Эразм Эразмович Строев.

Он подошел к ней и почтительно снял фуражку.

— Вы сами Настасья Лукьяновна Червякова и будете?

— Точно так-с…

— Очень приятно… Позвольте пожать вашу ручку…

Настя как-то машинально подала руку, все продолжая смотреть на странного посетителя.

— Вы это откуда же меня знаете? — наконец спросила она.

— Слухом земля полнится… Да и сами рассудите, как мне вас не знать, коли у меня до вас дело есть…

— До меня дело?.. — побледнела Настасья Лукьяновна.

— До вас, до вас самих…

— А сами-то кто вы будете?

— Отставной капитан Эразм Эразмович Строев… — расшаркался приезжий.

— Какое же дело?

— Ах вы, королевна моя, владелица здешних мест!.. Да разве так принимают гостей… Али взашей меня хотите выгнать, так не делайте этого, потому самим себе вред нанесете, большой вред…

— Зачем взашей, помилуйте…

— А коли не взашей… так в дом пустите путника. Накормите, напоите да спать уложите… А наутро уже и спрашивайте: что ты, добрый молодец, мне поведаешь…

— Живу-то я здесь одна, так боязно… пужаюсь…

— Чего же боязно, не волк я, не съем, да для такого кушанья и зубов нет… Гожусь я вам в отцы, королевна моя, так чего же меня пужаться…

— Милости просим… — после некоторого колебания, сказала Настасья Лукьяновна.

Она пропустила в дверь Эразма Эразмовича и затем вошла сама.

Девочка лет пятнадцати, белокурая и голубоглазая Оля, сняла с гостя пальто, и он остался в том сюртуке, в котором мы видели его в Петербурге, но вместо одной орденской ленточки в петлице сюртука висел на ленте георгиевский крест.

Настасья Лукьяновна распорядилась о чае и закуске, и кстати шепнула Оле, чтобы она приказала двум работницам и работнику Вавиле — это был рослый, здоровый, хотя и пожилой мужик, приходить ночевать в дом.

Вскоре в столовой за накрытым столом, на котором кипел самовар и стояли всевозможные деревенские яства, графин с настоянной травами водкой и несколько бутылок домашней наливки, сидел Эразм Эразмович Строев и молча отдавал дань плодам искусства и забот молодой хозяйки.

— А я сюда прямиком из Тулы… — проговорил он, утолив первый голод.

— Из Тулы? — встрепенулась Настасья Лукьяновна.

— Прямохонько, кралечка, прямохонько… Как узнал, что вы здесь, в Серединском, проживаете, так я, айда, в Калугу.

— Вам что же от меня угодно?

— О том речь после трапезы, кралечка, после трапезы…

— А вы не видели в Туле Николая Герасимовича?

— Не лицезрел, не удостоился, да его в Туле и нет, а проживает он в Рудневе, как бы в крепости… На острове, так сказать, любви, купаясь в море блаженства… — заплетающимся уже языком говорил Эразм Эразмович.

— В Рудневе… любви… блаженстве… — повторила упавшим голосом Настасья Лукьяновна.

Сердце ее болезненно сжалось.

Хотя она почти ничего до сих пор и не понимала из того, что говорил ей ее собеседник, но чувствовала, что он явился сюда для нее не добрым вестником.

Гость между тем продолжал пить рюмку за рюмкой и уже в конце, как он выражался, «трапезы», еле ворочал языком.

Молодая женщина понимала, что после такой трапезы разговора с ним быть никакого не может.

Он действительно болтал какие-то бессвязные речи, произнося угрозы и даже ругательства по адресу Николая Герасимовича и какой-то неизвестной Настасье Лукьяновне «Маргаритки».

Наконец, опрокинув в себя чуть ли не двадцатую рюмку водки, — огромный деревенский графин был опорожнен почти наполовину, — он промычал:

— Ну, теперь… буде… Спать…

Он хотел приподняться, но снова грузно опустился на стул. Голова его свесилась на грудь и, не спускавшая с него испуганных, недоумевающих глаз Настя, увидала, что он засыпает.

Позвав двух работниц, она приказала им отвести гостя в отведенную ему комнату и положить на постель.

Обе бабы схватили Эразма Эразмовича под руки и почти буквально волоком потащили из столовой.

Он спал крепким сном.

— Ишь назюзюкался… дорвался… — говорили бабы. — И откуда его сюда нелегкая принесла?

Им обеим было известно, что Настасья Лукьяновна совершенно не знала этого приезжего.

Молодая женщина осталась сидеть в столовой в глубокой задумчивости.

Ее вывели из нее вернувшиеся работницы.

— Ну, что?.. — спросила она.

— Уложили, дрыхнет, как боров, прости, Господи… Да откуда он взялся, Настасья Лукьяновна? — отвечала одна из баб.

— Я и сама не ведаю… Говорит, из Тулы…

— По поручению, знать, Николая Герасимовича.

— Кажется, нет, его не разберешь.

— Коли нет, так и гнали бы в шею…

— Пусть выспится, может и добьемся от него толку.

Работницы вышли.

Настасья Лукьяновна отправилась в свою комнату, но не могла заснуть всю ночь. Страшное подозрение, что Савин выгнал ее из Руднева, чтобы заменить другой, росло и росло в ее душе.

«Блаженствует на острове любви…» — припомнила она слова пьяного гостя.

Ее всю охватывала дрожь негодования.

VIII
Исповедь мужа

С нетерпением ожидала Настасья Лукьяновна утра, а с ним и разъяснения мучивших ее сомнений, за эту бессонную ночь превратившихся почти в полную уверенность в коварной и низкой измене любимого человека.

Какая-то странная перемена произошла в молодой женщине, даже черты лица ее изменились, они за эту ночь как-то резко обострились, в глазах появилось несвойственное им ранее злобное выражение и какой-то стальной блеск.

Встав со светом, она в обычный час вышла в столовую, где уже кипел на диво вычищенный, блестевший как золото, самовар.

Одновременно с ней Оля внесла и поставила на стол горячие булки, которые так мастерски пекла серединская стряпуха.

— Посмотри, не проснулся ли? — сказала Оле Настасья Лукьяновна.

Та с полуслова поняла, о ком идет речь, и быстро вышла из комнаты.

Через несколько минут она вернулась:

— Спит…

— Спит?

— Так одетый и спит, и крестик болтается… — наивно сообщила девочка.

Молодая женщина сдвинула брови и снова задумалась.

— Может, побудить к чаю? — спросила после некоторого молчания Оля.

— Нет, пусть выспится…

Налитая чашка чаю стояла перед Настасьей Лукьяновной, сидевшей подпершись о стол рукой и думавшей свою невеселую думу.

Она не дотронулась до чаю и по прошествии получаса вновь послала Олю справиться, не проснулся ли вчерашний гость. Девочка вернулась с тем же известием.

— Спит, храпит на всю комнату.

Так продолжалось несколько раз, с некоторыми более или менее продолжительными перерывами, и, наконец, Оля возвратилась и с искренней радостью доложила:

— Проснулись, умываться просят.

Девочка была очень привязана к Настасье Лукьяновне и видела, что последнюю огорчает, что гость долго не просыпается.

— Скорей вели взять подогреть самовар, а сама подай ему умыться и скажи, что, мол, просят в столовую чай кушать.

Оля выбежала из комнаты, а через минуту вошедшая работница взяла со стола самовар.

Чашка с чаем Настасьи Лукьяновны так и осталась нетронутой.

К тому времени, как Эразм Эразмович вышел в столовую умытый и причесанный, в вычищенном платье и сапогах, самовар уже кипел снова на столе.

— Здравствуйте, как почивали?.. — приветствовал он Настасью Лукьяновну.

— Благодарю вас… Прошу садиться… Вы с лимоном или со сливками?.. У нас густые, прекрасные.

— Ни с чем… — категорически объявил Строев, садясь на стул.

— Пустой… Как же это пустой… Может с вареньем, я прикажу…

— Не пью чаю.

— Так кофею?

— Не пью…

— Молока?

— В рот не беру.

— Что же вы кушаете?

— А вот, если вы вчерашний початый графинчик на стол поставить прикажете, рюмочку выпью… Отменная это у вас настойка… На чем только не расчухал…

— На тысячелистнике, но как же это с утра?

— Военная привычка.

— Вы же хотели… о деле-то.

— Не извольте беспокоиться, до вечера меня никакая настойка не сморит… После ужина только… тут же на боковую — походная привычка: где пьешь, там и спишь… хе, хе, хе…

Настасья Лукьяновна приказала подать водку и закусить.

— Черного хлеба с солью, по утрам больше ничего… Солдат.

Оля вышла и вскоре вернулась с подносом, на котором стоял графин с «настойкой на тысячелистнике», тарелка с черным хлебом и солонка с солью, и поставила все это перед Эразмом Эразмовичем.

— Дозволите-с? — обратился он к Насте, протягивая руку к графину.

— Кушайте на здоровье.

Дрожащей рукой наполнил Строев рюмку и медленно поднес ее ко рту, опрокинул ее в него, крякнул, и круто посолив кусок хлеба, тоже отправил его в рот.

— Теперь и к делу… — начал он и вдруг остановился. Настасья Лукьяновна вся превратилась в слух.

— Дозвольте еще, чтобы не хромать… — совершенно неожиданно для нее, протянул он снова руку к графину.

— Пожалуйста! — нетерпеливо сказала она.

— Еще опрокидонт… — произнес Эразм Эразмович, налив другую рюмку и снова опрокидывая ее в горло… — Отменная настойка…

Он снова закусил хлебом с солью.

— Ты, девочка, выйди… — вдруг обратился он к стоявшей у притолоки двери Оле. — Молода еще все знать — скоро состаришься… Разговор будет у нас с Настасьей Лукьяновной, тебя не касающийся.

Девочка растерянно вперила свой взгляд на Настасью Лукьяновну.

— Выйди, Оля… — повторила ей последняя. Девочка, не сказав ни слова, вышла.

— Дело-то выходит у нас с вами, кралечка моя, казусное, как и приступить к нему не придумаешь.

Строев замолчал и задумался.

Настя положительно пронизывала его глазами, точно хотела прочесть в его голове таящиеся мысли.

— Оба мы, можно сказать, потерпели от одного человека — от моей жены.

Он остановился.

— От вашей жены? — переспросила, не ожидавшая такого оборота дела, молодая женщина.

— От нее самой, от прелестницы Маргариты.

— Маргариты?.. — повторила Настя.

Она вспомнила его вчерашние бессвязные речи, в которых он наряду с именем Николая Герасимовича поминал какую-то Маргаритку.

«Так это его жена!» — подумала она.

— От прелестницы Маргариты… — повторил в свою очередь Эразм Эразмович. — Прелестницей называю я ее не без основания,

так как краше лицом и телом едва ли во всем подлунном мире найдется женщина. Вы вот красивы, слов нет, а она лучше.

— Лучше! — произнесла Настасья Лукьяновна.

— Не в пример лучше, но зато сердце у нее змеиное.

— Змеиное?

— Хуже-с змеи. Змея коли ужалит, ну, умрет человек, а эта на манер тарантула… ужалит, и начнет человек плясать, пляшет, пляшет, пока не дойдет до потери человеческого образа, как ваш покорнейший слуга. Хорошо-с? В зеркало на себя смотреть боюсь — вот какой. А был человеком. Лет пять-шесть тому назад служил в гвардии… в Петербурге, перед очами, так сказать. Денег вволю, на войне турок бил — на это время я в армию переходил — Георгия заслужил, на виду был у начальства, карьера. Стар, скажете. Нет, не стар, мне всего тридцать три года, а весь седой. Опыт старит, потому-то вчера я сказал вам, что в отцы гожусь. Стариком совсем стал, разбитый, расслабленный. А все она — тарантула, укусила, и пошел плясать, выплясался. Теперь вот таков, видите. Пью. В отставку из-за нее вышел. Дозвольте третью… — вдруг неожиданно прервал он свой рассказ и потянулся к графину.

— Кушайте, кушайте.

Эразм Эразмович выпил, не забыв перед тем провозгласить:

— Еще опрокидонт.

— Иду это я, золотая моя, лет шесть тому назад по Невскому проспекту, улица есть такая в Питере. Вы не бывали?

— Нет.

— И слава Богу. Иду это я и вспомнил, что кузина моя графиня Черноусова, — у меня родня все знатная, заслуженная, отец мой покойный, царство ему небесное, полный генерал был, а мать при дворе большую роль играла. Матушку-то я в гроб уложил из-за нее, из-за Маргариты. Но не в том дело, вспомнил, говорю я, что кузина пари у меня выиграла — нужно ей коробку конфет покупать. А тут, как раз иду мимо кондитерской. Дай, думаю, зайду. Зашел и ахнул. Новенькая продавщица за прилавком стоит. Других-то я знал. «Что, — говорит, — прикажете?» А у меня даже и язык к гортани прилип, смотрю на нее во все глаза и ни слова. Улыбается и повторяет: «Что прикажете?» Выбрал я бомбоньерку, нарочно долго выбирал и велел положить конфет, а сам с нее все глаз не свожу. Красоты она неописанной. Глаза во… — Строев сложил в кружок указательный

и большой палец правой руки, — и все в масле. Лет так шестнадцать, семнадцать, не более, сложена — восторг.

Отвез я кузине в тот же день конфеты, а вечером опять в кондитерскую за другими, и таким манером каждый день раза по два. Познакомился, оказалось зовут ее Маргаритой Николаевной. Ухаживать стал, в любви признался. Все это в каких-нибудь две недели. «Что ж, — говорит, — я не прочь за вас замуж выйти». Сразу-то я ошалел. Из кондитерской да замуж, за Строева. Хотел я отделаться шуткой, да взглянул на нее — так она на меня строго смотрит. «А ведь не жениться, расстаться надо», — мелькнуло в моей голове. Сердце похолодело даже при одной мысли о разлуке. «Прошу, — говорю, — вашей руки». Улыбнулась. Отца уже тогда в живых не было, я к матери, старуха слышать не хочет. Наследства лишу, все отдам братьям, а их четверо. «Лишайте, — говорю, — а счастья себя я не лишу. У меня свое состояние». — «Погибель ты себе готовишь, а не счастье», — сказала матушка и даже лишилась чувств от расстройства. Младший я у нее сын был, любимый. Как меня ни убеждали и мать, и братья, не помогло. Стоит у меня Маргарита перед глазами: вынь да положь. В отставку подал и женился. Недели с две мы с ней счастливо прожили, тихо, а потом и пошло, наряды не наряды, выезды не выезды, за границу покатили, да года в полтора-два триста тысяч — все, что у меня было, она и ухнула. Были мы в Париже, когда последний франк истратился. Она тут у меня и сбежала с одним армянином, да и айда на Кавказ. Что со мной было… я не помню, только передавали, что на людей бросаться стал, в уме повредился. Отправили меня за счет русского посольства в сумасшедший дом. В Россию к матери отписали все как есть. Не выдержала старушка, паралич ее разбил, и, пока меня в Париже в разум приводили, умерла.

Несколько крупных слезинок выкатилось из глаз Строева. Он вынул платок и отер глаза.

— Приехал я на счет посольства в Россию без гроша денег. Да спасибо матушке, угрозу не исполнила, пятнадцать тысяч мне отказала, но только с тем, чтобы лежали они в банке до тех пор, пока мне стукнет пятьдесят лет, проценты же мне выдают аккуратно два раза в год, а всего две с половиною тысячи. И умно сделала матушка, потому опять бы с моей Маргариткой может быть на полгода сошелся и все прожил. А теперь, хоть с голоду не умру, да и на пропой есть.

Кстати, я еще выпью, — взял он графин, уже не прося дозволения, налил рюмку и быстро опорожнил ее без закуски.

— О супруге моей драгоценной узнал я, что она в Тифлисе с этим самым армянином живет. Я туда, потому хоть глазком взглянуть — тянет. Прибыл. Оказалось, уж и от него она сбежала с богачом Зариновым за границу. Ну, туда не близкий путь, не поехал, уехал в Киев, люблю этот город, там и поселился. В Петербурге у меня приятели остались. Переписываемся. Прошу сообщить, если моя супруга на стогнах Невской столицы окажется. Получаю раз письмо. Прибыла, пишут, и Заринов с ней, дела у него расстроены, как слышно, очень… векселя опротестованы. Хотел сейчас же поехать в Петербург, да деньги все на исходе были, все пропил, пью я, как вышел из больницы в Париже, а прежде водки так совсем не пил. До получки процентов еще месяца два надо было пробиться. В Киевском отделении банка я мог получить по сообщению. А тут еще письмо. Заринов с ума сошел, и супружница моя его сама в сумасшедший дом определила. Важно, думаю, славно. Ай да Маргариточка! Как получил деньги, сейчас в Петербург. Прибыл, ан уж она с новым живет, с Николаем Герасимовичем Савиным.

— С ним!.. — бледная, как полотно, дрогнувшим голосом воскликнула Настасья Лукьяновна и откинулась на спинку стула, но тотчас же, оправившись, сказала:

— Продолжайте, продолжайте.

IX
Подозрения оправдались

— Шикарят там они, узнал я, во всю… Наряды, не наряды, лошади, не лошади, экипажи, не экипажи… Попойки, кутежи, веселая компания… — продолжал свой рассказ Эразм Эразмович Строев.

Настасья Лукьяновна сидела и слушала его наружно спокойная, и только по стиснутым губам, да по метавшим искры глазам можно было догадаться о внутреннем ее состоянии.

Строев между тем рассказывал о посещении своем квартиры жены, где она жила с Савиным, о том как, последний вышвырнул его за дверь, передал о подаче им жалобы мировому и решении съезда, приговорившего Николая Герасимовича к двухмесячному аресту, отъезде обоих «голубков», как он называл Савина и свою жену, из Петербурга, возвращении и бегстве Николая Герасимовича

от арестовавшего его пристава и, наконец, внезапный отъезд из Петербурга Маргариты Николаевны — словом, все то, что известно уже нашим читателям.

— Куда он сбежал, я не знал, — говорил далее Строев, ни разу не прерываемый Настасьей Лукьяновной, как-то уже совершенно безучастно относившейся к рассказу.

Это происходило потому, что она предвидела конец, почти знала его.

— По отъезде Савина, я несколько раз порывался зайти к ней, не пустили, швейцар и лакей, как аргусы какие, сокровище это, Маргаритку-то, сторожили… Видел я ее раза два, как в карету садилась… Раз даже дурным словом обозвал… Очень пьян был… Теперь каюсь, не годится это. Узнал затем, что и она уехала, след был совсем потерян… Куда кинуться?..

— Да вы, собственно, зачем за ней ездите? — спросила сквозь зубы Настасья Лукьяновна.

— Как зачем?.. Ведь она мне жена… — удивленно сказал Строев. — Мне без нее скучно… Нам в одном месте и надо быть, по закону.

Глаза его приняли какое-то безумное выражение.

Он быстро схватил графин с водкою, налил себе рюмку и выпил залпом.

Молодая женщина даже попятилась от него.

Со свойственной ей русской сметкой она поняла, что этот сидящий перед ней человек, сошедший с ума от любви к бросившей его жене в Париже, до сих пор еще не «приведен в разум», что точка его помешательства так и осталась в нем в безумной мысли, что он и любимая жена должны быть вместе.

Это, однако, не давало ей возможности признать все им рассказанное за бред сумасшедшего — о, как дорого бы она дала за это — так как она понимала, что на все, не касающееся его отношений к жене, он смотрит так здраво, как и всякий нормальный человек.

В его словах была только правда — горькая правда. Она ключом била в тоне его голоса и в блестевших на его глазах крупных слезах.

«Правда, все правда, хотя он и поврежденный…» — мысленно решила Настасья Лукьяновна.

— Однако, я стал допытываться, не известно ли кому, куда девался Савин, которого мне хотелось очень засадить под арест на два

месяца, — продолжал между тем говорить Строев, — нашелся, месяца через три, добрый человек, дал мне список его имений… Что-то подсказывало мне, что непременно я найду его в одном из них… Поеду, думаю, наудачу… Написал на бумажках названия имений, завернул каждую бумажку трубочкой, как это делают в лотерее-аллегри, положил в шапку, развернул… Руднево — туда значит и ехать надо… Там он, там… И до того эта во мне уверенность явилась, что я даже градоначальнику заявил, что отставной корнет Савин проживает близ Тулы в именьи Руднево, а потому и прошу дескать сообщить местным властям о приведении приговора санкт-петербургского мирового съезда над ним по моему делу в исполнение, а сам на машину и покатил… Приезжаю в Тулу, являюсь к исправнику, так и так, дескать, получите вы на днях из Петербурга бумагу об отставном корнете Савине, проживающем у себя, в селе Рудневе… «Бумаги мы еще не получали, а если и получим, отошлем обратно», — отвечает мне исправник. «Это почему же?» — спрашиваю. «А потому, что в селе Руднево господин Савин не проживает, да и самое Руднево ему не принадлежит…» Вот, думаю, так фунт… Вот и лотерея-аллегри — обмануло гаданье… Откланялся я исправнику и пошел было из его кабинета, но вернулся и спрашиваю: «А кому же в настоящее время принадлежит Руднево?» — «Дворянке Маргарите Николаевне Строевой». Тут я и понял все.

Настасья Лукьяновна продолжала сидеть молча, только углы ее губ подергивались судорогой.

Ее страшное подозрение о другой, хозяйничающей в Рудневе, оправдывалось.

— Начал наводить я в Туле частные справки… Оказалось, что имение он продал моей жене за пятьдесят тысяч — цена же ему тысяч сто — ну, да не деньги брал, так стоит ли говорить о цене… Паспорт ей выправил и сам с ней в нем благодушествует, но официально живущим в нем не значится… Маргаритке моей паспорт достал от предводителя дворянства, как дворянке и местной землевладелице… Оборудовал дело так, что, как говорится, комар носа не подточит… Ехать думаю туда… Только петербургский его прием больно мне памятен, а там он меня с супружницей моей собаками, думаю, затравят, что с них возьмешь… Тут разговорился я раз с одним добрым человеком, он мне о вас и порасскажи… Все доподлинно знает… Как Савин вас в Серединской хозяйничать отправил, чтобы место

очистить для другой хозяйки в Рудневе, как вы любили его и любите… «А может она все знает да покрывает его шашни» — говорю… А он мне в ответ: «Нет, она не такая!»

— Это-то верно, что не такая… — как-то выкрикнула Настасья Лукьяновна, и глаза ее блеснули страшным, почти нечеловеческим гневом.

— Дай, думаю, у ней побываю да порасскажу, может она моему горю и поможет, образумит своего соколика… Где исправник не сможет, там баба, думаю, в лучшем виде дело отделает… Ха, ха, ха… Больше мне от вас ничего и не надобно… Чтобы он только бросил Маргаритку-то, да и имение, как ни есть, отнял… Один бросит, другой бросит, надоест менять ей, она ко мне и вернется… Одной этой мыслью и живу. Люблю ее, люблю, подлую… Кабы не надежда эта, давно бы пулю в лоб пустил… пулю.

Он неудержимо зарыдал, уронив голову на сложенные на столе руки.

Молодая женщина безучастно смотрела на него.

Глаза ее были сухи и горели каким-то зловещим блеском. Ее горе казалось ей таким громадным, что в нем, как в море, утопало всякое другое, а особенно горе этого сумасшедшего человека, влюбленного в негодяйку жену и старающегося о том, чтобы она, брошенная всеми, вернулась к нему.

Все это промелькнуло в ее сознании, но промелькнуло последний раз.

Вдруг она стала дико озираться и, наконец, молча встала и, пятясь задом и как-то странно махая руками, вышла из комнаты…

— Хе, хе, хе… Проняло… Достанется вам от нее, г. Савин, отдадите вы мне мою Маргаритку, хе, хе, хе, отдадите… Ее только Мне в жизни и нужно, ее… Все отдам… все… за нее… Миллион, два миллиона… Отдам, не пожалею… — бессвязно бормотал остававшийся сидеть Строев. — Покажу я вам, покажу… — делал он руками угрожающие жесты…

Глаза его сверкали и бегали.

Его, видимо, снова охватил приступ безумия…

Несколько успокоившись, он стал наливать себе рюмку за рюмкой и, не закусывая, пил залпом, иногда лишь повторяя перед тем, чтобы выпить:

— Еще опрокидонт!..

Через несколько времени в столовую вошли баба-работница и Оля.

Первая взяла со стола самовар, а последняя спросила, обращаясь к Эразму Эразмовичу:

— А где же Настасья Лукьяновна?

Тот посмотрел на нее помутившимся взглядом, взял графин, приподнял его на свет и, видя, что он пуст, молча встал со стула и неверными шагами вышел из столовой.

Увидав, что он встает и так странно глядит на нее, испуганная Оля стремглав выбежала из комнаты.

Эразм Эразмович между тем добрел до отведенной ему комнаты и пластом упал на постель. Видимо, его заявление, что никакая настойка его не сморит до вечера, было им сделано несколько опрометчиво.

Скоро комната огласилась его громким храпом.

Он проснулся часов около четырех дня.

В это время уже все Серединское, не только усадьба, но и село, были на ногах, пораженное странным, загадочным исчезновением Настасьи Лукьяновны.

Работница и Оля обошли весь дом сверху донизу, искали под кроватями и под мебелью… Работники исходили весь сад, а крестьяне всю близлежащую рощу, но нигде не было, вдруг точно сквозь землю провалившейся, домоправительницы…

— А гость? — спрашивали у Оли.

— Гость, что ему делается, пьяный дрыхнет… — со злобой ответила девочка, инстинктивно догадываясь, что между разговором, который этот «пьяный гость» вел с Настасьей Лукьяновной, и ее исчезновением, была прямая связь.

Наконец Эразм Эразмович проснулся и вышел в столовую. Не найдя в ней никого, он прошел в другие комнаты и, наконец, так обошел весь дом сверху донизу. Дом был пуст.

— Что за притча, — сказал он даже вслух, — точно все вымерли. А теперь бы перекусить недурно.

Он вышел во двор. Там стояла кучка рабочих и работниц, среди которых была и Оля, а также несколько серединских крестьян. Увидав Строева, они все бросились к нему.

— Беда, барин, у нас стряслась, беда…

— Какая там беда?.. — спросил Эразм Эразмович. — Я думаю, что закусить пора. Смерть проголодался. У вас когда обедают?

— Не до обеда, батюшка барин, — выступила вперед стряпуха. — Обед в печке, поди, перепрел, да обедать-то некому…

— Как некому, а я, а Настасья Лукьяновна?

— Нетути, их нетути…

Стряпуха стала всхлипывать.

— Как нет ее, куда же она девалась? — удивился Строев.

— Ума не приложим сами, ваше благородие, — отозвался один из рабочих. — Они, — он указал на работниц, — в доме все мышиные норки обыскали, мы весь сад и парк исходили, а крестьяне в роще всюду шарили, нигде нет, сгинула, да и шабаш…

— Ага, понимаю… — вдруг хлопнул себя по лбу Эразм Эразмович.

Толпа притихли в ожидании.

— Я знаю, где она…

— Знаешь, барин, так скажи ради Христа Спасителя, мы мигом туда добежим… Без нее все дела стали, — взмолилась стряпуха.

— Ну, туда вам не добежать… Далеко…

— Далеко… Куда же она, касаточка, скрылась?..

— К барину.

— К Николаю Герасимовичу? А он где же находится?

— В Рудневе…

— Это под Тулой? — заметил один из старых рабочих. — Только как же она не на лошадях… Пешком-то до станции далеко…

— Уж там не знаю, только, наверное, она туда стреканула, потому такой разговор был у нас с ней… Наверное, туда.

— Вот оно что! — воскликнули почти все в один голос.

— Наверное, туда, — повторил Строев.

Он говорил так уверенно, что слушатели, несмотря на довольно большое расстояние до станции железной дороги, поверили, что Настасья Лукьяновна пошла туда пешком.

— Может на дороге подводу принанять решила… — выразили даже некоторые свое мнение.

— Но и мне пора собираться, — сказал Эразм Эразмович. — Только покормите сперва, братцы, чем ни на есть.

— Мигом подам, батюшка барин, — воскликнула успокоившись о судьбе Настасьи Лукьяновны стряпуха.

— А лошадей-с не прикажете? — спросил один из работников.

— Да, подряди, подряди…

— Дядя Михей, поезжай… Может и нашу нагоните, — обратился тот же работник к одному из крестьян.

— Что ж, это можно, отчего не поехать, — отвечал крестьянин.

Оля накрыла на стол. Стряпуха подала обед. Раздобыли даже настойки, и Строев, изрядно выпив и плотно покушав, надел свое пальто, нахлобучил фуражку и, сев в уже поданный для него Михеем открытый тарантасик, выехал со двора. Работники и работницы были все снова в сборе.

— Ты, дядя Михей, поторапливайся… Может нашу-то нагонишь, — кричали из толпы.

— Вестимо, во весь дух поскачу, — отвечал он и стегнул пару своих сравнительно хороших, сытых лошадей.

Последние поскакали крупной рысью.

X
Безумная

Прошло несколько дней.

В усадьбе и в селе Серединском продолжалось некоторое, хотя и менее сильное, беспокойство.

Вернувшийся со станции дядя Михей, отвозивший Эразма Эразмовича Строева, сообщил, что по дороге они не нагнали Настасьи Лукьяновны и не застали ее на станции. Последнее обстоятельство, впрочем, дядя Михей несколько объяснил тем, что к приезду их с гостем на вокзал, только что ушел поезд.

Привезенное известие подействовало различно на получивших его, хотя надо сказать, что после двухдневных толков пришли все-таки к успокоительному решению, что домоправительница воспользовалась попутной подводой и укатила по «железке» раньше, нежели дядя Михай со Строевым приехали на станцию.

Сопоставление времени, прошедшего с минуты ее исчезновения из усадьбы и отъездом гостя, как бы подтверждало это решение.

Одна Оля не осушала глаз по исчезнувшей.

— Чует мое сердце, что стряслась над ней какая ни на есть беда… — толковала она, несмотря на уговоры окружающих баб, уверявших, что Настасья Лукьяновна, наверное, уехала к барину.

— Да какая же беда могла стрястись над ней? Дура ты, дура… — раздражались утешавшие бабы.

— Не знаю, миленькие, не знаю, только чует мое сердце, что беда… — настаивала девочка.

— Коли бы смерть приключилася, так нашли бы ее хоть мертвую… Ведь по всем мышиным норкам искали, ровно иголочку, и нет… — продолжали бабы. — Ты это-то обмозгуй, ведь хоть мертвую, а нашли бы…

— Не знаю, родненькие, не знаю, но только чует мое сердце, что беда… — не унималась Оля.

— Ишь заладила… — недоумевали бабы и, даже в мысли некоторых из них минутами закрадывались сомнения, что может и впрямь стряслась беда над Настасьей, что может ретивое-то девчонки чутье не напрасно.

Они, впрочем, старались прогнать эти грустные мысли и ждали подтверждающего известия в форме письма.

— Должна же она отписать, как и что по хозяйству… — соображали работники и работницы.

Оля продолжала плакать.

Все село принимало участие в осиротелой усадьбе, и добровольцы-нарочные чуть ли не каждый день ездили верхом на станцию железной дороги за ожидаемым письмом.

Наконец письмо было привезено.

Крестьяне, обыкновенно, почти все, от мала до велика, так как дело было всегда под вечер, и работы уже были прекращены, выходили из изб при возвращении нарочного со станции.

Так было и на этот раз.

— Есть грамотка?.. — встретили его обычным вопросом.

— Есть, есть… — послышался ответ, и нарочный проследовал прямо в усадьбу, трясясь на самодельном седле.

Толпа крестьян последовала за ним и скоро запрудила барский двор.

Нарочный отдал письмо стряпухе.

Та разыскала Олю, которая была грамотна.

Она застала девочку в комнате исчезнувшей домоправительницы. Она сидела, по обыкновению, грустная, с полными слез глазами, устремленными в одну точку.

— Грамотка есть от Настасьи Лукьяновны… — сказала ей стряпуха.

Оля оживилась.

— От нее, от нее… Давай…

— Пойдем на кухню, всем уж прочтешь, — сказала стряпуха, не дав письма.

Девочка не заставила повторить просьбу и быстро пошла в кухню.

Последняя была уже переполнена народом. Толпа, стоявшая и гуторившая на дворе, стихла и почтительно расступилась перед грамотейкой Олей, шедшей удовлетворить страшно возбужденное любопытство.

Девочку усадили за кухонный стол, и стряпуха не без торжественности передала ей письмо.

Оля с живостью схватила его.

Щеки ее горели пламенем.

Вдруг, взглянув на адрес, она побледнела, и слезы неудержимо снова брызнули из ее глаз.

— С чего это ты? — с недоумением, почти в один голос воскликнули близстоящие.

— Да ведь это письмо от барина к Настасье Лукьяновне. Значит ее там у него нет… — прерывистым голосом, обливаясь слезами, проговорила девочка.

Лица всех выразили тревогу и недоумение.

— Вот-те на…

— Это что же выходит, девушки…

— Это, братцы, штука…

Такие возгласы послышались в толпе.

— Одначе все же прочитать надо, — сказал один из рабочих.

— Прочитать, прочитать… — загалдели в толпе.

Оля разорвала конверт, вынула письмо и прочла его вслух.

В нем Николай Герасимович уведомлял Настасью Лукьянову, что дело по страхованию Серединского уладил в Туле у местного агента и что на неделе приедет вместе с землемером в Серединское, и приказывал приготовить для их жилья каменный флигель.

— Верно они разъехались, она значит туда, а он сюда… — выразил мысль один из слушателей.

От сердца у большинства отлегло от этих слов.

— Будем, значит, ждать барина, приедет, все дело наружу выйдет… — заметили те, которых это письмо снова навело на тяжелые сомнения.

— Нет ее там, нет! — восклицала с плачем Оля.

— А ты почем знаешь? — послышались возгласы.

— Чует мое сердце, чует беду… — продолжала девочка.

— Заладила ворона про Якова, одно про всякого.

Толпа крестьян и крестьянок разбрелась из кухни и со двора, толкуя и жестикулируя, но общее мнение все же склонялось к тому, что Николай Герасимович и Настасья Лукьяновна просто разъехались.

То же, кроме Оли, думали и в усадьбе, где со дня на день начали ожидать приезда барина.

Стряпуха, однако, решила запереть большой дом и даже заколотить окна «от греха».

Она передала эту мысль рабочим, те одобрили и дом был заперт кругом и заколочен.

Оля во время этой работы голосила на весь двор и причитала по Настасье Лукьяновне, как по покойнице.

— На кого ты нас, голубушка наша, оставила, куда ты, наше солнышко красное, закатилося!?

Бабы не выдержали и тоже разревелись. Мужики, ругаясь, стали унимать их.

— Ишь, заголосили, ровно и впрямь по покойнице, брысь, долгогривые! — гнали они их от дома.

Мало-помалу и Оля, и бабы замолкли.

День проходил за днем, дом стоял заколоченный и своим унылым видом наводил грусть на всю усадьбу.

Наконец на селе раздался давно ожидаемый звон колокольцев, и Николай Герасимович в нанятой им в Калуге городской коляске, запряженной тройкой почтовых лошадей, прокатил по селу, аллее и въехал во двор усадьбы.

Первое, что бросилось ему в глаза, был заколоченный наглухо дом.

— Это что такое? — воскликнул он, выскакивая из коляски и обращаясь к собравшимся на дворе служащим в усадьбе.

— Заперли и заколотили после отъезда Настасьи Лукьяновны, — отвечал старый рабочий. — Вы же приказали себе приготовить флигель…

— Как после отъезда? — воскликнул Савин. — Куда же она уехала?

— Не могу знать, мы подумали, что к вам в Руднево, да она и не уехала, а ушла, — продолжал рабочий.

— Как ушла?

К рассказчику прибавились голоса стряпухи и других и все наперерыв стали передавать подробности посещения Настасьи Лукьяновны неизвестным человеком, разговор с ним и таинственное исчезновение.

Несмотря на то, что все говорили разом, Николай Герасимович тотчас по описанию узнал в посетившем Эразма Эразмовича Строева.

— Он и сказал нам, что вы в Рудневе, и что Настасья Лукьяновна стреканула туда… Так и сказал: стреканула.

— Вот оно что… — побледнел Николай Герасимович, но тотчас же оправился и спросил деланно хладнокровным голосом:

— А когда она уехала?

— Да уж недели с две будет, — отвечали рабочие.

— Ну, значит, мы с нею разъехались.

Спокойно вместе с землемером он отправился во флигель и приказал подать самовар и чего-нибудь закусить.

Стряпуха бросилась на кухню, Оля побежала в погреб.

Рабочие кинулись по другим надобностям.

В усадьбе снова настало вдруг оживление.

Слова барина, подтвердившие их догадку, всех окончательно успокоили.

Не знали они того, что барин думал совсем не то, что говорил.

Прошло еще несколько дней.

Дни были заняты производством межевания и лишь по ночам, когда землемер, умаявшись работой, засыпал как убитый, Николай Герасимович мог остаться один со своими думами и обыкновенно шел в парк.

Исчезновение Насти страшно беспокоило его, хотя он при людях, как мы видели, не пожелал выдать себя и равнодушно заметил, что, вероятно, он с ней разъехался.

Но он понимал, что этого быть не могло. По времени, которое прошло со дня ее исчезновения, она могла прибыть в Руднево уже давно, когда еще Николай Герасимович и не собирался в Серединское.

Значит она туда не поехала.

Да и самое исчезновение было, по рассказам рабочих, крайне загадочно, не могла же на самом деле она, без всяких сборов, прямо

от чайного стола бежать на станцию железной дороги, бросив в доме совершенно чужого пьяного человека. Это было просто безумием, на которое была — он знал это — неспособна благоразумная Настя.

«А быть может, этот негодяй своими рассказами довел ее до безумия! — пронеслось в голове Савина. — Но тогда она должна была быть давно в Рудневе», — соображал он далее.

«А быть может она приехала в Тулу или в село и скрылась до времени, чтобы выждать его отъезда и затем явиться рассчитываться со своей соперницей, — мелькнуло в его уме соображение. — Быть может она соединилась в Туле с этим пьяницей, мужем Маргариты, и пока он сидит здесь, они там произвели или произведут расправу со Строевой».

Он весь даже похолодел от этой мысли.

Маргарита Николаевна была женщина, умевшая сохранять в себе чисто животную привязанность мужчин, искусство, которым не многие женщины владеют. Это была холодная, бессердечная натура, умевшая играть в любовь и страсть в совершенстве, и эта имитация чувства могла иметь, конечно, меру, каковую часто трудно соблюдать при искреннем чувстве, и женщина, имитирующая любовь, не может надоесть так скоро, как искренно и беззаветно любящая.

К позору большинства мужчин — это истина.

Только такие женщины могут довести человека до разорения, до преступления, до сумасшествия, до самоубийства…

К таким именно женщинам принадлежала Строева.

Николай Герасимович был привязан к ней как собака, глядел ей в глаза, угадывал ее желания, и ласки ее каждый раз были для него новы, — она умела их делать таковыми.

Мысль, что она в опасности, холодила его мозг.

Он рвался уехать, но неоконченное межевание удерживало его на месте.

Наконец прошла неделя, межевание было кончено, и землемер объявил, что завтра можно ехать, а план он поздние пришлет в Руднево.

Савин был крайне обрадован.

Землемер заснул, а Николай Герасимович вышел пройтись перед сном по парку и саду, что, как мы уже говорили, он делал каждую ночь.

Июльская ночь была великолепна. Небо было чисто и все сплошь усеяно яркими звездами. Освещенные лунным блеском парк и сад особенно настраивали фантазию. Кругом царила мертвая тишина — вокруг все спало. Даже сторож, обыкновенно бивший в доску, или задремал, или не решался нарушать этот покой земли под звездным куполом малейшим шумом.

Николай Герасимович тихо шел по дорожке сада, мимо заколоченного пустого барского дома. Некоторые окна с этой стороны не были забиты, в них отражалось лунное сияние.

Вдруг Савина поразил странный шум в доме около одного из окон. Окно было с поднимавшеюся кверху рамой.

Он остановился и прислушался.

Совершенно неожиданно для него окно поднялось, и какая-то человеческая фигура, как кошка, спрыгнула на землю в двух шагах от Николая Герасимовича.

Он открыл было рот, чтобы крикнуть, но так и остался с открытым ртом.

Перед ним стояла Настя.

— Ты ли это? — мог только произнести он.

Она действительно была неузнаваема. Исхудалое до невозможности лицо освещалось двумя горевшими безумным огнем, казавшимися огромными от худобы, глазами, распущенная коса висела прядями, волосы на макушке были сбиты в колтун, кости, обтянутые кожей, — все, что осталось от ее роскошного тела, — были еле прикрыты рваными лохмотьями, остатками платья. Одно плечо и половина исхудалой груди были совершенно обнажены.

На его вопрос она расхохоталась.

Этот хохот, раздавшийся среди окружающей тишины природы, был ужасен.

Савин невольно отступил.

— Благодушествуют на острове любви, среди моря блаженства. Здесь не поблагодушествуете… Такое пекло устрою… Будете знать!.. Ха-ха-ха! — говорила она, прерываясь и путаясь, сама с собой, глядя своими безумными глазами в пространство.

Савина она, видимо, не узнала и даже, быть может, не видела его.

Вдруг она пустилась бежать мимо него и скрылась в густой чаще парка, примыкавшего к саду.

Все это произошло так стремительно, что Николай Герасимович, бросившись за ней, не успел догнать ее и скоро потерял из виду.

Он не мог бежать далее и остановился перевести дух.

XI
Пожар

Николай Герасимович был бледен, как полотно.

Крупные капли пота выступили на его лбу, который был открыт, так как маленькая соломенная шляпа была надета на затылок.

Он тяжело дышал, но не столько от физического, сколько от нравственного утомления.

Он огляделся вокруг и, увидав стоявшую на дорожке скамейку, добрел до нее и скорее упал, нежели сел.

«Что теперь делать?» — восстал в его уме вопрос.

Себялюбивое чувство боролось в нем с чувством жалости к этой несчастной девушке, из-за него — он был уверен в этом — дошедшей до такого состояния, до такого страшного безумия.

«Как, значит, она любила меня! — неслось в его мыслях. — Быть может, все те женщины, с которыми сталкивала его судьба, и даже последняя, Маргарита, которую он любил какою-то самоотверженной любовью, не любила и не любит его так, как любила его эта простая девушка… Что дал он тем и что дал этой? А между тем одно известие об обмане, об измене его повергло ее в такую страшную психическую болезнь… Вот где была действительная безумная любовь… А он искал ее по всему свету… Он считает, что нашел ее в Маргарите Николаевне… А если он ошибается?»

Нервная дрожь пробежала по всему его телу.

Зубы его стучали.

Кто-то вдали дико вскрикнул, и снова все замолкло.

— Это она!.. — воскликнул Савин и уже приподнялся со скамьи, чтобы бежать на этот крик, но тотчас снова сел.

«Зачем, к чему? — возник в его уме вопрос. — Я не в силах помочь ей! А между тем она, возвращенная в дом, отправленная затем в больницу с ее бессвязным бредом, в котором она непременно будет упоминать его имя и имя Маргариты, может произвести скандал… Пойдут толки, дойдет до Строевой, как взглянет она на это?»

Он не хотел в этом сознаться, но последнего боялся больше всего.

Мысль его перенеслась на мужа Маргариты Николаевны, «этого негодяя», который виною всему, — злобно решил Николай Герасимович.

Мы особенно охотно сваливаем нашу вину на первого подходящего человека.

«Где он? Куда отправился отсюда? Что если в Руднево? Уж он был в Туле, — Савин узнал это. — Что если он добьется свиданья с Маргаритой, или встретится с нею, подстережет ее и расскажет ей о Насте… Нет, Петр зорко будет следить за тем, чтобы не подпустить его на выстрел к Рудневу. Он дал ему строгую инструкцию», — успокаивал себя Савин.

Снова раздался тот же крик, но уже похожий на стон и, видимо, очень далекий.

Николай Герасимович вздрогнул, и снова на первый план выступил вопрос: что делать с Настей?

Объявить, что видел ее в саду, и сделать чуть свет облаву не только в парке, роще, но в соседнем лесу, но это поведет к скандалу для него и, главное, к задержке его отъезда в Руднево.

«Молчать, как будто я ее и не встречал… Уехать чуть свет…» — решил Савин.

Себялюбие взяло верх над чувством сострадания к несчастному существу, погибшему из-за него.

Николай Герасимович встал и, шатаясь, побрел из сада во флигель.

Придя туда, он вошел в свою комнату — землемер спал в комнате рядом, и его храп доносился до Савина.

Последний разделся, лег и потушил свечу, но ему не только не спалось, но и не лежалось.

Он встал, подошел к окну, из которого видны часть сада и большой дом, распахнул его и бросился в стоявшее около него кресло.

Он стал смотреть бесцельно вдаль. Уже занималась заря, и звезды приняли белесоватый оттенок. Он стал припоминать бессвязные слова безумной Насти.

«Благодушествуете на острове любви, среди моря блаженства… — это вероятно слова Строева, которые она повторяет… — Здесь же не поблагодушествуете… Такое пекло устрою».

Последнего он не понимал.

Вдруг яркий свет поразил его глаза.

Все кругом мгновенно осветилось, точно на двор внесли несколько факелов.

Николай Герасимович взглянул на большой дом и увидел, что из-под крыши, в нескольких местах, выбивается яркое пламя.

Он понял теперь последние слова безумной.

«Она была на чердаке и подожгла там…» — догадался он.

Савин вспомнил, что года три тому назад крыша дома была перекрыта заново дранью, и после этой работы на чердаке оставалось много разного хлама, а также и старый гонт с крыши, следовательно, в горючем материале недостатка не было, и это знала Настасья.

Как завороженный сидел он на кресле и глядел, как огненные языки все больше высовывались и лизали крышу этого дома.

Он не закричал, не встал, хотя ему очень жаль было этого дома, в котором он родился, вырос, и с которым были связаны его детские воспоминания. Дом этот он любил как что-то родное, близкое его сердцу, и вот теперь этот дом горит перед его глазами, и он, Николай Герасимович, знает, что он сгорит, так как ни во дворе, ни на селе пожарных инструментов нет, а дерево построенного восемьдесят лет тому назад дома сухо и горюче, как порох.

Пожар действительно разрастался.

До Савина доносился треск горевшего дерева.

Вдруг во дворе кто-то крикнул:

— Пожар!

Николай Герасимович слышал, что стали стучать в двери людской избы.

Вдруг у Савина мелькнула мысль, что будет очень странно, если его застанут спокойно сидящим и смотрящим на пожар своего дома из окна.

Ведь никто не знает, что он считает этот пожар возмездием за поступок с Настей, которая, отомстив таким образом, потеряла право на его сострадание и тем облегчила его душу.

Савин быстро закрыл окно и, бросившись в постель, натянул себе одеяло на голову и притворился спящим.

Через несколько минут стук в окно и двери разбудил землемера, который бросился будить Николая Герасимовича.

Последний сделал вид, что находится спросонок.

— Что, что такое?

— Как что, разве не видите? — указал ему тот в окно на громадное зарево. — Дом горит!..

— Дом, какой дом?.. — продолжал играть комедию Николай Герасимович.

— Ваш дом… Одевайтесь, может перекинуться на флигель. Савин сделал вид, что окончательно проснулся, и стал поспешно одеваться.

Когда он вышел на крыльцо флигеля, большой дом уже горел, как свеча.

Сбежавшиеся из села крестьяне с ведрами, бочками, баграми и топорами, метались в разные стороны, но поневоле должны были оставаться безучастными зрителями. К горевшему зданию подступиться было нельзя.

Одно спасенье для флигеля и для жилых построек было то, что они были отделены от него густыми деревьями.

К девяти часам утра дом сгорел дотла, со всей обстановкой. Остались лишь фундамент да обгорелые трубы.

Пожарище дымилось, и крестьяне ведрами заливали тлеющие уголья.

Поручив старосте села Серединского присутствовать за него при акте станового, за которым послали нарочного, а также наблюдение за остальными постройками и вообще дальнейшим хозяйством усадьбы, Николай Герасимович вместе с землемером уехал на станцию железной дороги.

Савин понимал, что такой отъезд в день пожара застрахованных дома и движимости может показаться странным полицейскому глазу, но желание поскорее уехать от преследующего его здесь страшного образа Насти, а главное, как можно быстрее добраться до Руднева, узнать, не случилось ли и там чего-нибудь в его отсутствие, пересилило это опасение, и он уехал.

Приехавший чиновник, действительно, удивленно разинул рот, узнав, что господин Савин тотчас же после пожара, когда заливали горевшее пожарище, уехал из имения, и стал составлять протокол, в котором поместил это обстоятельство.

Что касается причины пожара, то староста высказал предположение, что пожар произошел от поджога, так как дом последнюю неделю был необитаем и кругом заперт, проникнуть в него можно было лишь через окно, выходившее в сад, но подозрения в поджоге ни на кого не заявил.

Составленный в таком виде акт был представлен тульскому исправнику, которому прямо с места, в виду важности дела, и повез его становой пристав.

Последнему, впрочем, еще раз пришлось вернуться в Серединское и снова по довольно казусному делу.

Не прошло и недели после пожара, как один из лесников соседнего леса, обходя свой участок, наткнулся на висевший труп молодой, совершенно обнаженной женщины: она, видимо, повесилась сама на петле, сделанной из свитого жгутом подола разорванной юбки.

Остаток этой юбки, а также лохмотья остальной одежды валялись тут же, под деревом.

Труп уже начал разлагаться, но, несмотря на это, все без труда узнали в нем несчастную Настю.

Самоубийцу похоронили за деревенской околицей и поставили большой деревянный крест.

Никто, не исключая и подозрительного станового, составлявшего акт совместно с доктором о самоубийстве крестьянки Настасьи Лукьяновны Червяковой, даже не подумал искать между этим самоубийством и происшедшим незадолго пожаром барского дома в селе Серединском какой-нибудь связи. Серединский староста обо всем отписал Николаю Герасимовичу.

Последний рассеянно прочел это донесение.

Ему было не до того.

Томительное предчувствие его сбылось. Недаром он так торопился из Серединского в Руднево.

Маргарита Николаевна встретила его почти холодно, и вообще он нашел ее страшно изменившейся. Она была грустна, и часто он видел ее с заплаканными глазами.

На его расспросы она или отвечала уклончиво, или ничего не отвечала.

Савин ломал себе голову о причинах такой перемены и такой холодности Строевой.

Петр клялся и божился, что мужа Маргариты Николаевны в Рудневе не было, а гостили только приезжие из Москвы француз де Грене и итальянец Тонелли.

Николай Герасимович ничего не понимал.

Де Грене и Тонелли были его приятелями. Первый жил в Москве с начала восьмидесятых годов и был хорошо известен в Белокаменной. Савин знал его еще по Парижу, где они вместе немало кутили.

В свое время он был человек со средствами, но кутежи и женщины его разорили. Он получил место в Москве, надеясь, что в России остепенится и поправит свои денежные дела. Но горбатого одна могила исправит. И в Москве де Грене продолжал жить не по средствам и вскоре запутался и влез в неоплатные долги.

Николай Герасимович несколько раз за него ручался и платил, да и не один он платил за него, а многие из их общих знакомых и приятелей.

В общем, он все же был довольно хорошим малым и добрым товарищем.

Тонелли жил в Москве давно, был принят почти всюду, хотя никто не знал, кто он такой и на какие средства он живет.

Не знал и Савин, хотя был его приятелем.

Этого обрусевшего итальянца можно было видеть в компании Разных московских жуиров и молодых людей, ищущих богатых невест, завтракающим и обедающим в «Славянском Базаре» или в «Эрмитаже», конечно, в качестве прихлебателя у других.

Разъезжал он по Москве на каких-то иноходцах и пони и занимался весьма разнообразными делами: фотографией, продажей древностей, персидских ковров, бухарских халатов и прочих редкостей.

Оба эти гостя не могли, по мнению Николая Герасимовича, быть причиной такой странной и резкой перемены в Маргарите Николаевне.

Время шло, не принося разрешения этого, мучившего Савина вопроса.

Строева продолжала ходить, как опущенная в воду.

На беду, Николаю Герасимовичу пришлось в то время часто ездить в Тулу, что при его душевном настроении было для него острым ножом.

Но Серединское он застраховал в Российском Страховом Обществе через тульского агента господина Марцелова, дом с обстановкой за 20 000, отдельно от него каменный флигель в 6000 и смешанные постройки в 4000 рублей, и Савину приходилось через него хлопотать об ускорении выдачи премии.

Агент сообщил в Петербург, откуда на место пожара прислали инспектора, который и определил убыток в 16 000 рублей, и деньги наконец были выданы.

Покончив с этим делом, Савин оставался безвыездно в Рудневе и, в конце концов, после многих расспросов, добился, чтобы Маргарита Николаевна заговорила, не ограничиваясь, как прежде, на все его вопросы: «что с ней?» — ответами: «ничего».

— Как мне не быть в отчаянии, когда я получила сведения, что мой муж узнал мое и твое местопребывание и, конечно, не замедлит приехать в Руднево, чтобы тебя засадить, а мне начать делать новые скандалы. Я каждый день трясусь и жду его. Это не жизнь, а каторга! — заплакала она.

— Кто сказал тебе это?

— Я слышала в Туле, что он там был.

Это была правда, и Николай Герасимович молча опустил голову.

— Лучше всего, чтобы от него навсегда избавиться, продать Руднево, что в нем — оно совершенно бездоходное, положить деньги в банк, а самим уехать за границу.

Савин очень любил Руднево, но еще более любил Строеву, а потому, после некоторого колебания, заметил:

— Что же, продадим, пожалуй, и поедем.

Лицо Маргариты Николаевны прояснилось.

— Ищи же скорее покупателей.

Николай Герасимович, довольный, что увидал ее улыбающейся, совершенно растаял.

Продажа Руднева была решена.

XII
По-приятельски

Руднево, как мы уже знаем, было прекрасное имение, живописно расположенное близ губернского города и железной дороги.

Николай Герасимович назначил сравнительно недорогую цену, а потому в покупателях недостатка не было.

В числе их была и княгиня Оболенская, которая, увидав Руднево, положительно влюбилась в него.

Ей и решил продать Савин имение за 85 000 рублей.

Дело было окончено в два слова.

Маргарите Николаевне Строевой, как юридической владелице имения, пришлось ехать в город совершать купчую крепость.

В это время в Рудневе снова гостили де Грене и Тонелли.

Они тоже поехали вместе с Савиным и Строевой в Тулу, чтобы оттуда прямо проехать в Москву.

Купчую совершили.

Княгиня уплатила все деньги сполна нотариусу, который передал их Маргарите Николаевне, как владелице проданного имения.

В тот же вечер княгиня Оболенская, де Грене и Тонелли собрались ехать в Москву.

— И я поеду с вами! — заявила Строева двум последним.

— Куда ты, Муся, поедешь? — возразил Николай Герасимович. — Нам необходимо еще окончить дела в Рудневе, распустить людей.

— Но, Котик, — так звала Маргарита Николаевна Савина в ласковые минуты, — ты можешь это сделать один, зачем мне трястись опять на лошадях столько верст туда и обратно… — заметила молодая женщина.

— Это правда, но в таком случае, я все-таки провожу тебя до Москвы, устрою тебя там и вернусь в Руднево.

— Лишняя потеря времени… — недовольным тоном сказала Строева. — Зачем это?

Но Савин боялся отпустить ее одну по железной дороге с такой крупной суммой денег и настоял на своем, несмотря на то, что видел, что ей это неприятно.

Почему? — он не задавал себе этого вопроса.

Из Тулы они выехали поездом, отходившим в час ночи и прибывавшим в Москву в восемь утра.

Княгиня и Маргарита Николаевна улеглись в дамском купе, Николай же Герасимович, де Грене и Тонелли в общем вагоне первого класса.

Сильно утомленный, разбитый и нравственно и физически за последние дни, Савин скоро заснул и проснулся лишь под Москвой, когда кондуктор пришел отбирать билеты.

Поезд уже миновал Люблино и подъезжал к Москве.

Приятели Николая Герасимовича давно бодрствовали, и он, поздоровавшись с ними, прошел проведать дам.

Но, к удивлению, в дамском купе он нашел одну княгиню Оболенскую.

— А где же Маргарита Николаевна? — спросил он.

— Не знаю… M-me Строева еще ночью перешла в другое купе.

Сердце Савина сжалось каким-то тяжелым предчувствием. Он бросился в другие вагоны, но, пройдя насквозь весь поезд, не нашел Строевой.

Она исчезла.

Де Грене и Тонелли казались также пораженными этим странным приключением.

— Она выходила на площадку, ее могли убить, ограбить и сбросить с поезда… — с волнением делал страшное предположение Николай Герасимович.

Француз и итальянец печально молчали, как бы подтверждая возможность высказанного Савиным.

Начались расспросы поездной прислуги, которые ничего не дали, и один лишь обер-кондуктор заявил, что видел пассажирку с моськой, гулявшую по платформе на станции Серпухов.

По приезде в Москву, Савин тотчас послал на все станции телеграммы.

Встревоженный до крайности, он направился в гостиницу «Славянский Базар», где всегда останавливался и где надеялся найти, быть может, телеграмму от Строевой, разъясняющую ее исчезновение.

Надежда была слабая — но была.

По приезде Николая Герасимовича в гостиницу она разрушилась: никакой телеграммы на его имя получено не было.

Мысли Савина окончательно спутались.

Предположение об убийстве и грабеже, сделанное им сгоряча, он откинул, так как труп был бы несомненно найден на полотне железной дороги, о чем было бы известно; оставалось предположить, что Маргарита Николаевна по собственному желанию вышла на станции Серпухов, решив не ехать в Москву.

— Куда же она поехала?

Вот вопрос, который Николай Герасимович стал обсуждать и один, и с заходящим к нему в номер де Грене.

— Не вернулась ли она обратно в Руднево? — сделал он предположение.

— С какой стати, что ей там делать? — заметил де Грене.

— Но куда же она могла деваться?

— Скорее всего она удрала к матери, в Кишинев…

— А, пожалуй, ты прав! — воскликнул Савин. — Она мне, действительно, не раз говорила, что хочет съездить к матери… Но зачем ей было уезжать так… Это с ее стороны поступок… — Николай Герасимович не находил слова, — некрасивый.

— Да, странный… — протянул француз. — Может быть она боялась, что ты ее не отпустишь.

— Пустяки, я сам собирался с нею.

— Вот это-то она, быть может, и нашла неудобным.

По уходе де Грене — это было утром, Савин тотчас же написал остававшемуся в Рудневе Петру, чтобы он рассчитал людей, забрал некоторые вещи из усадьбы и ехал в Москву, где и дожидался бы его в «Славянском Базаре», так как он, Савин, уезжает в Кишинев, куда, по его предположению, уехала Маргарита Николаевна, но оставляет номер за собой.

В письмо Николай Герасимович вложил двести рублей, более чем достаточную сумму для расчета в Рудневе, и отправил письмо на почту, а сам с первым же отходящим поездом уехал по Курской железной дороге.

На всех станциях он расспрашивал, не видал ли кто даму с собачкой.

До Орла никто ему не дал никаких сведений, но на станции Орел Савину сообщили, что с предыдущим почтовым поездом проехала какая-то дама с собачкой, вполне подходящая к его описанию. В Киеве, по добытым им сведениям, дама с собачкой сошла.

Николай Герасимович стал искать ее по городу и наконец на второй день нашел, — дама оказалась, хотя молоденькая и хорошенькая, но ему совершенно незнакомая.

Он хотел уж ехать дальше, как получил телеграмму от Петра о том, что Строева в Москве.

Савин тотчас же вернулся обратно в Белокаменную.

— Где ты видел ее? — спросил он Петра.

— Я встретил их ехавшими в карете с господином де Грене.

Николай Герасимович немедленно отправился к французу, жившему на Тверской, в гостинице Шевалдева.

— Муся в Москве!.. — воскликнул он, входя в номер.

Де Грене на минуту смутился, но тотчас оправился.

— Маргарита Николаевна Строева в Москве.

— Где она?

— Этого я не могу тебе сказать…

— Почему, что за новости? — вспыхнул Савин.

— А потому, что она этого не желает… Она на тебя за что-то очень сердится и совершенно не хочет тебя видеть.

— Но ради Бога, устрой мне свидание с ней, умоляю тебя, — торопливо заговорил уже совершенно упавшим голосом Николай Герасимович.

— Хорошо, я постараюсь, завтра утром дам тебе ответ.

На этом приятели и расстались.

Савин уехал к себе и до самого утра был в неописанной тревоге. Чуть ли не с самого рассвета он прислушивался, не раздаются ли по коридору знакомые шаги де Грене.

Наконец в двенадцатом часу француз явился.

— Ну что, устроил?.. — бросился к нему навстречу Николай Герасимович.

— Маргарита Николаевна согласна.

— Благодарю тебя!..

— Погоди, погоди, есть условия.

— Какие?

— Свидание должно произойти не у тебя, а у нас.

— Где же?

— У Тонелли…

— Хорошо…

— Кроме того, ты должен дать честное слово, что не будешь горячиться и преследовать ее после свидания, если оно не приведет к желанному результату и если она не пожелает к тебе вернуться… Вот все ее условия.

— Хорошо, согласен и на это… Даю слово… Но когда же? — сказал Савин.

— Сегодня, в два часа…

Де Грене уехал.

В назначенный час Николай Герасимович звонил у парадной двери деревянного домика-особняка на Малой Никитской, против церкви Старого Вознесения, где жил Тонелли.

Дверь ему отворил какой-то горбун, а сам итальянец встретил его в передней с распростертыми объятиями, с массой любезностей на своем родном языке.

Его уже предупредил де Грене о визите Савина и о назначенном у него свидании с Маргаритой Николаевной.

Вскоре приехала и Строева в сопровождении француза.

Николай Герасимович бросился было к ней.

— Муся, дорогая Муся… — стал ловить он ее руки. Та отстранила его.

— Нам нужно сперва серьезно объясниться, — холодно сказала она. — Я приехала только для этого, а не для нежностей.

— Скажи же мне, за что ты так безжалостно со мной поступаешь?

— А стоите ли вы, чтобы с вами поступали иначе… Живя со мной, вы имели любовницу в Серединском, куда перевезли ее из Руднева, вашу ключницу Настю… Вы в последний раз ездили туда не для межевания… Межевание было — один предлог… Вы ездили к ней, и так, видимо, увлеклись любовью, что не доглядели за домом, и он сгорел.

Савин побледнел.

Это произошло, главным образом, не от обрушившегося на его голову обвинения, а от появившегося внезапно перед ним образа несчастной Насти. Он вдруг снова вспомнил свою встречу с нею в саду. Ее безумный взгляд, казалось, горел перед ним. Затем ему на память пришло письмо, где подробно описывалась ужасная обстановка самоубийства несчастной девушки.

Он молчал.

— Видите, вы даже не защищаетесь… — заговорила, выждав несколько минут, Строева, — вы, надеюсь, понимаете теперь причину, по которой я решилась вас бросить, я все смогу простить, но не измену, я сумею отомстить за себя, вы увлекли меня, вы испортили мне репутацию порядочной женщины, и изменяете… Я вам этого никогда не прощу…

— Но… — начал было Николай Герасимович.

— Без всяких но… — прервала его Строева. — Что вы можете сказать мне? Что вы меня любите? Ха, ха, ха… Я вам скажу, что вы меня даже не любите… Не потому, что вы мне изменяли… Мужчины уж такой подлый народ, они могут изменять и любимой женщине… Они оправдывают это пылкостью своей натуры, жаждою новизны… Пусть так. Есть другие доказательства, кроме вашей измены, что вы не любите меня… Если бы вы любили меня серьезно, вы не оставили бы меня в таком двусмысленном положении, в каком я была до сих

пор, вы хлопотали бы о разводе и женились бы на мне… Но вы… вы меняли женщин, как перчатки, вы спокойно ломали им жизнь, как разонравившимся игрушкам… Я не хочу быть этой игрушкой…

— Но кто сказал тебе все это, кто научил тебя так действовать?.. — с невероятною болью в голосе прервал ее Савин.

Она смешалась, видимо, инстинктивно взглянула на де Грене и Тонелли.

— Я узнала все сама, никто не учил меня, — быстро оправившись, сказала она.

Но для Николая Герасимовича было достаточно этого ее беглого взгляда на обоих приятелей, которые к тому же оба тоже смутились.

Он понял все, он тотчас догадался, кому он обязан этой разыгравшейся историей. Это они с ним поступили так «по-приятельски».

Но по этой догадке, в которой он был однако совершенно уверен, он не мог бросить им в глаза обвинения и только посмотрел на обоих презрительным взглядом и горько улыбнулся.

— Но я все же люблю тебя, Муся! — воскликнул он, обращаясь к Строевой.

— Докажите…

— Чем?

— Я обсудила все и решила простить вам измену только тогда, когда вы докажете мне вашу любовь.

— Но я спрашиваю, чем и как?..

— Начинайте хлопотать о моем разводе и дайте мне слово жениться на мне…

Савин несколько минут молчал.

По его лицу было видно, что в нем происходила тяжелая внутренняя борьба.

Маргарита Николаевна глядела на него выжидательно-вызывающим взглядом.

— Этого я не *могу*, — наконец сказал он, — вы знаете, что я враг брака, а это будет не только брак, но брак насильственный.

— Тогда прощайте… — холодно произнесла Строева.

— Прощайте…

Николай Герасимович сделал всем общий поклон и вышел. С разбитым сердцем он вернулся домой, в гостиницу.

XIII
По закону

Прошла неделя.

Савин несколько оправился от поразившего его удара и решил привести в порядок свои денежные дела и уехать за границу.

Свободная любовь, видимо, и на отечественной почве культивировалась плохо.

Переговорить о деньгах, полученных Строевой за фиктивно проданное ей им, Савиным, Руднево, он поручил своему поверенному господину Бильбасову.

При отъезде из Тулы, считая свою жизнь нераздельной с жизнью его «ненаглядной Муси», Николай Герасимович находил безразличным, хранятся ли деньги, отданные за Руднево княгиней Оболенской, у него в кармане или же в бауле Маргариты Николаевны.

Горе, причиненное сперва странным исчезновением молодой женщины из железнодорожного поезда, а затем объяснением с ней и разрывом, вышибло совершенно из его памяти денежный вопрос.

Самому производить расчеты с недавно близкой ему женщиной он считал положительно невозможным, — это претило его чувству идеалиста.

— Пусть все это устроит третье лицо — поверенный, — решил он и поехал к Бильбасову.

Тот охотно взял на себя это поручение.

— Я ничего не имею против беседы с красивою женщиной, я знаю, что у вас есть вкус, — улыбаясь, сказал он Савину. — Но только едва ли что-нибудь из этого выйдет…

— То есть как, едва ли выйдет?.. Она вам передаст деньги… Больше мне ничего и не надо.

— Чего же больше желать… — расхохотался адвокат. — Только вот в этом-то я сильно сомневаюсь.

— В чем это?

— Да в том, чтобы она отдала деньги.

— Что вы, это не такая женщина.

— Все женщины, батенька, одинаковы. И от того, что попадает в их цепкие ручки… наш ли брат… драгоценности ли, деньги ли, они не очень-то любят отказываться и возвращать.

— Однако от меня она отказалась… — с деланным смехом заметил Николай Герасимович.

— Взяв выкуп в довольно кругленькой сумме.

— У вас ужасный взгляд на людей… и особенно на женщин, я знаю его и потому спокоен… Я знаю и Му… Маргариту Николаевну, — поправился Савин. — На этот раз вы ошибаетесь…

— Увидим, — усмехнулся Бильбасов. — Ждать недолго, я заеду к ней сегодня же.

— А вечером завернете ко мне.

— Хорошо…

На этом поверенный и доверитель расстались. Аккуратный делец в тот же вечер был у Савина в номере «Славянского Базара».

— Видели? — встретил его Николай Герасимович.

— Видел… — с ударением произнес адвокат, опускаясь в кресло у преддиванного стола.

— Что же?

— Обворожительна, прелестна и умна…

— Я говорил вам.

— Умна, потому что приняла меня строго и в конце концов чуть-чуть не выгнала.

— То есть, как чуть-чуть не выгнала? — упавшим голосом произнес Савин.

— Но я не обиделся… Она умна и прелестна… Я доволен беседой с ней… Приятно хоть поглядеть и поговорить. Когда эти хорошенькие женщины сердятся, они делаются, по-моему, еще лучше… Я обыкновенно их нарочно сержу.

— Вы все шутите, в чем же дело?

— А в том, милейший Николай Герасимович, что вам придется в ваш расход вписать восемьдесят пять тысяч, а на приход — свободу… Мне кажется, вы не в убытке… — улыбнулся Бильбасов.

— Она отказалась отдать деньги? — с тревогой в голосе воскликнул Савин.

— А вы как думали… Она была бы величайшей дурой, если бы отказалась добровольно от такого капитала.

— Но это не честно!

— Это проступок — самоуправство… Но в данном случае даже ненаказуемый, по закону она права… Это нравственное самоуправство… Она считает, что деньги принадлежат ей по праву… Это — гонорар… — продолжал смеяться адвокат, не замечая, что Николай Герасимович был бледен, как полотно.

— Расскажите все по порядку, — почти простонал он.

— Но что с вами? — обратил наконец на состояние Савина свое внимание Бильбасов. — На вас лица нет… Неужели вам так жалко этих денег?

— Не то, не то… — замахал руками Николай Герасимович. — Мне жалко мое растраченное чувство на… продажную женщину.

— Гм… продажная… Ну, знаете, это все зависит от цены, почти сто тысяч… это уж не продажность… Впрочем, вы идеалист.

— Не надо об этом… — взмолился Савин, — расскажите, что же она говорила вам?

— Барынька приняла меня очень строго… Когда же я ей объяснил дело, по которому приехал, строгость ее еще более увеличилась… «Я не понимаю, — сказала она, — и крайне удивлена, по какому праву господин Савин требует от меня деньги за проданное мной княгине Оболенской мое имение…» Слово «мое» она сильно подчеркнула. «Руднево, — продолжала она, — продал господин Савин мне по купчей крепости и потому его требование о возврате принадлежащих будто бы ему денег мне кажется просто странным».

Бильбасов остановился.

— Вот как… — уронил Николай Герасимович.

— Кроме того, она меня просила вас предупредить, что если вы ее будете беспокоить и требовать эти деньги, то она будет вынуждена обратиться за защитой к высшей администрации и что господин де Грене ей в этом поможет… Вот и все.

— Вы действительно правы, она такая же, как все! — воскликнул Савин.

Как в тумане сделал Николай Герасимович на другой день в Москве последние распоряжения по имениям и по переводу сумм на заграничных банкиров и с вечерним поездом уехал за границу.

Тяжесть головы не проходила.

Он не помнил, как он доехал до Вены, и очнулся лишь после четырехмесячного пребывания в этом городе, в психиатрической лечебнице.

Сильная натура Савина восторжествовала над болезнью — он стал поправляться и вскоре вышел из лечебницы.

Лечившие его доктора посоветовали для окончательного поправления здоровья ехать на юг.

Следуя их советам, он отправился в Ниццу.

На дворе стоял январь 1885 года.

С Савиным был неразлучно его верный Петр, ходивший за ним, как нянька, во все время его болезни, и теперь, хотя опасность миновала, ему еще часто приходилось утешать и уговаривать своего барина.

Сердце Николая Герасимовича все еще болело, нервы были страшно расстроены, и глубокая рана, нанесенная любимой женщиной, не заживала.

При этом он узнал, что и она несчастна.

Он имел эти сведения из писем своего поверенного Бильбасова, не на шутку заинтересовавшегося Маргаритой Николаевной, и, наконец, получил покаянное письмо от самой Строевой.

Картина участия во всей минувшей и так сильно отразившейся на его здоровье истории его приятелей, де Грене и Тонелли, о которой он догадывался, выяснилась вполне из этих писем.

Выяснилась и цель, ради которой они действовали.

Оказалось, что во время отсутствия Савина и особенно во время последней поездки в Серединское, оба друга старались всячески разочаровать в нем Маргариту Николаевну, действуя на ее слабую струнку — ревность. Де Грене начал с того, что стал ей рассказывать все похождения Николая Герасимовича за границей и жизнь в Париже. Затем стал выражать свое сожаление, что она живет с таким легкомысленным человеком, как Савин, который способен ее бросить из-за первой встречной юбки. Шепнул он даже, что поездка в Серединское не деловая, и передал ей все, что знал о ключнице Насте. При этом он счел долгом посоветовать ей обеспечить себя в материальном отношении, поздравляя ее с тем, что она уже сумела прибрать к рукам Руднево. «Это единственный способ прибрать Савина к рукам и даже заставить его жениться», — заметил де Грене. Он выразил, кроме того, удивление, как она не заставила Николая Герасимовича до сих пор устроить развод с ее мужем и жениться на ней, в чем даже предложил ей свою активную помощь.

Тонелли, со своей стороны, советовал Руднево продать, а деньги поместить в выгодное предприятие на ее имя, что вполне-де гарантирует ее от всяких случайностей и легкомыслия ее друга.

Вообще, они сумели так искусно подвести свои сети, что убедили Строеву действовать в для приведения в исполнение составленного ими плана.

Выход ее в Серпухове во время сна Николая Герасимовича был сделан также по их совету. Со следующим поездом она была уже в Москве.

Но эти махинации подлых людей были только прелюдиями к еще более грязному плану, жертвой которого была намечена Маргарита Николаевна. Де Грене так сумел подделаться к ней, что она ему безусловно верила и считала его своим лучшим, преданным другом. После отъезда Савина за границу, она подпала совершенно под его власть, он давал ей советы во всех, а главное в денежных делах. Неопытная женщина слушала его и действовала по его указаниям и в конце концов де Грене ее совершенно обобрал, вероятно, не забыв бросить крохи и старьевщику Тонелли.

Все это откровенно рассказала в письме Маргарита Николаевна Строева, умоляя Савина простить ее и уведомляя, что она сошлась со своим мужем и они живут в Киеве на проценты с его неприкосновенного капитала.

«Это первый человек, которого я сделала несчастным и больным, — оканчивала она свое письмо, — он до сих пор безумно любит меня, и я постараюсь лаской и уходом за ним хотя несколько искупить мою вину перед многими и, главное, перед вами».

Николай Герасимович ответил ей прочувствованным письмом, в котором сообщил ей, что давно все ей простил и желал ей счастья и, главное, душевного покоя.

Хандра Николая Герасимовича продолжалась.

В первое время его приезда в Ниццу он нигде не бывал и ничем, казалось, не интересовался.

Лечивший его доктор Гуаран часто журил его за его нелюдимость и уговаривал не думать о прошедшем, а стараться развлечься настоящим.

Благодаря этим советам и увещаниям, Савин начал появляться в обществе, посещать театр и Монте-Карло с его знаменитым «Казино» — этим царством рулеток.

Монте-Карло, как известно, находится в двадцати верстах от Ниццы по железной дороге.

«Heureux au jeu, malhereux en amour»[27], — говорит французская пословица.

---

[27] Счастлив в игре, несчастлив в любви.

Она всецело оправдалась на Савине.

Ему страшно везло, и он выигрывал почти ежедневно по десяти, по пятнадцати тысяч франков.

С радостью он бы отдал все эти выигрыши, лишь бы не подходить под эту пословицу и быть счастливым в любви.

Но судьба пока что сулила иначе.

Николай Герасимович продолжал выигрывать крупные куши, и это счастье доставило ему в Монте-Карло и в Ницце громкую известность, его стали звать «счастливый русский».

Но этот «счастливый» не был счастлив, хотя огромные выигрыши подействовали на него благотворно.

Он как будто протрезвился, мысли его перешли от прошедшего к настоящему; образ жизни его изменился: он стал жить на широкую ногу, соря деньгами и доставляя себе всевозможные удовольствия. Он купил лошадей, выписал из Парижа великолепные экипажи, давал обеды и бывал везде.

Делать все это он мог легко на выигрыш в более полумиллиона.

XIV
Утешительница

В начале марта герцог де Помар давал вечер на своей прелестной вилле близ Ниццы.

Торжество это было в честь одной из звезд парижского полусвета, актрисы Palais Royal, Бланш Берту, за которой герцог ухаживал.

Все актрисы и кокотки высшего полета, жившие в Ницце, были на этом празднике, что придавало, конечно, ему много веселья и оживления.

Николай Герасимович, приглашенный также на этот вечер, знал всех этих милых грешниц, бывавших почти ежедневно в Монте-Карло, а со многими был знаком с Парижа.

Одна только из присутствовавших была ему совершенно неизвестна.

Это была очень хорошенькая, высокая, стройная блондинка, поразившая Савина своею типичною красотою и замечательным сходством с королевой Марией-Антуанеттой.

Приличные манеры и туалет резко выделяли ее среди других присутствовавших дам.

Николай Герасимович узнал, что ее зовут Мадлен де Межен и что она недавно приехала в Ниццу с венским банкиром Кенигсвартером и проведет здесь весь сезон.

Поразительное сходство m-lle Межен с несчастной красавицей-королевой очень сильно заинтересовало его, и он попросил герцога представить его m-lle Межен.

Знакомя Савина с ней, герцог, между прочим, сказал:

— Представляю вам несчастного счастливца.

— Что это значит? — вопросительно взглянула она на представлявшего.

— Он на днях выиграл более полумиллиона и все-таки скучает и не считает себя счастливым, — сказал герцог и поспешил на зов Бланш Берту.

— Я вас вполне понимаю, — сказала Мадлен Николаю Герасимовичу, — не в одних деньгах счастье.

Вечер прошел очень весело для всех и даже для Савина, который все время проболтал с новой знакомой, заставившей на время забыть его горе.

Он узнал от нее, что она приехала в Ниццу недавно и думает прожить месяца два, что барон ее уезжает через несколько дней.

Она даже позволила Николаю Герасимовичу к ней приехать после его отъезда.

Он не замедлил воспользоваться этим приглашением и пять дней спустя уже сидел у очаровательной Мадлен в роскошных апартаментах, занимаемых ею в «Hotel des Anglais».

Разговор коснулся между прочим фразы герцога Помара, сказанной им при представлении Савина: «несчастный счастливец».

— Объясните мне подробнее, что это значит и почему вы, независимый, молодой, богатый человек, чувствуете себя несчастным… Вы влюблены?

— Теперь на дороге к этому… — отвечал Николай Герасимович.

— Нет, не шутя, расскажите мне, если можете и желаете, что вас довело до такого состояния… Мне это очень интересно.

Савин без долгих предисловий рассказал ей о своих сердечных страданиях и разбитой жизни.

Что-то тянуло его на откровенность, и он выложил все, что тяготило в последнее время его измученную душу.

— Как определить вам мое настоящее состояние духа, этот индиферентизм ко всему в жизни и паралич страстей, еще так недавно во мне кипевших ключом.

— Это интересно, это очень интересно, — воскликнула Мадлен, — мне еще ни разу не приходилось встречаться с человеком, обладающим такою впечатлительною и романическою натурой, как вы… Но это ваше состояние ненормально и нуждается в серьезном лечении… Хотите, я вас вылечу!.. — с очаровательной улыбкой добавила она.

— Вы меня сделаете счастливым, — ответил Николай Герасимович, пожирая ее глазами, в которых начали вновь загораться огоньки потухшей было страсти.

Лечение началось, и то, что не удалось врачам и науке, удалось вполне хорошенькой женщине.

Неделю спустя после его первого визита к Мадлен, Савин был здоров и влюблен.

Страшная меланхолия, так мучившая его до сих пор, сразу исчезла.

Он уже не видал перед собой открытой пропасти — над ним разверзлось небо.

Необыкновенно легкое, уносящее вверх чувство овладело им настолько, что он просто не сознавал тяжести своего тела.

Точно с момента знакомства с Мадлен у него выросли крылья.

С каждым днем любовь его росла: Мадлен стала для него необходима.

С развитием этого, охватывавшего его все более и более чувства, ему сделалась противна его прошлая жизнь, и ему казалось, что прелесть жизни началась с той минуты, когда он впервые увидал светлый, чистый образ Мадлен де Межен.

Последняя была на самом деле удивительно хороша.

С замечательно правильными и живыми чертами лица, с тонкой, изящной и гибкой талией, блондинка с роскошными золотистыми волосами, она обладала истинно царственной грацией сирены.

Ее большие голубые глаза, то глубокие, то веселые, то задумчивые, открывавшие душу, не знакомую с расчетами, были обворожительны.

В жалком разбитом существовании Николая Герасимовича Мадлен явилась якорем спасения.

Точно в комнате, наполненной удушливым дымом, открыли окно, и струя свежего воздуха очистила атмосферу и тем спасла задыхавшегося.

Он чувствовал снова силы, которые как будто проснулись после долгого сна, а с силами вернулась и разгорелась в нем страсть.

Эта страсть, неукротимая и жгучая, бушевала в его крови и рвалась наружу.

Он не мог больше сдерживаться и владеть собою и должен был высказаться.

Он с радостью стал замечать, что с каждым днем Мадлен относилась к нему с все большей симпатией, без всякого принуждения, как добрый товарищ, он читал даже в ее глазах, что она понимает его чувства к ней и разделяет их.

Вернувшись как-то раз из Монте-Карло, куда он ездил с целой компанией, Савин проводил Мадлен де Межен домой.

Около отеля она попросила его зайти к ней.

Он вошел, и они вдвоем уселись на балконе и стали мило беседовать.

Был один из тех чудных мартовских вечеров, какие бывают только на юге.

Теплый полный влаги ветер дул с моря. Луна мягко освещала темную гладь его, слившуюся на горизонте с небом, усеянным яркими звездами.

Дневной шум города стих.

Им обоим было легко и весело в этот вечер, и они болтали без умолку.

— А леченье мое действует… — очаровательно улыбнувшись, заметила между прочим Мадлен.

— Да, леченье ваше сделало чудеса, — отвечал Николай Герасимович, — я снова переродился и сделался опять прежним… Но это излечение пробудило во мне прежнюю страсть… Ах, если бы вы знали, Мадлен, каково скрывать такую бурю в сердце, которую скрываю я… Порой я теряю власть над собой — она рвется наружу… Знаете ли вы это… Понимаете ли вы меня?

Она склонила голову на бок и посмотрела на него тем особенным взглядом, в котором таилась какая-то загадка. Что выражал этот взгляд? Радость или только торжество одержанной победы?

Под обаянием взгляда он бросился к ее ногам.

Мог ли он поступить иначе — она была очаровательна.

Он схватил ее маленькую нежную ручку и прижал ее к своим горячим губам.

— Я люблю вас, Мадлен! Люблю безумно, страстно и жить без вас не в состоянии! Вы вылечили меня. Вы оживили во мне умирающие страсти и, оживив их, не должны их убивать. Умоляю вас, скажите мне, любите ли вы меня?

Молча она наклонилась к нему.

Их губы слились в горячем поцелуе.

Мы пугаемся иногда немедленного исполнения желания, считаемого почему-либо невозможным или преждевременным.

И Савин, под влиянием своего неописуемого счастья, стоя на коленях у ног Мадлен, покрывая поцелуями ее руки и платье, чувствовал среди своего блаженства смутную тоску и страх.

На следующий день Мадлен написала своему банкиру, чтобы он не рассчитывал на ее возвращение в Вену, так как она любит другого и любима им.

Ей было только девятнадцать лет.

Она происходила из очень хорошей французской дворянской семьи. Ее мать умерла, когда Мадлен была еще ребенком, отец же ее был убит в франко-прусскую войну, командуя полком при защите Парижа.

Воспитание она получила в Sacre-Coeur, откуда вышла по окончании курса, семнадцати лет, и поселилась у своего опекуна господина д'Обольи, друга и боевого товарища ее отца, который любил ее, как родную дочь.

Но недолго пришлось ей жить у ее благодетеля.

Граф д'Обольи вскоре скоропостижно умер, оставив молодую и неопытную девушку совершенно одну.

Не имея никого: ни родственников, ни близких друзей в Париже, ей пришлось с семнадцати лет жить совершенно самостоятельно одной, что, конечно, опасно для хорошенькой и молоденькой девушки, особенно в современном Вавилоне.

Вскоре она познакомилась у одной из своих институтских подруг с молодым человеком Жоржем Дюпоном, который стал за ней ухаживать и наконец сделал предложение. Согласившись выйти за него замуж, Мадлен стала, как жениха, принимать его у себя, но эти визиты окончились не свадьбой… И вскоре Жорж Дюпон исчез.

После этого рокового шага жизнь в Париже сделалась для Мадлен невыносимой. Она уехала в Швейцарию, где встретилась с бароном Кенигсватером и сошлась с ним.

Это было за год до знакомства с Савиным.

В упоении счастья Николай Герасимович, конечно, забыл и думать об игре и перестал ездить в Монте-Карло.

Да и в Ницце у него было очень много дел: он купил виллу, куда и перевез жить Мадлен.

Это была прелестная маленькая вилла на берегу моря, по дороге в Ville Franche, окруженная роскошным садом из апельсиновых и пальмовых деревьев.

В главное здание переехала Мадлен, а Савин устроился в небольшом павильоне, находившемся в глубине сада, куда перебрался и Петр с вещами барина.

Устроившись и роскошно отделав новое жилище, Мадлен и Савин справили новоселье.

Мадлен пригласила всех друзей и знакомых, а также некоторых дам высшего полусвета.

Вечер очень удался.

Ужин с икрой, рябчиками и огромными стерлядями, выписанными Николаем Герасимовичем из России, произвел положительный фурор.

На другой день все ниццские газеты были переполнены описанием прелестного вечера у Мадлен де Межен, биографиями русских стерлядей-гигантов, выписанных в Ниццу с берегов Волги всем известным русским барином господином Савиным.

Большую сенсацию произвело на этом вечере поднесение Николаем Герасимовичем всем присутствовавшим дамам сувениров в память новоселья.

Эти сувениры состояли из ценных порт-боннеров.

Его милой хозяйке он поднес бриллиантовое колье, за которое заплатил пятьдесят тысяч франков.

Мадлен была в восторге, и Савин радовался еще больше, видя ее радость.

Начался медовый месяц влюбленных.

Николай Герасимович боготворил Мадлен, и та отвечала ему взаимным обожанием.

Казалось, что после многолетнего плавания по бурному житейскому морю, Савин наконец обрел себе тихую пристань, сулившую ему вечное счастье.

После праздника, особенно первое время, Савин и Мадлен вели замкнутую жизнь. Изредка, впрочем, они ездили в Монте-Карло.

Мадлен любила играть в рулетку, но не умела.

Николай Герасимович учил ее.

Время летело.

XV
Дуэль

Как-то раз Мадлен и Савин были в казино в Монте-Карло.

Она сидела и играла, а он, стоя за ее спиной, наблюдал за ее игрой и давал советы.

Мадлен поставила золотой на 26, и номер этот вышел, но не успела она взять еще отсчитанные крупье тридцать шесть золотых, как к этим деньгам протянул руку какой-то стоящий сзади господин.

— Позвольте, — заметила Мадлен, — это деньги мои, так как я поставила золотой на 26.

— Нет, это поставил я, и если я говорю, то мне должны поверить скорее, нежели какой-нибудь кокотке! — горячился господин, произнося эту фразу с сильным итальянским акцентом.

Молодая женщина побледнела, на глазах ее показались слезы. Савин вспыхнул.

Он сам видел, как Мадлен поставила золотой на 26, а выражение этого нахала он не мог оставить без внимания.

— Эта дама со мной, милостивый государь, а потому прошу вас быть поосторожнее в выражениях, — заметил ему Николай Герасимович.

— Мне какое дело с кем она, я вижу птицу по полету и имею право называть кокотку кокоткой.

Не успел он договорить этой фразы, как Савин размахнулся и дал ему увесистую пощечину.

Получивший удар итальянец схватился за щеку и, что-то ворча на своем языке, выбежал из залы.

Николай Герасимович, успокоив Мадлен, просил ее продолжать игру.

Не прошло и часа, как вдруг в залу вбежал побитый итальянец и, подойдя к Савину шага на три, выхватил револьвер и выстрелил в него.

— Вот как мстят итальянцы за оскорбление! — воскликнул он при этом.

Итальянец, однако, промахнулся, и пуля задела лишь рукав сюртука Николая Герасимовича.

Произошел скандал, итальянца схватили, увели в контору, а оттуда с двумя жандармами отправили на границу Италии.

В княжестве Монако не любят скандалов и возбуждения уголовных преследований, предпочитая немедленное выпроваживание виновного на границу княжества, что очень удобно, так как границы Франции и Италии находятся в нескольких стах шагах, от Монте-Карло.

Таким-то образом поступили и с покушавшимся на жизнь Савина итальянцем.

В тот же вечер, в то время, когда Савин, Мадлен, Деперьер и граф де Ренес обедали в «Hotel de Paris», лакей подал Николаю Герасимовичу две визитных карточки, графа Лардерель и Монтальфи.

— Эти господа просят вас выйти в соседнюю комнату по очень важному делу… — добавил лакей.

Савин вышел к ожидавшим его незнакомцам. Они объяснили, что приехали от имени господина Карлони, которого он сегодня оскорбил в казино, вызвать его на дуэль.

— Этот вызов мне кажется очень странным… — произнес Николай Герасимович, — господин Карлони покушался на мою жизнь, а таких людей во всех странах мира называют убийцами и предают в руки правосудия, но не дают им удовлетворения чести.

— Если вы отказываетесь драться с моим приятелем, посягавшим, как вы говорите, на вашу жизнь, то надеюсь не откажетесь драться со мной, так как я считаю ваш отказ для меня личным оскорблением… — сказал граф Лардерель.

— Я буду ожидать ваших секундантов у себя в Ницце завтра утром… — с поклоном ответил Савин.

Прибывшие удалились.

Вернувшись к столу, Николай Герасимович передал о случившемся Деперьеру и графу де Ренес, прося их быть его секундантами и приехать утром к нему для переговоров с секундантами графа Лардерель.

На следующий день, в одиннадцать часов утра, Петр доложил Савину, что его желают видеть по известному ему делу граф Диджирини и маркиз Кассати.

Это и были секунданты графа Лардерель, приехавшие для переговоров с секундантами Николая Герасимовича.

Приняв их, согласно правилам дуэли, сухо, но вежливо, Николай Герасимович представил их уже сидевшим в его кабинете Деперьеру и графу де Ренес и затем оставил их для переговоров с глазу на глаз.

Спустя некоторое время, Деперьер и де Ренес пришли сказать Савину, что между ними все условлено, что драться назначено завтра утром на шпагах, и местом поединка выбрана франко-итальянская граница близ Ментона.

На другой день рано утром, с первым отходящим поездом, Савин со своими секундантами и доктором Гуараном выехали в Ментон. Приехав туда, они взяли экипаж и поехали к назначенному месту.

Местом поединка была выбрана глухая местность, у самого берега моря, в полуверсте от проезжей дороги, так что туда приходилось идти пешком по узкой горной тропинке.

Прибыв на место, они застали уже там графа Лардерель с его секундантами.

Противники и их секунданты вежливо раскланялись друг с другом, и последние тотчас же принялись за исполнение своих обязанностей.

Разыскав ровное удобное место для боя, они бросили жребий, на чьих шпагах драться, так как секунданты обеих сторон привезли свои шпаги.

Жребий достался графу Лардерель.

Затем Савин и граф сняли сюртуки и взяли из рук секундантов шпаги.

Отсалютовав последним, как это в обычае, они скрестили шпаги и начали бой.

Граф Лардерель дрался хорошо, но был слишком горяч, так что после нескольких пасов ослабел.

Его удары легко отпарировал Николай Герасимович и наконец ловким наступательным ударом ранил графа.

Шпага Савина попала ему в левую сторону груди, скользнула по ребрам и нанесла только легкую рану.

Секунданты прекратили бой, считая честь достаточно удовлетворенной.

Николай Герасимович и граф Лардерель подали друг другу руки.

Доктор Гуаран сделал графу перевязку.

Вернувшись домой, Савин застал Мадлен у ворот виллы, ожидавшую его с нетерпением и тревогой.

Увидав Николая Герасимовича целым и невредимым, она с неподдельным восторгом бросилась ему на шею.

После этой дуэли любовь к нему молодой женщины стала безгранична — она не знала, чем его отблагодарить за его отношение к ней, за то, что он, защищая ее, два раза рисковал своей жизнью.

В Ницце дуэль Савина наделала немало шуму. Все местные газеты были переполнены подробностями о ней. При этом все газеты были на стороне Николая Герасимовича, находя, что он не мог иначе поступить и прекрасно сделал, что проучил нахала-итальянца, то есть Карлони.

«Быть невежливым с женщиной — это в итальянских нравах, — писали в “Petit Nièois”, — во Франции женщина пользуется уважением и защитой, так что поведение русского офицера господина Савина очень похвально и вполне в рыцарском французском духе».

Таким образом, Николай Герасимович получал все большую и большую известность, о нем то и дело говорили в салонах и газетах.

Ранее, об удивительном счастье в игре и огромном выигрыше, затем о счастье в любви, о его роскошной жизни, громадных тратах, стерлядях, сувенирах и бриллиантовом колье и, наконец, о счастливом случае в казино с убийцей-итальянцем и исходе его дуэли с графом Лардерель, считавшимся одним из лучших бойцов на шпагах в Ницце.

Он сделался «Phowt du jour», как говорят французы, то есть героем дня.

Жизнь текла как по маслу, все улыбалось Савину, но «tout passe, tout casse, tout lasse» — говорит французская пословица, значащая в переводе на русский: «все изменчиво и переменчиво».

Она оправдалась и на Николае Герасимовиче.

Началось со счастья в игре, которое ему изменило — оно как будто отвернулось от него с того момента, как он стал счастлив в любви.

Проигравшись в Монте-Карло, Савин захотел отыграться в клубах и просиживал в них за баккара по целым ночам, но вместо отыгрыша все проигрывал и проигрывал.

Каждый день он был в проигрыше на более или менее крупные суммы.

Мадлен, желая ему помочь отыграться, почти каждый день проигрывалась в рулетку.

Кончилось тем, что они проиграли все выигранные деньги, да своих еще тысяч полтораста франков.

Для поддержки роскошной жизни, в которую Николай Герасимович втянулся с тех пор, как жил с Мадлен, ему пришлось войти в долги и решиться продать даже одно из имений в России. Он надеялся на эти деньги отыграться и снова поправить свои дела.

Проигравшийся человек похож на утопающего — он хватается за все, надеясь спастись, то есть отыграться. Ему не кажется, что новая игра уносит его еще дальше в пучину, напротив, он видит только в ней одной свое спасения, его тянет к ней и у него нет возможности удержаться от притягательной силы, влекущей его к игорному столу.

Проигравшийся игрок готов отдать все, пожертвовать всем, лишь бы иметь деньги, а с ними возможность снова играть.

Проигравшись, он обратился к монакским и ниццким ростовщикам и вскоре попал в их цепкие лапы.

Главные из них были: Сонне, Лежестю, Галль и Берте.

Они ежедневно бывали в Монте-Карло и их можно было всегда найти в café de Paris, где они заседали в ожидании проигравшихся клиентов.

Сидели они в кафе потому, что в казино их не впускали по распоряжению администрации.

Факторами для всех сделок между ними и их клиентами служили гарсоны кафе и гостиниц, которые за эту рекомендацию и якобы посредничество получали, конечно, хорошие чаевые.

Правда, что гарсоны эти делали им отчасти сами конкуренцию, так как многие из них давали также деньги проигравшимся знакомым господам, но давали только мелкие суммы в несколько сот франков, тогда как названные ростовщики были своего рода банкиры, дававшие только крупные суммы, от тысячи до ста тысяч франков.

Этим-то господам и попался в руки Николай Герасимович, заняв сперва двадцать тысяч франков, а потом еще и еще, платя им страшные проценты.

Правда, были дни, когда он выигрывал даже большие куши и этим получал возможность временно расплачиваться с его вампирами, но вскоре проигравшись, опять обращался к ним.

Так прожили Савин и Мадлен в Ницце до конца апреля.

Сезон кончился, Ницца опустела, а они продолжали все проигрывать и запутываться в новых долгах.

Чтобы расплатиться и уехать в Париж, где Николай Герасимович надеялся вскоре получить от брата крупную сумму, вырученную им от продажи одного из имений, ему пришлось продать только что купленную виллу и продать даже в рассрочку, так как вследствие конца сезона не находилось настоящего покупателя.

Убытку он понес на этой продаже не особенно много, тысяч десять франков, и принужден был отсрочить часть проданной цены, а именно тридцать тысяч франков на год.

Эта продажа все-таки дала возможность нашей парочке расплатиться с ниццкими кредиторами и уехать в Париж с несколькими десятками тысяч, с которыми Савин надеялся устроиться там и отыграться в парижских клубах.

Унывать они и не унывали, это не было в их характере, так как у Мадлен он был так же беспечен и весел, как и у Николая Герасимовича.

Они мало горевали о своем финансовом кризисе, и при отъезде в Париж Мадлен даже шутя сказала Савину:

— Как счастливо вышло, Коля, что мы продали виллу. Это нас избавляет от заботы нанимать на лето сторожа.

Распустив весь штат прислуги, оставив только Петра и горничную Мадлен, они покатили в Париж.

XVI
В парижских клубах

В Париж наша беззаботная парочка прибыла в первых числах мая.

Сезон был в самом разгаре.

Мадлен, как истая парижанка, радовалась возвращению в Париж.

— И как нам до сих пор не пришла мысль бросить эту противную Ниццу, где мы только и делали, что проигрывали деньги, и приехать в *малый* Париж! — говорила она Николаю Герасимовичу.

Прожив несколько дней в «Hotel Continental», Савин и Мадлен наняли себе квартирку на Avenue Villier, близ парка Монсо.

Это была в сущности не квартирка, а небольшой домик-особняк, так называемый в Париже «Hotel prive».

Такое помещение много удобнее и приятнее обыкновенной квартиры. В таком особняке вы у себя дома полнейшие хозяева, избавлены от любопытства и сплетен соседей и от известных своею назойливостью парижских консьержей.

Вскоре по приезде в Париж Савину прислали крупную сумму денег, вырученную от продажи одного из его имений.

Эти деньги позволяли Савину опять зажить на широкую ногу, без стеснения и начать вести крупную игру в клубах.

Игра в парижских клубах очень развита, и играют большею частью в баккара.

Самая крупная игра в описываемое нами время велась в «Cerle royal» и в «Cerrle de la presse», в которых Николай Герасимович был членом.

Кроме этих первоклассных клубов, он мог играть и в других, куда попасть зависело только от желания.

Сами клубы заботились о привлечении игроков, в особенности крупных, и с этой целью они устраивали празднества и обеды, приглашая на них известных club-man-ов и любителей игры.

Игра составляет главный доход клубов, и чем крупнее игроки в них, тем выгоднее для его собственников или акционеров, так как с каждого закладываемого банка берется известный процент в пользу клуба, называемый «l'argent de la Caniotte».

Процент этот довольно большой, а именно: двадцать франков с каждой тысячи.

Банк закладывается от тысячи до ста и более тысяч франков.

При этом банк часто срывается понтами и вновь возобновляется банкометами, что заставляет их снова платить дань клубу — этой всегда выигрывающей «Caniotte».

Что же это такое за «Caniotte»? — быть может, спросит непосвященный в жизнь парижских клубов читатель.

Этим именем называется устроенная при всяком клубном игорном доме копилка, в которую и опускают двадцатифранковую дань с каждого тысячефранкового билета, заложенного банкометом.

Эти копилки устроены под столом, так что на зеленом сукне стола видна только отделанная медью щель.

Ключи от этих копилок хранятся у хозяев или директоров-распорядителей клубов, которые ежедневно, по окончании игры, собирают деньги, вырученные за день и попавшие в неумолимую «Caniotte» — главный доход клуба, который достигает в некоторых клубах, где ведется крупная игра, до нескольких тысяч франков ежедневно.

Клубов в Париже много, но они разделяются на две категории.

К первой относятся клубы, принадлежащие отдельным обществам с политическими или художественными оттенками, а ко второй, принадлежащие частной антрепризе, то есть в сущности это игорные дома, так называемые на парижском жаргоне «tripots», хотя и носящие громкие названия вроде: «Cerle de la press», «Cerle des artsliberaux», «Cerle Franco-American», «Nue club» и другие.

Все эти последние клубы принадлежат частным владельцам или акционерным обществам, которые открывают их только для игры.

Расчет прямой. Кто бы ни выигрывал, банкомет или понт, для хозяев клуба это безразлично, им главное, чтобы больше играли, так как от этой игры происходит переливание денег на игорном столе клуба, и с этих сумм попадает неизбежный процент в дырочку «Caniotte».

Правда, что за это игроки пользуются великолепным помещением клубов, читальнями, библиотеками, прекрасным столом и вином за весьма умеренную цену. Некоторые клубы даже для большей приманки игроков задают еженедельные даровые обеды с шампанским и всякими изощрениями кулинарного искусства, а за обеды в обыкновенные дни берут баснословно дешево, как, например, по 3, 4 франка за превосходный обед с вином.

На эту удочку идут многие, на обеде выгадывают несколько франков, а после обеда спускают несколько тысяч в карты.

Клубов замкнутых, принадлежащих частным обществам с сословными или политическими оттенками, в Париже до десяти.

Конечно, большая часть их принадлежит высшему парижскому обществу или спорту.

Главные из них: «Union», «Jokey club», «Cerle agicole», «Cerle royle», «Cerle imperial», «Cerle des Mirlitons», «Spotting» и «Turph».

Попасть в эти клубы довольно трудно, так как они составляют замкнутое общество, принимающее в свою среду только лиц, принадлежащих к тому же общественному положению, с теми же политическими оттенками и не иначе как по рекомендации двух членов и через баллотировку.

Представители этих клубов: президенты, старшины и члены распорядительных комитетов также выбираются членами из своей среды.

Все эти клубы принадлежат высшему парижскому обществу и названия их показывают их оттенок.

«Cerle royal», в котором был несколько лет членом Николай Герасимович Савин, состоял из роялистов и большая часть его членов молодежь, принадлежащая к старому французскому дворянству, а президентом клуба был в то время известный в Париже князь де Саган.

Клуб помещался на площади Согласия, на углу Королевской улицы (rue Royale), в принадлежащем ему прелестном доме.

Играют в «Cerle royal» очень сильно, и самая крупная игра происходит, как в большей части парижских клубов, перед обедом, от 6 до 8 часов, по возвращении из Булонского леса.

Парижане находят эти часы самыми удобными, потому что всякий приехавший после прогулки в Булонском лесу свеж и бодрее духом. Кроме того, увлечение игрока не может затянуться, так как игра обязательно прерывается и кончается к обеду.

Играли в описываемое нами время в парижских клубах только в акарте или в баккара, и эта последняя игра пользовалась большим успехом.

Парижская баккара имеет свою особенность — это скорее банк — баккара.

Берет банк тот, кто предложит и заложит высшую сумму. Банки бывают большей частью от пяти до пятидесяти тысяч франков в обыкновенные дни, но бывают случаи, когда они доходят до двухсот тысяч и более.

Играют за длинным столом, обтянутым зеленым сукном.

Банкомет сидит посередине стола на высоком стуле и выкладывает перед собою заложенные в банк деньги. Напротив него сидит крупье, обязанность которого состоит, прежде всего, в получении с банкомета контрибуции клуба с каждого закладываемого банка и опускании ее в «Caniotte», отверстие которой находится перед ним, а затем в собирании со стола после каждого удара проигранных понтами денег и уплате выигранных.

Крупье всегда очень ловкий народ и исполняет свои обязанности с замечательной быстротой и аккуратностью. Для собирания денег с длинного игорного стола, крупье вооружены своеобразным инструментом, называемым «râteaux»[28], но ничем на грабли не похожим. Это длинная желобообразная в метр и даже более линейка, шириною в ладонь, с обостренными краями, сделанная из гибкого и упругого дерева.

Этим-то инструментом крупье весьма искусно подхватывает с самых отдаленных концов стола проигранные банковые билеты и золото, которые скользят по наклонной линейке прямо в руки крупье.

Злые языки уверяют, что крупье не совсем чисты на руку и что много золотых проскальзывают дальше их рук в рукава, а оттуда и в их вошедшие в пословицу карманы.

«Une poche de croupier»[29] означает во Франции то же, что у нас «поповский карман».

Все играющие сидят или стоят кругом игорного стола, которые обыкновенно бывают аршин семи, восьми длиною.

В этих клубах, по приезде в Париж, и испытывал фортуну Николай Герасимович, держа большею частью банк один или в компании с кем-нибудь из своих приятелей.

Счастье стало ему снова улыбаться, он стал опять выигрывать и даже раз выиграл в «Cerle de la presse» в один присест сто сорок тысяч франков.

Эти выигрыши позволили ему снова завести лошадей, накупить экипажей и даже заплатить по счетам разным кутюрьеркам, модисткам и другим поставщикам, что еще более увеличило его и без того огромный кредит в Париже.

Кредит очень развит в этой столице мира.

---

[28] Грабли.

[29] Карман крупье.

Достаточно истратить в разных магазинах десять, двадцать тысяч франков и жить широко, чтобы вам открыли кредит на десятки, даже на сотни тысяч.

Больше всех делают кредит обойщики и дамские поставщики и поставщицы.

Последние просто навязывают свой товар в долг парижским красавицам и их поклонникам.

По отношению же Савина, надо заметить, что он был известен и ранее в столице мира, газетные же статьи, появлявшиеся во время зимнего сезона и сделавшие ему такую огромную известность в Ницце, окончательно упрочили его положение и кредит в Париже.

XVII
Под следствием

Лично для Николая Герасимовича такой большой кредит в Париже был, конечно, не нужен, но он был необходим для Мадлен, которая очень много тратила на свой туалет, Савин же не имел всегда достаточно денег, чтобы платить по всем этим колоссальным счетам разных Doucet, Viraux, Reitfern, Rodrigue и других.

Николай Герасимович не только не считал нужным стеснять молодую женщину в ее безумных тратах, но даже, если сказать правду, поощрял ее к этим тратам, пока ему везло, пока у него были деньги и кредит.

Живи он на определенный доход, как в былые времена, дело было бы иное, но бросившись в игру, игру сумасшедшую, кончающуюся десятками, даже сотнями тысяч ежедневно, ему не было основания стеснять в чем-либо любимую женщину.

Мадлен страшно любила рядиться, покупать и заказывать всевозможные аксессуары дамского туалета.

Но это слабость всех женщин вообще, а в особенности парижанок.

Молодая женщина мотала и бросала деньгами только потому, что Николай Герасимович не только не стеснял, но, повторяем, даже поощрял ее к этому.

В ней это не было непреодолимой страстью, как у многих других женщин.

Лето они решили провести где-нибудь в окрестностях Парижа.

В получасовом расстоянии от города, по дороге в Версаль и в четверти часа ходьбы от станции железной дороги Мадлен наняла хорошенький старинный домик в тенистом уголке большого парка, среди которого возвышался огромный, давно не обитаемый замок.

В этом уединенном уголке было хорошо и уютно. Мадлен радовалась этому, рассчитывая, что это заставит Николая Герасимовича чаще оставаться дома и отвлечет от шумной клубной парижской жизни, в которой он совершенно погряз и от которой не мог оторваться.

Она не то чтобы хотела отдалять его от общества, напротив она всячески старалась развлечь его и с этой целью сумела привлечь в Эрмитаж очень милое общество из столицы и окрестных дач.

Ее просто мучили его частые отъезды и беспокоили проводимые им в клубах ночи.

Хотя за последнее время ему снова везло и он выиграл столько, что даже расплатился со всеми своими кредиторами, но Мадлен знала, что все это счастье в игре, эти огромные стотысячные выигрыши крайне эфемерны и непрочны в его руках.

Она понимала, что он человек минуты, не знающий пределов ни в чем, а тем более в игре.

И в этом она была права, но вообще, как все неопытные молодые женщины, она не понимала хорошо его положения, которое заставляло его вести такую жизнь.

Хотя он неоднократно говорил с ней совершенно откровенно, выясняя всю шаткость его дел, как во Франции, так и в России, но она не вникала во все это достаточно серьезно и продолжала считать его каким-то русским крезом, у которого бесчисленное количество имений в России.

Правда, что имений у него оставалось еще целых два, около трех тысяч десятин земли, представляющих значительную стоимость, по меньшей мере в триста рублей. Но имения эти были заложены не только в земельных банках, но и вторым закладом, так что, ликвидируй он в то время свои дела, у него осталось бы немного и, во всяком случае, недостаточно для поддержки этой роскошной бесшабашной жизни, которую он вел.

Будь он дома, в России, он, быть может, и сумел бы поправить свои дела, а живя за границей, он должен был поневоле доверяться разным управляющим, которые довершали его разорение.

Его брат Михаил, которому он поручил заведование его делами, был человек лишенный всякой энергии и при всем желании не мог поправить совершенно расстроенных дел.

Это было несомненное разорение.

Первый толчок к нему дала Маргарита Николаевна, увезшая так бесцеремонно стоимость Руднева, и по милости ее мужа Савину был отрезан возвратный путь в Россию.

В день отъезда Николая Герасимовича из Москвы, вскоре после объяснения со Строевой, ему в гостинице «Славянский Базар» подали какую-то повестку, в получении которой он расписался, но, не читая, бросил на стол в номере гостиницы и уехал в Вену, где, как мы знаем, попал в лечебницу для душевнобольных.

Из писем же его поверенного и брата он впоследствии узнал, что это была повестка судебного следователя, приглашавшего его для допроса в качестве обвиняемого в поджоге дома в селе Серединском, с целью получения страховой премии, каковая, как мы знаем, и была давно получена.

Отъезд Савина за границу признали побегом и истолковали в смысле сознаваемой виновности, и потому было сделано распоряжение о розыске отставного корнета Николая Герасимовича Савина и о заключении его под стражу.

Поверенный и брат советовали Савину возвратиться, чтобы снять с себя это позорное обвинение, но он соглашался лишь при условии отмены меры пресечения не уклоняться от суда и следствия и просил их хлопотать об этом.

Но хлопоты их не увенчались успехом — им наотрез отказали в изменении принятой меры, а потому Николай Герасимович решился остаться за границей.

Суда он не боялся, так как был совершенно неповинен в этом деле, но страшился скандала и срама видеть себя арестованным и сидящим в тюрьме в родном городе.

Этому нахождению под следствием по обвинению в уголовном преступлении он был, повторяем, обязан Эразму Эразмовичу Строеву.

Чтобы объяснить это, нам необходимо будет вернуться несколько назад, к тому времени, как муж Маргариты Николаевны, плотно закусив и выпив в Серединском после исчезновения Насти, уехал в Калугу.

Калужский исправник, майор Сергей Петрович Блинов; оказался его товарищем по полку.

Случайная встреча с ним на станции решали остановку Строева в Калуге.

Сергей Петрович, старый холостяк, уговорил своего старого приятеля погостить у него недельку-другую.

Эразм Эразмович согласился.

Оба они не прочь были выпить и усердно занимались по вечерам «опрокидонтами».

При таком времяпрепровождении для обоих друзей дни летела быстро.

Двухнедельный срок прошел, а Строев все продолжал быть гостем калужского исправника.

Конечно, в это время он посвятил его в невзгоды своей жизни и рассказал о жене, Савине и Насте, от которой ехал, неожиданно встретившись с Блиновым.

— Гордец, нахал! — сказал исправник, почему-то недолюбливавший Савина.

В это время в Серединском случились, как известно, два события: пожар господского дома и самоубийство несчастной девушки.

На последнее власти, как мы видели, не обратили особенного внимания, что же касается пожара, то акт о нем становой привез лично к исправнику.

В этом акте, кроме отметки, что владелец имения, отставной корнет Николай Герасимович Савин, не выждав окончания пожара, уехал из Серединского, было занесено показание рабочего Вавилы, что барин со дня приезда в имение каждую ночь один гулял в парке и саду около большого дома.

Блинов, получив акт, прочел его вслух Эразму Эразмовичу, как лицу, знакомому с Савиным.

— Он, конечно, и подпалил! — решил уже сильно подвыпивший Строев.

— Похоже на это… — согласился исправник.

В таком смысле было им написано сообщение прокурору с препровождением акта, а по этому сообщению назначено дополнительное полицейское дознание и, наконец, следствие, приведшее, как мы видели, к привлечению Николая Герасимовича в качестве

обвиняемого в поджоге своего собственного дома, с целью получения страховой премии.

Ничего не подозревавший до получения повестки, Савин жил, как мы знаем, в Серединском, затем был в Москве, доехал до Киева, вернулся обратно, и наконец, не имея никакого понятия о возбужденном о нем деле, уехал за границу, и только письма поверенного брата неожиданно выяснили ему, что он находится под следствием в России и даже, как бежавший, разыскивается калужским окружным судом.

В таком положении скрывающегося от правосудия находился Николай Герасимович в Париже в конце июня 1888 года, то есть в момент нашего рассказа.

Переезд из Парижа на дачу в Эрмитаж ничем не изменил образа жизни Савина.

Он ежедневно после обеда приезжал в город, где проводил в клубе за карточным столом до поздней ночи, а так как в эти часы не было уже отходящих поездов, то он большею частью возвращался домой на своих лошадях, приезжавших за ним, или в фиакре. От станции Париж до Эрмитажа было не более пятнадцати верст по прекрасному версальскому шоссе.

Это было очень приятной прогулкой, особенно в те дни, когда выходил из клуба с хорошим выигрышем.

Играл он за последнее время редко в «Cerle royal», так как по окончании сезона большая часть аристократического общества покинула Париж и в этом клубе царила пустота.

Играл Савин большей частью или в «Cerle de la presse», помещающемся на Итальянском бульваре, рядом с «Cafe american», или же в «Cerle des arts libereaux», на улице Вивьен.

Банкометы были почти всегда профессиональные игроки, живущие только игрой и, конечно, свои люди в этих клубах.

Правда, что иногда закладывали банк и другие посетители, не из завсегдатаев, но это было очень редко.

В этих клубах, или скорее игорных домах, свой особый мирок.

Публика самая разношерстная. Кого там не увидишь? Журналистов, биржевиков, актеров и множество иностранцев, между которыми немало русских, а еще больше поляков.

Все они, жаждущие сильных ощущений и возможности пытать фортуну, собирались к длинным игорным столам.

XVIII
На скачках

Конечно, вследствие такого сброда посетителей, нельзя ручаться, чтобы в этих клубах — игорных домах — игра велась бы совершенно честно.

Действительно, в Париже много говорили о шулерах нечистой игры, которая велась в бульварных клубах.

Николаю Герасимовичу лично не приходилось ловить за руку шулеров при передержке, но он не поручился бы, что слухи эти были без основания.

Его самого крайне удивляло замечательное счастье банкометов из завсегдатаев, им везло иногда просто до неприличия, так что это счастье становилось подозрительным.

Савину рассказывали, что шулера имеют свой организованный кружок и состоят в близких отношениях с хозяевами клубов, а также с крупье.

Вскоре он, впрочем, увлекся другой игрой, игрой на скачках, куда ездил почти ежедневно и где играл довольно счастливо.

Игра на скачках в Париже чрезвычайно развита. Многие даже предпочитают играть на скачках, чем в карты. Играющие на скачках отчасти правы: зная хорошо дело спорта, а главное, имея знакомство с хозяевами скаковых конюшен, тренерами и жокеями, можно играть довольно удачно.

Кроме того, игра на скачках много веселей и не так утомительна, как просиживание по целым ночам в клубах, при этом на скачках всегда много народа, много красивых женщин, приезжающих играть и, главное, показать себя и свои туалеты, так что кроме игры скачки представляют и развлечение.

В Париже скачки бывают почти ежедневно круглый год. Скаковых ипподромов в окрестностях Парижа до десяти, и большая часть их принадлежит первоклассным клубам.

Из Эрмитажа Савину было очень удобно ездить на скачки, так как большая часть скаковых ипподромов находилась в весьма близком расстоянии, так, например, «Auteuil», «Croix Berny» и «Cing cjins» были всего в каких-нибудь пяти верстах, а «Longchamp» в десяти, двенадцати.

Ездил он на скачки всегда вместе с Мадлен.

Она ужасно любила лошадей и, кроме того, также пристрастилась к игре и играла довольно счастливо.

3 августа Савин и Мадлен были на скачках в Булонском лесу и по окончании их поехали не домой в Эрмитаж, а на свою городскую квартиру, так как собирались ехать вечером в театр.

Ехали они в бреке, запряженном только что купленной Николаем Герасимовичем парой золотистых лошадей.

Правил он сам.

Публики в этот день возвращалось много, так что от самых скачек вплоть до города пришлось ехать шагом, соблюдая указанный полицией порядок, то есть держась правой стороны.

Сильно проигравшись в этот день, Савин был не в духе, езда же шагом в продолжение почти часа под палящим солнцем еще сильнее его раздражала, тем более что из-за этой черепашьей езды он рисковал пропустить игру в клубе.

На Avenue du bois de Boulogne он не выдержал и, выехав из ряда экипажей, поехал рысью по левой стороне проспекта, которая была совершенно свободна, так как встречных экипажей почти не было.

Это явное нарушение полицейских правил не понравилось стоявшему на посту посредине улицы полицейскому сержанту, и он крикнул Николаю Герасимовичу держаться правой стороны и ехать шагом, но тот, не видя в этом большого нарушения, продолжал ехать крупной рысью, не обращая внимания на приказание блюстителя порядка.

Видя это, сержант дал свисток и впереди стоящий другой полицейский бросился навстречу мчавшимся лошадям, махая руками.

Когда же он увидел, что его маханье не действует и что Савин хочет проехать мимо него, то он бросился прямо к лошадям и схватил правую под уздцы, неистово ругаясь за ослушание и нарушение порядка.

Волей-неволей Николай Герасимович принужден был остановить лошадей, чтобы не задавить рьяного полицейского, но крикнул ему, чтобы он не смел трогать его лошадей.

Полицейский ответил новой бранью.

Это взбесило Савина, кровь бросилась ему в голову и он, не долго думая, ударил полицейского несколько раз бичом и рассек ему лицо до крови.

Полицейский завопил благим матом и, уцепившись еще крепче за лошадей, стал кричать о помощи.

В один миг раздались со всех сторон свистки и сбежались полицейские сержанты и народ.

Экипаж окружили и, взяв под уздцы лошадей, с триумфом повели их в полицейский участок.

По дороге Николай Герасимович просил Мадлен взять фиакр и ехать домой, но она ни за что не хотела оставить его одного и поехала с ним дальше.

Комиссара в его бюро они не нашли.

Оказалось, что этот полицейский чиновник бывает только в известные часы, так что им пришлось дожидаться около трех часов, сидя в какой-то грязной передней, вместе с полицейскими и какими-то оборванцами.

Наконец комиссар явился.

— Однако это довольно неделикатно заставлять столько времени ждать порядочных людей… — заметил ему раздраженный всем происшедшим Савин.

— Прошу вас уволить меня от замечаний… Если вы здесь сидели, то в этом вы виноваты сами, так как зря никого не держат в полицейском участке… — грубо ответил комиссар.

Затем он стал допрашивать полицейских сержантов о случившемся и, говоря о Николае Герасимовиче, назвал его «cet individu».

— Прошу вас быть повежливее, — снова крикнул Савин, — если вы не желаете быть избиты так же, как и ваш подчиненный. Я русский офицер и сумею за себя постоять.

— Теперь я понимаю ваше возмутительное поведение по отношению к сержанту Флоке, — улыбнулся презрительно полицейский чиновник. — Вы привыкли у себя в России бить кого хотите, но вы должны знать, что вы здесь не в вашей варварской стране, а во Франции, свободном и республиканском государстве.

Он не успел договорить этой фразы, как Николай Герасимович, не помня себя от бешенства, бросился на него и ударил его кулаком в лицо.

— Вот тебе, подлецу-республиканцу, за оскорбление России.

Комиссар свалился со стула на пол, Савина схватили тут же стоявшие полицейские и увели силой в другую комнату.

Мадлен плакала и уговаривала его успокоиться, но он пришел в такое бешенство, что не слышал ничего, продолжая изливать свой гнев на полицию и республику, ругая французское правительство, его порядки и представителей.

Досталось даже ни в чем неповинному президенту Греви.

Кончилось все это тем, что слова и действия Савина попали в полицейский протокол, а избитый комиссар, опоясавшись официальным трехцветным шарфом, объявил Николаю Герасимовичу, что во имя закона он его арестовывает за оскорбление действием представителя власти при исполнении им служебных обязанностей, за оскорбление словами французской республики и ее главы господина президента.

Мадлен, услыхав это, упала в обморок, и только после долгих усилий Савину удалось привести ее в чувство.

— Поезжай, ради Бога, домой, и будь покойна… Все это пустяки. Самое позднее завтра я буду освобожден следователем после допроса.

Ей пришлось волей-неволей последовать его совету.

Тяжело было Николаю Герасимовичу расставаться с бедной молодой женщиной в такой ужасной обстановке.

Он крепко прижал ее к своей груди.

Она не переставала плакать.

Наконец она несколько успокоилась и поехала одна в бреке — правила она лошадьми великолепно — с этой стороны Савин был покоен.

Вскоре после ее отъезда его пригласили сесть в карету, куда уселись и два сержанта и повезли в полицейскую префектуру.

Там ожидала его… тюрьма.

XIX
В тюрьме

По прибытии в полицейскую префектуру Николая Герасимовича повели по тем мытарствам, которые должен пройти каждый арестованный до заключения его в тюрьму.

Начали с того, что его водили по разным «бюро», в которых спрашивали и записывали его имя, фамилию, звание, место рождения и тому подобное.

После этого ему измеряли не только рост, но объем головы, длину рук, пальцев и ног, записывая наимельчайшие приметы, затем его фотографировали в двух позах и наконец обыскали, отобрав деньги, золотые вещи, бумаги, словом, все предметы, запрещенные в тюрьме.

Когда вся эта процедура была окончена, его отвели в полицейскую тюрьму, находящуюся в здании префектуры и носящую название «депо».

В тюрьме его сдали старшему надзирателю, который снова его тщательно обыскал и затем отвел в одиночную камеру, в которой и запер.

Камера, в которой очутился Савин, низкая со сводами пятиаршинная квадратная комната, с почерневшими от грязи стенами и с небольшим овальным окном с толстой железной решеткой.

У стены стояла железная койка с грязным, набитым шерстью матрацем и такой же подушкой.

Кроме койки не было никакой мебели, так что волей-неволей Николаю Герасимовичу пришлось сесть на эту отвратительно грязную кровать.

Долго просидел он в глубоком раздумье.

В голове его носились какие-то обрывки мыслей, своеобразных и несвязных.

Были моменты, что он как будто забывался; ему казалось, что он все это видит во сне, что он находится под тяжестью ужасного кошмара.

Тогда он вскакивал и, не веря своим глазам, ощупывал предметы: кровать, стены, подходил к запертой на замок двери и к решетчатому окну.

Все убеждало его в горькой действительности, доказывало, что он не спит, а находится на самом деле в тюрьме.

Целую ночь провел он в таком состоянии и только под утро заснул.

Часов в десять его разбудил надзиратель, вошедший в камеру.

Он пришел, чтобы отвести его к судебному следователю.

В передней тюрьмы он передал Савина двум республиканским гвардейцам, которые повели его через двор по каким-то длинным коридорам в камеру следователя.

Следственный судья господин Гильо, в камеру которого наконец привели Николая Герасимовича, был человек не молодой, среднего

роста, с лысой головой, очень подвижным умным лицом и проницательными серыми глазами.

Он сидел за письменным столом, заваленным разными бумагами, напротив его помещался его письмоводитель — молодой человек.

Савин наклонился.

Господин Гильо вежливо ответил на его поклон.

— Прошу садиться! — указал он ему на стул. Начался допрос.

Последний касался не только случившегося, но и таких вещей, совершенно, по-видимому, не относящихся к делу, как-то о средствах арестованного, его положении во Франции и России, его знакомствах и деловых отношениях с разными лицами, о его имениях в России, их стоимости и доходности.

Николай Герасимович не выдержал и наконец спросил:

— Но зачем все это надо знать, когда я обвиняюсь не в имущественном проступке, а в буйстве и драке?

— Поверьте, не из любопытства, молодой человек, — отвечал господин Гильо, — следственный судья во Франции, привлекая кого бы то ни было к какому-либо делу, должен ознакомиться с личностью подсудимого и его нравственными и имущественными качествами. Будь вы француз, я все это бы узнал через полицию, но так как вы иностранец, то обо всем этом я сделаю запрос в вашем отечестве.

— Не понимаю, к чему это…

— Бывают случаи, что полиция или судебная власть арестовывают человека за самое пустое нарушение правил или проступок, но, наведя о нем справки, обнаруживают, что задержанный опасный преступник, скрывающийся под ложным именем, и разыскивается за другие, более важные преступления во Франции или в другом государстве.

Николай Герасимович побледнел.

Он вспомнил свое дело по обвинению его в поджоге, но тотчас же оправился, возложив свою надежду на отсутствие в Петербурге таких же бюро, как в Париже, куда стекаются все сведения, группируясь около каждого лица.

Савин благословил отечественные порядки, раз они коснулись его, хотя в иное время, вместе с другими, он называл их беспорядками и с восторгом указывал на Францию, где судебное дело доведено до совершенства.

Он остановился.

Николай Герасимович молчал, положительно сраженный перспективой дальнейшего пребывания в тюрьме.

— Дайте мне точные сведения о вашей личности, и я телеграфирую во французское посольство в Петербурге, а оно, конечно, не замедлит навести справки и сообщит их мне.

— Но я могу представить залог, — заикнулся было Савин, — какой вы пожелаете.

— Залога я принять не могу, но если здешнее русское посольство вас знает и за вас поручится, тогда дело другое, но без этой официальной гарантии я вас не выпущу, так как за учиненный вами проступок вы подлежите тюремному заключению до трех месяцев.

Николай Герасимович был уничтожен.

В посольстве его почти не знали, и потому на поручительство посольства он рассчитывать не мог.

Все это мгновенно промелькнуло в его уме.

В это время господин Гильо написал постановление о его содержании под стражей.

Савина снова отправили в «депо» и водворили в его камеру, но ненадолго.

Через каких-нибудь полчаса в ней снова появился надзиратель.

— Следуйте за мной!

Николай Герасимович повиновался. Надзиратель привел его в большую комнату, где толпилось человек двадцать разных оборванцев.

От них Савин узнал, что его и их везут в следственную тюрьму Мазас.

Минут через десять вышел старший надзиратель со списком в руках и стал выкликать арестованных по имени и фамилии.

Проверив, таким образом, всех присутствующих, он стал выпускать по одному из тюрьмы во двор.

Николай Герасимович вышел последним.

Перед подъездом стояли две огромные желтые тюремные кареты, аршин по десяти в длину, без окон, с одной только дверцей сзади.

В эти своеобразные экипажи впряжено было по паре сильных и рослых лошадей.

Эти тюремные одиночные камеры, называемые «voitures cellulaires», или на тюремном жаргоне «paniers a salade», развозят из всех тюрем Парижа арестованных.

От префектуры до Мазаса езды с полчаса.

Мазас — это тюрьма предварительного заключения, находящаяся на бульваре Дидро, против Лионского вокзала.

Приехав в Мазас, кареты въехали на тюремный двор, где арестантов высадили, затем рассадили по маленьким темным чуланчикам, где они просидели с полчаса до приемки.

Приемка делается в конторе.

Каждого вводят туда отдельно, меряют и записывают его имя, фамилию, приметы, место рождения и тому подобное, после чего уводят с надзирателем во внутрь тюрьмы.

Там его сдают старшему надзирателю, так называемому brigadier cheff, который назначает каждому номер камеры.

Прежде чем отвести в камеру, заключенного ведут в ванную, где он обязан раздеться и принять ванну.

В то время, когда он в ванной, тщательно осматривают и обыскивают его вещи.

По окончании этого осмотра, заключенному оставляют необходимое платье, обувь и белье, а остальное сдают в цейхгауз.

После таких же формальностей был отведен и заперт в камеру № 67, в пятой галерее, Николай Герасимович Савин.

Мазас — самая большая, одиночная тюрьма в Париже, в ней тысяча двести шестьдесят камер.

Выстроена она в виде звезды в шесть лучей.

Камера Савина, как и все другие камеры, была семи аршин длины и четырех ширины, потолок и стены были выбелены, а пол вымощен кирпичом. Небольшое окно с решеткой выходило на тюремный двор, но в него не было ничего видно, так как стекла были матовые.

Меблировка состояла из железной кровати с матрацем и подушкой, набитыми шерстью, и покрытой байковым одеялом, сомнительной чистоты. У другой стены стояли стул и дубовый стол, над которым висели тюремные правила, обязательные для каждого заключенного.

В углу, близ двери, на полке помещались глиняная чашка для умыванья, железный кувшин с водой и жестяной стакан.

Не успел Николай Герасимович оглядеть все в своем новом помещении, как в камеру вошел младший надзиратель, принесший чистые простыню и наволочку.

Он разъяснил Савину главную обязанность арестованного: держать камеру в чистоте, не петь, не свистеть и, безусловно, слушаться всякого распоряжения начальства.

Младшего надзирателя звали m-r Срик.

Это был толстый, неуклюжий, с глупым выражением лица и длинной эспаньолкой, французский отставной солдат.

Он был очень глуп, но человек добродушный и любящий выпить.

Впоследствии, когда Николай Герасимович с ним больше познакомился, он покупал для него ежедневно литр красного вина, который тот выпивал до последней капли.

Таких узников, как Савин, у него в отделении было несколько, так что к вечеру m-r Срик всегда был пьян.

От него Николай Герасимович узнал, что свиданья с родственниками и знакомыми он может иметь четыре раза в неделю, два раза по часу и два раза по пятнадцати минут.

Писать арестованный может кому хочет и сколько хочет, но письма должны быть отдаваемы комиссионеру распечатанными, так как подлежат просмотру тюремного начальства.

XX
В Мазасе

Увидев, что писать разрешено, Николай Герасимович немедленно написал Мадлен длинное письмо, в котором утешал ее и просил не горевать и не унывать, сообщил ей также о тюремных порядках и днях свиданий, прося ее скорей побывать у него и привезти ему все необходимое.

Написав это письмо, он просил послать его тотчас же с комиссионером, что и было исполнено.

Тяжело и грустно было сидеть Савину в камере, зная при этом, что он страдает не один и что есть другое любящее его существо, которое страдает и мучается еще более чем он.

«Горе Мадлен должно быть ужасно», — думал он.

Он знал, как сильно и искренно она любит его и что разлука с ним для нее страшное страдание. Он даже боялся за нее, зная ее впечатлительную натуру.

Вот почему в своем письме он всячески умолял ее успокоиться и надеяться на его скорое освобождение.

Вечером он был обрадован получением коротенькой записки от Мадлен, которую ему принес комиссионер, носивший ей письмо. Она уведомляла его, что будет непременно на следующий день, просила не унывать и стойко переносить несчастие. Бесчисленное число раз перечитал он эти строки и перецеловал подпись той, которую любил больше всего на свете.

С каким нетерпением стал он ждать следующего дня, считая часы и минуты, казавшиеся ему нескончаемыми. Наконец столь ожидаемая минута настала.

Дверь камеры Савина отворилась, и надзиратель пришел его звать на свидание.

Сердце его забилось, и он с неописанной радостью бросился к выходу.

Свиданья в Мазасе происходили в специально устроенном помещении.

Это целый ряд перегородок в виде чуланов, в полтора аршина ширины и три аршина длины. В каждом таком отделении два входа — один из тюрьмы, откуда впускают заключенного, а другой из прихожей, в который впускается посетитель.

Посредине каждого чуланчика железная частая решетка, так что заключенный с его посетителем разделены и могут только говорить через нее в продолжение назначенного времени.

В таком-то помещении Николай Герасимович должен был видеть Мадлен.

Как ни радостно было это свидание, но оно было тягостно при подобной обстановке.

Молодая женщина, войдя в эту ужасную клетку и увидев любимого человека за решеткой, разрыдалась.

Как ни крепился Савин, как ни хотел показать свое душевное спокойствие, но при виде ее слез не мог удержаться и сам заплакал.

Два любящих молодых существа рыдали по обе стороны неумолимой решетки.

Первым пришел в себя Савин.

Отерев слезы, он передал Мадлен все, что было ему известно о его положении из слов следственного судьи, и просил ее съездить к прокурору республики похлопотать о его освобождении под залог, а также прислать ему хорошего адвоката, который, конечно, скорее найдет способ его освободить.

Мадлен обещала все исполнить и со своей стороны, сквозь слезы передала ему, что его арест наделал в Париже много шуму, что все газеты полны рассказами о случившемся с разными прикрасами и вариациями. Особенно республиканские и радикальные, которые возмущаются его поступками с сержантом и комиссаром и еще более его поведением в бюро. Они требуют строгой кары и примерного наказания, прибавляя, что надо, наконец, обуздать этих разных диких князей, бояр и пашей, приезжающих в Париж из своих варварских стран и не умеющих себя держать в цивилизованной свободной стране.

Она также сказала, что многие из кредиторов Савина являлись к ней с требованием уплаты по счетам и векселям, угрожая судом.

Необходимые для Николая Герасимовича вещи она привезла и передала в контору, а также сговорилась с хозяином ресторана «Aux acacias», находившегося напротив Мазаса, относительно стола и вина.

Он взялся ему все доставлять и с сегодняшнего дня пришлет вкусный обед и хорошую бутылку Марго с комиссионером Франсуа, который ежедневно будет ему служить.

Но роковая четверть часа прошла, не дав им наговориться.

Савину пришлось расстаться с Мадлен на два дня и ждать опять с нетерпением минутного свидания.

На следующий день Николая Герасимовича посетил господин де Моньян, один из знаменитых парижских адвокатов.

Он приехал к нему по просьбе Мадлен.

Это был человек лет сорока, высокий, немного сутуловатый брюнет, с небольшой черной бородой и умным, симпатичным лицом. Савин подробно рассказал ему о случившемся с ним, также о допросе и разговоре с господином Гильо.

— Об этом я уже читал в нескольких газетах, — заметил де Моньян, — пощипывая свою бороду, — там все было подробно описано и по обыкновению даже с прикрасами… дело это само по себе не представляет особой важности, высшее наказание, к которому вас может приговорить суд исправительной полиции, это трехмесячное тюремное заключение, но есть надежда выйти с небольшим наказанием, доказав, что полицейский комиссар сам был виноват, раздражив вас своею грубостью и оскорблением России.

— Но нельзя ли похлопотать, чтобы меня выпустили пока до суда из этой клетки?

— Это, — вздохнул адвокат, — не буду вас даже обнадеживать, очень трудно, почти невозможно. С иностранцами всегда поступают строже, чем с французами; против них принимается всегда высшая мера пресечения, так как французское правосудие ничем не гарантировано в случае, если обвиняемый скроется и уедет за границу… Кроме того, я хорошо знаю господина Гильо, он человек строгий, характерный и, придя раз к какому-нибудь решению, он его не изменит, так что до получения справок из России нечего и надеяться на освобождение.

Николай Герасимович печально поник головой.

— Я, впрочем, съезжу и к следственному судье, и к прокурору республики, похлопочу, но предупреждаю, что из этого едва ли что выйдет… — утешил адвокат клиента.

— Навестите, пожалуйста, m-lle де Межен, успокойте ее.

— Это я сделаю с величайшим удовольствием.

Затем они условились в гонораре.

Граф де Моньян взял с Савина тысячу франков тотчас же и еще тысячу, если он его вполне оправдает.

Николай Герасимович дал ему записку к директору тюрьмы, в которой просил его выдать тысячу франков защитнику из лежащих в конторе его денег. Прощаясь, адвокат обещал его навещать и сделать все, что будет возможно.

Дни шли за днями, дни скучные, однообразные и томительные.

Единственною отрадою Савина были посещения Мадлен, которая не пропускала ни одного дня из назначенных для свидания и приезжала с другого конца Парижа проведать его и побыть с ним хотя бы несколько минут.

Ранее мы говорили, что Николай Герасимович надеялся на «отечественные порядки» в том смысле, что о деле, производящемся о нем в калужском окружном суде по обвинению его в поджоге, не знают в Петербурге, откуда затребованы были справки парижским следственным судьей.

Надежда эта, увы, не оправдалась.

Пришедшие справки были для него роковыми.

В них с точностью были прописаны не только все его проступки в Петербурге, за которые он даже подвергался административной высылке из столицы, но и то, что он находится под следствием по обвинению в тяжком уголовном преступлении — поджог своего

собственного дома, и, кроме того, получено официальное требование русского правительства о выдаче отставного корнета Николая Герасимовича Савина, как бежавшего от русского правосудия. Французское правительство ответило согласием на это требование, но после суда и отбытия наказания Савиным, если он будет осужден. Весть о требовании России выдачи Савина и об основаниях этого требования дошла до Мадлен из газет, которые с быстротою молнии разнесли ее по Парижу. Они, конечно, не преминули исказить факты.

Некоторые газеты рассказывали, что Савин — известный «нигилист» и что поджог им своего дома имеет политическую подкладку.

На этом основании некоторые радикальные органы защищали Николая Герасимовича и говорили, что французское правительство не имеет права выдавать его России, так как политические преступники пользуются протекторатом Франции.

Все это, прерывая рыданиями, рассказала Николаю Герасимовичу Мадлен и не могла утешиться, несмотря на то, что Савин старался убедить ее, что его обвинение в России — недоразумение, что он не думал поджигать свой дом, что он только был в ночь пожара в своем имении.

Она не понимала его и была неутешна.

— Скажи мне лучше правду, одну правду, умоляю тебя… — говорила она.

— Но я же говорю тебе правду, клянусь тебе!.. — тщетно старался уверить ее Савин. Она только качала головой и продолжала плакать.

XXI
На суде

Наконец день суда настал. Николая Герасимовича усадили в знакомую уже ему желтую карету и повезли в суд. По приезде в здание суда, его отвели в помещение для арестованных.

Это тюрьма в миниатюре.

В широком, довольно темном коридоре устроены небольшие камеры, аршина четыре длины и двух ширины, камеры эти темные и имеют только одно отверстие в двери.

Арестованных запирают в эти чуланы по пяти, шести человек в каждый.

Помещения эти очень грязны, в них нет даже скамеек, так что арестованные должны стоять на ногах, если не желают садиться на грязный пол.

Воздух в этих чуланах невозможный.

Заседание суда начинается в двенадцать часов и обвиняемых ведут в залу суда целой гурьбой и сажают всех вместе на скамью подсудимых.

Огромная зала суда, в которую ввели Савина, была битком набита публикой.

На возвышении за столом, покрытым зеленым сукном, сидели председатель и два члена, направо от судей сидел прокурор, налево секретарь за особым столом, также покрытым зеленым сукном.

Защитник Николая Герасимовича, господин де Моньян, был налицо и сел близ Савина.

Весь персонал суда и адвокат были в черных длинных тогах, с широкими обшитыми горностаем рукавами, закинутыми на спину. На голове у них были круглые без козырька шапочки из черного бархата, на околышках которых были нашиты серебряные галуны.

Галуны эти различны, так, например, у председателя весь околыш обшит широким галуном, у судей — два галуна, но поуже, у товарища прокурора только один узкий, у адвоката же шапочка совершенно без галуна.

Входя в зал, Николай Герасимович заметил среди публики несколько его знакомых и многое множество кокоток высшего полета.

Савин забился в самый угол скамьи подсудимых и повернулся спиной к публике.

Дело его было назначено в слушание последним.

Наконец очередь дошла до Савина.

Всех остальных подсудимых увели, и он сидел один на скамье подсудимых.

Адвокат еще ранее просил его не горячиться, отвечать вежливо на вопросы председателя суда, а главное, говорить как можно меньше и дать ему полную свободу для защиты.

— Подсудимый, ваше имя, фамилия, звание, национальность?.. — спросил председатель.

— Отставной корнет, Николай Герасимович Савин, русский… — отвечал Николай Герасимович, встав со скамьи.

— Пригласите свидетелей…

В залу были введены свидетели: полицейский комиссар Морель, его секретарь, сержант Флоке, Мадлен де Межен и грум Савина — Джон.

Показания первых трех свидетелей были, конечно, не в пользу обвиняемого.

Они рассказали о его неповиновении требованиям полиции, неуважении к властям и возмутительном поведении в бюро.

Показания же Мадлен и Джона были, наоборот, в пользу Савина.

Из их показаний выяснилось, что сержант Флоке ругался неприличными словами и схватил так грубо правую лошадь под уздцы, что разорвал ей губу до крови.

— В Англии, за такое обращение с чистокровными лошадьми, обвинен был бы полисмен, а не джентльмен, ударивший его за это бичом… — добавил Джон.

Мадлен рассказала всю бесцеремонность полицейских чинов, заставивших ждать более трех часов в какой-то грязной передней комиссара, грубость последнего в отношении Савина и его неприличные выходки относительно России.

— Оскорби в присутствии моем какой-нибудь русский чиновник Францию, и я, хотя и женщина, но поступила бы так, как поступил господин Савин с французским комиссаром, — закончила она свое показание.

Этим закончился допрос свидетелей.

— Господин прокурор, ваше слово! — обратился председатель к представителю обвинения.

Последний встал.

Это был известный в Париже своим красноречием товарищ прокурора Булош — высокий, стройный молодой человек с черной бородой и смуглым красивым лицом.

— Господа судьи, — начал он, — на скромной скамье подсудимых суда исправительной полиции сидит в настоящую минуту человек далеко не скромный. Вы только что слышали показания свидетелей, обрисовавших вам возмутительное поведение подсудимого, по отношению к полицейскому сержанту Флоке и комиссару Морелю. Неудовольствовавшись этим, обвиняемый позволил себе бранить неприличными словами Французскую республику и высших представителей.

Не думайте, что перед вами сидит русский необузданный боярин, вспыливший и давший волю своим рукам по привычке, нет! Это не мелкий самодур, а ярый противник порядка, в котором укоренилось неуважение к властям. Перед вами находится один из вожаков русских нигилистов Савин. Для нигилистов нет преграды, нет ничего святого, и творимые ими ужасы всем достаточно известны в Европе. Я не обвиняю в этом господина Савина, это не мое дело, есть другие прокуроры, ожидающие его, и которые его будут в этом обвинять. На моей обязанности лежит только охарактеризовать перед вами личность обвиняемого, для того, чтобы была применена к нему большая или меньшая мера наказания. Вот почему я считаю нужным в кратких словах обрисовать перед вами личность подсудимого. Господин Савин обвиняется в России в ужасном преступлении; по отбытии им наказания во Франции, он будет выдан русскому правительству, о чем состоялось уже распоряжение французских властей.

Преступление, за которое он привлекался к суду в своем отечестве, доказывает нам, насколько этот человек способен на все. Савин фабриковал в своем замке адские машины и динамит, предназначенный для преступных замыслов его единомышленников; когда же русские власти узнали об этом и окружили замок с целью его арестовать, он взорвал на воздух замок своих предков, а сам скрылся подземным ходом. Русские власти думали, что он погиб под развалинами взорванного им замка, и дело о нем заглохло, но благодаря случайности и бдительности французской полиции, скрывающийся преступник найден и непременно понесет заслуженную кару.

Судьба его в России решена, песенка спета и в родной стране ждет его веревка!

Что после этого могу я сказать? Мне кажется, что всякое наказание, к какому будет приговорен подсудимый здесь, во Франции, для него будет благодеянием. Всякий человек прежде всего дорожит жизнью, и чем больше срок тюремного заключения назначен будет судом подсудимому, тем дальше оттянется для него роковая минута. А потому прошу суд назначить ему наказание в высшей мере, указанной в законе, за оскорбление действием служащих при исполнении служебных обязанностей.

Речь эта произвела удручающее впечатление на суд и на всех присутствующих, так что все красноречие адвоката Савина не помогло.

Как ни старался он доказать суду всю голословность прокурорских доводов, взятую им не из официальных документов, а из слухов, распущенных газетами, как ни доказывал он, что обвинение в России не может влиять на разбирающееся дело во Франции — ничего не помогло.

Суд, по окончании прений сторон, объявил резолюцию, которой приговорил отставного корнета Николая Герасимовича Савина к трехмесячному тюремному заключению.

Приговор этот наделал в Париже немало шума и дал пищу газетам, которые с необычайным рвением стали печатать небывалые истории о главе русских нигилистов и взорванным замке предков.

Совершенно неутешна была Мадлен.

Как ни уверял ее Николай Герасимович, что все это небылица, что дело его в России совершенно пустое, не представляющее для него никакой опасности, она плакала и повторяла:

— Скажи мне лучше правду, всю правду. Я поеду с тобой даже в Сибирь, если тебя туда ушлют, но вдруг, если они поступят с тобой действительно так, как говорил прокурор. Это ужасно!

Она рыдала и не хотела ничему верить.

Эта сцена произошла в первое же свидание после суда.

Чтобы доказать ей нелепость распущенных слухов, Николай Герасимович направил ее к знакомому ему секретарю русского посольства в Париже, от которого она наконец узнала всю правду.

Секретарь даже был так любезен, что показал ей официальные бумаги, относящиеся до выдачи Савина, так что она наконец убедилась, что его дело простое уголовное преследование и что ни о какой веревке, ожидающей его в России, не может быть и речи.

Для устройства дел перед отъездом из Парижа Николай Герасимович получил разрешение от прокурора выходить из тюрьмы в сопровождении двух полицейских агентов, одетых в штатское.

Такие выходы из тюрьмы заключенных называются extraction и разрешаются французскими судебными властями.

Савину было разрешено пять таких выходов.

Агенты приходили в назначенные им дни в девять часов утра и отводили его обратно в Мазас в семь часов вечера.

Таким образом он перед отъездом мог воспользоваться несколькими часами свободы и провести их в обществе дорогой для него женщины — Мадлен.

Агенты были к нему очень любезны и ни в чем его не стесняли.

Даже на улице шли сзади него, как будто не имея к нему никакого отношения.

Время шло, и срок отсидки кончился.

Скоро Николаю Герасимовичу приходилось покинуть Париж — расстаться с Мадлен.

Ему было объявлено, что в день истечения срока его наказания, его увезут на немецкую границу, для передачи и отправления дальше в Россию.

День этот наступил.

Утром явились в Мазас два жандарма, которым и передали Савина, и они повезли его на вокзал восточной железной дороги.

Приехав на станцию, они сели в отдельное купе второго класса, специально отведенное для Николая Герасимовича и его спутников.

Конвоировавшими его жандармами были взводный вахмистр Жираден и рядовой Перье.

Оба они были очень добродушные люди, Савин вскоре с ними разговорился.

Французы очень симпатизируют русским, особенно военные; конечно, симпатия эта обоюдная, и нет народа более симпатичного для нас, русских, как французы.

Это и понятно.

Привычки, вкусы, нравы занесены к нам в Россию французами, так что мы с детства привыкаем ко всему этому.

Кроме народной симпатии, притягивающей нас, есть еще один элемент, заставляющий нас подать друг другу руки — это общая нелюбовь к немцам.

С тех пор, как Германия одержала победу над Францией, последняя поняла, что единственный дружественный ей народ в Европе — русский, что Россия — ее единственный друг, который, не имея никаких поводов к соперничеству с ней, будет всегда поддерживать ее против ее врагов.

Дружба Франции и России — единственный и могучий противовес германским политическим ухищрениям.

Вот почему врожденная симпатия французского народа к русскому увеличилась со злосчастного для Франции семидесятого года.

Французы — большие патриоты. Нет народа в мире, у которого это чувство было бы так развито, как у них.

Для них нет ничего дороже и милее их родной страны.

И эту-то родную страну унизили немцы, уменьшили ее величие, отняли у нее две богатейшие провинции, и три миллиона французских жителей находятся под игом ненавистной им Германии.

Этого не могут забыть французы.

Рана, нанесенная им в семидесятом году, не заживает.

Они ждут с нетерпением возмездия, всякий француз втайне о нем мечтает, к нему готовится.

Возмездие — «реванш» — любимая тема разговора всякого француза, особенно военного.

Николай Герасимович долго толковал со своими аргусами на эту тему, в то время, когда поезд уносил его все дальше и дальше от Парижа и Мадлен.

Говорили они о французской армии, о ее готовности, вооружении, а особенно о будущем поражении немцев и новом величии Франции.

Разговор этот, впрочем, был интересен только для собеседников Савина, а не для него самого.

В его голове неслись иные мысли.

XXII
Побег

Несмотря на то, что казалось, что Николай Герасимович вел с конвоирующими его французскими жандармами оживленную беседу, в его голове зрел план избежать во что бы то ни стало этого предстоящего ему принудительного путешествия в Россию, этих страшных, носившихся в его воображении этапов родной страны, этого срама, тюрьмы и суда в родном городе.

Один был исход, один был выход — бегство.

Но как?

Бежать было очень трудно, почти невозможно.

На подкуп нечего было и надеяться: французский солдат в высшей степени честен, да и денег у Савина было мало, так как все, что имел, он отдал перед отъездом Мадлен, оставив себе только несколько сот франков на дорогу.

Оставался лишь способ обмануть бдительность конвойных, но как и где?

На станциях они выходили в буфет вместе с ним, а из купе никуда не отлучались.

Единственная возможность бегства была выскочить из окна вагона на ходу поезда, но и этот способ был очень рискован.

Во-первых, потому, что Николай Герасимович мог быть убитым при таком сальто-мортале, а во-вторых, он рисковал быть убитым из револьвера жандарма в то время, когда вылезал из окна вагона.

Смерти он не боялся, он ее видал не раз вблизи, но рисковать жизнью зря было глупо.

При этом если удирать, то надо было удирать так, чтобы не быть арестованным сейчас же и опять доставленным в Россию под еще более строгим караулом.

Для этого необходимо было бежать около границы, чтобы скрыться в другую страну.

Так раздумывал Савин, прервав беседу и притворившись спящим, лежа на скамейке вагона, пока его неугомонные спутники все мечтали о возмездии и строили воздушные планы о разгроме прусской армии и о взятии Эльзаса и Лотарингии.

Поезд в это время приближался к этой самой Лотарингии и к знаменитому городу Седану.

Оставалось всего час пути до прибытия на немецкую границу, где Николая Герасимовича должны были передать немецким властям.

Миновали уже плодородную равнину Шампаньи и прорезывали отроги Вогезов.

Местность становилась гористая, и поезд часто со свистом и шумом погружался во мрак туннелей.

Эти туннели навели Савина на новую мысль, на новую надежду спасения.

Он стал обдумывать план действий.

Предстояло еще проехать через три довольно больших туннеля, в которых поезд находится около полутора минут, погруженный в совершенную темноту.

Благодаря этой-то темноте Николай Герасимович мог легко обмануть бдительность его сторожей, отворить через открытое окно вагона дверцу, запирающуюся снаружи только ручкой, и выскочить таким образом на ходу поезда.

Выскочить он мог только с правой стороны, так как поезд из Франции ходит по левому пути и, выскочив направо, он падал на правый путь и не мог удариться о стену туннеля.

Жандармы продолжали добродушно разговаривать между собой у противоположного окна, так что Савину было очень удобно привести в исполнение блеснувший в его голове план.

Задумано — сделано.

Не успел поезд погрузиться в первый большой туннель, как Николай Герасимович вскочил со скамьи, с замиранием сердца высунулся из окна, отпер дверцу, соскочил на подножку вагона и прыгнул во тьму.

Это было только одно мгновение, но мгновение ужасное.

Он упал на четвереньки, но по инерции был увлечен вперед и перекувыркнулся несколько раз через голову.

Ошеломленный и разбитый, он пролежал некоторое время без чувств, а когда пришел в себя, о поезде не было и помину.

В туннеле царила непроницаемая тьма, тишина и страшная сырость.

Встав на ноги, он почувствовал жгучую боль в правом плече, так что невольно вскрикнул, попробовав было поднять руку. Ощупав плечо, он убедился в переломе ключицы.

Но время было дорого, надо было, не теряя минуты, выходить из туннеля и искать спасения в горах.

Не обратив внимания на перелом руки и благословляя небо, что целы ноги, он довольно быстро пошел из туннеля.

Он страшился сначала, не зная сколько времени он пролежал без чувств, и хорошо понимал, что сопровождавшие его жандармы на первой станции слезли и дали знать всюду по телеграфу о его бегстве и приметах.

Его могли задержать во всяком селении местная полиция или жандармерия.

Поэтому и надо было торопиться.

По туннелю ему пришлось идти около полуверсты до выхода.

Выйдя из него благополучно, он направился в горы, покрытые густым дубняком.

Местность была дикая и лесистая, вполне подходящая для предстоящего ему скитанья.

— Но куда идти, в какую сторону направиться? — возник вопрос в голове Савина.

По его соображению, невдалеке должны были сходиться три границы: германская, люксембургская и бельгийская — ему было необходимо, во что бы ни стало добраться до какого-нибудь из этих государств, где он на время мог быть покоен и гарантирован от преследования.

Франция не могла его требовать, так как там он не имел никаких дел, а Россия далеко, и пока официальное требование придет, он может скрыться. Пока же он находился на французской территории, опасность не миновала, и он каждую минуту может быть арестован. Так думал Николай Герасимович, выйдя из туннеля и остановившись в нерешительности: в какую сторону направить ему свой путь.

Сориентировавшись, он пошел на северо-восток, по направлению к Бельгии.

Эта была, по его мнению, для него самая подходящая страна, с либеральными законами, в которой он не рисковал быть спрошенным, кто он такой и откуда приехал.

Пройдя около трех часов по совершенно глухой лесистой местности, он решился наконец отдохнуть.

Силы начинали изменять ему, а сломанное плечо причиняло ему страшные страдания: онемевшая от боли рука была тяжела, как свинец, и страшно опухла.

Забравшись в самую чащу леса, Савин разыскал себе местечко, где прилег и вскоре заснул.

Сколько времени он проспал, он не помнил, но холод и страшная боль переломанной ключицы его разбудили.

Он открыл глаза.

Кругом был ночной мрак и тишина.

«Этот мрак должен прикрыть меня от всяких случайностей, — мелькнуло в его голове. — Я должен им воспользоваться, чтобы продолжать мой путь».

Он встал с трудом и побрел далее по лесной дорожке, по которой шел раньше.

Пройдя верст пять, он вышел на большую дорогу, которая привела его в какое-то село.

В нем все спало, чему он был очень рад, так как никто его не заметил, и зашагал дальше.

После двух часов ходьбы Николай Герасимович присел отдохнуть.

Ему необходимо было обдумать, куда деваться на день.

Начинало рассветать, и можно было осмотреть местность.

Она была совершенно открытая.

Кругом тянулись обработанные поля и виднелись деревни и села.

Горы и леса, которые так хорошо скрывали его, остались далеко позади и виднелись на горизонте, что доказывало, что он прошел за ночь по крайней мере верст пятнадцать. Местность эта Савину представлялась малоутешительной, хотя он и двинулся далее, держась все одного и того же направления.

Настало раннее утро.

По дороге навстречу Николаю Герасимовичу то и дело сновали прохожие и проезжие.

Это страшно его беспокоило.

В каждом из них он подозревал полицейского или переодетого жандарма.

Ему страшно хотелось спросить у кого-нибудь из них, далеко ли до границы Бельгии, но он не решился, боясь возбудить подозрения.

Наконец навстречу ему попался мальчик лет четырнадцати, который, проходя мимо Савина, вежливо ему поклонился.

Его детское приветливое, открытое лицо внушило Николаю Герасимовичу особенное доверие, и он обратился к нему:

— Скажите, пожалуйста, как называется это село, которое виднеется отсюда?

— Это Бюрзель, — ответил мальчик.

— А далеко отсюда до бельгийской границы?

— Вы в Бельгии, в четырех километрах от французской границы.

Обрадованный Савин, поблагодарив мальчика, направился к селу Бюрзель, где разыскал постоялый двор.

Выпил там кофе, и немного закусив, он попросил указать ему, где он может найти поблизости доктора и больницу.

— Врача здесь нет, — отвечал хозяин, добродушный крестьянин, — недалеко от нас, в монастыре святого Винцента, вы найдете прекрасного доктора-монаха и хороший уход.

— А как далеко этот монастырь? — спросил Николай Герасимович.

— Километрах в пяти, не более, — отвечал хозяин.

— Могу я найти здесь экипаж, чтобы доехать туда?

— У меня есть кабриолет, за два франка я вас довезу туда мигом.

Савин согласился и через каких-нибудь четверть часа уже усаживался в кабриолет, запряженный прекрасною лошадью, которой правил хозяйский сын — парень лет двенадцати.

Монастырь святого Винцента находился на юге Бельгии, в двадцати пяти верстах от Люттиха.

Это старинное иезуитское аббатство было выстроено еще в начале шестнадцатого века, во времена испанского владычества во Фландрии. Оно стоит на берегу Мозеля, окруженное вековым парком.

Не доезжая до ворот монастыря, Николай Герасимович вышел из кабриолета, расплатился с возницей, который повернул лошадь и шагом поехал назад.

Подойдя к воротам монастыря, Савин позвонил. Вышедший привратник спросил его, что ему угодно.

— Я болен и хотел бы видеть врача.

— Ах, это отца Иосифа, пожалуйте, — радушно сказал привратник и повел Николая Герасимовича в келью врача-монаха.

Отец Иосиф встретил его очень ласково, немедленно раздел его и осмотрел сломанное плечо.

— У вас перелом ключицы и вывих плеча, — заметил он. — Придется прежде всего вправить кость на место, а затем уже сделать перевязку перелома… Это будет и трудновато, и больно… Ишь как распухло плечо и какой жар в области перелома… Каким образом это с вами случилось?

— Я катался верхом в окрестностях Монт-Миди, лошадь понесла, я упал и вот видите… Узнав, что здесь, в монастыре, есть искусный хирург, я нанял экипаж и поехал к вам, — говорил Савин.

— Странно, что опухоль развилась так сравнительно быстро, — покачал головой отец Иосиф. — Но не в этом дело… Вам придется с этим повозиться довольно долго.

— Я бы хотел лечиться у вас… Если можно…

— Отчего же нельзя… Я прикажу отвести вам комнату и, пока я вам вправлю плечо и сделаю перевязку, она будет приготовлена.

Отец Иосиф захлопал в ладоши.

Явился послушник, которому он отдал соответствующее приказание, а сам положил Савина на свою кровать и приступил к операции.

Боль была невыносимая, но кость удалось вправить, на перелом же отец Иосиф искусной рукой наложил повязку.

Дав немного отдохнуть пациенту, он сам отвел Николая Герасимовича в приготовленную для него комнату, где и уложил, раздев до белья, в прекрасную постель.

Савин был так утомлен и разбит, что вскоре заснул как убитый.

Проснувшись на другое утро довольно поздно, он застал в своей комнате, сидящим на диване, одного из братий, которому было поручено ему прислуживать во время болезни.

— Ну, как вы себя чувствуете? — спросил он.

— Я прекрасно спал… — отвечал Николай Герасимович.

— Не хотите ли позавтракать?

— Охотно…

В это время явился отец Иосиф, сделал больному новую перевязку и велел ему не вставать с постели, предписав абсолютный покой и компрессы.

Пока другой монах пошел распорядиться о завтраке, Савин разговорился с отцом Иосифом.

Это был человек лет пятидесяти, сухой, высокий и совершенно седой. Бритое лицо его было умно и крайне выразительно.

По его словам, он был родом француз, в молодости был врачом, а потом, по призванию, поступил в орден иезуитов.

Когда последний был изгнан из Франции, он перешел в этот бельгийский монастырь.

В монастыре святого Винцента было налицо всего шестьдесят монахов.

Вся остальная братия была разослана по всему свету в качестве миссионеров.

При монастыре был пансион для молодых людей и небольшая больница, которой заведовал отец Иосиф.

Их беседа была прервана воротившимся другим монахом, принесшим завтрак, который был с аппетитом съеден проголодавшимся Николаем Герасимовичем.

XXIII
В монастыре

Прошла неделя. Николай Герасимович стал заметно поправляться и даже получил разрешение от отца Иосифа вставать и прогуливаться.

Последний был настолько любезен, что в первый раз сам сопровождал его в парк, где на берегу реки они долго беседовали друг с другом.

Отец Иосиф был очень умный и всесторонне образованный человек, так что с ним можно было беседовать по всевозможным вопросам и, кроме того, его речь была так увлекательна, что трудно было от нее оторваться.

Жизнь Савина в монастыре шла довольно однообразно, но он не скучал, будучи постоянно в обществе кого-нибудь из братий.

Все монахи были люди умные и развитые, а некоторые даже с высоким образованием.

Одно не нравилось ему в них — это их фанатические тенденции.

Узнав от него, что он не католик, а православный, они начали развивать перед ним разные теологические вопросы, от них перешли к догматическим, и в конце концов всячески старались его совратить в католицизм, доказывая, что это единственная религия, ведущая к спасению души.

Все остальные религии, по их мнению, были еретическими, отклонившимися от апостольской церкви.

Время шло.

Николай Герасимович окончательно поправился, благодаря искусному лечению отца Иосифа и великолепному монастырскому уходу.

Пора было задуматься об отъезде и разлуке с друзьями-иезуитами.

Савин, действительно, дружески сошелся с ними за шесть недель его пребывания в монастыре.

Надо было обдумать, куда ехать, что предпринять, а главное, как обеспечить себя от розыска правосудия.

Россия и Франция в этом отношении были для него закрыты.

Он решился ехать в Англию.

Зная хорошо английский язык и имея знакомых в Лондоне, он мог найти дело и устроиться, причем не рисковал быть выданным России, так как по английским законам выдача сопряжена с большими затруднениями.

Наконец, он мог взять другое имя, не неся за это никакой ответственности, так как жить под своим именем было все-таки опасно.

Вот этот-то последний вопрос необходимо было всесторонне обсудить.

Какую фамилию и национальность взять, чтобы не возбудить ни малейшего подозрения.

Для этого надо было принять имя какого-нибудь лица, ему хорошо известного, знать его место рождения и семейные отношения, подходящего по летам и той национальности, язык которой он, Савин, знал.

Выбирать таким образом приходилось из русской или французской национальности, так как, владея хорошо этими языками и зная хорошо обе страны, Николай Герасимович легко мог выдать себя за русского или француза.

Но, оставаясь русским, он мог скорее навлечь на себя неприятность и, случись что-нибудь, ему пришлось бы обращаться к русским консулам или в посольство, а там прежде всего спросят его, где его паспорт и откуда он был ему выдан при выезде из России за границу.

Ответить, что паспорт потерян — можно, но дать ложное указание о месте его выдачи — опасно, так как наведут справки и ложь откроется.

Взять чисто французскую фамилию лица, родившегося во Франции, опять было невозможно.

Во Франции метрики ведутся очень аккуратно в городских управлениях, а не в церквях, и малейшая неточность в именах родителей и дне рождения могла обнаружить обман.

Ему нужно было найти такую русско-французскую фамилию и лицо, под чьим именем он мог бы лавировать совершенно безопасно.

Обдумав все это, он вспомнил, что у него в России был только один товарищ и хороший приятель маркиз Сансак де Траверсе, француз, родившийся в России, в Ковенской губернии.

Родители его были французские эмигранты, поселившиеся в России.

Вся его родословная была известна Николаю Герасимовичу, а также место и год его рождения, а главное, он знал, что три года тому назад маркиз выехал из Петербурга за границу с паспортом, выданным ему в Петербурге, а год спустя умер от чахотки в Неаполе, во время пребывания там Савина.

Смерть его не была известна в месте его рождения, и Николай Герасимович в случае надобности мог дать все необходимые указания, не рискуя ничем.

Он стал надеяться даже впоследствии достать выписку из метрических книг места его рождения и на основании этих документов добыть себе французский национальный паспорт, гарантирующий его от всяких случайностей.

Решившись на последнее, Савин написал в Россию брату, прося его выслать ему денег на имя маркиза Георгия Сансак де Траверсе в Скевенинг в Голландию, куда он вознамерился поехать покупаться в море, по совету отца Иосифа, находившего это полезным для лучшего развития заживающей руки и успокоения нервов.

Выбрал он Скевенинг потому, что там его никто не знал, и он мог легко проживать под вымышленным именем.

Скевенинг — морское купанье, отстоящее от Амстердама всего в трех часовом расстоянии по железной дороге, а от Гааги в десяти верстах.

От последнего города ходит в Скевенинг ежечасно паровой трамвай.

Приехав в Гаагу, Савин пошел осматривать столицу Голландии, город малоинтересный и не похожий на столицу. Кроме дворца да великолепного парка в нем нет ничего достопримечательного.

Часов в семь вечера он сел на паровой трамвай и покатил в Скевенинг.

Приехал он туда с полутора гульденами в кармане, так что расплатившись с извозчиком, довезшим его до «Hotel d'Orange», где он остановился, у Николая Герасимовича осталось в кармане тридцать сантимов.

Его это мало беспокоило — он знал, что у него на почте лежат деньги, которые он получит на следующий день.

Гостиница «d'Orange» — первая гостиница в Скевенинге, выстроенная акционерной компанией, на самом берегу моря.

Савину дали комнату в нижнем этаже, с окнами на взморье.

На другое утро Николай Герасимович отправился на почту, чтобы получить деньги, присланные ему на носимое им имя маркиза Сансак де Траверсе.

Придя туда, он передал чиновнику визитную карточку, прося его выдать присланные деньги.

— Позвольте мне документ, удостоверяющий вашу личность, визитная карточка недостаточна... — заявил почтовый чиновник.

— Позвольте, но деньги высланы из Москвы от господина Савина на мое имя в русской валюте — три тысячи рублей, вы видите, что я все это знаю.

— Знаю, но этого недостаточно... Мне необходим документ или по крайней мере удостоверение хозяина гостиницы.

Это была последняя с его стороны уступка. Она подала Николаю Герасимовичу надежду устроить дело. Он вернулся домой и обратился к директору гостиницы, разъяснил ему положение и просил его удостоверить его личность.

— Я вас не знаю и не могу за вас ручаться, — флегматично, но решительно отвечал директор, краснощекий, белобрысый толстяк.

— Но что же мне делать? — воскликнул Савин. — Я без копейки денег!

— Что делать? — невозмутимо отвечал директор. — Очистить номер гостиницы.

— Вы шутник... — мягко сказал Николай Герасимович, хотя у него уже стали зудить руки, но воспоминания о Мазасе заставили его пересилить себя. — Но можете ли вы хотя ссудить мне несколько сот франков, чтобы иметь возможность телеграфировать, чтобы мне выслали деньги, на контору гостиницы или на банкира. В обеспечение я вам оставлю вот эту вещь.

Савин вынул из галстука великолепную жемчужную булавку, стоившую полуторы тысячи франков.

— Здесь не ссудная касса, да и в нашей местности нет такого учреждения, здесь все люди состоятельные... — отвечал директор.

— И бессердечные... — сквозь зубы сказал Николай Герасимович и вышел из конторы гостиницы.

Положение было безвыходное. Он просто не знал, что же ему теперь делать.

Без гроша денег, в незнакомой стране, без бумаг и под чужим именем!

Обдумав, он решил на другой день идти в Гаагу пешком, раздобыть там денег, продав булавку, и уехать в Лондон, куда выписать другие деньги, на имя кого-нибудь из знакомых.

Почти безвыходно просидел Савин целый день в своем номере, шагая по комнате из угла в угол, и думал невеселые думы.

Он вышел только, чтобы купить себе на оставшиеся тридцать сантимов хлеба и колбасы, которыми он питался целый день.

Усталый от целодневной ходьбы и усиленной работы мысли над своим положением, Николай Герасимович заснул довольно крепко, но пробуждение его было далеко не из приятных.

На другой день, в девять часов утра, когда Савин еще был в постели, в номер вошел лакей и доложил, что его желает видеть полицейский комиссар из Гааги.

Николай Герасимович невольно вздрогнул и побледнел, что не ускользнуло от зорких лакейских глаз.

— Потрудитесь встать, я их приглашу… — довольно нахально сказал лакей.

— Проси… — кивнул ему Савин. — Я сейчас оденусь.

XXIV
Под открытым небом

В номер вошел прилично одетый господин, в сюртуке, с орденской ленточкой в петличке.

— Позвольте представиться, центральный комиссар полиции…

— Что вам угодно?

— Почтовая контора заявила мне, что вы вчера желали получить присланную будто бы вам крупную сумму денег, но по требованию почтового чиновника удостоверить вашу личность, сделать это не могли, от господина директора гостиницы я узнал, что при вас нет ни денег, ни надлежащего багажа. Все это мне кажется чрезвычайно странным. Как человек с таким громким титулом, приезжает в чужую страну без бумаг, денег и вещей. Поэтому я просил бы вас съездить со мной сейчас же в Гаагу и легимитироваться во французском посольстве или консульстве.

— Я не знал, что здесь требуется паспорт, — отвечал Николай Герасимович… Ехать легимитироваться в Гаагу я не могу, так как никого не знаю там во французской миссии, но я могу телеграфировать о присылке мне бумаг и денег.

— Нет, я попросил бы вас все-таки поехать со мной в Гаагу… — настаивал комиссар.

— Нет, в Гаагу я с вами не поеду… Повторяю вам, мне не зачем туда ехать… Для определения моей личности это бесполезно, так как там, как и здесь, меня никто не знает… — наотрез отказался Савин.

— В таком случае мне придется истребовать по телеграфу разрешение префекта вас арестовать… — заметил комиссар и удалился из номера.

Думать Николаю Герасимовичу оставалось недолго.

Необходимо было спасаться.

Едва за комиссаром затворилась дверь номера, как Савин запер ее на ключ, быстро оделся в верхнее платье и выпрыгнул из окна. По счастию, этот оригинальный выход из гостиницы не был никем замечен.

Местность была открытая, но по берегу моря были песчаные перевалы из сыпучего песка.

Благодаря этим-то перевалам, Николаю Герасимовичу удалось скрыться.

Пробежав с версту, весь в поту и с замирающим сердцем, он присел за кустом и оглянулся назад.

Гостиница была ему видна, как на ладони.

В ней, видимо, происходила суматоха.

Лакеи во фраках бегали кругом. На берегу моря стояла толпа. Савин понял, что его бегство уже обнаружено и что это ищут его.

Сидеть было опасно, надо было во что бы то ни стало скорее бежать от могущей быть погони.

В экипаже в этой местности проехать было нельзя, но могли найтись люди, которые заметив его, догонят и пешком.

Поэтому Николай Герасимович, пригнувшись как только мог, побежал дальше.

На его счастье попалась ложбинка.

Он вспомнил лисьи привычки и лазы и бросился по этому лазу прочь.

Жара была страшная, пот лил с него ручьями, ноги начинали неметь, он прямо изнемогал от усталости, а между тем об отдыхе нечего было и помышлять. Надо было бежать все дальше и дальше, если он хотел спастись. Отойдя версты четыре, он наконец добрался до лесу.

Это был частый сосняк, росший на песчаном грунте. В нем он мог хорошо спрятаться от всех преследований и наконец немного отдохнуть.

Он буквально упал в чащу.

Пролежав как пласт около двух часов, Савин побрел лесом, по, направлению к Гааге.

Там он надеялся продать свои часы и с этими деньгами добраться до ближайшей вне города станции железной дороги я уехать пока в Бельгию.

Но, к его несчастию, он пришел в Гаагу в воскресенье, когда все магазины и ссудные кассы были заперты и достать денег было невозможно.

Оставаться в Гааге без гроша денег, в таком растрепанном виде было опасно.

Комиссар, наверно, поставил на ноги всю полицию и дал приметы бежавшего из гостиницы «d'Orange».

Огромный рост Николая Герасимовича и борода, отросшая со времени заключения в Мазасе, могли его легко выдать.

Он решился сейчас же уйти из Гааги. Но куда?

Не зная окрестностей, ему трудно было ориентироваться, и он взял на авось какую-то шоссейную дорогу, по которой проложена была конка, и пошел в неизвестном ему направлении.

Спросить он тоже не мог, не умея говорить по-голландски, да и расспросы могли его выдать, а потому он отправился в путь, не сказав ни с кем ни слова.

Голландия страна очень культурная и населенная.

По обе стороны дороги тянулись великолепно обработанные поля, в загородках гуляли прелестные стада коров, и любитель сельского хозяйства мог бы вдосталь налюбоваться образцовым хозяйством Голландии.

Все это было бы интересно при другой обстановке, но путешествовать как Николай Герасимович, удиравший от преследования полиции этой культурной страны, без гроша денег, не зная языка — невесело.

Он уже собирался лечь близ дороги, под каким-нибудь кустом и переночевать под открытым небом, как вдруг впереди стало показываться зарево от городских фонарей.

Было ясно, что он приближался к большому городу.

Собрав все оставшиеся силы, он поплелся дальше и часа через полтора входил в городскую заставу.

Город был большой, чистый, с прямыми улицами.

Магазины были уже закрыты, так как уже был двенадцатый час ночи.

Николай Герасимович решился идти ночевать в гостиницу, надеясь, что с него денег за комнату и ужин сейчас не потребуют, а на следующий день, продав часы, он расплатится и поедет дальше.

Увидев ярко освещенный ресторан в гостинице под вывеской «Золотой Лев», Савин храбро вошел туда, спросил себе комнатку и заказал сытный ужин.

Когда ему накрыли на стол, он прочел на тарелках: «Zum golden Lowe in Leiden» и понял, что он в городе, где была изобретена лейденская банка.

Плотно поужинав, Николай Герасимович отправился к себе в номер, где и заснул богатырским сном, забыв даже думать обо всем случившемся и о его далеко не блестящем положении.

На другой день, встав довольно рано, напившись кофе, он пошел в город разыскивать кассу ссуд.

Оказалось, что в Лейдене целых два ломбарда для заклада движимых имуществ.

Заложив свои часы и палку с серебряным набалдашником за тридцать два франка, Савин вернулся в гостиницу позавтракать и рассчитаться.

С него взяли за номер и еду четырнадцать франков, так что, дав человеку на чай, у него осталось еще семнадцать франков, с которыми он и надеялся доехать в третьем классе до Антверпена.

Узнав, что ехать на пароходе по Рейну до Роттердама, а оттуда на машине будет дешевле и приятнее, он отправился этим путем.

Но дешевизна эта стоила ему дорого.

Дело в том, что если бы он отправился поездом, то приехал бы в Роттердам заблаговременно и застал бы отходящий вечерний поезд в Антверпен, поехав же на пароходе, он приехал в Роттердам в одиннадцать часов ночи, после отхода всех поездов в Бельгию, и ему пришлось ночевать.

Застань он поезд, у него хватило бы тогда денег на билет до Антверпена, который стоил в третьем классе пять с половиною франков, но с этой непредвиденной ночевкой дело становилось скверно.

У Николая Герасимовича оставалось всего шесть франков, а надо было нанять номер и поужинать.

Он с самого утра ничего не ел, и голод давал себя знать.

Он зашел в первую попавшуюся гостиницу, оказавшуюся «Hotel de France», взял маленькую комнатку, записался под скромным именем «Henry Boral, comis-vojager», поужинал и лег спать.

На другое утро, обдумав, что делать, он решился идти продавать булавку, а в случае, если не удастся, заложить ее в ссудной кассе.

Он уже спускался по лестнице гостиницы, как вдруг перед ним, как из земли, вырос швейцар со счетом.

— Потрудитесь заплатить, прежде чем выйти.

Николай Герасимович взглянул на счет — он был не велик, всего девять франков, но для него громаден, так как у него не было таких денег.

— Я иду в банк, чтобы учесть чек… Вернувшись я заплачу, — ответил он швейцару. — Теперь у меня денег нет.

— Извините, я вас не выпущу, с вами не было никакого багажа, и мы ничем не гарантированы, что вы не уйдете совсем… Хозяин, хозяин!

На этот зов швейцара явился краснощекий толстый голландец и, выслушав швейцара, но не желая выслушивать Савина, послал за полицией.

— Кто вы такой? — стал допрашивать Николая Герасимовича явившийся комиссар.

— Я коммивояжер Генрих Бораль, родом из Тулузы, был по торговым делам в Англии, возвращаюсь во Францию. У меня Англии, перед самым моим отъездом украли бумажник с бумагами — паспортом и деньгами… Я думал отсюда послать в Лионский кредит чек к учету и по присылке денег ехать дальше… Теперь же, чтобы заплатить в гостинице, я хотел продать жемчужную булавку.

— Много вашего брата, таких голышей-торгашей приезжает в Голландию, — грубо оборвал его комиссар, — но правительство совсем не желает иметь в стране разных таких бродяг без всяких средств к пропитанию, а потому решило: всякого иностранца, не имеющего при себе ста франков и паспорта, отправлять на границу ближайшего государства по его выбору… Наводить же разные справки, да делать себе неприятности, оно не желает… А потому я тебя арестую… Сколько у тебя денег?

— Шесть франков.

— Давай их сюда, они конфискуются в пользу хозяина гостиницы.

Николая Герасимовича отвели в ближайший участок и заперли в маленькую комнату.

В ней было уже человек семь арестованных иностранцев.

Все это были немецкие рабочие, приехавшие для поиска занятий и работы.

От них Савин узнал, что им всем придется пробыть около суток здесь, так как их отправят на другой день, часов в пять вечера, с поездом, их на Германию, а его на Бельгию, что там, на границе, всех пустят свободно для передачи местным властям.

Так и вышло. На другой день Николая Герасимовича увезли с полицейским служителем до границы.

До самого отъезда Савин страшно боялся, чтобы в нем не узнали русского, бежавшего от французских жандармов, и маркиза де Траверсе — от комиссара в Скевенинге.

Но все обошлось благополучно, и в семь часов вечера он был на бельгийской пограничной станции Эсхен.

Его отпустили на все четыре стороны.

Он был опять свободен, но… без гроша денег.

XXV
К новой жизни

Николай Герасимович вышел из помещения станции и остановился в глубоком раздумье.

Ему припомнились слова полицейского чиновника, только что сказанные на станции Эсхен:

«Вы свободны!»

Но что давала ему эта свобода в настоящую минуту?

Без денег, без вещей, в чужой стране, не зная, куда деваться?

Будь Эсхен город, Савин мог бы достать денег, хотя бы под залог своего пальто, но это была только пограничная станция, где не было ни магазинов, ни тем более ссудных касс.

У него было мелькнула мысль обратиться к начальнику станции и попросить его дать даровой билет до Антверпена, но он тотчас же и отбросил эту мысль.

Рискованно было обращаться, не зная человека.

Николай Герасимович был и без того напуган бессердечностью и грубостью голландцев.

«Он начнет, пожалуй, расспрашивать, ему может показаться что-нибудь подозрительным, он потребует документы, а так как я их представить не могу, то, пожалуй, передаст меня в руки властей, опять пойдет история», — пронеслось в голове Савина.

В его положении беглеца надо было быть очень осторожным и стараться всячески оставаться незамеченным.

Рассудив таким образом, он решился не обращаться ни к кому за помощью, отправиться в Антверпен по образу пешего хождения.

До Антверпена было сорок километров, то есть почти тридцать семь верст, и Николай Герасимович, недолго думая, двинулся в путь.

В Антверпене он никогда не был, его там никто не мог узнать, и потому ему не было опасным оставаться тем же французом маркизом Георгием Сансак де Траверсе.

По приходе в город, он отправился на станцию железной дороги, дождался прихода поезда из Голландии и вместе с прибывшими пассажирами вышел на вокзальный подъезд, сел в омнибус одной из первых гостиниц города и поехал туда.

Приехав в гостиницу, он взял номер, сказав швейцару, что вещи его придут после, так как они оставлены на станции, заказал себе ванну и завтрак, который велел подать в его комнату.

Приняв ванну и сытно позавтракав, он написал на имя Мадлен, в Париж, следующую телеграмму:

«Приехал в Антверпен. Вышли немедленно мне вещи “Hotel du graund laboureur” и деньги по телеграфу. О подробностях случившегося сообщу письменно. “Георгий Сансак де Траверсе”».

Эту телеграмму он приказал немедленно отправить по назначению и одновременно попросил к себе хозяина гостиницы.

Минут через двадцать в номер Савина постучались.

— Войдите! — крикнул он, лежа в постели и расправляя онемевшие от долгой ходьбы члены.

В комнату вошел толстенький, чисто выбритый, лет сорока пяти мужчина.

— Имею честь представиться, хозяин здешней гостиницы, вот квитанция на отправленную вами телеграмму… Вы желали меня видеть… Что вам угодно?..

— Простите, что принимаю вас лежа… — сказал Николай Герасимович, — мне с дороги что-то нездоровится, садитесь пожалуйста.

— Помилуйте, что за церемонии, — заметил хозяин, садясь на стул рядом с кроватью.

— Видите ли, я еду из Англии к себе домой во Францию; багаж отправил прямо из Лондона в Париж, а сам заехал по делу в Голландию, но там со мной случилось несчастие, я потерял деньги, что меня заставило остановиться на несколько дней в Антверпене до получения денег и нужных вещей из Парижа, об этом я и послал депешу, — объяснил Савин.

Хозяин молча наклонил голову в знак того, что понял его.

— Я счел нужным о таковом моем положении вас предупредить и даже предложить вам для обеспечения моих трат в гостинице дать ценную жемчужную булавку… Я не люблю недоразумений.

Хозяин улыбнулся.

— Это совершенно излишне, я хорошо вижу, с кем имею дело и верю вам вполне… Пожалуйста, не беспокойтесь о таких пустяках и спокойно ждите денег… Если же вам понадобится небольшая сумма для покупок, то прямо потребуйте из конторы. По получении денег разочтетесь…

— Я не знаю, как благодарить вас за вашу любезность, но денег мне теперь не нужно… — протянул Савин ему руку.

Хозяин почтительно пожал ее и удалился.

Николай Герасимович был вполне уверен, что Мадлен, если не приедет сама, то, во всяком случае, вышлет ему денег и часть вещей, которые находились у нее, но к его удивлению, прошел день, другой и он не только не получал перевода, но даже ответа на посланную телеграмму.

Это его крайне удивляло и тревожило.

Он терялся в догадках и не мог понять такого молчанья со стороны Мадлен, зная ее любовь и преданность к нему и при этом аккуратность.

На третий день он послал вторично телеграмму с оплаченным ответом, на которую к вечеру того же дня получил ответ, но, увы, это была служебная депеша, уведомлявшая его, что за выездом адресата госпожи де Межен депеша не могла ей быть вручена.

Что было делать?

Писать в Россию и ждать высылки денег было бы очень долго, и Николай Герасимович не мог так долго быть на хлебах из милости

у хозяина гостиницы, да это было и опасно: малейшее подозрение со стороны хозяина или какая-нибудь случайность могли его погубить.

Вот почему, недолго думая, он решил продать свою жемчужную булавку и уехать из Антверпена в Брюссель, чтобы там, в более скромной обстановке, дождаться высылки денег из России.

Но вещь, видимо легкая, была не так легко исполнима, как казалось.

За булавку, заплаченную в Лондоне тысячу шестьсот франков, ему давали только триста, четыреста, не более, так что Савин не знал что делать, если бы его не осенила прекрасная мысль.

Зайдя к одному из лучших ювелиров, у которого еще не был Николай Герасимович, вместо того, чтобы предлагать купить у него жемчужную булавку, как делал в других магазинах, стал рассматривать разные вещи, часы, цепочки, колье.

Отобрав вещей на сумму около пятисот франков, он сказал хозяину.

— Я куплю у вас все это, даже возьму еще кое-что, если вы согласитесь в промене некоторой ненужной мне вещи.

— С удовольствием, я сменяюсь, если вещи хороши и подходящи для меня.

— У меня лишних вещей много, — небрежно кивнул Савин, — но пока я хочу променять вам эту булавку, таких у меня несколько, и они мне порядочно уже надоели… Я вообще не люблю побрякушек, новые же вещи мне нужны для подарков.

— Эту вещь я возьму, — заметил ювелир, рассмотрев действительно прелестную жемчужину, — по сто пятьдесят франков за карат.

— Нет, я не отдам меньше ста восьмидесяти.

— Хорошо, я вам дам сто семьдесят.

— За сто семьдесят пожалуй.

Цена эта была в сущности дешевая, но все же более подходящая к цене булавки и куда выше той, которую давали ему в других магазинах.

Отделив золотую булавку от жемчужины и свесив последнюю, ювелир сказал:

— В ней шесть карат, следовательно, я возьму ее за тысячу двадцать франков.

— Хорошо.

Таким образом, взяв вещей на пятьсот франков, Николай Герасимович получил деньгами пятьсот двадцать франков.

Прощаясь с рассыпавшимся в любезностях ювелиром, Савин обещал ему побывать еще не раз у него и принести ему для промена разные жемчужины и бриллианты.

Этот удавшийся «гешефт» с булавкою выводил Николая Герасимовича из весьма затруднительного положения.

В тот же день он рассчитался с любезным хозяином гостиницы и вечером уехал в Брюссель, дав все же на всякий случай телеграмму Мадлен, так как какое-то внутреннее предчувствие говорило ему, что отъезд ее из Парижа временный.

Приехав в Брюссель, он сначала, до поиска квартиры, остановился в небольшой гостинице, но там прожил недолго.

Распродав променянные вещи и выручив за них около трехсот пятидесяти франков, он немедленно нанял себе меблированную квартиру в семействе на улице Стассер.

Новое жилище было для него очень удобно, оно помещалось в нижнем этаже, состояло из трех меблированных комнат и имело отдельный вход, хотя и находилось в связи с квартирой хозяйки, от которой Савин получал и стол.

За все это он уплатил за месяц вперед сто пятьдесят франков, что было весьма недорого.

Обеспечив таким образом свою жизнь на целый месяц и имея еще немного денег на необходимые расходы, Николай Герасимович написал в Россию брату Михаилу и Мадлен, прося и тут и там ускорить высылку денег, а первого определить также положение его денежных дел.

Определенного плана на будущее он не имел. Все зависело от положения его денежных дел в России.

Недели через две после приезда Савина в Брюссель, однажды утром в его квартиру раздался звонок.

Он сам отворил дверь, и Мадлен де Межен очутилась в его объятиях.

Утешение это было тем более своевременно, что Савин за два дня перед этим получил от брата из России перевод на пять тысяч рублей и категорическое извещение, что эта сумма представляет последний остаток его состояния, так как имения, обремененные закладными, должны поступить в публичную продажу, от которой не покроются даже вторичные закладные.

Для Николая Герасимовича, не знавшего до сих пор хорошо положения своих дел, это был страшный удар — он впал почти в отчаяние.

Теперь забыл все, держа в своих объятиях горячо любимую женщину.

Скромная квартирка Савина оживилась. Хорошенькая женщина внесла в нее радость и свет.

Но кто бы мог подумать, что это красавица Мадлен де Межен, которой завидовали все женщины Парижа и Ниццы, и этот легендарный счастливец Савин, о котором почти ежедневно писали парижские и ниццские газеты, рассказывая о его причудах и сумасшедших тратах, будут год спустя беглецами, скрывающимися в бедной квартирке на улице Стассер в Брюсселе, совершенно разоренными, почти нищими.

Мадлен привезла несколько десятков тысяч франков — крошки от прежнего богатства.

Одно только не изменилось, одно только осталось в той же силе, это их взаимная любовь.

Эта любовь сохранилась и казалось даже, что под ударами несчастий она еще более окрепла.

Нигде они не были так счастливы, как в этой маленькой квартирке на улице Стассер.

Разговорам, прерываемым поцелуями, не виделось конца.

Мадлен рассказала Савину все парижские новости.

За все время своих скитаний он не читал газет, и все было для него ново и интересно.

Оба они не думали о будущем, не думали о том, что эта «новая жизнь» будет продолжаться лишь до тех пор, пока истратится последний франк от печальных остатков их состояния.

Не будем и мы поднимать завесу этой будущей новой жизни нашего «героя конца века».

Она составила предмет особого повествования.

XXVI
На родине

Сенсационное известие парижских газет о выбросившемся на ходу поезда начальнике «русских нигилистов» Савине, с повторениями подробностей об его аресте, суда над ним, выдаче русскому

правительству, а также его якобы преступной политической деятельности в России, было конечно перепечатано русскими газетами, самое самоубийство, как факт, а подробности, как курьез, как образец расходившейся фантазии французских прокуроров и журналистов.

Одним из первых узнал это известие Алексей Александрович Ястребов.

Он в это время редактировал две газеты: «Мгновенье» и один из стариннейших органов русской прессы, замечательный тем, что подписчики не отказались от него, а буквально вымерли. «Мгновенье» была тоже запущенная газетка без подписки и обе они, попав в руки одного издателя, были переданы для поправки Ястребову, на легкое и злое перо которого издатель возлагал большие надежды.

Ему-то и была подана переводчицей, сделанная ею из только что полученных французских газет, работа, в числе которой было и известие о самоубийстве Николая Герасимовича Савина.

— Савин-то приказал долго жить… — сказал он в этот же день за обедом Зиновии Николаевне, у которой, кстати сказать, в описываемое время была уже громадная практика, и супруг ее видел только за обедом, да поздней ночью, когда Алексей Александрович возвращался из редакции.

За обеденным столом на высоких стульчиках сидели дети Ястребовых, старшая девочка лет четырех и мальчик двух лет.

Жили они неизменно в том же доме по Гагаринской улице, переменив лишь квартиру, на более вместительную и удобную.

— Как, он умер? — воскликнула Зиновия Николаевна и побледнела.

— Он покончил с собой…

— Господи, с чего же это?

Ястребов рассказал содержание сообщения одной из французских газет.

— Все это, конечно, вздор, исключая, так сказать, официальную часть… пожар-то ведь, действительно, в Серединском был, и кто знает, не польстился ли он на премию. Дела его, видимо, страшно запутаны, он окончательно разорен, ну и кончил… Ему было два исхода: смерть или преступление. Быть может, последнее он и совершил, а когда надо было расплачиваться, не выдержал, да с поезда и шарахнулся… Прекрасная смерть, вероятно, моментальная.

— Бог с тобой, Леля, — так звала мужа Зиновия Николаевна, — что ты говоришь…

— Что же я такое говорю, матушка, рассуждаю и, кажется, довольно здраво, ну, сама подумай, что такое Савин без богатства?

— Оно так-то так, а все же его жаль… бедный!

— И ничуть не жаль, пожил человек во всю и будет… Еще неизвестно, что лучше, прожить неделю в свое удовольствие, или годы рассчитывая, примеряя, применяясь… И кто из двух таких людей — бедный?

— Перестанем об этом говорить… Ты знаешь, что я с этой твоей теорией не соглашусь, жизнь не ресторан, а мастерская…

— Действительно, перестанем… — заметил Ястребов. — Но каковы французы, раздули дело, возвели в герои, пристегнули политику, чего хочешь, того и просишь… Нет, ты подумай, Савин — политический деятель, приготовлявший динамит и взрывающий на воздух замок предков… Умора!

Зиновия Николаевна, несмотря на то, что была очень опечалена известием о смерти своего друга юности, не могла невольно не улыбнуться.

— Да, это называется хватить через край…

— И хорошо, газеты хоть и полны лганья, но интересного… А у нас попробуй-ка хоть немного сгустить краски, сейчас: «пожалуйте»…

Алексей Александрович был раздражен.

Он за день, за два перед тем получил должное внушение именно за сгущение красок…

Зиновия Николаевна поняла, почему он выразил такое парадоксальное мнение, и ничего не возразила.

— Ты перепечатаешь известие?

— Конечно, хотя с оговорками…

— Завтра значит будет во всех газетах?

— Несомненно…

— Бедный, бедный Савин, царство ему небесное… — произнесла с чувством Зиновия Николаевна.

— Надо будет сообщить Масловым, кажется у них сегодня приемный день… Ты будешь?

— Я думаю освободиться часам к девяти, к десяти…

— А я приеду прямо к ужину, из редакции.

На Масловых и их кружок, среди которых было много знавших Николая Герасимовича, известие о его трагической кончине произвело сильное впечатление.

— Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить, — заметил Михаил Дмитриевич. — Но во что я не верю, это в то, что он поджег дом в Серединском… Этого быть не может, тем более, что он уехал за границу, все же имея средства.

— Ну, какие средства… Ему эта Строева обошлась тысяч в сто, если не более, — вставила Анна Александровна.

— Кстати, Леля рассказывал мне, что она опять в Петербурге… Он ее видел в Аркадии… — заметила Ястребова.

— А где же муж-то; ведь она сошлась с ним и жила в Киеве, как Мише писал Савин.

— Я не знаю, я сама спросила Лелю, была ли она с мужем, а он, вы его знаете, отвечал со смехом, что по внешнему виду около нее мужем и не пахнет…

— Говорил он с ней?

— Нет, она сделала вид, что его не узнала, а быть может, и на самом деле не узнала…

— А-а…

— Все же мне не верится, чтобы Савин был поджигателем, — продолжал развивать свою мысль Маслов, — это на него не похоже; он бесшабашный кутила, человек бесхарактерный, готовый на все из-за бабы, но в душе добрый и хороший…

— А Леля говорил мне еще ранее, что его спасает только богатство: не будь у него денег, он способен на все…

— Ваш Леля может и ошибаться, ведь не папа же он непогрешимый… — пошутил Михаил Дмитриевич.

— Нет, он знает людей и удивительный физиономист… — заступилась за мужа Ястребова.

— Вот влюбленные супруги!

— А вы не влюбленные?

— Мы что, у нас с Аней куча детей, а вы на парочке забастовали…

— У вас и деньжищ куча… — пошутила в свою очередь Зиновия Николаевна.

У Маслова действительно было уже пять человек детей — три сына и две дочери.

Разговор перешел на другие темы, все нет-нет да вспоминали покойного Савина.

Приехавший к ужину Алексей Александрович привез оттиск набранной переводной статьи и прочел ее.

— Я ее несколько сократил для печати, но здесь полный перевод статьи «Gil Blas’a», — заметил он.

В статье рассказывалось все то, что уже известно нашим читателям из предыдущих глав.

Статья была написана длинно, цветисто, но очень интересно.

Она возбудила снова оживленные толки о Савине, которые не прекращались до окончания ужина.

Только поздней ночью гости начали разъезжаться.

Уехал и Ястребов с женой, оставив оттиск статьи у Михаила Дмитриевича.

Тот бережно запер его в свой письменный стол.

— А все-таки жаль беднягу… — сказал он жене.

— Конечно, жаль, очень жаль… — вздохнула Анна Александровна и вдруг заплакала.

— С чего это ты? — удивился Маслов.

— Мне пришла мысль, что, быть может, я виновата в его смерти.

— Каким это образом?

— Если бы я тогда не настроила Гранпа, она, быть может, вышла бы за него замуж, и они были бы счастливы.

— Ну, матушка, можешь успокоиться, — улыбнулся Михаил Дмитриевич. — Жениться на «знаменитой Маргарите Максимилиановне», как величают ее газеты, пожалуй хуже, нежели гибель под колесами железнодорожного поезда… Бедняге Савину все же выпало на долю из двух зол меньшее.

— Ей будет все же тяжело узнать о его смерти… — задумчиво произнесла Маслова, не возразив ничего мужу на его злое сравнение.

— Не думаю… Да и узнает ли она? Читает ли она что-нибудь?

Михаил Дмитриевич в этом случае ошибся.

«Несравненная Гранпа», каковым эпитетом, наряду со «знаменитой», награждали ее газеты, узнала о самоубийстве Николая Герасимовича в тот же, как и Маслов, вечер, или, лучше сказать, ночь. Маргарита Максимилиановна, красота которой сводила с ума и юношей и старцев, за последнее время стояла во главе прекрасной половины «веселящегося Петербурга».

Кумир студентов всех национальностей, на балах которых она продавала шампанское и танцевала национальные танцы, окруженная

поклонниками, среди которых были лица всех профессий и лица без профессий, неоперившиеся юнцы и государственные мужи совета, Гранпа приобрела репутацию неотразимой, или, согласно поправке некоторых злых языков, «неотражающей».

Ни один пикник, ни один ужин не был мыслим без ее благосклонного участия. Она была самой «модной женщиной» Петербурга.

В ту же самую ночь, когда Ястребов привез к Масловым сообщение «Gil Blas'а», в большом кабинете ресторана Кюба происходил «лукулловский пир».

Один из счастливых поклонников «божественной Маргариты Максимилиановны» вспрыскивал роскошным ужином и великолепными винами «блаженство взаимной любви».

Почти все главные представители тогдашнего веселящегося Петербурга были налицо. Мундиры всех фешенебельных полков мешались с фраками от Тедески и бальными нарядами «жриц Терпсихоры». Хозяйкой пира была Гранпа.

Ужин был в самом разгаре.

— Ты знал Савина? — спросил через стол один из гвардейских офицеров своего товарища.

— Знал, а что?

— Сегодня в «Gil Bias'а» рассказывают о его трагической смерти.

— Савин умер? — воскликнула, побледнев, Маргарита Максимилиановна.

— Что с вами? Вы знали его? — спросил передавший эту новость.

— Немного… — оправилась Гранпа. — Что же с ним случилось, вы говорите трагическая смерть?

— Он был арестован за буйство в Париже, отсидел три месяца в Мазасе, а так как в России он обвинялся в поджоге, по требованию русских властей и с согласия французского правительства его препровождали на родину под конвоем, но он, видимо, предпочел смерть суду и выбросился на ходу поезда из вагона, в то время, когда поезд шел по туннелю.

— Это ужасно! — воскликнула, снова побледнев, Маргарита Максимилиановна.

Разговор о Савине сделался общим.

Читавший «Gil Blas» передал подробно содержание статьи французской газеты.

— Многие из присутствовавших мужчин, знавшие Николая Герасимовича, искренно пожалели его.

— Довольно о мертвых, будем мы, живые, веселиться! — воскликнул счастливый поклонник «несравненной».

Но это воззвание не возымело своего действия. Веселие не клеилось.

— Вот что называется начать за здравие, а свести за упокой! — постарался он новой шуткой изменить настроение.

Но и это не помогло.

Ужин окончился вяло, а Маргарита Максимилиановна была задумчива и печальна.

Счастливый поклонник принужден был ограничиться поцелуем руки у подъезда ее квартиры на Торговой улице, куда он проводил ее от Кюба.

С ее стороны это было печальной тризной по ее бывшем женихе.

XXVII
Трагическая развязка

Алексей Александрович Ястребов не ошибся.

Маргарита Николаевна Строева действительно жила уже несколько месяцев в Петербурге и около нее, по образному выражению писателя, «мужем не пахло».

По ее костюму, манерам, тщательно ремонтированному цвету лица, окружавшим ее лицам обоего пола, видно было, что она пустилась в самый омут столичной жизни, составляющий особый мир, нечто вроде подонков «веселящегося Петербурга».

Это мир «кафешантанов» и «увеселительных садов» средней руки ресторанов, посетительницы которых составляют середину между «неотразимыми танцорками», «кокотками» и «уличными феями».

Каким же образом очутилась в этом мирке Маргарита Николаевна Строева, сошедшаяся, судя по последнему письму ее к Савину, со своим несчастным влюбленным в нее мужем, и намеревавшаяся заботой о нем и исполнением долга честной жены искупить свою вину перед Богом и людьми?

История эта, дорогой читатель, очень простая и обыкновенная.

Письмо Маргариты Николаевны было написано совершенно искренно, как искренно было и выраженное в нем намерение.

Потеряв так неожиданно все деньги, полученные ней за проданное Руднево, вместе со скопленными ранее, обманутая де Грене, в которого она верила и даже к которому успела привязаться, она очутилась почти в безвыходном положении и, как это всегда бывает с женщинами, на первых порах совершенно растерялась.

Положение такой женщины можно очень верно определить правовою формулою древнего Рима — она представляет собой «ничью вещь», которая становится собственностью того, который первый ней овладеет.

Этим первым явился следивший настойчиво за ней Эразм Эразмович.

Ведя очень скромную жизнь и употребляя из напитков только самый дешевый — водку, он имел свободные деньги для подкупа горничной своей жены Саши, и эта востроглазая и востроносая, смуглая молодая девушка еженедельно, отпросившись со двора, появлялась в его маленьком номере с докладом.

Строев жил на Тверской, в Долгоруковском переулке, в скромных меблированных комнатах.

В один несчастный для жены и счастливый для мужа день горничная рассказала, что барыня совсем убита горем и уже третий день не осушает глаз.

— Плачет? С чего же это? — заволновался Эразм Эразмович, заерзав на кожаном диване, на котором сидел, между тем как горничная Маргариты Николаевны стояла перед ним, прислонившись к комоду.

— Да ты садись, в ногах правды нету.

Саша опустилась на край стула.

— Француз-то, барынин водахтор, кажись, сбежал совсем.

— Сбежал? — повторил Строев, и все лицо его просияло радостью.

— Тут третьего дня была у нас история, страсти… Барыня кричала, сердилась, ну и он тоже не молчал. Я все подслушала. Говорили про какие-то бумаги, акции. Он, видимо, денежки барынины к рукам прибрал, а теперь говорит, вишь, что они все пропали. Барыня сердилась, грозилась жаловаться, потом просить стала, на коленки даже перед ним, перед французом-то, упала, а он заладил одно, что нет, да нет… «Пошел же вон, негодяй!» — как вскочит с колен барыня. Он шапку взял и наутек… «Вор, подлец!» — крикнула ему барыня

вдогонку, а сама упала в истерике. Я вбежала, а француза и след простыл. С тех пор глаз не кажет, а барыня плачет, обливается…

— Это хорошо, это очень хорошо! — потирал от удовольствия руки Эразм Эразмович.

— Что тут вы нашли хорошего?

— Теперь она опять моя будет, — не слушая Саши, говорил Строев.

— Ужели вы так ее любите, что простите? — спросила она.

— Люблю, конечно, люблю, все прощу, — заволновался между тем Строев.

— И попадаются же таким непутевым такие мужья! — воскликнула Саша.

Эразм Эразмович не слыхал и этого замечания.

— Теперь она опять моя будет! — повторял он. — Вот что, Саша, — торопливо заговорил он, обращаясь к молодой девушке. — Ты барыне скажи исподволь, что я здесь, в Москве, может, она меня видеть пожелает… Скажи, что заходил я не раз, да беспокоить не хотел… Понимаешь?

— Понимаю, Эразм Эразмович, понимаю, вестимо теперь хотят, потому что куда же им теперь деться.

— Так ты поговори и дай мне знать.

— Устрою и мигом до вас добегу.

Эразм Эразмович сунул ей в руку синенькую бумажку.

— А теперь прощенья просим, благодарствуйте, — сказала Саша, — барыня отпустила ненадолго.

Она ушла.

Эразм Эразмович остался в восторженно-радостном настроении духа. Надежда, что он снова увидит свою жену, как-то совершенно преобразила его: за весь вечер он даже не дотронулся до графинчика и лег спать совершенно трезвый, чего с ним за последние годы никогда не бывало.

Прошло томительных три дня, показавшихся Строеву целою вечностью. Саша не появлялась.

Наконец на четвертый день она явилась рано утром.

Эразм Эразмович только встал; за эти три дня воздержанной жизни он чувствовал себя свежо и бодро.

— Ну, что? — бросился он навстречу Саше.

— Пожалуйте… Просят… Позволили… Только уже очень расстроены, — с необычайной поспешностью сказала она. — Я в аптеку бегу… Мне недосуг…

Она так же быстро ушла, как вбежала.

Эразм Эразмович начал переодеваться. Он делал свой туалет с особою тщательностью, точно спешил на первое свидание.

Переодевшись, он отправился и минут через десять робко позвонил у подъезда своей жены.

Она жила недалеко от Долгоруковского переулка, по Большой Никитской.

Не будем описывать нежной сцены свидания супругов. Скажем лишь, что окончилось тем, что они помирились, и Маргарита Николаевна согласилась переехать с мужем в Киев, любимый город Эразма Эразмовича.

Она рада была покинуть Москву, с которой у нее соединилось столько грустных воспоминаний, в Киеве же Маргарита Николаевна никогда не бывала, и там никто не знал ее прошлого, которое в последнее время казалось ей ужасным.

Настроение ее духа было меланхолическое и самобичующее.

В этом-то настроении она написала письмо Николаю Герасимовичу.

Быстро распродала Строева обстановку, отпустила прислугу, даже горничную Сашу, которой от себя счастливый Эразм Эразмович дал пятьдесят рублей. Маргарита Николаевна не хотела, чтобы в ее «новой жизни» было какое-либо лицо, напоминавшее ей о прошедшем.

Она решила серьезно и убежденно зажить именно этой новою жизнью, сделаться женой этого «ангела-мужа», как называла она Эразма Эразмовича.

С таким намерением она уехала из Москвы и вскоре устроилась в Киеве в маленькой скромной квартире.

Это были добрые намерения, а ими, как известно, вымощена дорога в ад.

Около двух месяцев выдержала она эту новую для нее жизнь скромной супруги и хозяйки, но уже к концу этого срока ее стала снедать такая тоска, что она положительно не знала, куда деваться.

Напрасно Эразм Эразмович, чутким сердцем понявший ее, старался доставлять ей развлечения, доставал билеты в театр и концерты. Вид собравшейся публики еще более раздражал Строеву: она

вспоминала уже почти с любовью свое прошлое, когда она жила в роскоши, окруженная поклонниками, обращая на себя всеобщее внимание, и сравнивала его с ее настоящим положением.

Она донашивала свои хорошие, но уже вышедшие из моды платья, она должна была думать об убогом хозяйстве завтрашнего дня.

Это причиняло ей страшные страдания. Она нервничала, капризничала, расстраивалась из-за всякого пустяка и срывала досаду на муже.

Эразм Эразмович терпеливо и молча сносил эти выходки жены, эти все чаще и чаще повторявшиеся домашние сцены.

Эта безответность мужчины, как всегда бывает, действовала на женщину подобно подливанию масла в огонь.

Маргарита Николаевна кончила тем, что стала ненавидеть этого вахлака, этого тихоню — эпитеты, которые она давала Эразму Эразмовичу.

Дамского общества Строева не выносила.

У них бывали только мужчины. В своем старанье развлечь жену, Эразм Эразмович старался привлечь к себе в дом интересных лиц, местных литераторов, артистов, словом, «умных людей».

«Маргаритка у меня умная, она таких любит!» — мысленно говорил он себе, и это было для него законом.

Среди этих знакомых в гостиной Строевых появился столичный гастролер, артист петербургских театров, в некотором роде знаменитость на ролях трагиков — некто Албанов.

Красивый, видный мужчина, обладавший недюжинным талантом, он увлекся Маргаритой Николаевной и первый вымолвил для нее роковое слово: «на сцену».

— Вы, с вашей красотой, с вашим чарующим голосом, да разве вы созданы, чтобы похоронить себя в этой серенькой обстановке, у пресловутого домашнего очага. Оставьте это тупицам и бездарностям. Вы молоды, эффектны, вы покорите сердца, вы будете через какой-нибудь месяц, много два, знаменитостью, имя ваше прогремит по России… что я говорю… по Европе.

Так сладко пел столичный лицедей, затрагивая самые нежные струны души молодой женщины.

Она сочла это откровением.

«Действительно, о чем она до сих пор думала — ей именно надо идти на сцену, у нее все данные для успеха, у нее есть и талант, она будет работать, особенно если под его руководством», — неслось в ее уме.

Его красивая, видная фигура «настоящего мужчины» — как мысленно сказала себе Строева, сравнив Албанова со своим мизерным мужем, довершила остальное.

Артист понял, что рыбка клюет, выждал время и умел подсечь вовремя.

Рыбка оказалось на крючке.

Приманкой служило вначале содействие и руководство, а в будущем восторг толпы и слава.

Гастроли «знаменитости» окончились, он уехал в Петербург, и вместе с ним бежала из дома мужа и Маргарита Николаевна, оставив Эразму Эразмовичу лаконичную записку.

«Я уезжаю навсегда. Прощай. Жить с тобой я не могу, не в силах. Я хотела быть тебе верной женой, не смогла. Забудь меня. Я тебя не стою. Маргарита».

Впечатление, произведенное этой запиской на Эразма Эразмовича, было потрясающее.

В течение нескольких дней он был в каком-то столбняке, их которого не могли его вывести самые знаменитые киевские врачи, затем стал заговариваться и теми же врачами был отправлен в больницу для умалишенных.

Там он пробыл около полугода, и был признан выздоровевшим и выписан.

В нем осталась только какая-то странная тихая грусть и сосредоточенность.

— Поезжайте куда-нибудь и, главное, развлекайтесь... — посоветовал врач.

Он поехал в Петербург, где — он знал это — находилась его жена.

Маргарита Николаевна между тем, приехав с Албановым в Петербург, поселилась, по указанию последнего, в «Пале-Рояле» и стала под его руководством изучать роли.

Изучение это, впрочем, продолжалось недолго. Захваченные ней ее собственные деньги — три тысячи рублей, вырученные ней

от продажи обстановки московской квартиры, частью были прожиты, а частью перешли на неотложные надобности «знаменитого артиста».

Когда же была истрачена последняя сотня, Албанов куда-то исчез. По справкам, наведенным Строевой, оказалось, что он снова поехал на гастроли в провинцию.

Эта измена, как-то странно, совсем не удивила Маргариту Николаевну, она точно была к ней подготовлена.

На сцену она, таким образом, не попала, а переселилась из «Пале-Рояля» на Екатерининский канал, сняв комнату со столом от хозяйки, у которой была еще жилица — молоденькая немочка из Риги, Амалия.

Удобство такой квартиры было то, что хозяйка верила своим жилицам и не требовала за комнату и стол вперед, они могли ей платить понемногу. Цена, впрочем, при этом была несколько возвышена.

Вдвоем с Амалией Маргарита Николаевна стала посещать кафешантаны и клубные маскарады, а летом загородные сады.

Карьера ее, таким образом, определилась и положение ее в столице было даже некоторым образом узаконено.

Ко времени приезда в Петербург Эразма Эразмовича, она даже успела свыкнуться со своим положением и относительно была весела и довольна.

Своих старых знакомых она старалась избегать и действительно сделала вид, что не узнала Ястребова, наметанный взгляд которого сразу определил ее настоящее социальное положение.

Эразм Эразмович Строев по приезде в Петербург навел, конечно, тотчас же самые точные справки о своей супруге и вскоре узнал роковую истину.

Был поздний июньский вечер.

На открытой сцене Крестовского сада пела каким-то пропитым голосом скабрезную шансонетку девочка подросток, с худеньким, нарумяненным миловидным личиком и с подведенными глазками, сохранившими еще остатки детского наивного выражения, и вызывала этими возмутительными контрастами гоготанье дикого зверя, именуемого толпой.

По саду, мимо буфетной застрады, шла одетая в кричащий модный костюм и огромную шляпу Маргарита Николаевна.

К ней подбежал татарин-лакей и таинственно прошептал:

— Вас просят в верхний кабинет.

— Кто?

— Незнакомый барин. На вас мне указал, просит. Должнобогатый, мне трехрублевку сунул. Пожалуйте.

Маргарита Николаевна пошла через эстраду в помещение буфета и, видимо, привычной дорогой поднялась за шедшим впереди лакеем наверх.

Лакей распахнул дверь одного из кабинетов и, впустив Строеву, затворил дверь и отправился вниз.

Маргарита Николаевна вошла с обычной деланно-приветливой улыбкой. За столом, опустив голову на сложенные на столе руки, сидел мужчина. Она подошла ближе, он поднял голову и встал. Маргарита Николаевна окаменела от неожиданности. Перед ней был ее муж.

Не успела она сделать движение, чтобы броситься назад, как он выхватил из кармана револьвер, подскочил к ней и почти в упор выстрелил ей в грудь. Она вскрикнула и упала навзничь.

Эразм Эразмович приставил револьвер к своей груди, снова выстрелил и как-то грузно не упал, а сел на пол, упершись спиною о стоявшее кресло.

На выстрелы сбежались люди. Явились полиция и врач из публики.

Строева была мертва — пуля попала, видимо, прямо в сердце, и смерть была моментальна. Эразм Эразмович же оказался только ранен, пуля скользнула по ребрам, не задев внутренностей. Вероятно, его рука дрогнула при втором выстреле.

Ему наскоро сделали перевязку и отвезли в больницу.

Через месяц он выздоровел, и его перевели в дом предварительного заключения, а оттуда в больницу святого Николая, для испытания в умственных способностях, вопрос о которых вытекал из данных обстоятельно произведенного следствия и был поднят самим прокурорским надзором.

Результатом испытания было признание его сумасшедшим в распорядительном заседании окружного суда. Его не осудили и оставили на излечение в больнице, где вскоре он умер от быстро развившейся чахотки.

Правосудие неба, таким образом, оказалось против понесения им наказания по приговору правосудия земли.

Приложение 3
Роман Добрый. Претендент на болгарский престол. (Корнет Савин)

Граф Тулуз де Лотрек в Константинополе

Прежде чем начать повествование о замечательном деле «претендентства корнета Савина на болгарский престол», деле, в котором гениальный авантюрист столкнулся с гениальным сыщиком и где оправдалась поговорка «нашла коса на камень», скажем несколько слов о корнете Савине.

По своему общественному положению, по дерзкой отваге, по изумительному блеску выполнения своих смелых «похождений», по полету фантазии из всех русских авантюристов, бесспорно, первое место принадлежит корнету Савину.

Свою славу он распространил далеко за пределы своего отечества, прогремев за границей.

Блестящий офицер, молодой, красивый, ловкий, с ума сводивший женщин одним взглядом, лихой танцор, безукоризненно владеющий несколькими иностранными языками, он «свихнулся» с прямой дороги и покатился по наклонной плоскости.

Пытаясь сначала стоять только на грани гражданского и уголовного права, он перешагнул в область уголовщины.

Тут и началось! Одна безумно-смелая авантюра следовала за другой, и скоро послужной список экс-корнета обогатился массой громких деяний, не только изумлявших, но даже и восхищавших наше и заграничное общество «чистотой работы» и, я бы сказал, аристократичностью ее.

Если можно вообще в бездне человеческого падения найти красоту, то этой уголовно-преступной красотой обладал в полной мере Савин. Поистине, он был велик и в падении!

Но едва ли не самым замечательным в характере этой недюжинной личности являлась его *уверенность* в своем самозванстве.

Он мало-помалу так претворял в себе свою ложь, так свыкался с ней, что потом не на шутку начинал верить в нее, не отделяя вымысла от правды.

Это любопытное явление в области гипноза, самообмана было отмечено многими прозорливцами духа человеческого.

Так, у Гоголя есть замечание, что в знаменитой сцене вранья перед городничим и его присными Хлестаков *искренно* верит в ту ерунду, которую несет о «лабардан» и тридцати тысячах курьеров.

У Пушкина растрига Гришка Отрепьев увлекается до того, что опять-таки *искренно* считает себя русским царевичем Димитрием.

Были моменты, когда Емелька Пугачев, «со рваными ноздрями», в состоянии длительного «аффекта лжи», говорил сам себе, что он — подлинный император Петр Федорович…

Константинополь — гордая столица Блистательный Порты, был залит горячими, яркими лучами солнца. Как красив, дивно хорош был он, купаясь в этом море света, со своими высокими, белоснежными минаретами, со своим очаровательным видом на Босфор.

В роскошном отеле нарядного европейского квартала, где помещаются иностранные посольства, консульства, вот уже несколько дней проживал молодой богатый знатный граф Тулуз де Лотрек со своей супругой.

До сих пор существовал закон, что жены приобретают новые фамилии и титулы по мужу, а вот граф Тулуз де Лотрек взял да и изменил этот старый обычай, ибо… сделался графом «по жене».

— Как?! — удивитесь вы. — Да разве это возможно?

— Возможно, — отвечу я вам, — так как граф Тулуз де Лотрек был не кто иной, как экс-корнет Савин. А Савину, как известно, никакие законы не писаны, он сам создавал их.

Сманив безумно влюбившуюся в него графиню Тулуз де Лотрек с ее миллионами, он решил, что, будучи теперь ее «супругом», он имеет право не только на ее деньги, бриллианты, но и на ее титул.

По гостиной отельного отделения, убранной с комфортом и изысканной роскошью, нервно ходила графиня, молодая, очень красивая женщина.

«Граф», наш знаменитый корнет Савин, сидел в кресле, заложив ногу за ногу. Одной рукой поигрывая своим страшным бичом (этот бич был из какой-то особенной кожи и с ним Савин не расставался почти никогда), другой держа сигару, он невозмутимо спокойно глядел на свою взволнованную супругу.

Ирония, насмешка сверкали во взгляде его удивительных глаз.

— Итак, мы взволнованы?

— Я попросила бы тебя обойтись без насмешек! — резко выкрикнула графиня.

— Ого!

— Да, да! Ты должен знать причину моего волнения.

— А именно? — прищурился Савин.

— Я совершенно не понимаю, зачем, для чего мы торчим здесь, в этом отвратительном Константинополе. Вместо того, чтобы пребывать теперь на каком-нибудь курорте, мы вдыхаем отравленный пылью воздух, жаримся, как в пекле в этой раскаленной духоте.

Графиня нервно комкала кружевной платок.

— Ах, вот в чем дело? — усмехнулся Савин.

— А ты этого не знал? — вспыхнула графиня.

— Знал, слышал, мой ангел, но я уже говорил тебе, что мне необходимо пробыть здесь еще несколько дней.

— Да зачем? Зачем?

— Это мое дело. Я не обязан отдавать отчета.

— В таком случае и я не обязана исполнять всех твоих прихотей. Я уеду одна.

— Что?

Медленно, точно тигр, собирающийся к прыжку, поднялся с кресла Савин…

Голова гордо откинулась назад, в глазах мелькнули огоньки гнева.

— Что? — повторил он, подходя к графине. — Это с каких же пор ты решила не подчиняться моей воле?

Та под этим пристальным, властным взглядом потерялась, как-то съежилась, пригнулась. Точно птичка под взглядом удава.

Любуясь ее смущением, довольный своей победой, Савин начал уже другим, ласково-вкрадчивым голосом:

— Ах, женщины, женщины, все-то вы на один покрой! Ну, давай мириться, Лили.

Он обнял ее и властно притянул к себе. Она, с глазами полными слез, но и восхищения, прижалась к его широкой, сильной груди своей красивой головкой.

— Слушай же, моя капризница, слушай внимательно, что я буду тебе говорить. Скажи: ты хотела бы сделаться княгиней?

Графиня удивленно посмотрела на своего супруга.

— Что такое? Княгиней? С какой стати? Какой княгиней?

Савин тихо рассмеялся.

— Ты думаешь, что графский титул не стоит менять на княжеский? Я был бы согласен с тобой, если бы тот княжеский титул,

который я хочу предложить тебе, был обыкновенный, заурядный… Но дело в том, что моя корона будет поважнее простых графских и княжеских.

— Я тебя не понимаю…

— Сейчас поймешь. Ты должна войти вместе со мной на престол.

— Что? — даже отшатнулась от Савина-«графа» настоящая графиня.

— Да, на престол.

— Ты с ума сошел? На какой престол?

Несмотря на то, что графине не были тайной гениальные проделки ее супруга, который с циничной откровенностью посвятил ее в них, зная, что она все равно пойдет за ним в огонь и воду, несмотря на это, она была поражена, как никогда.

«Он смеется… Он шутит…» — пронеслось в ее головке.

— Ты спрашиваешь: на какой престол? Изволь, я тебе отвечу: на болгарский.

— Это… это шутка?

— Нимало. Знай, что я — претендент на болгарский престол.

— Ты?!

— Я.

— По какому праву? При чем ты и Болгарское княжество?

— Скажи, Лили, ты католичка?

— Да.

— Историю папства хорошо знаешь?

— Знаю.

— Так вот скажи, как мог пастух сделаться папой? А такой случай был. Итак, если пастух мог занять папский престол, то почему русский корнет, сделавшись графом Тулуз де Лотрек, не может взойти на престол Болгарского княжества? Ведь ты пойми: в настоящее время престол этот свободен. А раз он свободен, отчего мне его не занять? Черт возьми, это было бы чрезвычайно глупо отказаться от такого удобного и приятного помещения!

Графиня глядела на своего самозваного супруга широко раскрытыми глазами. А Савина словно волна какая-то подхватила. Он преобразился, горел, пылал жаром своей необузданной фантазии.

— О, Лили, моя верная подруга, какая блестящая, славная будущность открывается нам! Я — коронованный князь болгарского народа, я — в дружбе и сношениях с венценосцами всего мира.

— Но… как же это все устроится? — лепетала в величайшем смущении графиня.

— Все, все устроится! Вот для этого-то я и нахожусь в Константинополе. Теперь ты понимаешь? Теперь ты согласна ждать и задыхаться в жаре? Пойми, что мы отсюда пойдем прямо в Болгарию.

И многое еще говорил «будущий» болгарский князь, а пока — наглый самозванец, авантюрист величайшей марки.

Политические эмигранты. Тайное совещание

В начале раннего вечера Савин — граф Тулуз де Лотрек — вышел из своего фешенебельного отеля и как-то тайком, крадучись, стараясь не обращать на себя ничьего внимания, направился пешком в один из отдаленных, грязных, вонючих кварталов «великолепной» столицы Оттоманской империи.

Жар еще не спал. Тучи пыли стояли над узкими улицами, кишевшими столичной рванью и массой бродячих голодных собак, похожих на шакалов, тощих, озлобленных.

Нарядный, сверкающий Константинополь остался там, позади.

Тут был тот главный Константинополь, который олицетворял собою всю неряшливость, всю грязь Востока.

«Экие свиньи!» — мысленно ругался претендент на болгарский престол, попадая в кучи отвратительных экскрементов.

Подойдя к небольшому домику, ставни которого были наглухо закрыты, он тихо постучал в одно из окон и приблизился к двери.

— Кто там? — послышался вопрос.

— Это я, Цанков, отворяйте.

Дверь быстро распахнулась, впустила гениального авантюриста и так же быстро захлопнулась за ним.

— А наконец-то вы, ваше высочество! — с улыбкой проговорил высокий черномазый субъект, одетый в сюртук с типичным видом болгарина.

— Не слишком ли рано, — «ваше высочество»? Пока еще только ваше сиятельство, — рассмеялся Савин, крепко пожимая руку болгарина.

— Пустяки. Для такого умницы, как вы, сроков не существует.

Болгарин говорил довольно чисто и правильно по-русски.

— Все в сборе, Цанков?

— Все.

— А Хильми-паша?

— И он прибыл, Савин.

— Да ну?

В голосе экс-корнета послышалась радость.

— А все-таки вы, Цанков, лучше величайте меня графом де Лотреком. Знаете, это звучит более внушительно.

Тихий смех болгарина смешался с таким же смехом «графа».

— Слушаю-с, ваше высочество!

В комнате, небольшой и тонувшей в полумраке, благодаря закрытым ставням, на креслах и широком диване сидело несколько человек. Большинство из них были болгары, за исключением двух лиц, принадлежавших к сынам правоверного пророка Магомета.

— Простите великодушно, господа, что я запоздал! — весело, непринужденно проговорил Савин по-французски, здороваясь со всеми и особенно почтительно с Хильми-пашой.

— Ваше превосходительство, как мне благодарить вас за ваше любезное посещение? — склонился он перед ним.

Тот благосклонно улыбался.

— Ничего… Я так сочувствую, граф, этому делу, — ответил Хильми-паша.

— Позвольте мне, ваше превосходительство, в знак моей глубокой благодарности предложить вам на память о сегодняшнем вечере эту безделушку.

Савин вынул из кармана роскошный футляр и, раскрыв его, подал турецкому сановнику.

На голубом бархате, переливаясь всеми цветами радуги, сверкал драгоценный перстень с огромным бриллиантом-солитером.

— О! — вырвалось у всех.

Алчный взгляд паши загорелся восторгом.

— Ах, граф, какая прелесть! Но к чему это? Мне совестно принимать такие ценные сувениры.

— О, это такие пустяки, ваше превосходительство. Эта безделушка — одна из моих фамильных, — небрежно, с апломбом бросил великий авантюрист. — А это позвольте вручить вам.

И Савин протянул другой футляр младшему турку.

— Чисто работает, — прошептал болгарин Цанков своим соотечественникам.

Те взглядами подтвердили это.

— Ну, господа, мы можем приступить к совещанию, — пригласил всех Цанков.

И когда все заняли места за круглым столом, продажный турецкий сановник начал первым.

— Я должен сообщить вам, господа, что по полученным мною тайным сведениям русское посольство что-то разнюхало и, кажется, послало донесение. Поэтому я советовал бы вам торопиться.

Граф Тулуз де Лотрек, претендент на болгарский престол, чуть-чуть побледнел.

— Оно узнало, что я здесь? — спросил он.

— Да.

Савин-«граф» рассмеялся.

— О, ваше превосходительство, я этого не боюсь. Меня взять не так-то легко.

— Его снимут только с болгарского престола! — стукнул рукой по столу один из присутствующих болгар. — Верно, братушки?

— Верно! Верно! — прокатилось по комнате дико нелепого, преступного совещания.

— Мы — политические эмигранты Болгарии. Мы должны были бежать, спасаясь от дикого произвола и зверств временного регентства, самовольно захватившего власть в свои руки. Но, покинув отечество, мы оставили там массу верных друзей-приверженцев. Они за нас, они за общее дело. Трон Болгарии теперь свободен. Мы только должны распорядиться им!

— А много ли вас, господа? — осторожно, мягко, дипломатично спросил турецкий сановник.

— Нас-то много ли? — вмешался Цанков. — Вполне достаточно для того, чтобы сломить регентство и одержать полную победу. Еще на днях я получил от своих известие, что большинство войск, духовенства, народа совершенно готовы примкнуть к нам.

Савин сидел и слушал с замиранием сердца.

«Вот оно… вот оно, это недосягаемое, волшебное! Не сон, а явь, явь!» — так все и пело, ликовало в нем.

— И мы, — продолжал оратор-заговорщик, — после зрелого обсуждения пришли к решению, что лучшего кандидата на болгарский престол, как граф Тулуз де Лотрек, не может быть.

В эту секунду поднялся самозваный граф. Он был поистине великолепен, этот мошенник высокой марки!

— Господа! — начал он таким властным, уверенным тоном, точно уже чувствовал себя на ступенях болгарского трона. — Господа! Благодарю вас за то высокое доверие, которым вам было угодно почтить меня. Если судьбе будет угодно, чтобы я занял болгарский престол, даю клятвенное обещание заботиться о судьбе и благе моего народа.

Хитрый турецкий сановник еле заметно усмехался, любуясь блеском драгоценного перстня, уже одетого на палец.

— Я, — продолжал искренно вдохновляться Савин, — я уже наметил состав кабинета министров. Говорить ли вам, господа, кто эти избранные? Назвать ли их имена?

Молчание. И опять взволнованный, вкрадчивый голос «будущего болгарского князя»:

— Вы, Цанков, конечно, не откажетесь принять портфель первого министра?

— Если будет угодно вашему высочеству, — с низким поклоном ответил душа заговора.

— Вы, Малевич, — портфель военного министра?

— С радостью, ваше высочество!

— Вам я могу предложить, дорогой Маравелов, пост министра финансов…

И, называя всех поименно, «его высочество» распределял портфели, посты.

— Господа! Я, как вам известно, граф Тулуз де Лотрек. Но не забывайте, что я — славянин, русский, в котором бьется горячее сердце.

И он повернулся к турецкому сановнику.

— Болгария меня должна принять, ваше превосходительство… Но, став ее князем, я буду должником Блистательной Порты, прошу вас верить этому. Вы меня понимаете?

— О, как нельзя лучше, ваше… ваше сиятельство! — запнулся паша.

— Я весь полон желанием поставить Болгарию на иной путь…

— Так! Так! — послышались голоса политических эмигрантов-заговорщиков.

— И я… я это сделаю! — закончил Савин.

— Теперь — «черная работа», ваше высочество… Необходимо выяснить детали и план.

— Да, да, это важно.

И тут, в этой темной комнате, началось таинственное совещание о деталях выполнения фантастического плана, равного которому — по безумной дерзости и утопичности — едва ли знала любая история любых стран.

«Прямо уже в полной форме»… — «Две казармы будут приготовлены»… — «Амнистия, самая широкая»…

Глаза гениального авантюриста сверкали торжеством…

«Важнейшее» поручение Путилину

Около четырех часов дня в служебном кабинете Путилина появилась фигура министерского курьера.

— От его сиятельства вашему превосходительству в собственные руки! — протянул он Путилину пакет.

Путилин вскрыл его, прочел и сказал курьеру:

— Ступай. Я сейчас еду.

В письме от важного сановника графа Т. содержалась просьба о «немедленном прибытии» Путилина.

— Что-нибудь стряслось необыкновенное, — бормотал великий сыщик.

— …Дело необычайной важности, любезный Иван Дмитриевич! — взволнованно проговорил граф Т., встречая Путилина.

— Что случилось, ваше сиятельство?

— А вот садитесь, пожалуйста, мы побеседуем. — Сановник нервно закурил сигару.

— Вы, конечно, Иван Дмитриевич, Савина знаете?

— Знаю.

— Так вот-с, чтоб черт его побрал, нам необходимо его изловить. Чувствуете? Не-об-хо-ди-мо!

Путилин молча наклонил голову.

— Знаете ли вы, где он теперь находится?

— Нет. Я знаю только, что он удрал за границу и что его в России нет.

— Так извольте, я вам скажу: он в Константинополе.

— Ого! Вот куда попал, — усмехнулся Путилин.

— И вы… вы не можете себе представить, что он там делает!

Волнение графа Т. было так велико, что он даже сигару выронил из пальцев.

— Что же именно?

— Он… он хочет сесть на какой-то престол! — выпалил сановник.

Путилин (как он потом мне рассказывал) еле удержался от смеха, настолько трагична была физиономия графа.

— Сесть на престол? Что же, он собирается совершить кощунство? — невозмутимо спросил Путилин.

— А нет, вы меня плохо поняли! — с досадой вырвалась у графа. — Не на церковный сесть престол, а, так сказать, взойти на трон.

— Болгарский? — быстро задал вопрос Путилин.

— А вы… вы откуда же это знаете? — удивленно и растерянно спросил сановник.

— Положительно — я этого не знаю, ваше сиятельство, но ввиду того, что в настоящее время есть только один свободный трон, а именно болгарский, я и полагаю, что наш удалой экс-корнет точит свои зубы именно на него.

— Вы — удивительный человек, честное слово! — пробормотал всесильный человек, глядя на Путилина с искренним восхищением.

— О, вы преувеличиваете, ваше сиятельство!

— Да, вы не ошиблись. Вчера мы получили секретное донесение от посольской миссии. В нем говорится, что один турок выдал присутствие в Константинополе русского «эмигранта», составившего заговор с политическими преступниками Болгарии о попытке взойти на болгарский престол.

— И этот доносчик назвал имя…

— Савина.

— А не другое имя? Другого имени нет в донесении? — спросил Путилин.

— Нет. Позвольте, какое же другое имя вы ожидали встретить в донесении?

Сановник даже привстал.

— Графа Тулуз де Лотрек, ваше сиятельство.

— Как? Стало быть…

— Да, да… Я ведь слежу за этим господином, я только не знал о его прибытии в Константинополь и о его новой авантюре… Так чем могу служить вашему сиятельству?

— И вы… вы спрашиваете?

— Стало быть, ехать туда? Но у меня здесь есть несколько важных дел…

— А, это подождет! Поручите кому-нибудь. Вы ведь, дорогой Иван Дмитриевич, сами понимаете, насколько важно изловить этого молодчика. Ведь скандал-с произойдет, срам на всю Европу! Бывший русский офицер, а ныне — мошенник — и вдруг трон… Безумная политическая авантюра… Черт знает, что такое!

Граф Т. схватился за голову.

— Нет, как хотите, а вы нам его поймайте. Вы ведь в этом отношении — гений, Иван Дмитриевич. Но только должен вас предупредить вот о чем: его надо изловить на русской территории.

— Непременно на русской?

— Обязательно. «Брать» его, если только это вообще удастся, ибо он, как вам известно, плут гениальный, на чужой территории крайне нежелательно, а то и прямо невозможно: придется завести дипломатические переговоры, поднять целую кутерьму. Другое дело — у нас. Тут мы его сцапаем великолепно.

Путилин сидел, задумавшись.

— Помилуй бог, нелегко… нелегко, — вырвалось у него.

Граф Т. подошел к нему и крепко пожал руку.

— Постарайтесь, Иван Дмитриевич!

— Попытаюсь, ваше сиятельство, хотя должен признаться, что задачу вы задали мне нелегкую…

Игра двух гениальных игроков началась

В Константинополе стояла адская жара. Дышать было трудно, почти нечем. Раскаленный воздух золотистым туманом колыхался над знаменитым городом.

К подъезду роскошной «Европейской» гостиницы, той самой, где пребывал граф Тулуз де Лотрек, подъехал фаэтон, из которого вышел седой джентльмен-англичанин.

— Хорошее отделение найдется? — обратился он по-французски к выскочившим швейцару и комиссионерам отеля.

— Какое угодно, господин лорд!

«Недурно! У этих господ наметанный взгляд», — усмехнулся лорд.

Этот лорд был Путилин.

Он только что прибыл в гордую столицу Блистательной Порты и чувствовал себя несколько утомленным после длинного пути.

— Скажите, граф Тулуз де Лотрек у вас? — быстро спросил он лакея, несшего за ним его чемодан.

— Нет… Граф и графиня изволили выбыть.

— Давно?

— Вчера.

На секунду лицо Путилина нахмурилось, но почти сейчас же осветилось улыбкой.

— А много у вас теперь стоит знатных посетителей?

— Есть несколько.

— Кто прибыл вчера, например?

— Маркиз да Коста дель Ривольто.

— С супругой.

— Да-с, — несколько удивленно ответил лакей.

Вдруг посередине коридора, почти нос к носу Путилин столкнулся с элегантным господином!..

Черные, высоко поднятые усы, эспаньолка, загорелый цвет лица… Путилин пристально посмотрел на незнакомца, тот на него, и… оба остановились, как вкопанные.

— Господин маркиз да Коста дель Ривольта? Великий боже, как трудно выговаривать вашу фамилию! Мы… мы, кажется, немного знакомы?

Маркиз отшатнулся.

Смертельно побледнев, он растерянно пробормотал:

— Простите, я не имею чести вас знать.

— Будто бы? Вы запамятовали, дорогой маркиз… Я — граф Тулуз де Лотрек.

Теперь настала очередь и лакею выпучить в удивлении глаза.

Тихое проклятие слетело с уст маркиза.

Но… надо отдать ему справедливость: он моментально пришел в себя, оправился от смущения и даже чуть-чуть улыбнулся.

— Пусть лакей несет ваш чемодан в номер… Мы побеседуем несколько секунд.

— Отнесите чемодан в отделение! — отдал приказ лакею Путилин.

«Маркиз» и «граф» остались в коридоре с глазу на глаз.

— Путилин? — спросил маркиз уже по-русски.

— Савин? — в тон ответил ему граф. И одновременно оба рассмеялись.

— А не сесть ли нам? Признаюсь откровенно, я чертовски утомлен, — первым проговорил Путилин, указывая на крытый красным бархатом коридорный диван.

Два врага сели совершенно спокойно. Савин закурил сигару.

— Вы только что прибыли, Иван Дмитриевич? Pardon, ваше превосходительство.

— Только что, только что, господин экс-корнет. А насчет титулования не стесняйтесь. «Ваше превосходительство» — долго, длинно произносить.

— Я… догадывался, что вы приедете.

— А я не сомневался в том, что рано или поздно я вас сцапаю.

Савин расхохотался.

— Итак, вы приехали за мной?

— За вами.

— И вы думаете меня поймать?

— А разве вы уже не пойманы?

— Нет. Не забывайте, где я нахожусь. Я ведь на турецкой территории.

— Так что вам угодно, «ваше высочество», чтобы я вас взял на территории русской? — усмехнулся Путилин. — Слушайте, Савин, а не лучше ли без дальнейшей борьбы, проволочки? Без шума скандала и прочего?

— Это чтобы я покорно и добровольно попросил вас отвезти меня в русскую тюрьму? А, однако, вы меня ловко это «вашим высочеством» назвали!

— Я — Путилин, Савин.

— А я — Савин, господин Путилин.

— Итак — борьба?

— Не советую, ваше превосходительство.

— Почему?

— Потому, что вам несдобровать; потому, что я, а не вы, выйду победителем.

Голова гениального авантюриста гордо откинулась назад.

— Слушайте, ваше превосходительство: я искренне люблю и восхищаюсь вами, вы — огромный талант…

— Позвольте мне ответить вам тем же комплиментом, Савин… Ну-с? Дальше что?

— А то, что если вы меня не оставите в покое, если вы меня станете преследовать, то даю вам слово, что вам — несдобровать.

— Увы, дорогой мой экс-корнет, никак не могу оставить вас в покое, а то вы, того гляди, и в самом деле на болгарский престол вскочите! — иронически рассмеялся Путилин.

— А вам-то что до этого? — злобно вырвалось у Савина.

— Вот-те раз! Как, что за дело? Или вы мне в вашем будущем княжестве пожелаете предложить пост министра тайной полиции?.. Помилуй бог, я служу честно России и…

— И… вы будете убиты, Путилин! — прохрипел Савин.

— Кем? Вами?

— Ну нет, для этого я слишком умен, чтобы убивать самому… Для этого найдутся…

— Наемные убийцы? Так называемые «брави»? Ай-ай-ай, Савин, мне стыдно за вас: я о вас был лучшего мнения… Вы ведь только вообразите такой конфуз: претендент на болгарский престол — и… вдруг убийца из-за угла начальника русской сыскной полиции…

И Путилин иронически рассмеялся.

Вся кровь бросилась в голову бывшему офицеру. Вся былая гордость, не променянная еще на «интернациональную тогу» авантюриста-мошенника, проснулась в нем с победной силой.

— Вы с ума сошли! Я никого не убивал из-за угла! — гневно вырвалось у него.

Путилин внимательно наблюдал за ним.

— Сдайтесь, Савин… Ей-богу, лучше будет.

— Ни за что, ни-ког-да!.. — отчеканил Савин.

— Вы едете в Болгарию?

— Еду.

— Но я ведь вас арестую!

— Вам не удастся этого, Иван Дмитриевич. Я сильнее вас в настоящую минуту.

— Чем, Савин?

— Я окружен друзьями-приверженцами, я даже среди важнейших сановников Турции имею сообщников. Вы — один.

— Я это знаю. Вы — недаром Савин. Вы — умница большой руки. Но…

— Что «но»?

— Вы не уйдете от меня. В ту минуту, когда я, «один», как вы предполагаете, скажу вам «Именем закона я вас арестую», вы… вы протянете мне ваши руки.

Лакей, отнеся чемодан гениального сыщика в номер, стоял, в недоумении глядя на двух беседующих «знатных путешественников».

— Ну-с, мне пора идти, — вставая, произнес Путилин.

Встал и Савин.

— Прошу вас засвидетельствовать мое почтение вашей супруге, — тоном великосветского денди бросил Путилин. — Маркиза следует с вами?

— О, разумеется, милорд…

И… разошлись…

Путилин, войдя в роскошное «отделение», сел в кресло и погрузился в глубокое раздумье.

Изредка с его уст срывались тихие бормотания:

— Молодец… какой ход… так? Нет… а если так?.. Гм… Гм…

И вдруг через полчаса такого выведения «кривой» он вскочил и радостно, прерывисто прошептал:

— Ах, эти черномазые, черномазые!..

Савин, войдя в свои апартаменты, был бледен, как никогда.

— Лили! — громко крикнул он.

— Что с тобой? — выскочила графиня Тулуз де Лотрек, замечая бледность лица своего супруга.

— Ступени трона шатаются под моими ногами!

— Что?!

— Приехал человек…

— Он тоже претендент на болгарский престол? — наивно спросила графиня.

— Дура! — злобно, по-русски, выругался «граф». — Сию минуту, скорее… укладывай чемоданы! Мы едем через несколько часов.

— Слава богу! Наконец-то, — вырвался у графини радостный и облегченный вздох.

Последний пассажир «Ольги». Путилин посрамлен. Торжество Савина

В великолепной гавани Константинополя два парохода готовились к отплытию. Погрузка уже кончилась. Вся эта громада

разношерстных людей, «снарядивших» гигантские пароходы, отирала с лиц обильно струившийся пот.

По трапу входили последние пассажиры.

Они, испуганные, боящиеся опоздать, были нервны, суетливы.

«Скорей! Сейчас последний звонок… А вещи?»… — «Все сдано… все сдано…»

На пароходе прямо у трапа стоял Савин — «граф Тулуз де Лотрек», «маркиз да Коста дель Ривольто» — претендент на болгарский престол, окруженный своей свитой.

— Ваше высочество бледны… Вам худо?

— Пустяки, Цанков, пустяки… Но, говоря откровенно…

— Вы боитесь этого дьявола?

В голосе болгарина, политического эмигранта, слышалась тревога.

— Да, я боюсь Путилина. Вы, конечно, не знаете, что это за огромный талант… До сих пор он был непобедим.

— Но его противники?

— Ах, Цанков, он боролся с Домбровским, со Шпейером, и…

— Всех победил?

— Всех.

— Но вы, ваше высочество, не им чета. Вы…

— Послушайте, Цанков, вы хорошо осмотрели весь пароход?

— Чудесно.

— И… и его нет?

— Если он не обратился в мышь, даю вам слово, что его нет.

Вздох облегчения вырвался из груди Савина, «его высочества».

— Ну, а я-то его не пропущу. Я узнаю его, хотя бы он загримировался самим дьяволом.

Последние пассажиры непрерывной лентой проходили мимо претендента и его свиты.

Как жадно, с каким жгучим вниманием впивался знаменитый корнет в их лица!

Мимо него проходили дамы, мужчины, молодые, старые.

«Не он, не он…» — шептал про себя претендент на болгарский престол.

— А тот, другой пароход? — вдруг услышал Савин взволнованный голос Цанкова.

Савин усмехнулся.

— Во-первых, Цанков, мы отплываем раньше, стало быть, если бы *он* догадался, то не стал бы терять времени, а во-вторых, какой смысл ему миновать борт *нашего* парохода? А впрочем, дайте-ка бинокль.

— Пожалуйста, ваше высочество!

Савин наставил бинокль на трап другого парохода, готовящегося к отплытию.

Вдруг из его груди вырвался подавленный крик радости.

— Смотрите, Цанков, смотрите: он, он!

— Кто «он», ваше высочество?

— Путилин! Путилин!

— Да не может быть? Да неужто?!

— Да, да, смотрите… Вот он идет… Видите этого джентльмена, седого, с сумкой через плечо? Вот он обгоняет даму!.. Вот он приподнял свою панаму, извиняясь за то, что чуть-чуть толкнул ее, эту красавицу. Это он, он!

И Савин расхохотался безумно радостным смехом.

— Попался! Попался! Пароходом ошибся, гениальный сыщик!..

Те несколько болгар, которые составляли свиту будущего «князя», во главе с душой заговора с Цанковым, — поддерживали своего будущего повелителя.

«Ловко! Ловко!» — «Иди, иди, проклятая собака-ищейка!»

На пароходе шли последние приготовления.

— Давай сигнал! Сейчас! К отплытию! — раздалась команда.

Бросились уже убирать трап.

— Стойте! Стойте! — на ломаном языке послышался испуганный крик.

По трапу бежал низенький, горбатый католический священник.

Его ряса-сутана смешно раздувалась, словно парус поднятый ветром.

— Эдакое животное! — недовольно пробурчал капитан, злясь на опоздание. — Не мог вовремя поспеть!..

Минута, другая — и католический священник входит на борт парохода «Ольга».

— Отчаливай! — послышалась команда капитана. Винты парохода зашипели, зашумели, пеня и бунтуя тихую гладь великолепной бирюзовой воды.

Медленно и горделиво покачиваясь, пароход отвалил. Свита будущего болгарского князя почтительно взяла под козырек.

— Ваше высочество, поздравляем вас с вступлением на престол!

— Не рано?

— Нет. Вы сами говорили, что последний враг ваш, проклятый Путилин, попал на другой пароход.

— А остальное, друзья мои?

— Остальное позвольте довершить нам, ваше высочество. За это мы ручаемся…

Восторг засветился в глазах Савина.

— В таком случае… надо выпить шампанского? Не правда ли, друзья мои?

— Если угодно вашему высочеству, — ответствовала свита.

И через несколько секунд лакей подавал шампанское. Савин, взяв в руки бокал с искрометной влагой, торжественно начал:

— Я подымаю бокал, господа, прежде всего за посрамление моего врага — Путилина.

— За посрамление Путилина! За здоровье вашего врага! — подхватила свита.

Встал Цанков.

— А мне, ваше высочество, позвольте выпить за здравие будущего князя Болгарии… Господа, за здоровье нашего повелителя!..

Радостный клич пронесся по палубе первого класса.

— За князя! За князя!

— За болгарский народ! — вторично поднял бокал Савин.

— За народ! За народ!

В эту секунду к группе ликующих заговорщиков подошел католический священник.

— Простите, господа… Я не знаю, не имею чести знать, кто вы. Но ваш тост за посрамление Путилина меня глубоко растрогал. Как вам, быть может, известно, он вмешался даже в дела церкви и иезуитского ордена. О, этот проклятый нечестивец!

Голос «последнего пассажира» задрожал от глубины негодования и скорби.

— Я знаю, падре, эти его розыски-похождения, — с чувством произнес Савин.

— Ну, не наглец ли? Я… я… с удовольствием выпью бокал шампанского за его посрамление.

И палуба парохода «Ольга» огласилась восторженным кликом.

— За погибель Путилина! За посрамление его!

— А вы все-таки, падре, чуть-чуть не сыграли ему в руку! — улыбнулся Савин.

— Я? — удивился падре — католический священник.

— Вы. С чего это вам пришла такая фантазия запоздать на пароход до последнего звонка?..

— Задержался… Давал святые дары умирающей женщине.

В каюте претендента. Туалет болгарского князя

Пароход «Ольга» подходил к Бургасу. В комфортабельно убранном салоне-каюте претендента на болгарский престол было весело, шумно.

Весь будущий кабинет министров во главе с премьером Цанковым окружали великого русского авантюриста-самозванца.

Графиня Тулуз де Лотрек мирно и покойно почивала.

Во сне, наверно, ей грезились ослепительные курорты и трон Болгарского княжества. То и дело хлопали пробки от бутылок шампанского.

— Друзья мои! — обращался к своим министрам, политическим эмигрантам, Савин. — Мы переживаем исторические минуты!

— О, еще бы, ваше высочество!

— Честное слово, это напоминает мне Наполеона! С той только разницей, что великого императора везли на Эльбу в заточение-изгнание, меня же везут в Софию на престол на воцарение.

Подошел Цанков.

— Ваше высочество, вам следовало бы теперь облачаться в полную парадную форму.

Савин, искренно вошедший в свою роль, горделиво простер руку вперед.

— Дайте все, что мне следует!

— За исключением короны, ваше высочество… Ее вы возложите на себя там, в Софии, во время коронования.

И началась сцена, знаменитая, единственная в истории авантюр: патентованный мошенник облачался — не маскарада ради, — а всерьез в форму одного из венценосцев.

— Кушак, господа.

— Пожалуйте, ваше высочество.

— Цанков, где звезды?

— Здесь, ваше высочество.

— Ха-ха! Я дорого бы дал, чтобы Путилин посмотрел на меня теперь. О, он понял бы, что шутить со мной нельзя!

— Охота вам, ваше высочество, тревожить себя воспоминанием о каком-то сыщике… Позвольте, я лучше вам стяну мундир.

— Еще, еще, Цанков.

— А не будет туго?

— Нет. Слушайте, господа: мне так понравился этот милейший падре, что я хотел бы пригласить его к нам и угостить бокалом шампанского. Почтенный иезуит, ха-ха-ха, кажется, не дурак выпить…

Глаза Савина горели.

Он не отводил взора от зеркала, которое отражало его красивую, стройную фигуру, облаченную в парадную форму болгарского князя.

Теперь уже никто и ничто не могли бы разуверить его в том, что он — только жалкий безумный самозванец.

— Когда я взойду на болгарский престол, я с трона произнесу такую речь. «Господа! В то время, когда политический горизонт Европы обложен мрачными тучами, я возвещаю вам с высоты престола, что Болгария ничего не боится. Почему? Да потому, что во главе Болгарии стою я, Сав… — Савин спохватился, поправился и продолжал, все более и более воодушевляясь: — Стою я, ваш великий князь. Верьте в меня слепо так, как верили старые гренадеры Наполеону, и мы утрем нос и Германии, и России, и Путилину…»

Савина слегка качнуло.

— Ваше высочество… вы бы отдохнули, — обратился к самозванцу Цанков.

Выпитое шампанское сказывалось: язык Савина путался, заплетался.

— Нет, я не буду, я не хочу спать. Пригласите сюда, господа, католического священника. Я хочу побеседовать с ним о Ватикане. *Нам* (гениальный авантюрист сделал ударение на этом слове) необходимо знать о положении дел Святейшего Престола.

Прошло несколько минут и один из заговорщиков, Мацавелов, вернулся.

— Я нигде не мог найти его, ваше высочество. Каюта его пуста.

— Ну… Ладно… Черт с ним, — совсем уж не по-великокняжески бросил Савин. — Я продолжаю, господа: «Политика, которой мы будем держаться по отношению к России…»

В это время в каюте капитана происходила не менее любопытная и важная сцена.

— Могу я переодеться у вас? — спокойно обратился к капитану парохода католический священник входя в каюту.

— Переодеться? У меня? Это с какой же стати? Разве у вас, падре, нет своего помещения? — удивленно спросил капитан.

— Есть, но, видите ли, — начал католический монах что-то объяснять капитану.

Говорил он довольно долго. С каждой секундой лицо капитана все более и более бледнело и принимало глупо-растерянное выражение.

— Стало быть, вы?

— Да.

— И сейчас?

— Сейчас.

— А если сопротивление?

— Вы обязаны оказать мне поддержку. Помилуй бог, у вас команды хватит.

Капитан схватился за голову.

— Вот не думал! Вот не чаял!

— Бывает, — усмехнулся католический священник…

Арест «болгарского князя»

До прибытия в Бургас оставалось всего несколько минут. Те пассажиры, которым надо было высаживаться здесь, толпились на палубе.

Из капитанской каюты вышел высокий, представительный господин с роскошными седыми бакенбардами, одетый в безукоризненный черный сюртук.

За ним вышел капитан с взволнованным, бледным лицом.

«Кто это?» — «Не знаю. Такого пассажира не было видно».

Спокойной, размеренной походкой подошел элегантный господин к каюте-салону, занимаемому претендентом на болгарский престол и его блестящей свитой. Савин давал клятву политическим заговорщикам.

— Вы должны, ваше высочество, поклясться в том, что будете свято и нерушимо поддерживать нашу партию.

Знаменитый авантюрист, совершенно уже претворивший в себе новый высокий титул, с пафосом ответил:

— Даю вам в этом слово, господа. Клянусь.

— Вы никогда не должны забыть наших услуг.

— Я это понимаю.

— Вы всегда должны помнить, что только благодаря нам вы вошли на болгарский престол.

— О, я этого не забуду, господа! — с чувством произнес маскарадный князь.

Он сделал театральный жест.

— В ту минуту, когда я войду на трон…

— Вы никогда на него не войдете, Савин! — раздался звучный, спокойный голос.

На пороге салона, раздвинув портьеру, стоял элегантный старый барин.

Это был Путилин.

Если бы тут, сейчас с оглушительным треском разорвалась бомба, это не произвело бы такой паники, такого ошеломляющего эффекта, как слова и внезапное появление гениального сыщика.

У всех присутствующих вырвался громкий крик испуга.

Савин — в парадной форме болгарского князя — в ужасе отшатнулся.

— Путилин?! — слетело с его побелевших губ.

— С вашего разрешения, ваше бутафорское высочество, — с неподражаемой иронией, насмешкой ответил Путилин.

«Что? Кто это?» — «Как, Путилин?»

Цанков просто замер, окаменел. Путилин сделал несколько шагов по направлению к великому авантюристу.

— Именем закона я вас арестую, бывший корнет Николай Савин!

Страшным усилием воли растерявшийся Савин взял себя в руки.

— Что? Вы желаете меня арестовать? — произнес он, гордо откидывая назад голову.

— Да. Имею твердое намерение.

— По какому праву?

— За вами, господин Савин, накопилось слишком много… недоимок русскому храму Фемиды. Пора свести счеты.

— Но вы забываете, любезнейший, что здесь не Россия! — гневно вырвалось у Савина.

— Но и не турецкая территория, любезнейший экс-корнет. Здесь водная территория, здесь палуба корабля. На такой почве я имею право вас арестовать.

— Ни за что! Я не отдамся в ваши руки, слышите? Господа, вашего князя хотят арестовать. Вы должны заступиться, — обратился будущий болгарский князь к своим верноподданным.

Яростный вопль вырвался из грудей политических заговорщиков.

Кулаки судорожно сжались, глаза засверкали бешенством.

— Мы не выдадим вас, ваше высочество, этому сыщику!

— Как вы смеете посягать на нашего князя?! — выступил Цанков.

— На *вашего* князя? — саркастически расхохотался Путилин. — С каких пор русский авантюрист сделался болгарским князем? И по какому праву вы, кучка политических эмигрантов, выбираете народу, который вас вышвырнул, претендента на престол?

— Полегче, полегче! Я страшен в гневе! — заскрипел зубами Цанков.

Путилин стоял невозмутимый.

— Вы… вы что же, любезный господин Путилин, серьезно желаете вести с нами борьбу?

— В каком смысле «борьбу?» Драться, бороться с вами? О, этого я совершенно не предполагаю. Слушайте, Савин, вы очень умный человек, и потому предлагаю вам прекратить этот жалкий маскарад, эту высокую комедию. Поймите, сознайтесь и придите к выводу, что вы попались. Вы в моих руках.

— Я буду бороться! Я… я, — совсем обезумел претендент на болгарский престол.

В его руке сверкнуло дуло револьвера.

— Господа! — властно крикнул он своей свите.

Несколько револьверов и ножей-кинжалов были моментально выхвачены.

И только Путилин стоял безоружный, с голыми руками.

— Великолепно. Это мне нравится. Итак, вы желаете меня убить? — Ни йоты тревоги, ни признака испуга не слышалось в этих словах.

Это поразительное хладнокровие изумило даже его врагов, и не только изумило, но и восхитило.

«Молодец! Какая смелость, выдержка!» — тихо пробормотал Цанков своим товарищам-заговорщикам.

— Теперь, Савин, я должен сказать вам следующее: моя смерть не принесет вам спасения потому, что я, предвидя возможность ее, принял все, понимаете, все меры для того, чтобы вы все-таки были арестованы.

— Дьявол! Вы лжете! — прохрипел авантюрист.

— Я лгу? Разве вы не знаете, что Путилин никогда не лжет? Капитан парохода предупрежден. Телеграммой я уведомил консула в Бургасе о вашем следовании на болгарский престол. Он встретит вас с достаточным количеством людей для вашего ареста.

Вопли бешенства опять прокатились по каюте-салону.

— Изволите видеть: имея дело с обыкновенными мошенниками, я всегда прибегал к револьверу. С таким же, как вы, я считал это излишним. У меня в кармане два револьвера. Не угодно ли взглянуть на них? — И Путилин быстро их выхватил.

— Но, смотрите, я их кладу на стол. Что же вы медлите, господа? Убивайте меня, я беззащитен, я — один среди вас.

Савин стоял, низко опустив голову.

Свита его — точно под влиянием какого-то гипноза — безмолвствовала.

— Вы что же, хотите замарать ваши ручки еще и убийством? Вы думаете, что это облегчит вашу совесть и ответственность за все, что вы наделали?

— Как… как вы попали сюда?

— Да я с вами шампанское пил, ваше высочество.

— Вы?! Со мной?!

— И с этими господами, вашими верноподданными. Разве вы забыли католического священника?

— Это были вы, Путилин?!

— Я, Савин.

С тоской оглянулся кругом Савин.

— Рушится все. Все мечты разлетелись. Господи, а я так жаждал… — и зарыдал ужасным, нудным мужским рыданием. — Вы… вы… победили, Путилин… Но, клянусь Богом, я… я был бы идеальным князем Болгарии.

Даже в эту минуту гениальный авантюрист не потерял веры в свое княжеское призвание!

— Снимайте скорее этот маскарадный костюм, Савин. К чему привлекать к себе всеобщее внимание? Вам будет тяжелее.

— Вы… вы правы… К черту! Все к черту!

— Ваше высочество… Что вы делаете? — послышались возгласы свиты.

Савин, безумно хохоча, плача, срывал с себя парадную форму болгарского князя.

— Ну?! — исступленно крикнул он, подходя к Путилину. — Берите меня. — Я ваш! Но… но помните, что ненадолго.

Приложение 4
Список, из 11 томов озаглавленный «Полное собрание сочинений графа Ник. де Тулуз-Лотрек Савина»

Томы:

I. «Савин и его жизнь».

Книги: 1. Бурная молодость.

2. Травля по Европе (по-русски)

3. Инквизиция XIX века

Послесловие

II. «Герой конца века» (Записки корнета Савина)

1. В царстве женщин

2. Свободная любовь (по-русски)

3. На законном основании

III. «Нигилисты» (история народовольческого движения)

1. Нигилисты

2. Террористы

3. Ссыльные в Сибирь (по-французски)

4. Заживо погребенные

Послесловие

IV. «Цари и царская власть» (Романовы и Обмановы)

1. История России от Петра Великого до Николая Мелкого (по-французски)

Les Tsars et le tsarismus sont les vrais defauts de Romanoff

V. «Автобиография графа Н. де Тулуз-Лотрек Савина»

1. Под гербами древних родов

2. В Сибири: от Урала до Тихого океана

3. В стране желтого дьявола (в Америке)

4. Qui je Suis (вариант по-французски)

VI. «Мумут» (история моего брака)
1. Счастье
2. Несчастья
3. Эпилог
VII. «Рабство белых» (Вандализм XX века)
(пять лет предварительного заключения)
1. Из партера в Сибирь
VIII. «Три юстиции»
1. Трехцветная юстиция (Франция)
2. Полицейская юстиция (Бельгия)
3. Юстиция вандалов (Дания)
Эпилог
IX. «В царстве власти тьмы»
1. Жидовская революция
2. Киевские зубры
X. Повести и рассказы
1. Анита (Ушакова)
2. Наташа (Нарышкина)
3. Валя (Павлова)
4. Вера
5. Дора
6. Фанни и Нонна
7. Жрецы слепой Фемиды
XI. «Кой о чем и кой о ком»
3 книги рассказов

Всего 28 книг, по 300 ст. каждая, около 10 тыс. страниц. «Одна лишь правда».



Владимир Алексеевич Гиляровский



Владимир Алексеевич Гиляровский



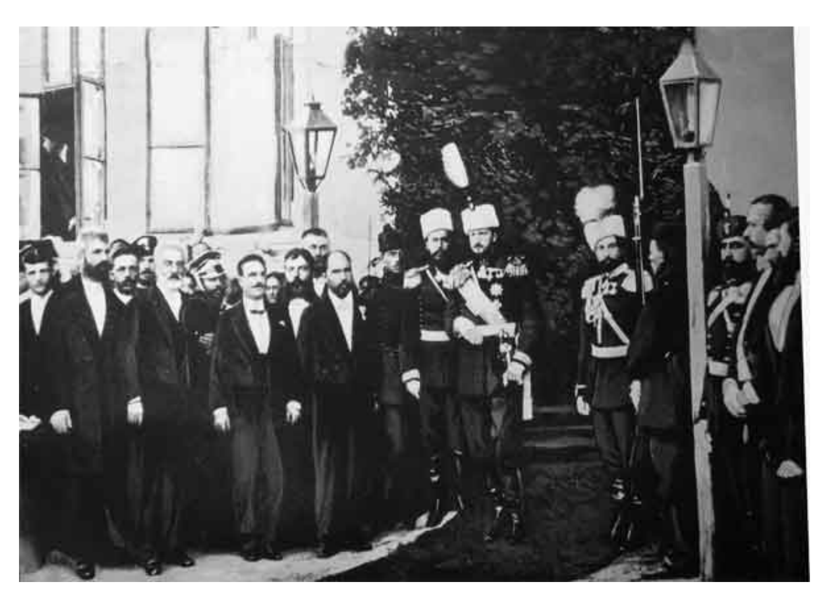
Портрет Н. К. Савина с автографом, 1918 год



Аничков дворец



Султан Абдул-Хамид II



Великий князь Болгарии Фердинанд I Кобургский (в центре). Третий слева от него (с медалью) — Стефан Стамболов



Николай Герасимович Савин, после 25 лет тюрьмы



Великий князь Николай Константинович Романов



Николай Савин, фото в Гамбурге



Николай Герасимович Савин



Великий князь Николай Константинович
с матерью Великой княгиней Александрой Иосифовной и сестрой Верой,
около 1870 года





Великий князь Николай Константинович Романов



Великий князь Константин Николаевич с сыном Николаем

Содержание

Вместо предисловия. Владимир Гиляровский. Корнет Савин 3
I. Воспитание 13
II. Юнкерство 18
III. В отпуску в Москве 22
IV. Служба в Варшаве 25
V. Петербургские кутилы 29
VI. Первая любовь и уголовное дело 35
VII. На войну. Кишинев. В походе 39
VIII. Под Плевной и дома 49
IX. Карнавал 54
X. Анжелика 57
XI. С Анжеликой в Париже. Друзья-приятели 62
XII. В Рудневе. Снова друзья-приятели 67
XIII. На волосок от смерти. Дуэль 72
XIV. В полицейской тюрьме. Следственный судья 77
XV. Предварительная тюрьма Мазас. Первое свидание 81
XVI. Свидание с Рошфором. Мой адвокат 85
XVII. Суд исправительной полиции 89
XVIII. В монастыре иезуитов. Снова в Монте-Карло 100
XIX. Изменчивость фортуны. В поисках денег 104
XX. В пути. Мысли о бегстве. Холера 107
XXI. В больнице св. Винцента. Католики-фанатики. Бегство 111
XXII. На свободе. Приключения в Голландии 116
XXIII. Пешком в Лейден. В Роттердаме.
Несговорчивый портье. Опять под арестом 121
XXIV. Высылка из Голландии. В Антверпене.
В поисках денег. Приезд Мадлен. Новые опасности 127
XXV. Визит сыщика. Нашествие полиции.
Мокрый комиссар. Опять арест. У судебного следователя 131
XXVI. Тюрьма св. Жиля. В одиночном заключении.
Прогулки под маской. Директор тюрьмы 135

XXVII. Арест Мадлен. Адвокаты. План защиты.
В суде. Мои объяснения 139
XXVIII. Речи сторон. Обвинительный приговор.
Высылка Мадлен. Выдача России. К русской границе 144
XXIX. Приезд в Россию. Гостеприимный пристав.
Путешествие в Варшаву. Несговорчивый стражник.
План бегства 149
XXX. Первая неудача. Бегство. Пани Юзя.
Старый товарищ. Отъезд из Варшавы 154
XXXI. В Люблине. Опасное знакомство. Отъезд.
Гостеприимный судья. Переход через границу 159
XXXII. На свободе. Полезные встречи и знакомства.
Новые планы. Получение документов. Отъезд из Кракова 164
XXXIII. В Вене. Визит сыщиков. Опасное положение.
Бегство из Вены 170
XXXIV. В Будапеште. Получение паспорта.
Отъезд в Триест. Русский консул. Денежные заботы.
Поездка к Дон Карлосу 174
XXXV. Визит к дон-Карлосу. Удачный заем.
Грандиозный план. В Болгарию 178
XXXVI. От Фиуме до Софии. У французского консула.
Знакомство со Стамбуловым. Блестящее начало 182
XXXVII. Настроение в Болгарии. Стамбуловщина 187
XXXVIII. Моя кандидатура на болгарский престол 191
XXXIX. В Константинополе. Удачное начало 195
XL. Аудиенция у великого визиря и султана Абдул-Гамида 200
XLI. Арест и высылка в Россию 210
XLII. Из Константинополя в одесскую тюрьму 215
XLIII. По этапам из Одессы в Петербург 220
XLIV. В предварительном заключении.
В охранном отделении. Любезное предложение 225
XLV. Разбор дела через двенадцать лет. Снова по этапам 230
XLVI. Нравы и обычаи «централки» 235
XLVII. Опять в дорогу 240
XLVIII. Суд 244

Приложения 246
Приложение 1. Плагиаторы и подражатели 246
Приложение 2. Николай Эдуардович Гейнце.
Герой конца века 254
Приложение 3. Роман Добрый.
Претендент на болгарский престол. (Корнет Савин) 673
Приложение 4. Список, из 11 томов озаглавленный
«Полное собрание сочинений
графа Ник. де Тулуз-Лотрек Савина» 697

Записки корнета Савина

*Подлинные мемуары
знаменитого авантюриста, главного героя романа
Бориса Акунина «Пиковый валет»*

16+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *А. Тельная*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru